Вера Панова

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1989



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 5

Историческая и автобиографическая проза

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1989

ББК 84.Р7
П 16

Составление и подготовка текста
А. НИНОВА и Н. ОЗЕРНОВОЙ-ПАНОВОЙ

Примечания А. НИНОВА

Оформление художника Н. НЕФЕДОВА

П $\frac{4702010201-062}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5—280—00859—1 (Т. 5)
ISBN 5—280—00148—1

Историческая и автобиографическая проза



ЛИКИ НА ЗАРЕ

Исторические повести

СКАЗАНИЕ ОБ ОЛЬГЕ

МОЛОДОСТЬ. ЗАМУЖЕСТВО

Был перевоз на реке Великой у Выбутской веси, близ города Пскова.

Много лодок, и при лодках гребцы, дюжие мужики на жалованье, и жалованье хорошее.

Над гребцами начальник, поставленный князьями.

У начальника дочка была, небольшая девочка Ольга.

Летом и осенью она жила с родителями при перевозе, на берегу. Когда становилась Великая, семья перебиралась во Псков, в зимний дом.

Из зимнего дома начальник выходил только на кулачках побиться, а то отдыхал на печи; либо спал, либо так сидел, свесив ноги. А Ольгу мать одевала тепло и выпускала на улицу играть с детьми.

Вот идет Ольга по снежной улице меж высокими тынами и дымящимися кучками конского навоза, укутанная в платок. Вот она втаскивает салазки на горку, чтобы скатиться вниз. На ней тулупчик, из-под тулупчика суконное сборчатое платье, обшитое зеленой и красной тесьмой. Она идет, и задки ее валенок вскидывают подол. Задки эти похожи на пятки медвежонка.

Было лето.

К перевозу подъехали всадники: в кольчугах, шлемах, щит у левого плеча. На одном коне сбруя с серебряными бляхами и лунницами. Другие кони везли за ними кладь.

Начальник вышел, утирая усы: он как раз сидел за обедом. Гребцы, так же утираясь, побежали к лодкам. Застучали подковы по бревенчатому настилу, всадники стали спускаться к Великой. Ольга стояла возле отца, она перебросила косу на грудь и играла лентами.

Тот, чей конь ходил в серебре, остановился и спросил у отца:

— Дочь твоя?

И похвалил:

— Хорошая девочка. Не отдавай ее никому здесь у вас.

— Рано ей,— сказал отец.— Там видно будет.

— Не отдавай,— еще раз сказал всадник и проехал.

Он носил свой шлем низко, до бровей. Суровые брови нависали над глазами. Борода разметалась по кольчуге могучим веником. Мимо Ольгиных глаз проплыл сапог, вдетый в стремя. Проплыл конский тяжелый бок.

Ольга смотрела, как снимали с коней вьюки и как осторожно привычные умные кони вступали в лодки, и лодки отчаливали одна за другой. Бороды и конские гривы развевались на резвом ветру.

Подросла, и подошло ей время идти замуж.

Весть об этом послали в Киев.

Из Киева сваты приехали не мешкая.

Они привезли ее отцу подарки, и ей тоже — уборы, жемчуг, и повезли ее в жены князю Игорю.

И уборам, и замужеству она была рада.

Важно закинув голову и плечи, на громких каблучках сошла по настилу, за ней родня: дядья и тетки с детьми, двоюродные, троюродные.

И поплыли реками, и поскакали сушей.

Земляные города стояли у рек.

Тянули невод рыбаки. Прачки на плотах били белье вальками.

Птицы проносились серыми и белыми тучами.

И ночью плыли, и, как в колыбели, был сладок сон под холщовым пологом, в одеялах, пахнущих зверем.

Новый день разгорался за лесом по левую руку. Ольга открывала глаза — из тумана улыбались румяные лица девочек-родичек, ехавших с нею. Опускали пальчики в струи за бортом, умывали личики, освежали горлышки.

Из тумана на берегу выступал лось, темнея крутой грудью и пышными рогами.

Доносились голоса витязей с других лодок, впереди и сзади. Леса перебрасывались голосами с берега на берег.

Эти витязи, сказали Ольге,— ее дружина.

И старый Гуда, приехавший за нею, будет ей служить.

У нее будут свои села, и стада, и много челяди.

Когда надо было выходить из лодок и ехать верхом, старый Гуда брал ее на своего коня. И по обе стороны ехала дружина в кольчугах и шлемах, щит у плеча.

Поначалу обмерла, когда Игорь предстал перед ней, ростом в сажень, на лице все большое, мужское: нос, рот, щеки, складки вдоль щек. Желтые волосы стекали на грудь и плечи. Руки белые были, длиннопалые. Он к ней потянулся этими руками, она вскочила, распласталась по стене, каждая жилка в ней боялась и билась.

А он смеялся и манил ее длинными руками, и она, хоть и дрожала все сильней, тоже стала смеяться и пошла к нему в руки.

Они жили в просторных хоромах. У них были сени на расписных столбах и башня, с которой видать далеко. Комнаты убраны коврами и вышивками, парчовыми подушками и дорогой посудой. Сколько строений стояло кругом двора, сколько горшков сушилось на частоколе! Баню для Ольги срубили новую, из дубовых бревен, топилась по-белому, как белый шелк были новенькие липовые лавки.

Еще за городом было у них имение. Там они держали большую часть своего скота. Кобылицы там паслись и коровы, в воловнях откармливались волы, в загородках во множестве ходили куры, гуси, утки. Сотни стогов стояли на гумне, стога от нынешнего урожая и от прежних. В строениях возле кузни сложено железо и медь.

Самое же ценное хранилось в городе. Ольга могла, когда б ни вздумала, спросить ключи, проверить, всё ли на месте. Но в проверке не было нужды, старый Гуда лучше берег ее добро, чем сама бы она уберегла, ключники перед ним трепетали. Он служил еще Рюрику, отцу Игоря. Гуда сам мог быть конунгом и держать дружину. Да только в первой же схватке с новгородцами какой-то богатырь перебил ему палицей половину костей. И хотя они срослись, но сражаться Гуда уже не мог, и Рюрик взял его к себе в дом. Как свидетельство былой своей мощи и былых надежд Гуда хранил огромный меч в ржавых ножнах, у меча было имя, как у человека: Альвад.

Таких вольных слуг в доме не много было: всё рабы. Те из военной добычи, те купленные за большую цену — всякие искусники: кто платье хорошо умел шить, лекарства составлять; гусляры, золотых дел мастера.

Вставали Ольга с Игорем, когда развиднялось. Убравшись как подобает, садились за стол с дружиной. После завтрака Игорь шел смотреть хозяйство и разбирать свары, а Ольга качалась с девушками на качелях и щелкала орешки. Перед полуднем обедали, потом спали. Потом ужинали у себя либо пировали в гостях — у кого-нибудь из

бояр, у самого господина Олега. Тут уж надо было надевать богатые наряды, ожерелья и золотые башмаки. Во время пира забавляли их певцы и скоморохи, заезжие канатоходцы и ученые медведи. Игорь возвращался с пиров себя не помня, случалось — в спальню на руках его вносили. На Ольгу при этом смех нападал, заливалась, уняться не могла.

А то ездили охотиться. Ольга выучилась стрелять из лука и бить ножом, и своих завела егерей. Вот она на охоте: в мужской одежде — кафтан, островерхая шапка с наушниками. Нож в ножнах висит на груди на цепочке. Сапожки узорчатые, и на голенища чулки опрятно вывернуты. И рад ее конь легкой своей ноше.

Так прожила лето и осень без забот. Но в грудне месяце Игорь уехал с дружиной на полюдье. Не успел уехать, приходят к Ольге и спрашивают:

— Сколько станов прикажешь запускать?

А она и не знает, сколько у нее в доме станов.

Чтоб не ударить в грязь лицом, говорит:

— Все запускайте.

— А с какою пряжей? — не отступаются.

— Пряжу,— она сказала,— запустите самую лучшую.

И видя, что они в сомнении:

— Делайте идите, как велено.

Ушли и идут опять:

— В пивоварне варщики упились, передрались в кровь, в пиве друг дружку топили, бочки перебили; велишь ли наказать и как?

Она чуть было со смеху не покатилась. Но поверни на смех, дай поблажку — всё в щепы разнесут и за госпожу считать не будут. Сдержалась, нахмурилась как могла грозно:

— Убрать таких-сяких из пивоварни и услать скотину пасти!

И утвердилась главой своему дому.

С утра, вместо игр, отправлялась теперь смотреть, как прядут, как ткут, все ли заняты, нет ли баловства. Не вприпрыжку, не опрометью по лестнице, не тронув перил,— шла чинно, являя пример рабыням, и с лестницы спускалась плавно, повязанная по брови бабьим тугим платком. Впереди шел ключник, отворял перед нею двери. Связка ключей звенела у него на поясе. Сзади шаркал перебитыми ногами бдительный Гуда.

И все было приказано и указано в срок — там ладно

или нет, но указано. И каждый раб знал, что за нерадивость с него будет взыскано. И до обеда время текло незаметно. Но уже к обеду подползала тоска, а после обеда наваливалась, а к ночи хоть воем вой. Пусто было за столом без Игоря. Холодна постель без Игоря. И убранство ни к чему. И печи не грели.

По необогретым комнатам бездельно блуждала Ольга, скулила от тоски. Гуда о старине рассказывал — все одно и то же, надоело слушать. Служанки звали на тройке кататься, приносили в забаву котят, медвежат — гнала с досадой. Подымалась на башню, стояла под вьюгой, лицом к стороне, куда уехал милый. Нескончаемая зима, самая лютая разлука — первая разлука...

Вьюга, крутясь, заволакивает даль и близь, не разглядеть ничего — как там перед Игорем всякие сударыни свою прелесть выставляют, как он по чужим домам ночует, как какую-то змею подколодную целует с чмоком в щеки и уста.

Только весной он воротился.

По полой воде пригнали они лодки с добром, собранным на полюдье. Вся дружина вернулась, кроме двух человек только: одного зашибли в драке, другой от горячки помер где-то в средине зимы.

Пригнали они лодки с добром, и, сосчитав все и поделив, одни повезли свою часть дальше, надеясь продать ее с большей выгодой, чем в Киеве; а другие остались на месте ждать, когда подсохнут дороги и приедут купцы.

Игорь остался, и опять они с Ольгой миловались и гуляли, и охотились, и вместе, взявшись за руки, восходили на башню-смотрильню.

Отрада глядеть с башни веселым летом с милым вдвоем.

Темной гущей залегли леса по холмам, среди них поля и луга напоены солнцем. Горстками изб пестреют села. Плавает коршун в синеве, сужает круг над селом — на цыпленка нацелился...

Могучим потоком света струится Днепр в зеленой красе, взблескивают его струи, плывут по ним лодки.

Где в Днепр впадает Почайна, находится пристань: теснота судов, людское шевеленье, навалы тюков под навесами. Ходят сборщики пошлин, пересматривают и переписывают товары. Засуча порты, шлепают к лодкам по воде продавцы съестного, предлагают приезжим блины и квас.

Если смотреть себе под ноги — видны двускатные и односкатные крыши, дворы, огороды. Плещут крыльями голуби вокруг голубятен. Женщина стелет на травке холсты. Снует и горланит народ на торгу. В гору подымается воз с дровами.

Под горой — Подол. Восточные ветры несут оттуда стук молотов и зловонье зольников. Всегда там грязь, даже когда сухо везде. По грязи проложены доски для прохода. На Подоле кожи мнут и железо варят, дымы там не сизые, а желтые и багряные.

И ту сторону Днепра видно с башни. Говорят, еще не так давно там гуляли хазарские табуны. Подходили к берегу и пили днепровскую воду. Но господин Олег прогнал хазар и запретил подходить, а по курганам расставил стражу. И если покажутся хазары — на курганах взвиваются костры, и в Киеве дружина княжеская берется за оружие.

Господин Олег был тот князь, что отметил Ольгу и сосватал ее для Игоря.

Трубы трубят под Киевом.

Изумляя зверье в лесах, трубят под Киевом трубы — что такое?

На Перуновом холме режут быков, ягнят, голубей. Ах, хорош баран, которого ведут, пиная, на закланье: упитан и кудряв, и венок из цветов напялен на рога. Ах, красивый был баран...

Быки ревут в предсмертном ужасе. Мелко блеют ягнятки. Лишь голуби, трепеща, умирают молча.

Струями толстыми и капельными льется кровь, стекается в ручьи, пенится и дымится.

Господин Олег идет на Царьград. Он собрал войско из всех подвластных племен. Он снарядил две тысячи кораблей, по сорок человек на корабле. Что было шуму, когда они раскропили Днепр веслами, тронувшись в путь! Весла взлетали как одно. А трубачи сидели на носу кораблей, и щеки у них от натуги лопались.

Войску предстояло, одолев первые пороги, перед Неясытем вытащить корабли на берег и шесть тысяч шагов нести на плечах. За порогами, близ Крарийского перевала, сидели печенеги — высматривали купцов, чтоб ограбить и угнать в плен. Там всегда приходилось сражаться. Но

против такой грозной силы печенеги, конечно, и не сунутся. Будут вслед смотреть из укрытия, от зависти зубами скрежеща.

Затем корабли должны были идти под парусами вдоль западного берега Русского моря: мимо Конопы, Констанции, устья Варны и Дицины в греческий город Месемврию, лежащий на островке; а уж оттуда к Царьграду.

Так перевозились товары, и этим же путем некогда ходили на греков Аскольд и Дир. Но то несчастливые были князья. Они вернулись с остатками своего отряда, разбитые бурей, которую наслала мать греческого бога, Богородица. Старики помнили, какой тогда в Киеве был плач.

Олег, князь счастливый, до седых волос дожил, побеждая. Волхвы гадали по его оружию и предсказали ему удачу. От крови жертв, что воины его принесли перед отплытием, размяк, растекался зловонной жижей холм у подножья Перуна.

И Перун пересилил Богородицу, Олег воротился с победой и с войском — кроме тех, что погибли от греческих ядовитых стрел либо кончились в корчах, поев греческого овоща через меру.

С победой возвращается господин Олег, и, отдыхая, до беспамятства пьют они навезенные вина и угощают щедро, и певцы восхваляют их деяния.

И гомон стоит на наших торгах, где воины распродают свою добычу, и съехались к нам отовсюду купцы, меж ними печенежские — лунно расплющенные лики, глаза щелями, и хазарские — завитые бороды, вкрадчивые речи, и еще бороды, крашенные огненной краской, и чалмы, и верблюды с высокой кладью на горбах.

И Ольга ходит в своем доме среди раскиданных даров, то за одни серьги схватится, то за другие: серег ей достались пригоршни. Примеряет перстни: навезены связками, как грибы сушеные. Надкусывает иноземные плоды, сладкий сок из них каплет на пол.

Слушайте, как дело было, поют певцы. Страшнее бури мы предстали перед Царьградом, моря не было видно под нашими кораблями. Император Лев о воинском деле горазд книги писать; а выйти на нас не посмел. Запер гавань цепью, да разве от нас запрешься? Высадились мы в окрестностях и пошли посуху. А которые корабли Олег велел поставить на колеса, а ветер был попутный, и возопили греки на городской стене, увидев, что наши паруса мчатся на них сушей.

Теми кораблями мы подвезли махины, и кто к ним

приставлен стали махинами стены бить, а мы разошлись по селам, а села там пребогатые, и погуляли всласть.

Каменное строение, думаете, худо горит? Хуже деревянного, само собой. Но всякое дело спорится, коли взяться умеючи. Мы их смолой поливали, чтоб бойчей горело, и всё чисто пожгли, чего унести нельзя. Ни дома жилого, ни церкви не найдете кругом Царьграда, одни пепелища.

А что унести можно — подбирали со тщанием, и теперь оно тут, в Киеве.

А сады на костры извели.

Слушайте, слушайте, как было! Выслал к нам Лев своих бояр, говорят: господи, почему не торговать нам мирно, как торговали? Что вам надо? Всё дадим, не губите город. И вынесли угощенье, якобы в дружбу. Но Олег сказал нам: не ешьте. И кинули псу, и издох пес.

После того пошли в город послы Олеговы, и договор был написан на русском языке, чтоб греки не могли нас обмануть. Император поставил свою подпись, а наши послы — за кого писцы подписали, а кто умел, тот сам, в этих случаях означено правды ради: «Подписал своею рукою».

И по этому договору, знайте, получают уклады все города, где сидят князья наши, и все корабли, ходившие на Царьград, по двенадцать гривен на корабль.

По сию пору сидят греческие казначеи, отсчитывают нам золото. Столько того золота, что пальцы у них заболели считать, считают лопатками.

А когда мы, вострубив в трубы, отплывали от Царьграда, великий князь Олег прибил свой щит к его воротам, чтобы помнили.

Должно быть, греки содрали щит, когда наши паруса скрылись в морской дали. Но мы этого не видели и не знаем, и знать не хотим, и поём щит Олегов на вратах Царьграда.

Господина Олега укусила змея, и он умер, прокняжив тридцать лет и три года.

Его похоронили в Щековице, и киевским князем стал Игорь. В золотом корзне сел на Олегово место, Ольга рядом.

— Чего, лада, хочешь? — спросил.— Говори.

— Дворец каменный,— сказала Ольга.

— А что ж! — сказал Игорь.

И позвали мастеров из Греции, умельцев по части каменных палат.

Через толмача Ольга им сказала:

— Постройте нам дворец, как у вашего императора.

Мастера были степенные, трезвые, с многоумными обширными лбами.

— Как у нашего императора,— сказали,— на это всего твоего достояния не хватит, княгиня.

— Неужто! — сказала Ольга.

— Так,— подтвердили они.— Ты бы в этом убедилась, если бы съездила в Константинополь. Но можем тебе построить дворец славный и крепкий, могущий простоять, при благоприятных обстоятельствах, не одну сотню лет, удобный для жития и отрадный для глаз.

— Будет ли он достоин нашего звания и могущества?

— Не сомневайся, он будет таков, что любой европейский король за честь бы почел в нем жить.

— Чтоб непременно,— сказала Ольга,— была при нем башня-смотрильня, нам без нее нельзя.

— Хорошо,— согласились мастера.— Построим тебе башню-смотрильню.

И стали строить. По их указаниям рабы копали яму, месили известь и глину. С Волги от болгар повезли белый камень, его резали и обтесывали, делали красивые ровные плиты. Обернутые в солому, издалека прибыли стекла для окон, узорчатые, цветные. Только печи клали наши печники, русских печей греки класть не умели.

Славно работали ученые мастера. Поработав, ходили молиться в христианскую церковь святого Илии на Аскольдову могилу. Возвели дворец, какого в Киеве еще не бывало, медной кровлей и цветными окнами сиявший как жар-птица, со многими покоями для спанья, пиров и беседы.

А меж тем негодные древляне отказались платить Киеву дань.

То было племя дикое и темное, как темны и дики были их леса. Они обитали под боком у Киева, но не стремились перенимать доброе у киевлян, жили по своему лешачьему обычаю. Богаче многих племен, имея множество скота, они продавали кожи, а сами предпочитали ходить в лаптях, не в сапогах: не имели, значит, понятия о благолепии и чести. Они приносили богам человечьи жертвы из самых пригожих своих отроков и отроковиц. И не то что при тяжких бедствиях, когда, кроме этого, уж ничем, как известно, не поможешь горю, а просто так, походя, распевая песни и отплясывая. У них невесту не приводили к жениху по-хорошему, они умыкали себе невест на весенних гульбищах у вод. Выбегали из лесов и умыкали девиц из других племен тоже. И ели падалину, как псы. И в довершение всего их женки ходили простоволосые, с голыми шеями.

Олег, с которым шутки были плохи, примучил древлян, и они ему платили, хоть и роптали. Самое дорогое в их дани были черные куницы, их брали нарасхват во всех странах. Больше ста лет назад госпожа Зобеида, супруга калифа Гаруна-аль-Рашида, стала носить шубы на русских мехах, и с тех пор все знатные госпожи и господа следовали ее примеру. А черная куница шла почти в цену соболя.

Теперь древляне затворились в своих городах и не хотели давать что бы то ни было Игорю и его мужам. Уж и князь у вас ноне, говорили. Чуть не до сивой бороды прожил у Олега за спиной, на рать не ходил, только на охоту с кречетами. Идите, говорили, с вашим Игорем к такой-то матушке, ничего не получите.

Не разочли лапотники: был жив Олегов дух в Киеве! Бывалые воеводы поседали на коней и, взяв с собой Игоря, ударили на древлян. Отважней старых воевод был молодой, Свенельд, лез вперед через любую опасность. Они победили древлян и взяли куниц, белок и прочее.

После того, разохотившись, решил Игорь сходить на Царьград. Два раза ходил. Первый раз удачи не было, еле до дому добежал с остатками дружины, без золота и без славы: думал, так же просто управится и с греками, как с древлянами; пошел малой силой, на немногих кораблях, и греки пожгли эти корабли своим греческим огнем.

В другой раз кликнули варягов из-за моря и наняли печенежскую конницу. На этот раз что-то принесли домой: греки не стали ждать разорения, заплатили, и был заключен договор о мире и любви.

А пока Игорь воевал, Ольга сына родила. Положили его в зыбку, при зыбке сели сторожить мамушки. Запели про серенького волчка, про кота-воркота, про богатство — «будешь в золоте ходить, чисто серебро носить». Имя дали сыночку — Святослав.

С возрастом Игорь стал тяготиться трудами, норовил сидеть дома.

Вместо себя посылал Свенельда собирать дань и примучивать непокорных. Пока не рассердилась Игорева дружина и не сказала:

— Скучно нам у тебя. Свенельдовы отроки ходят с ним за данью, и оружие у них самое лучшее, и одеты как королевичи, и подвиги есть за каждым, чтоб покрасоваться. А мы тут с тобой сидим бесславно, наги и босы. Сходил бы куда с нами. И мы себе добудем, и ты себе.

— Ну что ж,— сказал Игорь, с дружиной ему ссориться не приходилось.

— Хоть к древлянам,— сказала дружина.— Они примучены крепко, противиться не будут. И близко. И богатые.

— И то,— согласился Игорь.

И не велел Свенельду ходить к древлянам, сам, мол, пойду. А Свенельда послал в другие волости.

Отъехали они, как всегда, в месяце грудне.

Миновала зима. Вернулся Свенельд. Прилетели журавли. Половодье спало, а Игоря нет и нет. Затревожилась Ольга — послать, что ли, на поиски, а то и самой поехать. Когда на рассвете будят ее и говорят:

— Там к тебе древляне пришли.

Она вышла на сени, а древляне, человек двадцать, стояли внизу во дворе. Она спросила:

— Что вам?

Они ответили:

— Нас послала Древлянская земля известить тебя, что мы убили твоего мужа Игоря.

Она спросила:

— За что?

— За то,— ответили они,— что он грабил нас как волк. Он за данью пришел, и сколько мы звериных шкур надавали ему и дружине его, и счесть нельзя. До последней белки все у нас повыбрал, и уж радовались мы, когда он уехал и скрип возов его стих. Но ему мало было, он дружину отослал, а сам вернулся с небольшим числом людей и говорит: еще давайте. Твой муж Игорь слишком был жадный. Он как думал? Он думал: вот я вернусь с малым числом людей и что соберу, то с немногими делить придется, не со всей дружиной. А о том, видишь, не подумал в своей волчьей жадности, что если людей с ним немного, то мы можем его убить.

Так они рассказывали, задрав бороды к высоте, на которой она стояла. На иих были белые рубахи и новые лапти, а на шеях ожерелья из серебра и бронзы, они оделись чисто, желая оказать ей уважение.

Она спросила:

— Как вы убили его?

Они ответили:

— Мы его, не обижайся, привязали к двум деревьям, пригнув их друг к дружке, потом их отпустили, и его тело разорвалось пополам. Уж очень он забрал много. И воск, и мед, и деготь, который мы думали обменять на топоры, тоже взял. Нехороший был человек. Вот наш князь Мал — хороший человек. Храбрый, и-и! Таких храбрецов свет не видел. И в охоте удачлив. Что тебе горевать об Игоре? Выходи за нашего Мала. Вдовой плохо быть, мы понимаем. Мы понимаем, что раз уж оставили тебя без мужа, то должны другого дать. Выходи за Мала, и дело с концом.

Еще спросила она:

— Где это было?

— В городе Коростене,— сказали ей,— где правит Мал. Выходи за Мала!

Женщины у нее за спиной заскулили и запричитали, а она молчала и думала, а те всё стояли внизу, задрав бороды. Подумав, сказала им:

— Вы говорите хорошо. В самом деле, почему бы мне за него не пойти? Но хочу вас почтить как сватов. Идите теперь в свои лодки. Вам туда принесут кушанье и постель для отдыха. Вы разлягтесь и отдыхайте с важностью, как сватам подобает. И когда придут от меня звать вас, говорите: на конях не поедем, пешие не пойдем, мы Маловы сваты, несите нас в лодках! Они понесут. Будет честь и вам и пославшему вас Малу. И киевляне мои увидят, за какого сильного князя я, бедная, замуж иду.

И смотрела им вслед, как они шли к воротам, на широкие спины их в белых рубахах и лохматые льняные затылки. Потом хлопнула в ладоши, и все забегало по ее слову.

Затрещали дрова, запылала солома в летних печах, устроенных во дворе под навесами. Повара, обливаясь пóтом, мешали в котлах длинными ложками, толкли пестами в ступах, рубили сечками, вертели вертела с поросятами и золотыми жирными курами. Хлебопеки, засуча рукава, могучими руками месили тесто в корытах. Тучи пара и дыма катились над двором. Загремели ключи, отпирая кладовые, погреба и медуши. Из кладовых доставали пуховые

подушки и тканые ковры. Из медуш — меды. Из погребов выносили кувшины с молоком, у которых в горле собралась сметана, и били масло.

И повезли древлянам к их лодкам — чего-чего не повезли: жареного и пареного. Пироги, перéпечи, сдобные караваи на яйцах, пахнущие шафраном, лапшу с потрохами, уху с чесноком, и молодое пенное пиво, и в осмоленных бочонках — мед: тот черно-красный, как бычья кровь, а тот прозрачный, как ключевая вода. Квасы там были, стреляющие пухлыми изюминами, овсяный кисель, богатые куриные щи, заправленные свиным салом, целые молодые ягнятки, начиненные кашей. Все устанавливалось на возах и обкладывалось соломой, чтоб горячее не стыло, а холодное не согревалось; и терпеливые волы день-деньской тянули эти возы от княжьего двора к пристани.

Уж и попировали древляне, дожидаясь Ольгина зова! За всю жизнь не было им такого раздолья, лесовикам дремучим. Выставив к небу раздутые животы, икая, в бородах пух от подушек, нежились в лодках на коврах. С присвистом обсасывали сладкие кости и кидали в Днепр. Опорожнят один бочонок — Ольгины слуги тут как тут, вышибают днище из другого: пейте, дорогие сваты, угощайтесь, бояре, пусть не скажет никто, что будущая ваша княгиня худо вас чествует!

— Не! — отвечали древляне.— Не скажем! Славно чествует нас наша будущая княгиня!

Среди слуг были служанки, молодые, на все согласные. Пленницы из ближних и дальних стран. У одной пшеничные косы, как два колоса, спускались на грудь и колени, и ходила павой. У другой голова как деготь черная, была в мелких косицах, а белки голубые, а губы сухие, в трещинах, и в знойной улыбке раскрывались снежные зубы. Третья, как корица коричневая, носила серебряные кольца на руках, ногах, в ушах, а на лбу между бровями бирюзу, а в нос у ней вдета была костяная палочка. Отроду не слыхали древляне о таких диковинах! Служанки отгоняли мух, взбивали подушки, цедили в ковши из бочонков мед и подносили ласковыми руками, древляне пили-ели, елипили, и сколько раз взошло солнце и сколько раз село, сколько съедено было, и выпито, и целовано — все потеряли счет.

А между тем рыли яму на выгоне, где паслись Ольгины коровы. Перегнали стадо на другое пастбище и рыли в сотню заступов, погружаясь в землю по мере того как углублялась яма. Холмы свежей земли высились кругом.

На коне подъезжала Ольга, заглядывала. Ее спрашивали:

— Не довольно ли?

Она отвечала:

— Копайте.

Но вот ранним утром пришли от нее к древлянам, стали будить. Древляне храпели на все Поднепровье. Когда их растолкали, они не понимали ничего и просили:

— Рассолу дайте.

— Ольга зовет вас на великую честь,— сказали посланные.— Ступайте, там вам и похмелиться дадут, и всё. Пешком пойдете? Или коней подать?

Им рукой шевельнуть было невмоготу, и они вспомнили, что́ она наказывала.

— Не пойдем и не поедем,— сказали.— Ваш князь убит, ваша княгиня хочет за нашего князя, несите нас к ней в лодках!

— Придется,— сказали посланные.— Ваша нынче сила.—И, подняв лодки на плечи, понесли.

Они их несли мимо товарных складов, стоявших на берегу, и через Житной торг, и через Подол. И, видя такое, кузнец отбрасывал свой молот, гончар спешил остановить свой круг, купец навешивал замок на дверь — все побежали за небывалым шествием.

По всему Киеву пронесли Ольгины люди древлян, мимо кичливых хором и земляных изб, и отовсюду бежал народ со смехом и расспросами, а древляне сидели и гордились, говоря:

— Смотрите, смотрите, киевляне, как нас несут! — и подбоченивались, и супились с важностью, и выламывались всем на потеху. До последнего мига гордились и красовались, до того мига, когда полетели с лодками куда-то вниз и, очнувшись от падения, увидели себя раскиданными по глубокой холодной яме, стонущими и изувеченными.

Ольга наклонилась над ямой и крикнула:

— Что, сваты, нужно вам рассолу?

— Ох,— ответили они,— трезвы мы и без рассола!

— Довольны ли,— спросила,— честью?

— Ох,— ответили,— хуже нам Игоревой смерти!

— То-то! — сказала Ольга и махнула рукой. И заработала сотня заступов, засыпая яму.

Стояла дружина, стояли киевляне, стояли рабы. Все это видели.

Некоторые пальцами правой руки стали творить на

своем лице и груди изображение креста. То христиане были.

Из ямы неслись стоны, хрипы — стихли. И не шевелилась могила больше. А заступы знай работали.

В тот же день опять пустили на этот выгон стадо, и добрые коровки живо утоптали разрытую землю.

Ольга же послала к древлянам верных людей и велела сказать так:

— Я на дороге к вам. Готова пойти, пожалуй, за вашего князя. Только сначала хочу справить тризну на могиле моего мужа Игоря. Наварите побольше медов в Коростене.

Древляне обрадовались и стали варить. У них без числа бортей было по лесам, залиться могли медом.

На всякий случай, однако, они вооружились как на битву, выходя за стены Коростеня встречать Ольгу. Но, к пущей своей радости, увидели, что при ней лишь небольшая охрана.

— Видим,— сказали,— что ты без злобы приходишь к нам. А где те, кого мы послали в Киев?

— Они за мной едут,— отвечала она,— с остальной моей дружиной. Задержались, охотясь. Ведите меня на Игореву могилу.

И тотчас все поехали кривыми тропами, пригибаясь под ветками, к Игоревой могиле.

Черны, черны, громадны были древлянские леса. Без провожатого никуда дорог не найдешь, пропадешь.

Сыростью дышала чаща. В невидимых болотах вздыхало, булькало.

В этих местах колдуны жили, умевшие превращать людей в волков.

Иногда развиднялось во мраке перед едущими. Тропа выводила на дорогу — колесный след по мураве. Открывалось поле, на нем жито росло, либо просо, либо лен.

На иных полянах пасся скот. Льняноволосые голубоокие мальчики сторожили его от зверей. За острыми частоколами виднелись крыши. Женщины в холщовых рубахах стояли у смотровых окошек, сложив под грудями руки в расшитых рукавах.

И опять погружались в лес, опять ветки хлестали по головам и хватали коней под уздцы. И выехали наконец на обширную поляну, где был насыпан бугор над Игорем.

Ольга сошла с коня, поднялась на бугор, он уж успел, горемычный, травкой порасти и цветиками запестреть. Легла и плакала, причитая что было голосу:

— Ох, злосчастье мое, отринут от меня мой ладо прекрасный! Ох, зачем мать сыра земля не погнется, зачем не расступится! Зачем не померкнет солнце красное! Муж мой Игорь, вот где лежит твое тело белое, пополам растерзанное! Вот где угомонились быстрые твои ноженьки, вот где закрылись соколиные твои оченьки! Не откроешь, не глянешь на свою Ольгушку! Не протянешь рученьки, не обнимешь свою голубушку!

Долго причитала, перечисляя приметы Игоревой красоты и силы и всё, чего ее лишила его смерть. И при этом билась головой оземь и ногтями царапала лицо.

— На кого ж,— говорила,— ты меня покинул, муженек! Без тебя я сиротинка горькая, былиночка на ветру! Кто ж теперь за меня заступится, кто меня оградит от бед!

— Мал заступится,— сулили древляне, утомясь ее жалобами и проголодавшись.— Мал тебя, сироту, оградит от бед.

Но она продолжала плакаться, пока сама не заморилась, а слушавшие к тому времени совсем изнемогли. Тем с большим рвением стали все пить и есть, рассевшись по склонам бугра и вокруг. На вершине сидела Ольга в черном платке и отдыхала от плача.

Тут пошли в ход меды, сваренные в Коростене. Разливали их и разносили Ольгины отроки, отборные, толковые: поведет княгиня бровью — они понимают.

Она поводила бровью вправо и влево и приказывала пить за здравие князя Мала. А древляне, чтоб показать ей, в какое племя она идет замуж, боролись между собой: скидывали рубахи и, сцепясь попарно, топтались перед ней. Тела их были облиты пóтом, как маслом, и поляна полна пыхтенья и ругани. А пьяные их жены толкали Ольгу в бока и показывали пальцами, чтоб она любовалась, и смеялись бесстыжие простоволосые женки с цветами в косах, умыкнутые у вод.

Потом бороться уж не могли и только песни пели, кто какие умел. А когда истек день и месяц высветился в небе — и петь мочи не стало. Как поленья валялись древляне, и мужчины и женщины. Ольга встала, затянула платок под подбородком и сказала своим:

— Рубите.

Ее дружинники вытащили из ножен широкие мечи и стали рубить подряд, так и катились головы вниз по бугру.

Уж ночью кончили свою работу дружинники. Вытерли мечи травой — не просто было найти и траву-то сухую после этакой сечи,— сели на коней и тронулись давешним путем восвояси. Хмелем и кровью пахла ночь. Ухал леший в чаще. Яркий месяц стоял над Игоревой могилой, озаряя тихо лежащих безголовых мертвецов.

Глухо прошла осеиь, за ней зима.

Засев дома, Ольга убивалась об Игоре, истово пила свое вдовье горе.

От горя посеклись ее волосы, и ввалились щеки, и сама собой скорбно качалась голова.

Бессонными, бесконечными стали ночи. Все храпят в дому, а она подымется и бродит.

Для одиноких ее блужданий зажигали на ночь в дворцовых покоях светильники.

Но всю осень и зиму работали оружейники на Подоле, заказ большой им был от княгини, и они старались.

Весной, по ее приказу кликнутые, стали стекаться в Киев молодые ребята. Ольга с башни смотрела, как их обучают на лугу: как они стреляют в цель, мечут копья и скачут друг на друга, выставив щиты.

И тронулось войско, бряцая железом.

В кольчуге и шлеме ехала Ольга среди воинов. И Святослав ехал, ему было четыре года, уже стригли ему первый раз волосы и посадили на коня.

Шумно переходили речные броды. Отдыхали в охотничьих становищах.

От просеки, по которой ехали, отделилась дорожка, сырая, оплетенная корнями, как змеями. Ольга со Святославом и воеводами поехала по этой дорожке.

Там в лесной глубине рос древний, древний дуб. Как уголь черные были ствол его и ветви, на которых едва раскрывались махонькие изумрудные листочки. Черней угля было дупло в стволе, очертаниями подобное яйцу, с гладкими, будто обточенными краями. На ветвях висели ленты, мониста, цветные тряпочки.

Вокруг была расчищена круглая полянка: дуб стоял в кольце света, в кольце небесной голубизны. А чтоб никто не коснулся этого ствола с таким глубоким, прекрасным тиснением коры, была устроена ограда из кольев. И ограда, и вся полянка заляпаны птичьим пометом.

Приехавшие подождали. Никто не выходил из-за ограды. Они покричали:

— Дедушка!

Но, видно, старик ушел борти смотреть либо в село за хлебом. Они поклонились дубу и повесили дары на его безбрежные ветви, перекинутые через ограду. Кто вешал пояс, кто запястье. Ольга повесила богатую ткань. Асмуд пригнул ветку к Святославу, и тот повесил свой тканый шерстяной поясок.

Когда показалась навстречу древлянская рать, Ольга подала Святославу копье и сказала:

— Начинай ты.

Святослав толкнул копье, но оно слишком было для него тяжелое — пролетело у его коня между ушами и упало тут же у конских ног. Тем не менее Свенельд и Асмуд сказали войску:

— Князь уже начал. Потянем за князем!

И киевляне поскакали, выставив копья и прикрывшись щитами. И древляне сделали то же самое. А съехавшись близко, мечами рубились. А то схватывались руками поперек туловища — кто кому доберется до горла, кто кого свалит с седла.

Святослава, под крепкой охраной, Асмуд поставил повыше, чтоб тому всё видеть, и Святослав от радости припрыгивал в седле и кричал:

— Ого-го!

Не выстояли древляне против обученных Ольгиных воинов и многоопытных воевод. Побежали и заперлись в своих городах. И которые города не хотели сдаваться, те Ольга жгла, и страшно они пылали, воспламеняя леса окрест. А которые, образумясь, перед ней отпирались, те она миловала. Старшин и непокорных кого перебила, кого пленила и в Киев отослала, а остальным велела по-прежнему охотиться и сеять, бортничать и гнать смолу. И назначила, чтó будут платить князю своему Святославу и ей, своей княгине.

И чтоб не было непокорства, как при Игоре, она прошла с войском по всей своей земле и всем показалась в мощи и строгости.

Установила — с кого какая дань и куда свозить.

Что исправить: где гати поделать через болота, где просеку расширить, и к какому сроку. И писцы ее записывали.

Учредила погосты с охраной, чтоб безопасно останавливаться купцам.

И разбирала жалобы, и вершила суд.

Праведный или нет, а приговор ее был последний.

Потому что за ней стояли ее воеводы и воины и потому что должен быть, для устройства, некто, за кем остается последнее слово.

До дальних границ дошла, до Луги-реки и Мсты-реки, там жители все годы жили беспризорно, норовя не платить ничего. Везде навела порядок.

Шла не спеша. Останавливалась, охотилась, смотрела, где что как. Наведя порядок, вернулась в Киев, переоделась по-домашнему и села отдыхать в своем каменном дворце.

Сидит она в чистой комнате. От натопленной печи тепло.

На лежанке мурлычет кошка.

Вдоль стен сидят женщины, прядут. Споро бежит у них между пальцами ровная нить.

А старый старик Гуда, трех князей переживший, рассказывает про старину, а певцы играют на гуслях и славят Ольгу. Голоса у певцов благозвучные, волосы маслом намазаны.

Ай да Ольга, поют, ай да княгиня! Тыщу древлян положила на мужнем кургане одной своей премудростью. Тыщей кровей отрыгнулась им Игорева кровь!

Ан не тыщу, выше забирай! Две тыщи. Три. Пять тысяч, вот сколько!

Поверили, дурни, что наша Ольга пойдет за их Мала! Ольга за Мала, как это быть могло? И того ему довольно, что на мертвую его башку поставила ногу свою. Разве что за греческого императора ее отдадим, не меньше.

Где Мал? И могилы его не найти. Где Ольга? Вот она с нами, проблиставшая молнией, прогремевшая громом!

К кому ее приравняем? К кому ж, если не к тому, чьи корабли ходили на парусах по суше? Чей щит на царьградских вратах? Кто, хитрый как змий, у Аскольда и Дира лукавством взял Киев?

Только с Олегом сравняем нашу Ольгу, больше ни с кем. Но даже его расправа не была столь пышна, и громка, и хитроумна.

Святослав вошел в годы мужества. Ему исполнилось двенадцать лет.

Среди челяди была девица Малуша. Вместе с братом

Добрыней ее пленили еще в младенчестве, выросли оба на Ольгином дворе.

Едва войдя в мужество, Святослав повадился что ни ночь ходить к Малуше. Ольга уговаривала:

— Повременил бы, сынок, хотя бы годик. Хотя бы усики подросли.

Асмуд, воспитавший Святослава, заступался:

— Живет молодец как ему живется. Пусть живет, пока жив.

— Да зачем Малуша, что ты в Малуше нашел? Чернавка и чернавка, за свиньями ходит. Возьми другую какую-либо, мало ли их у нас!

— Не хочу другую,— отвечал Святослав.

— Уж и Добрыня,— говорила Ольга,— старшим дерзить стал, перстень завел со смарагдом, в родню норовит.

Все же перевела Малушу из свинарника в дом.

Однако, переведя, призвала советников: Свенельда, Асмуда и древнего Гуду — ему было уже за сто, и говорил он по большей части о том, что было сто лет назад, но, видно, прочней молодых были его перебитые кости, рассыпаться не собирались.

— Время женить князя Святослава,— сказала Ольга.

— Время,— подтвердили советники.

— Не абы на ком, а чтоб нам от его женитьбы честь была. Что такое — земля богатая, у народов на наши богатства глаза горят, а чести мало, вовсе не по состоянию нашему нам честь.

— Бить их надо, народы,— сказал Свенельд.— Будет страх — будет честь.

— Настолько непривычны к чести,— продолжала Ольга,— что и не разумеем ее как бы следовало, даже у кровного моего дитяти нет соображения, что оно — князь над князьями, валяется дитя с чернавкой на рогоже. Вы мне скажите: какого состояния и нрава Оттон-император? Великолепно ли живет, и крепко ли сидит на престоле, и имеет ли дочерей?

— Живет, по слухам, в достатке,— сказал Асмуд,— многими владеет поместьями, живностью всякой, даже львов держит в одном из замков.

— Но до царьградских ему далеко! — сказал Гуда.

— Воин знатный,— сказал Свенельд.— Во всех концах света земли повоевал.

— Книголюб,— сказал Асмуд.— Овдовев, грамоте выучился, да так хорошо, что может в совершенстве книги читать и понимать.

— В кости играть мастер,— сказал Свенельд.

— С греческими владыками подобает родниться,— сказал Гуда.— Святослав — внук Рюрика!

— Больно гордые греки,— сказала Ольга.

— Только их цари,— сказал Гуда,— истинные базилевсы перед миром. А нынешний Константин рожден в багрянице. В его роду надо искать невесту.

— А что чести нам маловато,— сказал Асмуд,— может, и наши люди в том не без вины. Вот, сказывали мне, посылал и нам тот же Оттон монаха Адальберта из города Трира. С проповедниками, с дарами. Ну, у нас им известно что сделали: дары отняли, проповедников перебили. Сам Адальберт еле ноги унес, сказавши: «Время спасения еще не наступило для сего народа». А что человек не малый, видать из того, что после этого посольства назначил его Оттон архиепископом Магдебургским.

— Зря дали уйти Адальберту,— сказал Свенельд.— Можно было выкуп взять у Оттона.

Она их отпустила и велела позвать священника Григория из церкви святого Илии. Уже не раз она его призывала.

Пришел сухопарый грек в разлетающихся длинных одеждах. Поднял чистую руку, рукой начертал в воздухе крест между собой и Ольгой.

— Говоришь, значит,— она спросила,— что, умерев и истлев и лежа в земле в виде скелета, и в то же время буду жива-здорова у бога на небесах?

— Так,— он подтвердил,— если примешь крещение.

— Не могу понять.

— Уверовать нужно. Вера более могуча, нежели понимание. Крестись, и придет вера. Ты сейчас постигнуть не можешь, как все переменится в тебе и вокруг тебя, когда погрузишься в купель и дух святый воспарит над тобой. В тот же миг святые мученики со всех икон устремят к тебе взоры и протянут невидимо длани, готовые своим заступничеством прийти к тебе на помощь в любой беде. И в доблестном круге христианских государей ты станешь равновеликой и равночестной. И после смерти душа твоя не будет качаться на ветке, как вы, злосчастные, веруете, в виде бесстыже нагой и мокрой русалки — тьфу, невежество! — а покинув мерзкую и тленную свою оболочку, прямо вознесется в горние дали к престолу всевышнего и пребудет там в блаженстве во веки веков.

И рассказал, какой у горнего престола блеск и роскошь и поют сонмы ангелов, хваля господа.

— Оттуда,— говорил,— нисходит к нам всякая милость и всякий гнев, так что знай, если налетят печенеги — это от него наказание за грехи наши, и если печенеги отвлекутся к дунайским племенам, стало быть, он нас простил. Также если весна дружная и грозовая и хлеба политы обильно и своевременно, это господь бог дарует нам свое благоволение.

— Ох, тут нет ли ошибки,— сказала Ольга,— не Перун ли все же, мне сдается, обеспечивает поливку полям?

— Нет! — воскликнул он.— Перун тут ни при чем, и самое сопоставление кощунственно, и даже из твоих княжеских уст я не желаю слушать такую скверну! Этот дрянной истукан, которого давно пора потопить в Днепре, чтоб он расколотил свою усатую башку о пороги! Что иное все ваши идолы, как не деревянные чурбаны? Всколыхнуло ли их когда-нибудь живое дыхание? Слыхал ли кто от них хоть единое слово? Тогда как наш господь в человеческом образе являлся на землю, жил среди людей, вкушал с ними пищу, учил, творил чудеса, принял муки, преставился, воскрес, голос его звучал в садах и рощах, существующих доселе! Да и дух святый воплощался, правда, в образе голубя, зато неодиократно. Ты тяжко согрешила, приписав Перуну частицу деяний господних, и чтоб не наслали на тебя печенегов или чего-нибудь еще похуже, скажи немедля: боже, милостив бу́ди мне, грешной!

Она это повторила, потом сказала:

— Я согласна,— что поделаешь? — что оболочка моя к старости становится неприглядной и даже мерзкой, но я с ней свыклась — нельзя ли, чтоб она тоже пошла к всевышнему вместе с душой?

— Чего нельзя, того нельзя,— ответил он.— Но обещаю тебе, что в оный день твой скелет вновь оденется плотью и встанет из могилы.

— Юной плотью или вот этой?

— Юной и полной соков! Сказано: обновляется днесь естество человеков, чудно из тления преобразуемое в нетление, облекается в одежду прежней славы, уже не одержимое больше смертью.

— Когда это будет?

— При всеобщем воскресении, когда сын божий явится судить живых и мертвых, и с ним ангелы с огненными мечами. Могу сказать, когда именно это произойдет: в се-

митысячный год от сотворения мира, то есть ровно через пятьсот тридцать шесть лет с сегодняшнего дня.

Он говорил со строгостью и знанием дела. Слова текли без задержки из его черной бороды.

— Хазары тоже свою веру хвалят,— сказала Ольга.

Он высокомерно улыбнулся:

— Поезжай в Константинополь. В твоей власти снарядить корабли и ехать куда захочешь. Что ты видела? Что знаешь?! Узри своими глазами славу Христову. Если после того станешь слушать хазар — я от тебя отступлюсь: значит, душа твоя закрыта для истины. Поезжай в Константинополь, говорю тебе.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРЬГРАД

Она снарядила корабли и поехала.

Синим ветром незнакомо и дивно обдувало ее, когда они вышли в море. Раскрылся простор, какого еще не бывало перед ней.

Из простора бежали, бежали, бежали, бежали белые гривки.

Корабли грудями разрезали гривки, то сбиваясь в стаи, то протягиваясь через простор длинным караваном.

Каждый день тут был велик и полон, как эта синевой налитая чаша.

Падал ветер, и приходилось тащиться на веслах.

Ветер набрасывался, вздувались паруса, море бугрилось темными горами, корабли безумно взлетали на вершины и срывались в бездны. Тогда многим боярыням делалось так худо, что они вповалку лежали на палубе, блюя и стеная, а Ольга смеялась над неженками.

Находила черная туча, от средины к окоему резали ее молнии и терзал гром. Священник Григорий при каждом ударе осенял крестным знамением запад, юг, восток и север.

Перун угомонялся, снова воцарялся мир и блеск, и, выпуская из гладких блестящих спин высокие струи воды, мирно плыли куда-то морские чудища.

Русское море оно звалось. Потому что давным-давно мы здесь плавали.

Приблизились к чужим берегам, плыли вдоль них. Там одни пески были как серебро серебряные, другие как золото золотые, по каменным пустынным утесам ползали гады.

Черным вечером, когда, кроме звезд, ничего не видать, вдруг закопошился далеко где-то свет, сгусток света. Стал разгораться, полоской лег по морю,— месемврийский маяк, передышка в пути. Они спустили паруса и к острову, на котором стоит Месемврия, подошли на веслах. Островок спал, выставив против пришельцев враждебную крутизну берегов. Из мрака сверху окликнули — кто, зачем? Снизу прокричали — едет киевская великая княгиня Ольга к императору Константину.

Им позволили бросить якоря, и утром витязи отправились в город — заплатить за стоянку, купить припасов. По договору они не могли высаживаться на берег вооруженными. И мечи свои, отстегнув, оставили на кораблях. Но на всякий случай надели кольчуги и спрятали ножи за голенища.

Ольга сидела с боярынями и Гудой на палубе. Смотрела на высокие крепостные стены, на каменную башню маяка, рыбачьи каменные хижины, прилепившиеся к склону,— жилье в таких хижинах наверху, а нижняя часть глухая, неприступная, не хуже крепости. Слушала долетающие с берега чужие голоса... Восемнадцать боярынь с ней было и еще десять родичек псковских и киевских, а дружины двадцать человек, и послы от Святослава и вельмож. Каждый вез на продажу тюки мехов самых лучших. При каждом находились слуги для всех нужд.

Горячий и томный был Босфор, темно-синий, синее неба.

В знойном мерцании, многоцветный, окруженный садами и виноградниками, возлежал на холмах Царьград.

Сияли его купола. Белели колоннады и арки.

Сбегали с холмов мощенные камнем улицы.

Тысячи кораблей теснились в гавани. Малые лодчонки сновали между ними. С кораблей перекрикивались люди на разных наречиях.

В том числе наших людей было много: новгородских, смоленских, черниговских.

Они дожидались, когда греки перепишут у них товары, возьмут пошлины и пустят на берег.

И Ольге сказали ждать, и ждала, будто гвоздем прибитая к кораблю.

Чужой приказ прибил ту, что привыкла сама приказывать.

Чего-чего, а этого не чаяла.

— Ты чувствуй,— укреплял ее Григорий,— к кому приехала. Не к Малу какому-нибудь: к владыке православного мира. Одних служб во храме сколько выстаивает император. А доклады? А совещания? А ристания на ипподроме? А усмирение враждующих партий? А сочинение и чтение книг? Даже в путешествия возят за ним книги: богослужебные, стратегические и толкователь снов. И он их читает, несомый на носилках. Но не бойся, примет тебя, найдет время.

— Можно бы уже и найти,— отвечала.

— То нам знать не дано,— говорил он,— можно или не можно, то ему дано знать. А я давай-ка еще тебе порасскажу о страстях господних. В Святой Софии предстоит тебе лицезреть орудия сих страстей.

Раскалялось лето. На глазах менялись в цвете сады и виноградники.

Белые, береженые лица и руки боярынь потемнели от загара. Не помогали ни притиранья, ни завесы.

На тех же местах те же белели портики и горели купола. Все крыши и извивы улиц уже были известны наперечет.

Изнывая, от восхода до заката высматривали: не плывет ли гонец с известием? Но не было гонцов, только, когда солнце садилось и вечер упадал, начинали плескать воровато весла за кормой, тыкались о корабль скорлупки-лодчонки: то греки-перекупщики вились вокруг беспошлинного товара. Им спускали веревочную лестницу, вели в подпалубное помещение. Там, ножичком бережно вспоров зашитый тюк, при свечке встряхивали нежные слежавшиеся шкурки, цокали языками. Русские цокали — каковы, мол, шкурки. Греки цокали — больно дорого хочешь, господин. Нацокавшись, приходили к согласию, и грек уплывал, обмотав живот соболями и озираясь — не видать ли таможенной стражи. А господин либо госпожа пересчитывали полученные золотники — червонцы — и прятали в пояс.

Иной раз являлись иноземные купцы со своими толмачами. Кланялись Ольге и просили защиты, если им придется торговать в Киеве. Среди русских купцов самый видный был Панкрат Годинович из Новгорода. Он в Царьград приезжал чуть не каждый год.

— Полюбились тебе, видно, чужие края,— сказала Ольга.

— Где, княгиня, для нашего брата чужие края? — отвечал он.— Где золотник на золотник наживают, тот край не чужой.

— Неужто золотник на золотник?

— Бывает и больше.

— А чем выгодней торговать?

— Наивыгодней — невольниками. Купишь за безделицу, подкормишь, глядишь — ему цена втрое.

Вошел священник Григорий. Панкрат Годинович подошел благословиться и руку ему поцеловал.

— Ты христианин! — сказала Ольга.

— Без этого нельзя нам,— сказал Панкрат Годинович.— Доверия того не будет. Беру товары в долг — клянусь на кресте.

А лето уж проходило. Уже ели виноград и пили молодое вино. Глаза не могли больше глядеть на близкий и далекий, самовластный, чванный, вожделенный, ненавистный город. А гонца не было.

— С ума посходили греки,— сказала Ольга.— Каждый день, что ли, великие княгини к ним приезжают?

— Незадолго до тебя приезжали саракины,— сказал Панкрат Годинович,— так им другой был почет. Сразу приняли.

— Слышь, Григорий! — сказала Ольга.— Для саракин у твоего императора сразу время нашлось! Слышь, Гуда! Саракинам почет, а нас на солнце вялят!

— Отчаливай! — вскричал Гуда, затрясши сединами.— Довольно! Ты вдова Рюрикова сына! С ними надо разговаривать огнем и железом! Уедем и вернемся с войском, и пусть на этих холмах не останется ни куста, ни строения, ни человека!

— Замолчи! — сказала она.— Хороша я буду, вернувшись через столько времени не солоно хлебавши, до костей провяленная, курам на смех! Нет уж, теперь исход один — добиться своего, что бы ни было. Но чем саракины им лучше? Они христиане?

— Нет,— сказал Григорий.— Но они также чтут единого невидимого бога и имеют свой божественный закон, которому следуют. За то им даны многие знания, и искусство управления, и победы в битвах, и у них процветают ремесла, и зодчество, и стихосложение. Тогда как, бесспорно, деревянным болванам могут поклоняться лишь дикие народы — все равно, мочальные усы у болваиа или серебряные.

Но на этом кончилась пытка ожидания, и явились гонцы, с низкими поклонами, с улыбками, словно никакой

пытки не было и никого не провялили до костей. Гонцы известили, что император просит княгиню со свитой пожаловать в его столицу и будет рад приветствовать ее девятого сентября у себя во дворце.

В носилках с балдахином и бахромой ее понесли по городу.

Сзади ехала свита, а рядом с носилками бежал грек Феоктист, его дали Ольге, чтобы сопровождал ее.

Шел народ по улицам. Играли смуглые дети. С белокаменных галерей смотрели женщины в светлых легких платьях.

У раскрытых дверей лавчонок жарили в жаровнях миндаль.

Феоктист рассказывал, бежа в гору:

— Константинополь заложен во исполнение воли божьей. Императору Константину — не теперешнему, да продлит бог его царство, а святому равноапостольному, царствовавшему шесть столетий назад,— было ночное видение. Встав поутру, он взял копье и во главе процессии пошел по сим холмам. Копьем он намечал границу будущего города. Он вел эту черту так долго, что ему сказали: «Это уже превышает размеры самого большого города». Но он возразил: «Я буду идти, пока шествующий передо мной незримый руководитель не остановит меня». Он взял сюда лучшие украшения у городов Греции и Азии: статуи героев, мудрецов, поэтов, мрамор языческих капищ — из него сооружали храмы господни. Так как не хватало строителей, чтоб застроить столь большое пространство,— Константин во всех провинциях, даже дальних, основал школы архитектуры... Но, конечно, наибольшее великолепие город приобрел впоследствии, особенно при Юстиниане Великом и при ныне царствующем, да продлит бог его царство, Константине Порфирородном... Это здание с колоннами и статуями — бани для черни. Вот там ты видишь ипподром. От трона, с которого император смотрит на игры, вьющаяся лестница ведет прямо во дворец. Тот эллипс на вершине второго холма — с двумя триумфальными арками — это форум...

Меж камней, которыми вымощена улица, торчала тонкая трубка, из трубки текла вода. Женщины, стоя вереницей с кувшинами, подходили по очереди и наполняли свои кувшины.

— Водопровод,— сказал Феоктист.— В случае осады городу не грозит безводье: подводные трубы питаются из глубин. Устройство зиждется на знании математики и механики.

Потом смотрели Святую Софию.

— Здесь,— рассказывал бойкий Феоктист, остановясь на площади перед собором,— ты видишь, княгиня, чудо премудрости божьей. Господь наш вложил в строителей понимание веществ и пропорций, и они воздвигли этот храм на тысячи и тысячи лет, ибо нет на свете силы, кроме высшей, могущей его разрушить. Его камень скреплен смесью свинца с негашеной известью и окован железными обручами, а в удивительный сей купол, как бы поддерживаемый в воздухе невидимой рукой, положены для легкости пемза и кирпичи с острова Родоса, они в пять раз легче обыкновенных кирпичей. Погляди, как искусно сочетаются в облицовке здания различные виды мрамора: вот этот белый с черным — босфорский, желтый — мавританский, бледный с темно-серыми жилками — каристский, а розовый и пурпурный с серебряными цветками — фригийский. Истинно, ничего более прекрасного нет на земле. А строили Софию десять тысяч работников, и им каждый вечер платили жалованье серебряной монетой.

Вошли внутрь. Сколько звезд в небе, столько там пылало свечей перед иконами. Огни бесчисленно множились в гладко обточенном мраморе колонн и дробились в золоте и дорогих каменьях; от этого с непривычки зажмуривались глаза и пол плыл под ногами, как на корабле в качку.

Голос Феоктиста жужжал:

— Весь мир христианский возводил Софию, все церкви и города внесли свою лепту. Эти восемь колонн из зеленого мрамора доставлены рвением эфесских должностных лиц, а те восемь порфировых — от некой благочестивой римской матроны. Иконы писаны лучшими живописцами, которые в продолжение этого подвига усердно постились и не прикасались к женщинам. А что видишь здесь золота, оно все чистое и литое, а самоцветные камни отшлифованы лучшими ювелирами, и малейшим из них не пренебрег бы вельможа для своего украшения...

— Но что́ все это,— он воскликнул,— перед извечными святынями! Видишь портик? Ему название — Святой Колодец. Здесь воздвигнуты перенесенные из древней Самарии остатки того кладезя, возле коего господь Иисус Христос беседовал с самаритянкой. Вот сии остатки! В алтарных же помещениях хранятся орудия страстей господних: верхняя доска от его пресвятого гроба, копье же-

лезное, коим было прободено его ребро, а также сверла и пилы, ими был крест учинен для его распятия...

Грянуло пение. Пело множество голосов, согласно и прекрасно. Ольга оглянулась и не увидела, кто поет и где — справа, слева, наверху ли, внизу ли; но будто рядом пели. В могучем потоке голосов и огней было торжество невиданное, неслыханное. Ольга пошла дальше, озираясь, вся наполненная этим пением и светом, ревниво растревоженная чужим торжеством.

В садах императора били высокие струи воды, оседая бисером на цветах и листьях.

По дорожкам гуляли павлины и трясли хвостами.

За солнцем и благоуханием садов была прохлада тенистых палат.

Через каждую палату шли долго, и пройдя ее, вступали в другую, а оттуда в длинный переход к третьей, а из третьей на крытую площадку с вьющимися растениями и бьющей водой, и все разукрашено было цветной росписью и мозаикой, и со всех стен глядели не то люди, не то боги.

— Этот зал,— жужжал над ухом Феоктист,— зовется триклин Юстиниана, а этот — триклин Пиксит, а этот — триклин Кандидатов. Теперь идем по галерее Сорока Мучеников. Теперь идем по вестибулу Лихн. Анфилада слева ведет к цуканистирию, где император упражняется в верховой езде. Кувуклий Камила... Илиак Фара... Макрон Китона, ведущий к консистории... Столовая Кенургия, ее роспись повествует о подвигах Василия Македонянина, основателя нынешней династии... Приготовься! Подходим к триклину Лавзиак, предваряющему Хрисотриклин, золотой тронный зал, где удостоимся зреть императора, да продлит бог его царство.

Что в триклинах, что в макронах и вестибулах было видимо-невидимо людей. По сторонам рядами стояли стражники. Чужеземцев, светловолосых и светлоглазых, среди них замечалось больше, чем греков. Они стояли смирно, сложив на груди руки, но каждый при мече, и в узких рукавах шарами перекатывались их мускулы. Гораздо больше было народу невойскового, всё мужчины, но многие в одеждах длинных, как у баб. Маленькими шажками они сновали по каменным скользким полам и шушукались между собой, вытягивая узкие бороды. У половины, впрочем, борода не росла, ничего не росло на их желтых

мертвецких лицах, и эти держали себя особенно важно. Бородатых и безбородых, кичащихся нарядами, были здесь, должно быть, не то что тысячи, а тьмы и тьмы. Ольга спросила:

— Это кто же такие, гости?

— Государственные чиновники,— ответил Феоктист,— состоящие на дворцовой службе.

— Куда столько чиновников?

— Ну как же. При надлежащем устройстве двора чинов требуется весьма много. Всяк, кого тут видишь, имеет не только имя, но и чин, и чин значит несравненно более, чем имя, и присваивается высокоторжественней. Причем высшие чины, кроме воинских, присуждаются исключительно евнухам, ибо только они могут отдавать себя службе целиком, не будучи отвлекаемы женами и детьми. Так, например, евнух — папия, которому подчинен весь двор. И помощник папии, девтер. А также анаграфей, сборщик податей Двенадцати Островов. И если диэтарии могут быть бородатыми, то их старшины, примикирии,— никогда! Они всенепременно евнухи.

— Неужто,— она спросила,— для всех этих мужиков находится дело во дворце, хоть как он ни будь велик? Не полы же они моют.

— Славно шутишь,— одобрил Феоктист и посмеялся шутке.— Дел государственной важности у нас хватает, княгиня, на всех. Некоторые, и именно диэтарии, предназначены, ты почти угадала, наблюдать за чистотой дворца, но они лишь несут за нее ответственность, а скребут и моют слуги. Недоумение твое простительно, оно проистекает, не взыщи, из неразумения, что такое истинная царственность. В необразованных странах понятия не имеют, как изощренно распределены должности при нашем дворе. Возьмем препозита. Он ведает царским венцом, его надеванием и сниманием — допустимо ли возлагать на него что-нибудь еще, кроме этого? Когда император смотрит ристания на ипподроме, препозит стоит за ним и не смеет глаз отвести от венца, ибо ежесекундно может сесть муха, или пролетающая птица осквернит святыню, и препозит обязан удалить нечистоту без промедления. Вот тебе другой пример. Веститоры надевают на императора хламиду, а вестиариты подают ее веститорам и затем убирают в шкаф. Согласись, это разные должности, смешивать их нельзя. Есть также протовестиарий, он на особом корабле плывет в поход с царской одеждой за царским кораблем. Логофет дрома, идущий перед нами, ведает приемом по-

слов. Нипсистиарий подает императору воду для омовения рук. Каниклий — хранитель царской чернильницы. Ламповщики заведуют маслом, которое расходуется на освещение дворца, кроме масла, идущего на освещение Хрисотриклина, им заведует сам папия. Заравы отбивают на биле число часов, извещая о времени открытия и закрытия дворца, собраний чинов и смены стражи. Ясно определенные обязанности имеют все протоспафарии, церемониарии, референдарии, остиарии, силенциарии, нотарии, адмиссионалии, ипаты, дисипаты, апоепархи, асикриты, друнгарии виглы, хартуларии геника и стриотика и антиграфеи квестора. Я перечислил далеко не всех, ибо лишь император с его глубоким вниманием к церемониалу да папия с его должностной памятью могут держать в уме всю номенклатуру чинов, никому третьему это не доступно. Но поверь, каждый стоит у некоего кормила и обременен заботой, и если выдернуть из этой постройки кирпич-другой, для империи могут проистечь самые нежелательные последствия.

Логофет дрома к ним приблизился и дал наставление, как приветствовать императора. После того их ввели в Хрисотриклин.

Шестнадцать полукруглых окон, пробитых в куполе, изливали в палату свет, и она была подобна храму. На стене под куполом золотой и цветной мозаикой изображен Христос, властный и грозный, сидящий на престоле.

— Царь небесный,— шепнул Феоктист,— прообраз власти земной...

Под царем небесным находилось возвышение, закрытое завесой. Русских поставили против завесы. Раздался протяжный, плывущий звук — зарав ударил в било,— два чина отдернули завесу, за ней сидел император. Зазвенев цепочками, взметнулись кадила, благовонным дымом окутывая престол, а все находившиеся в Хрисотриклине пали ниц, и Ольга увидела кругом себя зады своих боярынь. Сама она не пала, как наказывал логофет, а лишь наклонила голову.

Пока другие лежали на полу, она разглядывала сидящего на нижнем престоле. У него была такая же бородка и такие же усы, как у сидящего на престоле верхнем, а взгляд сонный. Сидел неподвижно, как тот над ним, ноги покоились на шелковой скамеечке, одна нога выступала немного вперед, в левой руке держал свиток. Одежда его состояла из многих частей и многих драгоценных тканей, каких надменные греки никогда не продавали русским,

считая их недостойными такое носить. Особенно хороша была небесно-голубая ткань, вышитая золотыми листьями. На голове золотой венец, над ним впереди возвышался крест из пяти жемчужин диковинной величины. Жемчужные нити, три справа, три слева, свешивались с венца между ушами и щеками.

Так он сидел долгое время, давая им кому лежать задом кверху, кому махать кадилом, потом прикрыл хламидой правую руку и прикрытой рукой подал знак. Ольгу повели и посадили в кресло лицом к лицу с ним. Он сказал:

— Чаем, княгиня, твое путешествие было благополучно.

Потом:

— Чаем, в нашем городе приняли тебя достойно и ты всем благоустроена.

Толмач переводил, а кроме толмача тут как-то неприметно оказался еще человек — приполз, что ли, и прильнул на нижней ступени трона с пергаментом и тростью для письма — записывать, что́ будет сказано.

Ольга жаловаться не стала, из гордыни, а также ради того, что привело ее сюда. Кивнула и спросила о здравии царя и царицы. На что он ответил:

— Слава богу, благодарю тебя.

Толмач торопливо шепнул:

— Говори, княгиня, свое дело, беседа идет к завершению.

Ольга сказала:

— Вот мое дело. У тебя товар, у меня купец. Сын мой подрос, великий князь Святослав Игоревич, внук Рюрика. А у тебя в роду невесты есть. Ты о нас в книгах, говорят, писал, стало быть знаешь, сколько в нашей земле всякого добра и как крепчаем год от году. Была б корысть и нам, и тебе — породниться. А Святослав у меня пригожий да храбрый.

Все сказала как нельзя лучше. Но он молчал, и в длинных, усталостью затуманенных глазах ничего нельзя было разгадать, что́ он думает.

Он спросил:

— В твоей свите имеется священник. То духовник твой или катехизитор?

Она не поняла. Толмач спросил от себя:

— Ты крещена? Нет? Но он тебя наставляет? Катехизитор.

— Я хочу креститься,— сказала Ольга.

— Если сподобишься сего,— сказал Константин,— мы будем твоим восприемником.

И склонил взор, отпуская ее.

Ударило било. Ольга сошла с возвышения. Завеса задернулась. К Ольге подошли чины, поздравляя с великой милостью. Потом ее повели обедать с императором.

Это только казалось так, на деле император с семейством обедал за одним столом, и Ольгу посадили за другой, среди знатных гречанок. Гречанки лопотали и угощали, но Ольге сидеть с ними было обидно. Она недобро посматривала на императора и императрицу, парчовыми одеждами и высокой шапкой похожую на священника, когда он служил в церкви, и на детей — чахлого престолонаследника Романа и его жену, красивую девочку с бархатными бровями. Тот стол стоял высоко, взирать на него приходилось, хочешь не хочешь, снизу. И Ольге становилось все обидней, и она еле отведала кушаний и вин, хотя с утра была не евши.

Пока длился обед, хоры пели славословия императору, хваля его мудрость и благочестие и перечисляя его благодеяния, оказанные подданным. Когда певцы смолкали, являлись плясуньи и лицедеи, они плясали и чревовещали, разыгрывали представления, играли шарами и жезлами, кидая их в воздух по многу сразу и перехватывая. Иногда император приподымал свои утомленные руки и слегка ударял в ладоши в знак одобрения, тогда все принимались хлопать что было сил, кроме Ольги, которая это считала стыдным для себя и сидела нахмуренная.

Подошли чины и, кланяясь, поставили перед ней изукрашенное каменьями золотое блюдо, на блюде насыпаны были червонцы. Толмач сказал — это дар ей от императора, пятьсот милиарисиев. Привстав, она поклонилась, и Константин благосклонно кивнул. Вслед за тем подали воду и полотенца для умывания. Царская семья удалилась. Ольгу понесли на подворье святого Мамы, где стояло посольство. Толмач сказал, что подарок доставят туда же.

И правда, когда Ольга добралась до подворья, ее пятьсот милиарисиев уже лежали там на столе, сложенные столбиками. Свита ее, обедавшая в другой дворцовой палате, в пентакувуклии святого Павла, вернулась раньше, и все друг другу показывали, кто сколько получил. Племяннику Ольгиному дали тридцать милиарисиев. Двадцати послам и сорока трем должностным лицам — по

двенадцать. Служанки Ольгины получили по восемь. Почему-то столько же дали Григорию, невзирая на его сан. И чем больше он силился выказать, будто ему все равно,— тем видней было, как ему это горько, что его приравняли к служанкам, и где же? В Константинополе!

Совсем мало получили Святославовы послы: всего по пять милиарисиев.

— А блюдо где? — спросила Ольга.— Блюдо, на котором мне подали милиарисии эти.

— Княгиня,— сказал Феоктист,— блюдо не является подарком. Оно возвращается в сокровищницу.

— Так вы дарите, греки,— сказала она, не выдержав, чаша ее обиды была переполнена унижением Святославовых послов.— У нас дарят не так.

Пришел Панкрат Годинович. С глазу на глаз она ему сказала:

— Как дарили саракин, не слыхал? Жива не буду, если саракинам дали больше.

— Если и больше, то вряд ли намного,— сказал Панкрат Годинович.— Дела-то здесь не больно важные. Только пыль в глаза пускать мастера. К примеру, на пасху царь награды чинам раздает: кошельки с деньгами. Так кошелек дарится закрытый, и в него сущий пустяк положен. А то вовсе безденежно норовят отделаться. Королеве лангобардской Теодолинде маслица подарили из лампад от святых мест. Ты видела пышность одежд придворных — всё казенное: на раз выдается и обратно забирается. Сама понимаешь, что́ стоит держать такие дворцы и храмы, и ипподромы, и телохранителей, и лицедеев с танцорками.

— И печенегам платить,— сказала Ольга,— чтобы чаще нас тревожили...

Тем не менее она приняла христианское крещенье. Патриарх Полиевкт наставил ее в правилах веры, и он же крестил, а император, как обещал, был крестным отцом. Она приказала купить самое дорогое блюдо, какое найдут, и подарила патриарху. Блюдо тяжелое было, литого золота, по краю усажено жемчугом, посредине на самоцветном камне написан лик Христа. Его выставили в Софии на видном месте.

Перед отъездом Ольга еще раз побывала во дворце и теперь уже обедала на возвышении с императрицей и ее бархатнобровой юной невесткой. А знатные гречанки сидели за другим столом, гораздо ниже.

Император на прощанье еще беседовал с нею. Он сказал:

— Ты видела от нас добро и гостеприимство и через нас сподобилась вечного спасения. Было бы справедливо, если бы за наш прием ты нам прислала достойные дары.

Ласково говорил и твердо, и у нее язык сам ответил:

— Пришлю.

— Мы рады были бы получить доброго воску для свеч. И работников для строительства, нами предпринятого. И непревзойденных ваших мехов.

— Пришлю,— сказала Ольга.

— Самое же для нас дорогое — военный союз с тобой. Твои воины славятся силой и храбростью. Пришли нам войско в помощь от врагов наших. А мы будем молить за тебя господа.

— А какое будет твое слово,— спросила,— насчет моего купца и твоего товара?

— Об этом надо думать,— ответил он.— Мы подумаем.

Перед отъездом прислала спросить — подумал ли. Ей сказали:

— Император подумает во благовремении.

Близилась осень. Во второй половине листопада русские поплыли домой.

Было о чем порассказать, вернувшись.

— Принимали нас,— рассказывала,— как великую владычицу. С императором и императрицей мы обедали запросто. Дарили нас богаче всех других царей, лангобардских и прочих. И мы такими же царскими подарками отдаривали.

— Все хитрости царьградские от бога,— рассказывала.— Чему он их только не вразумил. Вода из глубин идет по трубам. Часы не солнечные, не водяные, и с колесами и стрелкой, стрелка как живая ходит и будто пальцем время указывает... В храме поют далеко, и ты слышишь — рядом, такое в стенах устройство...

Мы крестились в крестильнице святой Софии. Ковров в тот день по улицам понавешали, цветных платов, в Софии паникадила позажигали, так что слепли глаза от света, и благовониями курили. Сколько ни есть жителей, все потекли во храм, император Константин впереди: у каждого зажженная свеча в руке, каждая свеча имеет внизу чашку с ручкой, чтоб удобно нести и не капало, а поделаны свечи из нашего воска...

В крестильнице кругом купели висели завесы — как

белый снег, диаконисы стояли в белом облачении. Погрузились мы в купель — сам патриарх произнес молитвы, а диаконисы пели, а народ молился коленопреклоненно, и мы своими вот этими глазами видели, как над нашей головой высоко белый голубь пролетел в луче солнца. А был ли то голубь, случайно под купол залетевший, или же то был дух святый,— того не знаем, брехать не будем. При крещении дано нам имя, которое носила мать великого Константина равноапостольного, строителя Царьграда: Елена.

Потом, одевшись, вышли мы к народу. Пока шли, нам под ноги ковры стелили. А патриарх взошел на амвон и сказал нам похвальное слово. Благословенна ты, сказал, в женах русских! Новою влагою смысла еси черные пятна былых своих деяний. Поклонись же тому, что ты сжигала, и сожги то, чему поклонялась! И посулил, что теперь господь нас всему умудрит, как греков умудрил.

После из своих рук причастил нас тела и крови Христовой и дал нам освященную просфору, а император, наш восприемник, дал нам целование любви.

С того дня ношу вот этот крест.

Он ко смирению призывает. На нем Спаситель наш муки принял.

А патриарху сам император до земли кланяется.

Патриарх в Софии живет, в патриарших палатах — не хуже императора. На конюшне две тысячи лошадей держит, кормит их шафраном и миндалем.

Вот только царевны ихние нам не приглянулись. Те малы, те стары, та хромая, та косая. Уж нам их показывали-показывали — ни одной мы не облюбовали для нашего сына.

Святославу же она сказала:

— Вот так-то, сынок, отозвались греки на наше сватовство.

— Да ладно,— сказал Святослав и обругал греков.

— Оно верно, такие они и есть,— согласилась Ольга,— но все же пора нам в люди выходить, чтоб обращались с нами хотя бы как с саракинами. Ругай не ругай, а приходится признать — обиход не в пример царственней нашего, на престолах восседают, подобных божьему, и тебе гораздо бы приличней молиться, как ихние государи молятся, при свечах и лампадах в том же храме Илии, чем резать баранов на Перуновом холме. Я себя, по правде скажу, куда выше ставлю с тех пор, как в купель окунулась и голубь надо мной пролетел.

— Э, невидаль! — отвечал Святослав и обругал голубя.

— Божественный закон, как ни кинь, нужен,— сказала Ольга.

— Дед Рюрик оставил нам закон,— сказал Святослав.— Один на один — нападай. Против двоих — защищайся. Троим — не уступай. Только от четверых можешь бежать. Славный был закон у деда Рюрика.

И не смогла уговорить. Потому что за ним, юным дубком, стояли мощные дубы — Свенельд и другие, помнившие громкую удачу Олега, а древний Гуда твердил им закон Рюрика, и они держались старых богов, ожидая от них и впредь, с новым удалым князем, побед и добыч.

А тут в скором времени — по пятам плыли, что ли,— греческие послы.

— Император,— говорят,— повелел сказать тебе, княгиня: за прием мой ты обещала, воротившись в Русь, прислать рабов, и мехов, и воску, и воинов мне в помощь.

Она все вспомнила — затряслась от гнева.

— Скажите вашему императору,— отвечала,— когда ты у меня на Почайне столько простоишь, сколько я у тебя простояла в гавани,— тогда получишь, что́ я обещала!

И прогнала послов, и женила Святослава на киевской боярышне. А Малушу сделала своей ключницей.

СВЯТОСЛАВ

Едет Святослав перед дружиной, поет песню. Песня проносится над степью и уходит за ее край, как зыбь на ковыле.

— А-а-а-а-а...— поет Святослав.

Едет печенежский князь Куря перед своими всадниками и поет песню, и уплывает его песня, как зыбь на ковыле.

— А-а-а-а-а...— поет князь Куря.

У князя Кури лицо скуластое, с расплющенным носом, темно-коричнево от степного солнца, глаза — две косые щели, где мысли прячутся, усы свисают смоляными жгутами. На привале разобьют ему шатер, расстелют ковер, сядет князь, поджав ноги, барашка жареного с кинжала зубами рвать будет, кумысом запивать.

У Святослава широкое лицо с плосковатым носом от загара красно, как кирпич, и на нем голубые глаза смотрят неистово светло и бесстрашно, а усы свисают соломенными жгутами. Волосы острижены, один оставлен длинный чуб в знак высокого рождения. Полотняная рубаха распахнута на груди: презирает Святослав и солнечные ожоги, и печенежские стрелы. На привале разведет с дружинниками костер, нарежут тонкими ломтями конины или зверины, испекут в угольях. Поев, спать завалятся на конских потниках, седло под голову. Не водят за собой стад, не таскают котлов для варки, возы с оружием и броню не громыхают им вслед: чего нельзя увезти в седле, то им без надобности. Любишь негу — к Святославу не просись, не возьмет.

Зато передвигается легко, как гром с ясного неба ударяя там, где его и не ждали. Легок и на коне, и в лодке с веслом. И на ходу: как рысья лапа, бесшумно и цепко ступает небольшая нога в мягком сапоге.

Как гром он грянул на Белую Вежу. Хазары благодушествовали, не чая беды. Противились недолго, каган побежал. Хазары брали дань с вятичей. Святослав напал на вятичей, побил их, велел впредь ничего хазарам не давать, ему давать, Святославу.

Потом доброе сделали дело в Итиле. Что было на итильских складах товаров, все досталось Святославовым молодцам. Потом спустились по Волге к Семендеру. Этот был не бедней Итиля, весь в плодовых садах, город сытый, деятельный и невоинственный, где племена, даже враждующие между собой, сходились для торговли. Там мирно уживались всякие веры, много ценностей было припрятано в мечетях, синагогах и христианских церквах.

Ходил Святослав на ясов.

Ходил на касогов.

На древнее Тмутараканское княжество.

Всех, сердечный, бил подряд.

Хвалили его за нестяжательность в дележе: ему первей всего было — походы и сражения, добыча уж после.

Дружина умереть за него была готова.

Возвращаясь для краткого отдыха в Киев, Святослав спал с женой н с Малушей.

Родила ему жена сына, Ярополком назвали.

Сама в родах умерла. Второй раз Ольга женила Святослава на девице из Новгорода.

Святослав с ней поспал, а когда она понесла младенца, он опять к Малуше. Как рассядутся по небу звезды и стихнет во дворце — Святослав уже в Малушиной светелке.

Теперь не на рогоже спит Малуша: на пуху и беленом полотне.

Подарки ей из походов — самые лучшие.

Малушин брат Добрыня носит перстни на всех пальцах и с челядью держит себя господином. С Ольгой уклончив, Святославу смотрит в глаза — ждет чего-то.

А Святослав уж отдохнул и уходит снова, кинув на Ольгу семью и правление. Едет перед дружиной, поет:

— А-а-а-а-а...

Солнце жжет, коршун кружит, в зыбком мареве встают, в садах, неведомые города. Сласть! А женок на свете всюду предовольно.

К Ольге пришла старость.

Стали руки узловатыми и жиловатыми.

Набрякли мешки под глазами. И как ни наводи брови багдадской краской — не те уж брови: будто моль тронула.

Все равно, и старыми руками держи бразды, не отпускай: князь-сын — в нетях.

Теперь ждать, покамест подрастут князья-внуки.

Вот второй, слава богу, рожден благополучно. Послала Ольга к Святославу гонца с счастливым известием. Олегом назвали — славное имя, предвещает долгую жизнь и удачливое княжение.

Лет через несколько Малуша мальчонку принесла. Начались между бабами ревность и свары: мой-де лучше — брешешь, мой лучше. Твой — рабий сын. А вот он вырастет, он твоему сморчку покажет. Не стала Ольга терпеть такого неблагообразия нецарственного. Дала Малуше село Будутино поблизости от Киева — владей, кормись там с дитем, бог с вами. Добрыня, свистун, пусть защитой вам будет.

Святослав в избе сидел с товарищами и играл в кости. День был жаркий, они поскидали рубахи и сапоги и сидели в одном исподнем, и так нашел его греческий посол Калокир.

— Обожди,— сказал Святослав.

Калокир присел на лавку. Святослав доиграл и повернулся:

— Чего надо-то?

— Я тебя искал с опасностью для жизни,— сказал Калокир,— потому что посольство мое особой важности, я не мог ждать твоего возвращения в Киев. Император Никифор, да продлит бог его царство, тесним с двух сторон, арабами, и болгарами, и ищет твоей помощи. Он будет друг твой до конца дней, если ударишь с Дуная на болгар.

— Сколько? — спросил Святослав.

— Десять кентинарий золота.

— Подумаю с дружиной,— сказал Святослав.

Они подумали, и он сказал Калокиру:

— Вот наше слово: пятнадцать кентинарий будет не то чтобы много, но, пожалуй, довольно. А остальное мы возьмем сами.

— Прекрасный и пресветлый великий князь! — воскликнул Калокир.— Моим глазам радость смотреть на тебя, моим ушам радость слышать твои мужественные речи! Лишь истинный герой так не щадит себя самого и других, как ты не щадишь! Ты подобен великому Александру! Киру! Цезарю! Что пятнадцать кентинарий? Будь я император, я бы всей казны для тебя не пожалел! О, если бы я был императором, я бы распахнул перед тобой дверь сокровищницы — черпай сколько душа хочет! О, помоги мне такая рука, как твоя, занять престол — на что имею прав не менее всех других по благородству крови и по способностям,— чего бы я пожалел в награду? Ничего! В том числе — я бы оставил этой достойной руке Болгарию во владение. Болгарию, э?

На это ничего не сказал Святослав, только пронзительно светло смотрел на Калокира голубыми глазами. Уговорились о пятнадцати кентинариях.

Святослав пошел с дружиной и легко вошел в Болгарию, изнуренную войной. Огляделся и полюбил эту страну. Горы в ней были — крепости, воздвигнутые без человеческих стараний. Долины преисполнены плодородия. Люди доблестны, красивы и трудолюбивы.

Он облюбовал себе на Дунае город: Преслав, и стал его устраивать: укрепил стены, расширил и углубил крепостной ров. Император прислал сказать ему:

— Что же ты? Кончил дело, получай плату за труды рук своих и уходи.

Святослав ответил:

— Русь не поденщики, чтоб питаться трудами рук своих. Вы, греки, прочь идите из Болгарии и думать о ней забудьте.

И горными дорогами двинулся на греков.

Дорогами, где в пропасть скользит нога и водопады ниспадают по скалам прядями белой пряжи.

Где сосны растут без земли, уцепясь корнями за голый камень.

С Русью шли болгары и венгры.

И женщины были с ними, вооруженные как мужчины, умевшие биться копьем и ножом.

В тесных ущельях греки выскакивали вдруг, скатывали сверху каменные глыбы. Где местность позволяла, Святослав вызывал их на открытый бой. Какой-то грек в рукопашной схватке ударил его мечом по голове, сшиб с коня. На Святославе шлем был крепкий — обошлось. А грека тут же изрубили в куски.

После боя местность покрыта бывала телами и щитами. Святослав и его воины рубили деревья и складывали костры. Они отыскивали своих среди убитых и сжигали, и над пылающими кострами закалывали пленных, творя отмщение.

В горах стояли монастыри.

В один монастырь пришли ночью. С факелами шли по темному переходу, факелы озаряли каменные шершавые стены и балки над головой. Святослав рванул низкую дверцу — из мрака проступил девичий узкий лик под монашеским покровом, черные очи с крыльями ресниц, распахнутые ужасом, губы — два бледных резных лепестка. Уж каких не видал, но на эту красоту взглянул с изумлением. Велел вести за собой. Девственницей была гречанка эта, постриглась недавно. Он ее не тронул, послал старшему своему сыну Ярополку.

Отдыхать от походов Святослав возвращался теперь не в Киев — в Предслав на Дунае.

Сначала киевляне ничего не заметили: спали после обеда и не видали, как на той стороне, за Днепром, поднялись столбы дыма. Проснувшись, занялись кто чем и опять-таки не сразу обратили взор куда следовало, а обратив, не сразу уразумели, что эти бледные, как бы из тонкой редины, дымы, тающие в знойной дали,— знаки опасности, весть, что показался враг. Ну, конечно, побежали на княжий двор, объявляя по дороге встречным:

— Печенеги!

Когда Ольга, постукивая клюкой, поднялась на башню, крепостной вал кипел и гудел народом, глядевшим туда, откуда грозила напасть. И Ольга разглядела дальнозоркими старыми глазами, как ползут в траве печенежские кибитки.

Кибитки ползли медленно, вразвалку, как ползают в травах большие жуки. И, как жуки, то разбредались, то собирались в кучки.

В кибитках ехали их жены и дети.

Кибитки остановились. Было видно — там тоже жгут костры: пищу готовили.

Выпрягли лошадей: не спешили.

— Вишь, дерзкие! — сказал Гуда.— Как близко подойти осмелились!

— Раскаются,— сказала Ольга.— Ужо задаст им Претич.

Воевода Претич стоял с войском на том берегу для защиты со стороны степи.

Вдруг с вала крик раздался:

— Печенеги!

За Лыбедью показались всадники.

Отряд за отрядом выезжал из леса — видимо-невидимо — степные мелкопородные лошади, барашковые шапки.

Как они сюда пробрались, кто знает. Верно, ночью переплыли Днепр. Их лошади плавали в самых глубоких реках.

Что сделалось! Горохом посыпался народ по домам, за семьями и имуществом.

Дом не унесешь. Но можно одежу взять. Топор. Кувшин с зерном. Пряжу. Полотна, которые сама ткала, и мочила, и на солнце белила.

Ребятишки на плечах, корова на поводу, пес сзади сам бежит,— спешили киевляне укрыться в городе, за валом. Скрипя, закрылись городские ворота. Расселись люди по улицам со своими пожитками. В Киеве войска не было, печенегов не ждали с этой стороны, Свенельд был в Болгарии со Святославом,— оставалось надеяться лишь на Претича, что узнает о беде и придет выручать.

А в покинутых, неукрепленных концах Киева рассыпались печенеги на маленьких лошаденках. А на том берегу их жены кормили грудью детей и готовили пищу, ожидая своей части добычи, а Претич где-то ходил с войском и ничего не знал. В последний час перед тем, как сомкнуться кольцу осады, отъехал от Ольги гонец в Болгарию.

Сидели осажденные на земле под небом.

Сперва ели свои запасы. Потом Ольга стала кормить.

Она их оделяла, в справедливом равенстве, хлебом и мясом и квашеной капустой, пока еще оставалась с зимы. Но, не видя исхода своему сидению, они день ото дня становились злей и ругали ее корма на чем свет стоит — и скряга

она, и кормит не вовремя, и капуста у нее тухлая. Почти так же ее поносили, как Претича.

Съели зерно. Съели коров и свиней.

Выпили воду в колодцах.

Душными ночами кричали на зловонных улицах бездомные младенцы на руках у бездомных матерей.

Младенцы умирали от живота.

Стали и взрослые умирать. Закапывали где придется.

Воевода Претич вышел к Днепру против Киева и увидел на правом берегу несметную силу печенегов. Войско сказало:

— С такой силой разве мы можем биться. Они нас перебьют, едва мы из лодок наземь ступим.

И, видя, что Претич стоит там бездельно и надежды больше нет, киевляне заговорили:

— Коли так, сдаваться надо. Один конец. Все равно пропадем от голода и жажды.

Один юноша умел говорить по-печенежски. Он взял уздечку и тихонько вышел из города. С уздечкой ходил среди печенегов и спрашивал на печенежском языке:

— Моего коня никто не видел?

Так, будто бы разыскивая коня, дошел до Днепра. А там скинул одежду и поплыл на ту сторону. Стрелы полетели ему вдогонку, но он уже был далеко, и воины Претича плыли в лодках ему навстречу. Он им сказал:

— Если не сделаете приступ, киевляне откроют печенегам ворота.

— А что пользы,— они спросили,— если и сделаем приступ?

Но другие стали говорить:

— Хоть княгиню с княжатами выхватить из города. Если убьют их или угонят в плен — Святослав, как придет, нас всех погубит.

И самые осторожные тут задумались.

Они совещались всю ночь и придумали хитрость. Чуть свет сели в лодки и затрубили изо всех сил. Из Киева откликнулись ликующие трубы.

— Святослав! — заорали печенеги, вскочив спросонок. Разбежались по лесам и попрятались. А Претич, не зевая, погнал лодки к Киеву. Ольгу на руках снесли на берег с двумя внуками и невесткой и посадили в лодку.

Но что там за туча над дорогой? Пыльная туча до небес, в ней мелькают конские бешеные ноги, конские груди, шишаки.

— Святослав! — вскричали Претичевы воины.

— Святослав! — стоном пронеслось со стен осажденного города.

— Свя-то-сла-а-ав! — аукнулось в лесах.

— Святослав, дитятко! — прошептала Ольга.

Он мимо в туче промчался и погнал печенегов. Многие из них были порубаны под Киевом. Другие потонули, второпях переплывая на левый берег. А которые бежали, те так неслись степью, что конские копыта вырывали траву с корнями.

— Сынок,— сказала Ольга,— видишь, ты чужой земли ищешь, чужую блюдешь, а нас тут чуть-чуть печенеги не взяли.

Он сидел, после бани чистый и еще более красный лицом, на нем была полотняная белая одежда и в ухе серьга с жемчугом и рубином.

— Они опять придут, если ты уйдешь,— сказала Ольга.— Останься с нами!

— Мати моя! — отвечал он.— Завязаны у меня в Предславе великие дела. Что ж, бросить, не развязав?

— Хватает великих дел и у нас в Киеве.

— Мати, на месте сидя не много сделаешь.

— Те, кто тебе оставил Киев, тоже на месте не сидели. Однако свое княжество им было как зеница ока.

— Кто мне оставил Киев,— сказал Святослав,— дошли до предела своего. Мне — раздвигать пределы. Много ли они достигли, ударяя на греков с моря? Болгарские горы — подступ к Константинополю.

— Разве нельзя поближе где раздвигать пределы?

— Нет,— отвечал он.— Не ты ли меня учила — время нам в люди выходить?

— Будь у меня те прежние силы,— сказала Ольга,— я б сама тебя послала на то, что ты, мой отважный, затеял. Но погляди, я уж дышу едва. Что здесь будет без нас с тобой? Неужели тебе не жалко ни отчины, ни деток?

Тогда, чтоб ее утешить, он стал ласково ее уговаривать, рассказывая, как прекрасно он живет в Предславе.

— Ты бы посмотрела,— говорил он,— на тамошний торг: со всех сторон туда везут всё доброе. Посмотрела бы, в каком дворце мы живем с дружиной. Даже палата, где мой конь стоит, резным мрамором украшена.

— Сыночек,— она сказала,— ты меня за дитя считаешь, что ли? Будто я не знаю, что тебе резной мрамор нужен столько же, сколько коню твоему? А вот ты знаешь

ли, что в порогах стоит печенежский князь Куря, по-ихнему означает Черный, и этот Черный князь поклялся из твоего черепа сделать себе чашу для питья? Останься, родной!

— Я вятичей покорил,— отвечал Святослав,— я Тмуторокань покорил, что мне князь Куря! Не проси, пусть Русской Землей сыновья управляют, им отдаю.

И стоят перед ним два мальчика в шелковых красных рубашечках, бойкие мальчики, от рождения привыкшие быть господами. И он говорит старшенькому, женатому на гречанке-монахине:

— Тебе, Ярополк, отдаю Киев.

И младшенькому:

— А тебе, Олег, Древлянскую землю. А прочие волости вы сами между собой поделите.

Но есть в селе Будутине еще сын, меньше Олега, совсем несмышленыш — Владимир, сын Малуши. И ходит кругом Святослава Малушин брат Добрыня, дядя Владимира, заглядывает Святославу в глаза, шушукается с послами. Говорят новгородские послы:

— Вот, древляне своего князя получили. Дай и нам князя из твоего рода.

— Кого ж я вам дам? — сказал Святослав.

— Не то мы сами найдем,— сказали новгородцы.

— Хочешь к ним? — спросил Святослав Ярополка.

— Нет,— ответил тот,— не хочу.

— А ты? — спросил Святослав у Олега.

— Не хочу,— сказал и Олег.

— Владимира дай,— сказали новгородцы.

— Он же младенец еще.

— И хорошо: вырастет с нами и будет чтить наш обычай.

— Ну берите,— сказал Святослав.

Новгородцы взяли маленького Владимира и его дядю Добрыню и повезли к себе на север. А Святослав стал собираться обратно в Болгарию.

Настал день его отъезда. Он поцеловался с Ольгой и поклонился ей в ноги, и она его перекрестила.

Дружина с наточенными мечами, на начищенных конях поджидала его. Он сел на своего коня, и тронулись.

Постукивая клюкой, взошла Ольга на башню-смотрильню — поглядеть ему вслед.

Очень высокая стала эта башня.

Без числа ступенек у лестницы.

Еще ступенька.

Еще.

Идешь-идешь — всё перед тобой ступени. И на каждую ведь подняться надо.

После его отъезда она прожила недолго. Ее похоронили по христианскому обряду. Через много лет ее внук Владимир перенес ее прах в Десятинную церковь.

1966

СКАЗАНИЕ О ФЕОДОСИИ.

ВОСХОД

Глубокой ночью Феодосий поднялся с постели.

Он спал на полу, на старом утоптанном войлоке. Хотя была в комнате лавка с пуховиками и с одеялом на заячьем меху и мать приказывала спать на лавке.

Месяц ярко светил в окошко, озарял беленые стены комнаты и стоящего посредине Феодосия.

Феодосий слушал.

Тихо.

Он выглянул в окно. Пустой двор бел от месяца. Черная тень амбара. Черная Жучка. Жучка увидела, что он выглянул,— замотался черный хвост.

Время.

Все было собрано с вечера. Котомка, в ней житный хлеб и пара лаптей в запас: идти далеко. Лапти подшиты кожей для прочности.

Надел котомку через плечо. Потянул дверь. Петли тоже с вечера смазал; не заскрипели.

О господи, как грабитель ночной уходил он из родительского дома.

Дом большой был, из самых богатых в Курске. Наверху жили Феодосий и его мать. Внизу была поварня. Двор обставлен постройками — склады, мастерские, нужники, жилые избы. Все обнесено бревенчатым высоким забором, бревно к бревну приставлено плотно. По забору гребнем — железные шипы.

Феодосий спустился по лесенке. Рядом с ним по стене, в столбе лунного света, спускалась его тень. В сенях поперек двери спал на полу слуга. Феодосий перешагнул, двинул засов — бог помог отодвинуть бесшумно.

Жучка налетела, едва Феодосий показался на пороге, лапами уперлась в грудь, задышала, заплясала. Он ее отстранил. Не до прощаний. Застигнут — не помилуют.

На воротах замок с калач величиной. Ключ на ночь мать забирала к себе. Но в дальней стене забора, в зарослях крапивы, где были свалены старые гнилые бочки и куда никто не ходил, у Феодосия давно уже было подкопано одно бревно. Сперва оно никак не хотело пошевеливаться, сколько он его, подкопав, ни расшатывал,— сидело недвижно, будто пустило корни в толщу земли. Но помаленьку, раз за разом, он его раскачал; и теперь оно поддалось без труда — наклонилось внутрь, во двор, настолько, что Феодосий мог вылезти в проулок.

Проулок, неширокий, непроезжий, весь был перекрыт тенями заборов и крыш. Соседские псы залаяли было; но распознали соседа и успокоились. Шепча молитву, Феодосий поспешно зашагал по мягкой мураве. На отчий дом он не оглянулся.

В доме господствовала мать. Подбоченясь, расхаживала она по своим владениям, и челядь боялась ее зычного голоса и тяжкой руки.

Она любила поесть, ее кладовые ломились от копчений и солений, а щеки у нее были без румян как яблоки красные.

Любила почет и в церкви норовила пробиться туда, где стояла супруга посадника, и состязалась с той в нарядах и в спеси.

Мужчин любила. Рано овдовев, приближала к себе то одного молодца из рабов своих, то другого.

После смерти мужа она держала в руках большую торговлю. Сама ею управляла и радовалась, что ее достояние множится.

Но всю сладость жизни ей портил Феодосий. Каждый день он ей отравлял горьким ядом. С малых лет только и знал что молился — это при таких достатках!

Другие дети играют — он не хочет. Другому мальчику справят новый кафтанчик, новые сапожки — мальчик рад. А Феодосий скинет обнову и наденет старое, да еще выбирает что похуже.

— Да ты что! — скажет мать.

Он в ответ:

— Матушка, богатая одежда господу неугодна.

— Да ты почем знаешь!

— В писании — прикажи, прочту тебе — сказано о гробах раскрашенных, у которых смрад внутри.

Мать чуяла в этих гробах обидное что-то и бранилась, и пинком прогоняла сына прочь. А он, опустив голову, выслушивал брань и шел в церковь. Уж так любил церковь! Что б там ни происходило — все ему отрада. Литургия идет — он от торжества светится. Принесут покойника — Феодосий тут как тут, стоит со свечкой среди сродников умершего и подпевает: со святыми упокой. В великий четверг читают двенадцать евангелий — он дослушает до конца, вслед за чтецом повторит всякое, самое малое даже словечко.

— Ведь уж наизусть знаешь,— наставляет его мать,— что тебе за удовольствие слушать? Послушал немного, помолился, к иконам приложился, ну и ступай домой. Это ж ноги отвалятся — все службы выстаивать, что попы навыдумывали. Только черноризцам оно прилично да нищим, которые от этого свою выгоду имеют, а не нам, богатым людям.

— Матушка,— отвечал Феодосий,— ошибаешься ты. Когда знаешь наизусть, тут-то самая радость — услышать заново каждое слово. Ты его любишь бесконечно и заранее ожидаешь встречи с ним. Видишь, как оно приближается и как другие слова приуготовляют его явление, и душа стремится ему навстречу и ликует, когда встреча свершается. Как мне прискорбно, матушка, что не могу разделить с тобой эту радость.

Мать не понимала, что́ он говорит.

— Ох, зачем,— восклицала она своим зычным голосом,— зачем я ему позволила выучиться грамоте! Из-за нее он такой, из-за проклятых аз-буки, буки-аз! Да для кого ж мы с отцом твоим покойным богатство наживали!

Он:

— Не о богатстве надо думать, а о спасении души.

Она:

— Все душа, а плоть куда денем?

Он:

— Подчиним душе.

— Ой, сын, не спорь ты. Ой, покорись мне.

И пот с ее лица лил, так жарко она желала, чтоб он жил не по-своему, а по ее.

— Я рад бы, матушка, тебе покориться,— отвечал он с состраданием,— и заповедь велит покоряться родителям. Но если все покоримся, кто ж будет богу служить?

И опять она принималась ругаться и бить его своими большими кулаками, крепкими как железо, так что он уходил от нее весь в синяках.

— Не слишком ли ты к нему строга,— говорили ей

многие, сам посадник говорил, видя эти синяки,— теперь ведь не старое время, смотри-ка — из таких-то и таких-то семейств побрали ребят в Киев в школе учиться,— ты бы своим гордилась, что он, дома сидя, стал грамотей почище наших попов. К достатку да разум — могут быть ему, как возмужает, и прибыльные должности, и почести от людей.

— Никакой от того прибыли быть не может! — отвечала мать.— Один срам и разоренье! Давеча рубаху с себя снял и отдал кому-то: у него, говорит, не было. Да мало ли у кого рубахи нет. Этак после меня всё раздаст и пойдет с сумой, костям моим на позор.

А у него свои заботы. Просвиры стал печь. В Курске только одна старушка пекла просвиры, и всегда их не хватало; и нельзя было служить литургию, которую Феодосий так любил. Он и решил печь просвиры, чтоб всегда их было нужное количество. Очень по сердцу ему это пришлось. Встанет, когда все еще спят, уложит в печи дрова, выбьет огонь. Пока пылают дрова, замесит тесто, разделает его на выскобленном добела столе, а когда дрова прогорят, разгребет жар и поставит просвиры печься. И всякий раз ему внове это чудо — что из бледного теста, сыро пахнущего, сила огня и креста сотворит плоть божью, спасение человеков. И с замиранием шепчут его губы:

— Господи, благодарю тебя, что сподобил!

Мать было запретила; но посадник, по жалобе священника, вступился, теперь уж с суровостью, и Феодосий предавался своему занятию сколько хотел. Так как она ему перестала давать хорошую одежду и ему нечем было подавать милостыню, то он свои просвирки продавал и вырученные деньги раздавал бедным. И видя его, истаявшего от постов, смиренного, одетого чуть не в рубище, некоторые его самого принимали за нищего.

Однажды мать поехала в одно из своих сел, распорядиться там по хозяйству. Возвращается, ей говорят — Феодосий пропал. Как так пропал? Да нет его уже три дня. Искали по всему городу, расспрашивали — никто не видал и не знает.

— Бездельники вы! — она сказала.— Изменники вы! Так-то за моим сыном смотрите, своим господином! Говорите, что еще было в доме без меня, кто заходил и что говорил.

Ей отвечали, что никто не заходил, кроме странников, которые шли к святым местам и попросились переночевать, и их в старой бане, покормив, уложили.

— А видел ли этих странников,— спросила она,— ваш молодой господин?

— Так,— отвечали. — Видел, когда они вечеряли в поварне, и говорил с ними.

— Дурни вы, дурни! — сказала она. — Бороды у вас долгие, а ум куцый! Со странниками он и ушел, и если вы мне его не сыщете, пеняйте тогда на себя!

И разослала отряды конных слуг по дорогам, идущим от Курска, искать тех странников. Слуги поскакали, взбивая пыль, и через сколько-то времени привезли Феодосия домой.

Безмолвно понурясь, стоял он перед матерью, светлые слезы катились по его пыльным щекам. Она увидела пятна засохшей крови на его рубище, на плечах и спросила страшно:

— Это что?

Раскрыла его одежду, увидела железные вериги, продетые сквозь кожу, и рванула их с такой лютостью, что кровь потоком хлынула.

— Нет! — сказала.— Если с тобой нянчиться — погиб ты во цвете лет!

И била, как еще не била, жестоко. Он же, пока память не потерял, твердил:

— Матушка, родимая, как мне тебя жалко! — и молился за нее, чтоб спас господь ее, бедную. Потом закатились его глаза. И легкого, словно бескостного, она его швырнула в чулан возле своей спальни и заперла.

У запертой этой дверцы два дня ходила, ломая руки. На третий, испугавшись, что он стонать перестал, принесла ему поесть и воды ковшик. Велела вымыть в бане, одеть в чистое и уложить на мягкую постель, под одеяло на заячьем меху. Он отлежался. Пошла их жизнь по-прежнему.

По-прежнему пошла жизнь, только Феодосий стал совсем уж молчалив и неулыбчив, люди думали — тронулся умом от ее свирепств. И когда она теперь уезжала из дому, то надевала ему на ноги железную цепь, чтоб не убежал.

И всё же убежал, и вот — шел по ночному городу.

В ту обетованную сторону, где, угасая, месяц закатывался за городскую стену.

На серебряных разливах облаков грузно и грозно чернела толстая стена с четырехугольной башней.

Меркло серебро. Серел воздух.

Утро скоро.

Скрипя колесами, проехала где-то телега.

Вдоль забора крался молодец в высокой шапке, в востроносых сапогах; коротким плащом прикрывал лицо; через руку, держащую плащ, взглянул, проходя, на Феодосия чудно блестящими глазами,— и разошлись: один от тайной зазнобы к томному сладкому сну, другой — к богу.

У запертых городских ворот дожидались люди. Слуга из дома посадника спросил Феодосия:

— На богомолье?

— На богомолье.

— Отпустила мать?

— Отпустила,— ответил Феодосий и помолился, чтоб бог ему простил его ложь.

Перекликались петухи. Явился сторож в шишаке, с палицей. Поставил палицу, и ожидающие помогли ему снять засов и отворили многопудовые ворота, животами и ладонями налегая на створы. Феодосий вышел за другими горожанами.

Предгородье уже встало. Визжал колодезный ворот. Бабы выходили из хлевов с подойниками пенного молока. Резво выбегали коровы, пастух скликал их дудкой. Два мужика, закатав портки выше колен, ногами месили глину в неглубокой яме. Дома в предгородье были малы, кой-как построены из хворостяного плетня, обмазанного глиной, кой-как плетнем огорожены. Идя вдоль плетней, Феодосий услышал ругань и помолился: господи, прости им, не ведают что творят, черным словом встречают день твой.

Чистый ветер наполнил грудь. Кончились плетни, открылись просторы: поля, луга, рябь хлебов под ветерком. По краю земли тёмно синели леса... Теперь — скорей по траве, по росе в сторону, прочь от дороги, где каждый миг может настичь погоня, каждый миг могут крикнуть сзади: «Гей!»

Он шагал, шагал, промочив онучи, пока не затемнелась та балочка. Оглянулся — никто за ним не идет, и города уж не видать, и солнце всходит.

Как красно оно всходило! Алые реки разлились на полнеба, и земля пылала, как подожженная. Но скоро схлынуло красное, и солнце яро, весело полетело в высоту. К нему тянулись, на него во все глаза глядели цветы с земли: кашка, иван-да-марья, богатые ромашки — серебро с золотом, голубые звезды щербака, что раскрываются поутру и сжимаются, блекнут к полудню, благоуханные

колокольчики бело-розового вьюнка, вольно раскидавшего везде свои побеги.

Феодосий стал спускаться в балочку. Склоны ее заросли кустарником. Потянуло холодом по ногам. Из глуби вздымались темные купы деревьев.

Прошлый раз его изловили и вернули, потому что он шел открыто. Теперь будет идти ночью, днем таиться. Принять муки ради господа — хорошо; но уж лучше от разбойников, не от матери.

Он спустился в диковатый сумрак, где бежал родник. Они не догадаются, что он прячется так близко от города. Поскачут далеко, нахлестывая коней. А он тут тихохонько перебудет до темноты.

Говорили — в этих мокрых, перепутанных, никогда не кошенных травах во множестве водились гадюки. Но ни одна даже голову не высунула, когда он сел, выбрав поглуше местечко. Достал хлеб из котомки, отломил кусочек, поел. Прилег — шапка вместо подушки — и заснул под говор родника.

Калики перехожие, паломники, по-иностранному пилигримы, повстречались Феодосию в одну из ночей его странствия. На лесной опушке они развели костер и варили пшенную кашу; и он, послушав из-за кустов их разговор, подошел. Они его расспросили, покормили и сказали:

— Идем с нами. Мы тебя проводим через страшные места до бесстрашного.

То не были калеки горемычные, отнюдь: здоровенные парни в расцвете юной силы, плечистые, горластые. У кого лицо опушено юной мягкой бородкой, кто без бороды еще. Когда они останавливались у чьего-нибудь двора и, ударяя в ворота клюшками,— вот-вот падут ворота,— кричали: «Ого-го! Подайте Христа ради!» — дрожали хозяева, трясущимися руками в заборное окошечко выставляли подаяние. Разбойник уходил со своим кистенем подальше в лес, заслышав пение паломников на большой дороге. Хотя пели они не что иное, как благочестивые псалмы царя Давида.

С этими лихими ребятами Феодосий безбоязненно мог идти днем: они б его отбили от любой погони. Но не являлась погоня. Видно, своей хитростью он их запутал, и они, поискав напрасно, вернулись домой.

Только один в ватаге был с проседью, хоть и бодр. Тоже по дороге пристал. Звали его Имормыж. Вечерами у костра он всё допытывался: почему они оставили свои молодые,

молодецкие дела и идут ко гробу господню, что́ им гроб господень?

— Как что? — они возражали. — А подвиг-то! Чай, не одна цена — тому, кто был в Иерусалиме, и тому, кто не был!

— Другие бы вам подвиги,— качал головой Имормыж,— по вашей богатырской силе.

— Это драться-то? — спрашивали с насмешкой. — Сражаться? Чересчур, дядя, легко. Всякий может, у кого кулаки здоровые. Так что и за подвиг нынче не считается. Другое вменяется в подвиг: вот если бы мы, к примеру, так могли противоборствовать своей плоти и так ее усмирить, как смог Феодосий. Знай, что он и есть истинный богатырь нашего времени, хотя у него истерзаны плечи и спина и при быстрой ходьбе он задыхается, как загнанная животина. Но именно потому он и есть богатырь, если ты, дядя, можешь это уразуметь. Имевши богатство и всякую роскошь, по доброй воле от всего отказался и с ликованием пошел на лишения, на невзгоды и боль,— не в этом ли наибольшая мощь, какая может быть и о которой наши деды и прадеды понятия не имели, поклоняясь бездушным идолам?

Так они спорили, и пламя костра освещало их воодушевленные лица.

— О Феодосии говорить не будем,— стоял на своем Имормыж. — На Феодосия глянь только — сразу видать, что ни для чего бедолага и не годится, кроме как для обуздания плоти. Но лучшее украшение добра молодца — крепость тела и храбрость в битве, было так в старину и осталось так! У вас-то спины и плечи, слава богу, в порядке. Охота постранствовать по дальним краям — шли бы к какому-нибудь королю, нанялись к нему в войско, будет вам и жалованье, и добыча, и то же самое людей посмо́трите и себя покажете.

— А что,— говорили они,— очень может быть, на обратном пути и наймемся. Говорят, русским платят хорошо. Но до того непременно нам нужно побывать в Иерусалиме и облобызать землю, на которую ступала нога господа нашего Иисуса Христа. Без этого мы себя просто не будем уважать. И почему тебе, дядя, наше честно́е намеренье не по вкусу? Сам хвалишься, что идешь в Киев не за чем-нибудь, а тоже, как Феодосий, в монахи постригаться.

— Обо мне и вовсе толку нет,— сказал Имормыж.— Мое дело не то что ваше. У вас на спасение еще ой-ой сколько времени, по вашим годам, а мне уж приходится

поторапливаться. Это одно. Другое — меня уже самый захудалый королишка не наймет. А у меня ни кола ни двора, куда-то прибиться надо. А в вашем распрекрасном возрасте я совсем о других думал подвигах. Роскоши не знал, а всё получил, что моей молодости причиталось. Чему не устану радоваться и на смертном одре. Вот так-то.

Лето стояло благодатное. Дороги были сухи, проходимы. Грозовые дожди прибивали пыль и освежали воздух. После бурного короткого ливня грязь просыхала мгновенно, и опять под небесами всё сияло и щебетало.

В пути случалось разное. То натыкались на лошадиный скелет, дочиста обглоданный вороньем: лежал скелет, скалил зубы, чернел глазницами, травы росли между белыми ребрами... Повстречали путника, он с ними посидел ночь, рассказывая про клады, которых видимо-невидимо зарыто в этих местах,— и у паломников глаза разгорелись, они словно уже в руках держали захолодавшие в земле монеты, будь при них вместо клюшек заступы, может — и про гроб господень забыли бы, кинулись копать без оглядки где попало...

Однажды прошумел мимо поезд: кто-то ехал в крытом возке, за ним в открытых — священники с бородами русыми и синими, греческими, а спереди, и сзади, и с боков — вооруженные всадники. Паломники стояли вдоль дороги, скинув шапки. Попы, не глядя, осеняли их крестным знаменьем.

— Митрополит поехал,— сказал Имормыж. Он много чего повидал на своем веку.

А то привели их молодые ноги к женскому монастырю. Один парень туда сбегал для переговоров, и вся ватага на ночь ушла, оставив у костра Феодосия с Имормыжем. Имормыж сказал было:

— Я с вами!

Но над ним посмеялись и ответили:

— Сиди, старче, где сидишь.

И утром, когда пошли дальше, долго не иссякал смех и шутки.

Они подходили к Киеву. Знаком его приближения были сторожевые городки по Десне. Их строил еще князь Владимир Святославич, креститель Руси, для защиты от печенегов; населял храбрецами из северных земель — Новгорода, Чуди,— где воины само́й суровой природой закалены и беспощадны. С тех пор много лет прошло. Ярослав, сын Владимира, бил печенегов, и они присмирели — не напада-

ли больше на Русь. Но охранные городки стояли на месте, только рвы вокруг них заросли лопухами.

Ближе к Киеву дорога стала еще легче: в эти местности выезжал на охоту князь со своими вельможами, для них были поделаны мосты и гати.

Стали попадаться богатые села с плодовыми садами и обильными, хорошо возделанными огородами. Паломники рвали лук и морковь и жалели, что больше сорвать нечего, не созрело еще.

— Ну ничего,— утешались. — Дальше к Иерусалиму чего нас только не ждет — и виноград, и смоквы, и финики!

И вот он, Киев, великий город, выказывающий из кудрявых садов бесчисленные купола церквей. На все стороны света обращены ворота Киева. Высоким валом он огражден: пусть шесть самых рослых богатырей станут друг другу на плечи — может, верхний дотянется до вершины вала; а то нет, не дотянется!

Было тесно в воротах — упряжки воловьи и конские, возы с кладью, пешеходы, всадники. Кто шел за выгодой, кто — помолиться в киевских храмах. Не всякому добраться до Царьграда, не говоря уже об Иерусалиме. А Киев, разросшийся за столетие раз во сто, тянулся за Царьградом и в святости, и в великолепии. Своя была теперь София, свой митрополит, свои мощи — святых Климента и Фива, вывезенные из Корсуни.

Помаргивая маленькими веками, туда и сюда поворачивал Феодосий лицо, влекомый попутчиками из улицы в улицу. Он не видел прохожих. Не слышал зазывал и глашатаев, что выкрикивали на площадях какой-то указ. Поверх ничтожной этой суеты плыли в облаках груды куполов, увенчанных крестами. Робко дыша, Феодосий входил в церкви, его ноги ступали по прохладным узорным полам, по яшме и порфиру. Из подкупольных высот свешивались паникадила в трепете жарких живых огней.

Святые лики глядели со стен нечеловечески распахнутыми очами. Одни лики сложены из цветных кусочков. Другие писаны красками. Над каждой парой огромных застывших глаз — огромные брови дугами. Рты же у всех крохотные, сложенные крепко, будто запечатанные: мало принимали пищи эти уста; не произносили суетных, излишних слов.

Фигуры, изображенные в полный рост, тоже были нечеловеческие — не по-земному длинные — вытягивались к небу. Длинные голубые, серые, фиолетовые святители держали в руках богато переплетенные книги. Среди святителей, деисусов, мучеников было изображение Ярославовой княгини Ингигерды, варяжки, в крещении Ирины, и трех ее дочерей. Четыре госпожи шли узкими стопами, гуськом, Ингигерда и старшая из дочерей несли зажженные свечи.

В Софии еще не закончена была роспись. Внизу и на галерее стояли дощатые помосты и работали живописцы.

Феодосий с Имормыжем и другими попутчиками ходил из церкви в церковь. Из алтарей, пылающих светом, появлялись священники в парчовом облачении. Диаконы рыкали как львы. Синий дым клубился меж беломраморных столбов. В Десятинной они впервые услышали то ангельское пение, которому научили киевских мальчиков приезжие греки. Мальчики стояли на клиросе рядами и пели, как в раю. Их начальник, доместик, благодаря своему искусству стал в Киеве большим человеком. Его каменный дом был по соседству с церковью.

Вечером попутчики повели Феодосия на постоялый двор при Георгиевском монастыре. Там им сказали:

— Даром принимаем престарелых и убогих. А вы, молодые, сперва нарубите-ка и сложите-ка дров осьмины три, да помогите хлебы перетаскать из пекарни в трапезную.

Двор был в грязи и лужах. Лошади, телеги, у колодца долбленая колода для лошадей, ковш на железной цепке — для людей. Но в длинной трапезной чисто было, столы и лавки выскоблены, земляной пол посыпан свежей травкой. Иноки ходили между столами, раздавали хлеб и разливали квас из глиняных кувшинов. А один у аналоя, поставленного посредине, громко читал писание.

Всё это Феодосию понравилось. Он сказал Имормыжу:

— В этом монастыре и постричься.

— Что ж,— согласился Имормыж. — У них хлеб духовитый, хорошо пекут. Завтра попросимся.

Спали постояльцы, по летнему времени, во дворе под навесами. «Так, здесь и постригусь»,— думал Феодосий, лежа впотьмах на соломе и слушая, как пофыркивают и переступают ногами лошади и стонут, вскидываются, бредят убогие. Один, с грыжей, так стал кричать, что явились два инока и унесли его на носилках. «Постригусь и тоже буду ходить за мимоидущими странниками, за больными и изнемогшими, и тем служить Христу». И тихо радовался своим мыслям, лежа на соломе.

Наутро они с Имормыжем стояли перед игуменом.

— Постричься хотите, похвально,— сказал игумен. — А что имеете при пострижении дать обители, какой взнос?

— Я ничего не имею,— ответил Имормыж. Феодосий опустил голову.

— Так-таки ничего не имеете? — спросил игумен.— В таком случае вам следует избрать другой монастырь. Наш же основан богоугодным князем Ярославом, при котором Киев стал тем, что видите,— градом, величеством сияющим, ве́домым и слышимым во всех концах земли, и размах наших дел соответствует нраву и желаниям основателя, а на размах требуется немало, сами понимать должны при всей вашей серости. Достаточно сказать, что в трапезной у нас ежедневно кормится душ шестьсот, а то и семьсот, на что в год уходит три тысячи четвертей хлеба, шутка?

И, благословив, он их отпустил.

Феодосий и Имормыж немного затуманились, но бодро пошли в Михайловский монастырь, расставшись со своими веселыми попутчиками, которые в тот же день, не желая больше рубить дрова, отправились дальше.

В Михайловском, однако, как раз вознамерились золотить купола и собирали для этого благочестивого дела золото, и тоже безвозмездно не хотели постригать.

И так везде, куда б они ни стучались. Всюду спрашивали, а каково их имущество, и отказывали, услыхав, что нет никакого. Так что Феодосий стал просить в молитвах, чтоб бог не дал ему возроптать, а Имормыж роптал открыто и говорил на иноков черные слова.

И вот однажды на одном постоялом дворе сказал им один слепец:

— Вам, ребята, надо сходить к Антонию.

— К какому Антонию,— они спросили,— а где его монастырь?

— Он не в монастыре,— ответил слепец,— он в пещере. Просто себе выкопана пещерка в горе, и он там живет и молится. Тут недалеко, над Днепром. С ним еще несколько иноков, у каждого своя пещерка. Кругом лес, тишина.

— А церковь? — спросил Феодосий.

— И церковка в пещерке сделана.

— А кормятся чем же? — спросил Имормыж.

— Трудами рук своих. Чулки вяжут на продажу, шапочки шьют. Огородина кой-какая есть. Люди хлебца принесут. Да много ли им надо? Антоний сухой хлеб ест единожды в два дня. Воду и ту пьет умеренно. А один там и вовсе хлеба не потребляет, лебедой питается. Он на Афоне долго жил, Антоний этот.

— Грек?

— Наш, из Любеча.

— Нет,— сказал Имормыж. — Что ж на старости лет да в пещеру. Летом туда-сюда, а зимой? В пещере лебеду жевать... Нет, не подходит мне.

А у Феодосия запылало и застрадало сердце. Словно напомнили о милой стране, откуда ушел когда-то не по своей воле... Как умилительно было вязанье чулок и шитье шапочек ему, смиренному и любящему труды! Да и всё услышанное было ему по нраву. Как тянет на родину, так потянуло его к пещерам в горе, где живут в чистоте и тишн, близко к богу. Понял вдруг, что туда, туда — и никуда больше! — лежит его душа.

Еле-еле намечена была тропинка по обрыву, в траве. Чьи-то ноги уже тут ходили и наметили эту тропинку. Кругом шелестела листва. Пели птицы.

Липа цвела. Медовым благоуханьем была объята гора над Днепром.

Феодосий поднял взор и увидел Антония, стоявшего под липой.

Он был в черной одежде, подпоясан веревкой. Из островерхого куколя глядело его лицо с длинной острой седой бородой.

Феодосий упал на колени и сказал:

— Благослови меня, святый отче Антоний.

— Сын мой,— спросил Антоний, перекрестив его рукой, будто составленной из пяти сухих косточек,— откуда ты знаешь, кто я, грешный? Если б мы встречались раньше, я бы запомнил твое лицо, потому что от него исходит свет прекрасный.

— Я о тебе слышал,— ответил Феодосий,— и душа мне сказала при виде тебя, что это ты и есть!

— Дар великий,— сказал Антоний,— душа, способная говорить. Нет зрелища более прискорбного, чем тварь, ду́х которой не подает голоса и ничем не заявляет о своем существовании.

— Подлинно так! — сказал Феодосий. — Слезы льются от жалости, когда видишь такое несчастное создание. И, напротив того, веселье охватывает, когда увидишь, как это священное нутро человека, дотоле безмолвствовавшее, вдруг приоткроет уста и произнесет нечто сообразное своей

божественной сущности. К примеру, когда повстречаешь людей, всеми силами порывающихся к первородному греху, но в то же время лучшей частью своих помыслов устремленных в святые места — дохнуть воздуха, которым дышал господь наш. Я тебя прошу, отче, благословить этих людей. Пусть они достигнут цели своего странствия.

И Антоний своими косточками послал благословение вдогонку тем, о ком просил Феодосий, а потом сказал:

— Вижу я, ты силен и счастлив, ибо тебе открыто, что истинная жизнь — лишь жизнь духа.

— Я от младенчества это понял,— отвечал Феодосий,— и мне стало ненавистно ублажать мою плоть. Она мне мерзка. Я торжествую при мысли, что смерть ее истребит и высвободит дух мой для жизни вечной.

— Она не мерзка,— поправил его Антоний.— Не может быть мерзким ничто, сотворенное богом. Но она смертна, стало быть — эфемерна, стало быть — ничтожна пред духом.

— Боится холода, жара, кнута, истязания. Дух же бесстрашен!

— Так, так! Только дух дает крепость и стойкость! Вспомни мучеников! Только дух дает различать, что́ добро, что́ зло!

Так они пели свой гимн, Антоний — подняв кверху указательную косточку, Феодосий — на коленях перед ним.

Антоний:

— Какие плоды приносит плоть?

Феодосий, пылко:

— Никаких, отче!

Антоний, останавливая:

— Ну-ну. Плоть приносит плоды. Приносит. Но — бедные. Что она порождает? Опять же плоть, и ничего кроме. Тогда как жизнь духа изобильна разнообразными и дивными плодами. Давно ли, кажется, восторжествовала наша вера на Руси? А сколько уже преславных перемен.

Феодосий:

— Духом понуждается к труду нерадивое, ленивое тело. Оно бы радо, наевшись сладкой пищи, валяться весь день. Но дух алчет деятельности.

Антоний:

— Ибо он стремится явить миру свое отличие, от бога данное. Тела наши созданы по одному образцу, душа же у каждого иная. И всякой вручен свой талант, или два, или

больше. Зарывать ли их в землю? Пускать ли в оборот, чтобы умножить? На то ясный ответ в великой притче.

— И что же,— спросил он,— привело тебя сюда? — И, выслушав историю Феодосия: — Но послушай, угодно ли будет господу твое пострижение, когда родительнице твоей оно неугодно? Сказано: «Чти отца твоего и матерь твою».

— Знаю,— сказал Феодосий. — Не желал я причинять матушке такое огорчение и не помышлял о монашеском чине. Но вот что было. Я один находился в комнате и читал писание. Я читал то место, где говорится: «Кто любит отца или матерь больше меня, недостоин меня». И вдруг тихий голос произнес эти самые слова у моего плеча. Я оглянулся — нет никого. Но я же ушами слышал тот голос. И я сказал: «Иду, господи». И вот я пришел,— заключил Феодосий.

ПОЛДЕНЬ

Неподалеку от Киева находилось большое село Берестово с княжеским загородным дворцом.

Покойный Владимир Святославич держал там своих наложниц, двести бедовых женок, падких на выпивку, наряды, ворожбу и всякое любовное озорство.

Став христианином, Владимир окрестил их и отпустил с богом. Удивленные и оробевшие, они разбрелись кто куда, и умолкли игривые песни и визг в развеселом селе.

Но и поскучневшее, приличное Берестово Владимир любил. Помногу жил в нем, построил церковь; там Красное Солнышко и скончался.

В берестовской церкви Святых Апостолов много было попов, и между ними русский поп Иларион, человек ученый и писатель, писцы переписывали его поучительные сочинения во многих списках, с золотыми и красными заглавными буквами, для чтения людям, тяготеющим к книжной сладости.

Князь Ярослав уважал Илариона и часто призывал на совет. Илариону это было в тягость. Он любил жизнь скромную и уединенную, его удручала придворная суета — спесь бояр, громогласные пиры, свары, клеветы и бряцанье оружия. Иногда становилось прямо невмоготу созерцать это всё.

Он что придумал. На крутом берегу Днепра, под сенью деревьев, выкопал себе пещерку сажени в две глубины, приладил икону в углу и уходил туда отдыхать душой.

Отсидится в тиши, помолится, поразмышляет и опять выходит из блаженного сумрака на постылый свет, где нет покоя.

Но Ярославу было не с руки, чтоб умный русский священник, способный ему помочь и прибавить блеска его правлению, прозябал бы в сумраке. Ярослав его поставил ведать церковным судом. Этот суд, учрежденный еще при Владимире, был предназначен приучать население к христианской жизни, умягчать нравы. Друг за дружкой, без передыху, пошли перед Иларионом осквернители святынь, сниматели одежды с мертвых, кудесники, отравители, дети, злодейски поступающие со своими родителями. Он их судил да рядил, а возлюбленная пещера пустовала.

Тем временем на горе Афон, в одном из тамошних монастырей, спасался Антоний. Он обитал в пещере постоянно, только пещера эта была высечена в каменной скале и с таким расчетом, чтобы в нее не проникали зловредные южные ветры, делающие человека больным. Греческий климат мягкий, и в Антониевом прибежище круглый год было тепло и сухо.

Так он жил, угождая богу постом и молитвой, пока игумен не приказал ему вернуться на родину.

— Там,— сказал этот прозорливый человек,— нужна твоя служба, а не здесь, где и без тебя служителей достаточно. Иди к своим темным, худо вразумленным руссам и будь им светлым примером, и пусть от тебя расцветет иночество на Руси.

Антоний послушался и пошел в Киев. Киевские монастыри ему не понравились: ни в одном он не увидел того строгого жития, к какому привык на Афоне. В печали бродил по берегу Днепра, не зная куда прибиться, и вдруг набрел на пещеру, покинутую Иларионом.

— Слава всевышнему! — воскликнул. — Он мне указует мое место! — И, не медля, выгнал из пещеры расплодившихся пауков, мокриц, многоножек и других гадов, посыпал мокрый земляной пол песочком и, освятив свое новое жилище, поселился в нем.

Люди прослышали о подвижнике и приходили поглядеть на него и благословиться. Некоторые являлись с яйцами в лукошках и с горшочками молока. Но он ничего не принимал, кроме хлеба.

Потом стали приходить те, что тоже искали подвига труднейшего. И селились возле.

Пришел купец из Торопца, в миру имел имя: Чернь, при пострижении назван Исаакием. Свое достояние он роздал нищим. Любил бога неистовой любовью, просто уж не знал, чем бы ее выказать. Власяницу носил, ему было мало. Раздобыл свежую козлиную шкуру и надел поверх власяницы, она на нем высохла, так и ходил. Ел через день по просвирке. До трех тысяч земных поклонов клал в сутки, так что кожа на его лбу и выше стала как рог твердая.

Пришел простой деревенский мужик Спиридон. Хоть неграмотный, но знал наизусть весь псалтырь и неумолчно пел, славя господа.

Был здесь также юный Иоанн, терзаемый плотью. Она его терзала днем и ночью, наяву, во сне, в работе и на молитве. Боролся с ней геройски: по неделе не ел и не спал, морил себя жаждой, с головы до пят увешался железными веригами. Но дьявол, собака, всё пересиливал, и плоть Иоаннова продолжала бушевать, когда, казалось, впору бы ей дух испустить от изнеможения.

Был Прохор, о котором справедливо рассказал слепец Феодосию и Имормыжу, что питается одной лебедой.

Прежде же их всех прибился к Антонию Никон, монах и иерей, родом из Тмуторокани, много путешествовавший и читавший. Из книг и странствий он почерпнул большие познания. Как на имеющего священнический сан, Антоний возложил на него обязанность постригать вновь поступающих. Никон и Феодосия постриг, когда тот пришел.

У каждого из них была пещерка, а для церкви особая.

Если не молились сообща в церкви, то молились по одиночке у себя в пещерах. Ходили в лес за дровами, да к Днепру по воду, да в огород. Огород был на полянке, расчищенной среди леса. По субботам и воскресеньям они ели овощи.

Всё они делали с благословения Антония, без благословения не смели. Встречаясь друг с другом, низко кланялись, сложив на груди руки.

Этой жизнью, где плоть подавлялась всечасно, а дух был вознесен и лелеем, легко и благодарно жил Феодосий. Ничего ему больше не надо было. Покойно дышала его грудь, тихо шевелились губы, одной сплошной молитвой было это дыханье, это шевеленье. Та, другая жизнь текла над ним, как струи глубокой реки, что́ там в ней случалось, он не знал и не думал.

В глубине его пещеры влага, накопляясь, изредка падала каплей со свода. Должно быть, свод в этом месте соприкоснулся с водоносным слоем. Чтобы пол не сырел, Феодосий подставил под каплю глиняную чашку. Очень

редко падала капля, производя слабый мимолетный звук. Через долгое время в чашке собиралось немного воды.

Подобно той капле падали Феодосиевы годы, год за годом, с однообразным слабым звуком. Если бы не происходили иногда в обители события, отвлекающие от этого однообразия,— дни и ночи его слились бы в единую вечность без начал и концов, с ровными чередованиями света, мрака, дождя, снега, вёдра.

Исаакий, носивший козлиную шкуру, пожелал затвориться. Он вошел в пещеру, а братья заложили вход досками, в одной было прорезано крохотное оконце, и, взяв заступы, завалили доски землей до половины. И Исаакий не выходил из затвора семь лет. Пищу ему приносил Антоний и подавал в оконце, говоря:

— Господи благослови, отче Исаакий!

И голос Исаакия глухо откликался из темноты:

— Господи благослови, отче Антоний!

На восьмой год к Исаакию в его уединение стали приходить прекрасные крылатые юноши. От их лиц, одежд и сильных крыльев, покрытых белоснежным опереньем, шел свет, как от солнца. Толпой наполняли они пещеру, садились рядом с Исаакием, брали его за заскорузлые руки белыми гладкими руками, обнимали его плечи, изъеденные власяницей, а другие садились на корточки против него и играли на гуслях, сопелях и бубнах, и всё заглядывали ему в глаза и просили ласково:

— Спляши нам, Исаакий! Спляши!

— Кто вы? — спрашивал дико.

— Мы — ангелы,— отвечали они и, смеясь, пышно шумели крыльями, с которых так и сыпался свет. — Уважь, Исаакий, спляши нам, ты же мастер плясать, вспомни, как ты отплясывал в Торопце, когда лавку держал, когда тебя звали Чернь.

И он, вспомнив, принимался плясать в своей козлиной шкуре и плясал, пока не падал без сознания.

Однажды на рассвете Антоний пришел и, подавая в оконце хлеб, сказал, как обыкновенно:

— Господи благослови, отче Исаакий!

Несколько раз повторил и даже прокричал в самое оконце. Не слыша ответа, сказал:

— Преставился.

По его благословению иноки взяли заступы и ревностно принялись откапывать заваленный вход, радуясь, что господь призвал Исаакия во время подвига, дабы поместить средь праведников в чертогах своих.

Однако он был жив, и когда вынесли его из пещеры — простонал. Только не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни языком.

Они смутились. Но сказал Антоний:

— Да будет воля твоя! — и они склонились перед испытанием, ниспосланным Исаакию.

— Кто возьмется ходить за болящим? — спосил затем Антоний, обводя их взором.

Братья, потупясь, промолчали.

— Через него,— сказал Антоний,— к милосердию нашему взывает Христос. Сказано: «Был болен, и вы посетили меня».

Они еще ниже склонили головы, стоя вокруг Исаакия. Один глаз у него был закрыт, а другой вытаращен, сивая его борода свалялась с козлиной шерстью.

Наверно, вызвался бы ходить за болящим Иоанн, терзаемый плотью: он всегда искал потяжелее бремя. Но он как раз стоял в земле, закопанный. Вырыл себе яму глубиной до подмышек и, войдя в нее, засыпался землей, так что одни руки да голова были свободны. Он к этому средству прибегал время от времени, видя в нем некоторую пользу. По этой причине его не было возле Исаакия. Тогда сказал Феодосий, до сих пор молчавший, чтоб не высовываться вперед старших:

— Благослови, отче.

Он взял Исаакия к себе в келью, убирал его, обмывал, ложкой вливал в бесчувственный рот воду и жидкую кашу и молился об его исцелении, всякий раз смиренно добавляя:

— Да будет воля Твоя!

Его день проходил в трудах, а ночью он спал самую малость, считая отдых грехом. Сядет под лампадой и плетет лапоть, или сучит веревку — ризы подпоясывать. Для Никона, занимавшегося переплетением книг, прял нитки. Больше же всего молился. Но простонет на своем ложе Исаакий, и Феодосий покинет рукоделье, прервет молитву и спешит к нему, так что братия говорила:

— Поистине, с таким прилежанием за таким больным только святой ходить может.

Антоний, видя его неустанность, особенно его отличал. Феодосий был поставлен пресвитером и в очередь с Никоном и Антонием стал совершать в подземной церкви службу, которую знал до тонкости.

А Исаакий, пролежав бессловесно два года, вдруг заговорил и открыл, что с ним было. Как его умучили ангелы, заставляя плясать.

— Отче, отче! — сказал Антоний. — Где видано, чтоб ангелы плясать заставляли? То не ангельское действие, а бесовское. Ты с ними построже. Они к тебе, а ты скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» И крестом их, крестом.

В болезни Исаакий забыл молитвы, и когда научился снова ходить, то в церковь пойти и не подумал. Пришлось Феодосию с самого начала его ко всему приучать. Сидеть в пещере Исаакий не хотел, полюбил работать на воздухе. Сойдет к Днепру и смотрит стоит, как он блещет, струясь; слушает, как кукушка кукует... Полюбил печь топить в пекарне. Затопит и глядит, уставясь на огонь, пока не окликнут.

Его тело потеряло чувствительность. Босиком становился на горящие уголья и не обжигался. Зимой стоял на заутрене в худой ризе, в насквозь протоптанной обуви и не мерз.

Бесы стали ему нипочем. Поманят ли сияющими небесными ликами, поползут ли на него змеями, мышами, жабами,— крестом их пугнет, скажет: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» — и как не было нечистой силы.

Жизнь текла над ними, как струи глубокой реки. То и се в ней происходило, битвы, свадьбы, плач, одни уходили с лица земли, другие являлись. Умерла Ярославова княгиня Ингигерда, в крещении Ирина, а за ней через четыре года, побывав в новом браке, умер Ярослав. Он был князь храбрый и усердный, старался устроить землю как получше, дал ей законы. Книги греческие приказывал переводить на славянский язык и сам их читал с охотой, и училища учреждал, и серебряную монету чеканил, и еще много сделал полезного, и своих сыновей они с Ингигердой переженили на иностранных королевнах да графинях, а всех трех дочек выдали замуж за королей. Так управившись, они покинули бренный мир, и в Киеве стал княжить Изяслав, и в его княжение воспоследовали для обители многие события и перемены.

По тропинке вдоль берега слышался топот. Из-за деревьев выезжали всадники. Молодые, беспечные, выхоленные, в вышитых рубашках, цветных сапожках, в островерхих пестрых тюбетеечках. Впереди ехал Иван Иванович, боярский сын. У отца с матерью он был любимое дитя за свою красоту. Баловали его, берегли, товарищей и слуг при нем состоял целый отряд. Как только вошел в жениховский возраст, сразу его женили. Молодая жена день и ночь его целовала и увлекала на пуховые перины. Но Иван Иванович не любил лежать на перинах с женой, а любил сидеть на травке у ног Антония и слушать его наставления — как жить, чтобы спасти свою бессмертную душу.

Вереницей подъезжали всадники, спешивались. Антоний выходил, кликал Никона и Феодосия, все трое спускались к приехавшим и благословляли их. Юноши брали коней под уздцы и шли поить их и купать, а Иван Иванович оставался. С Днепра доносился хохот, клики — он не слышал. Когда же звали его настойчиво домой, подымался нехотя и говорил:

— Век бы тут у вас сидел.

Однажды приехал разряженный, как на княжеский пир, и со всей свитой. Были они, как всегда, верхом и еще вели порожних коней, украшенных богато. Иван Иванович слез с коня и стал снимать с себя одежду и украшения. Положил перед Антонием и сказал:

— Остаюсь у вас. Постригите меня, а это платье и коней этих продайте и деньги раздайте вдовам и сиротам, чтоб молились за меня.

Иноки оробели, потому что отец Ивана Ивановича, боярин Вышата, был большой вельможа у князя Изяслава Ярославовича, а к большим вельможам приближаться надо с опаской. Антоний ответил:

— Что ты говоришь, чадо! Что это ты забрал себе в голову! Вовсе неразумное желание твое. Мы тебя наставляли, как в миру жить, чтоб твоя душа не пропала. А о пострижении и не мысли. Совсем это не по силам твоим.

— Нельзя,— возразил Иван Иванович, качая головой,— невозможно жить в миру, и чтоб душа не пропала. И на малое время не сосредоточиться, чтоб о ней подумать.

— Да помилуй! — сказал Антоний. — Сравни свою изнеженность с нашим житьем: надолго ли хватит твоего устремления? Каково тебе будет спать на голых досках, когда ты привык к пуху? А ведь мы, убогие, еще и камушков себе под бока подкладываем, а то и вовсе не спим, так, сидя, подремлем. Каково тебе будет есть житный хлеб, и то не досыта, запивая водицей из Днепра, когда ты вспоен-вскормлен на медах, винах и всяких разносолах?

— Ах,— сказал Иван Иванович,— надоели мне разносолы! Хочу спать на камушках и есть житный хлеб. Не вы ли, отцы, учили меня, что душе полезно, когда тело содержится в суровости?

— Так,— согласился Антоний. — Но легко это исполнять только бедняку, нахлебавшемуся невзгод. Богачу же лишения ужасны. И еще есть нечто в нашей монашеской жизни, что́ молодому страшней всех телесных утеснений. Чадо, затоскуешь без игр и песен в кругу сверстников, без праздных разговоров и мирских новостей. Могилой тебе покажется наша тишина. Чадо, она тебя изведет, убьет в тебе — боюсь вымолвить — любовь к богу.

— Жажду тишины! — сказал Иван Иванович. — Не сойду с этого места, пока не пострижете!

— Чадо, одумайся! Ждут тебя дома отец и мать. Ждет жена молодая.

— Вот о жене бы и вовсе вам не говорить,— сказал Иван Иванович. — Как кость она мне поперек горла. Окончательно погряз в грехе, когда женился. И не толкайте вы меня, отцы, обратно на этот грех.

Антоний поник головой и сказал Никону:

— Постриги его, отче Никон.

И Никон совершил обряд пострижения над Иваном Ивановичем, стоявшим перед ним босиком.

И не стало Ивана Ивановича, боярского сына, а стал чернеризец Варлаам.

А товарищи его, видевшие это превращение, одни стояли остолбенев, а другие плакали в голос, но сказать не посмел никто ничего, страшась гнева божьего. Он махнул им рукой и сказал:

— Поезжайте.

Боярина Вышату чуть удар не пришиб.

— Подайте мне этих постников,— кричал он,— которые богатых дуралеев заманивают, обирают и в пещеры упрятывают! Подайте сюда этих бездельников, чтоб мои псы повырывали их вонючие бороды!

Его домашний поп успокаивал и увещевал, что не годится так говорить. Но боярин и боярыня с горя напились хмельные и хулили уже не только иноков, но и самого господа.

— Что́ то за бог,— говорили,— который от людей требует, чтоб они в жертву себя приносили. Мало того, что лбом ему бей. Мало того, что именье отдай,— еще и себя

отдай! Поневоле помянешь добрым словом Перуна: вот уж неприхотлив был, ничего-то ему, бывало, не нужно, сердечному, что дадут, то и ладно.

— Ну, не совсем так,— сказал поп. — Вам известна прискорбная история Федора и Иоанна, погибших мученически оттого, что Иоанн был предназначен в кровавую жертву Перуну.

— Как раз Перун тут вовсе ни при чем,— возразили боярин с боярыней. — Он и не знал, что ему жертва готовится, и не просил. То боярина Федора недруги подсудобили ему на погибель, все древние старцы свидетельствуют, кто это помнит.

Боярин взял вооруженных слуг и поехал за сыном.

Сын копал пещеру и пел хвалу вышнему. Увидев отца, бросил заступ и залился горькими слезами.

— Будет баловаться! — сказал боярин Вышата. — Там мать и жена все глаза выплакали.

Они сняли с него ризу, подпоясанную веревкой, одели как полагается, взволокли было на коня, но он свалился как мешок. Пришлось вести пешим. По дороге, плача и стеная, стал снимать с себя нарядное платье. Его унимали, а он знай снимал. Пришлось связать ему руки. Так, связанного, его вели через Киев, и люди думали, что ведут разбойника.

Но по дороге он попросился в отхожее. Пришлось развязать, и не углядели-таки — скинул шелковый кафтан и утопил в поганой яме.

Наконец довели. Вся челядь высыпала встречать, словно он из похода вернулся. Мать выбежала на крыльцо, протягивая руки и восклицая:

— Иванушка, Иванушка!

Жена, услышав радостный шум, вскочила с перин, на которых пролежала ничком все дни, нарумянилась на скорую руку и тоже побежала с криком:

— Иванушка, Иванушка!

Но инок Варлаам, осыпаемый поцелуями в обе щеки, только лил слезы и ни слова не говорил.

Посадили его за стол. Обставили чарками и блюдами, наперебой приговаривая:

— Ешь, Иванушка! Пей, Иванушка! У пещерников небось такого и не понюхаешь!

А он, плача, от всего отворачивался с отвращением.

Как быть-то? Последнее испробовали средство. Хоть и крохи не взял в рот — повели отдыхать, как после обеда. Заперли с молодой женой, и уж она его голубила, голуби-

ла. И тоже ничего не получилось: сидел в уголку, зажмурясь, и на перины не шел ни за что. Пока не вышла обессиленная жена и не сказала свекру и свекрови:

— Поступайте как вам угодно, а мне, злополучной, с ним делать нечего.

Домашний поп сказал:

— Разве не видите, его бог отметил.

Поплакали боярин с боярыней, да тут уж плачь не плачь, не поможет.

Резво побежал Варлаам, лишь только сказали ему, что может идти. Бежал и пел. Иноки ждали его возвращения, вышли из келий и, стоя в ряд над обрывом, издали махали ему и радовались.

Этого Варлаама через несколько лет Антоний поставил игуменом, покидая обитель.

Тогда в обители было уже много иноков. Молва о спасительной здешней жизни разнеслась и привлекала сердца.

Было отрадно, что монашество расцветает.

Отрадно было, когда постригались такие, как ученый лекарь Агапит или кроткий восторженный Дамиан. Но постригались и ленивые невежды, и тати, и убийцы. И Антоний печалился невольно, хотя полагалось ему веселиться, что заблудшие овцы приходят ко Христу.

Он печалился, видя, как уходит из обители высокое единодушие, когда каждый мог поручиться за всех и все за каждого.

Да и от самого многолюдства явились огорчения, соблазны и суета, каких прежде не было. Слава растекалась всё шире, люди шли отовсюду. Приносили расслабленных, приводили бесноватых, требуя, чтоб из них изгнали бесов. А одного от рождения немощного, Пимена, родители, принеся, так и не уносили, дожидаясь исцеления, и сами жили при нем, и рабы их жили. Всех надо было накормить, обо всем распорядиться, и эта утомительная многошумность мешала Антонию спасаться.

Кроме того, он навлек на обитель княжеское нерасположение. Изяслав на него гневался за его приверженность к Всеславу полоцкому и на пещерников смотрел косо. И, видя, что от его пребывания здесь нет больше пользы, только вред да грех,— Антоний ушел.

Взял посох, надвинул на седые брови куколь и удалился, благословив на прощанье братию и обитель и всю зеленую гору над Днепром.

Еще раньше ушел Никон, удрученный несогласием Ярославовых наследников и назревавшей усобицей. Он пошел иа свою родину, в Тмуторокань, где впоследствии прославился как мудрый устроитель церковных и мирских дел.

Назначение Варлаама игуменом было угодно Изяславу. От князя потекли обители дары и льготы. И сам явился, огромный, бряцающий, красивый лицом, могучее брюхо обмотано поверх кафтана златотканым поясом, под кафтаном угадывалась кольчуга. Бурно вздыхал, стоя обедню, среди черных иссохших иноков подобный холму, покрытому цветами. От его одежд, от сочных вздыхающих уст шли запахи иного мира — грубого, пьяного, грехом напитанного, как губка. Окруженный бряцающей дружиной, заглянул в подземные кельи, где, подозревал, припрятано на него оружие,— нашел лампадочки, да скудость невыносимую, да могильный дух, да те же черные согбенные тени... Он собрал из них почтеннейших, сел в их кругу, спрашивал:

— Если двунадесятый праздник придется на среду, надо в ту среду поститься или не надо?

— Надо,— они отвечали.

— И молока нельзя принимать?

— И молока нельзя.

— А если на пятницу придется двунадесятый праздник?

— То же самое,— отвечали.

— А вы, отцы, докажите! — сказал князь с досадой.

Они принесли из книгохранилища, находившегося в церкви, книги, писанные по-гречески и по-славянски, и читали ему. Потом спорили, можно ли в воскресенье, скоромный день, закалать животных и почему греховно есть тетеревятину.

Спорить спорили, но, как ни держался благодушно, спорить надо было умеючи: рассердится — опять обитель в немилости, худо дело. На мученья не предаст, это нет, а разогнать может вмиг, его сила.

К тому времени относится первое Феодосиево чудо.

Кроткий инок Дамиан, недавно поступивший, полюбил Феодосия, любовался его подвигами и старался подражать ему, как умел. Но он крепче был духом, чем телом: быстро изнемог и разболелся. На смертном одре, выхаркивая кровь, молился пламенно, чтоб и после кончины бог не разлучал его с Феодосием; чтоб души их пребывали вместе. Молился, вдруг видит — Феодосий стоит у него в ногах и говорит:

— Услышана твоя молитва, брат Дамиан. Когда преставлюсь, приду к тебе в ту же горнюю обитель.

Сказав, исчез. А Дамиан обрадовался светлой радостью. Но, нарадовавшись, стал думать и смекнул, что дверь-то не открывалась и не закрывалась,— как же так? Попросил позвать Феодосия. Тот засвидетельствовал, что всё время был в своей келье, не отлучался.

И поняли благоговейно, что совершилось чудо.

И с тех пор поглядывали на Феодосия с ожиданием и страхом.

Он такое легкомыслие сокрушенно порицал и не возгордился нисколько, продолжая показывать пример труда и смирения.

Хозяйство их увеличивалось. Хлеба требовалось много и на себя и, главное, на богомольцев и нищих. Иноки относили торговцам в город свои изделия — чулки, корзины,— а на вырученные деньги покупали жито и делили между собой; и каждый, измолов ночью свою часть, приносил муку в пекарню. Для этого были поставлены в кельях ручные мельницы.

Но многие не выдерживали ночной работы, засыпали у мельниц. Тогда, не слыша скрежета жерновов, потихоньку входил Феодосий. Брал зерно, уносил к себе и молол. Потом ставил сосуд с мукой к двери спящего. Искус сна был бессилен над ним, как и другие искусы плоти.

Изяслав построил монастырь во имя святого Дмитрия (Изяслав было его княжое имя, а Дмитрий — крещеное). Он построил монастырь и разукрасил и во главе его пожелал поставить печерского игумена Варлаама, сына преданного ему Вышаты. За Варлаамом был прислан целый обоз — попы и воины и возок, убранный коврами, и Варлаам в слезах распрощался с милой обителью. Прощаясь с Феодосием, не стерпел и возроптал, указывая на ковры:

— Ты видишь, отче!

— Вижу, отче! — отозвался Феодосий, понимая его тоску. Как Варлаам бежал от роскоши, так роскошь преследовала его по пятам и настигала, Варлааму от нее было не укрыться.

— Ах,— сказал Варлаам,— много монастырей поставлено от богатства, однако не таковы они, как те, что поставлены бедностью, бдением и постом!

С этим они расстались.

Пышный поезд Варлаама скрылся в пыли, а Феодосий вернулся в обитель — ее пастырем. Братия избрала его на Варлаамово место, как достойнейшего несравненно из всех.

Не с потупленным, но с раскрытым взором по-пастырски обошел он обитель и впервые удивился, как тесно в ней стало.

Пещера к пещере, под деревьями пепел от костров, черепки, всякое разное.

Пока не был игуменом, не замечал.

И лес поредел, изрытый и порубленный, и птицы пели уже не так, как в день, когда он пришел сюда.

Слонялись праздно люди, кто в иноческом, кто в мирском платье. Кланялись Феодосию. И он им кланялся, но не всегда знал — кто такие.

Закопанный до подмышек в землю, сражался с плотью в своей пещере инок Иоанн, некогда юный Иоанн, теперь-то его борода наполовину была седая. Ковш с водой стоял перед ним.

— Господи благослови, отче Иоанн,— сказал Феодосий.

— Господи благослови, отче Феодосий,— прохрипел Иоанн.

— Легчает тебе?

— Вроде бы легчает, только ноги как в огне горят и жилы корчатся. А ночью змей приходил.

— Какой змей?

— Страшный, лютый, дышал пламенем, осыпал меня искрами, пожрать хотел: дьявол.

— Христос с тобой, отче Иоанн.

— Истинно говорю. Уже и голова, и руки в его пасти были. Видишь — борода опалена. Но я возопил из его гортани к господу! И вдруг молния блеснула, и змей исчез, и голос был, как гром: «Иоанне, будет тебе моя помощь! Ты очистишься, как золото в огне, и спасешься навеки!»

— Дай-кось,— сказал Феодосий, потрясенный неутомимой мощью Иоанновой борьбы и надежды,— дай-кось, отче, принесу тебе свежей водицы.

Он умилился на брата Агапита, который в опрятной своей пещере возился с собранными травами: разбирал их и связывал в пучки. Агапит травами лечил, ему открыто было — какая от чего помогает, и с какой молитвой ее давать, и на каком отваре, и какую собирать утром, а какую днем, а какую в полночь. От одной травы шел цвет, от другой листья, от третьей корень. Вся пещера была увеша-

на травами, и пахло хорошо, и на небесах, без сомнения, радовались, глядя на все это.

Но не успел Феодосий умилиться, как подошел брат Федор и стал сетовать, что, вступая в обитель, роздал нищим свое достояние.

— Дурень я,— сказал Федор. — Стану стар, не смогу монастырское есть, а купить-то не на что.

— Не думай об этом! — сказал Феодосий. — Побори себя!

— Хоть половину было оставить, как умные оставляют,— сказал Федор и заплакал.

Подошел брат Матфей и рассказал, что в церковь приходил нынче бес в образе ляха; в епанче с лисьей опушкой, и в подоле держал цветы; обходил молящуюся братию и цветами кидался. В которого брата кинет, тот слабеет духом — начнет зевать и уходит спать в келью, не дождавшись, когда служба кончится.

— И в меня кинул,— сказал Матфей.

— То лях приходил,— сказал Феодосий.— Ляха я видел. А цветов не видел.

— То был бес,— сказал Матфей.— А цветов ты не видел, потому что тебе не дано видеть.

— Сказано: «И бесы повинуются нам о имени твоем».

— Мало чего сказано,— возразил Матфей.— Они сильны, отче, страшно.

И привыкшее к радостной молитве Феодосиево сердце отяготилось и рванулось за теми, что ушли, скинув растущее бремя забот,— за Антонием, за Никоном.

Но пастырь приставлен к стаду.

Спросит: Феодосий, где овцы мои?

И не было никого, кому бы сказать с чистой совестью: тебе передаю — паси их.

Удручительна была вражда между иереем Титом и дьяконом Евагрием.

Они друг на друга не глядели. А если глянут — больны становились от ненависти.

Феодосий призывал их, ставил перед собой и убеждал:

— Что делаете? Опомнитесь. Вы же братья по духу. Поликуйтесь сейчас же, чтоб не зашло солнце во гневе вашем.

Тит с Евагрием, не смея ослушаться, ликовались бородатыми щеками, но слишком видно было, что им не ликоваться хочется, а кусаться. А уйдя, продолжали свое.

Тит идет по церкви с кадилом — Евагрий отбегает, чтоб его даже дым от Титова кадила не коснулся. Другой раз не отбежал,— Тит мимо прошел и не покадил, нарочно.

Тит сухой был, мелкий, а Евагрий тучный, с голосом как из бочки, и этим голосом он не уставал ругать Тита. А Тит еще пуще ругал Евагрия, безумными словами оскверняя свои иерейские уста.

И вот чем это кончилось.

От злобы Тит смертно разболелся. Боясь предстать перед всевышним со смрадом в душе, он решил помириться с Евагрием. Три старца пришли к Евагрию и сказали:

— Отче Евагрий! Отец Тит помирает.

— Да ну! — сказал Евагрий, обрадовавшись.

— Отче Евагрий! — сказали старцы.— Отец Тит велел тебе сказать: прости меня, брат мой, что я на тебя гневался.

— Кал он, ваш отец Тит! — отвечал Евагрий.— Пущай помирает без прощенья! — Но старцы, рассердясь, кликнули на подмогу братьев помоложе и силой поволокли его к Титову одру.

Тит сполз с одра и распростерся перед Евагрием, умоляя:

— Прости меня!

Но Евагрий, вырываясь из державших его рук, твердил с бранью:

— Не прощу ни в этом веке, ни в будущем!

И такой разжег в себе огнь, что кровь его изменила свой состав и цвет, лицо синевой налилось, рот перекосился, и вдруг повис тучным телом на руках у иноков. Те опустили его на пол и увидели, что он мертв.

— Смотри-ка, отче Тит,— сказали они, ужаснувшись,— как господь покарал отца Евагрия. В адской лютости, не покаявшись и не причастившись, он испустил дух.

— Да ну! — сказал Тит, подняв лицо от полу.

Увидел Евагрия, лежавшего бездыханно, проворно встал и перекрестился:

— Слава тебе, господи!

— А ты никак исцелился, отче Тит,— сказали старцы.

— Подлинно! — воскликнул Тит.— Я здоров совсем, милостью божьей!

И, взяв свою постель, пошел по обители возвестить о чудесном своем исцелении. А Евагрий был погребен со страхом и плачем, и Тит тоже плакал тихими слезами.

Много бывало разного, о чем Феодосию, как игумену, исправно доносили.

И лентяйничали, и скоромное ели, и деньги друг у друга отнимали, и хуже.

Он старался занять их работой: трудились бы да молились и не думали о чем не надо.

Написал прошение князю Изяславу: «Бог умножает братию, а места у нас мало. Ты бы нам отдал гору над пещерами»,— и Изяслав прошение уважил. Феодосий велел копать длинный подземный ход, целую улицу, и кельи по сторонам: чтоб не разбредались, держались на виду.

И большую пещеру ископали, для церкви.

Новую обитель обнесли оградой, у ворот посадили привратника, чтоб не было праздного шатанья в город и иных соблазнов.

Также занимал их умы трудами в книгохранилище. Кто хорошо знал по-гречески, те у него переводили книги. Имевших красивый почерк усаживал за переписку. Многим это нравилось, состязались во всяческих изощрениях и завитушках. Другие рисовали заглавные буквы, третьи переплетали во славу божью, чистым делом отвлеченные от искушений.

К тогдашним временам относится второе чудо Феодосия.

Пришел к нему эконом и сказал:

— Припасы кончились, деньги кончились. Завтра братии нечего будет есть.

Феодосий ответил, не вставая с колен,— он молился:

— О чем заботишься? Завтрашний день не настал еще. Будет день, будет и пища.

И продолжал молиться. Эконом ушел. Спустя немного Феодосий позвал его и показал:

— Смотри.

На столе лежала золотая монета и светила, как маленькая луна.

— Видишь,— сказал Феодосий,— господь и нас позаботился.

И рассказал, что после ухода эконома вошел молодой воин в доспехах, положил монету на стол и удалился.

Ворота ограды были заперты, никто не видел воина. Братия поняла с трепетом, что то́ приходил из архангелов кто-либо и что сделалось это по молитве Феодосия.

———

Пешком, как подобает, пришел поклониться обители греческий монах Михаил. Он не имел вида нищенского, как пещерники, был статен, в новой ризе, волосы и борода ровно подстрижены: он приехал из Константинополя в свите митрополита Георгия. После службы они с Феодосием беседовали вдвоем.

— Ты из какого монастыря? — спросил Феодосий.

— Я,— отвечал Михаил,— из Студийского монастыря, основанного консулом Студием в пятом веке, ты о нем, должно быть, слыхал.

— Как же,— подтвердил Феодосий,— дошло и до нас, как вы богоустроенно живете. Правда ли, будто у вас особо строгие правила, от греха ограждающие, как бронь?

— Грех,— вздохнул Михаил,— любую бронь пробивает. Но кое-чего мы, бесспорно, достигли. По крайней мере у нас почти совершенно покончено с идиоритмом, то есть с вольностью поведения и передвижения. У нас этого нет, чтоб монах делал у себя в келье что хотел, а соскучившись на одном месте, брал посох и суму и отправлялся в другие места по своему усмотрению. Великое единообразие жизни обеспечивает нам порядок в той степени, в какой он вообще возможен в людском общежитии. Первоначальная мысль о необходимости единообразия принадлежит преподобному Пахомию, возмутившемуся беспорядочностью жития святых отшельников в африканской пустыне. Он же, как тебе известно, наметил основные установления, ограничивающие эту беспорядочность. Но собственно устав, которым руководствуется Студийский монастырь, до мельчайших подробностей разработан лишь в девятом веке знаменитым Феодором Студитом, нашим иноком. Там предусмотрен каждый возможный шаг спасающегося брата и всё учтено, чтоб не дать ему споткнуться.

— Неужто каждый шаг? — спросил Феодосий.— И ты можешь ознакомить меня с этим уставом?

— Изволь. Среди книг, мной привезенных, есть краткий список устава. Я с радостью дам тебе его переписать. Полный же устав, исправленный патриархом Алексием, содержит несколько обширных пергаментных свитков и хранится у нашего монастырского библиотекаря отца Ефрема.

— Скажи,— подумав, спросил Феодосий,— вот я вижу твой вид холеный, волосы у тебя ниспадают лоснистыми волнами, одежда новая,— так положено по вашему уставу или же это есть отклонение от него, идиоритмическая вольность?

— Я благословен на эту вольность,— отвечал Михаил,— вернее, вынужден к ней моим назначением в свиту митрополита. Отправляя нас за рубеж, в Константинополе заботятся, чтоб мы выглядели приятно для чужих глаз и с блеском представляли святую соборную и апостольскую церковь. У себя же в монастыре мы в смысле одежды, как и в других смыслах, стеснены всевозможно. По Студитову уставу даже не имеем собственного платья, вообще никакой собственности, будь то деньги, или пища, или игла для шитья.

— О премудрое установление! — воскликнул Феодосий.— Собственность — чума, проказа, растление души! Дело пойдет лишь в том случае, если ни у кого из нас не останется даже иглы для шитья, но всё будет принадлежать обители. Только тогда сумеем истинно служить господу богу нашему.

— Не уповай чрезмерно,— заметил Михаил.— Не так всё это просто.

— Брат мой,— возразил Феодосий,— но ведь что-то с ними надо делать, чтоб не грешили ежеминутно и суеверие вкупе с земными страстями не вытеснило веру и не ушло бы от них вечное блаженство.

— Что-то делать надо,— согласился Михаил.— Но вряд ли устав так уж содействует укреплению веры. Для укрепления веры, я считаю, полезней всего чудеса.

— К чудесам привыкают.

— К уставу тем более.

— Может быть,— сказал Феодосий,— у вас в Греции меньше пропастей, куда слабому ничего не стоит сорваться. У нас же устав нужнее, чем чудеса.

— У нас,— ответил Михаил,— пропастей настолько же больше, насколько Константинополь богаче, многолюдней и просвещенней Киева.

— К примеру, у вас нет волхвов,— сказал Феодосий,— этих богоненавистников, подстрекающих народ на бесчинства, и старые идолы у вас давно перебиты, а нашим еще молятся, ох, многие, куда наш взор не досягает... А известна ли в Греции мерзостная ересь, называемая христовством?

— Не о той ли говоришь ереси, когда мужчины и женщины надевают белые одежды и кружатся, призывая духа?

— И докружившись до одури, падают в корчах, выкликают, бьются, как бесноватые...

— И одни впадают в блуд, а другие оскопляют себя,

заливая блудилище кровью,— продолжал Михаил.— Не то чтоб эта ересь была у нас распространена, но мы знаем о ней, поскольку из наших краев она исходит издревле.

— Неужели? К нам в Киев ее занес скопец Адриан еще при князе Владимире, крестителе. Так что ересь пришла вслед за истинной верой, по стопам ее. Иные полагают даже, что обе они растут из одного зерна, и истина и ересь. Что́ есть блудомыслие — ибо возможно ли, чтобы в чистейшем источнике, едва забил он, уже таилась отрава?!

— Нет,— сказал Михаил.— Христовское извращение древней, чем христианская вера. Оно существовало задолго до того, как над Вифлеемом зажглась звезда. Адриан, очевидно, почерпнул его у болгарских богомилов, а болгарские богомилы у азиатских манихеев, а те ведут свое начало от наших гностиков и Филона Александрийского — и дальше это уходит, бог весть в какие дали.

— Я рад еще раз услышать,— сказал Феодосий,— и еще раз возгласить, что источник нашей веры чист и зерно ее не содержит в себе ни малейшего изъяна! Но мы отклонились. Мы говорили об уставе.

— Ваши монахи развращены изначально,— сказал Михаил,— пещерной вольницей. Еще примут ли они устав.

— Примут! — сказал Феодосий, стукнув посохом о пол.— Господь внушит принять. Господь даст нам возродить монашество в древней чистоте и явить образец его миру во спасение. И отстоять истину от всех, сколько их ни есть, извратителей, хулителей, злобствующих, маловеров и нерадивых. Веришь ли, я о них и не думал, будучи простым иноком. Лишь в игуменском чине мое сердце возгорелось ревностью. Видать, таково свойство этого чина. Дай мне твой краткий список, я его собственноручно перепишу буква в букву, не доверяя писцам. И объясни, как найти ваш монастырь, чтобы мне не мешкая послать к Ефрему-библиотекарю за полным списком.

И он тотчас отрядил в Константинополь благоразумного и надежного брата Василия, а пока что обитель довольствовалась кратким списком, взятым у Михаила.

Немало воды утекло в Днепре, пока ходил Василий к Ефрему. Но даже краткого списка было достаточно, чтоб еще слышней разнеслась молва о печерских подвижниках. День и ночь хлопотал Феодосий об их душевном благообразии. И лишь когда изнемогал и ропот подымался к самому горлу его, передавал управление иноку Стефану,

уходил в свою старую пещеру, где всё падала да падала медленная капля со свода, и затворялся там от мира с богом наедине.

Между тем его мать жила в Курске и не знала, что сталось с ним.

Слуга посадника сказал, что Феодосий пошел на богомолье. Но слуги, посланные вдогонку, вернулись ни с чем. Потом был слух, будто видели его, как он шел в Иерусалим с каликами перехожими вдоль берега Сейма. Кто-то будто с теми каликами у их костра поужинал. И всё. И терялся след.

— Может,— говорили люди,— он так там в Иерусалиме и остался. А либо спасается на Афонской горе. Если, конечно, не случилось что-нибудь по дороге. Всё может быть.

Через сколько-то лет рассказали, что кто-то юный и прекрасный собой ходит по земле вятичей и бесстрашно проповедует слово божье. Что ему покоряются медведи и волки, и разбойники в тамошних лесах его слушают.

— Может,— сказали люди,— это твой сын. Он тоже был юный, и любил слово божье, и не боялся, вспомни, даже тебя. Если только, конечно, не убьют его вятичи, это же племя дикое, опасней волков и медведей.

— Ну, только найти мне его! — говорила мать.— Только мне до него добраться — всю шкуру спущу!

Она по-прежнему сладко ела, приближала к себе молодцов и ходила по дому подбоченясь.

Но годы шли, и ее красные, как яблоки, щеки сделались желтыми и отвислыми. Стали ноги побаливать, одышка явилась, и не в охотку ей стали молодцы.

Задумалась. Сидит у себя в комнате при светильце и думает. Пристрастилась гадать. Как услышит про нового кудесника, так и спешит к нему или к себе призывает.

Кудесники и кудесницы ей гадали и на бобах, и по звездам, разводили огонь и после, шепча, водили по пеплу пальцами. А то в миску с водой бросали бубенчик с Феодосиевой шапочки — он эту шапочку носил, когда был маленький,— и приказывали матери в воду смотреть, что там откроется.

Но ничего не открывалось ни в воде, ни в пепле, ни в звездных россыпях. А годы шли.

И, глядя с ужасом, как закатывается ее жизнь, раскаялась мать, что так обращалась с Феодосием. Поняла, что

не было у нее лучшего сокровища, чем сын ее единственный. Что все ее амбары, и лавки, и сёла, и рабы, и собственная плоть, которую она так ублажала,— ничего ей не нужно, только Феодосий нужен.

Как жестоко было ее сердце в молодости, так жестоко было теперь ее раскаянье. В муках доживала век, потеряв надежду на утешение.

Но хоть и угасла надежда, а всё же, когда заходили в дом странники, она к ним спускалась на своих больных, отекших ногах и расспрашивала, не слыхали ли где об ее сыне, много лет назад ушедшем от нее.

И вдруг один древний старик сказал:

— Много лет назад был я в Киеве, искал, где бы постричься, и со мной ходил один юноша. Я тогда был еще не без силенок и хотел загодя прибиться к какому-либо месту, чтоб мне в покое и устройстве встретить старость и дожидаться смерти под теплым кровом, не заботясь о куске хлебушка. Но ни в один монастырь меня не принимали, требуя вклада. И так же не принимали никуда того юношу. И я на них рассерчал и пошел по белу свету просить милостыню, так с тех пор и хожу, а юноша сказал: попрошусь пойду к Антонию, который живет в пещере; может, говорит, он меня примет без вклада. И я думаю — не твой ли это сын был.

Этот старик в поварне сидел в тепле, разувшись, и ел что́ ему дали, но утер бороду и встал, разговаривая с госпожой.

— Звали-то как? — она спросила, трепеща.— Имя его?

— Имя, госпожа, звук бесплотный: прозвучало — и порх из памяти.

— А каков был собой? Высок ли ростом, какие глаза у него были, какие волосики?

Старик ответил:

— Это помню как сейчас, что росту высоконького, а в плечах узковат.

— Точно!

— Глазки, очень помню, небольшие, серенькие, с маленькими веками, в глубину запавшие, и из глубины мерцали тихим светом.

— Дальше говори!

— И всё этими веками вот так помаргивал. Болели они у него, или чего боялся, или не хотел лицезреть, что́ в мире деется.

— Всё говори, что помнишь!

— Весь лик его тихий, и узкий, и бледный, и губы безответные.
— Ах, безответные!
— И всё будто шепчут что-то.
— Молитву!
— А волосики как лен светлые и тонкие.
— Он! — сказала мать.— Господи, он! А не открыл тебе, откуда родом и кто его родители?
— Говорили,— ответил старик,— будто из богатеньких. А родители кто, не знаю.
— Я уверена, это он,— сказала она.— Сердце мне говорит мое материнское.
И сразу начала собираться в дорогу. Старику же велела жить пока в ее доме и распорядилась, чтоб его кормили наилучшим образом.
— Если сердце меня не обманывает,— сказала ему,— и я по этому следу найду его, и он, голубчик жив,— до самой смерти останешься, дедушка, под моим кровом. А если я помру раньше, то упомяну тебя в завещании, не придется тебе заботиться о хлебе. Так что молись хорошенько, чтоб мне не обмануться.

Была зима, от морозов земля трещала. Мать надела две шубы, валенки, кунью шапку, поверх шапки повязалась теплым платком. В санях зарыли ее в рядна, в медвежьи шкуры. За санями ехали верховые в овчинных тулупах. Лошади покрыты были стегаными попонами и выпускали облака из ноздрей.
Долго ли они ехали, останавливаясь на постоялых дворах, где матери отводили покой получше; как ледяные ветры обдували их в пути и метели заметали; много ли денег раздала мать по встречным церквам во здравие сына,— можно бы особо порассказать, да это неважно. Важно, что она доехала до Киева и узнала, к великому своему счастью, что ее Феодосий жив-здоров и неподалеку в обители обретается игуменом. И через посланного слугу испросила позволения с ним повидаться. Феодосий находился в затворе, позволение дал Стефан. Он отрядил послушника ее проводить. И, пробравшись вслед за послушником по глубоким сугробам к пещере Феодосия, мать стояла под снегом и выкликала:
— Сынок, а сынок! Ты где там, родимый, ау! Это матушка твоя тебя кличет, отзовись! Я тебя все годы искала, уж не чаяла найти, только думала — где-то твоя могилка. Да, видно, бог меня пожалел.

Снег падал на нее с серого неба, и со страхом она смотрела на заваленную сугробом дверь, за которой находился ее сын. Не дверь даже, а так, доска. Только что окошечко в ней прорезано и дощечкой загорожено изнутри; в том проступала человеческая забота; иначе и не угадать бы, что кто-то тут живет. Мать шепнула послушнику:
— Трубы не видать, неужели у него печки нету?
— Вестимо, нету,— сказал послушник.— Ему спасаться, а не кости греть.
Еще холодней, еще страшней стало от этих слов. И дрожал материнский голос:
— Гей, откликнись! Сыночек! Голоса моего, что ли, не узнал? Или уж очень ты там глубоко — не слышишь?
А может, подумала, это я не слышу. Он говорит, а мне не слыхать через платок.
И выпростала уши из-под платка. Но опять ничего не услыхала.
— Похоже, нет его там.
— Там он.
— На молитве, наверно, стоит...
И чтоб задобрить Феодосия, она заговорила весело:
— Если стоишь на молитве, я мешать не стану, молись себе. Столько лет ждала, еще немного подождать нетрудно. С летами-то мудреет человек, сама теперь не пойму, как это я запрещала тебе жить по-божьему. В безумии своем, подумать только, тебя считала безумным, а о тебе гляди как говорят в Киеве — как о знаменитом и славном муже. Как же мне радостно будет, ты бы знал, посидеть с тобой рядышком, о делах твоих расспросить, погордиться!
И стала ждать, пока от горней беседы он снизойдет к земному свиданию. Подождав, попробовала его поторопить:
— Да ты уж не забоялся ли меня? Смешно бы, право: я нынче старая, хворая, стою — шатаюсь; а ты в самой зрелой поре. Смотри не заплачь, как увидишь, какая я стала. Если б и хотела, не смогла бы на тебя руку поднять. Да и не захочу, милый, не захочу, боль ты моя. Не с тем вовсе пришла. Повидать тебя пришла, пока еще ноги носят; полюбоваться на твое светлое личико. Покажи мне его, сыночек. Покажи твое личико.
Снег шел, шел и насыпал ей на плечи и голову белые холмики, и всё глубже уходила в снег, так что ноги стали

стынуть даже в валенках. И как ни вооружалась терпением, но слишком сиро и жутко было стоять и стыть перед серой доской, и опять она не выдержала:

— Вздумается же такое. Чего б ты испугался старухи? Я знаю, почему не отвечаешь. Думаешь — начну тебя уговаривать домой вернуться. Заманивать, мол, буду, прельщать, как сатана Иисуса прельщал. А то расхнычусь, чтоб ты меня, одинокую, не покидал на старости лет. Так нет же, мой голубчик. Ни жалобиться, ни улещать, ничего того не будет, не опасайся, мой душенька.

И такое говорила, плача:

— Быть того не может, чтобы твое сердце настолько на меня ожесточилось, чтоб пожелать наказать меня так ужасно! Если же в этом дело, то прошу тебя и заклинаю — вспомни не только мое злое, но и доброе. Я тебя в утробе носила, сосцами вскормила, я тебе рубашечки из шелка шила, на шапочку серебряные бубенчики нашивала! И истязала-то, добра тебе желая,— чуяла ведь, чем всё оно кончится!

Но молчала серая доска, засыпаясь снегом. Уж и окошечко завалило до половины пуховым сугробом. Вдруг спохватилась мать, что почти ничего не разглядеть кругом, вечер наступил.

Тогда она наклонилась и прокричала, сложив трубой руки:

— Я прощенья просить пришла, слышишь? Прощенья!

И наставила ухо, и опять напрасно.

— Как же так,— сказала.— Бог и тот, говорят, прощает, если кто покается.

Тут не выдержал послушник:

— Обожди-ка меня! Я к нему схожу.

И, разметав сугроб перед дверью, скрылся за ней. Вернувшись, сказал:

— Не может он видеть тебя. Не может, ну никак, впустить в сердце любовь мирскую. Дал обет иметь лишь небесную любовь.

Совсем уже было темно. Только снег белел.

— Зла же твоего не помнит,— продолжал послушник,— и никогда не помнил, и ты бы его простила, в чем виноват перед тобой, и шлет тебе благословение, и твоего просит. И ты должна понимать, это я уж от себя говорю, что не может он обет нарушить, не спастись ему тогда.

Повернулась мать и побрела прочь, с трудом вытаскивая ноги из снега.

Она поселилась поблизости и иногда видела сына, когда он выходил в город по делам обители. Но подойти и заговорить не смела, чтоб не повредить, не дай боже, его спасению.

Потом она раздала имение бедным, одарила своих слуг, а также Имормыжа, и постриглась в женском монастыре. Но скоро умерла: всё отекали у нее ноги, и не по ней было монастырское житье.

ЗАКАТ

Возвращается из Константинополя брат Василий.

Так как он приехал с поклажей — дарами Студийского монастыря,— он нанимает в гавани извозчика, едет домой, в обитель, на двуколке.

Весна, всё цветет, двуколка тарахтит негромко по мягкой дороге. Лаская взором родные места, Василий расспрашивает возницу.

— Давненько я из дому,— говорит,— ничего не знаю. Правда или нет, слыхал от встречных путников, будто прогнали киевляне князя Изяслава?

— Правда,— подтверждает возница.— Негожий князь. Сам от половцев побежал и нам побить их оружия не дал: своих, вишь, боится больше, чем половцев. Ну, прогнали.

— И кто ж у нас теперь? Всеслав?

— Нет, Всеслав недолго побыл. После него опять Изяслав вертался на время, поляки ему помогали. А теперь у нас Святослав черниговский.

— И как?

— Да простому народу всё то ж,— говорит возница.— Только много в этой заварухе справных людей побито, в тюрьму покидано, ослеплено безвинно, вот всего нам прибытку.

Едут вдоль длинного сада. Яблонный цвет вздувается шапками, как молочная пена.

— Богатые у вас сады, у пещерников,— говорит возница.

— Ошибаешься, человече. У нас нет садов.

— Как нет садов? И сады у вас есть, и луга, и пахотная земелька, всего вам надарили.

— Никогда,— стоит на своем Василий,— не брали мы таких подарков. Вот, везу я дары — елей, патриархом

освященный, паникадило тонкой работы, а земельных угодий мы не принимаем.

— Видишь село? — спрашивает возница, указывая кнутовищем.— Тоже ваше, не спорь со мной. Ваш игумен умелец прибирать имение к имению. Ему что тот князь, что другой, все суют. Чем больше льют кровушки, тем больше суют во отпущение грехов. Ныне вы с доходцем, кончилось прозябание ваше.

Вот новость так новость, думает, смутясь, Василий, неужели алчность нас обуяла и мы уподобились мытарям? Неужели найду моих братьев, и среди них, о печаль, Феодосия, казну считающими, мошну набивающими?

Он находит их на постройке. Вблизи обители они воздвигают дом. Как черные муравьи кишат, трудятся: копают землю, подносят бревна, обтесывают камни. Средь них Феодосий с руками, ободранными в кровь. От постов он высох как мощи. Глаза совсем провалились в глазницы и светят из темных глубин. Узким ручьем стекает по груди седая борода.

Первым долгом Феодосий спрашивает:

— Привез ли ты, брат Василий, полный список устава Феодора Студита?

— Я списал его буква в букву,— отвечает Василий,— как ты велел. Еще привез миро и паникадило многосвечное.

— Пойдем,— говорит Феодосий,— принесем попить братии.

Берет коромысло и ведра и спешит к кринице, и Василий следует за ним с другой парой ведер, не дерзая расспрашивать.

Лишь вечером, на исповеди, он заговаривает о своих сомнениях, о сёлах и садах.

— Не смущайся, брат,— говорит Феодосий.— То не мое и не твое. Ни единое яблоко не упадет в наши руки. То достояние господа. Он вложил мне в помыслы — копить и умножать для тех, кто ничего не имеет. Щедрой десницей обитель раздает милостыню, в том числе узникам в тюрьму каждое воскресенье посылаем воз печеного хлеба; а также женам и детям, которых князья наши вдовят и сиротят. И дом, который днесь возводим, будет прибежищем нищих и больных.

— Отче,— осмеливается возразить Василий,— сказано о птицах небесных и полевых лилиях, которые, ни о чем не заботясь, милостью господней получают свое пропитание.

— Неразумие говорит устами твоими,— отвечает Феодосий.— Не через нас ли, его служителей, являет он эту милость? Трость не пишет сама, если не будет пишущего ею. Не прославится секира без секущего ею. Слишком много несчастных, брат, взывает к нам о помощи, и слишком плачевная доля — каждую монету на дела милосердия выпрашивать у сильных мира сего. Я это познал в испытаниях моего игуменства. Одна ноша, видишь ли, у пастыря и другая — у пасомого. Вот ты отправлялся в чужие края, и я дал тебе денег и велел зашить в полу ризы, и ты зашивал с веселием и, как та полевая лилия, не призадумался — а где я взял деньги, у кого, убогий, их вымолил, кланяясь в пояс. Ты пустился в путь с одной заботой, тебе порученной: достать устав. Я же, твой игумен, остался под тяжестью, о какой ты и понятия не имеешь, которая подобна каменной горе, возложенной мне на плечи. Дозволь же мне, брат, самому управляться с этим бременем, и пусть с меня взыщется на высшем суде.

— И еще выскажу мысль,— заключает он,— в защиту наших приобретений, и она не менее важна. Время нынче грозное, неизвестно, что́ может быть с обителью, если не станет она на земле крепко и властно. Ступай.

И затворяется снова, чтобы без помех прочитать полный Студитов устав.

Он выходит из затвора с нововведениями, долженствующими установить в растущей обители порядок совершенный и окончательный. С сего дня братия разделена по четырем степеням, каждый знает свое место пред господом, каждой степени даже особая одежда. К примеру, великие схимники ходят в мантиях, а обыкновенные монахи мантию носить не могут. Но и те и другие обязаны игумену беспрекословным повиновением. А главное, никакого отныне своего имущества, всё монастырское; сверх того, что даст обитель, ничего тебе не положено; возьми и поклонись, и всё. Наипаче же — собственными деньгами не марай душу, на веки веков о них забудь.

Весь большой светлый день и звездная ночь расчленены на множество отрезков, и указано: в какой отрезок что делать и какой молиться молитвой. Когда нет службы в церкви и кончены совместные работы — не броди без толку, не шастай по кельям, сиди у себя и рукодельничай. И при этом пой божественное. Да не абы как, а чтоб слышно тебя было. А еда только в трапезной, общая, в келье же чтоб мышь и крошки хлеба не нашла.

— Послушай,— спустя время спрашивает Феодосий у Василия,— ты в Студийском монастыре жил, как там у них: бодро исполняют устав или с неохотой?

— Избранные,— отвечает Василий,— исполняют бодро. Им чем утеснительней, тем желанней.

— А с прочими,— спрашивает Феодосий,— как поступают? Епитимия дает помощь?

— По-моему,— говорит Василий,— от епитимии помощь невелика. Просто они большей частью стараются не видеть, когда кто преступает правила. Будто преступления и не было и всё идет как надо.

— Малодушие!

— Много преступлений,— поясняет Василий.— Не хотят срамить обитель.

— Нет, это что же! — говорит Феодосий.— Покрывать грех? Нам не годится!

Как дети, как малые дети! Ропщут, обманывают, не разумея своей же пользы. Соберутся потихоньку, вопреки запрету, и всякую пустоту пересуживают; а один поет божественное, чтоб заглушить разговор — отвести глаза.

Феодосий знает их повадки! Подойдет бесшумно, приложит ухо к двери, сквозь пение различит шушуканье и богоотвратные смешки. Распахивает дверь и входит, стуча посохом. Они бледнеют и встают перед ним. Ох, раскаянья нет в них, только лукавство и робость...

Он их увещевает. Увещевая, плачет. Они молча смотрят на его слезы, темно их молчание. И ходит он, полночи ходит, припадая ухом к дверям.

Если у кого находит в келье еду — приказывает бросать эту неблагословенную пищу в огонь или в Днепр.

Стало быть, у них деньги припрятаны; в пещерах, стало быть, закопаны или, может, в лесу; иначе откуда быть незаконным яствам и напиткам?

Так как уговоры и наказания не помогают, он садится и пишет к ним.

«Возлюбленные,— пишет он,— соблюдем его непорочные заповеди, не будем ходить вслед похотям, но будем работать богу. Воину Христову уместно ли лениться?

Я, худый, вещаю вам: надлежит нам от трудов своих кормить убогих и странников, а не праздными пребывать, переходя из кельи в келью. Слушайте апостола Павла, говорящего: праздный да не ест.

Молюсь вам от всей души, любимые мои, не будем в двоедушии!

Вспомним первый свой приход, когда к дверям монастырским приближаемся, не всё ли обещаем терпеть — и поношение, и укор, и уничижение, и изгнание? Соблюдай же, что обещал: никто тебя к этому не нудил. Ныне же все те обещания ни во что вменяем. От жития святых затыкаете уши, чтоб не слышать об их мужестве.

Засветим светильники наши любовью и послушанием. Потрудимся в молитвах, и в бдениях, и во всяких службах.

Услышим звон — негоже нам лежать, но встанем, как нас богоносивый Феодор учит, с Давидовым словом в уме: готово сердце мое, боже, готово.

После же второго звона ноги свои направим на шествие церковное, имея помыслы не дряхлые, а веселые, ибо в дом господень идем.

На честь нам столпы и стены церковные, а не на бесчестье.

И нам надлежит стоять с кротостью, не опираясь ни на стену, ни на столп, и руки сложить, а не вешать долу, и с умилением молиться, сон отложив и нечувствительным сделав себя к чиханию и к кашлю.

Когда же начнем псалтырное пение, не высовываться друг перед другом и пение не сбивать, но смотреть в сторону старейшего и не начинать без него: в том доброчинство. И когда начинают песню или аллилуйю, взирать на старейшего, и когда он поклонится, тогда и мы».

Написав, зовет писцов и сажает возле себя — переписывать для всеобщего чтения.

«Как мне не стенать и не тужить, возлюбленные? — переписывают писцы.— Сколько лет минуло, и ни одного не вижу, пришедшего ко мне и вопрошающего: как мне спастись?

Если кто ниву возделывает или виноград и видит плоды произрастающие — и трудов не помнит от радости. Если же видит свою ниву поросшей многими терниями — как ему молчать о том, как не стенать?

Молю вас, братия моя любимая, терпением вооружимся.

Не пророков ли предают в беды и напасти? Тех каменьями побивают, других в пещь мечут, иных ко львам.

И апостолов гонят, и в темницу сажают, и укоряют, и они не унывают в стольких бедах, не отвергают упования своего.

И преподобных отцов видим, в терпении житие свое кончающих, как звезды сияющих в памяти нашей.

Поклонимся и припадем к нему, и восплачем с покаянием. Поплачем здесь, но получим царство небесное и там утешимся».

Святослав пирует шумно, хвастливо. На сенях, на виду стоят столы, и завесы раздернуты. Гусляры играют на гуслях, ложечники на ложках, вино наставлено бочками, женки бесстыжие песни поют, мужикам на плечо наваливаются. Нарядный, пьяный сидит Святослав, и против него Феодосий в выгоревшей порыжелой одежде из сукна такого грубого, что отчетливо видно переплетение нитей, как у мешковины.

Истязание ему пиры эти. Повадился Святослав призывать его на гульбища, думает — оказывает честь. Как не пойдешь, когда князь велит идти? А ну разгневается? Отнимет милость? Им это недолго. Тогда — что с обителью? Великое дело подставлять под удар? Теперь вот есть божье указание строить храм Успения пресвятыя богородицы, надо выписывать зодчих из Византии,— кому о помощи кланяться? Князю же.

Через то Феодосий и сидит среди непотребства.

Запел свирельный голос, поет молоденькая, чуть не отроковица, бровки — цыплячий пушок, ей бы петь на клиросе в платье послушницы, а она раскрыла детские уста и поет плотское, призывное, ужасное.

Ее перебила старая, обросшая пудами жира, пискливая, как комар, поет и в раже кидает на стол жирные кулаки, горящие каменьями.

— Ты что не ешь,— говорит Святослав и, взяв кусок рыбы с блюда, протягивает Феодосию.— Ешь, отче!

Кусок хорош. Подлива каплет на скатерть. Кругом смотрят: чтит Святослав Ярославич печерского игумена. Из своих рук угощает.

А Феодосию становится невмочь.

Как: слуге божьему, свыше призванному, свыше вдохновленному,— из этих пальцев принимать куски!

Щелкают ложками ложечники. Плясуны скачут. Хохоча, мужики и женки хватают друг дружку.

В гордыне, какой не знал сроду, обращает Феодосий светящийся свой взор на Святослава. И остановилась над столом Святославова рука с куском рыбы.

— А на суде как будет? — громогласно и внятно спрашивает Феодосий.

Притихло:

— Что он сказал?

Машут плясунам:

— Цыц вы!

Один за другим угомоняются плясуны. Смолкли ложки. Кто-то среди тишины щелканул и оборвал.

— Чего он?..

— Кровавые! Алчные! — в тишине гремит Феодосий.— Братоненавистники! Сатане предавшиеся! О, будет суд на вас!..

Он встает и идет вдоль сеней к лестнице, высоко держа посох оплетенной синими жилами иссохшей рукой.

Всю ночь он молится, чтобы всемогущий отпустил ему грех возмущения и гордыни и отвел Святославов гнев от обители. Ослабев, просит совета — не пойти ли нынче же к князю с покаянием. Когда утром к нему стучат, он покорно встает с колен: вот он, час земного возмездья! Отворяй, Феодосий!

Это прибыл Святослав. Непроспавшиеся бояре теснятся за ним.

— Благослови, отче,— просит Святослав.

И бояре подходят под благословение в своих залитых вином кафтанах.

— Я думал,— говорит Святослав,— ты на меня до сих пор гневаешься, не захочешь и впустить.

— Наш долг,— отвечает Феодосий,— говорить вам то, что служит ко спасению душ ваших.

— Стало быть,— говорит Святослав,— храм Успения будешь строить.

— Если на то воля божья и твоя.

— Ну, пойдем помолимся вместе,— говорит Святослав.

Юноша лет семнадцати входит к Феодосию. Одетый невзрачно, с котомкой через плечо, с лицом худощавым и бледным, имеет, однако, вид неробкий, глаза смотрят востро и разумно.

— Чего ищешь? — спрашивает Феодосий.

— Спасения,— отвечает юноша.

— Чем спастись думаешь?

— Трудами во имя божие.

— Какой труд тебе в охоту? Что умеешь?

— Грамоте умею.

— Почерк добрый?

— Погляди, отче.

Юноша достает из котомки бумагу и разворачивает.

— Не больно добрый,— говорит Феодосий.— Ну, будешь прилежен — усовершенствуешься. Но что здесь такое написано про солнце?

— То было,— говорит юноша,— незадолго до того, как мне родиться. Люди рассказывали, я записал. На солнце накатывала тьма, на глазах у всех стояло солнце серпом, как месяц. Я многое, отче, записываю.

— Всё, что рассказывают?

— Не всё — достойное. Больше ведь слышишь такого, что недостойно людской памяти.

— Суетными россказнями переполнен мир,— вздыхает Феодосий.— Что же именно ты полагаешь достойным?

— Род человеческий на земле,— отвечает юноша,— прибывая, как река в половодье, без оглядки мчится к судьбам своим, мало склонный вникать в прошлое и искать в нем указаний на будущее. Между тем что может быть полезней уроков пережитого? Будь народы к нему внимательней, разве не избегли бы они тьмы печальных ошибок? Не уважали бы больше друг друга, видя в себе не случайные скоропреходящие скопления, но звенья единой могучей цепи, связанной преемством и заботой о потомках? Возможность принесть посильную пользу людям вижу в том, чтоб закрепить в их памяти всё дельное и поучительное, насколько дано мне будет разума. Дельностью и руководствуюсь, отделяя достойное от недостойного, когда то и другое льется мне в уши.

— Кое-чему я и сам был свидетелем,— продолжает он,— довелось. К примеру, когда я еще дитя был, из нашей реки вытащили рыбацкие сети урода — такого, верно, от сотворения не бывало: не человек, не рыба, не зверь, не знаю кто. Оно лежало мертвое на берегу, и до вечера люди приходили ужасаться. Дозволишь ли сказать: у него срамные части были на лице! Впрочем, сам прочитай, вот описание. Я воздержался, как видишь, от подробностей, ибо они нечисты, а слово должно быть чистым.

— Справедливо судишь,— одобряет Феодосий.— Так, слово было в начале всего, и оно должно быть чистым, как святая вода, как слеза Христова!

— Отче,— спрашивает юноша,— тьма на солнце, срамной урод — не те ли это знамения, о которых читаем в Иоанновом откровении?

— Нет, сынок,— отвечает Феодосий.— Не соблазняйся видимым и слышимым. Это не те знамения. Для тех еще рано. Но любознательность твоя и намерения — от бога. Записывай, что находишь нужным. Я тоже имею рассказать немало замечательного, что следует сохранить в назидание грядущему. Оставайся у нас, здесь наилучшее тебе место. Как звать тебя?

— Нестор,— отвечает юноша.

Долго длится монастырское всенощное бдение. Осенняя ночь черным-черна, когда оно оканчивается. Братия, засыпая на ходу, расходится по кельям, а Феодосий надевает мантию с куколем и отправляется в город.

Знакомой тропкой, постукивая посохом, шествует через лес, оголенный и уныло стонущий, и выходит на проезжую дорогу. Снег еще не выпадал, дорога, скованная морозом,— как железо. Ветер режет лицо, рвет с плеч ветхую мантию,— но вот рассвет, вот Жидовские ворота, цель Феодосиева странствия сквозь стужу и мрак.

Многие лавки еще закрыты, но некоторые открылись, в их пахучей глубине горят огни. Там перекладывают на полках свертки заморского сукна и шелка. Там в свете светильника блестят монеты, меняла отсчитывает деньги сидящему перед ним купцу. Стража похаживает перед лавками, смотрит, чтоб не было разбоя и обиды как для продающих, так и для покупающих.

— Эге! — говорит какой-нибудь еврей, завидев Феодосия.— Шмул, Ицхок, бежите за ребе Иеремией, к нам опять пожаловал господин игумен! — И, выскочив из лавки, просит с поклонами: — Заходи, господин! Мои сыновья не преминут доставить к тебе ребе Иеремию и всех, с кем твоя святость имеет обыкновение беседовать. А пока осчастливь меня, зайдя в мою лавку и отдохнув на моем стуле!

Но Феодосий в лавки не заходит, а ждет на улице, на ветру, тех, к кому пришел: ребе Иеремию и других спорщиков — учителей и старейшин, пасущих здешнюю паству. Они не долго заставляют себя ждать: вон поспешают, шаркая подошвами длинных башмаков; слышится их стариковский утренний кашель. Горбоносые, в седых кудрявых пейсах, в черных плащах с желтой каймой, обступают Феодосия. Медленно разлепляет очи темный день, и под навесом базара разгорается словопрение.

— Что ж,— спрашивает Феодосий,— кому-нибудь в душу запало зерно, мною брошенное? Может, хоть одному запало? Может, хоть малый, хоть крохотный дало росток? Или снова объявите, что не веруете в очевидное?

— Господин,— печально отвечает ребе Иеремия,— мы не веруем, ибо у нас есть основания.

— На какие основания можете ссылаться,— спрашивает Феодосий,— когда это засвидетельствовано? Сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею: «Помни Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему», а в первом послании к коринфянам: «Не видел ли я Иисуса Христа, господа нашего?»

— Увы,— отвечает ребе Иеремия,— мы не верим в истинность этих свидетельств, и что же велишь нам делать, если мы не верим?

Он разводит руками, и другие разводят руками и склоняют голову к плечу, спрашивая всем видом своим: что тут поделаешь?

— Вы противитесь вере злокозненно! — говорит Феодосий.— Заперли от нее сердца и не впускаете, упершись в высокомерном своем неприятии.

— Сердце верующего,— возражает ребе Иеремия,— должно быть заперто и запечатано семью печатями во избежание нежелательных проникновений. Склоняет ухо к чужому учению тот, кто уже таит в себе гниль отступничества, в лучшем случае — тот, кто подобен дитяти, играющему с огнем. Мы слышали, что ты, господин, наставляешь своих монахов в такой же бдительности.

— Как можете равнять,— сердится Феодосий и стучит посохом,— нашу бдительность с вашей? Ваша бдительность окаянная, а наша святая, ибо наша вера истинная!

— Нет,— они отвечают.— Наша вера истинная. Пророки нам возвестили, что Мессия придет, и мы живем в благочестивом ожидании, в законе и страхе, вы же утверждаете, что он уже пришел, пророчества свершились и ждать больше нечего.

Феодосий:

— Ждать надо суда небесного.

Евреи:

— Мессия будет судить на земле.

Феодосий:

— Христос воскрес и вознесся.

Евреи:

— Христа не было.

Феодосий:

— Безумные! Кто ж это, по-вашему, был?

Евреи:

— Никого не было. Если б существовал Иисус из Назарета, о нем было бы написано в наших книгах. О нем нет в наших книгах.

Феодосий:

— Ваши книги лживые!

Евреи:

— Наши книги священные.

Феодосий:

— Слепцы, слепцы! Мыслимо ли вообразить, что его не было! Да это что бы такое было, если б его не было!

Евреи:

— Ничего, господин, особенного: то, что видишь. Разумеется, жизнь далеко не такова, как нам и тебе желательно бы ее видеть и какой она несомненно будет после пришествия Мессии. Тем не менее всё как-то движется своим чередом, и еще можно терпеть, пока есть возможность селиться в городах и вести торговлю.

— Погодите,— говорит Феодосий.— Ответьте мне: если его не было — кто же тогда мученикам дает силу переносить муки? Кто за сей юдолью открыл нам жизнь бесконечную? Кто произнес те слова у моего плеча и вывел меня на дорогу служения? Кому же я служил, заблудшие, как не ему? Мог ли бы служить, если б он меня не поддерживал, ежеминутно из груди своей в меня вдувая крепость и радость? А другие, которых знаю? Антоний, Исаакий, страстотерпец Иоанн? Могли бы они быть, если б его не было? Ну? Отвечайте!

Он ждет ответа. Но они, обступив его, молчат с почтительной непреклонностью. У одних глаза опущены отчужденно. У других насмешка змеится в бороде.

Тогда, в негодовании от их упрямства, от того, что не хотят признать его истину, он начинает бессвязно и пламенно поносить их обычаи и веру.

— Вас дух обошел,— говорит он.— Ваша пятидесятница — просто праздник новой жатвы, уж после вы к ней Синайское законодательство приплели. У нас же в пятидесятницу дух сходил на апостолов, сказано: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святаго и начали говорить на иных языках...»

Его голос прерывается и меркнет.

— А субботу вашу,— продолжает он,— вы проводите в хвастливой праздности, заставляя православных на вас трудиться...

Растет толпа кругом. Старые и молодые евреи, жители этой части Киева, становятся на цыпочки, чтоб посмотреть на знаменитого христианского игумена, приходящего к ним для спора и обличения.

Он грозит темным пальцем; обтрепанный рукав соскальзывает, обнажая высохшее запястье. Они расступаются, и он проходит между ними сгорбившись, в изнеможении от этой безысходности, от того, что снова всё напрасно и снова они тут остаются зловредно прозябать без Христа, без святого духа, без царства божьего.

Проходит осень, за осенью зима, за зимой весна, настает последнее лето Феодосия.

Уже он не может работать.

Не может петь в церкви.

Иной раз распластается в земном поклоне, лежит — не разобрать, дышит или нет.

Подымут его, отведут под руки в сад, посадят на скамейку. Нарочно скамейку поставили под липой над обрывом.

Сидит под липой, вдыхает ее благоуханье.

Огромное дерево цветет от нижних ветвей до макушки. Пчелы гудят вокруг дерева.

Юноша Нестор сидит у Феодосиевых ног.

Феодосий спрашивает:

— Ты не забыл ли, Нестор, написать, я тебе рассказывал — как я их тогда у князя на пиру!..

— Я написал, отче,— отвечает Нестор.

Сидит Феодосий, созерцает, шевелит бескровными губами.

— А после моего преставления,— говорит погодя,— вот как узнаете, близок я к господу или же нет. Если увидите, что блага обители умножаются, значит — близок и молитва моя доходит до него беспрепятственно. Ты это напиши, слышишь?

— Хорошо,— отвечает Нестор.

Вдруг идет к ним по дорожке неизвестный рыцарь. За ним мальчик-слуга несет что-то, накрытое парчой.

Феодосий приподнимается и кланяется рыцарю, а тот перед ним преклоняет колено.

— Прости,— говорит,— господин, что нарушил твое священное уединение. Но дело первейшей важности привело меня к тебе. Ты видишь перед собой Симона, племянника славного воеводы Якуна. Того варяжского ярла Якуна,

что помогал князю Ярославу воевать против Мстислава тмутороканского. Мстислав, как известно, разбил их наголову, так что Ярослав долго боялся показаться в Киеве, и Якун бежал с поля битвы, потеряв свой плащ, шитый золотом. Он вернулся в Норвегию, разъяренный неудачей, и его дружина была разъярена, что никакой добычи ей не досталось в этом далеком и трудном походе, и дядя Якун, чтоб свести концы с концами, выгнал меня и моего брата Фрианда из наших владений и захватил наше имущество, так что нам пришлось идти служить государям Русской земли. Бог был к нам милостивей, чем и дяде Якуну: за нашу усердную службу он посылал нам соответственное вознаграждение, я женился на дочери новгородского тысяцкого, обзавелся и красивой женой, и домом, и всяким добром. Достаточно сказать, что возле меня живет и кормится родичей, домочадцев, воинов, священников, рабов — более трех тысяч человек. Рассказываю это, чтоб ты знал, с кем имеешь дело; теперь к самому делу.

Еще когда мы с братом Фриандом были наследниками владений, впоследствии отнятых у нас дядей Якуном, наш отец Африкан, брат Якуна, велел сделать распятие, большое, выше человеческого роста, новой работы, как делают латины. На голову Христа был надет венец из чистого золота. И вот, изгоняемый из моего поместья, я взял этот венец и с ним взошел на корабль, который повез меня к вашим берегам. Едва мы отплыли, поднялась страшная буря, мы все из сил выбились, убирая паруса и откачивая воду. Когда же буря улеглась, я заснул глубоким сном и во сне увидел Христа, говорящего: «Никогда не возлагай сей венец на голову смертного, а доставь его туда, где некий святой строит церковь во имя моей матери; в руки святому его и отдай». Такой мне был сон, и с тех пор много лет в боях, и странствиях, и в утехах семейной жизни я не уставал думать и спрашивать, кто же тот святой, о котором мне было сказано. И наконец все показания сошлись на том, что имелся в виду не кто иной, как ты, господин, и никакой иной храм, кроме устрояемого тобою. Так что прими от меня завещанный Христом венец для алтаря божьей матери.

Симон подает знак, и мальчик приближается со своей ношей.

— От тебя же, — говорит Симон, благоговейно снимая с венца парчовый покров,— прошу лишь одного дара.

— Чего же,— спрашивает Феодосий, глядя, как солнце

играет в венце,— чего просит твое величие от нашего смирения?

— Великого дара!

— Ты знаешь, сын мой, наше убожество: часто хлеба недостает. А кроме хлеба не знаю, и есть ли что-нибудь.

— Земного ничего мне не надо,— отвечает Симон.— Всё имею. А благослови меня своим благословением и сейчас, при жизни, и в будущих веках. Меня, моего сына Георгия и весь мой род ныне и присно.

— Симон, Симон! — говорит Феодосий.— Улавливаю из твоего рассказа, что ты придерживаешься латинской веры, и род твой также.

— Но в сплетении изложенных обстоятельств,— отвечает Симон,— я вижу ясное указание, чтоб мне и роду моему перейти в православие. Быть может, для того господь и не попустил, чтоб наш корабль потонул в морской пучине.

— Пожалуй,— говорит Феодосий.— Коль скоро ты так похвально мыслишь, я тебе даю мое благословение.

И поднимает руку для креста.

Но Симон падает лицом в землю и говорит:

— Нет, великий святой! Молю тебя — дай мне удостоверение письменное, что благословляешь на все времена! Я это письмо велю в гроб со мной положить, и уж тогда спокоен буду, что господь поместит меня по правую свою руку, а не в том месте, не хочу его и называть, где мне придется терзаться вечно. Потому что из таких приключений, как мои, никто не выходит ангелом.

— Ну что ж,— говорит Феодосий, подумав.— Полагаю, что могу тебе дать такое удостоверение, видя силу твоей веры в будущую жизнь. Только обещай, что немедля оставишь латинское заблуждение и примешь нашу веру, и приведешь к истине всех своих сродников, и домочадцев, и воинов, и рабов, а латинские священники пусть идут из твоего дома куда хотят.

Симон обещает. В сопровождении Нестора и мальчика, несущего венец на вытянутых руках, они отправляются в Феодосиеву келью. Там Феодосий пишет требуемое письмо. Он пишет: «Господи, когда будешь воздавать каждому по делам его, тогда сподоби, владыко, рабов твоих Симона и Георгия стать по правую твою сторону»,— и другие слова в подкрепление и уточнение этой просьбы.

— Прибавь к этому,— просит Симон,— чтоб отпустились грехи моим родителям и дедам.

Феодосий исполняет его желание, и Симон отбывает обнадеженный, унося драгоценную бумагу на груди.

Сидит Феодосий под липой, Нестор у его ног. Гудят в лазурном воздухе золотые пчелы.

— Не забудь написать,— говорит Феодосий,— как приходил к нам этот варяг, и какое ему было сновидение, и какую бумагу я ему составил.

— Я всё напишу, отче,— отвечает Нестор.

1966

ФЕОДОРЕЦ БЕЛЫЙ КЛОБУЧОК

Князь Андрей Юрьевич был храбр, решителен, по первому зову своего тятеньки спешил к нему на помощь, как бы худо у того дела ни складывались. Врезывался в гущу боя, разя неприятеля мечом, некогда меч этот принадлежал святому Борису.

И разумом силен был. То, что он задумал, было задумано им самим, без подсказки, в тайниках души полюблено, решено. Но когда пришло время свершиться задуманному, его твердое сердце дрогнуло. Безумным вдруг предстал ему собственный замысел. Невозможно показалось открыть его людям.

Вот сейчас они чтут Андрея Юрьевича, а в следующий миг возмутятся и объявят богохульником.

Без людей же исполнить задуманное было нельзя.

Одними своими руками тут ничего не сделаешь.

Кого позвать в помощники? К кому толкнуться?

Лишь один имелся человек, которому он не то что мог, но должен был непременно открывать любое свое помышление: его духовник поп Феодор. Был он из Владимира, где Андрей Юрьевич княжил тятенькиной волей. Когда тятенька, сев наконец-то на киевский великокняжеский престол, велел Андрею сидеть в Вышгороде, чтоб у него, у тятеньки, под рукой быть на всякий случай,— Андрей привез в Вышгород и этого попа.

С Феодором жилось веселей. Он даже грехи отпускал весело: легко, небрежно, ничего, мол, страшного в твоих грехах нет, подумаешь — делов. Осенил крестом — свеял с твоей совести всякое беспокойство: иди, князь, живи себе не тужи, чего там, мы умные люди.

Он книги читал. Другой читает и на память затверживает, а радости никому никакой. У Феодора же игривая

мысль порхала вокруг прочитанного. Как-то он всё на свой лад передумывал и что-то свое выводил. Иной раз такое скажет — Андрей Юрьевич так и грохнет одобрительным смехом. Опять же приятно, когда твой поп статен, пригож, в цвете сил. Не семенит старческими немощными шажками, а пролетает по палатам орлом. На исповеди дышит на тебя свежим дыханьем здорового мужчины, у которого ни единой хворобы ни внутри, ни снаружи и во рту — тридцать два белоснежных целехоньких зуба.

На исповеди, с накрытой епитрахилью головой, Андрей Юрьевич и поведал этому человеку замышленное — без упора, между прочим — смотри, какая соблазнительная, ни на что не похожая пришла мне мысль, сам удивляюсь! И, сопя под епитрахилью, ждал: отзовется ли Феодор, ухватится ли за брошенное, или просто даст отпущение, что будет означать: а ну тебя с твоими мыслями, в эдакое ввязываться?.. Феодор на сей раз не спешил с отпущением, молчал. Потом сказал раздумчиво:

— Конечно, по доброй воле вышгородцы не согласятся.

— Какое согласятся,— сказал из-под епитрахили Андрей Юрьевич.— Встань будет великая.

Опять заговорил Феодор:

— Там в монастыре старичок есть, Микулич.

— Знаю его. Дряхлый и восторженный.

— Восторженный — это хорошо. Его монашки уважают.

— При чем это, что уважают монашки?

— При том, князь,— вдохновенным голосом ответил Феодор,— что он свидетелем будет, а монашки за ним свидетельницами.

— А что они будут свидетельствовать?

— Ну, мало ли...— сказал Феодор.

После исповеди Андрей Юрьевич пошел к своей княгине.

— Что, Кучковна,— спросил ее,— надоело в Вышгороде?

— Ох, Юрьич, таково надоело! — отвечала княгиня.— Как в походе живешь, не знаешь — развязывать узлы или погодить.

— Ну, потерпи еще. Теперь, если бог даст, недолго.

— Неужели домой вертаемся? Когда же, Юрьич?

— Того и не знаю,— сказал Андрей Юрьевич,— и ты об этом ни с кем не говори, а узлов лишних не развязывай, чтоб при надобности быстро подняться и ехать.

А поп Феодор пришел к своей попадье, такой же

цветущей, как он, с глазами голубыми, выпуклыми и круглыми, как пуговицы на ее сарафане. Они сели пить сбитень. Разгорячась от сбитня, принялись целовать друг друга в пунцовые уста, и Феодор жарко шептал попадье на ухо, и попадья смеялась звонко и зазывно:

— Ах-ха-ха-ха!

Чудо, чудо!

Стала плакать в вышгородском женском монастыре божья матерь.

Тихо и невидимо плакала, и следы слез не сходили с ее ланит, начинаясь в уголках гла́зочек. Слезы переходили на подъятый лик младенца, к которому она льнула правой ланитой.

Первым дьякон Аполлинарий сподобился это увидеть и кинулся за священником Микуличем. Тот, конечно, затрепетал весь, и набежавшие монашки затрепетали, и народ потек прикладываться и ахать. То была икона древняя, много лет назад привезенная из Константинополя. Сказывали — ее писал евангелист Лука.

Не только вышгородцы — со всей округи толпы потекли. Такие вести вмиг разносятся.

Князь с княгиней тоже приходили приложиться, клали земные поклоны и большую раздали милостыню.

В церкви не прекращались акафисты и давка.

Слезы ее пахли елеем. Это особенно умиляло.

Дальше вот что произошло.

Утром Микулич открыл церковь, смотрит — не так что-то. Зажег свечи, огляделся — и матерь-то божья от стены отошла и посередке стоит!

Микулич пал ниц и долго не смел поднять лицо от пола. Когда же монашки поставили его на ноги, они сообща, с благоговейной молитвой взяли пречистую и на место водворили. Тревога тяжкая и скорбь легла им на душу, потому что темно было: к чему бы чудо это, какое и кому в нем указание? До сих пор владычица творила понятные чудеса: поднимала расслабленных, изгоняла бесов из кликуш, вернула зрение некоему слепому. Что она плакала — так как же ей, многомилосердной, не заплакать, когда кругом в Земле стенание и плач, половцы поганые покою не дают, и свои князья секутся без передыху, сплошь кровь, разорение... Здесь же была тайна. У иных маловерных даже явилась мысль, что разбойники хотели унести икону, да не успели и среди церкви кинули.

Но они эту мысль не разглашали, сами пугаясь своего маловерия.

На другое утро опять пречистую не на месте нашли, теперь еще дальше: почти у выхода в притвор стояла, и заплаканный взор, полный уныния, был обращен в синеву и зелень, видимые за порогом. Догадался Микулич и сказал, зарыдав:

— Заскучала у нас матушка, в другое место вознамерилась!

При этих словах у всех будто пелена с глаз долой. И запричитали, прося, чтоб смилостивилась, отменила свое намерение.

Но не вняла: на третье утро не стало ее.

По монастырю искали, по всему Вышгороду, в окрестностях. Не нашли нигде. Кто продолжал сбегаться и съезжаться на чудеса — приходилось поворачивать оглобли.

Когда шум приутих, уехал Андрей Юрьевич. Не известив тятеньку, не испросив его благословения, снялся со своей княгиней, с дружиной и обозом.

Лишь после стало известно, что владычица изволила отправиться с ним. Во главе ехала, в возке, запряженном четверкой лошадей. С нею в возке — поп Феодор и дьякон Аполлинарий. Вкруг возка — крепкая стража. Следом — верхом — Андрей Юрьевич, Феодоровым отпущением облегченный от грехов, державный, величавый. За ним княгиня и прочие. В конце поезда выглядывала из возка голубыми своими пуговицами смешливая попадья.

Почему Андрей Юрьевич, почтительный сын, самовольно оставил Вышгород?

Так близко был Киев и близки тятенькины сроки, и тятенька обещал ему, Андрею, оставить престол киевский.

Всю жизнь стремился тятенька к этом престолу. Недоедал, недосыпал — всё мерял да резал, соображал, лукавил, заключал союзы, изменял, великодушничал, заваривал смуты. Со своими суздальцами врывался в Киев, киевляне подымались и прогоняли суздальцев вместе с тятенькой...

Ныне подходила пора Андреевой жатвы. Справедливой награды за верность. Лучшие годы были отданы тятеньке, его мечте. Как Андрей ему служил — ни один воин так служить не будет.

Как его тогда при осаде Луцка окружили немецкие наемники, и немец уж целил в него рогатиной, а с городской стены градом летели камни. Конь его вынес из вражьей тесноты, три копья торчали в конских боках, он домчал Андрея Юрьевича до своих и пал, добрый конь,— и все тогда обнимали Андрея Юрьевича и говорили, что он самый мужественный, и коня он похоронил с честью...

Другой раз, возле Перепетова, еще жесточе было сражение, и коня его ранили в ноздри, и тот храпел, взвившись на дыбы, и Андрея крючьями тащили с седла, а он держался, с него сбили шлем, вышибли щит...

Так-то мы сеяли.

И вот, пора жатвы подходила, а жнец, вместо того чтоб точить серп, погрузил княгинины узлы на телеги и покинул поле урожая.

Враги-сородичи, иступившие мечи и изломавшие копья в многолетней свалке вокруг Киева, увидели широкую спину самого страшного соперника, удаляющуюся прочь от злачных мест на скудный север.

Удивились враги-сородичи и задумались: какая здесь хитрость?

Или не хитрость?

Не ушиб ли бог Андрея Юрьевича?

Не может в здравом уме человек бросить поле перед урожаем.

Гадали родичи — не разгадали.

А оно и разгадывать было нечего.

Просто понял Андрей Юрьевич: предстоящий урожай — видимость. Призрак обманный.

Что будет с тем, кто после тятеньки сядет на великое княжение в Киеве?

Так сейчас все на него и навалятся.

Ни власти, ни устройства. Драка до конца дней.

Андрей Юрьевич и покойный Ольгович Игорь пробовали их мирить — никто и не слушал.

Игорь и монахи от них убежал — не помогло. Из церкви от обедни вытащили и кончили. Потом-то вопили, что он святой, платки мочили и его крови — на счастье. Закружили народ, раздергали в разные стороны, он уж сам не знает, кого ему надо.

И половцы под боком, как вечно взбаламученное море, им эта каша кровавая на пользу.

Пусть кто хочет снимает такой урожай. Небось не забогатеет. Андрей Юрьевич — домой. В Суздальскую Землю. Там Владимир на Клязьме, его удел. Суздаль

милый, где родился и вырос. Именитый Ростов Великий. Ростов и Суздаль младшим братьям назначены... Ну, с братишками он поладит как-либо.

Четыре лошади играючи везли по летней сухой дороге возок, в котором ехала пречистая.

Подъехали к Владимиру. Владимирцев заранее известил посланный гонец. Город выступил навстречу с хлебом-солью, хоругвями и пением тропарей. Попы понадевали пасхальное облачение. Пречистую вынесли из возка. Слез на ее лике не было, она утешилась. Не замедлила исцелить одну из кликуш. Андрей Юрьевич сказал, поклонясь на все стороны:

— Православные, великая грядет к нам святыня, владычица чудотворная, апостолом написанная, возжелала в наши места, умолим же ее — да будет заступницей перед всевышним за нас, владимирцев, и всю Землю Суздальскую.

— Аминь! — отвечали православные, вслед за князем и попами бухаясь на колени.

Поехали в Суздаль.

Вдруг, верст через десять, стали лошади, везшие икону,— ни с места. Запрягли других: и те не идут. Истязать их кнутом перед очами заступницы отец Феодор воспретил — сказано: блажен, иже скоты милует. А словесные понукания не помогали нисколько. Пока возились, стало смеркаться. Разбили князю шатер и спать полегли — утро вечера мудреней.

Андрей Юрьевич заснул и увидел сон. Приснилась ему пречистая. Будто вошла она в шатер, держа в руке хартию. Под стопами у нее были облака. Она раскрыла уста и заговорила, и повелела не везти ее икону дальше, а оставить во Владимире, у добрых владимирцев, угодивших ей приемом. Там же, где стоит сей походный шатер, воздвигнуть каменную церковь во имя Рождества Богородицы и при ней учредить монастырь.

Так распорядилась она, о чем Андрей Юрьевич всех известил, выйдя из шатра утром. А из ее распоряжений, в своей благочестивой ретивости, домыслил дальнейшие свои поступки. Кроме того, что была воздвигнута требуемая церковь и основан монастырь, он на месте своего ночного видения построил село и в нем дворец для себя. Церковь украсил очень богато, позолотой и финифтью. Живописцы цветной росписью расписали стены внутри. Там временно, до построения подобающего храма во Владимире, поместили пречистую. Андрей Юрьевич учинил ей новый великолепный оклад: одного золота пошло пятнадцать фунтов, да жемчугу сколько, да драгоценных камней.

В память видения он приказал написать образ божьей матери с хартией в руке. Село, построенное на месте видения, в десяти верстах от Владимира, было названо — Боголюбово.

— Попадья, а попадья,— сказал отец Феодор,— почему у меня шелковых рубах нету? Ни разу ты мне не сшила шелковую рубашку.

— Федюшка, свет,— отвечала попадья,— так ведь и почему не шила? Потому что ты не приказывал.

— Вот я приказываю,— возразил Феодор,— сшила бы неотлагательно, и не одну, а полдюжины. Также пристало мне иметь платки шелковые для утиранья бороды и носа. Один платок, к примеру, синий, а другой коричневый, а для Великого дня — чисто белый.

Попадья заморгала круглыми глазами.

— А в доме,— продолжал вдохновенно Феодор,— завести свистелки, как у бояр, чтоб когда понадобится слуг позвать, то благопристойно посвистеть в свистелку, и не кричать на весь дом. Для Любима, к примеру, будет один свист, для Анки двойной, для Овдотьи тройной. И ты оденься понарядней, моя горлинка, ты у меня краше княгинь и цариц; пусть же перед всеми твоя красота просияет!

И дал ей мешочек, такой увесистый, что попадья спросила шепотом, взвесив на ладони:

— Ой, Федюшка, откуда столько?

— Князь пожаловал.

— Ой, Федюшка, хорошо-то как!

— Погоди,— сказал Феодор,— это начало. Будет еще лучше.

Что может быть прекрасней голубых очей!

Серые — невзрачно.

Зеленые на кошачьи смахивают.

Про другие сказано: черный глаз, карий глаз — милуй нас! Добра от них не жди.

В глаза попадьи Феодор смотрится, как в два веселых неба. В каждом отражается его благообразное лицо и красивая борода.

Нехорошо, что нет у них детей. Так пылко любятся, а деточек не дает бог.

А может, и это к лучшему?

Зато не вянет, юной и свежей пребывает попадья. Не иссякает пылкость Феодора, обоим дорогая.

Бог, он знает, что делает.

Стал Андрей Юрьевич устраиваться прочно на княжение во Владимире.

Город был молодой, небольшой. Многие жители — пришельцы из южных земель: люди, бежавшие от разорения, тяготевшие к мирным трудам.

На новом месте они работали усердно, с властью старались ладить, и не было во Владимире постоянного роптанья и маханья руками на вече, несносных Андрею Юрьевичу.

Желая увеличить число жителей, он разослал своих посланцев в Киев и другие южные города. Посланцы хвалили трудолюбивый город Владимир и его князя. Вот на кого уповать можно, они говорили; уж его-то рука вас защитит! Здесь вам — ни достатка, ни покоя; что ныне добыли себе в поте лица — завтра отнимут половцы либо свои же, у кого меч в руке; еще спасибо скажете, если голова на плечах уцелеет. Текут ли наши реки молоком и медом? Нет. И нигде не текут. Но какова б ни была наша жизнь, она устойчивей вашей, нет в ней безумия. А половцев у нас и не видать, они к нам не суются.

Послушав таких речей, уж целыми родами, а там поселениями стал являться народ во Владимир. Привозили имущество, пригоняли скот — если не ограбят в пути... Прежде всего, явившись, ставили себе дома для жития, и Владимир богат был искусными плотниками, и Андрей Юрьевич особенно их поощрял — он много строил, собирался строить еще больше.

А кроме того, они сеяли жито и лен, торговали, ремесленничали. Муж дубил кожи, ковал железо, точил ковши и ложки, жена пряла, ткала, вышивала; в каждой семье умели разное, от этого умения была польза.

Соревнуя Киеву, Андрей Юрьевич называл новые владимирские урочища старыми, привычными народу именами: Золотые ворота, Печерный город, Десятинная церковь, и народ с радостью подхватывал эти имена, как память о незабвенном Киеве. Речку, впадающую в Клязьму, назвали Лыбедью...

Более всего Андрей Юрьевич строил церквей и монастырей, теперь их созидали свои мастера. Русские живописцы писали иконы, русские резчики вырезали на камне

крылатых зверей, и дев с тугими косами, и псалмопевца Давида, играющего на гуслях.

Молясь в церквах, Андрей Юрьевич вздыхал и плакал. Видя это, многие тоже плакали, умиляясь на князя.

Он старался угодить и Ростову, и Суздалю. Его любили тамошние сильные люди, он рос среди них, особенно полюбили, когда он привез пречистую. Знаменитая святыня возвысила их землю, как бы указывала, что земля эта избранная, благословенная.

Силой своей пречистая вскоре проблистала. Был на Волге болгарский город Бряхимов. Оттуда жители набегали на русских, чинили беспокойства. Андрей Юрьевич уже ходил на них раньше; но безуспешно. Теперь пошли со своей чудотворной владимирской. На руках ее несли, осененную знаменами. В битве пал Изяслав, любимый сын Андрея Юрьевича. Но Бряхимов взяли.

Известие о победе над неверными мусульманами послали константинопольскому патриарху, прося в ознаменование ее утвердить празднество ежегодное с водосвятием, на первое августа. Патриарх утвердил и прислал Андрею Юрьевичу благосклонное письмо.

И другие выгоды увидели от Андрея Юрьевича ростовцы и суздальцы. Он радел, чтоб они торговали с таким же размахом и барышами, как новгородцы. Улучшал городские укрепления. Обильные дары раздавал попам и монахам.

Так он поступал, желая, чтобы его любили.

И по-прежнему при нем был бессменно поп Феодор, и по-прежнему князь благоволил к Феодору и охотно толковал с ним о разных предметах.

В самом деле, занятнейший был поп и дерзновеннейший.

Дело прошлое: дьякона Аполлинария, бывало, лихорадка била, когда по ночам, там, в Вышгороде, в женском монастыре, они с Феодором крались к пречистой.

Лунный свет наклонным столбом входил в оконце под куполом и преграждал путь, и дьякон, крестясь, холодными губами шептал молитву, прежде чем шагнуть в этот столб и коснуться иконы своими ручищами. Феодор же шагал как ни в чем не бывало и у иконы хлопотал, полный распорядительности.

С таким человеком, говорил дьякон, научаешься бесстрашию.

Столь благочестив наш князь Андрей Юрьевич, рассказывали во Владимире, а из Владимира дальше бежала молва,— столь благочестив, что часто среди ночи, встав с постели, идет в свою домовую церковь, зажигает свечи и молится в одиночестве, даже княгиня не смеет следовать за ним, чтоб не нарушить углубленность его молитвы. Только Феодор, духовник, иногда призывается в эти часы, и они с князем беседуют о спасении.

— Что есть добро? — спрашивал Андрей Юрьевич.

Свечи озаряли образа, тесно обступавшие их в маленькой церкви, и мнилось — святые со вниманием прислушиваются, чтó ответит Феодор.

— Что есть добро,— он отвечал,— изложено в заповедях, кои ты знаешь с младых ногтей.

— Все знают с младых ногтей,— возражал Андрей Юрьевич,— и никто не исполняет. Ты мне скажи такое, чтоб я, человек из рода Адамова, мог исполнить.

— Добро,— отвечал Феодор,— есть то, что способствует славе божьей и твоей.

— А такое сопоставление не от дьявола?

— Кто есть дьявол? — спрашивал Феодор в свой черед. Трепет огней пробегал по святым ликам тревогой.

— Дьявол — зло, скверна...

— Да откуда он взялся — зло-то, скверна? Когда господь сотворил все видимое и невидимое...

— Он и его создал безгрешным, а тот возьми да взбунтуйся.

— Я полагаю,— отвечал Феодор,— господь сам этому бунту попустительствовал.

Святые негодовали.

— Ибо без зла,— он продолжал,— нет и добра. Без злого никто доброго и не заметит. Будет в мире ни жарко ни холодно. Ни восторга не будет, ни подвига. Ни Голгофы, ни чуда. Протухнет мир в единообразии и равнодушии.

— Ты думаешь?

— Думаю, что всевышний, озирая им сотворенное, сообразил сие и пустил в мир зло и скверну, как закваску, чтоб тесто подходило.

— Вон ты как мыслишь.

— Так мыслю,— легко подтверждал Феодор. Глаза его пылали в блеске свечей, и весь был могуч, широк и опасно красив, как тот, воплощающий зло.

— Стало быть...

— Стало быть, нечего дьявола бояться как чумы. Скверна он — однако действует с высшего дозволения — и, выходит, подобно добрым ангелам, является к нам как посланец божий.

— Позволь! — сказал Андрей Юрьевич.— Он являлся к Исусу и искушал его отнюдь не как божий посланец, не так разве?

— Князь мой,— вздохнул Феодор,— откуда нам знать, как все это было...

— Исус его искушения отверг, так мы не должны ли...

— То Исус был,— сказал Феодор,— а нам куда уж. Сам говоришь — человеки мы из рода Адамова. Адам на яблоко польстился, невинная душа. Простые, райские времена были. Тогда как мы кругом обсажены древами соблазнов вопиющих и манящих, и дерева разрастаются, образуя чащу непроходимую вокруг нас. И нет причин ожидать, что перестанут разрастаться, или кто-то их повырубит, или уйдет из наших душ тяготение к запретному. Куда ему уйти? И почему бы? Когда закваска положена, и тесто перебегает через край, и ангел-возмутитель приставлен блюсти, чтоб сие не кончалось во веки веков.

— Смотри, поп, ведь это ересь! —постращал Андрей Юрьевич.

Феодор прижмурил глаз.

— Что есть ересь? Уговорились мы считать ересью то-то и то-то. А могли уговориться считать ересью что-либо вовсе иное. И считалось бы.

— Как иное? С какой стати? Растолкуй,— приказал Андрей Юрьевич, тешась греховной умственной забавой.

Феодор все держал глаз прижмуренным, другой глаз смотрел искристо и шало.

— Кто нас, князь, просветил в писании? Грамоту нам дал — кто?

— Ну, Кирилл с Мефодием.

— Так, Кирилл с Мефодием. А мы их звали? Не звали. Они сами пришли. А когда б они не первые зашли к нам? Когда б латины заскочили первей со своим писанием и проповедью? Что тогда, а? Крестились бы мы с тобой латинским крестом. Принимали бы сухое причастие. Священные наши книги римскими письменами были бы написаны. И на все православное плевались бы мы как на ересь...

— Ну-ну-иу, ты все-таки...— погрозил пальцем Андрей Юрьевич, но улыбки не сдержал. На какой хочешь вопрос у этого попа готов ответ. Вокруг божьих предначертаний дерзает мудрствовать. И как подумаешь — громко, конечно, не скажешь, нельзя,— об ереси остро сказал озорник.

Пока Андрей Юрьевич в Суздальской земле старался о благоденствии жителей и укреплял свою добрую славу — в других областях князья Рюриковичи опять собрались изгонять тятеньку из Киева: сговаривались, списывались, снаряжали войска.

Эх, когда еще Андрей Юрьевич упрашивал тятеньку: бросим Киев, пусть они из-за него кровью истекут, и мы удалимся на север и оттуда, укрепясь, будем править и Киевом, и ими всеми.

Но тятеньке все затмил киевский престол. Разум затмил.

И вот сейчас, знает ведь — скоро опять на него грянут, а он все тешится непрочной победой, все пирует, как молодой. Изменники вокруг него кишат. С непонятной ребяческой беззаботностью он дает им кишеть. Словно ему не предстоит новая жестокая война — скорей всего последняя, годы-то большие.

Он ее не дождался. Или враги не дождались. Возвратясь с какого-то пира, заболел тятенька Юрий Владимирович и в пять дней умер. Схоронили его в Берестове.

Андрей Юрьевич остался верен своему расчету, на кровавое наследство не посягнул.

Он другое наследство прибрал к рукам. Ростов и Суздаль Юрий Владимирович завещал, как сулил, младшим сыновьям. Но города отказались их принять, на вече избрали князем Андрея Юрьевича, а Мстислав Юрьевич Василько Юрьевич и Всеволод Юрьевич, опасаясь, как бы хуже не было, уехали в Грецию.

Прогнал Андрей Юрьевич и племянников своих от покойного старшего брата, и тех старых бояр, что вздумали противиться его избранию. И сел единым князем Суздальской земли. Первым городом земли был Ростов

Столько в нем куполов вздымалось, увенчанных крестами, что сложилась поговорка: ехал черт в Ростов, да испугался крестов.

В Ростове сидел епископ, рукоположенный киевским митрополитом.

Своего епископа имели только самые важные города А митрополит на Руси был один — глава всему русскому духовенству, черному и белому, как патриарх константинопольский — глава православной церкви вселенской.

Ни Ростов, ни Суздаль не сделал столицей Андрей Юрьевич: чересчур заносчивые и своенравные были те города, княжескую волю ставили ниже приговоров своего веча.

Сегодня вече пожелало призвать его на княжение, завтра так же пожелает скинуть.

В Ростове и Суздале много жило спесивой знати, привыкшей делить с князем государственную заботу и власть.

К неудовольствию этой знати, Андрей Юрьевич остался в своем Владимире, еще недавно считавшемся пригородом Ростова. Тятенькиных бояр от дел отстранил. Окружил себя людьми новыми, послушными. Среди них имел силу незнатный слуга Прокопий, преданный человек. Крещеный ясин Амбал, ключник. Некрещеный еврей Ефрем Моизич, добывавший князю у евреев-ростовщиков деньги под заклад. Свойственники князя по жене бояре Кучковичи, владельцы берегов реки Москвы и прибрежных сёл, одно было названо по имени реки — Москва.

— Ведь вот! — сказал Феодор Андрею Юрьевичу.— Сколько в церкви нашей негодных, ветхих установлений! Найдись властитель, чтоб их отменил,— большая была бы польза православию, да и князьям...

— К примеру,— обронил Андрей Юрьевич.

— К примеру,— откликнулся Феодор,— к примеру хотя бы, что митрополит у нас грек, и в синклит свой норовит греков набрать, а наши русские попы в подчинении ходят, а через попов угнетены и миряне, и то для мирской власти ущерб. Это видел, к слову сказать, еще твой прапрадед великий князь Ярослав, он в первый же год своего единодержавия поставил в Новгороде русского епископа, а за три года до кончины собрал в Киеве епископов и велел им поставить митрополитом Илариона Россиянина, а у Константинополя даже не спросились.

— А Константинополь что?

— Константинополь далеко,— подмигнул Феодор,— не достанет. Подарки послали патриарху, тем и обошлось. Прапрадед твой почему этими делами занимался? Потому что видел их важность.

— А я не вижу?

— Ты видишь, но тут храбростью надо обладать.

— Храбростью, мне?

— Не той храбростью,— сказал Феодор,— с какой идут в битву. Но той, какая требуется, чтобы сломить ветхую привычку. Ты идешь рубиться — ты считаешь: против тебя сто копий, или двести, или тысяча. Когда же единовластной своей волей ломаешь людскую привычку,

враг неисчислим, и невидим, и неуловим, копьем и мечом его не истребишь.

— Епископ наш Леон,— сказал Андрей Юрьевич,— нам не ко двору. Не за нас болеет, за злодеев наших. Епископа будем сажать нового.

— Посадить митрополита! — горячо шепнул Феодор.— Не в Киеве — в Ростове...

— Тогда уж во Владимире,— сказал Андрей Юрьевич.

— Какое сразу умаление Киева, какое возвеличение твоего княжества! Не чужого посадить — своего, ревнующего о твоей славе... на великие дела способного...

— Храброго,— хохотнул Андрей Юрьевич.

— Так, князь! — подтвердил Феодор, грудь его под рясой раздувалась как мехи.— Способного и храброго!

Примолкли. Было слышно дыхание Феодора.

— Митрополита киевского тронуть не дадут,— сказал князь.

— А заставить!

— Белены, отец, объелся? Смуты хочешь? Покамест великокняжеский престол в Киеве считается — кто даст порушить киевскую митрополию?.. Да она и не помеха. Один у них митрополит, другой у нас — это попробовать возможно...

Феодор пришел к попадье и сказал:

— Попадья, а попадья! Слушай-ка. Я, может статься, митрополитом буду.

— Кем? — спросила попадья.

— Митрополитом, митрополитом.

— Ой, да что ты!

— А почему бы нет? — сказал Феодор.

— И мы в Киев поедем?

— Нет, тут буду, тут...

— Так у нас же митрополитов сроду не было.

— Сроду не было, а глядишь, и будут.

Попадья поморгала.

— Федь,— спросила она,— а митрополиты бывают женатые? Чегой-то не слыхала я.

— Не слыхала — услышишь.

— Федюшка, а ведь тогда к нам дары так и потекут?

— Уж не без того.

— Со всех сторон!

— Надо полагать.

— Так ведь это хорошо, Федюшка!

— А то плохо,— радостно сказал Феодор, но тут же пожурил свою попадью, погладив ее по голове: — Дурочка, тебе богатство лишь бы. Есть кой-что получше богатства.

— А что?

— Тебе не понять,— сказал Феодор.— Вот князь, тот понимает.

Нахмурясь, прошелся по комнате с такой осанкой, будто уже обладал митрополичьей властью и все перед ним склонялись до земли.

— Он сказал: возможно. Слышь, попадья? Возможно! Мы с ним — одна душа: он за меня, я за него...

Ночью, засыпая, попадья позвала томным голосом:

— Федь, а Федь.

— Мм? — спросил Феодор.

— Федь, а я кто ж тогда буду?

— Как кто? Ты — ты и будешь.

— Нет, Федь. Вот ты поп — я попадья. У дьякона — дьяконица. А митрополитом станешь — я как буду зваться?

Феодор усмехнулся сонно:

— Ну... стало быть — митрополитицей.

— Митро...

— ...политицей.

— Ах-ха-ха-ха! — посмеялась, засыпая, попадья.

Окруженный плачущими приверженцами, торжественно-скорбно выступил из Ростова неугодный Андрею Юрьевичу епископ Леон.

Возок ехал за ним, а епископ шел по дороге с посохом, как простой странник. Он запретил нести за ним хоругви, несли только маленькую, ему принадлежащую икону Одигитрии божьей матери, путеводительницы.

Извещенный народ высыпал навстречу изгнанному пастырю. В селах выносили на улицу столы, покрытые скатертями, на них ставили иконы и чаши с водой, и епископ останавливался, чтобы отслужить молебен с водосвятием. Плач вокруг него множился, он сам плакал, моля господа защитить православных христиан от гонителей и мучителей.

Пока не прослышали об этом во Владимире. После чего пришлось епископу сесть не в возок — в седло и мчаться, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить коня. И в Киеве, боясь, как бы и здесь его не достала рука Андрея Юрьевича, он не задержался — на греческом корабле отплыл в Константинополь.

Он туда добрался много раньше Феодора и успел оговорить его перед патриархом. Вслед за Леоном явилось посольство из Киева: князь киевский Ростислав, узнав о замыслах Андрея Юрьевича, спешил испросить себе из патриарших рук нового митрополита-грека на место недавно преставившегося.

Патриарх охотно исполнил эту просьбу, а когда приехал кругом очерненный Феодор с грамотой и подарками от Андрея Юрьевича — патриарх был гневен, на подарки даже не взглянул.

— Над святителями ругаетесь! — сказал, стуча посохом.— Гонительство насаждаете в век торжества Христова!.. Ты, иерей, как смел своею волей занять престол епископский?!

— Княжеской волей, владыка! — отвечал Феодор.— Княжеской, не своей...

И хотел привести разные убедительные и изощренные тексты, которые приготовил, сбираясь в Константинополь Но патриарх вскричал:

— Ты неправославного образа мыслей, о тебе говорят, что хулишь монашество,— оправдайся!

Чертов Леон, думал Феодор, стоя перед ним, чертовы киевские попы, всё вынюхали, донесли обо всем! Но не моргнув глазом отвечал достойно и кротко, что на него взвели напраслину, отнюдь он не хулит монашество, напротив того — духовного своего сына, князя, учит любить и чтить чернецов и черниц, чему доказательство — монастыри, воздвигнутые князем, и щедрость раздаваемой им милостыни, слава же о ней идет по градам и весям.

— Но с женой ты не разводишься! — перебил патриарх.— Знаешь ведь, что епископу пристало девство! А еще в митрополиты метишь!

— Грешен аз,— сказал Феодор.— Несмыслен аз. Разведусь.

— Ты ее отошлешь в дальний монастырь! — сказал патриарх.

— Отошлю,— сказал Феодор, поникнув головой.

— Чтоб не виделись больше в сем мире! Лишь после кончины соединитесь в чистоте.

— Да будет так,— сказал Феодор.

Ему удалось под конец смягчить патриаршее сердце. Не столько смирением своим, сколько упоминанием об Андрее Юрьевиче. Патриарх перестал стучать посохом о пол, призвал ученых советников и заговорил о существе дела Ему не с руки было ссориться с сильным православным

князем, пекущемся о церкви. Но и прав Киева, где сидел ими посаженный верховный пастырь, греки ни за что не соглашались нарушить, и дело решили наполовину: быть Феодору ростовским епископом, но лишь в том случае, если будет ему рукоположение от киевского митрополита.

О второй же митрополии даже толковать не хотели, как Феодор их не улещал: ссылались на какие-то древние каноны, которых он не знал и оспорить не сумел, хотя чуял, что греки хитрят и водят его за нос с этими канонами.

И потому он вернулся во Владимир пристыженный и распаленный, еще больше распаленный на патриарха и его присных, чем патриарх был распален на него.

— Что ж, на первый раз и то ладно,— сказал Андрей Юрьевич, прочитав послание от патриарха.— Начали с меньшего, а там, даст бог, добьемся и большего.

— Князь мой! — из глубины груди страдальчески промычал Феодор.— Я не поеду в Киев.

— А рукоположение?

— Князь мой! Не могу сейчас видеть врагов моих. Не ровен час согрешу: убью. В Константинополе они из меня бочку крови выпили. Дай отдышаться.

— Ладно, не поезжай пока, отдышись,— милостиво хохотнул Андрей Юрьевич.

— Люба моя! — шептал ночью Феодор попадье.— Что они брешут, окаянные? Тебя — в монастырь! Косы эти — долой! Коленочками этими каменные полы протирать? Чтоб я — да без тебя?! Да пусть они околеют, псы бешеные! Да вся ихняя свора вонючая одного твоего ушка бархатного не стоит!

— Так не отошлешь в монастырь? — томно тянула попадья, без страха, с веселым лукавством.

— Будь я проклят, если отошлю!

— А как же мы будем, когда ты теперь епископ?

— Так и будем, как были,— сказал Феодор.— Вот так и будем.

В руке ростовского епископа были города: кроме Ростова, Суздаля, Владимира — еще Ярославль, Дмитров, Углич, Переяславль, Тверь, Городец, Молога и другие.

Со всеми попами, церквами, монастырями.

Епископский дом во Владимире был обширный, как у бояр.

Феодор и попадья жили в верхнем жилье, внизу были кладовые, еще ниже — темные погреба.

Когда Феодор пил сбитень, сидя у окошка, ему виден был двор, обнесенный забором, как баба с подоткнутым подолом набирает воду из колодца, как отворяют ворота, впуская вернувшееся с пастбища стадо, и коровы разбегаются по хлевам, тряся полными выменами.

С тех пор как он стал епископом, бабы в дом ни ногой. Дальше хлева им ходу не было.

В святительском доме полагалось быть лишь мужскому полу.

Но в том же доме жила, смеялась, источала плотское ликованье голубоглазая попадья, и молва шумела о женатом епископе.

Епископ в белом клобуке! Когда бывало?

Кто допустил?

Вон возок покатил, белые кони в упряжке — Белый Клобук поехал служить.

Гей, бежим в Десятинную, глянем, как служит Белый Клобук!

Где ж он, где?!

Вон, вон белеет в царских вратах, белизной своей оскорбляя господа!

Из других городов ехали — перетолкнуться локтями, видя, как князь Андрей Юрьевич, подходя ко кресту, целует Белому Клобуку руку, и бояре за князем.

Поужасаться — как в великий четверг двенадцать иереев, среди них седовласые, многопочтенные, моют Белому Клобуку его развратные ноги.

Может, миряне не осудили бы его так непреложно. Но ярились попы, черные особенно. Почему он? Нет, что ли, более достойного?

Запуганные властью земной и небесной, приученные верой ко всякому смирению, уничижению, насилию над своим естеством, всё же они не снесли возвеличения Феодора.

Слишком уж дышал мужеством и преуспеванием.

Тиары возжаждал, а поступиться ради нее не хотел даже попадьей — вишь ты!

Они изливали на него хулу день и ночь, и мирянин, их слушая, обижался, что его душу вручили никуда не годиому пастырю, и в каждом доме и домишке толковали о Белом Клобуке.

А почему он живет во Владимире, говорили владимирские попы,— да потому, что стыдится ростовцев, видевших святую жизнь прежних епископов.

Ничего и никого он не стыдится, отвечали попы ростовские, князь хочет наш Ростов принизить, а ваш Владимир возвеличить, и для того ростовскому владыке велел жить во Владимире, чтоб мы на поклон к вам ездили.

Шум неприличный подымался в церкви, если входила попадья.

Она перестала бывать в Десятинной, в другие, дальние стала ходить. Но и там шумели и пальцами показывали.

Она догадывалась, что нищенки и богомолки, вечно сидевшие за воротами ее дома со своими сумами и клюшками, нарочно собираются, чтоб дождаться ее выхода и взглянуть на нее. Она им подавала щедро: корзинами выносили за ней хлебы и сушеную рыбу. И они жалобными голосами молили за нее бога, но взгляды их были ядовиты и ненавистны.

В Троицын день, после пышной службы, к Феодору, державшему крест для целования, подошел неизвестный монашек. Он приблизился в толще людского потока. Был тощ и бледен, в худой рясе, в лаптях. Креста не поцеловал, а вперился дерзостно в глаза роскошному епископу своими красными больными глазками и сказал отчетливо перед стихшим народом:

— Что, окаянный, творишь? На святой чин посягнул, ангелом нашей церкви зовешься, а смердишь, как кобель. Прострись, покайся в мерзости, пока не поздно.

Его схватили и поволокли. Андрей Юрьевич приказал — в темницу, но Феодор заступился: ему еще не верилось, что все вдруг так ожесточились против него; слишком самому себе нравился, чтоб сразу поверить; думал — можно милостью их с собой примирить. Привез дрожащего как в лихорадке монашка к себе домой, кормил за праздничным столом с почетными гостями. Попадья сидела в задних комнатах, прислуживал мужской пол под присмотром Любима, старого слуги.

Монашек, видя ласку, расплакался и сознался, что его подбил на обличение игумен Спасского монастыря. Феодор потемнел лицом, уткнул угрюмо бороду в грудь...

Спасский игумен происходил из старой знати, посажен на игуменство епископом Леоном в дни, когда Андрей Юрьевич еще старался задобрить боярство, а не ополчался

на него, как сейчас. Теперь же, после своего избрания на вече, Андрей Юрьевич устранял один знатный род за другим, борясь за полноту власти и предупреждая заговоры. Уже несколько свершилось казней, и многие сильненькие, проклиная и грозясь, должны были покинуть область. Взор князя блеснул недобро, когда Феодор рассказал о признании раскаявшегося монашка.

— Там у них в монастыре копнуть,— сказал Феодор,— еще не то откроется.

Но, к его неудовольствию, Андрей Юрьевич ответил:

— Не время копать.

— Князь мой! Дай мне только игумена. Острастку надо сделать злодеям.

— Не время,— повторил Андрей Юрьевич.

Он затеял большой поход. По его мысли, пришла пора показать, кто истинный великий князь на Руси. В Киеве после Ростислава вскочил на престол Мстислав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, с которым боролся покойный тятенька. Союзниками Андрея Юрьевича были: дорогобужский князь Владимир — соперник Мстислава, князья рязанский и муромский — с ними Андрей Юрьевич ходил на Бряхимов, северские князья Олег и Игорь, брат Глеб Юрьевич, княживший в Переяславле-Русском,— одиннадцать набралось князей с дружинами и ратью. Они рвались к добыче и рады были крепкой руке, чтоб их собрала и повела. В этом непрестанном переделе одного и того же каравая, где нынче ты побит и нищ, а завтра победитель и богач,— воякам не сиделось на месте, и то сказать: засидишься — сам станешь добычей других вояк, так уж оно сложилось на свете...

— Обожди с игуменом,— сказал Андрей Юрьевич.— Пускай уйдет войско...

Войско ушло. И тотчас в Спасский монастырь явились Феодоровы люди во главе с бывшим вышгородским дьяконом Аполлинарием. Взяли игумена и увели. В ту ночь попадья спала одна. Только на рассвете явился Феодор, усталый и хмурый. Первый раз в жизни попадья взглянула на него со страхом. Спросила робко:

— Федюшка, чтой-то за шум у нас был в погребе, я уснуть не могла...

Феодор зевнул, показав розовую пасть и подковки белых зубов.

— Крамольника допрашивали.

— Какого крамольника?

— Ненавистника моего.

Глаза у попадьи стали совсем круглые.

— Федь, а Федь. У тебя кровь на рукаве...

— Ну, дай чистое переодеться,— сказал Феодор.

Поход был успешный.

Союзники соединили свои войска в Вышгороде. В начале марта заложили стан близ Кирилловского монастыря и, раздвигаясь постепенно, окружили Киев. Им удалось склонить к измене берендеев, которых Мстислав Изяславич нанял для своей защиты. Так что победа была предрешена, и победители заранее метали жребий, деля между собой киевские улицы и жителей.

Мстислав Изяславич бежал с дружиной, бросив жену и детей. Без князя киевляне продержались три дня, потом сдались. Вооруженные лавины хлынули в город со всех сторон. Запылали дома. Горела Печерская обитель... Боярин Борис Жидиславич, ведший суздальскую рать, в числе прочей добычи вывез иконы, церковную утварь, колокола. Суздальцы поснимали драгоценности с киевской чудотворной Богородицы, чтоб украсить свою Владимирскую.

Пока все это происходило, Феодор тоже воевал.

Ужасная участь спасского игумена, вынутого из епископских подвалов без глаз и без языка, потрясла Землю. Волна ненависти вздыбилась против Феодора. Ни свирепством, ни милостями нельзя ее было утишить.

Да и милости не хотели от него те, кто отдан был ему во власть с душой и телом, с чадами и домочадцами и со всем своим имением. Кому он волен был рвать бороды, жечь на угольях подошвы, резать языки и глаза.

Он рвал, жег, резал, а они все равно ему не повиновались, словно обезумев, особенно с тех пор как митрополит их известил, что Феодор не рукоположен в Киеве.

Так он еще, ко всему, не посвященный!

Так он и не епископ, а простой поп!

Поп Феодор, не больше того!

Не Феодор — Феодорец, плут, обманщик, малость, ничто!

И клобук его — не клобук: клобучок, клобучишко!

Феодорец Белый Клобучок, вот он кто, самозванец!

Разорить Киев можно. Отнять у него святость — не в людской власти. Святость не коснулась тебя, Феодорец,— что ж ты без нее перед богом и перед нами?

Когда попадья выходила за своего попа, знакомая древняя бабушка велела ей поить мужа настоем травы одолен. Эта трава растет при реках и при черном камне, собой голубая. Кому дашь ее пить, сказала бабушка, тот от тебя до смерти не отстанет.

Теперь попадья подумала-подумала: не поможет ли и тут бабушка? Уж больно стали часты ночные шумы в погребе. Дьякон Аполлинарий запивать шибко стал — с тоски, что ли. Как бы худого чего не сделалось с Федюшкой, много ненавистников у него.

Взяла попадья узелочек с гостинцами и пешком пошла полями в ту деревню.

Бабушка жила в той же завалюхе-избе, но уже помирала, на печи лежа, а на лавке внизу, в вещем ожидании, сидели ее товарки, обросшие серыми бородавками и седыми бороденками.

— Что говоришь? — спросила с печи бабушка.— Помогла трава одолен? А ныне, говоришь, беду отвесть надо? От беды помогает трава измодин. Кто тоё траву ест, никакой не узрит скорби телу и сердцу. Только нет ее у меня, ничего у меня больше нет, кончаюсь я. Скажи моим товаркам, пусть дадут тебе — мол, я велела.

И одна из товарок встала, и попадья пошла за ней из избы, пропахшей болезнью и концом, и получила траву измодин. Ела ее и дала есть Феодору, и перестала тревожиться, потому что никакого несчастья с ними теперь стрястись не могло. А чтоб не слышать ночных шумов и не грешить перед мужем, сострадая его врагам,— стала, спать ложась, закладывать уши шерстью.

За то, что попы отказывались поминать его в ектеньях как владыку, а иные оголтелые вместо него поминали Леона; за кличку Феодорец Белый Клобучок, что утвердилась в народе; за то, что кем-то был избит и от побоев помер дьякон Аполлинарий; и за прочее неповиновение и непризнание — Феодор решил наказать их примерно, больнее, чем огненной пыткой и усекновением голов, так наказать, чтоб было чувствительно всем до последнего мирянина.

В один метельный промозглый день, в начале зимы, из епископского двора выехал возок, окруженный стражей. Не белые кони были впряжены в возок, но черные.

Не спеша, с похоронной торжественностью двинулся он по улице. Стражники ехали шагом впереди и сзади.

Прохожие останавливались и глядели молча.

Возок остановился у дома, где жил настоятель церкви на Златых вратах.

— Гей! — задубасили и заорали стражники.— Настоятеля давай сюда! Настоятеля владыка требует!

Настоятель вышел не сразу. Он был смертно бледен и силился держать голову высоко — приготовился к мученичеству. Из возка высунулся Белый Клобучок и сказал нетерпеливо:

— Ключи подай.

— Какие ключи?

— От церкви, от церкви ключи. Неси-ка.

Настоятель под стражей вернулся в дом, вынес ключи. Возок тронулся, а настоятель смотрел ему вслед сквозь метель, еще не поняв, что случилось.

Так Феодор проехал по городу и от всех церквей побрал ключи.

На дно возка они падали с железным лязгом.

Последней на его пути была церковь Успения Богородицы. Ее звали Десятинной, потому что ей отдавалась десятая часть от стад и торговых пошлин.

Феодор отомкнул затвор; большой ключ в замке пропел громко. Феодор начальственно обошел пустой тихий храм, где только перед чудотворной хрустальным светом светилась лампада. Вышел — ключ пропел, возок отъехал.

С того вечера много дней подряд владимирцы не слышали колокольного благовеста.

Куда было звать колоколам? Даже кладбищенские церкви позапирал Феодорец.

Прекратились все службы.

Хочешь обвенчаться либо отпеть покойника — тащись в Боголюбово, за десять верст киселя хлебать.

Кого господь призывал к себе внезапно, те даже причаститься не успевали: тело и кровь Христовы были у Феодорца под замком.

Владимирские попы томились без заработков.

Сама чудотворная в узилище сидела.

— Будут знать! — говорил Феодор своим присным.— Попомнят, как нам с князем противоборствовать!

Одним глазом он все-таки косился на Боголюбово: както смотрят на его деяния в княжеском дворце. Но из дворца не исходило ни запрета, ни порицания.

Два дня стучался в епископские ворота старенький поп. Говорил, надо ему самого епископа, а по какому делу —

сказать не хотел. Его не пускали, ругали — не уходил. Присаживался на лавочку среди нищенок и плакал бессильно, и нищенки делились с ним хлебом. Уж в сумерках, иззябший, плелся куда-то ночевать.

На третий день удалось старичку смягчить привратника и проникнуть во двор, а тут как раз Феодор домой воротился. Он только ступил на крыльцо, как невесть откуда этот поп выскочил, крича слабым голосом:

— Вот он, владыка! Вот он!

— Э! Старый знакомый! — сановно-ласково сказал Феодор. Стража, ухватившая было старичка, отступила.

То был Микулич из вышгородского женского монастыря.

— Ты как очутился во Владимире,— продолжал Феодор,— за какой нуждой? Нынче некогда мне, а как-нибудь заходи, побеседуем, чем могу — помогу.

— Об чем беседовать мне с тобой! — завопил Микулич.— Доколь неистовствовать будешь, отвечай, кровопийца! Страшная твоя слава по Земле идет! Нерону уподобился! Вельзевулу!

Феодор свел брови:

— Молчи ты, пустомеля! Еще вышгородских мне тут не хватало...

— Возгордился аки сатана!..— вопил Микулич, потрясая руками.

— Убрать,— молвил Феодор, и не стало перед ним Микулича.

— ...лишил православных,— донеслось уже из подвала,— причастия и пения церковного...

И совсем глухо, как из могилы:

— ...ругался над образом честиейшим... нетленную поганил...

— Чего-чего? — отозвался Феодор. С юношеской прытью ринулся по каменным ступеням в подвал.— Ты что мелешь, старый дурень, а ну повтори!

— Слезки-то, слезки ей,— детским голосом выкликал Микулич у стражников в руках,— слезки чем, Ирод, намазывал, пальцем аль тряпицей? Навуходоносор, все известно, Аполлинашка перед кончиной на исповеди открыл...

Протянул Феодор руку, грозный, как Саваоф:

— Распять его!

И как ни рвался Микулич и ни кудахтал, его цепями приковали к стене, голова вниз, руки-ноги врозь. Жутко было глядеть на его вздыбившуюся бороденку и безумно

вылупленные глаза. Феодор глядеть не стал, пошел наверх. Еще громко дыша от гнева, меча взорами молнии, обнял попадью и сел пить сбитень с калачами.

Пьет Феодор сбитень и видит в окошко сквозь морозные разводы — перед кем-то привратник ворота отворяет. Всадник въезжает во двор и непочтительно до самого крыльца трусит на коне. Что за птица такая, думает Феодор, даже княжьи гонцы слезают у ворот и к дому моему идут пешие. И опять задышал шумно. Вошел Любим, докладывая:

— От князя.

— Ну, чего там надо, спроси...— заносчиво начал Феодор, но попадья не дала занестись выше меры: вскочила и сама побежала, и назад прибежала:

— Князь тебя требует в Боголюбово

— Ладно, трапезу дайте закончу.

— Федюшка, он немедля требует.

— Подождет,— сказал Феодор и стал нарочно медленно допивать чашку, глядя на удаляющийся к воротам нахальный конский круп.

Андрея Юрьевича он нашел у красного крыльца: стоял с псарями, державшими на поводках резво дышащих, рвущихся псов.

Тут были и ближние люди — Прокопий, ключник Амбал, мальчик Кощей, боярин Яким Кучкович и Ефрем Моизич.

Феодор в них во всех метнул пламя из-под бровей, что его, святителя, со псами встречают. Андрей Юрьевич сказал:

— Ждал тебя, владыка, думал, уж не приедешь, да вышел за делом.

Так, оправдывайся передо мной, подумал Феодор, а я перед тобой оправдываться и не подумаю, что, взял? Он благословил князя, и другие подошли под благословение, кроме еврея Ефрема Моизича, который издали отвесил поклон; но при этом какие-то непонятные, замкнутые были у них лица, и глядели исподлобья.

— Что, владыка,— как бы с ленцой сказал Андрей Юрьевич,— когда в Киев-то думаешь?

Вот чего Феодор не ждал.

— В Киев? — переспросил невольно.

— Поставиться-то надо.

— Разве я от тебя не поставлен?

— Да вот видишь, мое поставление только мы с тобой признаем, попы не признают,— усмехнулся Андрей Юрьевич, и княжеская усмешка широкими улыбками отразилась на лицах бояр и слуг и зловещим оскалом на хищном лице ясина Амбала.— От митрополита, договорено ведь с патриархом, испросить ты должен хиротонию.

— Не нужна мне его хиротония.

— Тебе, может, не нужна, а Земле нужна,— уже без усмешки сощурился князь.— Митрополит письмо прислал, велит тебе ехать без промедления. Собор они собирают.— Помолчал.— И от патриарха послание.

— Где оно?

— Дай,— кивнул Андрей Юрьевич Прокопию, и Прокопий подал свиток с подвешенной печатью. Феодор рывком развернул и прочел. Послание недлинное было, но внушительное. Патриарх требовал, чтоб Феодор явился на собор, затем осуждал его брачную жизнь. Верно, все другое еще не дошло до Константинополя или же считалось там маловажным, только патриарх упорно писал об одном: «Он на чистое житие безженных пастырей негодует и укоряет... Но, княже, насколько ангелы выше человеков и насколько небо выше земли, настолько неоженившийся выше оженившегося: девство есть житие ангельское...»

«И мы поучаем твое благородие и благочестие,— кончалось послание,— остерегаться ложных пророков и не веровать им...»

И подпись собственноручная греческими буквами: Лука.

Феодор скатал свиток.

Вишь, подумал, уцепились, проклятущие.

А как понимать, подумал встрепенувшись, что патриаршую грамоту, с подписью и печатью, князь в таком месте дает читать мне? Оно ведь кощунство. Не в таких местах и не так подобные грамоты читаются. И передо мной он выходит невежа: зачем при всех дал, вишь как они вонзились... А может, он это все с умыслом: мол, что нам патриарх, вон — наши псы на его грамоту лают...

— Не с руки мне сейчас ехать-то.

— Надо ехать.

— Дела у меня.

— Отложишь дела.

— Собор, думаешь, хиротонисать меня собирается? Он судить меня собирается.

— А есть за что судить? — лицемерно удивился Андрей Юрьевич.

— Захотят судить — найдут за что.

— Ну, ты языкаст, сумеешь отговориться,— опять усмехнулся Андрей Юрьевич, и опять гиена Амбал выставил зубы в кровожадной радости. А Феодор опять рассердился, и минутное его уныние сняло как рукой. На самом деле, подумал. Что я церкви позакрывал — в том виновны мои супостаты, непослушанием вынудили. Что наказать из них кой-кого пришлось — на это моя власть святительская, да про то и разговора не будет, кому они там нужны, в Киеве, а тем более в Константинополе! Что разрешаю от поста в среду и пяток и в великие праздники, так к этому даже некоторые печерские угодники склонялись при всей своей строгости. Язык же у тебя, владыка Феодор, и впрямь подвешен — лучше не надо, чистый вечевой колокол. Так кого же тебе бояться? Да и не даст тебя князь в обиду, это он не в духе сейчас, что ты его ждать заставил... Вы, злыдни, обождите радоваться: я вам еще покажу!

— Так что сбирайся,— сказал Андрей Юрьевич.

— Собраться недолго,— сказал Феодор.— Вот только расходы большие в такой поездке.

— Будто нет у тебя на расходы.

— Князь мой! Поверишь ли...

— Ладно, будет тебе на расходы, будет,— прервал Андрей Юрьевич и, повернувшись, пошел прочь по двору и тем окончательно показал свое невежество, что так его от скупости прорвало.

Псы, не разумея человеческого разговора, жарко дышали разинутыми пастями и рвались с поводков.

— Ну, попадья, чего тебе привезти из Киева? — спросил Феодор, вернувшись домой и уже ни о чем не помышляя, кроме того, ка-ак он их всех порасшвыряет, словно щепки.— Слышь, для меня там собор собирают, вон как.

— А оно не страшно? — спросила попадья — спокойно, впрочем, спросила в уповании на траву измодин.

— Бог не выдаст, свинья не съест,— ответил Феодор.

С бодрым духом, не позволяя себе пугаться и сомневаться — ибо испуг и сомнение суть первые шаги к несчастью,— отслужил молебен и поехал.

Взял всякой снеди на дорогу, денег от князя, подарки митрополиту и игумнам, крепкую охрану.

Лошадки бежали весело. Алмазами переливались сне-

га. Чем дальше от супостатов, от ненависти их и строптивости, тем благостней становилось на душе у Феодора.

Попу меня, конечно, не понять, размышлял он, поп тугоумен и косен, лишь свою ничтожную выгоду видит, где ему прозреть государственный размах наш с князем. Другое дело пастырь, мне чином равный, с ним мы всегда сговоримся. Ну-ка, отцы, скажу, полно меня обличать, сами хороши, давайте-кось сядем рядком да потолкуем, отложив злобу в сторону...

Под вечер остановился на постоялом дворе.

Дрянной двор, вокруг избы нагажено, нечищеное крыльцо обледенело, а главное — для хороших постояльцев всего одна имелась комната, и та не ахти что, и в ней уже находились двое: один, сразу видно, чужестранец, другой, кажись, наш, но тоже в иностранном платье. При свете трескучей лучины они пили вино, заняв единственный стол, и на лавках у теплой стены уже были постланы для них постели. Все это отметил Феодор, заглянув в дверь. С неудовольствием спросил у хозяина:

— Кто такие? Как бы их отсюда того?

— Господин, никак нельзя,— зашептал испуганный хозяин.— Этот рыжий — посол от Ганзы, в Киев едет с охранной грамотой, при нем стража большая, тут рядом ночуют... А другой — из Новгорода — у него толмач.

С Киевом не время ссориться, подумал Феодор. Смирюсь.

— Но чтоб мне постель у печи,— сказал,— и поширше. И сбитню подать горячего.

Путешественники встали, когда он вошел. Новгородец принял благословение, а рыжий, поклонясь, сел и налил себе еще вина. Оба они были молодые, поджарые, не успевшие нарастить на кости мясо и сало. На обоих короткие кафтаны со сборками у плеч, шерстяные чулки, башмаки с пряжками. Завитые волосы закрывали лоб до бровей. Их шубы сушились на лежанке, источая запахи медведя и волка.

Слуги сняли шубы с Феодора и положили туда же, и звериный запах в комнате еще стал гуще. Слуги сняли с Феодора валенки и растерли ему ноги суконкой, а Феодор в это время показывал ганзейскому послу, что́ он, Феодор, за человек: сидел, отдав босые ноги в руки слуг, и читал записи в своей писчей книжке, которую достал из серебряного кожушка. Он заметил, что посол на него посматривает с большим любопытством, а новгородец не отрываясь смотрит на его клобук.

Само собой, подумал Феодор, кто в Новгороде обо мне не наслышан? Обо мне наслышаны по всей Земле Русской. И Греческой, надо полагать. Должно быть, и по всей Европе. Если в Европе еще не наслышаны, то услышат, дайте срок... Малый из Новгорода глаз с меня не сводит. Смотри, смотри. После детям и внукам рассказывать будешь, какая твоей скромной юности выпала встреча. А внуки будут спрашивать: неужто тот преславный Феодор, который одолел всех своих врагов, в том числе патриарха! тот Феодор, что великие дела совершил и выше князей стал...

Тем временем другие Феодоровы слуги разогрели щи, взятые в дорогу в замороженном виде, и внесли полную мису. Прекрасное грибное благоухание распространилось от мисы и возобладало над звериными запахами. Феодор увидел, что сухопарые глотают слюни, и обратился к ним с важной ласковостью, предлагая покушать вместе. Они поблагодарили и пересели ближе, им подали ложки, и втроем они стали хлебать горячие щи, изготовленные под присмотром голубоглазой попадьи. Потрескивала лучина. Широкий бок печи, обмазанной глиной, дышал теплом. Подали сбитень, и от сбитня Феодор разгорячился, по обыкновению, больше, чем те от заморского вина, и ему надоело быть таким важным. Захотелось рассказать этим учтивым щеголям, которым, наверно, не все известно, о своих делах. И так как они слушали внимательно, не перебивая, только время от времени толмач скороговоркой вкратце пересказывал послу епископские речи,— Феодор расхвастался, сановность с него соскочила, он подмигивал, и шептал, и рыкал львом, и ударял себя по коленкам.

— Да что они думают! — восклицал.— Да меня князь Андрей Юрьевич разве на кого променяет? Я у него правая рука! Моими мыслями мыслит! Мы с ним, Андреем Юрьевичем, как братья любящие, как приснопамятные Борис и Глеб — в вечном единодушии...

— До сих пор не вышло по-ихнему,— говорил, ребром ладони рубя по столу,— и впредь не выйдет. Собор — подумаешь. Кто судить-то меня собрался? Кроме отца Кирилла Туровского да, может, Константина митрополита, я его не знаю,— никто и не читал ничего. Служебник один затвердили, и тот нетвердо. Я их речениями из писания закидаю выше ушей, не говоря уж о том, что за мной суздальская рать стоит. Пускай-ка дерзнут чего-нибудь на

меня: сейчас Андрей Юрьевич будет под стенами Киева! Достанется им почище прошлогоднего!

— А патриарх-то! — шептал.— Хлопочет о нашем девстве, а сам полюбовниц держит. Небось у себя в Византии терпит женатых епископов — почему? Потому что если он их от жен отлучит либо лишит епископства, они его блуд обнародуют, вот почему! А мою супругу, господом со мной сочетанную, в монастырь велит упечь, чтоб и ее больше и не видал до встречи за гробом. Не несносно ли? Где, вопрошаю, больше греха: пребывать в законе с ангелом добродетели или с непотребными бабами вожжаться, прах их возьми?!

— Сменой вещей держится свет,— гремел пророчески.— О чем, как не о судорогах перемен, вещают святые книги? От грехопадения прародителей начиная — разрушение за разрушением и обновление за обновлением! А мы всякой новизны дрожим, как мыши кота! Шагу не ступим по своему разуму! Когда епископам воспрещено пребывать в браке? Полтыщи лет назад, вон когда! Трулльский собор, правило сорок восьмое... Так что же, вопрошаю! Еще тыщу лет по сорок восьмому правилу нам жить? Если зрим в нашем устройстве несовершенства — кто призван устранять их? Пастыри могущие! Мудростью и властью облеченные!

Вошел мужик с охапкой дров и высыпал их с грохотом у печи, серость деревенская, прервав течение речи Феодора. Впрочем, прикинул Феодор, последние слова завершают эту речь как нельзя лучше. Вьюноши, без сомнения, будут передавать их из уст в уста. С той же целью, с какой листал писчую книжку, он поковырял в зубах золотой зуботычкой, потом встал, сунул ноги в нагретые валенки и вышел за нуждой на крыльцо под крупный рогатый месяц. Во дворе ни души не было. Величавым взором Феодор окинул с крыльца убогое хозяйство, месяц, серебряный растекающийся дым вокруг месяца. Мороз был жестокий, разом хлынул в рукава рясы. Страдальчески где-то завыла собака, и тоска вдруг ужалила Феодора, такая тоска, что он воззвал всей душой отчаянно: «Господи!» — но поспешил вспомнить, что за ним его князь и рать суздальская и что он их там позакидает речениями выше ушей. И, зевнув, вернулся в избу.

И спал сладко, раскрыв сочный рот наподобие буквы «о» и всхрапывая, а раным-рано уже несся дальше неширокой дорогой, проложенной полозьями по просеке среди леса.

Серенькое, пепельное было утро, реденький реял снежок, небо по сторонам просеки закрещено мелкими крестиками еловых вершин.

Мчатся сани по накатанной дороге, заливаются бубенцы, со звоном мчится знаменитый нареченный епископ Феодор в город Киев.

Ой, Феодорец. Не к добру ты раззвонился.

Этим сереньким утром все кончается. Больше не взойдет твое солнце.

Не сядешь ты рядом с Кириллом Туровским, ни с кем не сядешь — рыкая бессильно, будешь перед ними на коленях, как преступник.

Утомился Андрей Юрьевич играть с твоим огнем.

Не вышла игра, он отворачивается и прочь идет. У него других много игр.

И суздальские ратники отсыпаются в теплых избах, распоясавшись и разувшись. Не придут они под стены Киева спасать тебя.

Гляди, Феодорец, на крестики елей, на тихо оседающие снежинки.

Села снежинка на рукав. О шести лучах. Дивной тонкости, дивной отчетливости, без единого изъяна. Какая это кружевница плетет такое без единого изъяна?

Гляди на снежинку.

Говори что-либо. Приказывай, пока есть кому. Хвастайся. Размахивай руками. Не придется больше. Ни в одном сердце не найдешь ты милосердия — и как просить тебе о милосердии? Скажут: *какою мерой меришь, возмерится и тебе. Суд без милости не сотворившему милости.* Ой, куда скачешь, Белый Клобучок!..

1966

КТО УМИРАЕТ

Кто умирает ночью в Москве под морозными звездами?

Умирает властелин. Такого еще не было в России. Ему подвластны города и веси и каждый волос на каждой голове. Он сидел на престоле в бармах — царском широком оплечье, в шапке, похожей на дыню. И шапка, и бармы — весь он от макушки до каблуков был усажен драгоценными камнями и жемчугом. Сидел и поводил глазами, по движению этих голубых глаз вершились дела, сердца переполнялись весельем либо ужасом. И многим нравилось иметь его перед собой и поклоняться ему.

Каждый волос на каждой голове. На моей, на твоей, на всех наших буйных головушках. Все дымы из наших изб. Тысячи верст белых снегов, выпавших на север и на юг, на восток и на запад от Москвы. Извилины замерзших рек, еловые лапищи в дремучих лесах — надо всем он господин, Василий Иванович.

Боярин Беклемишев заспорил с ним о государственном деле. Василий Иванович сказал:

— Ступай, смерд, не нужен ты мне.— И отошел со своим мнением боярин Берсень Беклемишев.

Но он умел и обласкать, осыпать милостями — неожиданно, всем на удивление: властелин должен удивлять и загадывать загадки.

Когда он был юношей, шла борьба между ним и его племянником Дмитрием.

Государем всея Руси был Иван Васильевич, отец Василия, дед Дмитрия.

Речь шла о том, кому после него быть на престоле, Василию или Дмитрию.

Иван Васильевич раздумывал и выбирал, склоняясь то к одному, то к другому решению.

Дмитрий был мальчик, не умел еще бороться. За него боролась мать. Две матери схватились в смертном бою, Елена Молдаванка и Софья Гречанка, и бояре разбились на два лагеря, и что тут только не пускалось в ход — и клевета, и чародейство, и отрава.

Сперва победили сторонники Дмитрия. Он был торжественно коронован в Успенском соборе и посажен рядом с дедом. Иван Васильевич сам надел на него Мономахову шапку. Дмитрия называли царем боговенчанным, а Василий сидел под стражей, и его приверженцы хлебали горе.

Но качнулись кровавые качели, Иван Васильевич охладел к внуку, и опальная партия Василия Ивановича поднялась в силе и блеске. Тогда полетели головы сторонников Дмитрия. В том числе пострадала знатная и надменная семья Патрикеевых. Князю Василию Патрикееву казнь была заменена пострижением. Его постригли в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Вассиана.

Вот этого Вассиана, своего врага, Василий Иванович, став государем, окружил вдруг почетом и любовью. Приказал перевезти его в Симонов монастырь в Москву, посещал как брата, посылал ему кушанья от своего стола. Этого не могли перенести другие монахи и писали на Вассиана доносы. Но Василий Иванович не обращал на них внимания и называл Вассиана умягчением души своей, веселием беседы: любил такие слова, взятые из посланий отцов церкви. Стоящий выше всех должен изъясняться высокими словами.

Выше всех он стоял еще до рождения, еще в материнской утробе.

«И придоша к Словеном первее, и срубиша город Ладогу, и седе старейший в Ладозе Рюрик».

От варяга Рюрика Василий Иванович вел счет своим предкам по отцу.

В том ряду были полководцы, и преобразователи, и мудрые правители, и святые мученики.

Перед ликами святых рюриковичей зажигали лампады.

Мать Василия Ивановича была из династии Палеологов, родная племянница последнего византийского императора. Приземистая, дородная, с вкрадчивой улыбкой, с ноздрями, раздувающимися от алчных замыслов, от честолюбивого клокотанья души. Не принесла супругу в приданое ни земель, ни сокровищ: изгнанница, выросшая в чужом дому. Зато принесла осиротелый герб поверженной Византии—двуглавого орла, одна голова смотрит на запад, другая на восток. Принесла мысль о божественности единоначальной власти.

Она образованная была, Софья Фоминишна. Могла речь сказать по-латыни и принимала послов. Ловкой хитростью выжила татарский двор из Кремля — ей татары были как кость в горле.

Еще другая знаменитая Софья была у Василия Ивановича в роду, прабабка по отцу, Витовтовна.

Жил в Литве бесстрашный Гедимин. Храбростью и смекалкой выбился из слуг в господа, овладел Литовским княжеством, положил начало новой династии, и много совершил завоеваний, и прославился, и государи его боялись и чтили. У него был сын Кестут, а у Кестута сын Витовт, который даже Гедимина превзошел бурностью жизни и о котором сказано, что не было в Литве мужа более великого. Дочь Витовта вышла за московского князя, сына Дмитрия Донского, и прилила к крови рюриковичей кровь Гедимина.

Такие-то дерева сплелись ветвями над ложем умирающего. И эта кровь избранная должна остановить свой бег в жилах!

И остановит, подумаешь, невидаль. Смерть не глядит, какие там предки и сколько побрякушек на все места наве-

шано. Просто человек умирает, человек. Творение недолговечное, непрочное. Хрупкие кости, туловище набито требухой и смрадом. В черепе зыбкое вещество вроде киселя. В груди трепещет ком мяса — сжимается, разжимается. У властелина, у бездомного бродяги, одинаково. Адам наш общий предок. Жил ты, ел, пил, исполнял что́ тебе на земле положено. Теперь положено тебе умереть. Исполнишь и это.

Началось с малости. А поди разбери, что́ малость в нашей юдоли и что́ не малость. Был здоровехонек, никогда ничем не болел и поехал на охоту в Волок Ламский. Там в кустарниках, в загонах, множество водилось зайцев, их туда свозили нарочно. Никто не мог там охотиться, кроме как с Василием Ивановичем.

Бояр с собой взял, псарей, стражу. Громко крича, они окружали загон, от крика зайцы выскакивали, на них спускали собак. Еще громче подымался протяжный радостный крик, когда красивые длинноухие собаки с лаем бросались на одурело скачущих, не знающих куда деваться зайцев, по четыре-пять собак на одного зайца. Навеселившись, охотники сваливали затравленных зайцев в одном месте и считали — чья собака больше затравила. Всегда больше всех затравливали Василий-Иванычевы собаки.

Он красовался среди поля в золоченой одежде, в колпаке с двумя козырьками, передним и задним, над козырьками торчмя укрепленные золотые пластинки качались как перья. И конь был в золоте, а в кустах сидели нарочно посаженные мужики и держали в мешках живых зайцев про запас — на случай, если не хватит для травли.

Так шумно и отрадно проходило время, как вдруг почувствовал в левом стегне противную боль. На сгибе стегна вскочила небольшая, ну ничтожная болячка; нечего было о таком пустяке и думать. Василий Иванович, превозмогая боль, охотился и пировал с боярами, переезжал, охотясь и пируя, из села в село и парился в бане.

Но было все хуже сидеть и ходить и, видно, он седлом натрудил болячку. В селе Колпь пришлось лечь в постель. Лежал и боялся: что, как это та французская болячка, которую на Русь в вине привезли и от которой нос проваливается? Приказал скакать в Москву за врачами.

Врачи прискакали: немцы Николай и Феофил. Прискакал и князь Михаил Львович, дядя жены. Нет, сказали врачи, это не французская, та смотрит иначе. Они составили мазь. Но Михаил Львович посоветовал леченье, более

принятое в России и Литве. Замесили пресный мед пшеничной мукой и прикладывали. Потом клали печеные луковицы.

Болячка стала расти не по дням, а по часам, выросла в багровую гору, с нею росла боль. Ни лежать, ни встать. От боли обдавало огненным жаром. Все тело пылало огнем, шедшим от багровой горы. Гора наваливалась на грудь — дышать невмоготу. О пище не мог слышать: тошнота подкатывала. А вначале-то болячка с булавочную головку была, не больше.

Его походный шатер — как дом. Постель хорошая. Утонув в перинах, пылал в багровом забытьи, с мутными глазами. По ночам вдоль села кричали петухи, кричали, как сторожа на городской стене. «Слу-уша-ай!» — начинал один поблизости. «Слу-уша-ай!» — отзывался другой подальше, и еще дальше, и еще, и последний совсем уже на краю света.

Гору прорвало. Тазами выносили гной и выливали в ямку, вырытую в земле. Вышел длинный, как прут, стержень.

Гной перестал идти, и его захоронили, закопав ямку, как хоронили кровь, когда делали кровопускание больным.

Первые дни было облегчение. Василий Иванович обрадовался и стал собираться в Москву.

Пока болел, настала глубокая осень, листва облетела. Но снег, выпав, сейчас же таял, на дорогах лежала колеями грязь. Ехали шагом, на полозьях. Василий Иванович терпел, закрыв глаза. Очень слаб стал. На месте, где прорвало болячку, образовалась бледная рана, от нее шел дух. В карете постлали мягко. Василий Иванович лежал, и князья Палецкий и Шкурлятев сидели рядом и поворачивали его на другой бок, когда он говорил. Сам повернуться не имел силы.

Сначала поехали помолиться в Иосифов монастырь. Василия Ивановича вынули из кареты и под руки ввели в церковь. Но вскоре он почувствовал смертную томность и велел вывести его на воздух, на паперть. Там толпились нищие и калеки. Раскрывая лохмотья, показывали язвы. Он лег среди них со своей язвой и лежал, пока в церкви читали за него ектенью.

Черепашьим ходом — долго ли, коротко ли — добрались до Москвы-реки, до села Воробьева. Тем временем река стала, хоть и некрепко. Василий Иванович приказал

городничим навести мост против Новодевичьего. Городничие навели мост в два дня; но такой негодный, что обломился, едва лошади с каретой вступили на него. Спасибо, сопровождавшие успели перерезать гужи и удержали карету; лошади погрузились в воду. Тогда, обсудив дело, прорубили тонкий лед у Дорогомилова и перевезли Василия Ивановича в Москву на пароме.

В Москве было много иностранцев. Чужим глазам зачем показывать человечью немощь государя. Проехали по улицам в густых сумерках без пышности, скрытно. Арбат, Воздвиженка. Свернули в Троицкие ворота. Тпру, приехали. Боярские дети на руках понесли Василия Ивановича в его каменный дворец — умирать.

Он достраивал этот дворец. Отец начинал, он кончил.

Ему досталось большое хозяйство, он его любил и хозяйничал трудолюбиво, доходил до всего.

Удельных князей прибирал под свою руку и поновлял иконы.

Построил каменные крепости в Нижнем, Зарайске, Коломне, Туле и одиннадцать каменных церквей в Москве. Выложил кирпичом рвы вокруг Кремля.

Его художиики расписали Успенский собор и церковь Благовещения.

В разоренном, испепеленном пожарами Новгороде его землемеры размерили улицы, площади и торговые ряды по московскому образцу. Новгородские люди пропадали от грабителей — он велел, как в Москве, замыкать улицы на ночь рогатками. И учредил пожарную охрану.

Старался, чтоб судьи судили справедливо и ие брали взяток. Ничего из этого не получалось, но старался.

Взял обратно Смоленск, исконный русский город, сто десять лет пробывший под Литвой. По всей России звонили в колокола и служили благодарственные молебны. Василий Иванович в честь воссоединения Смоленска заложил Новодевичий монастырь, подарил монашкам села и земли.

Но, несмотря на смоленскую удачу и на то, что на знамени его был изображен Иисус Навин, останавливающий солнце, и войска он имел четыреста тысяч,— войну Василий Иванович не любил, воевал осторожно и нехотя. Война — это много убитых и раненых, и потом калеками кишат базары и паперти, а пленные гибнут в рабстве на чужбине, а главное — никогда не знаешь, выступая в поход: найдешь или потеряешь.

Как человек умный, где возможно уходил от брани, терпеливым говореньем добивался выгодных мирных договоров с соседями.

Не ухватился и за приманку, которой его завлекали в крестовый поход против турок.

Знатная была приманка: Константинополь, город городов, Царьград! Уже более полувека Византии не существовало, в Константинополе правил султан, на куполе Софии вместо креста красовался мусульманский полумесяц. Европейские государи старались разжечь сердце Василия Ивановича: последний византийский император Константин XII был его двоюродный дед по матери. Они называли Константинополь Василий-Иванычевой вотчиной. Клялись, что поддержат его, если он пойдет отбивать свою вотчину. Василий Иванович слушал эти лестные речи с удовольствием.

Но, слушая, думал: шутка — воевать с султаном. Султан-то силен! Сколько это денег истратишь, народу сколько уложишь, а проку? Если даже, навалясь всем миром, одолеем турок: дальше что? Дальше — римскому папе честь, герцогам, принцам, военачальникам — барыши, а тебе, Василий Иванович, Константинополя все одно в глаза не видать, так его тебе и отдали, держи карман. Это они сейчас такие щедрые, потому что без твоих мужиков и твоих рубликов у них никакого крестового похода не получится...

А соблазн, что и говорить, был великий, эта никогда не виданная вотчина с ее дивной славой и благодатным местом на земле. Закроешь глаза — так и видишь пестроту островов средь синих вод...

От родителей он перенял любовь к роскоши и превзошел их в великолепии.

Между прочим, завел рынд — красивых отроков, одетых в белый атлас, они ходили перед ним, как ангелы перед богом, и стояли у престола с серебряными топориками.

Не прадедовские времена, когда московские властители сидели, случалось, без гроша; когда из-за золотого пояска у прабабки Витовтовны чуть не драка получилась при всех людях — срамота! — с Василием Косым, и через тот поясок много лет чья-то лилась кровь и вытекали очи.

После прабабки Витовтовны остался ящичек с мощами угодников — волоски, косточки, скрюченный пальчик,—

да коробья с иконами, да крестики нательные, всего и наследства. Последняя купчиха оставляла больше.

Не прадедовские скудные времена! Покойный Иван Васильевич писал в завещании:

«Что ни есть моей казны у казначея моего и дьяков, лалов, яхонтов, других каменьев, жемчугу, саженья всякого, поясов, цепей золотых, сосудов золотых, серебряных и каменных, золота, серебра, соболей, и шелковой рухляди; также что ни есть в моей казне постельной икон, крестов золотых, золота и серебра... что ни есть у моего дворецкого тверского и дьяков тверских и приказчиков в Новгороде Великом моих денег и рухляди... и где ни есть моих казен,— то все сыну моему Василию».

Торжественное платье Василия Ивановича весило два пуда от нашитых каменьев. Под каменьями, под жемчугом не видать было ткани.

Но он был и скуп, копил по денежке, не упускал ничего, что мог получить. Князь Ярославский ездил в Испанию послом, там ему подарков надарили: золотые цепи, ожерелья, серебряную посуду. Вернулся — Василий Иванович отобрал все.

— Нешто тебе это подарено,— сказал,— ты рассуди: нешто ты сам по себе таких подарков стоишь?

Ярославский рассудил и не спорил.

А дьяк Далматов — и ведь ловок был, и опытен, а дал скаредности себя погубить,— дьяк Третьяк Далматов, когда посылали его к императору Максимилиану, стал отговариваться: не на что ехать. Он, видно, думал: не для себя еду, для государства, чего же ради мне тратить свое? Раскошеливайся ты, государь. Василий Иванович не поверил, чтоб у дьяка денег не было. Велел опечатать и обыскать его дом. Нашли три тысячи рублей. Василий Иванович рассердился, приказал — все имение в казну, а Далматова на Белоозеро в вечное заточение.

Сам же денежки из рук без крайности не выпускал, нет. Приходил ли в державу немецкий гульден, или венгерский червонец,— так уж тут и оставались; а с заграницей Василий Иванович приказывал расплачиваться товаром. Товару было много. Не говоря уже о лесе, льне, конопле, смоле, моржовом зубе, коже, торговали и изделиями ремесла: седлами, сбруей, ножами, топорами, полотном, сукном, зеркалами, деревянной посудой. По меду и воску первые были в мире. Осетровую икру охотно покупала Италия. Больше всего ценились меха. За соболька платили иностранцы двадцать, а то и тридцать золотых флоринов.

Когда из-за границы приезжали купцы, их товары сначала показывали Василию Ивановичу. Он отбирал для себя что понравится. А остальное продавай кому хочешь.

Крымские татары обижались, что Василий Иванович мало присылает поминков — подарков. Хан Менгли-Гирей письма писал: «Из моих мурз и князей двадцати человекам поминков не досталось; так ты бы им прислал по сукну». Василий Иванович отговаривался уклончивыми словами, давал хану чувствовать его ослабление, свое усиление.

На войско чуть не полмиллионное денег не так много уходило. Только воеводам жалованье, а воин монеты в глаза не видал, кормился толокном с водой и солью, спал в плетеном шалаше, прикрытом от дождя подседельным войлоком, остальное сам себе промышлял, как мог.

От всего этого достояние Василия Ивановича, полученное в наследство, не таяло, а росло, хоть жил он в роскоши.

Про черный день, какая ни приди беда на Русскую Землю, было прикоплено — дай боже.

Главные его сокровища хранились на Белоозере и в Вологде: кругом леса, болота, не пройти, не найти ни татарину, ни ляху.

Главное же его деяние — что прибрал к рукам высокомерный Псков.

Уже и Новгород пал перед Москвой, а Псков, юля и хитря, все держался за свою старину. И гордились псковичи несносно.

Не подчинялись Василий-Иванычеву наместнику, сварились с ним и тем гордились.

Богатством и торговой бойкостью были знамениты в ганзейских городах и тем гордились.

Прежде Москвы замостили свои улицы и тем гордились.

Так и пахло крамолой на мощенных деревом псковских улицах, на людном торге у Довмонтовой стены.

Крамола глядела из глубоких окошек каменных домов, неприступных, как крепости.

В их одежде была крамола — хвастливо добротной. В повадке — слишком свободной, лишенной смирения. В том, что обучали сыновей иностранным языкам.

И они приставали к Василию Ивановичу с жалобами на наместника, Репно-Оболенского, прозванного Найдёном. А Найдён на них жаловался: вмешиваются в его суд и в Василий-Иванычевы доходы, и людям Василий-Иванычевым никакого почета от псковичей.

А попы жаловались, что в Псковской земле жители привержены языческому блуду. В ночь на Ивана Купалу ищут псковичи цвет папоротника, и прыгают через костры, и играют на дудках, и бьют в бубны, и девицы пляшут с молодцами и уходят с ними в лес обнявшись.

Все это Василию Ивановичу надоело. Пора было с этим кончать. И он кончил, слава ему, тихо, без лишнего шума, без народной крови. Слава мудрому кормчему, радетелю о государстве, столпу твердости. Пусть с миром закроет свои светлые очи.

Без крови, говоришь? Он ее только что показывать не любил, пил втихомолку, аспид. При батюшке его Иване Васильевиче, там не стеснялись: холоп ли, боярин ли, ученый ли доктор — запросто, без затей, сводили на Москву-реку, на лед, и заре́зали, как курицу: гляди, ужасайся, мотай на ус. Алеет, бывало, лед под мостом, пока его снежком не присыплет.

Этот брал коварством. Со Псковом как было? Приехал в Новгород и позвал туда лучших псковских людей — рассужу вас с Найдёном, дам управу по вашим жалобам. Они и поехали, из Пскова и волостей: посадники, бояре, старосты торговых рядов. День назначил: крещенье, шестого января. Утром с новгородцами и псковичами отстоял обедню в Софийской церкви. После обедни, опять все вместе, чин чином сходили крестным ходом на Волхов, на иордань. Епископ Митрофан освятил воду. Пустили голубя. Потом псковичам было велено идти в архиерейский дом ждать управы. Они ждали, и вот в палату вошли московские бояре и известили: «Поиманы вы богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси»,—уж эти слова известно что́ значили. Так тут в палате и остались под стражей посадники и богатейшие торговые люди. А младших людей, что дожидались во дворе, переписали и роздали новгородцам — кормить и караулить впредь до указа.

А пока они в Новгороде сидели плененные, в Псков поехал дьяк Далматов — он тогда еще не провинился, был в силе. Скликали вече, и Далматов сказал псковичам, что вечевой колокол снимается и вечу больше не быть, и выборные люди отныне править не будут, править будут люди Василия Ивановича. За это Василий Иванович обещает Пскову свою милость.

Далматов сказал и сел на ступени Троицы, ожидая, что скажет народ. А народ, какие ни были у него обиды от своих выборных, стал плакать.

Да и как же не плакать.

Да как быть Пскову без веча.

Что то́ за жизнь унылая.

Да за что на нас такое лихо.

Не мы ли родной земле служили, и деды наши, и прадеды.

Не мы ли немцев отбили при Владимире.

Не мы ли били их при Александре на Чудском озере.

Горели на солнце наши доспехи, когда мы шли в бой.

Да не из Пскова ли была Ольга, святая княгиня киевская.

До сих пор видим ее крест у Троицы.

За что ж нам бесчестье?

Плакали псковичи и обнимались, прощаясь, как перед смертью.

Но не посмотрели на их слезы. Тринадцатого января сняли вечевой колокол, положили в сани и отвезли на Снетогорское подворье. Темной ночью, как тати награбленное, вывезли с подворья, увезли к Василию Ивановичу в Новгород.

С того дня псковские колокола скликают только на молитву да на пожар. Кончилось вольное кричанье, самолюбивые перебранки — Москва решает, как Пскову жить.

Милости его, проклятого, нахлебались мы по горло и выше горла.

Из Среднего города, Застенья, псковичей всех чисто вывели, указали строиться по околицам и на посаде. Дворы их отдали москвичам — чиновникам, боярским детям.

Триста семейств, самых именитых, привычных к почету и неге, вывезли в Москву. Рыдая, садились они в сани с детишками и старыми стариками, прихватив только из одежи кое-что; больше ничего взять не позволили, разорили сполна. На их место в готовые хоромы — чаша полная — приехали купцы из Москвы и десяти городов других. Чем бы лучше были эти города, чем наш Псков? Тем лишь, что славы и богатств таких не имели.

И стал он брать, проклятый, с товаров пошлины, а прежде псковичи торговали беспошлинно.

И вместо своих сильных людей стали простой народ обижать и теснить пришлые сильные люди. И такого притеснения еще во Пскове не видели. А московские присланные пищальники ходили с пищалями и смотрели, чтоб народ не возмутился.

Возмущаться народ был слаб. Но стал бежать кто куда, покидая жен и детей. Иностранные купцы разъехались по своим местам. Нечем стало псковичам гордиться. Разве что крестом княгини Ольги.

Кончился Псков, брат Великого Новгорода.

Когда воспрянешь, Псков?

Когда воспрянешь, старинная кичливая вольность?

Воспрянешь ли?..

И все он, проклятый, творил лукавством.

Как жирный кот с мышами, играл с людьми.

Лукавством погубил и Шемячича Северского. Заманил в Москву ласковыми письмами, обещал награды за верную службу. В Москве взяли Шемячича за могучие руки, сняли с него меч, которым он служил верно,—только и видели Шемячича.

А в деле племянника Дмитрия обманул, проклятый, родного отца. Тот на смертном своем ложе велел привести Дмитрия к себе. Дмитрий, когда-то царь боговенчанный, в нежной юности был заключен, узником провел годы возмужания. Одичалого, привели его к умирающему деду, который из прихоти вознес его, из прихоти и поверг.

— Внук милый,— сказал Иван Васильевич,— прости меня, согрешил перед богом и перед тобой. Будь свободен.

Дмитрий, заплакав, упал на колени. Ему уж представилось, что двери его темницы распахнуты. Но едва вышел из дедовой спальни — подошли стражники, отвели назад в комнату, где он томился.

И больше его Василий Иванович оттуда не выпустил. Кормил сытно, одевал-обувал, как пристойно быть одетым-обутым царевичу, но простора божьего Дмитрий не увидел. В той комнате и кончился, убитый тоской, и бездельем, и неприкаянностью своей молодой силы. Птица в клетке и та не живет — мучается. Человек в клетке вовсе не может жить.

Умирает любознательный ум, склонный задавать вопросы, не относящиеся к обыденной жизни, и искать ответа на них. Ему был отраден вид книги и ее запах. Куда больше, чем бояр, он уважал дьяков — сильно грамотных, легко держащих перо в пальцах, знающих могущество письменности и думающих трижды, прежде чем начертать слово на бумаге.

Став властелином, он пошел по дворцу, где прежде многое было для него закрыто, и среди всякого накопленного добра увидел груды книг, толсто покрытые паутиной и пылью. Что это, спросил. Ему ответили — эти духовные книги собирал покойный государь и привезла покойная государыня Софья Фоминишна; да вот так и лежат.

Книги были на греческом языке. Василий Иванович спросил, кто бы их мог прочитать, отобрать лучшие и перевести на славянский. Долго искали такого человека — в России, Македонии, Фессалонике, Болгарии,— наконец нашли на Афонской горе ученого монаха Максима. Он всю молодость прожил в Италии, слушал там лекции во многих городах, знал разные языки, а сам был грек.

В Москву он ехал два года: через Константинополь, Крым, Перекоп. Приехал — носатый, черный как уголь, в черной одежде. Засел разбирать книги и составлять их описание, потом перевел Толковую Псалтирь. С ним были два писца, тоже монахи с Афона, из них один, болгарин, учил Максима славяно-русскому языку. Да еще Василий Иванович приказал дать Максиму в подмогу двух посольских толмачей и двух переписчиков.

Большое поднималось дело, нешуточное. Его пора бы начать давно. Не спохватились, не расшевелились вовремя...

Православную веру терзали ереси. Незадолго до воцарения Василия Ивановича было сожжено в Москве и Новгороде несколько еретиков — попов, чиновников из жидовствующих. Сожжение помогло мало, ересь, скрываясь, жила, тут и там вставали ругатели и исказители Христовой веры. Они отвергали божественность Христа, хулили иконы и святых угодников, обличали священников и монахов, а руководствующих книг, чтоб спорить с нечестивцами, в России почти не было, и они нужны были позарез для государственного покоя и порядка в мыслях.

Максим Грек угодил Василию Ивановичу своим старанием. А также своим нравом, приветливым и общительным, скромностью без угодничества, достоинством без чванства, живой быстрой речью, никогда не скучной. Василий Иванович заходил с ним побеседовать, порасспросить, как люди живут на свете.

Чего этот монах не повидал. Рассказывал про доброго сеньора Пико де Мирандола, у которого жил при дворе как учитель греческого языка: какую библиотеку имел сеньор Пико и как покровительствовал живописцам, поэтам и музыкантам, они к нему приходили по вечерам, и он им отдавал предпочтение перед знатными гостями, и поэты читали стихи, а музыканты играли на арфах и виолах,

и при этом присутствовали все учителя и переписчики книг, жившие во дворце на жалованье, и даже простые слуги теснились в дверях, наслаждаясь искусством и совершенствуя свой вкус.

И как все члены семьи Пико, просвещенные человеколюбцы, негодовали против папы Александра и рукоплескали настоятелю флорентийского монастыря святого Марка, отцу Джироламо, который в бесстрашной проповеди обличал разврат духовных и светских вельмож.

О, что это была за проповедь, она гремела, как колокол, по всей Италии, сотрясалась громада Ватикана, сотрясались сердца, слушатели рыдали и в корчах раскаянья падали ниц! Может быть, Джироламо несколько далеко зашел в своем священном неистовстве, он и искусство объявил развратом, ликованием сатаны, разжег костры на площадях и потребовал, чтоб люди сносили туда картины и книги мирского содержания. И они понесли! Банкиры, лихоимцы, присвоители денег, принадлежавших сиротам, женщины такой красоты, что страшно взглянуть им в лицо,— все они, платившие несказанные суммы за картину, вышивку, старинный свиток с тонкими рисунками, понесли эти сокровища к кострам Джироламо, кидали их в огонь с криками восторга, выхваляясь друг перед другом числом своих жертв и их ценностью,— право, государь, надо быть великим пророком, чтоб достигнуть такой власти над душами!

Правда, я до сих пор не уразумел, как согласовать преклонение сеньора Пико перед искусством с преклонением сеньора Пико перед Джироламо. Или, быть может, в поступках смертного не следует искать согласованности?

Кончилось смятением и пеплом. Громада Ватикана раздавила пророка, он был осужден и сгорел на костре Сеньор Пико с семейством бежал в Баварию от наступающих войск французского короля. Пылкий Максим, чтя память Джироламо, постригся в монастыре святого Марка. Но там уже не было прежнего пламенного духа, иной дух господствовал — бдительности и подчинения папе Максим затосковал и ушел на Афон.

Я затосковал, государь, по жизни духовной, отрешенной от суеты. Суета вьет гнезда не только в залах, где поют и играют. Она вьет их и на площадях, где пылают костры покаяния, и в храмах, где блудницы, терзая одежду на груди, с воплями рвутся к кафедре проповедника.

Я загрустил о строгих монастырях моей Греции, где вокруг обители плавными волнами расходятся горы, где

мало вещей, отвлекающих от молитвы, и ничем не отвлекаемый взор глубоко погружается в пустынную синеву воздуха.

Ничего о себе Максим не скрывал, выкладывал все чистосердечно. Что, рожденный в православии, был в юности униатом. А при дворе Пико вовсе стал католиком. Молился по-латыни, крестился католическим крестом. Потянуло к родимой истинной вере — вернулся к ней.

Говорил о своих грехах не сокрушаясь, походя. Будто и греха никакого нет — отступиться от истинного учения и блуждать из веры в веру, как из страны в страну. Даже когда рассказывал, как впал одно время в чернокнижие — астрологию изучал и составлял гороскопы,— улыбался, рассказывая, смешно ему было.

Еще больше, чем Максима, Василий Иванович ценил Вассиана Патрикеева.

Кто был Вассиан? Некогда один из самых влиятельных и богатых сановников, затем — узник в оковах, ожидающий, когда ему снесут голову на плахе. Теперь он — что? Бил лбом перед иконами, благодаря за свое спасение? Стелился травой перед Василием Ивановичем, чтоб загладить былые вины?

Нет, он сидел у окна кельи покойно и вольно. Лебединым пером писал свои трактаты или же, сощурив припухшие важные веки, глядел задумчиво в сад, шевелящийся за окном. Что значит душа живая. Насильственно отторгнутый от мира, новый нашел в затворе мир, новыми воспылал страстями. Об отнятом имении и не поминал, презрел: с младенчества всем был пресыщен.

Тем легче было презреть, что кушанье ему приносили от Василия Ивановича, и веригами себя не обременял, и работой никто в Симонове монастыре не дерзал удручать рожденного князя Патрикеева, государева любимца и родича.

Лишенный коней и карет, как он был величав, шествуя пешком, в длинных черных одеждах, с четками на белой руке.

Трактаты он писал об иноческой жизни.

Ему в этой жизни не хватало святости.

Он всколыхнул старый, притихший было спор нестяжателей со стяжателями.

Жизнь иноческая, писал Вассиан, должна быть евангельски совершенной. Какое ж совершенство видим? Мо-

настыри владеют землями и селами, рабы на них работают Вошедши в монастырь, не перестаем чужое себе присваивать всяческим образом, то с бесстыдным ласкательством выпрашиваем у вельмож, то покупаем. Смотрим в руки богачей, раболепно угождаем им, чтоб выманить или деревнишку, или серебришко. Объезжаем монастырские имения, собирая доходы, и неисправных плательщиков истязаем бичом, и отнимаем последнее. Даем деньги в рост и взыскиваем проценты, влачась по судам.

Но так всегда было, отвечали стяжатели, защитники монастырских имуществ. Со времен преподобного Феодосия Печерского монастыри владели имениями и приумножали их. Это достояние нищих и убогих, и на то есть постановления святых соборов, и так написано в Кормчей книге.

Ну что ж, отвечал Вассиан, стало быть, надо пересмотреть Кормчую и навести в ней чистку. И продолжал обличать архиереев и монахов, что обижают, грабят, продают христиан, свою братию. Звал иноков покидать богатые монастыри, разбредаться по дремучим лесам, селиться в скитах по три, четыре человека и жить в безмолвии и молитве, кормясь трудами рук своих.

Годами он так писал и не уставал, видя в этом смысл своего существования.

Но немногие разделяли его мысли, и никто по его слову не ушел спасаться в дремучие леса. Большинство монахов и попов на Вассиана злобилось, тем более что Василий Иванович не позволял грубо писать против него даже такому почтенному писателю, как Иосиф Санин, основатель и игумен монастыря в Волоке Ламском.

Слог у Иосифа был лучше, чем у Вассиана, и книг он прочитал столько, как никто на Руси, и всю жизнь бился за чистоту веры. Если б не настойчивость и красноречие Иосифа, не были бы преданы огненной казни еретики жидовствующие, он в этом деле переспорил, одолел самого великого князя Ивана Васильевича.

Так же яростно стоял он за монастырское имущество. После падения Константинополя, учил он, Москва есть средоточие и оплот православия, на Москву взирают народы в чаянии хлеба духовного, Москва есть Третий Рим! Откуда же черпать московскому православию миссионеров, наставников, устроителей веры? Только из монастырей, где способный человек получает знания и готовится к высшему пастырскому подвигу. Но чему научится человек, даже способный, живя в лесах с медведями? Да

захочет ли способный человек постригаться, чтоб жить с медведями?

Монастырское имущество, учил Иосиф, служит возвеличению православия и через то державы Московской. Проклят, кто это имущество тронет.

Василий Иванович читал обоих, и ему нравились и резкие, с издевкой, писания Вассиана, и строгие, благообразные поучения Иосифа.

Рассуждения Вассиана были привлекательны: очень бы заманчиво отобрать обширнейшие, доходнейшие монастырские угодья. То-то бы казна вспухла! Действительно, чего надо постриженику? Его дело известное — смиряйся да постись. Проклятие? Пустое: не отважатся проклясть... Но Третий Рим! Но взирающие народы! Но слава!.. И, сочувствуя Вассиану, Василий Иванович все-таки продолжал дарить монастырям землицу, деревеньки, денежные суммы — не чрезмерно большие; и на достояние нищих и убогих не покушался.

Но Вассиан не только обличал, в своем уединении он много чего передумал, о чем не думают в княжеском состоянии, мысль его научилась взлетать высоко над земною злобой, и в этом-то и было для Василия Ивановича веселье и умягчение души. Щуря набухшие веки, с передышками роняя слова, Вассиан толковал о дивном устройстве Вселенной — из чего состоят звезды и из чего, скажем, кометы, и по какой причине звезды всегда на одном месте или сдвигаются немного, а солнце и месяц ходят кругом земли, а кометы показываются лишь перед каким-нибудь несчастьем. И почему в семитысячном году от сотворения не произошло конца света, как было предсказано, и о прочем тому подобном. Кое до чего Вассиан достиг своим умом, кое-что слыхал от приезжих из тех стран, где об этих вещах больше думают, чем у нас.

Василий Иванович слушал и преисполнялся гордостью, что бог вложил в него тяготение и понятливость к таким премудростям — свойства, отличающие, разумеется, человека среди всех земных существ; но далеко ведь не всякого человека! Волосы и борода Вассиана были шелково расчесаны, от рясы пахло ладаном и душистыми травами.

Где еще, думал и говорил Василий Иванович после этих бесед, где отыщешь таких собеседников и столько тишины и свободы для размышления, как в монашеском житии? Конечно, не в лесах с медведями: вот так бы, как Вассиан. Ах, удалиться сюда навек, носить смирное платье, не отяг-

чающее плечи, ходить в безмятежности по этим садам, стоять на молитве без суетных мыслей!

Я бы принудил себя забыть суету. Научился бы думать лишь о высоком, а становясь на молитву, не думать ни о чем, кроме молитвы,— иметь сердце, безмолвствующее от всякого помысла, как велят святые отцы. Для этого, учат святые отцы, надо сдерживать дыхание, дышать сильно, но не часто, тогда ум становится глух и нем и человек предан молитве всецело, и молитва его возносится, как быстролетная птица.

Ах, как заманчиво это и прекрасно — принадлежать лишь себе да богу. Ах, я постригусь. А они там пусть как знают.

Но, конечно, не постригся. Просто баловство, воображение. Слишком любил свои дела земные. Слишком был — плоть, хотя и влекущаяся к духу.

И кто бы ему дал прогуливаться в монастырских садах? Высшая власть дело такое: упустил ее из рук — конец тебе.

Как он сгноил Дмитрия в темнице, то бы и с ним сделали. Либо — оно проще и скорей — удавили бы в келье.

Не удавили, не сгноили, своей смертью доходит. Все слабей толкается сердце о ребра. За каждым его толчком во все глаза наблюдают стоящие вокруг постели. Когда останется два-три вздоха — принесут ножницы и монашеские ризы, постригут. На краю могилы это сбудется.

Умирает добрый семьянин, горячий отец. Уж так любил жену и деточек, особенно старшенького. Уезжая, тосковал по ним и писал жене письма:

«Отпиши, как тебя бог милует и как милует бог сына Ивана. Да побаливает у тебя полголовы, и ухо, и сторона; так ты бы ко мне отписала, не баливало ли у тебя полголовы, и ухо, и сторона, обо всем этом отпиши».

«И о Юрье сыне ко мне подробно отписывай, как его станет вперед бог миловать».

У сына Ивана вскочил нарыв. Елена Васильевна не сразу известила мужа. Он ей выговаривал в тревоге:

«Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь. Да поговори с княгинями и с боярынями, что это такое у Ивана сына явилось, и бывает ли это у детей малых? Если бывает, то от чего бывает? С роду ли,

или от иного чего? Обо всем бы об этом ты с боярынями поговорила и их выспросила, да ко мне отписала, чтоб мне все знать».

Слишком даже был заботлив. Раскрывал над ними крылья как наседка:

«И о кушаньи сына Ивана вперед ко мне отписывай; что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо».

Молоденькая, во все сам вникни и ее научи. Молоденькая, косточки нежные. Над высокими нарумяненными скулами глаза лучатся, играют. Тонкий белый пробор в волосах. Положишь ладонь на маленькую эту головку — ладонь теплеет. А ему, когда он на ней женился, было сорок шесть.

Ее воспитывали на иностранный лад, научили обходиться с людьми учтиво и приятно. Глинские были выходцы из Литвы. И в Москве, где росла Елена Васильевна, у них бывали немцы да поляки, и она не сидела взаперти, как московские боярышни, а выходила к гостям и разговаривала с ними. На шутку она смеялась звонко, не закрывалась рукавом. Сама пошутит, чтоб посмешить Василия Ивановича. Не выступала глупой павой — весело, молодо ходила.

Во дворец за ней привезли сундук европейских нарядов. Иной раз надевала их, чтоб Василий Иванович полюбовался, чтоб сильней любил. Хороши, соблазнительны были мягкие льющиеся шелка. Обтянутая тесным рукавом, юная рука выше локтя видна как нагая. Грудь подымала шелк, в поясе — диву даешься, до чего тонко. Не то что московская одежда, мешок на мешке, и не увидишь, где грудь, где что. На людях, впрочем, великая княгиня в европейских платьях не являлась.

А он был низкорослый, грузный — в мать. На длинном полном лице — русая с проседью борода двумя потоками, от нее лицо казалось еще длинней. Снимет сапоги с высокими каблуками, снимет идольские одежды, станет босой, крестясь, перед супружеским ложем — мужик мужиком.

— Зачем борода! — шепнула Елена Васильевна. Он слова не сказал, сбрил бороду. Ты молоденькая, так ведь и я не стар, скажи, что не стар. Скажи, что не только я тебя выбрал. Не только свыше отмечена — мол, радуйся, благодатная, благословенна ты,— а и сама меня выбрала, смеясь и резвясь. Скажи, что нравлюсь тебе.

— Напиши папе в Рим,— шептала Елена Васильевна,— пусть даст тебе королевский титул, ты будешь могучий и славный король!

Хотелось ей, голубушке, быть королевой. И он стал об этом подумывать — в самом деле, а не послать ли к папе верного человека закинуть удочку? Но так и не собрался.

— Освободи дядю! — шептала. Дядя, Михаил Львович, тринадцатый год сидел в темнице, в цепях, за измену Василий Иванович не послушал императора Максимилиана, когда тот просил его освободить узника; а перед ночными шепотами не устоял. Покряхтел — не надо бы освобождать, непоседлив, неверен,— и освободил.

Дядю, видно, долгое заключение усмирило, сидел тихо. Оказался кладезем житейской мудрости. Во всяком затруднении мог подать совет и на все пример находил из истории. Когда в истории есть пример, то затруднение кажется не таким уж тяжким; спишь спокойней, узнав, что подобное случалось и с другими коронованными особами.

Под конец дядя сумел стать необходимым. Бояре обижались, что Василий Иванович с ними о делах не думает, и думает втроем — у постели.

А в дальней дворцовой комнате стояли две кроватки с загородками. Заповедная милая комната, увенчание любви. В кроватках спали сыновья Иван и Юрий. Иван двумя годиками старше Юрия, разумное, живое дитя, надежда, отрада. Юрий, тот был поплоше — вялый, непонятлив. За ними ходили мамушки, нянюшки, бабушки Наряжали, забавляли, мыли то в отрубях, то грецкой губкой, намыленной благовонным мылом, чесали волосики гребешками слоновой кости.

Василий Иванович заходил вечером, отодвигал положок, крестил одного сына, потом другого, пухлая рука вздрагивала от великой нежности и великого страха.

Где только мог, старался не расставаться с ними. Будто чуял, что разлука близка.

Вот и в последнее пускался странствие — взял их с собой. За его поездом следовал поезд Елены Васильевны: впереди стража верхами, за стражей в карете Елена Васильевна с детьми и мамками, сзади княгини и боярыни — кто в карете, кто в возке. В обозе на простых возах — слуги со всякой снедью, какой в дороге не разживешься, с шубами и кошмами на случай холода, а в самом хвосте опять стража, вздев бердыши, на сытых конях. Обочиной мужик шел, игрушечник, нес на ярмарку раскрашенные глиняные дудки. Елена Васильевна купила детям по дудке. Ваня обрадовался и дудел всю дорогу, а Юрко дудеть еще не понимал, но тоже радовался Ваниному дуденью.

Семьянин! Нарушитель святости брачного союза, насильник, поправший клятву, данную перед алтарем! Иди, иди, гори на вечной сковороде! Что он, окаянный, сделал с первой своей женой, Соломонией? Ахнули праведники на небе и грешники на земле, когда он заплатил Соломонией за ласки девчонки Глинской!

Двадцать лет прожили. Сколько всего было. В глаза ему смотрела, для него бы дала свое тело на раздробление. Да что говорить. Двадцать лет! Нечистый пес и тот за годы так привязывается к человеку, что умри человек — подыхает и пес от горя.

А тут молоденькая глазами ему поиграла, и Василий Иванович стал Соломонии хуже самого страшного врага. Словно другой половиной лица к ней обернулся, и человеческого в этой половине не было, только зверское.

И будь, скажем, Соломония безобразная, худая — так нет же, красавица из красавиц. Из всех городов свезли когда-то девиц на смотр, полторы тысячи девичьих душ, выбирать Василию Ивановичу невесту; и не нашлось лучше Соломонии.

Если даже за двадцать лет она подурнела — вместе же, бок о бок, дурнели. На себя бы хорошенько посмотрел в зеркало: сам, что ли, все тот же молодец, кровь с молоком?

И мало было ему развестись. Мало развязать себе руки, чтобы с новой зазнобой тешиться. Он еще хотел, чтоб Соломония ушла опороченная и виноватая; а Елену, проходимку, чтоб встретили как богоизбранную деву, будущую матерь будущего властелина. Потому причиною развода он выставил не любовь к Елене, Елены и речь не коснулась, причиной развода Василий Иванович выставил то, что у Соломонии не было детей.

Не было, верно. Она по монастырям колесила, молила угодников, призывала баб-зелейщиц, чародеек, обаянниц. Те давали пить травы, читали в волшебных книгах, наговаривали масло, воду, мед. Водой кропили Василий-Иванычевы сорочки, маслом и медом натирали Соломонию — все зря. Выписывал Василий Иванович волхвов из Корелии; тоже не помогло.

Задумав развод, он стал жаловаться громко.

— На кого я похож? — говорил.— Ни на птиц небесных, ни на зверей земных, потому что они плодовиты. Ни на землю, потому что и она приносит плоды свои. Горе мне!

И платком утирал слезы.

— Кто после меня будет царствовать? — говорил.— Отдать Русскую землю братьям? Они и уделов своих устроить не умеют.

Он велел Соломонии постричься. Она отказалась. Тогда митрополит Даниил, мужчина угодливый и сообразительный, сказал:

— Государь! Неплодное дерево исторгают из сада.

И другие, кому нравилось кадить идолу, стали просить Василия Ивановича развестись с Соломонией и жениться другой раз для пользы державы.

Соломонию постригли насильно. Она падала в обмороки, кричала, сорвала и топтала монашеский куколь, и боярин Иван Шигона ударил ее плеткой. Через все Василий Иванович переступил, стремясь к своей любви.

Переступил и залил кровью всякий косой взгляд и всякое неодобрительное слово.

Князя Курбского угнали в ссылку. Дьяку Федору Жареному отрезали язык за ругательные речи об Елене.

Спорщику заядлому, постылому — боярину Берсеню Беклемишеву — оттяпали голову, чтоб больше не спорил.

Ни друзей не пощадил, никого. Вассиан Патрикеев, возлюбленный собеседник, осудил развод,— Вассиана услали к его зложелателям-стяжателям в Иосифов монастырь: пропадай у ненавистников в когтях! На Максима Грека поступил донос. Сделали обыск, нашли писанную Максимом тетрадь, послание: «Против мужей, оставляющих жен своих без вины законной». Обвинили Максима в ереси, в умышленной порче святости книг, которые он перевел. Все давние грехи ему припомнили, астрологию и прочее. Засадили в подземную темницу, даже в церковь не позволили выводить и причащать.

Большая цена была заплачена за любовь. Не всякому по карману.

А Ивана Шигону Василий Иванович обласкал и приблизил.

Мил ему стал Шигона.

Пострижение Соломонии было в ноябре. В январе Василий Иванович справил свадьбу с Еленой. Спешил к своей любви.

Соломонию увезли в Суздаль. Оттуда спустя сколько-то месяцев донесся мутный недостоверный слух. Будто, когда ее постригали, она была беременна. А в Суздале родила будто сына и скрыла с помощью сердобольных людей, чтоб Василий Иванович и Елена его не сгубили. Имя сына передавали: Георгий.

И через это переступил Василий Иванович. Он тогда как раз сбрил бороду, ходил с голым подбородком и голыми щеками, обуянный любовью до помрачения.

Впрочем, многие не верили слуху и полагали, что Соломония налгала по злобе.

Знала бы теперь, что его часы сочтены. То-то бы возликовала. «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечистого. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих».

А была Соломония из рода Сабуровых. Этот не важный, не боярский даже род происходил от татарина мурзы Чета, приехавшего из Орды на русскую службу в княжение Ивана Калиты.

От того же мурзы Чета произошел другой невзрачный род — Годуновых.

Когда в свое время Соломонию Сабурову избрали в супруги Василию Ивановичу, ее родня приблизилась к ступеням трона. И где-то в сторонке, зная свое место, низко кланяясь родовитым и знатным, встали невзрачные, невидные Годуновы...

Что сделано — сделано. Не было пользы думать, как сделано.

Какое ни есть, оно свершилось именно так, а не иначе. С этим уже ничего не поделаешь.

Что есть, то и перейдет к сыну.

Думать надлежало о том, чтобы распорядиться государством и семьей и отойти, как подобает избраннику.

Рана больше не росла и не болела. Только дух от нее был тяжкий и смертная вытекала понемногу вода.

— Николай,— сказал Василий Иванович врачу, уже не надеясь,— ты видел мое жалованье великое. Можешь ли что-нибудь такое сделать, новую мазь или другое там что, чтобы меня излечить?

— Я видел твое жалованье великое,— сказал Николай,— и я бы тело свое для тебя раздробил, но не знаю такой мази и другого не знаю ничего.

— Тогда чего бы прикладывать,— спросил Василий Иванович,— или что бы такое пустить в рану, чтоб не было непристойного духу?

— Надо курить,— отвечали врачи и стали лить на горячие жаровни благовонный уксус.

Боярин Михайла Захарьин сказал, утешая:

— Есть, государь, от духа средство. Обождавши день-другой, когда тебе полегчает, прикажи водки пустить в рану.

Но Василий Иванович возразил:

— Нет! Не полегчает. Николай узнал мою болезнь: неизлечимая! Надо промышлять, чтоб душа не погибла навеки.

И его стали причащать и соборовать, и понесли из церквей чудотворные образа и мощи, кадили и пели, хлопоча об его душе, и он лежа подпевал: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!» Но между тем велел дьякам писать духовную грамоту, завещание, созвал бояр и распоряжался здраво и твердо, как быть после него царству.

— Даю мое государство,— сказал,— сыну моему Ивану. И вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили мне, так служите и сыну моему Ивану прямо и неподвижно.

— На недругов все будьте заодно,— наказывал,— дело земское берегите и делайте сообща, чтоб никакой в вас розни не было.

Об Елене Васильевне все сказал: как ей без него жить, как боярам к ней ходить. Старался не думать и виду не подать, что кто-нибудь может ослушаться, поступать не так, как он велит, и чтó тогда будет с женой и детьми. С надеждой устремлял взор на прощенного изменника Михаила Львовича Глинского: как-никак не чужой ей — дядя.

Распоряжаясь и молясь деятельно, слабел час от часу. То, чтоб причаститься, вставал с кровати и садился в кресла, а то уж и голову от подушки оторвать не мог, приподнимали его под плечи. Перестал есть совсем: принесли миндальной каши, он в рот не взял. Стал забываться: закроет глаза, и голоса уйдут далеко, и встают видения.

Тогда сказал привести Елену Васильевну и сыновей, проститься. До того не впускал: боялся, увидят его — испугаются. К их приходу его причесали и покурили хорошенько.

Елена Васильевна вошла и сразу закричала, стиснув руки над головой. Так ей полагалось — кричать сколько может громче. Но помимо того ей в самом деле было люто страшно. Пол закачался, как обступили эти волосатые лица; как подумала, что в этих ручищах остается с детьми. Вон два деверя уставились из-под насупленных бровей, о горе горькое! Два Василий-Иванычевы родные брата, Юрий и Андрей, тоже наследники, о злосчастная я! Либо я их кончу, либо они меня, третьего нет исхода, о зачем ты меня, мати, на свет родила!

Бояре держали Елену Васильевну, чтоб не билась, а она пуще кричала, и, хрустя, метались над их головами ее заломленные руки.

— Перестань,— сказал Василий Иванович, ему невыносимо было слышать, как она кричит.— Не плачь, мне легче, не болит ничего.

Она притихла и спросила:

— На кого меня оставляешь? Кому детей приказываешь?

— Я сына Ивана благословил государством,— сказал Василий Иванович,— а тебе написал в духовной грамоте, как прежним великим княгиням писалось.

Он хотел поговорить с нею, наставить ее для новой, вдовьей жизни, но она опять закричала, ужаснувшись его вида и голоса, и не слушала. И в последний раз поцеловав горячее милое лицо, он приказал ее увести.

Измучило его это прощанье. Соленые слезы, буйное горе, земное незабвенное бытие. Тяжка разлука! Игра крови, веселье, удаль, дорогие забавы... Он закрыл глаза, и перед ним, у ног его коня, заскакали, завертелись собаки и зайцы. А поодаль неслась вереница охотников с протяжным криком. Сладкий холод осеннего утра коснулся его щек. «Неприлично,— подумал Василий Иванович,— неприлично мне сейчас иметь такие видения»,— и призвал святую Екатерину. Она сошла к нему в шелковых мягких покрывалах, босая нога показывалась из-под одежд, когда она приближалась сильным крупным шагом. Они беседовали. Стоявшие у постели слышали явственно, как он сказал ей тяжелым языком:

— Так, великая Христова мученица Екатерина: пора царствовать. Так, госпожа: царствовать.

С этими словами открыл глаза. Тут ему поднесли ее мощи, он к ним приложился. Велел читать отходную. Спросил протопопа Алексея:

— Ты бывал при том, когда душа разлучается от тела?

— Мало бывал,— отвечал протопоп.

— Так стань против меня,— сказал Василий Иванович,— и смотри. Как увидишь, что стала душа от тела разлучаться, дашь мне причастие. Смотри рассудительно, не пропусти.

Протопоп боялся пропустить и спросил у Ивана Шигоны:

— Как же я увижу, что душа начала разлучаться?

— Увидишь,— пообещал Шигона.— Дух будет выходить в виде тонкого облака.

Все стояли и смотрели. Крестовый дьяк читал отходную. Позади, у дверей, слышалось шевеленье и перешептыванье, шу-шу-шу — что-то вносили, выносили, готовили.

Прислонясь к кроватному столбику, стоял, крутя седой ус, Михаил Львович Глинский. Левая рука молодецки уперта в бок, свешивается с плеч кунтуш, обшитый мехом.

О чем думает Глинский, с приличной сосредоточенностью наблюдая уход своего господина? Уместней бы всего размышлять сейчас князю Глинскому о бренности всего сущего, о превратностях рока. Что за жизнь прожита, что за жизнь. Сражения, восстания, триумфы, бедствия. Доблестный рыцарь, служил своей саблей курфюрсту Альберту, императору Максимилиану, королю Сигизмунду, великому князю Василию — всем, кто мог хорошо заплатить за труды полководца. Живал в Вене, Италии, Испании. Какие города, ландшафты. Какие женщины. «Инезилья, у сердца храню твой цветок...» Хотите по-французски, пан? Можно по-французски. По-немецки? Про́ше пана. Ругаться — на всех языках Европы и по-турецки...

К Василию Ивановичу он переметнулся из Литвы, поссорившись с Сигизмундом. Почему он поссорился с Сигизмундом? Тот отказался выдать ему головой врага его, пана Заберезского. Михаил Львович взял семьсот конных воинов и пошел с ними в Гродно, где жил Заберезский. Ночью они окружили усадьбу, и двое наемников, немец и турок, ворвались к Заберезскому в спальню и отрубили ему голову. И четыре мили несли на древке эту голову перед Михаилом Львовичем, когда он с торжеством возвращался домой.

Торжество-то торжество, но Сигизмунд рассердился, и литовские паны стали собирать людей и точить оружие на Михаила Львовича. Он послал своих ратников с ними рубиться, а сам с братьями, чадами, домочадцами, прихлебателями бежал в Россию. Но Василий Иванович, проявив ласку, не проявил щедрости: дал Михаилу Львовичу для кормления Медынь и Малый Ярославец, а Михаил Львович не хотел Медынь и Малый Ярославец, а хотел Смоленск. Обидевшись, он побежал обратно в Литву, к Сигизмунду, но его догнали и заковали в железо. Не сносил бы головы, если б не догадался объявить, что желает вернуться в лоно православия (в Италии принял католичество, иезуиты уговорили). Положим, и православие не вызволило из оков; так бы и сгнил в них, если бы на воле не

произошли чрезвычайные события — племянница Леся вышла за государя.

Чего не бывает на свете, матка боска. Качают нас качели Фортуны — вверх, вниз, вверх, через перекладину, держись, не зевай! Вчера плясали удало, сегодня сидим на цепи в дерьме. Завтра опять запляшем, трезвоня шпорами После этого говорите мне, что стоит отчаиваться даже в крайних положениях.

Теперь Леся будет правительницей. Хм, она молода, неопытна... В задумчивости стоит Михаил Львович, крутит ус.

Вытянув шею, жаркими жадными глазами смотрит через головы на умирающего боярин Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Вот у кого все впереди. Лет немного, дерзости хоть отбавляй. Мощно дышит широкая грудь, разрываемая нетерпением. Из приличия темное платье надел. В другие дни наряжался как райская птица Сапоги носил ярко-красного цвета, на таких высоких каблуках, что только пальцы касались земли. Перстни на руках. Запоны сверкающие. Даже, слух ходил, под рубашкой, где не видно, носил пояс с золотом. Он щипцами выщипывал волосы на лице. Румянился, как женщина, душился благовониями. И теперь сквозь дух от раны умирающего, сквозь уксусные пары и ладанный дым стоящие у двери различают аромат розового масла от князя Овчины. Косятся: дождался жеребец своего часа. Литовская проходимка вдовой остается, изменничья кровь, яблоко от гнилой яблони...

Ах-ах, вдовой остается Аленушка, люба моя шелковая! Он умрет, а мы жить будем. Его вынесут вперед ногами, а я буду по этим палатам прохаживаться вольно, стук-стук серебряными подковками. И поживем же с ней, ух, поживем!

Качаются качели. Что ты знаешь о своем конце, всесветно знаменитый князь Глинский? Можешь ли думать, что племянница уморит тебя голодом в той самой темнице, откуда освободила? А ты, молодой красавец, от страсти к которому у Елены Васильевны затмится разум? Недолга и твоя с ней прогулка после того как упокоится в Архангельском соборе прах Василия Ивановича. Кто ей, Аленушке, Лесе, правительнице, подсыплет отраву? Так и останется неизвестно. Может, он тут сейчас стоит, Овчине в плечо дышит...

Братья Василия Ивановича, Андрей и Юрий, держатся смирно. Тише воды, ниже травы. К знатным боярам —

с угодливостью, хотя по рождению царевичи. Всю жизнь тише воды, ниже травы. И все равно не поможет. Иметь право на власть — самая опасная крамола. Кто тебе поверит, что ты не хочешь власти, когда у тебя есть право? Нынче, может, и вправду не хочешь, а завтра вдруг захочешь? И захочешь, и захочешь, потому что тебе в твоем царевичевом состоянии податься некуда: либо властвуй, либо прощайся сначала с волей, а там, не погневайся, и с жизнью, это и старцам седовласым известно, и Елене Васильевне с Овчиной...

А кто знает, какой бы вышел властитель из Юрия Ивановича? Из Андрея Ивановича? Пригнулся человек, дышать боится, а посади-ка его на престол? Тоже восседал бы идолом. И кто его знает, таким же, может быть, оказался рачительным хозяином державы — а то и получше?

Ничего нельзя сказать без проверки. Государственный ум по делам узнается...

Жарко в спальне. Изразцы печи накалились, не тронешь рукой. Парно, как в бане. По багровым лицам пот стекает в бороды. Туманными языками горят свечи, чудно отражаясь во всех глазах. От духоты — о, господи! он когда еще помрет, а я сейчас задохнусь, право слово,— от духоты мерещится, что плывет комната, как корабль, плывем все невесть куда...

В зимнюю ночь плыла комната, в свирепый мороз.

Морозило по всей России.

Мужики гнали в столицу скот, припозднились к ночлегу и боялись — скот не померз бы.

Цыган, ведший медведя, замерз еще днем. Медведь сам шел по дороге, волок за собой цепь и ревел.

Ехали послы из Европы. «Скоро ли?» — спрашивали. Им отвечали: нет, еще не скоро. Они высовывали носы из груды меховых шуб и видели все то же, что в минувшие ночи,— лес справа, лес слева, волчьи глаза в лесу, звезды в небе. Сани скользили, скользили. Послы удивлялись — до чего громадная страна.

В громадность плыла комната.

Неподалеку от кровати стоял маленький мальчик. Он был напуган криками матери и словами отходной и с дрожью озирался кругом вытаращенными голубенькими глазками. При его рождении были грозные знамения: земля сотрясалась от громовых раскатов; молнии срывались, как град. Мальчику всё уже рассказали об этих знамениях и о том, что́ он собой являет, но он слишком еще был мал, чтоб осмыслить это, как осмыслил потом.

Еще ему предстояло долгое горькое сиротство. Его лишат всех, кого он любит. Его будут забывать кормить и переменять на нем рубашонку. В его комнату ворвутся среди ночи, рыча и топоча, взъяренные бояре со стрельцами, и он никого от них не сможет защитить, сколько бы ни молил; будет трястись, забившись с головой под одеяло.

В нем будут разжигать низкие, зверские свойства. Его именем будут твориться государственные дела, но Иван Шуйский, говоря с ним, в упоении наглой силы и безнаказанности положит толстую ногу в сапоге на эту самую постель, на которой кончается Василий Иванович. И все злодейское тоже будет делаться его именем, словно бы готовя мир к тому, что́ воспоследует.

Этот мальчик, перепуганно глядящий из угла, темная судьба страны, превзойдет всех своих предков в истреблении людей и разорении городов. Гнусное мучительство будет сладчайшей его забавой. Он сметет с лица земли почти всех, кто находится здесь в комнате, и детей их, и внуков. И по его стопам придет в Россию небывалая страшная Смута.

— Кто умирает?

— Агафья умирает. Агафья, соседка, свойственница наша. Первый раз рожала — как орех разгрызла, а ноне вторые сутки разродиться не может, беда! Через улицу слышно...

— Три алтына да три алтына, шесть алтын. Да еще три алтына.

— Откуда еще?

— Да ты сколько брал?

— Ну?

— Три алтына брал?

— Ну.

— Еще три брал?

— Ну.

— Три алтына да три алтына, шесть алтын.

— Шесть.

— Да еще три.

— Да какие еще-то?

— А рост?

— Милая моя. Как же я тебя ждал. Ты бы знала.

— Ох, что ты...

— Всего меня вымотало, измочалило, ждать тебя...

— Ох, да что ты...

6 В. Панова, т. 5

— Кто я есть? Я служитель божий! Должон служить! А они говорят — мест нет. Как так мест нет! Знать ничего не знаю, подавайте мне место!

— Тише ты!

— Что значит тише! Я митрополиту в ноги: имей, говорю, милосердие, отче! Дай служить! Негде, говорит, тебе служить: во храмах переполнение служителей. Да чем же, говорю, мне кормиться с попадьей и детьми! Когда я ничего не умею, кроме как богу служить! А он говорит — ступай, говорит, Илейка, у меня, говорит, поважней дела...

— Вот та́к дом. Та́к ворота... А вот тут к забору прилегает сарайчик.

— Дальше.

— Через забор. И на крышу сарайчика...

— А пес?

— Пса — ножиком...

— А люди выскочат?

— Людей — ножиком...

— Храбрый ты. А они нас на вилы...

— У Курчатовых бабка померла прошлую пятницу. До сих пор сварятся.

— А чего?

— Духовной не оставила, поделить не могут.

— Чего там делить-то после бабки? Они ее при жизни кругом обобрали.

— Не скажи. Целый сундук оставила. Спорки, подволоки, лоскуты всякие. Особенно один есть спорок суконный — обе снохи в него вцепились, и не расцепить.

— Удивляюсь людям. Сороковин не могут дождаться, чтоб проводить старуху на покой благообразно.

— Старуха тоже хороша. Зачем духовной не оставила? Распорядилась бы — то-то тому, то-то тому. Какой спорок в чьи руки. Тогда и молодицы не грешили бы.

— Три алтына дал тебе, да погодя еще три.

— Ну.

— С какой бы стати и их тебе задаром давал!

— Больно рост большой.

— Да ты год держал. Совсем не большой рост! Ты б еще два года держал.

— Нет, так дела не будет. Послушай меня. Пса надо брать отравой. В доме кого-нибудь надо иметь, чтоб помог. Там среди служанок подходящей девчонки нет ли?

— Всё ли пооткрывали? Может, где что забыли?

— Всё чисто пооткрывали, сама весь дом обошла, все двери настежь, и сундуки, и лари, и она все мучается, вот горе-то.

— А киот-то, киот!

— Киот забыли открыть!

— Киот откройте! Ну вот. Теперь разродится наша Агафья.

— Я отец Илия, и он мне: Илейка! Сам он Данилка, когда так!

— Выпил ты много, отец Илия.

— Данилка, Данилка, красное рыло, вот ты кто, слышишь?!

— Да цыц! Разбушевался...

— Он, Данилка, митрополит... слушай, хи-хи, я тебе расскажу, нагнись. Он сам своей здоровенной морды стыдится. Он перед богослужением — ниже нагнись! — серным дымом дышит, хи-хи, чтоб выйти с бледным ликом.

— Ну да!

— Вот крест святой! Серным дымом, хи-хи-хи!

— Хи-хи-хи-хи!

— Хи-хи-хи-хи-хи!

— Не стыдись, моя березонька. Моя ясная. Это уж мы сотворёны так. Это от бога, милая. Открой свои глазоньки, посмотри на меня...

— Где я возьму тебе еще три алтына? Ну ты подумай: где мне взять?

— Антош, а Антош! Проснись, родной, сослужи службу. Антош, Антош! Что мычишь-то, человек кончается, вставай, доспишь после! Добежи до Покровки, ну что ж, что темно, а ты расстарайся, доберись, сказано тебе — человек погибает. Спросишь там дом Варвары Чернавы, повивальной бабушки. У ней пояс есть из буйволовой кожи, буйволовой, буйвола не знаешь? Сей же час сюда чтоб с этим поясом шла. Без нее не вертайся, приведешь ее, и пояс чтоб был, без пояса и не приходите, и скорей главное, совсем Агафье нашей плохо. Уж и кричать не может, хрипит только. Агафьюшка, свет, на кого ты нас покидаешь... Ну бежи, сынок, да все чтоб как я приказала! Этот пояс, вы знайте, помогает очень. Пошепчет над ним Чернава, наденет на роженицу, и раз, два, три, гото́во дело. А мы ее покамест в укроп ногами. Тоже польза бывает. Несите сюда укроп. Ничего, Агафьюшка, ничего, что горячо, ты надейся, ты старайся...

— Курчатовская бабка была очень хорошего роду. Ее родитель в рядах богатую лавку имел. Замуж шла, восемь

шуб ей справили. Кабы не пожар. После пожара они захудали.

— Милая моя...

— Милый мой...

— Поцелуй...

— Чего это бояре нынче целый день взад-вперед скакали, и в санях, и верхами?

— А кто их знает. Надо им, вот и скакали.

— Великий князь, что ли, болеет, говорят.

— Говорят.

— Тоже ведь помереть может, а?

— Другой найдется.

— За этим не станет. О-о-о, раззевалась, мои матушки. Гашу светильце, что ли. Спать пора.

— Милый мой...

— Милая моя...

— Поцелуй...

Еще звезды над Москвой, но уже потянулись утренние дымы из труб и волоковых окошек.

— Кто умирает?

— А никто не умирает. Разгрызла орех наша Агафья. Пояс помог из буйволовой кожи.

— Не пояс, а милость господня помогла.

— Там что́ бы ни помогло, а мальчик такой ровненький, да такой тяжеленький, да все кушать просит. И Агафья попросила: исть, говорит, мне давайте.

— Ожила, значит.

— Ожила! Топи, Аннушка, что это ты запоздниласъ, уж скоро развидняться начнет. Топи, пошевеливайся. Спеку перепечку, снесу на ребеночка.

1965

СМУТА
Мозаики

ГОЛОД

Перед тем как явиться Смуте, два года подряд не родился хлеб на Руси.

Он и всегда-то родил на срединных землях не ахти как: сам-третей — обыкновенный урожай, сам-четвёрт — хорошо, сам-пят — уже великая милость божья. Но так как много было земли, и усердия, и пота — все же обходились, держался народ.

В 1601 году нескончаемые дожди шли весну и лето, солнце не показывалось. В средине августа, когда давно жать время, колос стоял, как трава, зеленый и сырой. А пятнадцатого числа, в день Успения, грянул мороз и побил все зерно.

Собрали по закромам, что было, и посеяли, но семена не взошли: погибли в земле.

И великая сделалась беда.

Прежде всего не стало хлеба у тех, кто его сеял и собирал.

Они съели без хлеба свой скот, съели гнилое сено того года, приготовленное для скота.

Ели кору деревьев, высушивая ее и перемалывая в муку. Ели недозрелые коренья и желуди.

Потом бросили дома свои и пошли в города искать спасенья.

В городах же богатые заперли амбары, чтоб поднять цену на хлеб. Уже не бочками он продавался, как бывало, не четвертями даже, а малой мерой — четвериками. Но и эту малую меру мог купить только богатый у богатого.

Господа прогоняли холопов — больно дорого стало кормить; и те уходили погибать голодной смертью.

Было так: из городов идут люди по дорогам, и в города по тем же дорогам люди идут из деревень. И все за спасеньем. А спасенья нет нигде.

Но большей частью в Москву устремлялся народ. Где царь, там должна быть управа на всякую беду.

Царь Борис тогда еще царствовал.

Он велел из своих запасов продавать хлеб по сообразной цене. Но налетели перекупщики, не досталось ничего народу из царских житниц.

Борис велел раздавать бедным милостыню: по полденьги на человека. У стены Белого города поставили столы. За столами сидели государевы раздатчики. К столам стали, извиваясь, очереди. «Кто крайний? Я за тобой».

Под охраной подвозили мешки с монетой. Голодные вытягивали шеи. У них разгорались глаза... Но раздатчики, выдавая им полденьги, совали без счета своим родичам и приспешникам, которые тоже стояли в очереди, одевшись в рубище. Опять получилась нажива для тех, кто имел и без того.

Да и что полденьги, когда бочка хлеба дошла к тому времени до пяти рублей — а прежде стоила три копейки.

Чтоб не воровали пекари, им было приказано выпекать хлеб как следует, и вес был указан хлебам, и величина. Но хлебы все равно продавались недопеченные, нарочно даже в воде намоченные, чтоб были тяжелей. Пекарей уличали и вешали, и они висели подолгу, и на груди у них, на дощечке, было написано — за что повешены.

Но дело от этого не изменилось: мертвые пекари болтались на виселицах, а живые мочили хлеб водой. До того оголтелый вор пошел, не боялся смерти вот настолечко.

И царь устал.

Он огорчился, что воры все воруют, сколько их ни стыди и ни вешай.

И что народ такой неблагодарный, что для него ни придумай, что ни сделай, все жалуется,— огорчился царь.

И рассудил: народ-то на его милостыню все течет и течет, алчущими и недовольными переполнена Москва. Как бы бунта, рассудил, не было.

И велел прекратить раздачи.

А весть о них уже далеко разлетелась. Из всех мест тянулись голодные, оберегая в себе еле тлеющее тепло жизни, в чаянии, что раздует его вновь царская щедрость.

Приходили и узнавали: ничего им не будет, надо умирать.

Впрочем, Борис велел еще отпускать из казны саваны для мертвых.

Он когда венчался на царство, то обещал, хотя никто его не тянул за язык:

— В моем царстве,— сказал,— нищих не будет.

И, взявшись за грудь своей рубашки, посулил:

— Сию последнюю разделю со всеми.

Восторг мгновения вдохновил его на эти посулы.

На деле оказалось: тягостно оно и бесплодно — делить свою рубаху на всех.

Разочарованный, раздавал саваны. Требовалось их много: с рассвета до темноты стража подбирала мертвецов и свозила их в скудельницы. С рассвета до темноты смрадные сани влачились по улицам. Нередко захватывали и тех, кто хоть и не подавал признаков жизни, но еще не умер. Бывало — при погребении стоны доносились из ямы.

Умирали же от голода двояко.

Одни иссыхали, яко мощи, так что кости проступали из-под сморщенной коричневой кожи. И, сморщась до последнего, кончались. Такая смерть почиталась легкой, и в гробу они были благообразны.

Другие же, напротив, с голодухи как бы наливались зловещей желтой жижей. Как подушки вспухали их руки и ступни, кожа на лицах натягивалась и блестела, будто смазанная жиром. Безобразен был их вид, и считалось, что сим они наказуемы за страшные грехи.

У третьих еще появлялись на теле красные и синие пятна, загнивали, обращались в язвы; из десен и горла шла кровь; зловоние трупное от них исходило еще при жизни.

Кладбищ не хватало, чтоб всех схоронить, и потому люди благочестивые, священники и мирские, нанимали своим иждивением работников копать скудельницы — обширные ямы.

Умирал человек — родные о погребении не радели: брали усопшего за руки и ноги и клали возле ворот. А поминать его ходили на скудельницы.

Еще из всего этого проистекало одно нечаянное зло: разлюбил мужик-пахарь землю-кормилицу, перестал на нее надеяться, а с надеждой из сердца ушла и любовь. Коли не кормит, рассудил, так чего же мне ее своим потом поливать. К чему усердие, если оно не вознаграждается.

А коли не на что надеяться и нечего любить — почему не уцепиться за Ивашку Болотникова?

Да за кого б ни уцепиться, абы уцепиться.

Не станет Болотникова — подавайте сюда Мнишкову Маринку. Вертихвостку, проходимку, иноверку — в самый раз годится,— что нам нынче вера? Пускай трясет тут, ведьма, юбками, сугубит заваруху. Где и быть заварухе, как не у нас.

Дмитрия воскресшего, смельчака рыжего, подайте — берем! Мы берем, мы убьем. Мы полюбим, мы погубим. Как нам захочется, как нам покажется. Вот нас сколько по дорогам, бездомных, бесхлебных, никому не нужных.

Другого Дмитрия, чернявого, Богданку-выхреста, берем тоже.

И двух Петров — царевичей.

Дважды воскресал из мертвых Дмитрий — почему не быть двум Петрам?

И от царевича Савелия не откажемся, и от Мартынки-царевича. Не было и быть не могло, говорите, таких царевичей? Ну, как знать, как знать!

Какие мы ни есть лыком шитые, но доходит и до нас через рогатки, из-за рубежей, слава увертливых молодцов в атласных кафтанах: как они по Европам вьются, сказавшись королевичами и герцогами; и живут — ай-люли! Иные престолов достигают — а мы чем хуже? И мы побудем царевичами, походим в атласе.

Что не знаем царского обхождения, что сморкаемся как-то не так — этому научимся. Дай минуту передыху — научимся: не больно велика наука.

А кафтаны атласные где добудем? Да с боярских плеч сымем.

Мог бы, конечно, царь за границей купить хлеб и накормить народ. Но царю это стыдно показалось — признать перед иностранцами, что у столь великого государя — и вдруг хлеба насущного в державе нет.

Когда через Москву ехали иностранные послы, то высохших и распухших с их лохмотьями и язвами загоняли подальше, а вдоль улиц стояли сытые, в суконных и бархатных шубах, в мехах. И под угрозой казни было запрещено рассказывать иностранцам о голоде.

Только разве скроешь? Безумно думать, будто можно скрыть.

Стаи одичалых собак завывали кругом Москвы. Их тоже со дворов повыгоняли околевать. По ночам у себя в посольских хоромах, запертые в тепле и сытости, иностранцы слушали этот вой, качали головами... Все зверье обнаглело. Лисицы по дворам бегали. Одна забежала лиса, как смоль черная, невиданная. Ее убили. Какой-то отчаянный храбрец, не боящийся оборотней, купил ее шкурку за громадную цену — девяносто рублей.

И разные дива происходили в государстве. Там рыбы не стало в воде, там пташек в лесах. То родится небывалый урод, то налетит небывалая буря. По три солнца являлось в небе и по три луны.

Ночью в Кремле стояли стрельцы на карауле и видят: над дворцом несется по воздуху колесница в шесть коней, и возница в польском платье.

В польском?

Это неспроста, что в польском.

Спроста ничего не бывает.

В польском платье возница промчал над дворцом шестерых коней светлых, стрельцы видали.

Это было в морозную ночь, когда поземка опушала легким пухом ступени Красного крыльца и метель протягивала свои полотнища сквозь проемы соборных колоколен.

В ту ночь и мой предок, крепостной холоп Грибанов, стоял, быть может, там на карауле. Либо варил кашу на костре в болотниковском стане. Либо уже кончил он свою земную жизнь, и волокли его, бедолагу, в скудельницу, набитую доверху.

ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ

1. ПРОГЛОЧЕННЫЙ АЛМАЗ

Беда не ходит одна. Следом за вестями о нерадивости воевод и о победах Гришки так и повалили несчастья на царскую семью.

Утро тринадцатого апреля было, однако, еще ясным, даже худое число «13» ничего не предвещало поначалу. В то утро сели завтракать еще всей семьей. Стол был накрыт цветными скатертями, вдоль него стлался длинный рушник тонкого полотна, вышитый на обоих концах петухами и кониками. Одним концом рушник спускался на колени батюшке Борису Федоровичу, другим — на колени матушке Марье Григорьевне. А промеж сидели царевич Федор Борисович, наследник престола, второй самодержец в новой молодой династии Годуновых, и царевна Ксения Борисовна, Аксиньюшка, красавица, весенний цвет, украшение семьи,— и не подумал бы никто, что такое диво может народиться в кровавом и безобразном роде Малюты Скуратова, Аксиньюшкиного деда по матери.

Так сидели они, помолясь, и мнили себя царской семьей, и никто еще не знал, что в канун того дня, двенадцатого апреля, Борис Федорович проглотил истолченный алмаз (истолок его самолично), и был тот алмаз из самых круп-

ных и дорогих его алмазов, и никто не слышал, как топочут за дверью столовой палаты вплотную подступившие неисчислимые несчастья.

Дворецкий подавал дорогую посуду и утренние кушанья. Принес кувшины с варенцом, горшок каши, блюдо овощей. Царица Марья Григорьевна, как всегда, сама положила на тарелку по алой тупорылой морковке и по чисто оструганной репке. Разлила варенец в расписные миски. И стали все кушать бодро, и можно было бы с них написать картину благостную и поучительную: вот сидит отец многомудрый и чадолюбивый, красивый лицом, красивы его черные глаза и черная в завитках борода, румяны его уста, проглотившие алмазный порошок, статно и мощно все его тело, еще не поддавшееся отраве. Вот сидит дочь Малюты, уродливая рыжина ее отца перелилась в ее волосах в червонное золото, золотистым блеском тронула недобрые глаза.

Давно это было, когда неродовитый боярин Годунов возымел дерзновенную мысль сочетаться с дочерью царского любимца, всем ненавистного Малюты. Все понимали, что не любовь к ее золотым волосам движет боярином Годуновым, что не Маша Скуратова ему мила, но — корысть: через царского любимца стать ближе к престолу. Никто, однако, не осудил его за это, и в полной ясности стала Маша с ним перед алтарем, предовольная своею судьбою. И как было не быть довольной, когда такой молодец и красавец и то же самое любимый царем ступил с нею рядом на розовый плат!

Еще было далеконько до царского венца, но знала Маша, вот знала и знала, что уже тогда в потаеннейших своих грезах видит ее суженый престол и новую династию, и как он этого достигнет — не ее девичьего ума было дело, о том не спрашивала. Только истово готовилась принять все милости, какие ей уготованы, и с честью стать родоначальницей новой династии.

И первым от этого брака был мальчик, названный Федором в честь деда по отцу. И этим словно утверждались честолюбивые мечтания Бориса Федоровича: вот, мол, и наследник готов новому престолу, так поняли тогда и он, и она. И с первых дней любили и баловали своего царевича, а как подрос чуть-чуть — Борис Федорович призвал учителей, чтоб учили сына всему, чему обучаются престолонаследники в других странах, и даже более того.

Иноземные учители учили царевича иноземным языкам и всяким наукам, а свои — своему: охоте, кулачной драке, да мало ли чему. Даже был один немец, обучал будущего самодержца, как кланяться, как голову держать на выходах, как перчатки надевать,— тонкие науки, их не знал ни царь Иван, ни царь Федор Иванович, ни сам Борис Федорович Годунов.

И о главном позаботился венценосный отец — как бы снискать венценосному сыну любовь будущих подданных. Как при царе Федоре писалось, что просьбы исполняются по заступничеству боярина Бориса Годунова, так царь Борис приказывал писать, что просьбы исполняются по заступничеству царевича Федора. Те, кто пережил дни Ивана Грозного и дни голода, те, мыслил Борис Федорович, должны ждать Федорова царствования как царствия божия, как дней бесконечного милосердия и успокоения. Свойство человека — вечно надеяться на лучшее, потому каждого нового властителя он встречает вспышкой радостной веры и верит, и верит, покуда не рухнет вера под натиском новых разочарований.

Не год и не два длился честно́й брак, за мальчиком родилась девочка — Аксиньюшка, диво красоты, весенний цвет. Умерли грозный Иван и тихий Федор, умер жених Аксиньюшки, непонятно погиб в Угличе царевич Дмитрий, брат Федора, много воды утекло, можно сказать — сполна излилось в море-океан множество русских рек. Борис Федорович достиг престола, дождался торжества своего, Марью Григорьевну сделал царицей. И все было бы хорошо, не заявись окаянный Самозванец и не замути Землю. Не будь его, сидели бы сейчас за столом мирно и спокойно, кушая овощи и кашу, утоляя первый утренний здоровый голод.

А тут вдруг поднял Борис Федорович руки и закрыл ими лицо, и меж белыми пальцами струйками побежала кровь, пятная рушник с петухами.

— Чтой-то, Борис Федорович? Ты весь в крови,— сказала царица и ужаснулась тому, что сказала.

И он ужаснулся: поднял голову и поглядел ей в лицо черными глазами долго и страшно. Кровь струилась изо рта его и из ноздрей, заструилась и из ушей, сло́вно бы тело его спешило отдать всю накопившуюся кровь. Ничего подобного не случалось видеть царице.

Она вскочила, рванула окровавленный рушник, скомкав, кинула в угол. Слышала крики детей, звавших на помощь,— сама не имела силы ни кричать, ни плакать.

Но смотреть смотрела — и видела все: как набежали в палату слуги, а за ними попы и черноризцы, и как крест, поднесенный к устам Бориса Федоровича, обагрился кровью, и со лжицы со святыми дарами закапала кровь, и эта кровь словно бы отмечала Бориса Федоровича как преступника, а с ним и царицу и их детей; эту кровь они все будто отрыгивали, и всяк из них по-своему это сознавал — царица с ненавистью, у детей же к ненависти и страху примешивалось детское любопытство, стремление заглянуть в бездну родительских грехов.

Взметнулись кадильницы, запахло ладаном, над Борисом Федоровичем стали совершать обряд пострижения: в могилу должен был сойти в ангельском чине. Подумав и потолковав, дали ему имя Боголеп — царица такого имени и не слыхала сроду. Потом служили панихиду, молились за упокой души раба божьего Боголепа, а царица не могла привыкнуть так скоро, молилась за упокой души раба божьего Бориса.

Панихидным пением и воем горя был наполнен дворец, царица била земные поклоны перед киотом, справа от нее бил поклоны Федор, слева — Аксиньюшка, украшение семьи, весенний цвет. Царицыны косы червонного золота метались по пыльному полу. Аксиньюшка кос не носила, ее черные, как у отца, волосы, разделенные тонким пробором, завивались у ушей двумя трубами, падавшими ниже колен, на изгибах этих труб поблескивало темное золото — перешла-таки и в ее жилы капля Малютиной крови с Малютиной рыжиной.

Дети молились чинно, почти спокойно, в матери же чинность и спокойствие затмевались злобой, и была эта злоба не на господа, занесшего карающую десницу, даже не на Самозванца, через которого совершалась кара, не на изменников-бояр, а почему-то более всего была в тот час ненавистна царице ее смиренная тезка, доживавшая дни в Новодевичьем монастыре, Марья Нагая, последняя жена покойного Ивана Васильевича, мать погибшего в Угличе царевича Дмитрия. Несносно было Марье Григорьевне подумать, что могут прийти дни торжества Марьи Нагой, что под именем ее сына Самозванец может ныне возвысить свою мать,— своими руками готова была дочь Малюты Марья Скуратова заранее удушить за это Марью Нагую, и на костре ее сжечь, и что угодно — за одну эту свою мысль о возможном ее торжестве.

Во время панихиды пришло известие — передавали его друг дружке на ухо трепещущими устами: немец-телохранитель нашел на подоконнике в царской спальне порошок от истолченного алмаза, был тот порошок невзрачен, как истолченное стекло, но поняли все до последнего дворцового холопа, что царь сам возжелал себе смерти, предпочтя ее — чему? — еще неведомо было утром тринадцатого апреля.

2. НА СТАРОЕ ПЕПЕЛИЩЕ

Простая телега стояла перед дворцом, на телегу валили узлы и сундуки.

Сошли по Красному крыльцу — впереди царица, за нею царевич, позади — царевна.

Царица и царевич уже сидели в телеге, когда подошла царевна, весенний цвет, и покорно села между матерью и братом, свесив ножки.

Недалеко было ехать — старый годуновский дом находился сразу налево напротив кремлевской стены. Счастливый дом, в нем царица провела первые дни замужества, в нем родила обоих детей, в нем впервые приснился Борису Федоровичу царский престол.

Уезжая, взглянула царица на Ивана Великого, на паперть Успенского собора — помстилось, на ступенях паперти видит следы своих башмаков. Сколько хожено тут, сколько думано, сколько поцелуев оставлено на чудотворном образе Божьей матери!

Обогнули церковь Благовещения, выехали за стену Кремля.

И вот он, годуновский дом. Ну что ж, бог милостив, и тут жить можно — не дворец, конечно, но все добротно, порядочно, даже кто-то позаботился расстелить на крылечке красное сукно.

Старые слуги выбежали встретить — слуги, видавшие некогда, как Борис Федорович с семейством перебирался отсюда во дворец.

Живо подхватили сундуки и узлы, понесли. Под руки, с прежним почетом, повели наверх Марью Григорьевну и ее чад.

«Не было б хуже, а так еще можно...»

Будто ничего не случилось за минувшие годы — на прежних местах стояли столы и стульчики, и печи дышали теплом, и в складках полога у кровати не было пыли.

«Так еще можно!»

И стали жить — а что делать?

Жить — значит: утром садишься к столу, и дворецкий приносит посуду и кушанье, и ты раздаешь детям кушанье и сама ешь, хоть не лезет в горло кусок.

И в полдень садишься за стол и опять ешь, потом отдыхать ложишься на высокой постели под пологом, в котором нет ни пылинки.

Потом ужин, потом одинокий сон на той же пышно взбитой постели.

Во сне приходят видения ужасные и видения светлые, и неизвестно, какие больше мучают сердце — ужасные или светлые.

Лежишь и смотришь в теплую темноту и только одного чаешь — скорей бы утро. А утром думаешь — скорей бы день прошел и ночь прикрыла все.

А прикроет — ночью опять вспоминается всякое, чаще всего — розовый плат, как ступила на него рядом с Борисом Федоровичем. Его борода вспоминается и белая рука. Перстень с изумрудом на пальце, а меж пальцами струйкой бежит кровь. И гремит по камню телега с пожитками, и глядят на телегу люди.

«Чтой-то ты в крови, Борис Федорович?» Нешто так замышлялось, когда ступали рядом на розовый плат?

Вот такая пришла жизнь — либо ешь, либо лежишь во мраке, терзаемая воспоминаниями.

Такова стала жизнь. Борису Федоровичу, может статься, ныне еще хуже: убить себя — грех тяжкий. Не бойся царица греха — не пожалела бы в свой черед истолочь какой-либо из своих алмазов.

Когда-то, в дни царствования, холоп бояр Романовых донес на своих господ — мол, держат зелье на царскую семью, волшебным зельем хотят извести всех Годуновых до последнего. Осерчал тогда Борис Федорович, приказал обыскать Романовых. Нашли корешки и травки и разметали Романовых кого куда. Теперь думается царице — лучше бы не поверить холопу, дать Романовым исполнить их замысел... Куда легче бы, думается, ныне лежать в сырой земле без воспоминаний и видений...

Но явятся страшные образы ада — огнь, и сера, и кипящее масло,— образы, с малолетства нашептанные, и живет царица дальше, ест, и спит, и бродит по своим палатам, убравшись по-царски, с адом в душе.

Говорили, что он изолгался: лгал царям и простому народу, лгал всемогущему господу и своей нечистой совести. В боярской думе лгал, на площадях, на кресте и Евангелье, в Москве и в Угличе.

И эта дорога лжи, говорили, ни к чему и не могла привести кроме того, к чему привела: к позору и гибели. И в том усматривали справедливость. Ибо такая ложь переполняет чашу даже небесного терпения и милосердия.

Еще говорили, что он больше всех нажился на голоде, который был при Годунове Борисе. Скупал в урожайных губерниях хлеб и продавал жителям втридорога, и это, говорили, еще грешней, чем ложь.

А о том не говорили, что просто им, Шуйским, не было удачи. Так и сторожила их беда. Дядю Андрея малолетний, едва оперившийся царь Иван кинул псарям на убиение. Дядю Ивана при царе Федоре удушили в темнице. А теперь и он, Василий, должен был испить страшную чашу.

Словно другие не лгали. Словно другие, у кого были денежки, не скупали хлеб и не перепродавали по разбойничьей цене. А вот страшную чашу приходилось ныне пить одному Шуйскому.

Он один в то утро проснулся с тяжкой мыслью о ней. Ему одному солнце, пробившись в разноцветное слюдяное окошко, возвестило смерть.

На постели была разложена чистая белая рубаха — переодеться боярину, поднявшись от сна. Он крикнул слугу, велел унести рубаху, подать другую, красного шелка. Воротник у этой рубахи был весь жемчужный. Жемчуг обыкновенный молочный, а застежка у горла — из жемчужин редчайшей красоты и ценности, розовых и черных. «И все-то это в единый цвет окрасится,— думал князь, поглядывая на жемчуга.— Хорошо,— думал он,— если с одного удара дело кончится. А сколько раз бывало — рубят, рубят, а голова все на плахе лежит, злополучная, со стороны глядеть — и то страдание». Он достал из ларца серебряное зеркало и долго смотрел на свою седую голову с плешью на темени.

Вот и лгали те, другие, и наживались на голоде, и воровали всяко, но по крайности все женатые были, взысканные потомством. А вот Василию Шуйскому и жениться запретили. Борис запретил, окаянный детоубийца. Ирод.

Потому что боялись Шуйских и не хотели умножения их рода, потому что где-то в божьих книгах записано, предначертано, что Шуйским — только горести, а радости другим. Так и дожил Василий Иванович до нынешнего смертного дня, не вкусив законнейшей утехи, которая с Адама дарована человекам.

В окошко сквозь пластинки розовой и желтой слюды виден был Василий Блаженный и лобное место. Вон туда на помост взволокут князя Шуйского не далее как сегодня, двадцать шестого июня, взволокут и поставят. Кругом будут лица, лица, лица. Глаза, глаза, глаза. Глазастыми лицами с раззявленными в предвкушении забавы ртами вымощена площадь. С ночи, поди, стоят, дожидаются отрадного: как станет знаменитый князь Шуйский, Рюрикович, на колени перед своей смертью и перед ними всеми — Ваньками, Петрухами, Прошками. Как, поигрывая топором, пройдется взад-вперед палач в красной рубашке. И взовьется, взлетит топор, и — в радость Ванькам и Петрухам — грянет на княжескую шею.

Жалости не ищи ни в чьем взоре. Когда неделю назад так же казнили Петра Тургенева — что они кричали, Ваньки? «Умирай,— кричали,— так, поделом тебе!» Это ничего не зная, не думая даже, кто виноват, кто прав: Тургенев, обозвавший нового царя расстригой Гришкой, или новый царь, пославший за это Тургенева под топор. Было им, Ванькам, любо, что погибает злой смертью дворянин, белая кость, будь он хоть трижды прав. О том же возликуют и нынче.

Давеча поп приходил. Священное писание читал, укреплял дух, отпустил грехи и некую высказал мысль. Видно, ему ее сладостно было высказать, даже как бы погордился, высказывая. Не лучше ли, сказал, человеку здесь, на земле, понести ответ за все содеянное зло, хотя бы и через усекновение главы, нежели быть предану чертям в аду на вечные времена.

Ну, это бы надо у князя Василия спросить; хотя бы выбор оставить: как тебе, мол, желательно — здесь, на земле, понести ответ через усекновение главы или же быть предану чертям? Черти еще есть ли, это досконально даже патриарх не может знать, а лобное место — вон оно, окаянное, торчит в окошке. И что могут черти придумать ужаснее для мучения людей, чем сам человек придумал?

Ну хорошо, за наживу, за ложь наказывает бог князя Василия; но ведь можно сказать и так: знаете ли, если за ложь так наказывать,— не жирно ли будет? Тогда всей Москве можно бы усечь главы — от венценосца до купчишек из торговых рядов.

А купчишки знай себе торгуют да обмеривают, а расстригу Гришку поминают на ектениях самодержцем всея Руси,— и только его, князя Василия, плешивая седая голова не далее как сегодня, двадцать шестого июня, покатится под помост, оставляя на досках кровавый след.

Князь Василий Шуйский прибрал зеркало в ларец, а ларец — в итальянский шкафчик, выложенный бронзой и перламутром, накинул на плечи шубу, вздохнул и нетвердыми шагами пошел из дому.

Все, все было в точности, как виделось в мыслях. Красная рубаха палача уже горела на лобном месте как маков цвет, и от Василия Блаженного до Спасской башни и далее, далее во все стороны — Красная площадь вымощена была лицами, шапками, бабьими платками. И все они, все унесут свои головы обратно домой, один князь Шуйский не унесет.

Его толкнули в спину. Он послушно поднялся по деревянным ступенькам.

Еще вчера, узнав решение своей участи, он думал, что не сможет подняться, ноги не пойдут. Но нет, шли как всегда, коленки вскидывались резво даже, он дошел до самого верха и стал против палача по другую сторону плахи. Тошно было взглянуть себе под ноги на отвратный этот черный кус дерева, но он не захотел дожидаться нового толчка — стал на колени и послушно положил щеку на то мокрое, осклизлое и смрадное, что уготовила ему злодейка-судьба на конец его дней.

И не удержался — сказал тем Ванькам и Петрухам, что стояли поближе,— колпаки их торчали над краем помоста:

— Помираю за веру и правду.

Не раз он говорил им отсюда, лжесвидетельствуя,— пусть же будет им и последняя его ложь.

«Сейчас закричит кто-нибудь, как Петру Тургеневу: „Помирай, так, поделом тебе!“» — представилось ему. Но никто не закричал, и лица были — он видел — равнодушны: никому дела не было, помрет он или жить будет.

«А хорошо, что мы оба в красных рубахах,— думал далее князь.— Зачем лакомить простолюдинов видом княжеской крови? Иван Васильевич много их лакомил, и зря. Что зря, то зря».

Палач взял его за ворот и потянул слегка. Князь подумал — пришла минута, но нет: топор все еще висел в опущенной руке палача, а это он хотел снять с князя рубаху.

— Оставь, милый человек,— попросил князь, вдруг почувствовав к своему убийце доверчивое и как бы братское чувство.— Оставь, пусть я в ней испущу дух. В ней я вчерашний день святых тайн удостоился.

И опять стояли друг против друга, разъединенные видавшей виды плахой, оба в красных рубашках, оба почтенные, оба седые, оба плешивые, не сразу угадаешь, кто кого сейчас казнить будет. А кругом, сколько взор хватает,— шапки да платки, глаза да рты.

— А воротник сей,— продолжал негромко князь Шуйский, все больше преисполняясь доверием и дружелюбием,— воротник сей возьми потом, милый, себе. Помянешь меня за упокой, а уж меня, милый, уважь — разом руби, не томи.

Палач пощупал воротник — крупные жемчужины прохладно и атласно перекатились под пальцами — и ответил одним только словом:

— Гонец!

Князь Шуйский услышал слово и в молниеносно-радостной надежде поднял глаза. Ах, точно — от Троицких Спасских ворот, звонким стуком копыт пролагая себе в толпе дорогу, мчался конский стрелец. Он мчался, и никто больше не смотрел на место казни, а смотрели все на всадника — ох, как смотрели!

А он остановился у самого помоста, рукою в кожаной рукавице достал бумагу из-за пояса и стал читать громко, внятно, чтоб слышали:

— Великий царь Дмитрий Иоаннович, по христианскому своему милосердию, дарует жизнь князю Шуйскому, невзирая на многие вины его, и заменяет ему смертную казнь ссылкою в Вятку.

Он вернулся домой и первым делом достал из шкафа ларец, а из ларца зеркало. Голова крепко сидела на красной шее — седая, плешивая, почтенная, скорая на всякое соображение, дорогая, ненаглядная его голова.

БОЛОТНИКОВ. КАРАВАЙ НА СТОЛЕ

Что в тихом сердце его таилось
И что варилось в его котле.
Н. Матвеева

Как на Ванины именины
Испекли мы каравай.
Каравай, каравай...
Хороводная

1. НОЧЬЮ У КОСТРА

Спиной к догоревшему костру лег Болотников, иззябшей своей спиной к груде золотого живого жара, и сперва ему это показалось хорошо: горячей побежала кровь в жилах, сладко заныли, выходя из оцепенения, суставы, и стал стихать окаянный озноб, что бил его, не давая передышки, три ночи и четыре дня. Но потом от его одежи, вымокшей под дождем, повалил пар, и пар этот, чудилось, собрался на спине в водяные пузырьки и стал закипать от жара костра, и каждый кипящий пузырек вонзался в тело, как гвоздь, и опять захотелось кашлять. А кашлять было больно, и он отодвинулся от огня — не отпустит ли его кашель?..

Кашель не отпустил. Болотников закашлял гулко, как из бочки, и опять почувствовал на языке вкус крови, и теплота крови потекла по его губам, и подбородку, и шее. «Плохо мое дело,— подумалось ему,— ой как плохо. И помру-то как собака, не на постели, не на лавке, не на маткиных руках,— на земле под небом».

Костер, возле которого он лежал, был с четырех сторон обставлен санями с сеном. Получалась как бы загородка, как бы жилье,— это и было жилье Болотникова, единственное на всем свете. Сани долго мокли под дождем, а потом их заморозили на морозе, и от четырех этих стен несло холодом, как от костра жаром. И вся равнина, сколько мог видеть, поднявшись на локте, Болотников, была уставлена такими же загородками из обледенелых саней, и, верно, кабы глянуть сверху, это походило бы на пчелиные соты, только ячейки были не шестистенные, а четырехстенные. В середине каждой ячейки жарко блестело — костер горел, и вокруг костров товарищи Болотникова провожали ночное время — обсушивались, варили кашу и вытряхивали над огнем свою одежду. И поверх всего этого убожества и неприкаянности неисчислимо и пышно, как свечи во храме, переливались звезды.

Послышались во тьме неспешные шаги, Болотников узнал их. То шел Истома Пашков, дорогой друг, соперник и спорщик. Соперничали они в первенстве, но Истоме, как он ни серчал и ни усердствовал, не удавалось стать первым, ибо жизнь Болотникова была много богаче и страшней жизни Пашкова, и Болотникова, когда он говорил, слушали во все уши, а Пашкова слушали лениво.

Пашков учился у дьячка и любил толковать Священное писание, и все говорил о равенстве людей перед господом и о справедливости. Болотникову же довелось, будучи далеко на чужбине, в Италии, прочесть одну книжечку, называлась она «Государство Солнца».

Сам прочесть Болотников не умел — где же ему было читать на чужом языке,— другой гребец прочел и ему пересказал — товарищ по плену и по рабской службе на галере. Написал же эту книжечку некий монах по имени Фома Кампанелла. Видать, то был монах не из тех толстопузых, об одном только помышляющих — как бы набить свою мошну, каких вдоволь навидался Болотников и у себя дома, и в Италии, и в долгом пути от дома в Италию, когда он, пленник и раб, служил гребцом на турецкой галере и на этой галере пересек далекие страшные моря, где пили тухлую воду и мерли как мухи от солнечного непереносимого жара. Фома Кампанелла был, видать по книжке, мужик дельный и до простого народа добрый, и Болотников прослушал написанное им с великой жадностью и великим почтением к неведомому доброму Кампанелле.

И, исполнившись его мыслями, Болотников говорил о делах земных, а не небесных, и внушал своей ватажке, что дело все в том, как разделить земные блага, накопленные на Руси за множество лет в превеликом количестве, а самое главное — он каждому внушал недовольство своей участью, и они готовы были в огонь и в воду, чтоб добиться участи лучшей. Кто жаждал богатства, кто почетного звания, кто — власти, пусть самой крохотной. Они учились у Болотникова говорить зажигательные и важные слова и пересказывали эти слова другим людям, и жажда лучшей участи ширилась, и Смута вскипала на лице Русской земли, как пузырьки дождевой влаги на спине Болотникова.

Он кашлял и слышал, как булькало и хрипело в его груди, и ему становилось жаль себя, бездомного, безродного, с больной грудью,— но еще больше жалко было других людей, не видавших в жизни ничего, кроме обиды и скорби, даже не слыхавших о хороших книжках «Государство Солнца», и он исполнялся решимостью до конца идти

своим путем, который неминуемо вел его к гибели,— конечно, это Болотников знал с первого дня, но не страшился.

И первая гибель могла быть такая: вот он со своей ватажкой въезжает на чей-то большой двор, где с четырех сторон на них смотрят раскрытые двери и дверцы, ведущие куда-то, где упрятаны мясные туши и жирные окорока, бочки с соленьями и пивом, кадки с душистым медом, овчины и подушки и всякое иное накопленное добро. И он, Болотников, говорит своим людям:

— А ну, ребята, разбегайся по дому, хватай все, что годится, довольно боярин надовольствовался, подовольствуемся же и мы, убогие.

И ребята ныряют в черные проемы дверей и дверок и волокут на середину двора бочки и кадки, мешки и овчины. И выводят за белые руки пышнотелую боярыню и холеных боярышень с косами до колен. А боярин, хозяин всего, стоит и смотрит, вылупившись как баран, покуда вытаскивают его мешки и кадки; но когда выводят боярышень — сердце его не выдерживает, он хватается за свою вострую сабельку и с криком: «Ах, разбойники!» вонзает ее прямехонько в больную грудь Болотникова. И тот безответно (а что тут ответишь?) падает у ног хозяина, в лужу собственной крови.

А вторая гибель могла быть такая. На знакомый двор въехали они, и знакомый хозяин вышел им навстречу — мягкобородый и пригожий лицом князь Телятевский, крепостным рабом которого был Болотников, на дворе у него и вырос. И Болотников сказал ватажке:

— Ребята, тут не грабьте и никого не пужайте, сей хозяин — мой князь, мы с ним без шуму обо всем по душам столкуемся.

А князю сказал:

— Князь, ты, чай, меня узнал — я Ивашка Болотников, холоп твой и молочный брат. Агафья Болотникова, раба твоя и кормилица — моя матка, и мы у тебя ничего не тронем, только вели моих молодцов хорошо угостить, бо мы третью неделю как мясного духа не чуяли и больно ослабли.

Но князь Телятевский не захотел толковать по душам, а запустил руку в карман кафтана, и вынул бумагу, и сказал:

— Как же, как же, холоп и молочный брат мой Ивашка Агафьин сын, узнаю тебя очень даже хорошо. Только нынче поутру призвали меня к воеводе, и там дали вот эту бумагу, а в бумаге написано и печатью припечатано, что ты

есть разбойничий атаман и что́ по губернии бесчинств и грабежей чинится — то все твоих пакостных рук дело. Так вот посуди, как же я вас буду у себя в доме угощать и привечать,— ведь тогда я выхожу твой товарищ и соучастник, а за это меня по головке не погладят. Так лучше уж я, молочный братец, с тобой иначе распоряжусь.

И по его приказанию принесли веревку и мыла кусок и, намылив веревку, сделали петлю, и надели Болотникову на шею, и повесили его на перекладине ворот.

— Вот тебе,— сказал князь,— мое угощение.

Агафья, матка, в оконце все это видела, выскочила на двор, и кинулась князю в ноги и плакала слезами, напоминая ему, что он ее молоком был вскормлен и что опричь Ивана никого у нее нет на всей божьей земле. Но князь толкнул сапогом ее седую голову и сказал:

— Ах ты, разбойница, и тебя бы следовало с ним рядом за то, что такого злодея родила и вырастила. Только чтобы лишнего греха не брать на душу, приказываю: тотчас же прочь с моего двора.

И мать шагнула и пошла по дороге неизвестно куда, а Болотников остался висеть на перекладине, высунув язык ей вслед.

И третья могла быть гибель — простая очень.

Громадная ратная сила окружила его стан, тот, что сверху похож на пчелиные соты с четырехстенными ячейками, и это были не простоватые молодцы Болотникова, а царские войска с пищалями, пушками на колесах и военачальниками в блистающих латах. Обложив стан Болотникова, ратники пошли от одной ячейки к другой, избивая людей Болотникова, и, легши спать атаманом и первым человеком, Болотников проснулся поутру одиноким и бессильным.

Такая гибель могла приключиться скорей всего. Ибо ратная сила царя Василия Шуйского была велика, а ратная сила Болотникова мала, и сам он удивлялся, как это удавалось ему продержаться в своей борьбе столь долго.

А то присылал к нему царь Василий Шуйский одного немца. Фидлер было ему прозвание, и был он аптекарь, составлял порошки для царского здоровья. И сам вызвался съездить к Болотникову и отравить его, Болотникова, ядовитым порошком.

Царь не поверил, тогда Фидлер клятву дал и такое на себя положил заклятье, такие беды призвал себе на голову, коли не сдержит своего обещания, что у слыхавших ту

клятву людей, говорят, волосы надо лбом шевелились от ужаса.

Начал он исправно — пришел к Болотникову и яд принес за голенищем, в тряпочке. Но далее страх его обуял, он вытащил ту тряпочку и сказал, что царь велел ему отравить Болотникова ядом, но он, как добрый христианин, этого делать не хочет, пусть царь сам управляется со своими изменниками как знает. Тем и кончилось дело. Немца прогнали, смертоносную тряпку сожгли в печке, посмеялись немного да и забыли. Так и этой четвертой гибелью не суждено было погибнуть Болотникову. Не знает человек, как ему погибнуть суждено.

А погибал он все с тем же непереносимым холодом в теле, с холодом, проникшим до самой середины, с кашлем, разрывающим внутренности, слепой, с выколотыми глазами. Ибо царь распорядился вынуть у него очи (ох, какими сгустками ледяной стужи скатились они из-под ножа по щекам Болотникова), прежде чем утопить в полынье.

Такую гибель придумал ему царь после того, как Болотников сложил оружие, поверив царскому слову, что ему и всем людям его будет оставлена жизнь. Болотников думал (не вразумили и прочитанные книжки, и передуманные мысли), что царское слово — честное слово. На своей шкуре пришлось ему узнать, что у царей честного слова не бывает, одна только ложь.

2. КТО ЖЕ ПОНЕСЕТ ХОРУГВЬ

Истома через голову стянул с себя рубаху и встряхнул над костром. Жарко запахло мужским крепким потом.

— Что нас разобьют,— сказал Истома,— то́ я, Иван, знаю, как «Отче наш». Против такой силы переть, как мы поперли,— кроме смерти, что может быть? На это я, брат, и обижаюсь, а не на то, что тебя больше слушают.

— Ну разобьют,— ответил Болотников,— ну смерть, так что ж? Зато скажут про нас: они самые первые были, они смуту начали, которой не кончиться и за полтыщи лет.

— Начать-то начали,— сказал Истома,— а дальше кто нашу хоругвь понесет? Не вижу тех людей. В ватаге нашей и то не вижу.

— Плохо смотришь,— стоял Болотников на своем,— смотри хорошо — увидишь. Смерд, которому запретили от своего барина уходить,— он нашу хоругвь понесет. Стре-

лец, которому три года жалованье не плочено,— понесет. Меньшой сын боярский, которого старшие братья обидели. Да мало ли! В лесу по кустам пошарь — так и посыплются к тебе шиши лесные. В степи донские поезжай да свистни — так и налетят на твой свист казаки, вольнолюбцы. И по северным рекам, и по матушке Волге молодцы-разбойнички водят струги, и молодцы те бесшабашные, и атаманы у них знаменитые, а будут еще знаменитее и бесшабашнее, и потекут они отныне один за другим. И не счесть тех рук, что нашу хоругвь подхватят и понесут, и будут нести не год и не два — столетия. А ты вопрошаешь: кто? Когда в три обхвата каравай испечен и на стол поставлен — неужто не найдется, кто б от него захотел кусок отхватить?

— А съедят все до крошки,— не унимался Истома,— дальше что будет?

— А то не наша с тобой печаль. Кто-то новый каравай испечет, кто-то делить его захочет. Абы всеместная поднялась заваруха, да народ бы к ней привык и полюбил ее больше покоя — и там что бог даст.

И он в свой черед снял рубаху, чтоб потрясти над огнем.

Сидели, разделенные огнем, нагие до пояса, один широкий, с волосами цвета меда, другой узкий, с остро выступающим вдоль спины позвоночником, с впалой грудью и с бородкой мягкой и светлой, как у вьюноши... Болотников продолжал свою речь, он говорить любил, в словах, казалось ему, все выходило складней и приглядней, чем в деяниях.

— Ты им вот что говори,— сказал он,— чтоб лучше тебя слушали. Привыкли вы жить, говори, в черных избах, и заедает вас блоха и всякая нечисть — будете жить в боярских домах и мыться в мыльнях добела. Привыкли набивать брюхо горохом да просом — будете услаждаться всяческими разносолами. Жены ваши, говори им, неказисты и тощи — возьмете себе боярских жен и дочерей, белолицых, ядреных. Кто, говори, ныне последний, тот станет первый, а те, что сейчас первые, будут у вас слугами. Что ты им о справедливости да о справедливости. Ты им дело говори.

Так сидели они, и звезды пылали над ними. Уже близка была смерть, но они ее шагов не слышали. Только храмовую звездную тишину слышали.

Опять в тишине прозвучал кашель Болотникова — столь в ней непристойный, словно бы вот именно во храме какой-то нечестивец, не удержавшись, раскашлялся над-

рывно, и опять соленой кровью наполнился рот Болотникова, и Пашков из-за огня поднял на него глубокий темный взор.

— Разбаливаешься, Иван,— сказал он дружелюбно, братски,— ой, разбаливаешься.

— Разбаливаюсь, Истома,— подтвердил Болотников.— А почему — потому что вот уж сколько месяцев согреться не могу. И руки холодные, и ноги холодные, и пот из меня течет холодный, и нигде ни капли не нахожу тепла. Будь я дома — напоила бы меня мати липовым цветом либо малиной, хрена бы тертого на потылицу положила, взыграло бы во мне тепло, я б исцелялся... Хотя бы перед смертью,— закончил он,— еще хоть разок на лежанке погреться, хотя б на чужой. А то продрог я, Истома, до самой середины продрог.

— Что ж,— посулил Истома,— если встретится нам где теплая лежанка, я тебя положу.

— Положь,— сказал Болотников.

— А каши горячей не поешь? — спросил Пашков.— Там ребята наварили на цельный полк, потчуют.

— Принеси,— согласился Болотников.

И Истома принес и кормил его горячей кашей, но середина у него никак не отогревалась, и вся надежда была на ту чужую, неведомо чью, теплую лежанку, которая как-то встретится им и на которой напоследок положит его Истома, сочувственный товарищ, соперник и спорщик.

3. ЛЕЖАНКА

И повстречалась-таки ему перед окаянной гибелью та лежанка — хоть этой горькой улыбкой на прощанье улыбнулась ему его доля. Лежанка была большая, чисто выбеленная, из-под мела проступали подтеки глины. Лежанка выходила в столовую палату чьего-то дома, а печь топилась рядом, в сенях, и в печную пасть по приказу Истомы болотниковские молодцы чего-чего не напхали — дубовых поленьев и грушевых (известно, как яро грушевое дерево горит), и сосновых веток с чешуйчатыми шишками, и сухой соломы. И когда все это отпылало с веселым треском, Истома взял Болотникова за бока и, подняв легко, как мальчонку, положил спиной на лежанку, говоря:

— Погрейся, атаман. Погрейся, брат.

И промерзшая середина Болотникова возликовала, и ему подумалось: «Сие — царствие божье».

Когда же лежал, втиснутый в мешок, на голом мокром льду,— думал: «Сие — ад».

Лежанка же была, бесспорно, раем; конечно, Татьяну бы еще сюда, ее горячую щеку, ее мягкую руку. Но далеко была Татьяна, в поместье князя Телятевского, на том дворе, где на перекладине ворот висел Болотников, и только хозяйский кот вскочил на лежанку у самого лица Болотникова и порадовал, милый зверь, пушистым теплом своей шкурки и своей неповинностью в лютых делах, творящихся на свете.

МАРИНА. КОМУ НАБОЛЬШИЙ КУСОК

Р у з я
Позвольте, наперед решите выбор трудный:
Что вы надеете, жемчужную ли нить
Иль полумесяц изумрудный?
М а р и н а
Алмазный мой венец.
А. Пушкин. «Борис Годунов»

1. СЛУГА КНЯЗЯ АДАМА

Младшая ее сестра Урсула, едва конфирмовавшись, пошла под венец с князем Константином Вишневецким. И старшей сестре было, конечно, обидно, что лупоглазенькая девочка, без красоты, без талантов, с трудом вызубрившая катехизис, к грамматике неспособная вовсе,— раньше нее, старшей, вышла замуж, да еще в семью Вишневецких.

Впрочем, обижалась она потихоньку, и боль ее была не до крови. Потому что привыкла с детских лет: что б там ни было, ей, Марине, не будет хуже всех. Жизненный путь ей виделся зеркально блестящим, как паркет в бальном зале. По зеркальному паркету вперед-вперед скользит носок туфельки, как в мазурке, когда летишь со спертым в груди дыханием, вперед-вперед, и лишь изредка стукнешь пяточкой о пяточку, как летящий рядом кавалер, стукнешь — и послышится тебе, будто малиново прозвенели невидимые шпоры,— а шпор-то и нет никаких, это просто кровь твоя в тебе прозвенела счастливо и нежно.

У Константина Вишневецкого, мужа Урсулы, Марининого зятя, был брат князь Адам.

Этот князь Адам однажды мылся в бане. Как обыкновенно, для княжеского мытья баня была приготовлена со

всяческим изощрением. Циновки из свежей соломы расстелены на полу, добела выскоблены лавки. В бочках с холодной водой и с горячей плавали расписные ковши — черпай, обливайся в полное свое удовольствие. На раскаленные камни подавался мятный квас, и пар от них шел духовитый, пахнущий скошенным лугом. Князь Адам попарился, потом спросил льда. Слуга, к тому приставленный, должен был принести ему со двора ледяную сосульку. Сосульки, толстые, как колбасы, свисали с крыш кругом всего двора. Князь уж предвкушал, как натрет себе льдом щеки, шею, грудь и освежится, и взбодрится весь. Но вместо того, чтоб кинуться за сосулькой, этот новый рыжий холоп для чего-то зачерпнул еще горячей воды из бочки и плеснул в шайку, где покоились белые и нежные княжьи ступни.

— С ума спятил, холоп! — возопил князь. И впрямь похоже было, что малый рехнулся: кто же в здравом рассудке станет шпарить кипятком своего пана?

И холоп понял, что дело его плохо,— выбежал тотчас и вернулся с сосулькой, и подал ее господину, став на колени. И просил прощенья, не дожидаясь, пока ему накостыляют по шее.

Но уж больно жалко было князю смотреть на свои порозовевшие ошпаренные ноги, и никак он не мог не накостылять. Костылял и думал: «Мало, слабо; чтоб маршалок ему добавил как следует». Как вдруг рыжий негодяй закричал тонким голосом прямо князю в ухо:

— Если б ты, князь, знал, кто перед тобой, ты бы не только не посмел занести на меня руку, но сам бы пустился мне услуживать!

Князь Адам не поддался на холопью наглость, занес руку еще и еще; но любопытство взыграло, и не сдержался — спросил:

— Кто же передо мной?

— Перед тобой,— ответил рыжий,— младший сын покойного великого князя и государя московского Ивана Васильевича — Дмитрий Иванович.

— Знай что врать, холоп,— сказал князь Адам.— Царевич Дмитрий еще в малолетстве зарезан в Угличе от подосланных злодеев Бориса Годунова, о сем злодействе всему просвещенному миру известно.

— Не зарезан, не зарезан! Ан спасся и бежал, и вот я перед тобой, ясновельможный пан!

И рыжий враль сплел целую сказку: якобы злодейский умысел не удался, и он, царевич Дмитрий, с помощью

некоего добросердечного лекаря спрятался от убийц и долго таился по монастырям и у разных панов в услужении, а теперь бог внушил ему свергнуть Годунова и воссесть на родительский престол.

— Да как же ты воссядешь! — даже рассмеялся князь Адам. Дико было глядеть на холопа, возмечтавшего о престоле. Но получил ответ:

— Свет не без добрых людей. А в Московском царстве есть чем тех добрых людей наградить.

После чего князю Адаму не в мочь стало не то что натираться сосулькой, но и вообще дома сидеть с такими новостями. Велел запрягать лошадей и поехал с рыжим сперва к своему брату князю Константину, а потом в Самбор к братнину тестю, сандомирскому воеводе пану Юрию Мнишку.

Прямо сказать: рыжий не походил на отпрыска царственного рода. Лицо имел некрасивое, рот большой и растянутый, как у скомороха, нос бугроватый. Возле носа на щеке — бородавка, лишавшая его облик всякого благородства. Но осанку имел мужественную и на коня вскочил как рыцарь, к седлу привычный, и когда князь Константин захотел испытать его в фехтовании, рыжий выдержал испытание с честью. А в разговоре, последовавшем затем с князем Константином и княгиней Урсулой, рыжий раза два ввернул латинские цитаты, ничего не переврав и не запнувшись.

— Где же ты сему научился? — спросили князья и узнали, что это и многое другое рыжий почерпнул в тех шляхетских домах, где ему довелось служить. В том числе латинские вирши, сказал он, почерпнуты им из книг, кои он прочитал в доме князя Адама. Латинской же грамоте обучил его тот милосердный лекарь, а ученье не стало хуже оттого, что преподавалось тайно, во мраке глубоких подземелий, выкопанных под городом Угличем еще издревле, в татарские времена.

— Так как,— завершил рыжий,— я рождением моим уготован царствовать, то я старался пополнить свое воспитание при всяком случае, который мне посылался господом богом нашим.— А в довершение показал наперстный крест, весь в алмазах, и рассказал, что крест получен им при святом крещении от крестного отца князя Мстиславского. И что, надо полагать, это они, Мстиславские, а также Голицыны, Шуйские, Романовы (имена-отчества этих высокородных бояр так и слетали с языка рыжего) издалека следили за ним, чудесно спасенным царевичем, и через людей оповестили его, что время ему выходить из безвестности и подыскиваться престола под изменником и цареубийцей Борисом Годуновым. А как Бориска им хуже горькой редьки, то он, рыжий, и в грядущем полагается на их верность и всяческую помощь.

2. САМБОР

Еще не доехали до ворот, украшенных башенками, как навстречу стали попадаться всадники — одна рука в перчатке уперта в бок, на другой, поднятой,— кречет.

— Гости пана Юрия на охоту поехали,— сказал князь Адам.

Среди охотников одна попалась паненка — темные кудри по плечам, то же самое кречет на кулачке, бархатная юбка свешивалась почти что до снежной дороги.

— Свояченица моя — панна Марина,— пояснил любезно князь Константин.

Въехали в ворота. Обширный двор был обставлен, как обыкновенно, строениями, все деревянными, и сам палац, где жил пан Юрий с семейством,— деревянный, сложенный из стволов лиственницы, но со многими входами, и входы были украшены гербом — пучком перьев. Резчик искусно вырезал перья, сделав их кудрявыми и горделивыми, как на тронном балдахине, так что входящий в эти двери долженствовал понимать, что ему оказывают честь, впуская сюда.

Еще на дереве были вырезаны гирлянды цветов и крылатые младенцы, натягивающие лук, чтобы спустить золотую стрелу с тетивы.

И рыжий переступил порог, и золотые стрелы ринулись на него, срываясь с тетивы.

Внутри дома полы были натерты воском, а по стенам висели ковры, где были изображены сцены охоты и рыцарских турниров, и греческие боги и богини.

3. ЛЮБОВЬ

Марина закрыла свой веер (испанский, черный с золотом) и прикоснулась нм к стулу, стоявшему рядом. Служанка сказала Дмитрию:

— Госпожа говорит вам: садись ко мне.

Дмитрий сел. У его колен струились складки белого

платья, пахнувшего розами. Он видел ее ресницы, тронутые темной краской, и шелковистые шнурки ее бровей.

У него в руке тоже был веер (шелковый, с китайскими человечками), он приложил его к сердцу. Это означало: «Могу ли надеяться на взаимную любовь?»

Марина смотрела на него поверх испанского веера. Служанка прошептала:

— Госпожа находит вас пригожим и нескучным.

— Да хранит бог твою госпожу,— сказал Дмитрий и дотронулся веером до своего правого глаза. На языке вееров это означало: «Когда могу тебя видеть?»

Он услышал ответ, произнесенный розовыми устами:

— Пусть будет сегодня вечером.

Испанский веер лежал на Марининых коленях. Служанка быстрым пальцем сосчитала сложенные костяшки веера и сказала:

— Вечером, в одиннадцать часов.

— Где? — спросил Дмитрий, и розовые уста отозвались:

— У фонтана, в липовой аллее.

Дмитрий спрятал глаза за веером. То было признание в любви, известное Марине.

Она прижала веер к правому уху. Служанка пояснила:

— Госпоже отрадно слушать ваши речи.

Марина правой рукой открывала и закрывала веер.

— Она бы желала исполнять ваши желания,— прочла ему служанка

Этой служанке в бархатном корсаже и белых кружевных чулках, уходя, он дал золотой.

А Марина ушла с двумя старыми панами, схожими друг с дружкой, как две капли воды. У обоих головы были лысы, серо-желты и гладки и как бы стекали от острой верхушки вниз, к складчатым жестким воротникам. На что-то были противно похожи эти головы, Дмитрий не мог вспомнить, на что. Он хотел сказать Марине лестное и сказал:

— Прекрасная панна привлекает не только юные пламенные сердца, но и отжившие, отгоревшие.

— О, ваше величество изволит ошибаться,— ответила она,— се моя фамилия, родичи мои: пан тата и пан дядя.

4. ПАН ТАТА И ПАН ДЯДЯ

И Дмитрий вспомнил, на что похожи эти две головы, стекающие к круглым, как колеса, воротникам: на грибы опенки, семьями растущие у подножия трухлявого пня —

желто-серые, с такими же лысыми головами и складчатыми воротниками. И ножки этих двух, хилые и тонкие, схваченные подвязками под коленом, напоминали непрочные ножки тех грибов. И рыжему на миг стало страшно, в какую это он норовится неведомую семью и кому собирается отдать древние священные города Руси. Но, скосив глаза, увидел белое хрупкое плечо и темный локон на нем, и ушли из его мыслей священные города, а опенки ушли в толпу нарядных гостей.

Они всегда были схожи друг с дружкой, пан Юрий и пан Николай Мнишки, от самого своего отрочества, когда скончался их отец Ванделин и пришлось им самим о себе промышлять. Промышляли они бойко, в бойкости опять же друг дружке не уступая. Тогдашний король Сигизмунд Август был стар и немощен, только что схоронил любимую супругу и немощью и вдовством сильно был удручен. Юрий и Николай добывали ему знахарок и ведунов, а также женщин, которыми он надеялся заменить покойную Барбару Радзивилловну. Кого-кого ни водили они по скрипучим лестницам в королевскую спальню — от красавиц голубых кровей до вшивых Басек и Цилек из жидовского квартала,— и щедро награждал король усердных Мнишков и деньгами, и имениями, и должностями. Одну красотку, Гижанку по имени, пан Юрий даже выкрал для короля из монастыря, где она воспитывалась. Тогда-то и получил он в управление королевский замок в Самборе.

Но всего мало было братьям, и они самовольно запускали руки в королевские шкатулки и шкафы, так что когда умер наконец дряхлый Сигизмунд Август, то даже не нашлось одежд, в коих было бы прилично положить его в гроб. Так братья-опенки обличены были в воровстве, и хотя паны замяли дело и приговора никакого не последовало, но тень легла на имя Мнишков, и нельзя было этому помочь ни пышностью жизни, ни щедрыми дарами Бернардинскому ордену.

Но они не унывали, ибо в тени и сырости завсегда живут опенки, и они знали, что если постараться, то можно выйти из самой глубокой тени, важно лишь не пропустить благоприятного часа.

Благоприятный час явился ныне в облике рыжего слуги с бородавкой на грубом плебейском лице, и братья Мнишки не собирались его упустить.

Прежде, когда они выманивали имения и должности у Сигизмунда Августа, приманку — красивых женщин — приходилось добывать со многими хлопотами, порою даже

с опасностью для жизни: у панов — мужей красавиц — имелись сабли и пистолеты, у юношей в жидовском квартале имелись хорошо наточенные ножи. Ныне же приманка обитала под кровом пана Юрия, и не было никакой опасности в том, чтобы, разукрасив ее как должно, во всякую минуту представить пред очи влюбленного рыжего. И ничего, ничего иного не сулил благоприятный час, кроме наживы и блеска.

— Брате, о брате,— завистливо шептал Юрию Николай,— как же будет, когда Смоленск обещан и тебе, и его величеству пану королю?

— Отлично будет, брате,— отвечал Юрий.— Бо его величество поляк и я поляк, и неужели два поляка не сумеют поделить один русский город.

— Но правда ли, брате,— спрашивал Николай,— что он царевич?

— К нам заходил с черного хода некий стрелец,— говорил Юрий,— служивший некогда в Угличе и видевший царевича. И сообщил приметы: бородавка — она налицо. Также темно-красное родимое пятно у корня правой руки. Мы снимали кафтан и сорочку, смотрели: пятно на месте. Также — левая рука короче правой. Мы измеряли: левая короче гораздо. Увидев Дмитрия, стрелец сказал, не размышляя: царевич. Не мог бы самозванец так дерзко раздавать города своей отчизны. Он сознает свое право на это. А как он принимает услуги? Разве не ясно, что он с младых ногтей привык к тому, чтобы перед ним преклонялись?

— Он смел,— сказал Николай.

— Рассказы же его о своем спасении правдивы, ничего чудесного в них нет. Что бояре, ненавидевшие Годунова, помогли царевичу скрываться до поры, вполне достоверно и показывает дальновидный ум бояр. Что скрывался он первоначально в подземелье,— я спрашивал стрельца, и тот подтвердил, что под многими московскими городами, не только под Угличем, вырыты глубокие ходы и пещеры наподобие римских катакомб, так что получается как бы второй — подземный город, где при надобности могут укрыться сотни людей, не то что один маленький мальчик.

— И все же, брате,— говорил Николай, терзаемый завистию.— Все же.

— Все же,— отвечал Юрий,— она будет московской царицей, а я буду при них как ее дражайший родитель, а ты будешь при мне как дражайший мой брат.

— Да, если Московия признает его царем.

— А о том надо постараться, брате.

Они старались. Они положили хорошую плату. Они завели списки, с каждым днем эти списки удлинялись. Не говоря уж о холопах и всякой сволочи — даже многие благородные шляхтичи охотно продавали свою шпагу, чтобы помочь рыжему слуге князя Адама воссесть на престол.

5. РЫЖИЙ В ЕВРОПЕ

Ни убранство покоев, ни провождение времени, ни обхождение — ничто в Самборе не походило на то, что мог вспомнить рыжий об Угличе и Москве. Никто из русских бояр не повесил бы в своем доме таких ковров с изображением любовных утех каких-то богов и героев. Никто не надел бы столь смехотворных подвязок с бантами, будто вынутыми из девичьих кос. Никто не позволил бы дочери своей, девице, часами просиживать с молодым мужчиной в залах и в саду, как позволял сандомирский воевода Мнишек панне Марине. И хотя замок в Самборе был деревянный, но жили в нем богаче и привольней, чем все русские, известные рыжему. Потоком увеселений была эта жизнь, состоявшая из пиров, танцев, выездов на охоту, состязаний в конных скачках и в фехтовании, а пиры не тем привлекательны были, что всяк набивал себе брюхо яствами и питиями, приятны были пиры затейливыми здравицами, чтением наперебой латинских, греческих и французских виршей и тем, что вперемежку с мужчинами сидели панны и пани с обнаженными плечами и мудреными прическами, убранными цветами и драгоценностями. И можно было смотреть на эти плечи и касаться этих рук, не боясь чьего-либо осуждения. Так уж тут полагалось, и сердце рыжего рванулось к этой легкости и беспечности, пренебрегавшей и людским укором, и судом божьим. Даже здороваться здесь умели как-то так, что каждый из здоровавшихся чувствовал себя почтенным и поднятым через приветствие другого. Се, понял рыжий, была Европа, а то, что противополагалось ей, была Азия, татарщина, тяжкий след монголов, оставленный столетиями рабства в русской душе.

И он преклонил колено перед Европой в пышном белом платье и просил ее разделить с ним его царственную судьбу, и Европа протянула нежную ручку в знак того, что она согласна ухватиться с ним вместе за его скипетр. Конечно,

сказала Европа, если будет на то благословение ее отечества, то есть пана таты и короля.

— А вдруг, брате Юрий,— возразил пан дядя,— пан жених, воссевши на родительский престол, вознамерится жениться на другой девице,— мало ли их в божьем мире. Треба взять у него обязательство, брате Юрий.

— Я возьму обязательство,— посулил пан тата.

И он получил от рыжего запись, что тот по восшествии на российский престол обязуется жениться на панне Марине Мнишек, и они с Николаем свезли рыжего к королю Сигизмунду, и тот позволил пану Юрию Мнишку собрать войско в помощь рыжему. Не обошлось без неудовольствий — кое-кому из панов не нравилось, что Мнишки уж чересчур высунутся наперед, а кое-кто, как, например, Сапега, боялся, что из-за этих дел порушится дружба с Московией, но усердие Мнишков все одолело, и войско стало собираться в поход под прапором рыжего.

6. СВАТЫ ПРИЕХАЛИ

Что за ликованье в Кракове? В честь чего заливаются соборные колокола? В честь чего вывешены из окон ковры и расшитые хустки с бахромой? Чего ради горожанки спозаранок разоделись в бархатные корсажи, а ножки их обуты в белые чулки и башмаки с серебряными пряжками? Зачем эта бальная роскошь с самого утра, ведь сходки с танцами под скрипку будут только вечером?

А затем, что нынче с рассветом в город хлынуло видимо-невидимо приезжих москвитян. В дорожных каретах, в санях, крытых коврами, и на простых телегах, где лишь немного сена положено для мягкости, въезжают они в Краков по всем дорогам, въезжают и въезжают.

Так что к полудню ни на одном постоялом дворе нет уже ни свободной комнаты, ни свободного угла, ни постельного белья даже. Они как делают, русские? Из кареты выходит господин в медвежьей либо овчинной шубе, в собольей шапке, спрашивает комнату. Записывается в книге для приезжающих — частенько сановным, иной и княжеским именем, ложится в отведенном покое на мягкое ложе под балдахином, а когда хозяева гостиницы полагают, что постоялец ублаготворен сполна,— тут он объявляет, что он не один, а сам-шест, ибо с ним пятеро слуг, коих тоже надобно сполна ублаготворить.

И точно, лезет из кареты еще один, за ним другой, третий, все пятеро. И хоть слуги, и тоже в шубах добрых, и сапоги теплые, из шерсти валяные. И у многих сабельки и кинжалы в серебряных ножнах.

— У нас кроватей больше нет,— скажут хозяева. Приезжий в ответ:

— Зачем кровати? На полу им постелите.

— Да у нас постелить нечего,— скажут они. Он в ответ:

— Неужто так бедно живете, что у вас и одежи нету — постелить?

Выходит, дома они не брезгают на одеже спать, что ли? Простой, видать, народ, хоть и в собольих шапках.

И со слугами без вельможности. Что себе покушать спросит, то и холопам. И суп, и молоко хлебают все шестеро из одного котелка, достав из-за голенищ деревянные ложки, расписанные алыми ягодами и золотыми листьями.

И так же к коням своим ласковы: мало что велит корму засыпать — сам выбегает посмотреть, ест ли, пьет ли конь; из собственной ладони солью угостит; холку пригладит. Зато и кони у них — что каретные упряжки, что при телегах — загляденье. Правду говорят те, кому случалось сражаться с русскими, что сила их ратная столько же в конях, сколько в людях.

— И за каким же делом вы к нам приехали? — спросят хозяева. Постояльцы отвечают:

— За делом добрым: царю нашему Дмитрию Ивановичу невесту сватать.

Посол, в чьей свите они прибыли, остановился в доме воеводы Юрия Мнишека. Уже всем известно, какие подарки привезены воеводе: конь серый в яблоках, к нему седельный прибор с золотой цепью вместо поводьев, да булава с самоцветами, да живые зверушки из русских лесов: соболь и куница, для которой на воеводском дворе положили дуплистый ствол. И краковские мальчишки лежат животами на заборе, наблюдая, как пушистый востроглазый зверек листьями выстилает дупло — ладит себе жилье.

Самые важные из приезжих на постоялых дворах не останавливаются, их развели по панским домам. Даже в королевском замке кто-то стоит, в знак чего поднят русский прапор на угловой башне и с балконов свешиваются цветные плахты.

— И это не вся посольская свита,— сказывают москвитяне,— и не весь обоз, главный поезд — двести с лишком подвод — остался на границе, в Слониме.— И много людей, промышлявших грабежом, потекло при этом известии в Слоним, ибо при удаче там было чем поживиться, смекнули они.

Из главных главный сват и посол — дьяк Афанасий Власьев. Еще до завтрака, поднеся дары воеводе, пришел он поклониться Марине. И при этом его узкая борода, шелковая и серебряная, мела пол у Марининых башмаков; и жаркая гордыня затопила ее сердце. А потом Власьев подал грамоту, из которой следовало, что он имеет на предстоящем обручении представлять фигуру державного жениха царя Дмитрия Иоанновича всея Руси. С тем и вышли все перед вечером в освещенные плошками залы, где ждало множество гостей, среди них его величество король, игравший в шахматы с канцлером Сапегой.

Марина зорко глядела: как-то будет держаться московский приказный, представляющий фигуру ее жениха. Кафтан его, да и все одеяние его было весьма старомодно, двигался он безо всякой грации, почтение внушали только его седины да разноцветные камни, игравшие на его перстах. Ни у кого из панов в этих залах не было столько перстней на руках и столько золотых цепей на груди. Марину это порадовало. Но вот что не было отрадно — как Власьев ел. Он руками брал кушанья и набивал себе рот. И пальцами же набирал соль из солонки. Она сказала пану тате, но он возразил:

— Дитя! То же самое делается и в Лувре. Моя оплошность — надо было приказать маршалку, чтоб ложки и ножи разложили по столу.

К руке короля Власьев подошел без приниженности, хотя и расторопно. И грамоты свои подал так достойно — хотя бы самому Сапеге впору. А после того просил отворить все двери, и через эти двери московские дворяне стали вносить подарки — для короля, для ее высочества королевской сестры и для Марины. Подарки были уложены в сундуки с железными скобами, и за эти скобы, продев в них шесты, с великим трудом несли их богатыри-москвичи. Открывали один сундук — там были золотые и серебряные блюда, чаши и кубки, открывали другой — доставали образа в драгоценных окладах, третий был до краев полон жемчуга, насыпанного, как в закром насыпают зерно после обмолота. Так же вносили тюки мехов и ковров, шерстяных и шелковых.

Если случалось здесь, в Кракове, кто кому делал подарок — ковер дарил, или седло, или цепочку,— краковчане спешили поглядеть на подарок, пощупать, оценить,— во всех домах долго о нем судачили. Да что Краков! Когда французский король Анри подарил своей супруге Маргарите Наваррской семьсот жемчужин, об этом даре говорили при всех европейских дворах. «Что же за страна,— думала Марина,— где золото и серебро дарят сундуками, и ковры — тюками, а жемчугом насыпают закрома».

«И я завидовала,— думала она,— Урсуле, ее браку с Костеком Вишневецким! Куда бедняге Костеку даже до дьяка Власьева, не говоря уж о царе Дмитрии. Да будет счастлива Урсула, услаждая Костека и варя варенье для штруцелей. Передо мной бояре будут пол мести бородами. Мой жребий — особый».

Блистая, как заря, обходила она залы. Афанасий Власьев, фигура жениха, шел рядом. Все на них смотрели. Пан тата сказал:

— Идем, доню, падем к ногам нашего благодетеля.

Он шепнул ей, что при виде даров король возымел мысль отдать за Дмитрия свою сестру Брониславу. Бронислава не могла тягаться с Мариной в красоте, но сильна была своим правом на польскую корону. Королевская мысль могла оказаться не бесплодной.

Красивым движением Марина стала на колени и поцеловала руку королю. Сигизмунд сказал милостиво:

— Поздравляю тебя с новым достоинством. Оно тебе дивно даровано от бога для блага нашего королевства. Чтоб ты супруга своего приводила к соседской с нами дружбе и любви. Мы и прежде жили с московитами в приязни, теперь она тем более должна укрепиться. Не забывай, что истинная твоя отчизна — здесь, у нас. Что здесь оставляешь тех, ближе кого нет у тебя: твоих родителей и всех нас, друзей твоих. Не забывай же их и слушай их советов. Люби польские обычаи и сохраняй их.

И Марина почувствовала на темени тяжесть благословляющей ее руки.

Потом поляки запели «Ave Maria», а потом Власьев надел ей на палец кольцо с алмазом величиной с вишню, и кардинал Рангони благословил обручение. Коснуться Марины Власьев не осмелился — обернул свою руку шелковым платком.

Не то чтобы полякам так уж хотелось лить свою кровь за какого-то бродягу-схизматика, ищущего русского престола. Последний шляхтич и даже простолюдин мечтал лучше умереть под своей убогой крышей, чем под чужим небом на поле битвы.

Но когда пан Юрий показывал запись, взятую с Дмитрия,— у самых первых панов и самых последних оборванцев начинали течь слюнки; и деньги, и люди приливали к пану Юрию — стало быть, к рыжему.

И все эти люди приходили поклониться Марине и приложиться губами к ее руке. Никогда еще в Самборе столько не плясали и не пировали. Один пан прострелил себе голову от безнадежной любви к Марине. Две дуэли приключились из-за Марины. Ничего подобного не было, когда выходила замуж маленькая Урсула.

Кардиналу Рангони пришло письмо из Рима от его святейшества папы. Кардинал прочел это письмо пану тате, пани матке и Марине. Папа приказывал ей способствовать насаждению в России римско-католической веры и добавлял:

«Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике божьем».

Пани матка сказала:

— Не означают ли эти слова, что ты, дитя мое, будешь причислена к лику святых, если послужишь делу веры?

«И ничего в этом не будет удивительного,— подумалось Марине.— Разве не великий подвиг — привести в истинную веру целый могущественный народ?»

И вправду, пристало ли ей кланяться королям, когда сам наместник апостола Петра обращает к ней такие речи. Она, Марина, не менее короля и уж поболее, чем какая-нибудь Маргарита Наваррская.

И тут в Самбор пришел монах. Он был жирный, нечесаный и пыльный, как все монахи, над которыми Марине предстояло быть владычицей.

— Я к тебе, пан,— сказал он воеводе.

— За каким делом? — спросил тот.

— Ты собираешь рать и золото, чтобы посадить на престол царей беглого расстригу.

— Царевича Дмитрия Ивановича,— сказал воевода.

И приказал кликнуть дочь, ибо дело касалось ее и ей надлежало слышать и знать.

— Расстрига он,— сказал монах.— Бежал из монастыря, ловили его, да не поймали. Если Речь Посполита за него станет, то в большой нелюбви быть вам с Русью. У нас таких проходимцев не жалуют.

— Не канцлер ли Сапега,— спросила Марина,— нашептал тебе эти речи?

— Нет, дитя,— возразил пан тата.— Канцлер не стал бы с этакой свиньей шептаться. Сознайся, мних, это царь Борис подослал тебя к нам с сими наветами.

Потому что незадолго до монаха в Самбор заходил другой обличитель, по имени Яков Пыхачев. Тот тоже обзывал Марининого жениха расстригой и чернокнижником и сознался, что его, Пыхачева, подбил на обличение царь Борис. Но паны, развязавшие свои кошельки для Дмитриева дела, не желали обличителей, особенно же не желал их пан Юрий, и по их ходатайству король велел казнить Пыхачева злою смертью.

Сейчас же пан Юрий уходил в поход с Дмитриевым войском и приказал, покуда суд да дело, запереть монаха Варлаама в подземелье Самборского замка.

Войско ушло. Когда блистательный отряд всадников скрылся в золотой пыли и Марина отмахала вслед платочком из башенного окошечка, она сбежала вниз, бросилась пани матке на шею и сказала:

— О пани мамо! Я счастливая! Бог отметил меня как никого! О, давайте освободим несчастного, что томится в нашем подземелье, ожидая пыток и смерти.

Пани матка прослезилась:

— Узнаю в тебе мое сердце, доню.

И велела маршалку принести ключи. Марина сама спустилась по узкой крутой лестнице, втиснутой между двумя заплесневелыми зелено-серыми стенами. Марина спускалась, подобрав юбки, и видела себя со стороны, как прекрасную картину, исполненную милосердия: святая Марина идет освобождать узника. Тонким ее пальцам было не повернуть ключ в замке. Она хлопнула в ладоши. Сверху в колодец лестницы заглянуло маленькое личико маршалка с растопыренными седыми усами.

— Отвори,— приказала Марина.

Он сбежал на согнутых ногах и, натужась, снял замок. Дверца отворилась с визгом. В зловонной тьме блестели два глаза.

— Выходи, монах,— громко сказала Марина.— Я тебя не боюсь.

8. СВЕКРОВЬ

Монастырский коридор был похож на тот, который Марина видела в Краковском университете: длинный — конца не видать, беленые своды смыкаются в вышине. Но тот, в Кракове, был холодный и припахивал затхлостью, а в этом воздух стоял теплый, приветный. Протянув руку, Марина тронула горячую стену.

— Государыня тепло любит,— прошептала шедшая рядом маленькая черная монашка.— У нас, как в патриарших палатах, в стенах от печей кирпичные ходы прокладены.

И стукнула клюшкой в дверь.

— Входите,— сказал изнутри глухой голос, не поймешь, женский или мужской.

Марина вошла и увидела свекровь.

То есть сначала кто-то налетел и обвил руками ее шею, а потом у Марининого подбородка появилась голова с прядями совсем белых волос и с розовой кожей между прядями, и голос пробубнил:

— Красавица, дочка моя! — И Марина поняла, что это мать Дмитрия, вдова Ивана Четвертого.

Да, когда эта старуха была юницей, ее отдали в жены самому страшному из всех людей, живших на земле. А он женился в восьмой раз, этот кровавый старик. Двух из жен своих он убил — одну задушили по его приказу, другую утопили в Москве-реке. Но эта юница поначалу была ему угодна, он не послал ее на казнь, она разделила с ним его престол.

Но потом ее угнали в Углич вместе с ее маленьким сыном, и там, в Угличе, в один проклятый день она, выйдя на крыльцо, увидела своего сына залитым кровью и бездыханным.

Как она тогда стояла перед ним? Как могли выстоять ее ноги? Как могли смотреть ее глаза? Как стиснулось ее сердце, напитанное горем, когда через много лет к ней подошел чужой человек и назвался Дмитрием, и она его признала за сына. Как не ударил тогда гром и не поразил эту голову?

— Мама,— сказала Марина и от сердца припала губами к сморщенной руке с пальцами-крючьями.

На царственной свекрови было такое же смирное черное платье, как на той монашке, что привела Марину, и пахло от платья ладаном, кипарисом и старостью, и Марина со вздохом подумала, какая бездна лежит между этой

старостью и той юностью, полной величавых надежд и свершений.

«И говорят, она была красива,— думала Марина.— Непременно была красива, русские цари на некрасивых не женились». Ей в лицо блеснули снизу черные глаза с голубыми белками, не Дмитриевы глаза, Дмитрий не был похож на мать.

— Какие пироги у нас нынче? — спросила свекровь.

— Постные, матушка, и скоромные, из кислого теста и из пресного, с капустой и с грибами, каких твоя милость захочет,— ответила монашка.

— Ты, невестушка, какие любишь, кислые или пресные? — спросила свекровь.

Марина отвечала:

— Какими изволите потчевать, матушка,— как учил ее Дмитрий.

Пироги подали с грибами, из кислого теста. Стоя против свекрови у окна кельи, Марина без удовольствия ела незнакомую, странного вкуса и запаха пищу, слишком, по ее мнению, жирную, и радовалась мысли, что догадалась привезти с собою самборского повара.

. . . .

9. КРАСОТКИ ИЗ ВСЕХ СТРАН

Какие мы ни есть лыком шитые здесь, в Тушине, а вести с нас через заставы и рогатки разносятся по всем странам. Из-за тридевять земель начинают к нам съезжаться посольства. Являются особы женского пола, красотки всех мастей — черномазые, златокудрые, огненно-рыжие. Даже в далекой Лютеции, на Сене-реке, прослышали про Тушинский лагерь и не хотят упустить свою выгоду. У пана Мнишка в Самборе не бывало на пирах столько красоток, сколько их бывает у выкреста Богданки. Тороватые красотки не заносистые: нету иноземных вин — они и нашей зелена-вина браги выпьют, нет кавалеров в камзолах — они и казацкую голытьбу обнимают от души.

Насытившись их щедрой задушевной лаской, все неохотней идет Богданка в свою избу к Марине. Незадачливая царица все высокомерней становится, все не по ней. И пахнет-де от Богданки худо, и грубиян-де он, и мужик.

А что — ну, мужик. Он никогда дворянином и не прикидывался. Сама к нему приехала, мечтая через него на царство воссесть. А пахнет от него известно чем — вином,

да по́том, да рыбой, да луком. Чем еще может пахнуть от мужика?

Все скучней Богданке с этой бабой.

Еще красотками попрекать вздумала: зачем-де к ним ходит? А потому и ходит: что же он — хуже своих казачишек и польских жолнеров, кои у красоток пропадают денно и нощно?

Обидно даже...

Стал Богданка Марину поколачивать.

Сначала легонько: за волосы поволочит, по спине плеткой вытянет. После понравилось — Маруся-хохлушка видала как-то вечером: его величество кинул ее величество на пол и сапогом ее, не разбирая куда.

Наутро проснулась Марина с сознанием, что что-то случилось.

Опять не пришли месячные.

Забеременела.

А мерзостный мужик Богданка повадился — чуть что, сапогом пинает ее. И в живот норовит.

А кругом — глаза бы не глядели: грязища, теснота, по всему Тушину проулки между избами таково загажены — пройти невозможно.

Сказала Богданке — он смеется:

— Ах-ах, пани прогуляться негде. Ах-ах, подошвы замарает пани.

А еще печки эти угарные. Как-то утром проснулась — в голове будто нарыв нарывает, от боли пошевелиться не можно. Кликнула Богданку — он тоже угоревши. Спасибо Марусе — принесла горячей воды, стала лить Марине на голову, потом луковицу изрубила мелко и в уши их величествам напхала — начала боль отходить; только в ушах от лука пощипывало малость.

10. У ВОЛЧЬЕГО ЛОГА

Богданка приказал казакам коня ему запрячь и ускакал куда-то. Осталась Марина с Марусей вдвоем.

— Ну как, пани? — спросила Маруся.— Легчает?

Сочувственный был народ, над которым Марина царствовала.

— Ничего,— сказала она.— Только вот что, Маруся, понесла я, а он, ты видишь, как со мной. И как я здесь рожать буду?

— Ничего, пани,— утешала Маруся.— Как придет вам времечко, мы бабушку позовем, в Тушине этих бабушек хватает, на все руки мастерицы, она и принять сумеет, она же и скинуть допоможет, если такое ваше будет желание.

— Нет, как можно скинуть,— сказала Марина.

— Ну, это вам нежелательно,— отвечала Маруся,— как вы прирожденная знатная пани и государыня, а простые бабенки часто зовут скидывать — куда им с дитем по такому времени мыкаться.

Маруся правду говорила, даже из окрестных сел приезжали бабы в Тушино выкидывать младенцев, и умелые бабушки им помогали спицей или шильцем. И вместе с помоями из иных ворот такое текло — не приведи боже!

В то утро с Богданкой было вот что.

Выехал он на коне со своего двора и поехал к Волчьему логу. Лог зарос сорняком, и там иногда стреляли волков, отсюда и название. Было влажно, тепло. Снег шел.

Только доехал Богданка до лога, смотрит — выбирается кто-то снизу из сосняка. Тоже верхом и саблю вверх держит обнаженную.

Глядь — это Гришка, Петров брат. И как-то нехорошо Богданке стало.

— Ты чего пужаешь? — сказал Богданка громко.— Саблю-то спрячь, когда приближаешься к государю.

А Гришка в ответ:

— Кой ты государь? Ты — вор, Богданка-выкрест, у попа учителем служил, он тебя и выкрестил, вот ты кто. Да с крещеньем аль без крещенья — все одно твоя душа пропащая, кипеть ей в смоле горящей до второго пришествия.

И — вовсе нагло:

— Помолись за свою душу, царь-государь Богданка.

И рвется вперед со своей саблей.

— Да ты что! — закричал Богданка. А Гришка ему:

— А ты что с Петром сделал? Думаешь, государем назвался, так и дадим тебе казнить нас и миловать по твоей воле? Как бы не так! Я тебя, царь-государь, еще тогда приговорил!

Богдан тоже потянул свою саблю из ножен. Да поздно: Гришкин конь полетел, толкнул его коня, конь пошатнулся на длинных ногах, кафтан Богданкин с левой стороны, у живота, стал мокреть.

Марина все еще ходила по избе, схватив себя руками за плечи, еще болела от угара голова и щипало в ушах, когда метнулась в дверь Маруся.

— Ой, пани! Ой, лихо-лишечко!

По бровям, по губам, по всему лицу Марусиному было видно: не терпится ей выговорить, какое случилось лихо.

— Что еще? — спросила Марина.

Маруся только на минутку запнулась:

— Ой, пани! Богдана Емельяныча!

— Что?!

— Зарублено! — резанула Маруся.

Кто-нибудь расскажи ей, видевшей, как Богданка бил жену... Никому бы она, это видевшая, не поверила, но своим глазам поверила.

Гордая пани раз-раз швырком с ног атласные башмаки и в чулках раз-раз сиг в сени, и оттуда на снег.

— Где он? — спросила через плечо, глаза сверкнули на Марусю.

— Возле Волчьего лога, сказывают, лежит...

Погружая ноги в снег, Марина мчалась к Волчьему логу.

Снежные поля были не белые — серые, словно пепел на них осел. И небо вверху серое. Дорога, виясь по полю, казалось, переходила вдали на небо. Березнячок повстречался — молоденькие березки в инее, словно бы невинные девочки...

Волчий лог был тотчас за березняком. Еще издали стал виден лежащий там на снегу: коричневый зипун, круглая черная шапка, ноги врозь в тяжелых сапогах.

— Езус Мария! — прокричала Марина в серое небо. Ничком кинулась долу и обняла сапоги.

О проклятые сапожищи, подбитые коваными гвоздями. О проклятая судьба!

Тихий лежал Богданка! Не вскочит, не задерется!

Небольшая алая лужица натекла на снег у левой его руки.

Не задерется, нет... Не оскорбит непотребным словом!

Да — но конец не только Богданке.

Конец и ей, Марине.

Конец всем надеждам.

Кто она сейчас? Богданки-выкреста вдова, не более того.

— Не хочу! — шепнула Марина небесам.

Не ответили небеса. Не услышали, может. Пустынно было над Волчьим логом, над малой алой лужицей, в которой утонули Маринины надежды.

Опять стал падать снег.

Тихо садились снежинки на коричневый зипун, на барашковую оторочку шапки, на черные Богданкины брови и сизые веки.

Надушенными белыми пальцами Марина плотней опустила эти веки. Где-то когда-то она видела, как это делают. Ах, вот где: на Красной площади, когда первый ее муж лежал на лавке, принесенной из торговых рядов, и мать-инокиня, подойдя, закрыла ему глаза. Только у той пальцы были иссохшие, темные.

Под сизыми веками Марина ощутила Богданкины глаза, выпуклые, будто еще живые. Как страшно он на нее глядел этими глазами. Вдруг она впервые поняла, что он ее ненавидел.

Она, прекрасная и гордая, знающая наизусть латинские и французские вирши, приехала к нему, самозванцу Богданке, и признала его своим супругом и царем, а он ее ненавидел. И почему-то ей показалось — странное дело — что, будь она на его месте, она бы тоже ненавидела. Вот именно за вирши, за герб из перьев на дверце кареты, за то, что хлебнула высшего почета...

За это бил ее Богданка, а не за то, что приревновала или забывала щи забелить. Что ж. Будь она Богданкой, она бы тоже била. И норовила бы побольней. Теперь об этом что думать? Нет больше Богданки. Кто-то расплатился за Маринины обиды — казак ли, шляхтич ли?

Какое ей дело? Что же, она казнить велит убийцу, если он найдется? Нет, не велит.

Ни до чего ей больше дела нет.

Всему конец.

Раз надеждам конец, значит — всему конец.

Она добрая. Она всегда была слишком добрая. Кто, бывало, ни придет просить помилования — она милует. Того вонючего монаха надо было удавить в подземелье. Чем он лучше других, которые удавлены, утоплены, обезглавлены либо просто убиты в бою булатом и порохом...

Как он отплатил за ее милосердие? Пошел по польским и литовским дорогам разносить клевету, обличать Дмитрия. Надо было отрезать ему язык, вот что надо было ему сделать! Вот сейчас она бы так и сделала.

Жалела всех. А ее кто жалеет? С церковных амвонов читают: «Непотребная девка Маринка». («Мы оросили тебя своими благословениями...»).

Лежи, Богданка, смирно.

Не стану за тебя мстить.

Спасибо тому, кто выпустил кровь из тебя...

Еще одной твари, попадись ей эта тварь, она бы вырвала язык: монахине Марфе, свекровушке...

Объявила, что лишь из страха признала Дмитрия за сына, а он ей не сын, не царевич...

Что выгадала, старая дура? Сидела бы нынче на престоле рядом с Дмитрием и с нею, Мариной. Сообща бы правили Русской Землей.

Мерзкая старуха. Правду-матку ей, вишь, понадобилось резать. Кому она нужна, правда? Так все шло хорошо, и, гляди ты, как обернулось... Посоветовалась бы хоть с невесткой, проклятая схизматичка.

Вдруг она почувствовала под сердцем толчок. В чреве ее перевернулся младенец.

Младенец, да!

Еще не конец надеждам.

Там потребная или непотребная, а младенец сей будет внук царя Ивана Четвертого.

Она и Ивашке Заруцкому так сказала, когда он вечером пришел на ее вдовье ложе:

— Так и назову Иваном — в честь деда.

— Ну и отчаянная же ты, Маринка! — сказал Заруцкий, любуясь.— Неужели сызнова добиваться пойдешь?

— А как же? — она сказала.— Конечно, пойду. Завтра же другому деду напишу, пану тате, чтоб подумал, как помочь мне и внуку.

И Ивашка это все весьма одобрил.

— Жалко только,— сказал,— не след нам больше здесь оставаться, больно срамно тут стало, да и страшно. Сегодня — Богданку, а завтра — меня, а далее — не дай бог, и тебя. Не поглядят, что тяжела,— злы стали несказанно. Я так думаю: в Астрахань нам с тобой лучше надо податься.

— Почему в Астрахань? — спросила Марина.

— К границе поближе. Может, на сей раз с востока придется кликнуть подмогу, из Персии.

— Ну, поедем,— согласилась Марина.

—

В Астрахани она родила мальчика. Родила в купецком доме, который стоял как-то так, что звоны всех колоколов влетали в окно и будили младенца.

— Пусть не звонят,— сказала Марина Заруцкому.

— Как же так,— тот возразил,— не звонить в божий праздник?

— У вас, схизматиков, все праздники да праздники,— сказала она.— Трезвонят утром и вечером, тревожат престолонаследника. Скажи им — государыня, мол, не велела звонить.

Что-то он строптивым становится, Ивашка. Вдруг спрашивал, глядя на младенца:

— Хоть бы знать бы, чей он? Мой или Богданкин?

Задним числом ревновать вздумал, что ли?

— Чей бы ни был,— она отвечала,— а внук царя Ивана Васильевича.

— То правда,— говорил он, стихая.— Да, вишь, близок локоть-то, ан не укусишь. Не столь оно просто, сама уже, чай, уразумела.

Ей вдруг вспомнилась свекровь — мать рыжего. Как она тогда сидела в келье и кушала обед, успокоенная,— ее сын восходил на престол, черные дни остались позади, тихое ликование разливалось по лицу старой инокини. И как через несколько дней стояла возле лавки, на которой был распластан убитый Дмитрий. А у другого конца лавки она стояла, Марина.

Да, близок локоть...

Звонить перестали, однако. Ничем не нарушался сон царственного младенца.

— Что будем делать теперь? — спросила Марина у Заруцкого Больше не у кого было спросить.

— Подумать надо,— сказал Заруцкий.— Подумаю — скажу.

И сказал·

— В Персию будем подаваться, в Тегеран. Войска у хана просить.

— А даст он нам войско?

— Даром не даст, а посулишь ему отдать твои города — почему же не даст? Даст!

— Это Новгород-то да Псков?

— Новгород, Псков. Жалко, что ли?

Верно, ей жалко стало. Ведь не монета из кошелька — цельные города с пригородами, весями, лесами, покосами, жителями... Отдаст хану свои города — уже и вовсе ей тогда не над чем царствовать и не над кем.

— Без ханова войска царства не вернешь,— сказал Ивашка.— А царства не вернешь — что с тобой будет? Знаешь?

Как не знать? Срам и смерть, что же еще?

— Никак нельзя тебе без царства,— говорил Ивашка.— Залезла лисица в кувшин головой — теперь не выпростаешь.

Прав, прав, дьявол.

— Хорошо,— сказала Марина.— Поедем в Тегеран.

Они сели в челн в летний жаркий день. Голубая река широко текла в своих берегах. Перекрестясь, отчалили. Вот и Астрахань позади. Купецкая торговая Астрахань с безмолвствующими звонницами. Что-то ждет их в Тегеране?

Она занесла ногу за борт челна, и Ивашка помог ей выйти на берег. Песок сразу насыпался в башмак, жаля нежные пальчики, шлейф волочился по песку, она рывками подтягивала за собой этот грузный шлейф, конца песку не было видно, лишь кое-где, серебрясь, шевелился под солнцем ковыль. Здесь был край ее царства, край света и край ее жизни. Последние свои шаги совершала она, вонзая в песок каблуки, опираясь на руку Ивашки Заруцкого — не на руку венценосных мужей-царей, а на руку любовника, злодея и негодяя — она знала, что он негодяй,— но шла за ним, ибо он был последний ее советчик и помощник, он поманил ее тем престолом, на котором ей так любо было восседать, и достигнуть этого перекрестка поможет Ивашка.

— Что ж,— спросила она, подтягивая шлейф, будто нагруженный пудовыми камнями,— долго нам так идти?

— Да покуда не дойдем до Персии,— отвечал Заруцкий.

— А вдруг,— спросила она,— хан не даст нам войска?

— Должон дать,— сказал Заруцкий.

— А как не даст все же? Куда тогда пойдем?

— Тогда,— он сказал,— идти уже некуда.

— И хорошо,— сказала Марина.— А то уж больно трудно идти.

И, оглянувшись, посмотрела на свой след на песке — длинный след от острых каблуков.

— Лучше умереть, чем так идти...

Но она не умерла — она прожила еще немало лет, все в России: никакой другой страны и знать не хотела. Над русскими просторами взошла и закатилась ее странная звезда.

Ее имя осталось в веках наряду с именами великих людей, хотя она не сеяла ничего, кроме зла, и не пожинала ничего, кроме бед. И кто скажет, к какому народу приложилась она, умерев,— к русскому или польскому?

Коротким и бедственным был и дальнейший путь ее последнего пособника — Заруцкого. Совсем кратким, будто искра, мелькнувшая на ветру, был путь ее несчастного младенца...

И словно того только надо было, чтобы ушли эти трое,— вслед за их концом стала угасать Смута.

1966—1973

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ВСТРЕЧ

МОСКВА — ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК

Записи из дневника

14 ноября 1960 г

Около 12.00 вылетели из Москвы в Париж на ТУ-104 Летели без посадки, прорезав один за другим четыре или пять слоев облаков, и в 16.00 (17.00 по парижскому времени) приехали в Париж (то есть прилетели).

Там, хоть не сразу, нам дали какую-то кратчайшую визу, разрешив тем самым погулять по городу до отлета, который должен был состояться через четыре часа.

Какой-то мальчик из посольства встречал нас. После того как мы переехали со своими вещами (на автобусе) в управление «Air France», мальчик заехал за нами снова и повез на машине, которой правил сам, показать кусочек Парижа.

Мы видели Дом инвалидов (он рядом с управлением «Air France»), черный от копоти· площадь Согласия; Елисейские поля, которые не поля, а просто нарядная улица с множеством магазинов; Assemblée nationale (тоже в черном, с траурными глубокими пятнами, налете копоти на колоннах и статуях; узнать — там ли собирался Конвент и выступали деятели Французской революции?), мы видели мост Александра III, знаменитую Триумфальную арку и еще что-то знаменитое (да, Эйфелеву башню!)

Мост Александра III пышен и безвкусен, все наши ленинградские мосты несравненно лучше.

Триумфальная арка похожа на две безобразно расставленные толстые человеческие ноги. Оставляет зрителя равнодушным.

На Эйфелеву башню смотришь и думаешь — неужели это когда-то волновало людей, неужели Мопассан мог при виде этого испытывать какие-то чувства?!

На мою неорганизованную душу сильнейшее впечатление произвели окраины, по которым мы ехали с аэродрома в «Air France»,— это поэтическое смешение старых домов, старых цехов, новых коттеджей, садов, разрушенных и кое-как заплатанных каменных заборов, плюща, виадуков, баров и белья, хорошего и дрянного, развешенного на балконах вполне приличных многоэтажных домов.

Очень многоэтажных, впрочем, нет: Париж — небольшого роста, по-старомодному. Эйфелева башня тоже невелика.

Крыши домов, даже в центре, плотно уставлены словно глиняными глечиками: это трубы газовых печей, вероятно, индивидуальные.

Машин в Париже 1 300 000, сказал мальчик из посольства. Гаражей нет, машины стоят вдоль улиц, сужая место для проезда. Езда по правой стороне. Скорость не регулируется, одно правило твердое — уступи дорогу машине, идущей от тебя справа.

И еще там чудесные деревья. Это платаны или нет? Высокие, спокойные, с листвой вроде кленовой и с прекрасными стволами, высокими и гладкими, словно замшевыми, в рыжих гладких пятнах на сером фоне.

Было очень тепло. Старики с газетами сидели на скамейках, сияя лысинами. Улицы неширокие: мимо стариков сновали прохожие, за спинами у стариков мчались машины, 1 300 000 штук. Старики благодушно листали газеты, как в XIX веке.

Метро в Париже простецкое: на углу загородочка, чугунная или каменная, над нею на столбе надпись: «Metro», вниз идет лестница. Это вход в подземку.

Много женщин на улицах. Старые одеты смешно, как глухо провинциальные барыни. (Не все, конечно.) У молодых я не обнаружила никакого так называемого парижского шика. Туфли и пальто всех фасонов, модных и устарелых. Шляпы, косынки, непокрытые головы. Сплошь стриженые, новая мода прически еще не привилась к Парижу.

Самой «шикарной» была молодая дама, очень деловая, устраивавшая наши дела на аэродроме, при прилете. Она говорила по-французски, английски и русски. На своих высочайших шпильках она моталась по всему аэропорту и все успевала. Она сама присмотрела, как были отобраны наши вещи, и довела нас до автобуса с вывеской «Air France».

К 17.00 (парижского), поглядев немножко на город, мы вернулись в управление «Air», возле Дома инвалидов. Там нас ждали Симонов, Арагон и Триоле. (Симонов ходил к ним в гости.) Арагон сказал, что в 1961 году издаст «Сентиментальный роман». Спросил, что еще можно издать. Мы назвали роман Ю. Германа «Один год», «Испытательный срок» Нилина («Жестокость» у них вышла) и «Каплю

росы» Солоухина. Эльза Триоле сказала, что любит Аксакова и что Шолохов сказал, что мы с Триоле пишем похоже. Триоле выразила сомнение в том, что Шолохов ее читал.

Потом мы простились (перед этим выяснилось, что у Межелайтиса в портфеле, в багаже, треснула бутылка с водкой и все вылилось) и в автобусе поехали на другой аэродром. Были уже сумерки, горели огни всех цветов. Магазины, магазины! Много цветочных (блеск цветов в окнах). Много фруктовых ларьков. Длинный ларек с канцелярскими принадлежностями и книгами брошен, продавец куда-то отлучился... Потом поехали опять через окраины. Густел вечер. Оглянулась — за плечом лежал, в огоньках, голубой Париж...

О, не забыть: давно не крашенные, серые от времени, жалюзи на окнах, а в нижнем этаже — масса лавочек с бедово раскрашенными вывесками... И деревянные заборы, тоже посеревшие от дождей с такими же палями, как наши.

В новом аэропорту было порядочно каких-то проверок и формальностей. Я ужасно боялась, как бы чего-нибудь не потерять из выданных нам бумаг. В конце концов нас благополучно погрузили в реактивный самолет, и в 18.30 по парижскому времени (20.30 московского) мы полетели.

Мне сначала в этой машине не понравилось: узенькие кресла, и хотя пассажиров было мало, но нас всех сгрудили в одном месте, плечом к плечу друг с другом. Но потом все разбрелись по машине и устроились как хотели. Я сняла перегородки между тремя креслами, подложила под голову три подушечки и, укрывшись пледом «Air France», проспала почти все время, что мы летели до Нью-Йорка. Это дало мне возможность безболезненно совершить переход на нью-йоркское время. Ибо, пролетев без посадки восемь с половиной часов, мы прилетели не в пять часов утра по московскому, как бы следовало, и не в три часа утра парижского, и отнюдь не 15 ноября, а по-прежнему 14-го, в 20.00, что ли, нью-йоркского времени, вечером.

(Я не знаю, куда девались эти восемь часов, что с ними сталось. Чтобы не мучиться от тошнотворной условности всего сущего, я предпочитаю не думать об этом своим бабьим умом.)

Когда я проснулась, мы летели над полыхающим океаном огней, простиравшимся за горизонт,— это были пригороды Нью-Йорка. Огни всех цветов, и местами они

создают маленькие цветные зарева. Кто не видел, не может представить себе прелести этого сияющего зрелища. И длилось оно долго, минут двадцать. Океан электрических огней! (Атлантического мы не видели, летя над тучами.)

Итак, был вечер. Мы снизились, спустились по лесенке на громадный аэродром. Едва сделали несколько шагов, к нам подошли встречающие: дама из госдепартамента, говорящая по-русски, ее зовут Екатерина Вильямовна, мы зовем ее миссис Кэтрин; затем американец Котен, когда-то работавший в СССР и хорошо говорящий по-русски,— он встречал Симонова; затем две переводчицы: старая madame Грант и молоденькая Наташа. И какой-то джентльмен в сером.

Было очень тепло. Всё оформили (джентльмен в сером) очень быстро и без нашего участия. Подошли еще встречающие — корреспондент «Правды» и какие-то люди с ним. Это всё друзья Симонова и Романовой, я никого не знала; потом уже корреспондент «Правды» дал мне свою карточку. Кэтрин усадила нас в машину, и мы поехали в отель «Интернациональ» (кажется, так?). Недалеко от аэродрома. Нас развели по комнатам. Я приняла ванну и заснула как убитая.

15 ноября

Проснулась в семь часов (уже по нью-йоркски). Оделась. В восемь часов зазвонил телефон, женский голос крикнул: «О'кей!» — это меня будили, чтоб не проспала.

Все мы спустились вниз. Лифт чудный: идет неслышно и мгновенно. Позавтракали. Первое знакомство с американской кухней: прекрасный кофе, блинчики, кленовый сок; остальное очень сытно, но невкусно. Жареные колбаски здесь поливают кленовым соком.

1960

У СТАРОГО ХУДОЖНИКА

В городе небоскребов и лифтов мы входим в невысокий дом, этажей в пять-шесть, и поднимаемся на самый верх по лестнице — лифта нет.

Лестница деревянная, края ступенек стерты: много по ним прошло ног, дом старый. И она такая узкая, что всхо-

дим мы гуськом, длинной вереницей, и идущему навстречу приходится жаться к стенке, а нам — к перилам, чтобы разминуться.

В крохотной передней нас встречает жена художника. У нее темные морщины, сгорбленная спина, узловатые руки висят тяжело и покорно. Удручающая смесь высокомерия и приниженности: пытается принять гордую осанку и цедит слова, и вдруг эти руки суетливо вскидываются — помочь нам снять пальто. Мы в смущении отклоняем помощь и в комнату, тесную от картин, вступаем смущенные. Я, впрочем, всегда цепенею, когда случается так вот входить в мастерскую, где чей-то созидательный дух уединился для труда. Всегда кажется, что пригласили нас только из вежливости и что каблуки наши слишком стучат.

Нам сказали, что человек, к которому мы идем,— ищущий, горящий, полвека отдавший искусству, и вот он к нам выходит, театрально отодвинув портьеру и приостановившись на миг. Худой, с впалыми щеками, легкий. Серебряные и тонкие, как паутинки, волосы разлетаются от его быстрых движений. Брови черные, мефистофельские, и под ними блеск черных глаз.

— Я рад. Прошу садиться.

Нет, это не только вежливость. Он взволнован. Приготовил картины, завалил этюдами большой стол. Вздыхает короткими нервными вздохами.

Картины — куда ни глянь. По стенам, на спинке дивана, буфете, подоконниках. Жилая комната, в ней едят, тут на диване спят, спали и плед оставили. И тут же мастерская — завешенный мольберт против окна, и табуретка измазана красками, и краской перепачканные тряпки. Когда он отодвинул портьеру, мелькнула кухонная полка с кастрюлями. Должно быть, квартира состоит из этой комнаты, кухни и передней.

— Пойдем от истоков, не правда ли? От того, что я писал еще будучи птенцом, мои первые шаги, это было тому назад... Эмили!

Жена подает ему маленькое полотно в золоченой почерневшей раме. Мы рассматриваем озеро с лодочкой и скалистый берег.

— Вы, может быть, скажете: банально? Если можно природе предъявить обвинение в банальности, то можно и мне... Это самое начало, моя заря еле брезжила, мы с Эмили были тогда в Швейцарии... Другие опыты того же периода. Лунная ночь. Наш дом. Мы снимали... Эмили!

Жена подает полотна.

—...снимали маленький дом Вот он в фас, вот он в профиль.

Черные глаза вопросительно бегают по нашим лицам, он хочет видеть наше впечатление, угадать наши вкусы.

— При внешней непритязательности этого наброска — воздушность красок, не правда ли, эта вздувшаяся занавеска... Рука моя крепла с каждым днем. На этом склоне, усеянном луговыми цветами, я устанавливал мой мольберт и писал. Я принимался за работу рано, трава была осыпана росой. А по этой дорожке мы поднимались к вершине. Впрочем, скоро я бросил пейзаж.

На пороге маленького дома стоит женщина. Корсаж со шнуровкой, чепец, молодое лицо. То же лицо без чепца, длинные волосы распущены.

— Этюд называется «Волосы Эмили». У нее были необыкновенные волосы...

Действительно необыкновенные. Изобильные, бурные — каскад живой жаркой силы. Достойные увековечения и любви.

Художник читает наши мысли.

— Да,— откликается он,— было время...

Было время. Его называют чистыми радостными словами: заря, исток. Было время, они жили в этом домике. Он писал, пристроившись на зеленом склоне. Она подходила по траве, осыпанной росой, взглянуть, что у него получается. То надевала чепец, то распускала волосы, чтобы радовать его и вдохновлять. И полна была веры и надежды.

— Мы вернулись в Штаты, я оставил пейзаж и перешел на *ню*. Лет пятнадцать я продержался почти исключительно на *ню*. Эмили!.. Купальщица. Серия купальщиц. После ночи любви. Меняющая рубашку. Нимфа. Нимфа. Еще одна нимфа. Вот очень строгая нагота — Эллада. А эта серия называется «Если бы ты никогда не носила одежды». Обнаженная за шитьем. Обнаженная чистит картофель. Обнаженная под зонтиком на прогулке. И так далее, сюжеты ясны. Это копии, оригиналы проданы, они продавались еще теплыми, из-под кисти, вы не представляете, какой успех, каждый магазин стремился выставить в витрине хоть один рисунок из серии «Если бы ты никогда...» Мы с Эмили снова предприняли тогда путешествие, мы были в Испании, вот испанский мотив — обнаженная с веером...

Обнаженные, строгие и не строгие, писаны давно. Нынче наготу пишут иначе. Пятнадцать, он сказал. За

пятнадцать лет женщина, несчетно раз здесь написанная, менялась. Еще не старилась, но становилась шире, грузней, словно ширококостней. Не раз это тело было испытано материнством. Эта грудь вскармливала детей. Грубели черты лица. Уже не распознать той нежной, с тонкими розовыми руками, но это она, на всех рисунках одна бессменно, и нимфа и Сафо, и картошку чистит она, и купается она, любовь, нянька, друг-товарищ и даровая натурщица.

Она подает мужу свои изображения и взглядывает на них равнодушно — привыкла? Или жестокое произошло отчуждение, разверзлась пропасть между той, все могущей, и этой согбенной? Или просто усталость, наморилась с кастрюлями за день, прилечь бы, а тут посетители?.. Среди банок и скрюченных тюбиков на табуретке пузырьки с лекарствами. Старость — это ведь в том числе и сердце, и сосуды, и поясница, и то, и се...

А художник все показывает, все говорит. И как бы его ни терзали волнения самолюбия — слова сходят с губ без запинки: заучены. Так же заучены движения жены. Известно, что́ сейчас понадобится, что́ заранее нужно вытащить из кипы. Выработано практикой. Мир всё больше жаждет духовной пищи. В поисках питательного продукта люди шуруют всюду, топают по выставочным залам и тесным чердакам.

Где дети? Они были. Почему нет их следа в ворохах картин, картинок, набросков? Может быть, воспоминание о них слишком болезненно? Убиты на войне? Умерли в детстве? Выросли, вырвались прочь, борются с жизнью вдали от родителей? А то — бывает — преуспели, зажирели, и голова у них не болит, как говорится? Дети, если вы преуспели, будьте людьми, у отца на старости лет рабочего места нету, разве может художник писать у этого окна, на которое соседний домина навалился своими пятьюдесятью этажами?

— ...После Испании была мертвая натура, я в нее ушел, как в монастырь, на много лет,— мой бог, сколько сил, нервов... И что же?! Вы не скажете, что это хуже Сезанна!

Он поднимает натюрморт, яблоки.

— Это темпераментней Сезанна! Такого мнения профессор Мальтра́, посетивший меня,— в каком году, Эмили, он нас посетил?

— В сорок девятом.

Натюрмортов еще больше, чем обнаженных Эмили. Когда он в них ушел, пылала ли в ней прежняя вера? Или, став мускулистой и ширококостной, она усомнилась?

«Не слишком ли много,— возможно, подумала она,— яблок и груш, и гитарных дек, и посуды, целой и в черепках, и нет чего-то, чего-то главного...»

Экспонаты в рамах исчезли. Рамы были золоченые, потом деревянные. Эмили под зонтиком была в широкой бархатной раме. И не стало рам. Не напастись.

— Эту композицию профессор Мальтра́ считает шедевром. Эффект достигнут тенью кувшина, разрезающего стол по диагонали...

«Вдруг таланта нет и не было никогда? Что же, призраку отдана жизнь? Мы умрем, и это никому не понадобится?»

А он что́ думает в свои бессонные ночи? Старость художника — это не сосуды, не поясница, бог с ними,— это беспощадное стояние лицом к лицу с несвершенными замыслами; с сознанием, как не похоже то, что сделал, на то, что хотел сделать. Замахивался на одно, получилось почему-то другое. И уже нельзя начать сначала, некогда доделывать, переделывать. Что написал, то написал, что есть, то и останется... Сколько стариковских кряхтений, обид, бессилия, покаянных слез вобрал в себя ветхий плед, брошенный на диване?

Но об этом не говорят никому. Даже Эмили.

— ...дань импрессионизму. Мы в интерьере, он подразумевается, и смотрим в окно. Верхние огни — отражение люстр, висящих в подразумеваемом интерьере. Огни внизу — огни улицы, видимые нами сквозь оконное стекло.

«Есть, есть талант,— думает она.— Ужасно подозревать, будто его нет и не было. Вы, пришедшие соприкоснуться, могли бы написать эти огни? Вы их даже увидеть не сумели бы, если б он вам их не показал! Ты мой гениальный, не зря мы с тобой голубым утром пошли за руку к вершине по той дорожке!»

Она надменно поднимает на нас увядшие глаза.

А художник положил руку на груду рисунков торжественно, как бы приносит присягу:

— Вы видели! А теперь я говорю вам: то, что вы видели,— давно прошедшее, несовершенное! Я демонстрировал это все, чтобы показать, как несовершенно я писал прежде чем... Эмили!

И он возносит перед нами пестрые четырехугольники, один за другим. Потоки цветных пятен. Толчея цветных пятен. Толчея за толчеей! Желтое, серое, красное, синее,

блики, блики, блики, текучие тела, взболтанные яйца, взорванные шары. Почва уходит из-под ног. Хочется ухватиться за ручки кресла. Минутку! Хоть отделить одну толчею от другой толчеи! Что-нибудь закрепить в памяти! Хоть на мгновение, если больше нельзя!.. Художник гневается. Накаляется яростью. Каждый взмах его руки полон ярости, взлетают волосы, сейчас он обрушит весь этот хаос на наши головы.

— Скажете — хуже Кандинского?! Повесьте рядом с Кандинским и увидите!!

«Но успех был только раз,— так, возможно, думает она,— один раз, очень давно, у нас был успех и были деньги, и принесла их моя нагота, только соблазн моей наготы, и больше ничего».

Художник обращает на нее сверкающий взгляд и говорит, еще повышая голос:

— А кто был признан при жизни? Кто? Кто?! Несколько избранников счастья, которых можно сосчитать на пальцах!

Потом он говорит:

— Всё.

И плечи у него опускаются.

И весь он — выдохшийся, изнеможенный.

Всё.

Мы поблагодарили, тихо оделись в передней и сошли по узкой стертой лестнице.

Вышли на улицу. Американское небо мчало над нами свои сумасшедшие зарева. Взрывалось, кувыркалось, взбалтывалось, текло желтое, красное, синее. Как Петрушка из-за ширмы, выскакивал — а я вот он! — и исчезал электрический крест, реклама молитвенного дома.

Мы шли и молчали сперва, а потом, по привычке, обсудили вопрос. Когда на нас не смотрели живые страдающие глаза, мы были храбры в суждениях.

— Плохо всё,— сказал один такой лихой храбрец.— И масло, и карандаш, и пейзажи, и натюрморты, и то, о чем он сказал — повесьте рядом с Кандинским.

— Не то чтобы совсем плохо,— снисходительно сказал самый образованный,— но несамостоятельно, подражательно и потому не представляет интереса.

— Чего там подражательно, не подражательно,— сказал третий, решивший не уступать первому в лихости, а второму в образованности.— Дело ясное: холста много, бумаги много, есть, пожалуй, горенье, есть метанья, таланта нет.

— Вот вы какой приговор вынесли,— сказал четвертый.

— Притом окончательный,— сказал третий самодовольно.— Не подлежащий обжалованию.

— Что говорить, бедняга,— сказал пятый.— Если и есть способности, то не такие, чтоб оставить след в искусстве.

— Это еще что? — спросил четвертый.— Какой тут нищий духом сумеет называть беднягой человека, прожившего в искусстве жизнь?

— Да я ничего,— сказал, устыдясь, пятый.— Я так просто.

— То-то,— сказал четвертый.— Что ж, что не талант. Что ж, что только способности. Всё равно он живет на высотах, куда самодержцы смотрят с ревностью.

Первый и второй тоже устыдились и стали говорить, как, действительно, прекрасно быть даже маленьким художником, плачущим по ночам под старым пледом.

Ночью поплачет, а утром встанет, возьмет свою кисть и краски и опять увидит себя громадным, мощным, дарящим радость людям. Голову свою увидит в сиянии.

Пусть и не орел — всё равно парит на орлиных крыльях.

Любую боль можно выдержать в парении.

А если еще несет он на крыльях подругу, преданную до гроба...

Что ж, если иной раз изнеможет и усомнится подруга, добавляя боль ко многим болям. Усомнится, и тут же воспрянет, скажет: ты мой гениальный! — и надменным станет взор. И парят себе дальше.

1964

США, НЬЮ-ОРЛЕАН, УЛИЦА БУРБОНОВ

Еще светит солнце, но на улице Бурбонов уже стоят зазывалы, хватают прохожих за рукава, тянут в узкие двери. По обе стороны улицы эти двери, за каждой дверью бар, в каждом баре джаз. Улица Бурбонов — улица джаза.

Некоторые бары держат танцовщиц. Фотография у входа изображает девушек в испанских костюмах и балетных юбочках. Зазывала вскрикивает резким голосом:

— Эй! Дружище! К нам! Новые герлс, ты ими еще не любовался, дружище!

Во второй половине ноября в Нью-Орлеане тепло, люди одеты в пиджаки и легкие платья. Южный вечер сваливается сразу, без подготовки, без сумерек на старинные дома с решетчатыми балконами, похожими на черные кружева.

Мы входим в бар, четверо иностранцев, русских. Нас проводят в глубину длинной комнаты, узкой, как кегельбан. Во всю ее длину — барьер, слева, за барьером, столики для посетителей, справа эстрада в глубокой нише. Ниша обита красным и ярко освещена. В баре полутемно, еле горят тусклые лампочки в виде звездочек, в табачном дыму оплывают на столиках свечи. В полумраке посетители потягивают коктейли и проворными тенями движутся официантки, и только раковина эстрады пылает, как красный вертеп.

Герлс нет в этом баре. В красном вертепе трудятся четыре музыканта. Их инструменты — кларнет, саксофон, рояль и какой-то сложный агрегат, я не знаю названия, он обладает способностью воспроизводить самые различные шумы, от адского визга до грохота, напоминающего о космических катастрофах. Четыре музыканта трудятся в поте лица, красный пот течет по их немолодым, озабоченным лицам, они не актеры, не лицедеи, они просто музыканты и не стараются прикрыть улыбками свою озабоченность. Конкуренция тяжкая — сколько таких крохотных музыкальных коллективов шумит сейчас на улице Бурбонов, и сколько музыкантов не у дел, без работы, согласных играть где угодно и что угодно... Четыре музыканта в пылающей нише стараются изо всех сил. Время от времени кто-нибудь из них выходит вперед, к микрофону, и исполняет песенку. Именно исполняет, а не поет: так старательно он это проделывает и так мало у него голоса. Голоса, собственно, вовсе нет, но остальные трое дружно аплодируют, восклицая:

— Да, вот это пение! О, молодчина, как он спел! — и этим поощряют слушателей к аплодисментам.

«Я хотел бы умчать тебя на край света»,— поет один. «Я чувствую грусть, когда не вижу тебя»,— поет другой. «Нет границ моей любви»,— усердно поет третий, приблизив рот к микрофону. После каждой такой песенки, почти неотличимо похожей на предыдущую,— новый взрыв грохота, скрежета, лязга, разрывы бомб и вой обезумевших пил.

Dream room, называется бар. Dream room? Мы переводим этак и так. Комната сновидений. Комната грез... Выходит пятый, негр в красном пиджаке. Он танцует. Непонятно, как он устроен, его конечности гнутся во все стороны, подошвы не касаются пола, для него не существует закон притяжения, это скорее фокус, чем танец. Ему хлопают — он не кланяется, не улыбается, продолжает танцевать. Музыканты ускоряют темп, и негр ускоряет темп. Музыка все бешеней, и негр пляшет бешеней, ему это словно бы ничего не стоит, он врос в музыку, он одно целое с этой бешеной музыкой — он, и его колени, и его подошвы,— и кто скажет, что когда-нибудь он умрет во время пляски от разрыва сердца,— и лицо у него скорбное и надменное.

И пришла та, которая в высочайшей степени сумела это всё оценить, пережить сполна, восхититься каждой клеточкой своего естества. Это была рослая девушка с белокурой завитой головой, в черном платье и дешевых украшениях. Она стала у столика и горделиво оглянулась кругом, как бы спрашивая: да вы замечаете или нет, какая я нарядная? Что-то сельское, неискушенное было в ней, несмотря на завивку и все эти цацки. Они сели рядом с нами, за соседний столик,— она и ее спутник, скромный молодой человек в темном галстуке и гладкой прическе. Им подали коктейль, но девушка не стала пить. Положив на стол большие рабочие руки в копеечных браслетах и кольцах, она обратила к эстраде свое доброе простое лицо. Так и написана была на ней вся ее жизнь: как она работала целый день этими вот большими, сильными руками, так же старательно и озабоченно трудилась, как эти музыканты,— а вечером надела выходное платье, купленное на заработанные деньги, разукрасилась, как могла, и пошла веселиться. И такая доверчивая готовность ко всякой радости, какую ей предложат, была на ее лице.

— О, Томми, смотри! Смотри, Томми! — вскрикивала она и хлопала отчаянно, уверенная, что ей предлагают самое отменное... Молодой человек стеснялся; тихим голосом он говорил ей что-то, пытаясь утишить ее восторги,— она не слушала.

— О, похлопай ему! Смотри, что он делает... Браво! — закричала она вне себя, подняв руки над головой. Багровое зарево эстрады красило ее руки и волосы в розовый цвет. Конечно же, для нее это была комната грез, вместилище райских снов! Они знали, что делали, когда называли так свое заведение и вешали эти звездочки.

И понимая, что здесь присутствует самое главное лицо,

почитающее их искусство как никто другой,— музыканты пришли в раж и превзошли себя в стараниях и грохоте, и негр превзошел себя, он у нас на глазах стал буквально разламываться на куски.

Он разламывался на куски, а губы у него стали синими, и он танцевал, танцевал, танцевал, и уже у зрителей болело сердце от того, что он танцует так долго и не перестает, а он и музыканты, все они впятером, надрывались, чтобы доставить как можно больше ликования девушке в цацках. И уже другие зрители совсем изнемогли, а она все ликовала и ликовала.

Только когда она устала кричать и хлопать и ее озаренная голова опустилась на руку, те пятеро прекратили свое безумство. Негр ушел, а тот, что с кларнетом, подошел к микрофону и спел песенку. «Спокойной ночи,— спел он,— помоги тебе бог!» И девушка, усталая, сонно хлопнула в ладоши и улыбнулась, и молодой человек в темном галстуке увел ее из бара.

Мы тоже вышли на неширокую, освещенную цветными рекламами улицу Бурбонов. Из всех ее дверей гремел, визжал, мяукал джаз. Зазывалы в клетчатых ковбойках стояли у дверей. Мы обогнали ту девушку. Она шла, тяжело ступая на каблуках-шпильках. У нее была широкая спина и стриженый крепкий затылок, ее Томми казался мальчиком рядом с ней Она шла и напевала. «Спокойной ночи,— напевала она бездумно,— спокойной ночи, помоги тебе бог».

1960

ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО

Прощай, дивчина, карие очи!
Еду в чужую сторону.
Песня

— Доброе утро! Вы уже завтракали?

— Доброе утро! Я позавтракал, иду за аппаратом, выходите на улицу, будем сниматься!

Это мы с товарищем перебросились словом, разминувшись в коридоре чикагской гостиницы.

Очень старая женщина, катившая мне навстречу столик с бельем, остановилась.

— Боже ж мий! — сказала она.— Русские!

— Так,— ответила я.— А вы украинка.

— Сердце мое, с Полтавщины! — вздохнула она тихо-горестно.— Советские. Бачу. Бывали на Полтавщине?

— Бывала...

Передо мной проплыли, дыша и светясь на солнце, цветущие вишни. Цветущие вишни прежде всего увидела я. Потом белые хаты, аиста на соломенной крыше и в мокрой траве левады криницу с черной глубокой водой.

— С Полтавщины я. Вот куда занесло меня лихо...

Она облокотилась на столик. Белоснежными стопками лежало белье на полочках столика. А руки у старой женщины были темные, как земля.

— И не приснилось бы никогда, что придется доживать — где? В Чикаго! Вы подумайте, ну що мени оце Чикаго?

— Как же так, бабусю, получилось, почему?..

И стоя со мной в этом длинном, как проспект, коридоре, освещенном лампами дневного света, она рассказала, как это получилось.

Может, я передам ее коротенький рассказ не очень связно. Да и она о связности не заботилась. Просто жалоба пролилась из сердца — обязательно ли жалобе быть связной?

...Была ночь — давно, в сорок третьем году. Не то в конце августа, не то в первых числах сентября — черная жаркая ночь без звезд, без зарниц. Накануне очень странный был случай в селе: вдруг, средь бела дня, в туче пыли прикатила машина, остановилась на площади, где был магазин, полиция и управа, и с машины радио заиграло «Катюшу». Услышав родную музыку, из дворов побежали на площадь жинки и дети и самые старые старики, спрашивая на бегу друг у друга:

— Це вже наши прийшли? — Потому что со дня на день ждали, что немец уйдет, и гадали, как это будет; ложились на землю и прижимались к ней ухом, слушая, как гремит где-то битва; и агрономша Ганна Борисовна пешком ходила в Харьков и принесла за лифчиком советские газеты, там напечатано было, что скоро всему этому край... Когда на площади заиграли «Катюшу», все подумали — вот оно, слава богу, сделалось дело! — с легкостью, без стрельбы, и новый хлеб не успел немец вывезти,— с музыкой возвращается жизнь, так подумали.

Пока бежали к машине, музыка замолкла. Радио

прокричало, что немцы выгнаны из Курска и Орла — это уже известно было из агрономшиных газет,— что Муссолини больше не у власти и итальянцы немцам не союзники — а вот этого в селе не знали. Прокричав, машина зарычала и унеслась в пыльной туче. Что за машина, почему полицаи ее не задержали, даже не высунули носа из полиции,— не понял никто. Посмотрели вслед и разошлись, веруя в близкое избавление. Тот день как праздник был.

А после него наступила черная ночь. Спало село, и та спала, что рассказала мне это. И сквозь сон послышалось ей — кто-то едет мимо хаты. Едет, едет, никак не проедет. Медленно ворочаются, поскрипывая, колеса, колеса... Села, прислушалась — окна были ставнями закрыты крепко: так и есть, едут. Набросила юбку, кофту, босиком вышла во двор, подошла к тыну. На улицу после десяти часов запрещалось выходить, она глядела через тын. Сначала ничего не видела, только слышала: катятся колеса, дышат лошади; кашлянул кто-то; дитя заплакало; стрекоча по-пулеметному, мотоцикл проехал, немецкий раздался окрик...

Потом пригляделись очи к черноте, на черном небе различила движущиеся черные горы клади и черные фигуры людей, сидящих на клади, безмолвно куда-то едущих. Воз за возом, воз за возом... Когда разрывалась их вереница, было видно, как по ту сторону широкой улицы попыхивают папиросные огоньки: там тоже стояли за тынами, курили, смотрели.

— И такая у меня была тоска, мов то судьба моя черная ехала.

Так одни стояли всю ночь, не вправе выйти и спросить ни о чем, а другие ехали всю ночь, не вправе ни вернуться, ни остановиться, ни возвестить о своей беде.

Кто его знает, как секреты известны становятся,— когда проехали возы и стало развидняться, в каждой хате уже знали твердо, что это Сумскую область погнали немцы, отступая, с собой в Неметчину.

Увидели люди, что ничего им с легкостью не будет. Стали закапывать имущество в землю и обсуждать между собой, где лучше сховаться, в лесу или в кукурузе, она еще стояла неубранная,— чтоб их не угнали.

Но были робкие и смирные, боявшиеся поступать по своей воле,— крикнули на них, они посидали на возы и поехали, плача.

И эта женщина поехала с двенадцатилетней дочкой. Дочка была рожденная поздно, между молодостью и старостью, от короткого печального супружества, единственная, голубочка.

Немного их выехало из села. Большая часть ушла в лес или в кукурузу. А пустое село немцы подожгли.

Соломенные крыши пылали красно, жарко... Ехали робкие и, оглядываясь, видели, как вся их жизнь за нними сгорает огнем.

Многие из них в дороге ожесточились и осмелели и побежали обратно на свои пепелища, пользуясь тем, что у немцев в отступлении началась сумятица и хваленой ихней организованности пришел капут.

А женщина с двенадцатилетней дочкой так и не переборола свою робость и продолжала ехать.

С воза пересадили ее на грузовик, с грузовика — в железнодорожный вагон. Из страны в страну ехала, попадала и под бомбежки, и в крушения, но из всего вышла невредимой.

В каждой стране были нужны ее терпеливые сильные руки, и она этими руками работала.

В Германии развалины прибирала.

Во Франции развалины прибирала.

Опять ехала, на пароходе, долго, по громадным, ужасным волнам. В Америку приехала.

Из страны в страну. Только домой вернуться не смела. В газетах писали здешних — советская власть страшно на нее сердится за отъезд; как вернется — в тот же час в тюрьму вместе с дочкой.

После узналось — брехали газеты. Да узналось поздно: дочка замужем за американцем, двое детей, третий будет,— бросить их?..

— Бросила бы. Бо немае мени тут життя. Чужое оно все, на что б ни подивилась!

— О боже, рождество скоро и Новый год, а сне́га и не было... Санта-Клаусы по улицам ходят в червонных колпаках... Елки из нейлона зроблены... У нас хлопцы и дивчата колядовать пойдут... Знаете, как колядуют?

Как же: чуть, бывало, начнет смеркаться, уж слышно — хрустит снег под окнами, стучится маленькая озябшая рука, просят голоса:

— Пустить колядовать!

Коляд, коляд, колядни́ца,
Добра з медом паляни́ца,
А без меда не така́,—
Дайте, дядько, пьятака!

И давали ребятам — кто пирогов, кто кусок колбасы, кто сала. А не пустит хозяйка в дом и гостинцев не вынесет — ей в отместку поют под дверью:

У дядьки-дядька́
Дя̑дина гладка́,
Не хоче вставать,
Колядки давать!

И с счастливым звоном улепетывают по визжащему серебряному снегу...

Сейчас, возможно, вывелись колядки, не знаю. Как вывелись многие другие обычаи, христианские и языческие. Как старинная одежда вывелась. Много перемен в наших селах, что украинских, что русских. Но пусть в памяти старой женщины живет все до капли, что ей дорого.

— А в богатый сочельник мы варили борщ, и чтоб он не был вдовец — готовили ще жареную рыбу, або кисель добрый из вишен, из слив... А на рождество бывала у нас свинина с капустой и холодец свиной, и коржики сдобные, и пироги с маком... А когда я молодая была, всегда мы, дивчата, под Новый год гадали: бро́сали за ворота сапог або валенок, клали гребешок под подушку, бумагу жгли на сковородци и на тень дивились... А тут хиба рождество, хиба тут Новый год!

Это не очень справедливо: зимние праздники празднуются в США многошумно, капитально. Мы прилетели [redacted] средине ноября, до рождества оставалось почти полтора месяца, но подготовка к нему уже началась. Через месяц она достигла высшей своей точки. Мне понравились иллюминированные деревья на чикагских улицах: обнаженные осенние деревья были унизаны тысячами маленьких, неярких электрических огней и в бледных нимбах шеренгами убегали в даль улиц. Но не деревьям принадлежит главная роль в этих делах.

Главная роль принадлежит магазинам. Рождество [redacted] США — триумф галантерейной, игрушечной и всякой иной дребедени, стандарта, хлама, грошового блеска, живущего один день. Ни [redacted] какой другой сезон так не нажиться на хламе, потому что традиция велит американцам делать на рождество подарки. Все дарят всем. Члены семьи преподносят друг другу подарки. Знакомые преподносят друг другу подарки. Реклама в журнале: муж и жена с радостными лицами сидят за столом, в руке у мужа пачка долларов, доллары улетают прочь длинной стаей, муж и жена улыбаются, показывая зубы: «Мы не жалеем денег на рождественские подарки!»

Уважающие себя магазины держат специально рождественских зазывал. Куда ни пойдешь, всюду вдоль небоскребов похаживают Санта-Клаусы, по-нашему Деды Морозы. Среди занятых, торопливо идущих людей, одетых в скромные цвета — в серое, черное, коричневое, людей гладко бритых и однообразно подстриженных, эти Деды Морозы, или Санта-Клаусы, бросаются в глаза своей неприкаянностью, своими петушино-красными колпаками и белыми вспененными бородами из пакли. В руке у деда колокольчик. Позванивая им, дед напоминает прохожим об их обязанностях. Позаботился ли ты, прохожий, [redacted] рождественских подарках для родственников? Для друзей? Для добрых соседей?.. Кадры Санта-Клаусов черпаются из безработных и студентов, желающих подкормиться на этом пире коммерции. Работа не тяжелая, но противная.

Сотни тысяч мужей и жен толкутся в гудящих универмагах. В небесах и на земле сияют слова: «Спешите купить подарки! Скорей! Позаботьтесь [redacted] вашем завтрашнем дне: всё дешевое будет раскуплено!»

«Дорогая леди, если вы купите у нас дюжину чулок, тринадцатую пару вы получите бесплатно».

«Покупайте подарки [redacted] магазинах Лернера!»

Что ж, кто-то так привык, и душа его лежит к этой жизни.

Но что здесь полюбить старой женщине, пришедшей из великих просторов нашей страны? «Що мени оце Чикаго?» Сквозь грохот чужого мира несет она в себе другую любовь.

— ...А белье у нас прали в речке. Пойду на Псел, [redacted] гуси мои за мной: га-га-га!.. Выполоскаю и на траве расстелю, в хату внесешь — оно сонечком пахнет и воздухом...

О старое дерево, пересаженное в Чикаго с Полтавщины, все твои корни остались там...

— ...Что вы думаете, не можу научиться по-мерикански. Внуки как начали говорить, то сразу на мериканськом языке. Дочка́ выучилась. А я — ну что: ну, гуд найт; гуд монин; тэнк ю вери мач — то значит мерси, спасибо вам, дякую; плиз — будь ласка, пожалуйста. И все почти. Они балакают, а я как глухонемая...

— Ни, бросила бы! Так вот моя доля: зять, мериканец, пьет дуже. Совершенно как мой покойный чоловик, ника-

кой разницы. Як бы я на них не заробляла грóши, они б пропали, дочкá с внуками. Мне семьдесят четвертый год; уже до смерти работать и на себя, и на них.

— Еще спасибо, тэнк ю вам вери мач, что лифт. Нажмешь кнопку и едешь. Вот только коридоры эти ногами вышагивать...

По коридору шла молодая негритянка в передничке и наколке. С любопытством осматривая нас быстрыми круглыми глазами, сказала старой женщине:

— Гуд монин, мэм.

— Монин, монин,— устало отозвалась украинка.— Ну, дай вам бог всего, заговорилась я...— сказала она мне и покатила дальше свой столик.

1964

ИЗ ПИСЬМА

В Италии мы пробыли тринадцать дней. Для меня это много: чрезмерное изобилие знакомств, улиц, статуй, картин, пейзажей, новых слов. Получается теснота в голове и в душе — накатывает, захлебываешься... Я сбегáла с заседаний, чтобы незаконно провести полтора-два часа в музее, потом опять возвращалась слушать речи. Не берусь рассказать всё по порядку. Просто несколько впечатлений.

Прежде всего — что за заседания. Это, ты знаешь из газет, во Флоренции происходит конгресс Европейского сообщества писателей. Съехались писатели двадцати шести стран, двадцать шесть знамен стояло за столом президиума. Заседали в Палаццо Веккио, старом дворце Медичи. Там на стенах герб Медичи: шесть яйцевидных пилюль, расположенных овалом, вверху синяя, остальные красные, выцветшие за столетия; предки этих некоронованных владык были лекарями, медиками... Сейчас в Палаццо Веккио — мэрия и разные городские учреждения. Живется им холодно: топить нельзя, испортятся фрески. Мы сидели на заседаниях в пальто.

Вопрос обсуждался актуальный — для всей Европы, для нас тоже: большая литература должна прийти на помощь кинематографии, радио, телевидению; должна вдунуть в них жизнь и мысль. Ораторы говорили об этом на разных языках. В стеклянных будках переводчики трудились в поте лица. В кулуарах шла обычная съездовская жизнь — знакомились, просматривали газеты, фотографировали, интервьюировали, это был нормальный двадцатый век. А на лестнице стояли алебардщики в белых куртках с красной каймой, одна штанина красная, другая белая в красную полосу, сапоги с раструбами, алебарда в отставленной руке: будто прямиком пришли из спектакля «Ромео и Джульетта». А в вечер, когда мэр устраивал делегатам прием, по фасаду дворца пылали глиняные плошки...

Видишь ли, она такая, Италия. Она поднимается из разрухи, в которую ее загнали фашисты и которую мы так основательно изучили по неореалистическим фильмам. Она строит машины и дома, у нее хорошие дороги и заботливо возделанные поля. В ряде ее округов управляют коммунисты, пришедшие к власти по выборам, они вносят в жизнь новые начала — но в то же время Италия чтит и охраняет свою старину. Не только драгоценные произведения искусства, но и просто — старые камни, обветшалые стены, седые обломки своего надменного и бурного прошлого.

И знаешь, мне нравится, что посреди сегодняшнего Рима высятся развалины Рима древнего. Что какая-то стена, которой тысячи лет, соприкасается с современным и превосходным вокзалом Термине. Что там и сям на горах — старинные замки и крепости, и их берегут. Что из-под земли выкапывают древние города,— так проездом мы видели раскопки Остии, портового города; через него шла когда-то вся торговля Италии с Востоком,— теперь-то море отступило от Остии на пять километров...

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал...

Это из итальянских стихов Блока, я их сейчас читаю совсем иначе, чем прежде. Я, например, поняла — раньше не понимала,— почему он написал: «Флоренция, ты ирис нежный». После нескольких непогожих дней — Флоренция нас встретила дождями и гриппом,— вдруг во второй половине дня проглянуло солнце, и мы поехали в Фьезоле, городок повыше Флоренции. Асфальтовая дорога, завиваясь, подымалась в горы, вдоль дороги шла невысокая, крепко сбитая ограда из темного полированного камня. Солнце то пряталось за тучи, то, снова выйдя, широко и могущественно заливало всё вокруг. И вот что такое итальянское солнце. Коснувшись темной каменной ограды, оно превращало ее в полосу расплавленной красной меди — да, струя красной меди текла вдоль дороги, слепя глаза! Потом солнце стало закатываться. Из-за поворота выбежала надпись на столбике: Фьезоле. Мы вышли из машины и взглянули вниз. В обширной долине, в чаше невысоких плавных гор, лежала Флоренция со своими куполами, башнями, вьющимися улочками, просторными площадями, окаймленная масличными рощами и вино-

градниками, сбегающими к ней по пологим склонам,— такая лежала старинная, все на свете видевшая, и такая вечно юная и светлая, будто не видела, не знала ничего злого, только то и делала, что давала солнцу озарять себя и лелеять да копила сокровища духа человеческого, низала их как жемчуг, жемчужину и жемчужине... Закат клонился за горы, Флоренция завернулась в туманы: сначала в белый, потом в светло-лиловый. Как ирис нежный, лежала она в своей чаше. Как ирис нежный.

Помнишь последние строчки стихотворения «Фьезоле»:

Не так же ли стучал топор
В нагорном Фьезоле когда-то,
Когда впервые взор Беато
Флоренцию приметил с гор?

Мне казалось, что это окончание небрежное и случайное, что Блок мог бы заменить его любым другим, мог и продлить стихотворение — оно, казалось мне, не дописано... Надо было самой туда подняться, чтобы убедиться счастливо и смиренно: когда взору Беато Анжелико открылась с этих гор Флоренция — дальше писать уж нечего, ни в стихах, ни в прозе; дальше великий художник остается в молчании наедине с увиденным им чудом.

На картинах Беато Анжелико — кроткие лица, воздушные краски. Восхищенные современники сочинили комплимент, будто краски ему растирают ангелы, современники думали этим польстить художнику... В монастыре святого Марка — в нем был настоятелем Савонарола — Беато Анжелико каждому монаху, в каждой келье написал небольшую фреску. Сейчас там музей. Входишь по билету во внутренний дворик, мощенный камнем, во дворе каменный колодец и одно большое старое дерево, вокруг двора, на высоте второго этажа, крытая каменная галерея. Я представила себе, как по этой галерее прогуливаются, перебирая четки, коричневые монахи, а где-то там, в келье с маленьким окошком, забранным решеткой, Беато Анжелико трудится над фреской, растирает свои небесные краски... И все они умерли. Кто на костре — Савонарола, кто своей неприметной смертью, но все, все умерли, истлели, исчезли со своими страстями, враждой, кровавыми интригами, и осталось только прекрасное, что создано трудолюбивыми творцами. Их творений полна Италия, вдохновенная прелестная страна.

И люди там прелестные... Нет, я, конечно, знаю, что всюду есть добрые и жестокие, пламенные и равнодушные, честные и продажные, но мне в эти две недели все как-то больше попадались славные люди, и я полюбила их живость, приветливость, незлобность, простоту, их музыкальность, их артистизм.

Мне кажется, что глубочайшая причастность этого народа к искусству наложила на него особый отпечаток, так же как и благодатная природа страны. И эту печать не смогли вытравить все страдания, выпавшие на их долю.

У них очень привлекательные женщины. У них красивы даже не очень красивые женщины. В гостинице «Минерва» была уборщица. Высокая, худая, уже не молоденькая. И вовсе не красивая. Но с такими огненными, говорящими глазами на оживленном смуглом лице, ничем не подкрашенном, не украшенном. С такой грацией движений, с глубинным горячим голосом. В мягких разношенных туфлях на длинных, смуглых, прекрасных босых ногах шла она по коридору, как королева; неподражаемо подбоченясь, роняла в лестничную клетку: «Марчелло!» — «Ге!» — лениво отзывался снизу некто, шаркающий щеткой по башмакам в утренней тиши... Она была прекрасна. Знала ли она об этом? Должно быть, да: она была так уверена в себе и неподдельно доброжелательна.

Очень миловидна была хозяйка траттории, где мы однажды ужинали. Пышная и томная, она ходила откинувшись назад, тяжело ступая,— она ждала ребенка. На ней было множество дешевых блестящих украшений — в ушах, на руках, на вязаной кофте, она сверкала и переливалась при каждом движении, а лицо было мягкое, девичье, задумчивое, с мягкими карими глазами, волосы целомудренно причесаны на прямой пробор, и взгляд далекий, обращенный в себя... Мы зашли в эту тратторию вместе с польскими делегатами конгресса. Шли гуськом по выщербленным тротуарам, узкими флорентийскими улицами, старые каменные дома стоят по сторонам улиц сплошной стеной, мы касались их плечами, проходя,— такие там узкие тротуары. Дождь моросил, фонари горели редко. А в маленькой траттории было светло, опрятно побелено, тепло от большой плиты, на которой готовились кушанья.

Хозяйка отвела нас в боковую отдельную комнатку, обмахнула стол салфеткой, принесла меню, кликнула официанта.

Человек средних лет, в белой куртке, расставил посуду и откупорил бутылку вина в соломенной плетушке. Пока за нашим столом шла громогласная славянская беседа с взрывами хохота, этот человек проворно и бесшумно протискивался между стеной и спинками наших стульев, разносил тарелки с макаронами и овощами, резал сыр, и его спокойно-добродушная улыбка не привлекала особого нашего внимания — мы уже привыкли, что итальянцы вообще добродушны и охотно улыбаются... Как вдруг он обратился к тому нашему товарищу, который свободно говорит по-итальянски и служил в нашей компании переводчиком, и заговорил быстро, таинственно и страстно. Что-то он рассказывал, двигая руками и бровями, поводя плечами, а мы слушали не понимая и удивлялись его возбуждению.

Когда он замолчал, наш товарищ нам перевел, что этот официант воевал когда-то в России и в Польше, испытал всё, что положено испытать рядовому солдату армии, разбитой на чужой земле, за тысячи километров от родного дома: попал в плен, после возвращения мыкался и нищенствовал с семьей много лет,— «сейчас вот служу, как видите...» Он уловил в нашем разговоре русские и польские слова, которые слышал когда-то. Он хотел бы пожать нам руки, и чтобы мы забыли, как он шел с автоматом в наши страны, он шел и плакал, ему вовсе не хотелось воевать, честное слово. И семья плакала и говорила — куда ты идешь?

— О, какая была зима, синьоры, какая немилосердная зима...

О, та зима! Он сказал, и меня пронзила та железная стужа. И, словно это было вчера, вспомнился поезд, отходивший в декабрьский вечер сорок первого года от станции Знаменской. Впотьмах, на ледяном ветру, ожесточенный холодом и горем, лез в теплушки народ. Совал мешки, совал плачущих детей. В той теплушке, куда попала я, горел фонарь на стенке и ехали четыре итальянских солдата. Не сговариваясь, люди сворачивали подальше от них, сбивались в кучу в другой половине, не в той, где ехали неприятели, захватчики; и те остались окруженные пустотой, изолированные, вроде бы на сцене перед публикой. Трое из них стояли, прислонясь к стенке, выбивая ногами дробь. Четвертый сидел, съежившись, пряча лицо. Шинели на них были тонкие, мятые, бог знает из чего. Ботиночки под стать — в тридцатиградусный мороз ботиночки — и жалкие обмотки. Головы они закутали каким-то тряпьем,

кто на манер капюшона, кто на манер чалмы. Из тряпья торчали посиневшие носы. Народ рассматривал их со вниманием. Переговаривался:

— Немцы, небось, не так одеты.

— А як же. В валенки пообувалысь.

— А эти, значит, и так хороши.

— Эти и так хороши.

Скрипя и лязгая, тащился поезд. От людских дыханий вагонные стенки обросли инеем, как белым плюшем. Шатался в фонаре огонек. Женщины, сидя на своих сундучках, молча и скорбно качали детей на расставленных коленях... Вдруг слышим: поет кто-то. И не один голос, а несколько. И не по-нашему поют. Не поверилось даже: это полузамерзшие итальянцы пели. Грустно им, что ли, стало до невозможности, вспомнилось ли что-то, что́, кроме как пением, ничем нельзя выразить? Каждый пел свое, для себя, для своей души; насколько можно было расслышать — хорошо пел, со знанием дела. И так странны были эти фигуры с нелепо укутанными головами, с руками, судорожно засунутыми в рукава шинелей, с тонкими ногами, выбивающими дробь,— поющие что-то сладостное и высокое в заиндевелой теплушке, которая везла их — куда? — скорее в смерть, чем в жизнь. Скорее всего в смерть.

Я это вспомнила, глядя на официанта в флорентийской траттории.

Еще вспомнилось, что рассказывали сагайдацкие женщины в сорок третьем году, во время великого разгрома вражеских войск на Волге: как шли через Украину, пробираясь на родину, итальянские солдаты. Проваливались в снег, просили хлеба по дворам.

— Почему думаете, что на родину?

— Кажуть — до дому. Та й видно: ни оружия у них, ничого. Як слипцы. Пи́шки тикають. Пытаем — видкиля? Кажуть — Сталинград.

— А не румыны? Куда ж пешком до Италии.

— Кажуть — итальяно. Мы показываем — дуже вам далеко идти. Показывають — байдуже, дойдем. Смиються. А сами — боже ж мий! — аж сини з холоду. Аж чорни.

Это было за полгода до падения Муссолини. Итальянская армия кончала свой путь сквозь русские метели и огонь «катюш».

— Пытае — як тебе звуть. Ну, Мария, кажу. Вин каже — це гарно. У него, каже, там в Италии теж Мария...

И святые наши бабы выносили из хаты хлеб, совали черномазому дезертиру: на, поишь, чого с тобой робить, иди вже до дому!

Мы подняли рюмки и чокнулись с официантом за то, *чтобы с нами этого никогда больше не случилось.*

Чтобы мирно колосились поля, наши и ваши. Чтобы впредь и вечно мы приезжали друг к другу только знакомиться и глядеть — что у вас хорошего? а что у вас? — да толковать о таких материях, как книги, кино, телевидение... Чтобы для жизни, а не для смерти рожали детей ваши и наши Марии...

1962

ИЗ ЗАПАСНИКОВ ПАМЯТИ

О ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПАМЯТИ

Летом 1931 года я с мужем и детьми поехала в Шиша́ки, село в Полтавской области, на реке Псёл, тут я эти Шишаки увидела впервые и сразу очаровалась и влюбилась. Впоследствии это село с его речкой, лесом, сосновым бором, белыми хатами и вишневыми садиками сыграло в моей жизни громадную роль: ни Ростов, ни Ленинград такой роли не играли, но тогда я этого не предвидела, любила платонически.

Домик, в котором я жила, я описала, в таком домике жил мой Сережа. Такой описана природа тех мест — в «Сереже» и «Ясном береге». В свое время пригодились многие детали и истории, узнанные тогда в Шишаках, например история второго замужества матери Листопада в «Кружилихе».

На этом-то материале проявилась одна моя способность, которая с годами значительно ослабела и которая в высшей степени полезна литератору: я обнаружила в себе как бы некие запасники, куда совершенно непроизвольно откладывались впечатления и наблюдения, чтобы затем явиться без всякого моего усилия в нужный момент и занять свое место в моей работе. Уже когда я писала первые свои книги — «Спутники», «Кружилиху»,— эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неоцененную службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса.

Может быть, такого рода механическая память и отличает писателя от неписателя. Это всплывание в нужный момент — не оно ли называется вдохновением!

Причем из огромного числа явлений, проходящих перед нами, почему-то некоторые особенно овладевают нами, запечатлеваются с особенной силой, зажигают фантазию. Скажем: я всегда любила цветы, всякие. Даже пустяковый цветок герани меня чаровал. Но почему из всего множества полевых, диких цветов особенно владеют мною уже много лет розово-белый граммофончик повилики и совершенно неказистый (ни цвета, ни запаха), даже невзрачный, даже в чем-то уродливый цветок дикого цикория, по-русски щербака, который на солнце так быстро становится блеклым, грязно-голубым, выделяющим противный липкий сок? Я стала писать «Феодосия» потому, что мне стала являться утренняя луговая зелень вся в граммофончиках повилики и в серо-голубоватых звездах щербака. Я там упомянула и ромашки — люблю и их, но вдохновляли не они.

Эта избирательность, этот — наугад — выбор является, видимо, непременной частью той способности бессознательного накопления, которую я в себе обнаружила в наибольшей степени на материале, приобретенном в Шишаках. Далеко не весь он исчерпан. Где и когда расскажу я о леваде с ее высокой, почти по плечи человеку, травой, с ее прохладной землей, по которой так сладостно идти босыми ногами, с торжественными заседаниями аистов поутру на выкошенном местечке? С маленькой криницей, окруженной смолисто-черной грязью от пролитой воды, с декорацией из белых хат и желтых подсолнухов? Где и когда опишу деревенский огород с зреющими на солнце маленькими пупырчатыми огурцами, оранжевыми цветками тыквы и кружевными шапками укропа? Где и когда опишу бронзово-загорелые статные ноги молодых украинок, осторожно ступающие по этим плодоносным грядам, темно-русые и черные косы, ниспадающие до земли, когда чернобровая хозяйка наклоняется, чтобы рукою вырвать зловредный пырей или лебеду, засоряющие ее гряды? О, сколько еще залежалось в запасниках, сколько еще неиспользовано, с какими еще предметами суждено встретиться заново на белом листе? Я знаю, что встречи будут, что стоило все это беречь,— лежит в запасниках прочно, и верный страж — память неусыпно стережет накопленное.

Когда некоторые начинающие литераторы просят меня поделиться с ними «тайнами» писательского ремесла, мне хочется задать им вопрос: «А вы в себе ощущаете возможность накопления материала?» Мне кажется, что без этой возможности в нашем деле просто не просуществовать.

У этого накопленного материала, кроме способности в нужный момент отдавать то, что является самым важным, есть еще одно свойство: самоконструироваться, слагаться в некую постройку, из деталей образовывать нечто

цельное. На своей практике знаю, что никакие заранее сочиненные схемы, планы, чертежи не помогают сложить роман, повесть, рассказ. Произведение слагается само, узел за узлом, либо не слагается вовсе, как не раз и не два у меня случалось: кажется, всю кровь и весь мозг выжимаешь из себя, силясь сделать нечто,— и все напрасно. И конструкцию вроде придумал, и все нужное для нее подобрал, нет, не выходит, не быть произведению.

Если же ему быть, то оно из твоих тайников само отбирает все, что ему нужно, и вот звучат голоса, а за голосами всплывают лица, и вот уже эти лица вступают во взаимоотношения, и вот сложилась конструкция, и ты уже можешь окинуть взглядом то, что сложилось, и приняться за отделку фраз, за сюжетные уточнения, придумывать, как бы получше это начать и как закончить, и искать слова поточнее, упорядочивать все это хозяйство. Может быть, это имел в виду Гоголь, когда писал: «Бог водит моей рукой». Я не чувствую себя достойной того, чтоб моей рукой водил бог, но что ею водит моя память, пододвигая мне под руку то, что сейчас может руке пригодиться, это я замечала не раз.

Когда это начинается, то уж не вставай из-за стола, пользуйся, пока тебе это дается. А кончилось оно — и не пытайся написать что-нибудь: источник иссяк, ничего не будет.

В записные же книжки, несмотря на то, что в литературе сохранился ряд блестящих записных книжек, я не очень верю. Если надо записывать, чтобы запомнить, значит, глаза смотрели невнимательно, ухо слушало небрежно, память отвергла.

То, что я записывала в санпоезде, составило потом брошюру, в сущности никому не нужную и никого не заинтересовавшую, а повесть «Спутники», у которой до сих пор есть читатели, написана на материале, сохраненном в памяти за многие годы.

То же самое могу сказать о «Сереже», «Вале», «Володе», даже об исторических моих повестях. Да и «Ольгу», и «Феодосия» я написала, прибегая не столько к историческим сочинениям, сколько к запасам моей памяти. Я где-то видела и дом матери Феодосия, и переулок, куда через щель в заборе выбирается Феодосий, и те ткацкие станы, какие были в Ольгином доме.

Такой стан стоял в доме Дениса Трофимовича Воронянского, а работали на нем молодайка Христя и старуха

Софья. И не надо было большой силы воображения, чтобы смекнуть, что такие станы, дежи, корыта были и в доме княгини Ольги, а может быть — и в доме Рюрика.

Много позднее, в Болгарии, я в старых деревенских домах видела старинное парадное убранство и перенесла его в Ольгины покои: как же иначе они могли быть убраны, если не по-старославянски? А среди барельефов Пергамского алтаря был один, изображавший Диану на охоте, и я одела охотящуюся Ольгу так, как одета на барельефе Диана. Некоторые специалисты по костюму уверяли меня, что в древности и средневековье на Руси обувались только в легкую открытую обувь — сандалии и лапти, но Диана на барельефе обута в расписные сапожки, и это мне показалось более близким к истине: скифский сапог, несомненно, лучше защищал ножки богини и несомненно должен был быть известен и эллинам, и римлянам, и руссам, и я ничтоже сумняшеся обула Ольгу-охотницу по образцу Дианы, а девочку Ольгу — по образцу шишакских девочек — тулупчик, платок, валенки, яркая тесьма по подолу платья. И все эти вещи сами выходили из-под моей руки в то время, как рука писала.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЕЩЕ О КНИГАХ МОЕГО ДЕТСТВА

Я рано, даже чрезмерно рано, стала читать все, что находила в скромном отцовском шкафчике: Тургенева (мир любви в «Вешних водах», мир любви и вражды в «Отцах и детях»), Гоголя (открытие красот природы, волнующее понятие о том, как много своеобразных народов и отдельных людей живет одновременно со мной и сколько таинственного, подчас страшного в жизни). «Вий», «Страшная месть», «Заколдованное место» — это было не только страшнее, чем «хоха», но и достовернее. В глубине души я знала, что «хоха», качающая бомбошки кресел, не существует, а вот выходящих из могил мертвецов в саванах и летающий гроб, казалось мне, я увижу когда-нибудь не только на тех жутких картинках, которые я намеренно старалась пропустить, перелистывая книгу Гоголя, этих мертвецов и летающий гроб я увижу на самом деле, они есть и они неотъемлемы от подлинной жизни, тогда как «хоху» придумали мама с бабушкой или какие-нибудь их знакомые.

Короче говоря, я верила всему, что читала. Такие люди, как Базаров и Волохов, были мне как-то очень симпатичны — не знаю почему, и, безусловно, существовали.

А потому мне было интересно прочитать про них у Писарева, которого мне, тоже очень рано, предложил почитать милый дядя Сережа, понимавший меня, и Писарев присоединился к тем двум симпатичным и тоже стал мне нужен.

И вообще меня окружали книги, и именно по ним, а вовсе не по кубикам с буквами, я научилась читать.

Писарева я любила еще и за его веселое остроумие. Он во мне развивал любовь к хорошей шутке, к улыбке. Вкус к юмору прививали и Козьма Прутков (как я обрадовалась впоследствии, узнав, что этот писатель создан А. К. Толстым и братьями Жемчужниковыми, каким ликованием наполняло меня это прелестное литературное озорство). Когда дядя Сережа посоветовал мне читать Диккенса, я сразу оценила своеобразие диккенсовского юмора, не похожего ни на гоголевский, ни на прутковский,— вкус мой ширился.

Мама приносила мне книги из библиотеки. Оттуда густо шел Жюль Верн, потом Майн Рид. Они не производили на меня сильного впечатления, так же как и Купер, которого я брала читать у знакомых.

В то же время я читала Вербицкую, воруя ее из шкафа бабушки Надежды Николаевны.

И — совершенно в то же время — «Жизнь европейских народов» Водовозовой и «Астрономические вечера» Клейна. Это были мамины наградные книги, она получила их в гимназии «За отличные успехи и примерное поведение», как было на них написано. И эти книги я очень любила и до сих пор помню голубые переплеты сочинений Водовозовой и пестрые таблицы с изображением спектров, протуберанцев и солнечной короны, выпадавшие из книг Клейна.

Кажется, из маминых же наград был в доме Багров-внук в синеньком с золотом переплете, эту книгу я обожаю с тех пор, почти не было года, чтобы я не перечитывала это чудесное произведение. А вот откуда были в доме две тоненькие, но такие славные книжки — одна под названием «Малороссия», другая, кажется, «Россия»? В первой были собраны стихи и сказки, относившиеся к Украине, во второй — к России. Из второй я узнала прекрасные стихи Ив. Никитина:

Посмотрю на юг —
Нивы спелые,
Что ковыль густой,
Тихо движутся.

Особенно мне нравились (и сейчас нравятся) последние строчки:

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная.

А в первой книге я встретилась с Шевченко:

Садок вишневый коло хаты,
Хрущи над вишнями гудуть.

Не понимаю, почему сейчас не издаются такие сборники. Не ахти какой труд их составить, и насколько же более эти дивные стихи воспитывают любовь к родине, чем серятина, стряпаемая теми, кто «приспособился для детей».

С 1915 года мне стали выписывать журнал «Задушевное слово» для старшего возраста. Этот журнал давал множество разнообразных и отличных приложений. Помню, в первый же год подписки я получила: «Царство гусениц», до десятка цветных листов, из которых я сшила маленький альбом и подарила нашему любителю-энтомологу дяде Сереже; Астрономический атлас, содержавший карты северного звездного неба на все месяцы года, и несколько небольших книжечек «Петя Ростов» — в сущности, комикс, из которого я впервые узнала о семье Ростовых (года через три, читая полностью «Войну и мир», я уже всех там узнавала в лицо). Вот какие приложения давал детский журнал моего детства. Но помимо этих хороших и прекрасных книг были и другие, сортом ниже, были и писатели, специализировавшиеся на изготовлении этой детской литературы невысокого ранга. Как умолчу, скажем, о Лидии Алексеевне Чарской? Все девочки того времени были без ума от ее книг (а читающие девочки всегда составляли значительный процент читающей публики). В частности, своим широким распространением журнал «Задушевное слово» был обязан и тому, что каждый год печатал две новые повести Чарской: одну — для старшего возраста и одну — для младшего. «Княжна Джаваха», «За что?», «Лесовичка», «Сибирочка» — думаю, большинство моих сверстниц помнит эти названия толстых раззолоченных книг с иллюстрациями художницы Самокиш-Суд-

ковской. Книги были сентиментальны и невысокого вкуса, но писательница обладала фантазией и не скупилась на приключения для своих героев и особенно — героинь. Чего-чего ие случалось с ними: они и из дому убегали, и на конях скакали, становились и укротительницами диких зверей («Сибирочка»), и сестрами милосердия в холерном бараке («Сестра Марина»), и актрисами, и чуть ли не монахинями («Лесовичка»). Под конец они либо трогательно умирали («Огонек»), либо выходили замуж («Сестра Марина»), либо, чаще всего, благополучно находили своих родителей, от которых были отторгнуты («Сибирочка», «Лесовичка»)... Теперь мы бы посмеялись над всеми этими чувствительными выдумками, но тогда Чарская имела головокружительный успех, и теперь, поняв, как это трудно — добиться успеха, я вовсе не нахожу, что ее успех был незаслуженным. Она выдумывала смело, щедро. Она ставила своих героев в самые невероятные положения, забрасывала в самые неимоверные места, но она хорошо знала все эти места — и закулисную жизнь цирка, и холерный барак, и швейную мастерскую, и монастырскую школу. Знала и обыденную жизнь с ее нуждой и лишениями. Особенно хорошо знала институтскую жизнь и театральную сцену (так как сама училась в институте, если не ошибаюсь — в Смольном, а потом была актрисой). И хотя ее забыли очень быстро — не будем смотреть на нее с высоты наших сегодняшних представлений, воздадим должное писательнице, покорившей в свой час столько сердец, обладавшей воображением и неутомимостью, на протяжении многих лет выдававшей ежегодно по две новые повести. В год выходило 52 номера «Задушевного слова» для старшего возраста и 52 номера для младшего, и в каждом номере стояло имя Л. Чарской — не так уж часто такое бывает, и это надо уважать, особенно нам, профессионалам, часто ленящимся, часто пугающимся собственного воображения, боящимся обвинения в дурном вкусе, в сочинительстве (как будто мы не сочинители — а кто же мы тогда? писцы? стенографы? фотографы?).

Было еще несколько писательниц, пытавшихся (безуспешно) конкурировать с Чарской. Была В. П. Желиховская, дочь Е. Ган, писательницы прошлого века (эту Е. Ган как-то мимоходом похвалил Писарев), сестра знаменитой Е. Блаватской. Желиховская писала строже Чарской, она описывала свои собственные детство и отрочество, стремясь точностью описаний подражать автору «Багрова-внука», ее книги были почтенны, но не захватывали, как и книги К. В. Лукашевич, которая писала уже «с направлением», как выражались опять-таки в прошлом веке, она сознательно стремилась сеять «разумное, доброе, вечное» в сердцах читателей, и это ей удавалось. Она, как и Чарская, умерла уже после революции, их обеих забыли молниеносно, но почему не вспомнить о них иногда? Пусть их искусство было не очень высоко, а высоко ли наше? Умеем ли мы хотя бы заставить читателя с интересом дочитать нашу книгу до последней строки? А они знали, как это делается.

Позже передо мной раскрылись другие книги: Леонид Андреев, Ростан и Метерлинк, и хотя из них троих я приняла близко к сердцу только Л. Андреева, для меня зазвучали в книгах новые струны, они подготовили меня к принятию Гамсуна и Ибсена, появившихся в моей жизни вслед за тем. Леонида Андреева я полюбила, считаю его большим русским писателем, оригинальным и ярким. Его драматургия великолепна, особенно «Савва», и не от его ли пьесы «Жизнь человека» пошел итальянский неореализм? И как должны мы быть богаты, как самонадеянны в своем богатстве, если порой забываем таких писателей, как Андреев.

Вероятно, уже в те времена во мне зрело тяготение к драматургии, так как пьесы Андреева и Ибсена я читала взахлеб и очень ими волновалась. Позже прочту «Что такое искусство» Л. Толстого, многое переоценю, во многом разочаруюсь, но тогда меня приводили в пламенный восторг и «Строитель Сольнес», и «Гедда Габлер», и «Анатэма», и «Жизнь человека», и «Царь-Голод».

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

— Слово, слово надо искать,— сказал однажды на редакционном совещании Михаил Вострогин, он же Володя Филов, он же — Мишка Гордиенко и Вадим Железный «Сентиментального романа».

Я даже помню, как мы сидели за тем некрашеным, вроде кухонного, столом — наш шеф Соболь на своем шефском месте, я — напротив, Вострогин — налево от Соболя, Владимир Ставский — направо.

— Пишем, пишем, а слова все дохлые,— продолжал Вострогин,— даже имя боимся выдумать человеку, все мальчишки у нас — Ваньки, все старые рабочие — Са-

величи. Дом слагается из кирпичей, писание — из слов. Трухлявый кирпич поло́жь — дом завалится.

Он так и сказал — «поло́жь», а не «положи», и с тех пор я люблю это слово, мне нравится, что в Ленинграде говорят — «поло́жил», «поло́жила», припоминаю, что моя няня Марья Алексеевна говорила: «церковь Ризполо́женья», а не «Ризположе́нья», и вообще — насколько вкуснее, полнокровней, почвенней зачастую звучит по-старинному и попросту сказанное слово.

Я не согласна с тем, что надо говорить и писать обязательно по принятым канонам. И старинный оборот, и «областное» слово, и кстати употребленное речение из языка другого народа (в том числе из языков наших братских республик) — все они могут украсить и обогатить язык современной литературы.

— Я в моем деле специалист, меня куда хочешь возьмут с рукам и с ногам,— сказала одна женщина, и этот дательный падеж вместо творительного внезапно освежил, обновил затасканный словесный оборот.

Нет языка правильного и неправильного, литературного и нелитературного, есть крепкий и трухлявый, свежий и заплесневелый.

И всю-то жизнь ищем слова, ищем рядом с собою и в седой старине, и за дальними рубежами, и в толпе — везде, где оно может вдруг блеснуть — нужное, живое слово.

СТАРОЧЕРКАССКАЯ
МЕСТА СТЕПАНА РАЗИНА

Редактор «Трудового Дона» Виктор Филов задумал свезти своих сотрудников в станицу Старочеркасскую. Человек он был хозяйственный: для экскурсии был приготовлен пароход и сверхъестественное количество бутербродов.

Я тогда в первый раз видела станицу, и, помню, больше всего меня поразили связки лука и красного перца, навешанные над всеми дверьми. Я думала: кто же это может съесть столько перца? Мерещилось какое-то богатырское племя, запросто поглощающее жгучий перец и лук — целыми гирляндами.

А потом нам показали прекрасный старинный собор барокко с колокольней точно такой, в какой, по моему понятию, могли бы разговаривать Время, Смерть и Царь-Голод в пьесе Леонида Андреева, а в подземельях собора показали цепи, на которых когда-то томился Степан Разин, прикованный к прозеленевшему, промерзлому камню.

Я тронула этот камень и ощутила себя наследницей чего-то, чего тогда не сумела бы назвать,— леденящее дыхание Истории ощутила кожей и связь времен.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
УЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФЫ

Местом своей деятельности они выбрали узенькую, изогнутую скобой улицу, одну из тех, что соединяли собственно Ростов с его пригородом — Темерником. На Темернике находилось одно из крупнейших ростовских предприятий — паровозоремонтные мастерские, а вокруг этих мастерских жило много рабочих, и клиентуры у уличных фотографов хватало. Уверенно расставили они свои железные треножники на кривоватой улочке и позади треножников на заборах и стенах домов развесили свои рекламы, иногда смешные, иногда трогательные, но всегда доходчивые до людского сердца, ибо они не были ремесленниками, эти уличные фотографы старого Ростова, они были жрецами своего искусства и знатоками тех душ, что обитали вокруг них.

Человек идет рано утром в мастерские. Работает ли он литейщиком на вагранке, или «глухарем» на клепке котлов, или токарем в шумном цехе с немытой от времени Александра Второго стеклянной кровлей — труд этого человека беспросветно однообразен и тяжел. Что человеку из того, что, постояв перед треножником, он получит от фотографа свой портрет столько-то на столько-то сантиметров, с теми самыми носом, ртом и прической, которые он привык видеть в своем зеленоватом кривоватом зеркальце, когда по утрам перед работой присаживается побриться, либо вечером, после работы, собирается в гости, одевшись по этому случаю в черную тройку и приличный галстук?

Что за радость этому человеку увековечиться в столь обыденном и безотрадно привычном своем виде? Подайте ему его прическу, скромные усики и лацканы пиджака в новом каком-нибудь, в невероятном каком-нибудь, в, черт побери, осиянном каком-нибудь виде, чтоб он сам себе удивился и все бы удивились и поверили в его осиянность!

Уличные фотографы, великие психологи, не только понимали это, они твердо знали, что́ именно надо делать.

Надо купить на барахолке у какого-нибудь прожившегося кавказского человека бешмет с газырями и повесить на заборе позади своего треножника. Рядом с бешметом можно повесить роскошную картину, изображающую снежные вершины гор, либо фонтан, либо пальму, у подножья которой, охватив колени соблазнительными руками в запястьях, сидит красавица с длинным, чуть не до ушей, разрезом глаз и с лучеобразными ресницами. Такую картину за небольшую плату напишет свой же брат, темерницкий художник, тоже выросший в этих же местах и понимающий что к чему.

А можно и с картиной не затеваться, и бешмета не покупать, а заказать картонного либо деревянного коня, вороного или в яблоках, и на том коне — полвсадника, чтоб были у всадника руки-ноги, корпус и шея, только головы не было бы.

Такие-то картины, одеяния и кони с безголовыми всадниками висели на темерницкой улице позади треножников уличных фотографов. Приходил заказчик в скромном галстуке и скромной прическе, вольно осматривался и выбирал, что́ ему наиболее по душе. И увековечивался: то в виде лихого наездника с саблей в руке, на коне в яблоках — для этого достаточно было приставить голову к шее картонного полувсадника и взять игрушечную саблю,— то в виде воинственного горца, осанисто стоящего возле красавицы со звездными очами.

А однажды я видела, как темерницкий извозчик, оставив свою пролетку и воссев в своей извозчицкой робе на колченогой табуретке, снимался на фоне пальмовой рощи... Была зима, снег лежал на улице, снежные колпачки возвышались на столбиках забора — что за дело было извозчику до этой скучной реальности, он упирался спиной в ствол пальмы, он слышал рокот теплых морей, его толстый синий, на вате, тулуп обернулся для него, несомненно, белоснежным бурнусом, и таким он себя отныне будет представлять, стоит ему взглянуть на фотографию; и таким он велит себя представлять и жене своей, пропахшей постными пирогами, и детям, и внукам.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЧАХОТКА

Сейчас об этой болезни почти что не слыхать, и зовут ее иначе — туберкулез легких, в детстве же моем она была заурядным недугом, то и дело было слышно: «у нее чахотка», «у него нашли чахотку». Чахоточные были среди бедных и среди богатых, для чахоточных строились санатории не только в курортных местах — Сочи, Алупке, Нальчике, но даже в самом Ростове; был в том числе ночной санаторий, в котором проводили ночные часы рабочие вредных производств.

На моих глазах чахотка глодала (и сглодала) молодого человека, сына нашего домовладельца.

Из месяца в месяц я видела, как этот цветущий молодой человек — в плечах косая сажень — все более заплетающейся походкой проходит по двору, как жалостно он задыхается, стоит ему сделать ничтожное усилие — закрыть ставни или сорвать горсть черешен. Как бледнеют и желтеют его щеки, как проступает череп сквозь лицо.

— У него чахотка,— сказали мне.

Иногда он исчезал куда-то, переставал показываться во дворе.

— Его увезли в Нальчик,— говорили мне.— Совсем ему плохо.

— Еще ему хуже,— сказали потом.

— Слава богу, отмучился,— еще потом...

Вплели в косы новые ленты и повели в церковь, и там он ждал, отмучившийся, уложенный в белый гроб, странно желтело лицо с резко проступающими костями, под желтые руки был подложен образ.

И вот ведь — не родной, даже не хорошо знакомый, просто какой-то чужой человек, иногда проходивший через двор,— откуда же у живого перед мертвым это чувство растерянности, почти вины, откуда и зачем оно, чувство вины за то, что вот — стою, когда ты лежишь, за новые ленты в косах, за то, что вот — живу, когда ты умер, чужой человек, иногда проходивший по двору?

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КЛИКУШИ

Рано-рано, когда мы, дети, еще спали, начинались приготовления.

Складывали ломберный стол и выносили из столовой. Даже сложенный, он с трудом протискивался в узенькую калитку, и бабушка прикрикивала:

— Осторожно, поцарапаете!

Наконец столик переселялся на улицу, на нашу Первую линию, и устанавливался у ворот. И куда, бывало, ни

взгляни вдоль Первой линии — вверх ли к Соборной или вниз к Дону, у всех ворот стояли столики, накрытые белыми скатертями. На столиках — иконы и чаши для водосвятия.

Звонили колокола.

На нашем столике ставилась полоскательная чашка с чистой водой и образ с мамиными венчальными свечами, обвитыми бумажной золотой ленточкой.

В тот день — не помню, какого числа и месяца,— по городу проносили чудотворную икону Аксайской божьей матери.

Недавно я узнала, что такой чудотворной иконы в официозных церковных списках будто бы и нет. Есть Донская, очень старинная. Может быть, то и была Донская, в свое время по каким-то соображениям установленная в церковке при плужном заводе «Аксай».

Во всяком случае, в городе ее чтили и встречали торжественно.

Мама, бабушка и няня терпеливо стояли возле ломберного столика, ожидая.

Детям тоже разрешалось ждать, но играть запрещали.

На улице было пыльно и жарко.

Как всегда в подобных случаях, больше всего хотелось играть.

Между булыжниками мостовой был насыпан серо-желтый засохший цвет акации.

Белые ее гроздья свешивались с деревьев.

Уставая ждать, мы поглядывали вдоль улицы.

И вот наконец вдали начинали покачиваться разноцветные хоругви, поблескивая на солнце золотом и серебром.

Показывалась голова процессии: жесткие парчовые ризы, седые бороды, кресты, поднятые над головами.

«Матушка!» — говорила няня, крестясь.

«Матушку», темноликую и страшноглазую, несли двое седобородых в мирском платье. Должно быть, церковные старосты или другие кто в этом роде.

Священники отделялись от процессии, подходили к столикам, выставленным у ворот. Служили молебен, святили воду.

И в нашу полоскательницу погружался серебряный крест, и мама торопливо клала на столик горстку серебряных монет.

Ризы и хоругви проплывали по направлению к Соборной, проплывала и чудотворная икона, и за ней начинал

тянуться длинный людской поток: сначала мужчины в страшных лохмотьях, изуродованные и искалеченные — такие всегда сидели на паперти нашей Софийской церкви; я хорошо знала эти сведенные руки и ноги и безносые лица. За мужчинами шли женщины. Их было особенно много: сперва — старухи нищенки в рубище, потом молодые, многие принаряженные по случаю праздника: та — вся в розовом, другая — вся в голубом, на нашей окраине это считалось очень шикарным. У кого не хватало денег на такой шик, та украшала себя газовым шарфом либо брошкой с поддельными камушками, либо наряжалась в украинский костюм со множеством бус и лент.

Они проходили, а мы смотрели на них. И вдруг они начинали лаять.

Да, ни на что другое, как на лай, были похожи эти ужасные звуки, оглашавшие тихую Первую линию. Лай с подвизгиваньем и подвываньем, ужасный, идущий из каких-то животных глубин, такой же непонятный, как звуки, издаваемые нашей Каштанкой, когда она начинала бесноваться от лунного света.

Это случалось при каждом крестном ходе. И каждый раз я спрашивала, не удержавшись:

— Что это? Кто?

— Да ведь уж знаешь,— резонно отвечала няня.— Всё они, кликуши.

— Это такие больные,— уточняла начитанная бабушка.

— Бесы в них засели,— говорила няня.— Читала ведь в Новом Завете, как бесы входят в людей.

— Тоже и притворства здесь много,— говорила мама.

Но бабушка возражала:

— Нет, это болезнь. Вроде истерики.

— Их лечат? — спрашивала я.

— Их Матушка исцеляет,— говорила няня.— Вот они и идут за Матушкой.

Мы разговаривали, а они все лаяли.

Лаяли одетые в рубище. Лаяли одетые в голубое и розовое. Вечная степная пыль ложилась равно на лохмотья и на старательно выглаженные светлые платья. Равно безумен был лай старых и лай молодых.

Сердце девочки истекало ужасом.

А перед выкликающими женщинами плыла чудотворная в цепких руках двух стариков.

Наконец все исчезло в раскрытой огненной пасти дня: сперва исчезали подъятые горé кресты, потом парчовые

ризы, потом икона, наконец — лающие женщины. Еще досматривалось вдали что-то розовое и голубое. Потом скрывалось и оно, и ужасный лай больше не доходил до наших ушей.

Оставался столик, около которого мы стояли, да белые гроздья акаций над нашими головами, да бутылочка, в которую няня перелила воду из полоскательницы, да солнце на серых плитах тротуара, да горсточка кремушков, с которыми теперь уже можно поиграть,— оставался золотой тихий сон моего детства.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
КУЗЬМИНИЧНА, СЕМЕЧНИЦА

Семечки подсолнуха не чисто черные, они имеют сероватый отлив, как грифельная доска. В дни моего детства весь Ростов грыз семечки, их грызли взрослые и дети, торговцы и покупатели, городовые и барышни, идущие с ракетками в руках на теннисную площадку. Всюду раздавалось щелканье семечек, на всех губах была налипшая подсолнечная шелуха, она же была насыпана на всех крылечках, во всех дворах, на всех мостовых между булыжниками.

На всех перекрестках сидели торговки-семечницы, в том числе у нас на углу Соборной улицы и Первой линии сидела некая Кузьминична, приятельница нашей няни Марии Алексеевны.

Кузьминична сидела на низенькой скамеечке, под широкой тенью акации. У ног Кузьминичны была большая корзина, почти до краев наполненная грифельно-черными семечками. Поверх семечек стоял маленький граненый стаканчик — мерка. Такой стакан семечек стоил одну копейку. На семечки, на ситцевый подол Кузьминичны, на нищенскую ее торговлю акация сбрасывала свои засохшие цветки.

Няню нашу, Марию Алексеевну, Кузьминична очень уважала и нередко задаром угощала ее семечками, черпая их из корзины щедрой рукой. Рука была почти такого же цвета, как семечки, с иссиня-беловатыми ногтями и черной каемкой у края ногтя. Такие же руки были у няни, и как-то очень рано я стала понимать, что этих двух старых женщин сдружила именно эта одинаковость их рук, выражавшая одинаковую тягость их неприхотливой и нерадостной судьбы. Как я это поняла — не знаю; но поняла.

Обе были вдовы, у обеих покойные мужья были пьяницы и драчуны, а дети как-то неудачны и, выражаясь понынешнему, бесперспективны, и обо всех этих невеселых обстоятельствах старухи не уставали судачить у корзины с семечками, а мы, дети, как ни странно, не уставали слушать.

После неприятностей и неудач любимой темой их бесед было царствие небесное, они о нем все знали и очень туда стремились, надеясь найти там награду и утешение. Такой постоянной готовности к смерти я потом никогда не встречала. Они не только вечно лишали себя пищи, пользуясь всеми постами, не только вечно спешили в церковь к обедне или ко всенощной, но даже приготовили себе погребальные наряды — белые кофты, белые платочки, белые чулки и туфли. Все это было бедное и дешевое, но все же: сколько стаканчиков семечек надо было продать, чтоб скопить деньжат на вышивку для кофты, на атласные ленточки к туфлям...

Последний раз я видела Кузьминичну из окна, возле которого я сидела с книгой. Вся согнувшись под тяжестью огромного мешка, прошла она по нашей Первой линии по направлению к Соборной, к своему углу.

— Что-то понесла Кузьминична в мешке,— сообщила я няне.

— А известно что,— сказала няня.— Семечки. Так под ними и падет, помрет, бедняга.

Я не знаю, как умерла Кузьминична. Вскоре после революции семечниц на улицах стало меньше. Настолько меньше, что непонятно, откуда же население брало семечки, чтобы лузгать. Потому что лузгать стали, как ни странно, не меньше, а больше

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЛОДКИ И ГАРМОШКИ

В дни моего детства на правом, городском берегу Дона в определенных, всему Ростову известных местах лежали килем вверх лодки, сдававшиеся напрокат. На них были написаны разные имена: «Нюра», «Леля», «Тамара», «Жора», «Женя». Было даже имя «Люлю», взятое из популярного романса, и вообще тщательно перебраны все святцы. К каждой лодке прилагались весла. Тут же поблизости можно было взять напрокат гармошку, если не имелось своей собственной. Потому что кататься по Дону

без гармошки, особенно в воскресный день, считалось не только не шикарным, это был признак неустроенности, бедности, у многих это считалось почти унижением своего достоинства.

Итак, воскресный день, блещущий Дон покрыт веселыми треугольными парусами яхт, иногда проходит, заставляя яхты уступать себе дорогу, весело пенящий воду пароход, но всего больше на реке легких лодок, взлетающих весел и вперехлест звучащих гармошек, наяривающих тогдашние чувствительные уличные песни.

ЕЙСК

САДЫ

Я приехала в Ейск в 1928 году на тамошние целебные грязи и поселилась в дачной местности, называвшейся Сады, в домике крохотной веселой старушки гречанки Вазео. Это были не просто дачи, но именно сплошные плодовые сады, под ветвями которых тут и там стояли маленькие домики.

Должно быть, это было прекрасно весной, когда сады цвели. Я приехала в июле, когда уже созрели абрикосы, это тоже было хорошо. Все деревья огромного сада были усажены ярко-желтыми, с подрумяненным бочком, спелыми плодами.

Ветер качал деревья, по утрам желтыми плодами с подрумяненным бочком были усыпаны трава и дорожки. Надо было подбирать плоды и складывать в высокие корзины, расставленные на дорожках. Из Ейска приезжали скупщики, на подводах увозили эти корзины. Когда корзины переносили на подводы, сквозь сплетение прутьев донышка на землю бежал золотой сок.

Сады стлались до самого лимана. Бледно-голубой, он стелился под солнцем серебристо и шелково. Мелкая волна набегала на песок, иногда вынося маленькую рыбку. Ступишь, бывало, в эту волну — уколет холодом. Снулые рыбки были раскиданы по берегу вперемежку с абрикосовыми косточками.

НЕВИННОМЫССКАЯ

ПОДСОЛНУХИ

Впервые я разглядела их как следует в станице Невинномысской, куда меня послала в командировку уж не помню какая газета — не то «Ленинские внучата», не то

«Советский пахарь». Был час заката, солнце стояло на западе, я шла по полю подсолнухов лицом к востоку, а подсолнухи, все как один, были повернуты к западу — словно мне навстречу двигалась огромная несокрушимая рать с одинаковыми черными ликами, окруженными золотыми нимбами. Не было ни малейшей возможности ни повернуть вспять это грозное войско, ни лишить его святости его сияния, ни противостоять ему.

АРМАВИР

ДУШНО БЫЛО НЕИМОВЕРНО

В Армавире должны были судить кулаков, покушавшихся на убийство селькора Акулины Брилевой. Редакция «Советского пахаря» командировала меня на этот процесс.

Я написала о нем отчет для газеты, написала брошюру (она вышла в Ростове в 1929 или 1930 году), какие-то черты этой истории вошли в «Сентиментальный роман», в историю Марии Петриченко, но самое главное ощущение от этого процесса еще нигде не описано. Это было ощущение непереносимой духоты, разлитой во всем — в воздухе зала суда, в произносившихся там речах, в подробностях покушения, даже в одежде людей — в тулупах, тяжко пахнувших овчиной, в платках, туго обмотанных вокруг женских голов, в сапогах, словно высеченных из камня или отлитых из чугуна.

Ни одна форточка не была открыта, и все же казалось, что степной летний зной вливается в зал и затопляет всех, кто в нем собрался, и что облегчить этот зной не сможет даже хорошая степная гроза с ее громовым ливнем.

В Брилеву стреляли из обреза, она была опасно ранена в живот, но так велика была в ней сила жизни, что она, орошая своей кровью степные сугробы, в жестокий мороз и вьюгу доползла до своего хутора, до своей хаты и осталась жить. Эта богатырская сопротивляемость была заключена в самой простенькой, какую можно себе представить, степной женщине с самым обыкновенным бабьим лицом, по которому текли слезы, когда она отвечала на вопросы суда.

У нее было непоколебимое убеждение, что революция совершилась для нее и таких же неимущих, как она, и она старалась оттеснить имущих отовсюду, куда они проникали. Своими заметками она засыпала газеты, краевые и центральные, ее борьба была неуемна и безгранична, как

степные просторы Кубани, за это-то и стреляли в нее из обреза, жестокого оружия степных боев. И потому-то столько людей из кубанских станиц и хуторов съехались на этот процесс, и смотрели и слушали они так, словно на этом суде решалась не судьба нескольких кулаков и подкулачников, а судьба всей кубанской степи, зной которой они принесли в складках своей одежды, хлебом и салом которой они время от времени закусывали, доставая их из-за смушковых отворотов тулупов.

Смушки были те, о каких писал Гоголь: «Бархат! Серебро! Огонь!» Степь была та, о которой сказал Чехов: «воткни оглоблю, вырастет тарантас». Кому она будет принадлежать со своими грозами, со своей пшеницей, салом и смушками, кому она будет принадлежать, щедро-родящая, Акулине Брилевой или ее врагам,— такой решался вопрос на том армавирском суде, потому текли такие большие слезы по мягким щекам Акулины, потому так напряженно-душно было в зале.

СОРОЧИНЦЫ
ЯРМАРКА, ТА САМАЯ

Да, я побывала на Соро́чинской ярмарке, той, которую Гоголь выбрал фоном для своей повести. Мы шли из Шишак в Сорочинцы пешком, сначала по широкой пыльной улице, потом улица перешла в такой же широкий и пыльный шлях, над шляхом было неоглядное небо, пышными грудами в нем плыли облака. На пыли оставались отпечатки наших ног. Может быть, и отзвук наших голосов остался там в воздухе. Ведь та тишина отнюдь не была мертвой, она звенела птичьим гомоном и постукиванием сухих головок бессмертника друг о дружку, и сквозь легкие эти звуки нет-нет да прорывался откуда-то человеческий голос — не голос ли того, кто прошел перед нами по этому шляху...

Мы перешли через какую-то канавку по деревянному мостику с выгнутыми перильцами, и перед нами на зеленом лугу запестрела, заиграла ярмарка. Прежде всего бросилась в глаза огромная свинья, розово-белая гора сала и мяса, это так и должно было быть, подумалось мне, недаром свинья играет такую большую роль в гоголевских повестях. За свиньей тянулись скамьи, уставленные гончарными изделиями, дивной красоты горшочками и глечиками (кувшинчиками), покрытыми росписью. Тот горшочек был расписан травами, тот — цветами, тот — козлиными мордами. Были горшочки совсем крохотные — детские игрушки, были высокие статные кувшины, были громадные квашни, в которых можно было заквасить тесто на пять пудов печеного хлеба.

И мука продавалась тут же, ее продавали в мешках и в «рукавчиках». Отпоротый от рубашки рукав был там общепринятой мерой, столько-то стоил «рукавчик» пшеничной муки, столько-то — «рукавчик» ржаной.

Женщины продавали свои изделия — вышитые скатерти, сорочки, полотенца, тканые шерстяные пояса, кошели, ковровые дорожки. Нынче лучшие из этих изделий идут на экспорт, а тогда все это можно было купить на Сорочинской ярмарке.

Луг был заполнен веселой нарядной толпой. Сколько тут топталось зеркально начищенных сапог, отражавших солнце. Сколько было плахт, одна пестрей другой,— в те времена тамошние женщины еще носили плахты. Правда, самые богатые плахты были уже у старух, молодые довольствовались тем, что досталось в наследство от бабок и прабабок; ткать плахты еще умели, но секрет изготовления долговечных красок из трав был уже утерян, не знаю, отыскан ли ныне снова... А что это были за краски, помнят, вероятно, все, кто хоть чуть-чуть, подобно мне, соприкоснулся со старой Украиной. Эти краски не линяли и не выгорали, и вытканным из овечьей шерсти — «волны» — плахтам не было износу, как лучшим персидским коврам.

В такие-то богатые плахты были одеты женщины на ярмарке, и я почувствовала себя золушкой в своем городском платьишке, без роскошных сапог, без связки бус на шее.

В первый раз мне открылась прелесть традиционной деревенской одежды, украшающей и возвеличивающей человека. Впоследствии, когда я писала мою «Ольгу», одной из первых моих забот было одеть ее соответственно ее положению и значению, и мне приятно вспомнить, сколько поисков я предприняла для этого. Сколько пришлось фантазировать, переиначивать, додумывать. Красная и зеленая тесьма на суконном платье маленькой Ольги — это, безусловно, воспоминание о плахтах, виденных на Сорочинской ярмарке летом 1931 года. Мне жалко, что сейчас там носят мини-юбки и туфли на каблуках-шпильках. Хотя я и понимаю, что иначе и быть не может, что все меняется и должно меняться...

Еще забыла написать, что в центре того луга сидел на

деревянном чурбашке гармонист с пышным, как кудель, чубом из-под картуза. Чернобровый и кареглазый, он был одет великолепней всех, ни у кого не было так богато вышитой рубахи и такого пунцового пояса. Он перебирал пальцами и разводил руками, нзвлекая из своей гармонии то развеселые, то надрывные звуки,— и видно было, что это душа ярмарки, ее поющий и ликующий дух, вечно юный голос щирой Украины, самый желанный жених для девчат всей округи.

ШИШАКИ
ИЗ ЧЕГО СЛАГАЛАСЬ ЛЕВАДА

Это был заливной луг, обильно увлажнявшийся в половодье; весной, уже в мае, трава здесь стояла выше пояса, и головенки детишек мелькали среди красного клевера и ромашки. Через леваду мы ходили на Псёл, это иашими ногами в траве была протоптана длинная узкая тропинка. Мы шли по ней гуськом среди кивающих трав, впереди сверкал Псел, над головой стояли в сииеве пышные горделивые облака, синие и зеленые стрекозы перелетали с травинки на травинку; пчела выползала из цветочной чашечки, неся комочки пыльцы на ножках. Где-то посреди левады рос дикий терновник. Когда кончалась вишня, мы срывали с колючих кустов терпкие сочные ягоды, вареники с этими ягодами были не хуже вишневых. Говорили, будто возле этих кустов аисты собираются на свои совещания, будто здесь они вершат суд над провинившимися молодыми аистами, и будто бы подсудимый стоит тихий и покорный перед полукружием старых аистов и ждет приговора,— так рассказывали многие, но самой мне видеть такое не довелось, не могу утверждать, что это истина.

Выходя этой тропинкой на берег Псла, мы садились на теплый песок, и я читала детям вслух. Тут мы прочли «Думу про Опанаса» Багрицкого, и когда читали:

> Тополей седая стая,
> Воздух тополиный,
> Украина, мать родная,
> Песня — Украина,—

то перед иами тут и там вздымались тополя, и все кругом было — песня, и хоть мы родились в другой республике, но Украина была нам — мать родная.

———

Неподалеку от терновых кустов стояло старое дерево — не то верба, не то ива с очень толстым стволом. В стволе было дупло, в дупле жили удоды. Время от времени из дупла смотрела крохотная головка с длинненьким клювом и коричневым хохолком. Но стоило где-нибудь треснуть сучку либо сильно зашуршать траве, и удоденок мгновенно проваливался в свое гнездо; ни возни, ни шороха не слыхать было в дупле.

Шел, шел тропинкой среди трав, и вдруг ноге становилось прохладно и влажно — это она ступила на смолянисто-черную плотную грязь, окружавшую криницу. Если нагнуться над криницей, глубоко внизу виделось как бы зеркало и в нем — отражение человеческого лица. Говорили, будто вода в кринице особенно чистая и полезная — не знаю, но на вкус она была хороша, и приятна ноге была окружавшая криницу грязь, и чем-то умилительно чистое зеркальце на дне.

Из этой тропинки, из дупла и криницы слагалась для меня левада, и как ее забуду, и когда и где ее опишу? Ан нет, гляди-ка, вот и не заметила, как описала.

ШИШАКИ
ДЫМЫ БЕРЕЗІВКИ

Березівка была — широкая улица, шедшая от центра села к самому Пслу. По сторонам улицы тянулись высохшие серые плетни, кое-где подернутые сизо-зеленой плесенью, за плетнями стояли беленые хаты под соломенными крышами (редко под черепичными, еще реже — под железными). На соломениых кое-где ярко зеленел мох. Но над всеми крышами во всякое время, как неослабевающее живое дыхание, упругими клубами возносился дым.

Розоватый на рассвете, ярко-розовый при восходе солнца, к вечеру он начинал голубеть, потом будто заштриховывался карандашом,— по цвету его, навыкнув, можно бы распознавать время, как по часам.

Он нес к небесам ароматы свежевыпеченного хлеба, жар чугунов, полных огнедышащего борща, заправленного салом и чесноком, и топленого молока, и мелко изрубленной картошки, предназначенной на корм скотине; он нес теплоту и упругость человеческой жизни, которая идет и идет, невзирая ни на что, свято оберегая свои стены,

и крыши, и печи, и кушанья, в труде и борьбе отстаивая розовую свою теплоту.

Где это я стою? Я стою на Березівке, в том ее конце, где, сбежав с горки, она почти упирается в двор Романовских. Отсюда, с этой точки, Березівка представляется широкой аллеей, аллеей розовых дымов.

Я понимаю, почему в древности брали подать «с дыма», дым над трубой — это знак достатка, это — имение, это — жизнь.

ШИШАКИ
ЦВЕТОК ТЫКВЫ

Он распустился на длинном некрасивом стебле, перекинувшемся, как плеть, через длинную некрасивую гряду в глубину огорода, туда, где огород упирался в обомшелый серый плетень. Он даже не распустился, этот цветок, он вспыхнул, как оранжевый огонь, вместе с длинным стеблем он перебрался на плетень и горел там, грозя пожаром и испепелением, горел, и отгорел, и на его месте осталась зеленая полосатая бутылочка плода. И такая радость была для меня в этой незатейливой маленькой тыковке, словно я сама ее придумала и сама этот замысел привела в исполнение.

ПЕРМЬ
КАК ПЕКЛИ КАРТОШКУ

Пекли ее в редакционной печке в кабинете ответственного секретаря редакции газеты «Сталинская путевка» Антонины Георгиевны Киян.

Происходило это в военные годы, обычно в сумерки, когда голубели редакционные окна и съеденный в средине дня обед становился далеким туманным воспоминанием. Печеная картошка — это был наш ужин.

Мы, сотрудники редакции, по очереди приносили картошку — собственную: у каждого имелась за городом хоть маленькая делянка, засаженная картофелем. Лучшая картошка была у художника Бориса Андреева — непонятно почему: он сам сознавался, что ни разу не полол ее и не окучивал и вообще не понимает, как она у него выросла, да еще такая крупная и чистая.

Итак, когда голубели окна, мы собирались в кабинете Антонины Георгиевны и топили печку. Пока дрова разгорались, пока они сгорали, мы сидели, томимые нетерпением, и рассказывали истории, кто какие знал. Когда кучка золотого жара оставалась на месте сгоревших дров, мы закладывали картошку в печное жерло. Еще надо было ждать, пока она испечется, пока ее сочная светло-коричневая кожица станет угольно-черной, тогда мы руками ее вытаскивали из угольев — руки при этом становились черными — и отряжали кого-нибудь к уборщице Андреевне за солью, и посланец возвращался с кулечком темно-серой крупной соли (своей у нас не было, соль ведь не вырастишь на делянке).

И верите ли: никогда ничего на свете не было вкусней, чем эта черная как сажа картошка с серой солью,— никогда никаких деликатесов не было вкусней...

ПЕРМЬ
МОРОЖЕНОЕ КАК ЗНАК ВОЗРОЖДЕНИЯ

О том, что скоро опять начнут продавать мороженое, в Перми заговорили задолго до того, как это произошло. Почему этот суровый морозный город так любил мороженое, не знаю; но была свидетельницей незабываемой сцены.

Трамвайчик, в котором я приехала со стороны Сталинского завода, был покрыт снежной крышей, окна обледенели: мороз был сорокаградусный. Заиндевел камень домов, у прохожих изо рта клубились облака. Неподалеку от редакции областной газеты «Звезда» стояла женщина в белой куртке поверх стеганого ватника, к животу она прижимала короб, на коробе было написано «Мороженое».

Постовой милиционер на перекрестке мелко перебирал ногами, будто собирался пуститься в бег,— видать, промерз здорово. Посеменив ногами в новеньких блестящих сапогах, он покинул свой пост и твердо зашагал к женщине с коробом. О чем-то спросил ее, выпустив изо рта облако, что-то она ответила, выпустив встречное облако.

И вот он стоял перед нею на сорокаградусном морозе, бодро откусывая кусочки от ледяного бруска, по временам все еще перебирая ногами, потому что сорок градусов ниже нуля — не шуточки, а сапоги-то кирзовые, и мороженое, поди, заморожено на совесть; он стоял и ел мороженое, а за ним уже выстраивалась очередь из отважных пермяков, любящих мороженое, и все это было знаком возрождения, знаком, что война в самом деле близится к концу, раз уж снова продают любезное лакомство — мороженое, от-

нятое войной в числе другого прочего. Раз уж снова появился в вольной продаже такой доступный товар — не надо пятирублевок, не надо трешек — побренчал мелочью в кармане, заплатил безделицу и наслаждайся себе на здоровье, стоя на сорокаградусном морозе под свинцовым ветром, несущимся с ледяной Камы.

ЛЕНИНГРАД

БОРИС И ГЛЕБ

Когда шведы пошли крестовым походом на Русь, в те времена одному ижорскому жителю приснился сон. Этот житель был крещеный, наречен христианским именем — Филипп, а до крещения звался Пелгусием. Кругом него еще были язычники, приносили жертвы роду и роженицам, болоту и колодцу. Крещеного Пелгусия-Филиппа князь новгородский Александр поставил над язычниками старшиной, сторожить ту землю от врагов.

И вот когда узнал Пелгусий, что шведские корабли показались в устье Ижоры, тут было ему сновидение. Будто в насаде, в сиянии приплыли к берегу святые мученики Борис и Глеб, и Борис Глебу сказал:

— Брат Глеб! Поможем сродинику нашему великому князю Александру Ярославичу!

Пелгусий запряг коня и поскакал через леса и болота и Александру Ярославичу и рассказал о вражьих кораблях и о своем видении.

О видении, говорила летопись, Александр Ярославич не велел больше никому рассказывать, взял свою дружину — Мишу, да Савву, да Ратмира, да Полочанина Якова, да Сбыслава Якуновича с Гаврилой Олексичем, да еще кто там был у него — и двинулся на неприятеля, не дожидаясь, пока стекутся полки.

Был побит неприятель на водах и на суше, потоплены его корабли, посечены его шатры, полегли на поле боя и шведский воевода, и крыжак-епископ, пришедший перекрещивать Русь в римскую веру, и свирепые рыцари в железных доспехах. У иных поверх железа были надеты черные плащи с белыми крестами, у иных — белые плащи с черными крестами, у иных же на белых плащах кресты были алые, как бы наведенные кровью.

Они к нам шли, думая: татары их примучили с востока, а мы примучим с запада. Но полегли, не вернулись.

Это произошло на берегах Невы, оттого Александру

дано прозвание Невский. Победа одержана 15 июля 1240 года. Князю Александру Ярославичу было 20 лет.

На выставке Рериха-отца в Ленинграде была небольшая картина «Борис и Глеб». Художник изобразил сновидение Пелгусия-Филиппа, человека Ижоры.

Сумерки изображены там, русские сумерки над русским озером, лиловая русалочья гладь. Справа, туда-туда за водной гладью, в сонной сини густеет вечер, темнеет маковка бедной церкви. Горькое безлюдье, земля-полонянка — крыжаки с запада, татарва с востока.

На переднем плане картины — насад, небольшое гребное судно, в насаде — Борис и Глеб. Оба узкоплечие, узколицые, с узкими молодыми бородками,— совсем ведь юными пали под ножами убийц. Пестренькими мурмолками прикрыты волосы. От ликов исходит розово-золотое сияние и ложится на небо и на воду, достигая темного берега.

Кто чем славен? Кто чем вошел в историю?

Александр Невский — своими военными победами и своей дипломатией. Его дружинники — богатырскими подвигами. Миша, к примеру, с небольшим отрядом пеший ударил на причалившие корабли шведов и принудил их сдаться. Борис и Глеб прославились тем, что их убили безвинно, перерезали, как курчат. Их брат Святополк, подославший убийц, остался в истории по причине своего душегубства, ему тоже прозвание дано — Окаянный.

А Пелгусий-Филипп остался в людской памяти потому, что ему приснился сон. Это — очень хорошая, милая слава. И смотрите-ка, через множество лет пришел художник, Рерих-отец, и красками на холсте изобразил сон далекого человека Пелгусия. Все изобразил — и простор воды и небес, и церковную маковку, и даже, может быть, в своем творческом видении досмотрел то, чего и не видел Пелгусий — юношескую хрупкость лиц Бориса и Глеба, всепроникновение исходящего от них сияния, эти мурмолки, похожие на тюбетеечки...

Картина написана на негрунтованном холсте. Когда смотришь вблизи — нити холста отчетливо проступают сквозь мазки краски. И тогда кажется, будто картина и не писана, будто не касалась ее кисть, будто она — тоже сновидение, дуновение вдохновенных уст: дунь — и улетит.

ЛЕНИНГРАД
ШУРА, МАНЯ И АНЯ

Время действия — зима 1952—1953 года. Место действия — Городской суд на Фонтанке.

Шура и Маня — на скамье подсудимых. Шура — женщина лет тридцати двух, полногрудая, подчеркнуто принаряженная, словно желающая всем своим видом сказать: да, вот шла сюда сидеть здесь перед вами, а все-таки позаботилась о том, чтобы выглядеть хорошо, плевала я на вас!.. На ней подчеркнуто узкая юбка и подчеркнуто облегающий свитер. Особенно бросаются в глаза ее волосы, пушистые, промытые до сияния, причесанные у парикмахера. Невольно приходят в голову дурацкие вопросы: ходила ли она под конвоем в парикмахерскую или парикмахер приходил к ней в камеру? и тот ли самый это парикмахер, который причесывал ее, когда она ходила вольная, или другой?..

Есть в этом широком, очень здоровом, вызывающем лице что-то неприятное, но в то же время импонирующее — именно этим здоровьем, этим вызовом, этим «плевала я на вас на всех...».

Маня, сидящая рядом, совсем другая: совсем молоденькая, на вид не дашь больше двадцати лет, хотя на самом деле ей больше. Узенькие плечи, узкое бледное лицо, тонкий прямой пробор в русых волосах. Тихость и домашность во всем ее облике, и не верится, чтобы она сделала то, что сделала, и дико, что возле этой женщины стоит часовой, что отсюда ее дорога — в тюрьму, как и у забубенной Шуры.

Но уже все выяснено, они во всем признались, и Шура, и Маня, описали шаг за шагом свои поступки, объяснили все непонятное.

Самое непонятное для следствия было: как могла Аня исчезнуть незаметно для всех жильцов большого, густо населенного дома, где сотни людей спускались по лестницам, ходили по двору, глядели из окон. И вот одна из жилиц исчезла, исчезла на годы — неужели никто даже не спросил, куда она девалась, неужели мог человек пропасть, как иголка в стоге сена?

— Ну как же,— отвечала Шура.— Спрашивали. А я сказала: ушла и не пришла, почем я знаю? Ну, отвязались.

В уголовных делах есть свойство, драгоценное для литератора: все их детали с необыкновенной точностью рисуют время, нравы, быт.

Убийство — это было со времен Авеля и Каина. Но то, что Шура после войны демобилизовалась в Ленинграде и что ей как фронтовой медсестре дали жилплощадь на чердаке большого дома, проведя на эту площадь электричество и утеплив ее от центрального отопления,— это могло случиться именно в конце 1945 — в начале 1946 года.

Шура была из семьи служащих. Привыкнув за время войны ко всяческой вольнице, в семью вернуться не пожелала, пожелала жить в прекрасном многообещающем городе Ленинграде. «Тут все можно выбегать»,— говорила она. И выбегала жилплощадь, а затем и хорошую работу — официанткой в столовой военторга.

Тут она познакомилась с другой официанткой — Аней. Женщины понравились друг другу. У них были одинаковые вкусы, понятия, одинаковая фронтовая судьба. Аня была дочерью пермского прокурора и тоже, подобно Шуре, не захотела вернуться к отцу. Но она была менее бойка, чем Шура,— жилплощади не сумела выхлопотать. Прошло сколько-то времени — она закинула удочку: не сдаст ли ей Шура угол в своей комнате. Оказалось — Шура может сдать угол. А как насчет прописки? Оказалось — и с пропиской можно устроить, если дать дворничихе 50 рублей.

Аня написала отцу. Прокурор прислал 50 рублей. Аня поселилась вместе с Шурой. Жили весело, что ни вечер — гости, патефон, танцы. Комод был уставлен фотокарточками военных, главным образом матросов — «морячков», как называли их подруги.

А тихая Маня жила в том же доме с мужем-рабочим и двумя детьми, ждала третьего и занималась хозяйством. По вечерам частенько отправлялась на чердак, к Шуре и Ане. Мужу не нравилось это знакомство, но Маня его не слушала. Ей, воспитанной в строгой семье потомственных ивановских ткачей, эти пирушки с танцами казались бог весть каким блестящим развлечением. Ведь днем — что: стоянье у коммунальной плиты, да постирушки, да забота — как изловчиться, чтобы на небольшие деньги состряпать обильный и вкусный обед... Не выдерживала Маня — сдавалась: накормив мужа и детей, закручивала волосы на бигуди, причесывалась помоднее и по узкой лесенке бежала на чердак. А там уж топчутся под звуки патефона, и бутылка на столе, и любезные «морячки» — не чета хмурому, вечно недовольному мужу.

А потом случилась беда. Такая беда, какой Маня никогда и не чаяла.

Вдруг пришла к ней Шура и сказала:

— Поднимись ко мне, мне помощь твоя нужна.

Маня поднялась. Шура ввела ее в свою крохотную кухню. Там на полу лежала Аня, странно вытянувшаяся, со странно облепившими голову волосами.

— Бери за ноги,— сказала Шура.— Понесли.

Маня взялась за ноги. За дверью кухоньки было обширное пространство пустого чердака.

— Что ты,— сказала Маня,— ведь тут увидят.

— Не увидят,— сказала Шура,— сюда и не ходит никто.

Они положили тело на пол. Потом набрали воды в два ведерка и сообща замыли кровавый след на полу. Шура рассказала подружке, как это случилось: Аня приревновала к ней одного «морячка» и стала ее ругать. Она, Шура, не выдержала, схватила утюг и ударила Аню по голове.

— Что теперь будем делать? — спросила Маня.

— А ничего,— ответила Шура,— ты только молчи.

— А если спросит кто?

— Отвечай — знать не знаю, разыскивайте сами. Увидишь — никто и не сунется разыскивать.

Так оно и вышло. До 1950 года труп пролежал на чердаке.

Но в том году случился бунт женщин, живших в этом доме. Они взбунтовались против управдома — зачем держит чердак запертым, белье негде сушить... И так как управдом, по управдомовской своей амбиции, не хотел отворять чердачную дверь — женщины потребовали у него ключ и пошли отворять сами. Вошли и первым делом увидели скелет на полу. За годы, под железной крышей, труп истлел, остался чистый, обглоданный крысами, костяк. Ужасаясь, женщины кинулись в милицию.

Тотчас же прибыло следствие со всем, что полагается, и вскоре Шура была арестована.

Пришлось все рассказывать. В том числе и то, что Маня помогала переносить труп и замывать пол. Маня бросилась к мужу. Но чем он мог помочь теперь?.. Смятение и ужас поселились в смирной трудовой семье. Нечем вдруг стало дышать и Мане, и ее мужу.

Она ходила к следователю и давала свои показания тихим, ровным, безнадежным голосом. И уже это стало даже привычно ей. Даже стало казаться, что это может длиться невесть сколько, ничем не разрешаясь. Как вдруг однажды следователь сказал:

— Больше не могу держать тебя на свободе. Даю тебе

две недели — выпиши кого-нибудь из родных смотреть за детьми. Есть кого выписать?

— Сестра приедет,— сказала Маня,— если я позову.

— Ну вот, давай выписывай сестру.

Можно вообразить себе, какой был переполох в семье потомственных ивановских ткачей, когда пришло Манино письмо. Тотчас снарядили одну из сестер в Ленинград. Маня с рук на руки передала ей детей, кастрюли и корыто. Детей к тому времени было уже трое.

А теперь она сидела на скамье подсудимых рядом с накрашенной Шурой — узколицая бледненькая женщина в старушечьей темной ситцевой кофте, с белым пуховым платком на маленькой русой головке.

А против них за особым столиком сидел скульптор Герасимов и все время зарисовывал эти две головы — разудалую и скорбную, почти мученическую.

Скульптора Герасимова пригласили на помощь в первые же дни следствия. Нужно было установить, кому принадлежит найденный скелет, и сделать это мог только М. М. Герасимов с помощью своего искусства. Согласно его теории, все выступы и впадины черепа определенным образом отражаются на чертах лица, и с помощью этих впадин и выступов можно восстановить облик умершего.

По черепу найденного на чердаке скелета Герасимов вылепил маску, потом ее сфотографировали. И выяснилось, что эта фотография абсолютно тождественна с фотографией исчезнувшей Ани. Так, собственно, и возникло первое подозрение против Шуры. Все, казалось бы, предусмотрела бедовая Шура — и людское равнодушие, и покинутость чердака, и время, превращающее тела в прах,— не предусмотрела скульптора Герасимова.

И все же это убийство, совершенное сгоряча в пылу бабьей ссоры, кажется не столь злодейским, как то, что творила женщина Шура после убийства. Она ухитрилась получать от своего злодеяния регулярный доход — двояким образом.

Прежде всего она написала в Пермь Аниному отцу, прокурору, что Аня арестована, а она, Анина соседка и подруга, носит ей передачи, но что ей, бедному человеку, это трудно и она просит Аниных родных помочь ей. И прокурор стал регулярно присылать Шуре деньги, воображая, что они идут на передачи его дочери.

Затем среди Аниных вещей Шура нашла ломбардные квитанции на заложенные вещи. Удивительно, как при постоянных наших кликах о бдительности ломбард выда-

вал вещи другому лицу, но это факт — Шура получила по квитанциям все Анины вещи — платья, вязаные кофточки, блузки. Кое-что носила сама, кое-что продавала. Правда, Шура и тут словчила — сказала служащим ломбарда, что Аня больна и поручила получить свои вещи Мане, и когда явилась скромная Маня с ребенком на руках, служащие преисполнились доверием и отдали ей Анины вещи — вроде бы невероятно, но факт, установленный официальным следствием!

Шуру приговорили к тюремному заключению — на 7 лет, Маню на 5.

Много лет я думаю о Мане. Вспоминаю ее безответный облик, так не вязавшийся с преступлением, ее рассказ о том, как, замыв пол в Шуриной кухне, она вернулась к себе домой и два дня пролежала на диване, ничего не соображая, лишь изредка словно спохватываясь, что же это случилось и что теперь будет... Мне жаль ее и ее мужа, и всю эту семью в Иванове, о которой я знаю только то, что по первому зову Мани они снарядили ей на помощь сестру — то-то, поди, было слез, и объятий, и горя...

Я хотела написать эту печальную повесть от лица Маниной сестры, у меня даже была придумана форма повести — я еду в поезде из Ленинграда в Пермь и от станции до станции, по кусочкам, какая-то женщина еще молодых лет рассказывает мне Манину историю, и я даже специально поехала в Пермь, чтобы записать названия всех станций и их вид, но почему-то из этой поездки окончательно сформировался рассказ «Володя», а та повесть так и не написана, возможно — и не будет написана. Пусть же хоть в этой маленькой заметке останется история бедной маленькой женщины, сбитой с толку и бессмысленно сломавшей свое маленькое, но ясное и верное счастье.

ФЛОРЕНЦИЯ
В МОНАСТЫРЕ СВ. МАРКА

Вошли так обыденно, по билетикам, в деревянные ворота. Ступили на плиты дворика. В глубине его был каменный колодец с крышкой, как мельничный жернов, рядом одиноко росло старое дерево. С трех сторон вокруг дворика висели легкие галереи. Может быть, сам Савонарола ходил по ним, взглядывая вниз на колодец, на дерево, на темные фигуры монахов, пересекавших двор. Может быть, долетали до него сюда городские шумы с площадей,

на которых по его слову сжигали на кострах картины и рукописи, музыкальные инструменты и роскошные ткани.

Нас повели в его келью. В маленькой его спаленке мы видели кусок власяницы, которою он умерщвлял свою плоть. В соседней комнатке стоит стол, у которого он писал свои проповеди и поверял монастырские счета.

«Так проходит мирская слава». По его слову драгоценные картины превращались в золу и прах. По его слову — повели он — некоторые и сами кинулись бы в огонь. Он не повелел им, сгорел сам, мученичеством оплатив погубленные им творения искусства. К тому месту, где он горел (от монастыря не так уж далеко), сейчас водят туристов.

Должно быть, все правильно. Должно быть, нельзя ни принуждением, ни уговором заставлять людей губить прекрасное. Люди губят-губят да и начинают задумываться о ценности прекрасного, погубленное вырастает в их глазах. Савонарола не подумал, как опасно приучать слабого человека слагать костры для сожжения. Как опасно приучать людей не щадить ничего. Они не пощадили и его, изувера, истребителя, опасного фантазера, вздумавшего играть с огнем.

БУФФАЛО
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

От дребедени до впечатлений высоких и мощных — все является мне, когда я оглядываюсь на американский город Буффало, или Ба́ффало, как там произносят. И вижу я все это почему-то не вразбивку, а разом, всей горой, как будто высыпанной из рога изобилия,— гостиную в доме доктора-негра, куда нас пригласили в гости, немного чопорную гостиную, где пожилая черная леди, занимающаяся организацией досуга молодежи, расспрашивает нас, как организован этот досуг в Советском Союзе; где другие леди и джентльмены, тоже по большей части седовласые и чопорные, заинтересованно слушают наш разговор. Где вкусным чаем угощает нас нарядная хозяйка в уборе из поддельной бирюзы, и мы вдруг замечаем впервые, как удивительно хороша бирюза на черной коже и черных волосах, и сказки Шехерезады предстают нам в новом оперенье.

Еще видится мне перекресток с дощечкой-указателем, на дощечке надпись: «Улица Делаваров», и как нам всем

в душу хлынуло наше детство, и Фенимор Купер с его благородными делаварами и вероломными гуронами, и как после улицы Делаваров мы долго, долго ехали мимо заводов, перед воротами которых были завалы шлака и мусора, и как нам подумалось, что в нашей стране нет такого беспорядка, а потом выехали на равнину, где росло несколько старых задумчивых деревьев, и нам подумалось; не правда ли, как это похоже на русские пейзажи,— и опять, как уже много раз, болезненно захотелось домой.

Но нам предстояло в Буффало еще многое — в том числе какая-то жидкая рощица; мы стояли в ней под дождем и вдруг нам сказали, что тысяча восемьсот такого-то года, такого-то месяца и числа здесь была кровопролитнейшая битва с англичанами, и между тощими деревцами нам мелькнул напудренный парик Лафайета и его кавалерские ноги в белых шелковых чулках. Тень Лафайета до сих пор живет в этой стране рядом с заводами и кафе-автоматами. Нам показывали комнаты, в которых ему случалось переночевать; в этих комнатах сохраняли обстановку его времени; по стенам там висели старинные гравюры и тоненькие изогнутые ножки стульчиков отражались в паркете, как в озере.

И там же в Буффало в какой-то совсем захолустной улочке мы искали какую-то калитку и наконец нашли, и в глубине дворика оказался флигелек, совсем такой, как, скажем, в Скотопригоньевске, городке, придуманном Достоевским. Окошки флигелька светили в скотопригоньевский дворик, а внутри флигелька стол был уставлен стаканами с коктейлем и кока-колой, и там были английские писатели Сноу и Памела Джонсон, был двадцатый век со всеми измышлениями своей цивилизации, которую, думается мне, вряд ли будут так беречь, как гравюры и стульчики восемнадцатого.

Но главное впечатление от Буффало была, конечно, эта неимоверная река, от которой захватывало дух, так она была просторна, могуча и светла под просторными, могучими и светлыми небесами. Там и сям из нее торчали камни, и тучи птиц, белые, серые и коричневые тучи, проносясь одна за другою, садились на эти камни! Грохот водопада стоял в ушах, не слабея ни на миг, и казалось, еще бродят где-то здесь великодушный Ункас и сам Кожаный Чулок, и было грустно, когда подъехали к ларьку, где продавались грошовые пластмассовые сувениры — брошки и значки,— они продавались перед лицом прекрасной первобытности, которая соприкасается с вечностью, перед лицом гремящего водопада, окутанного белым дымом, перед лицом противолежащего берега, где простираются владения Канады.

КЮСТЕНДИЛ

ЦЫГАНКИ

Женя Киранова, наш гид, товарищ и незаменимый друг в путешествии по Болгарии, сказала:

— Смотрите, цыганки.

Они выходили гуськом из магазина. Шедшая впереди несла в руках белое кружевце, от этой белизны руки казались еще смуглее. Три цыганки резко выделялись в пестрой толпе южного города. Большинство женщин на улице были в юбках, немногие — в брюках, эти три — в шальварах, кусок ткани, скрепленный между коленями, вольно обвисавший спереди и сзади, а вверху — яркая вязаная кофточка — такова была их одежда.

Женя Киранова не могла рассказать о них ничего, кроме того, что они внезапно появляются на улицах городов, походят и исчезают снова, но, несомненно, за этими повадками, этими шальварами, этими необычными лицами была и большая история, и большая судьба, и как бы хорошо, если бы кто-нибудь продолжил дело русского ученого Грановского и написал бы нам о нынешних цыганах — кто они, и что они считают хорошим, а что́ — дурным, каковы их обычаи и чаяния.

Написать это я не могу, я просто опишу тех трех цыганок на солнечной улице Кюстендила.

Старшая, с кружевцами, была в небесно-голубых шальварах необъятной ширины и держалась важно. Черты ее лица были мягки. Ни резких линий, ни острых углов. Вероятно, в молодости она была очень красива: такие плавно приподнятые носики, такие нежно очерченные ротики, такие пушистые ресницы — неотразимы, и даже старость не убивает их прелести. Сквозь смуглость и загар бил свежий румянец и проступала маленькая родинка у уголка рта. Пусть наполовину белы были ее волосы, пусть темны и сморщены были опущенные руки, пусть вились по ним фиолетовые набухшие жилы,— чувствовалось, что эта плечистая и румяная мать семейства еще долго будет видеть солнце, долго будет гулять по городам в своем голубом наряде, заходить в магазины и покупать полюбившиеся ей товары, и, может быть, дарить их своим внучкам и правнучкам.

За этой старой шла помоложе и понарядней, в шальварах из пестрого ситца, в ярко-зеленой вязаной кофте, в золотых серьгах кольцами. Ее кожа, загоревшая до темно-коричневого цвета, слоилась на шее, как слоится кора сосны. Просвечивая на солнце, мочки маленьких ушей рдели, как вишни. Сухие, в лучевидных трещинах губы приоткрылись в улыбке и показали белизну ровных крупных зубов. Как удивительно шли ко всему этому золотые кольца серег и коралловое ожерелье на шее! Но самое удивительное у этой женщины были глаза. Когда она их поднимала вверх, похоже было, что медленно поднимаются две черные звезды на голубоватом небе. Звездной бездной, звездной тайной веяло оттуда.

А третья цыганка была еще — цыганочка, еще — зародыш, еще — никакая. Девочка в ярко-красных шальварах, зажженная спичечка, повернутая пламенем вниз, такою двигалась она по людной улице, такою я запомнила ее. Была ли она дочерью второй цыганки, внучкой первой? От второй у нее, несомненно, были глаза — тот же голубой белок и на нем неразведанные черные планеты. От первой, старшей, она унаследовала нежность черт, прелесть мягкой, призывающей женственности.

Так прошли мимо нас эти три цыганки, неся перед собой дешевое белое кружевце, и вот они были уже далеко, уже исчезли в толпе их яркие наряды, и улица Кюстендила приобрела свой обычный вид — не то видение, не то картинка к сказкам Шехерезады, ведь были же во времена Шехерезады и лавки с выставленными в окнах товарами, и серьги кольцами, и яркие шальвары, и прекрасные девушки, на мгновение являющие свою красоту, чтобы насмерть поразить сердце какого-нибудь молодца с орлиным носом и с бровями, похожими на бесстрашный полет сокола.

ЛОНДОН

СЛУЧАЙ В ПЛОТНИЦКОЙ МАСТЕРСКОЙ

Нет, не помню имени художника, не помню, как называлась галерея, где я видела эту картину. Помню лишь картину, запечатлевшую некий случай в некой плотницкой мастерской.

Мастерская была обширная, напоминавшая большой сарай. Солнце проникало в нее через широкие ворота в задней стене. Ворота были открыты, в них сиял зеленый летний день. Посреди мастерской стоял верстак, за ним работал плотник в грубой одежде, со стариковской бородой. Ему помогали двое, похожие на него лицом, но с бородами помоложе. Все они отвлеклись от своего дела и повернулись несколько в сторону, потому что в мастерской случилось происшествие. Мальчик — нет, скорей уже подросток — поранил себе ладонь гвоздем, из раны кровь струилась на пол, на светлые древесные стружки. Молодая мать стала перед мальчиком на колени и глядела на него, только глядела. А те трое у верстака глядели на них обоих, уткнув в грудь бороды.

Мне очень жаль, что я не записала имя художника, я ведь знала, что моя память плохо удерживает имена, я должна была записать.

ЛОНДОН

СМЕНА КАРАУЛА В БУКИНГЕМСКОМ ДВОРЦЕ

Я слышала и читала, что есть в Лондоне зрелище очень пышное и волнующее — смена караула в Букингемском дворце.

Там будто все как сотни лет назад. И форма гвардейцев, и маршировка, и малейшие подробности церемонии — чуть ли не как при Шекспире.

Один путешественник не так давно писал об этом просто вне себя от восторга. И когда я приехала в Лондон, то тоже пошла посмотреть это знаменитое представление. И вот что оно такое.

Было воскресенье, и мы стояли толпой у решетки, предвкушая нечто неимоверно занимательное.

За решеткой был большой двор, мощенный серыми плитами, и в его глубине — дворец. В одном из верхних небольших окон белело женское лицо. «Уборщица»,— сказал кто-то.

За нашими спинами была площадь. По краям ее сновали автобусы, а посредине громадой возвышался памятник королеве Виктории.

Королева, как и мы, глядела на дворец. Только не сквозь решетку, а поверх нее.

К дворцу прислонены будочки, и в будочках стояли гвардейцы, тот самый караул, который надлежало сменить: в красных мундирах и черных высоких шапках, обнаженная шпага в руке.

Они кажутся очень маленькими, когда на них смотришь

через пространство большого двора. Лица под нахлобученными меховыми шапками, перевязью подхваченные почти у самых губ,— крохотные, треугольные, от скованности невыразительные, как у игрушечных солдатиков.

Один почесывался в своей будке. Верно, затекло у него все, не мог дождаться смены. Смотрел на нас и чесался. И мы, вольные зрители, сочувствовали его положению. Другой был смелей, выходил из будки и прохаживался, разминаясь.

В общей сложности у нас на виду было шесть караульных.

Наконец пришел их начальник, привел еще шестерых. Они маршировали, высоко взбрасывая ноги. Поверх мундиров у них были короткие пелеринки от дождя.

Начальник своими руками снял пелеринку с плеч одного гвардейца и надел на того, что стоял в будке. И эти два поменялись местами: лишенный пелеринки стал в будку, обнажив шпагу, а тот, что вышел, стал в строй и пошел за начальником.

(Перед этим они немного потопали на месте, громко ударяя сапогами о каменные плиты.)

И так же было поступлено с тем, которому мы сочувствовали. Мы были рады за него, когда он вышел из будки, одетый в пелеринку.

(Пелеринки, как мы разглядели,— из пластиката. Чтоб не портились, значит, казенные мундиры. При Шекспире пластиката не было, шили из чего-нибудь другого.)

Говорят, когда играет оркестр, все это выглядит более пышно и волнующе. Но он почему-то играет, только если дождя нет. А в то воскресенье накрапывал дождь, и музыки не было.

Зрители стояли вдоль решетки и щелкали фотоаппаратами, просовывая их между прутьями.

Дети щелкали орехи и сдирали кожуру с апельсинов, и сквозь решетку бросали бумажки от конфет во двор, где происходило действо.

«Откуда я знаю этого англичанина? — подумала я.— Боже ты мой, но ведь я его великолепно знаю, вон того тропически загорелого англичанина!» Тропический англичанин шел решительным шагом, нахмурив густые брови, засунув руки в карманы и бросая по сторонам быстрые огненные взгляды.

И я силилась вспомнить — где же, когда же я могла познакомиться с такой интересной личностью. А потом мои товарищи, подойдя, сказали:

— Видели? Сейчас здесь прошел Расул Гамзатов.

Я посмотрела кругом и увидела лица всех оттенков и складов, белые и темные, северные и южные. И услышала французскую речь и немецкую и еще не знаю какую. Тут все приезжие, поняла я.

Разве что детишки здешние. Маленькие бритты, по-хозяйски бесцеремонно они швыряют в дворцовый двор конфетные бумажки и апельсинные корки. Гости ведут себя вежливей.

Да вот эти три рослые женщины в синей полицейской форме, в нагрудный карман вложен свисток на цепочке — это, безусловно, англичанки.

Да громадная серая королева Виктория посреди площади, сквозь дождь смотрящая со своего постамента, была англичанкой. А остальные — иностранцы.

Для иностранцев, подумала я, и сохраняется детская игра, называемая сменой караула в Букингемском дворце. В качестве приманки. Как одна из лондонских эксцентричностей. Как черные вороны и выставка старинных орудий пытки в Тауэре.

ЛОНДОН
ТАУЭР

На месте англичан я бы эти орудия не показывала. Если жалко уничтожить — спрятала бы подальше, чтоб никто не видел.

Мало ли у кого что было. Есть вещи, о которых надо забывать и отдельным людям, и народам.

К счастью, это забывается. Вот, например, в России в царствование Елизаветы Петровны смертной казни не было, и люди отвыкли. И когда после двадцатилетнего перерыва, при Екатерине, в Петербурге публично казнили безумца Мировича, народ, стоявший вокруг места казни и на мосту, не верил, что сейчас у него на глазах будут рубить голову человеку; ждали, что объявят помилование от царицы; а когда палач поднял и показал отрубленную голову — народ «единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились», говорил Державин; и многие потонули.

Из этого примера видно, что можно, даже не прилагая специальных усилий, в сравнительно короткие сроки отучить людей от зверств.

Мы с поэтессой Маргаритой Иосифовной Алигер не

пошли смотреть на орудия пытки, нас тошнило при мысли о них. Сославшись на усталость, мы сели на лавочку в просторном, чисто прибранном дворе, одном из внутренних дворов Тауэра. Каменные строения с неправдоподобно толстыми стенами окружали двор. Крепость эта древняя: часть ее построена еще в одиннадцатом веке, когда на Руси княжили Ярославичи.

Среди этих стен, таких нешуточных, с такой длинной свирепой историей, удивительно пустяково выглядел деревянный навес, похожий на те, под которыми на неблагоустроенных рынках торгуют молоком и овощами. К навесу стояла очередь: там показывали брильянты, принадлежащие английской короне. А по газону ходили, ни на что не обращая внимания, черные вороны, большие, как собаки.

Когда-то воронья здесь было видимо-невидимо. Средневековой Британии редко перепадали мирные времена. Тауэр был осаждаем многократно и подолгу. Воронье несло санитарную службу: пожирало трупы в крепости и за ее стенами. Эти несколько птиц содержатся в память о минувшем. Они тучные, раскормленные, никого не боятся. На ярко-зеленом газоне разбросаны куски сырого мяса. Ворон подходит, когтистой ногой наступает на мясо, ударяет твердым клювом — в клюве красный клок...

Вороны живут долго: может быть, не так уж много поколений отделяет теперешних от тех, что девять столетий назад несли здесь санитарную службу.

Нам рассказали, что когда во время последней мировой войны один ворон приказал долго жить — под разрывами «фау-2» срочно разыскивали нового, требуемых кондиций, для пополнения комплекта. Сколько штук должно быть в комплекте — не помню, забыла.

Мы с Маргаритой Алигер сидели на лавочке, смотрели, как толстые черные птицы с умными недобрыми глазами клюют свою кровавую пищу, и рассуждали — почему это, в силу каких причин человечество так дорожит самыми отвратительными страницами своего прошлого? Почему всякое злодейство записывается, и чем оно ужасней, тем тщательней записывается, вроде Ольгиной расправы с древлянами, или подробностей Варфоломеевской ночи,— а о деяниях высоких и добрых упоминается, как правило, наскоро, вскользь, в большинстве же случаев не упоминается вовсе? В результате каждая строка истории ушатами преподносит потомкам кровь и насилие, словно единственно достойное их, потомков, внимания. А между тем пласты неотмеченных, оставленных в пренебрежении прекрасных дел все глубже погружаются в забвение, в небытие; и в недоуменной печали стоит Человек перед списком своих окаянных поступков...

Нас окликнули и повели осматривать тюремные помещения. Несколько столетий Тауэр был местом заключения важных государственных преступников. Каких тут не пересидело королей и королев, пэров и сэров. Что ж, перед народом они все были преступны; но не за вины перед народом их сюда сажали: в междоусобице стяжателей и властолюбцев тоже неизбежно бывают побежденные, как во всякой драке,— их держали тут.

Многих тут же прикончили. Заботливо зафиксировано: где кого и как кончали. В маленькой комнатушке, куда ведет узкая деревянная лестница, были задушены ночью два мальчика, королевские дети. Их заточил и приказал умертвить их дядя и опекун Ричард Глостерский. Есть известная картина — как эти мальчики, ухватясь друг за друга, слушают шаги крадущихся убийц. По этой тесной лестнице гуськом крались убийцы, ступеньки скрипели; мальчики слышали скрип, в комнатушке горела одна свечка, а кругом была каменная тьма, некому крикнуть «спасите», некуда бежать. Эта старинная кровать деревянная, сказали нам,— та самая. В общем, обстановка на картине дана правильно. Мало-мальски впечатлительное воображение может, при желании, живо воспроизвести это детоубийство...

Прочь из этих стен! Из застенков! Мы больше не хотим воспроизводить такое!.. Дождь, ливший два дня подряд, сегодня дал передышку и себе, и нам. Омытое дождем, все зеленое до того зелено, все синее до того сине, что сердце радуется... Ладно! Кровавые камни в конце концов не страшны, если их держат как наглядное пособие по истории. Скорей бы такая участь постигла все кровавые камни на зеленой земле под синим небом.

ЛОНДОН
УЛИЧНЫЕ АКРОБАТЫ

Эти двое были неправдоподобны на шумной лондонской улице, они не принадлежали этой улице, они вышли не из переулка, а из прошлого века, из какого-нибудь романа Диккенса, вроде «Лавки древностей»: старик с белоснежной головой и благообразным худощавым лицом и прелестная девушка, маленькая, нежная и хрупкая (все

любимые героини Диккенса миниатюрны и нежны), с кудрявой каштановой головкой (Диккенс любил каштановые кудри). На обоях было черное трико, а сверху — что-то вязаное, сугубо современное; у девушки поверх каштановых кудрей черный беретик.

В Англии запрещено просить милостыню: английский подданный должен жить трудами рук своих. Эти двое жили трудами своих рук и ног — они были уличные акробаты.

Один за другим были показаны разные акробатические трюки, замысловатые и простецкие. Ареной этим людям служил асфальтовый тротуар, публикой — вся уличная толпа.

После каждого аттракциона девушка снимала беретик и обходила зрителей; и многие бросали в беретик монетки.

Затем она подошла к старику и показала ему, сколько собрано. И, должно быть, он сказал «хватит», потому что они ушли. Повернулись и ушли за угол, в прошлое столетие, в роман Диккенса.

ЛОНДОН

ХУДОЖНИК, РИСУЮЩИЙ КОШЕК

А вот этот нищий изобрел себе для пропитания другое занятие — он сидит на тротуаре и рисует кошек. Ничего кроме кошек: ни собак, ни птиц, ни цветов — только кошки. Асфальт вокруг него покрыт белыми кошками, потому что рисует он мелом. Кошки во всевозможных позах — и лежачие, и стоящие, и сидящие кувшинчиком. А кругом художника стоят зрители, смотрят внимательно.

Какой-то старичок что-то сказал — художник взял мел и поправил кошке ухо.

Фетровая шляпа стоит тут же между кошками, опрокинутая, в нее с легким звоном падают монетки. Сколько-то он соберет монеток — пойдет в кухмистерскую пообедать, а завтра с утра опять воссядет на асфальте и будет рисовать белых кошек, стараясь, чтобы правильно были изображены и уши, и усы, и хвосты, чтобы стоящие кругом старички и старушки, любители и знатоки кошек, ни к чему не могли придраться, чтобы собрать достаточно монеток, чтоб хватило на обед и кружечку пива.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«НЕ НАДО, РЕБЯТА, О ПЕСНЕ ТУЖИТЬ...»

Кто не знает светловской «Гренады»? Кто, узнав ее, не полюбил эту прекрасную поэму? Что касается меня, я полюбила ее с первого дня и день этот помню в точности.

Утром пришел номер толстого журнала (вот только не помню, был ли это «Новый мир», или «Красная новь», или «Октябрь»), и муж мне сказал:

— Послушай, я тебе прочту стихи.

А прочитав, спросил:

— Какое место тебе больше всего нравится?

И я, не размышляя, прямо показала на концовку поэмы — на то место, где мне горло стиснули слезы. (А ведь хорошо поплакать над стихами... Куда лучше, чем посмеяться.)

Новые песни придумала жизнь.
Не надо, ребята, о песне тужить.
Не надо, не надо, не надо, друзья.
Гренада, Гренада, Гренада моя!

Можно бы и не цитировать эти строчки — их, несомненно, знают все. Но вот чего, вероятно, не знают многие и о чем нам, старым ростовчанам, рассказал когда-то сам Михаил Аркадьевич Светлов,— это того, как родился замысел стихотворения, из какого зерна оно проросло.

Это связано с городом моей юности, Ростовом-на-Дону, куда неоднократно заезжали известные поэты, в том числе и М. А. Светлов.

В годы нэпа в Ростове был ресторан «Гренада». Неказистый подвальчик, из недр которого днем и вечером гремела гармонь. В «Сентиментальном романе» этот подвальчик назван «Не рыдай». Я не выдумала это название, был у нас и ресторан «Не рыдай», он считался самым шикарным. Но Светлов миновал «Не рыдай», судьба привела его к «Гренаде». Он стоял над идущими вниз ступеньками кабачка, и в лицо ему ударили переборы гармони, игравшей знаменитое «Яблочко». Он поднял голову — над ним была вывеска с крупными буквами: «Гренада». Вот так, рассказывал Михаил Аркадьевич, из сочетания «Яблочка» и «Гренады» возникло стихотворение:

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.

Случайность? Конечно. Светлов мог никогда не узнать о существовании «Гренады». Гармонь могла играть не «Яблочко», а «Кирпичики» или «Стаканчики граненые» — тоже очень популярные в то время песни. Но обстоятельства сложились так, как они сложились; «Гренада» была написана и стала во главе всего сочиненного Светловым.

Написала это и невольно вспомнила строчки Анны Ахматовой:

> Когда б вы знали, из какого сора
> Растут стихи, не ведая стыда,
> Как дикий одуванчик у забора,
> Как лопухи и лебеда.

А читателю все едино; лишь бы хороши были стихи. «Гренада» хороша. И что выросла она легко и вольно, без принуждения — это видно по полету стиха.

Пусть же растут и растут новые и новые летучие стихи. Пусть жизнь придумывает новые и новые прекрасные песни.

1971

О МОЕЙ ЖИЗНИ, КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ

> *Уходим. За спиной*
> *Стеною лес недвижный,*
> *Где день в красе земной*
> *Сгорел скоропостижно...*
>
> *Б. Пастернак*

1
МНЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Мне четыре года, у меня круглое лицо, курносый нос, две тугие русые косички свешиваются из-за ушей. На мне шерстяное платье серыми и коричневыми квадратами и передник из холста покроя, изобретенного бабушкой Надеждой Николаевной, к переднику сзади прикреплен на пуговках круглый воротник. Бабушка Надежда Николаевна меня обшивает, она же учит, как делать реверанс, как держать при ходьбе руки (сложенные у талии коробочкой, ни в коем случае не размахивать ими, как поступают невоспитанные люди), как здороваться, даже — как писать адрес на конверте...

Суровое кружевце, которым обшит мой передник, бабушка Надежда Николаевна связала сама. Она его вязала стальным крючком — быстрыми взмахами двигалась ее худая желтоватая рука в шерстяном лиловом напульснике (чтоб не зябла).

В клетчатом платье и холщовом переднике я сижу в нашей маленькой столовой у стола, накрытого к обеду. Над столом висит керосиновая лампа под матово-белым стеклянным колпаком, к лампе привешен дробовой груз. Во главе стола сидит моя мама Вера Леонидовна, а у стены, напротив меня, сидят рядом отец Федор Иванович и кот Зайка.

Почти все коты, встречавшиеся мне на моем жизненном пути, назывались Зайками, уж не знаю, почему так вышло. Этот Зайка был первым — кажется, он появился в доме вскоре после моего рождения, во всяком случае, я его помню всегда, как только мне удается оглянуться на годы раннего детства.

Он сидит около папы, притворяясь, что у него нет

никаких желаний. Но долго не выдерживает. Вот он поднял лапу и положил ее на стол. Посреди стола стоит большое блюдо с вареной говядиной — душистый пар высоко поднимается над блюдом. В конце обеда мама отрежет кусок говядины и накрошит в Зайкину миску, но Зайке было бы куда приятней самому дотянуться до говядины и хотя бы на миг запустить когти в душистый сочный кусок, для того он и тянет лапу. Но раздается короткий окрик отца: «Зайка!» — и кот беспрекословно убирает лапу и снова сидит на стуле кувшинчиком — олицетворение чинности и безынициативности.

Обед наш скромен: суп да говядина, без вареной говядины отцу обед — не обед. Он долго и вкусно обгрызает и обсасывает кости, запивая пивом из высокой серой кружки, которую он привез из Германии. На кружке изображены охотники и собаки с узкими недобрыми мордами. После отца много лет жила в доме эта кружка, служа вазой для цветов, пива из нее уже не пили...

Еще за столом сидят несколько старых женщин.

Вот бабушка моя Надежда Николаевна Реньери, урожденная Троизи, прямая, с черными бровями и орлиным носом, очень напудренная, с прической валиком, с белым рюшем у ворота темного платья, с большими руками — ими она великолепно играет на рояле. На рояле играет и мама, но больше по слуху, и ручки у мамы маленькие и мягкие, и еще мягче волосы, тоже причесанные гнездышком, по моде, и видно, что все это очень нравится папе, потому что он часто подходит к маме и целует то руку ее, то волосы, то розовую щеку.

Кроме бабушки Надежды Николаевны за столом сидят: прабабушка Ольга Ивановна Троизи, крошечная старушка с детским лицом, такая же крохотная мамина няня в черном кружевном чепчике и некая Надежда Абрамовна, очень большая и толстая, она появилась у нас недавно, мне сказали, что она — акушерка, а что это значит, я не знаю. На носу у нее очки, с этим предметом я тоже познакомилась недавно, обе мои бабушки носят пенсне.

Моя няня Марья Алексеевна, повязанная белым платочком, вносит из кухни большой супник и ставит перед мамой, и мама разливает большой ложкой суп и каждому передает тарелку. Первая тарелка наливается для папы, последняя — для меня. Скатерть на столе зеленая, и посуда с широкой зеленой каймой, она куплена в магазине Великанова, это лучший посудный магазин в Ростове-на-Дону, как лучшим мебельным магазином был магазин

моего прадедушки Грибанова. Мой папа Федор Иванович должен был жениться на одной из дочерей Великанова и таким образом соединить две цветущие купеческие семьи, два капитала, два преуспевания. На это рассчитывала его семья, уже успевшая промотать почти все грибановское наследство, заключавшееся в магазине, доходных домах и брильянтах бабушки Александры Ильиничны. Но отец обманул надежды своей матери и сестер, он женился не на богачке Великановой, а на дочери бедной учительницы музыки, квартировавшей в одном из наследственных доходных домов, на скромной гимназисточке в коричневом платьице. Этого отцовская семья никогда не могла простить моей маме, и я всегда чувствовала, что бабушка Александра Ильинична и тетки относятся к нам не так, как к детям дяди Сережи и тети Лили, что мы выделены в какую-то особую группу, что мы — второй сорт. В детстве такие вещи чувствуются особенно остро и воспринимаются болезненно.

В столовой, где мы обедаем, три двери: одна в кухню, откуда няня Марья Алексеевна приносит кушанья, другая — в детскую, где стоит моя железная голубая кроватка и где в углу перед иконами горят две лампадки — красная и зеленая, третья — в гостиную, где на полу разостланы отцовские чертежи. Отец служит в банке помощником бухгалтера, по утрам я вместе с мамой смотрю из окна, как он идет по улице и скрывается за углом, а вернувшись со службы, он садится чертить разные лодки, и наша гостиная всегда устлана чертежами, по которым лихо проносится, шурша бумагой и стуча лапами, кот Зайка.

2
ВИД ИЗ ОКНА

В нашей гостиной три окна. Они выходят на Георгиевскую улицу. Георгиевской она зовется потому, что в одном ее конце, там, где выгон и мусорная свалка и где весной бывает ярмарка с качелями и каруселью, находится церковь св. Георгия. Эта церковь — армянская, мы живем в пригороде Ростова-на-Дону, так называемом Нахичеване-на-Дону, этот пригород густо заселен армянами. Когда мы ходим с няней гулять по Садовой улице, нам встречаются румяные усатые армянские мальчики в гимназической форме и девочки с синеватым отливом волос и с ресницами густыми, как щеточки...

Домик, где мы живем, принадлежит папиной сестре Антонине Ивановне Пановой, целое подворье принадлежит ей, много маленьких кирпичных домишек и деревянных лачуг, населенных самым что ни на есть бедным людом. Земля между лачугами заросла бурьяном, но кое-где среди бурьяна что-то цветет, но не настоящие красивые цветы, а дикие и полудикие — повилика с маленькими розовыми граммофончиками, горьковато пахнущими, белесая кашка и дикий цикорий — его голубые звездочки открываются утром, а уже к полудню становятся серыми, мятыми, какими-то клейкими — умирают. Еще цвела на пустыре красноватая зорька и повитель — на Украине она зовется крученый панич — цветок милый, который люблю всю жизнь.

Там и сям над бурьяном были протянуты веревки с бельем, и этот вид болтающегося тряпья, и запахи детских пеленок, пригорелой каши и водки, несущиеся из всех выходивших во двор окошек,— эти виды и запахи нищеты окружали меня с детства.

Наша семья жила иначе, в нашей квартирке было чисто, водки у нас не пили, папа пил только пиво, да иногда пили вишневую наливку, бутылки с вишней, засыпанной сахаром, всегда стояли между оконными рамами. Бабушка Надежда Николаевна не любила, чтобы я играла во дворе с детьми, кликала домой или посылала гулять с няней.

Из крайнего окна нашей гостиной была видна большая лавка, куда ходили за разной снедью, и кирпичная водокачка, куда ходили по воду, перед водокачкой всегда стояли в очереди женщины с ведрами на коромыслах.

Весь день под окнами раздавались выкрики:

— Вы́-шан! Вы́-шан! — Это с двумя корзинами на коромысле кричали в летний день бабы, продававшие вишни, их руки выше локтя были в вишневом соку.

— Угольков, уголько-о-ов! — кричал с воза мужик, торговавший древесным углем.

Печи у нас топили углем каменным, древесный шел для самовара, покупали его много.

— Бубликаф! Бубликаф! — кричала бубличница.

— Стары вещи покупать! Стары вещи покупать! — скупщик старья.

— Кваску! Кваску!

— Верочка, квасник пошел,— говорила маме бабушка Надежда Николаевна, любившая квас. Я тоже его любила, но мне не давали, как не давали вволю и вишен, и черешен, которыми был в то время завален Ростов. Мама больше всего боялась, чтоб у нас с братом Леничкой не испортился

желудок, а что детям в первую очередь нужны фрукты, а уж потом — говядина, бублики и прочее, этого тогда еще не знали, может быть, именно поэтому мы, несмотря на обильную и добротную пищу, росли не очень здоровыми, вялыми и бледными.

У этого крайнего окна гостиной я себя помню на руках у тети Лили (другая папина сестра) в какую-то ночь. Улица за окном странно освещена, такого освещения я еще не видела, и небо странное, все красное. Тетя Лиля уговаривает меня, но мне становится страшно, я кричу. Прибегает мама, отнимает меня у тети Лили, уносит. Лежа в своей кроватке, я слышу какую-то ссору. Потом, не скоро, я узнала, что мама сердилась, выговаривала тете Лиле, зачем та потащила меня смотреть на зарево пожара и испугала, а тетя Лиля, вспыльчивая до горячности, как все Пановы, обиделась на маму и, в сущности, никогда ей до конца не простила этого выговора, и навсегда между ними остался холодок, которого обе не умели скрыть.

И еще помню себя у этого окна с няней. Мы стоим и смотрим на нашу Георгиевскую улицу, а по улице много людей несут длинный металлический, словно серебряный, гроб. За гробом едут извозчики. В пролетках сидят мужчины в черных котелках. Они придерживают венки, стоящие у их ног: железные, ярко раскрашенные венки и венки из живых цветов. У некоторых лошадей головы украшены белыми султанами. Няня положила руку мне на голову и говорит:

— Скажи, Верочка: «Упокой, господи, моего папу».

Я произношу это, и хотя мне еще не рассказали все подробно, как рассказали позже, но я уже в полной мере чувствую боль и непоправимость происшедшего.

3
ЧЕРНЫЙ КРЕП

Над этой порой моего детства вьется черный креп маминой вдовьей вуали. Надолго это черное полотнище взвилось тогда над маминой сединой, над ее свежим, несмотря ни на что, лицом, над всей нашей сиротской жизнью. До сих пор вижу, как эта мрачная ткань спускается с маминых плеч и как концы ее приподнимаются на ветру. До сих пор все мои пять чувств помнят эту вуаль. Помнят пальцы, как она была плотна и шершава на ощупь. Помнят глаза, что этот черный цвет, как ни был он глубок

и глух, был все же не сплошной: если поглядеть на свет, он как бы слоился, его чернота усажена была маленькими частыми просветами в виде продолговатых зерен. По временам ткань издавала звук вроде тихого шуршанья. И она имела запах: особенный, густой, печальный, нежилой, странная смесь аптеки и склепа — так пахло вдовство.

4
МОЯ НЯНЯ МАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Няня Марья Алексеевна Колесникова, белевская мещанка (я писала под ее диктовку письма в город Белев, Тульской губернии, к некоей Александре Васильевне Музалевской — видимо, родственнице или соседке — в собственный дом), была человеком самым религиозным в нашей семье, вернее, единственно религиозным, так как и мама, и бабушка Надежда Николаевна веровали, как я поняла, подросши, из приличия и на всякий случай, к богу они обращались по земным, практическим поводам, в ведении же няни состояло царство («царствие», как она произносила) небесное — жизнь тамошняя, загробная, о той потусторонней жизни она помнила ежеминутно, только о ней радела, во имя ее вечно постилась, как монашка, изнуряя себя и доводя до болезни (и довела), во имя этой жизни учила меня (увы, не научила) бояться греха, блюсти божьи заповеди.

Все досконально она об этом царствии знала: как веселятся там души праведных, и как мучаются грешные, и какой святой в каком там почете (на первом месте из святых мужчин числился, помню, Алексей человек божий, из святых женщин — великомученица Екатерина). Не от хорошей жизни няня покинула свой родной Белев и приехала в чужой ей Ростов, где не было ни лесов с грибами и ягодами (как она о них вкусно рассказывала, как любила даже картинки, где изображались грибы или ягоды), ни ее духовника протоиерея Михаила, о котором она говорила, как о святом, приехала в чужую семью, где все, по ее понятиям, было неправильно и греховно.

У няни была горькая жизнь: муж — пьяница, двое, как я теперь понимаю, не очень-то удачных детей, сын, тоже пьяница, и некрасивая, недобрая, болезненная дочь замужем за пьяницей. И всю эту свою жизнь няня понимала как приуготовление к той другой жизни, куда она готовилась

отойти ежечасно и где ожидала найти покой, и справедливость, и награду за все.

У нее был сундучок с накопленным (о, за сколько лет и трудов!) «добром». В сундучке лежали (казавшиеся роскошными мне, да наверняка и ей) отрезы подкладочной материи, блестящей, с цветными кромками; лежала черная плюшевая жакетка, в которой няня ходила в церковь, черный кружевной шарф. И всевозможные платки и полушалки — в ярких розах или в крапинках. Отдельно, завернутый в чистую простыню и заколотый булавками, лежал заветный наряд, который няня приготовила себе для погребения: белая кофточка с рюшем, белая косынка с кружевцем, белые чулки, белые туфли с тесемками. Няня вынимала булавки, доставала этот наряд и показывала нам, детям, не обращая внимания на то, что нам жутко, что мы не хотим на эти вещи глядеть.

— Верка, Ленька,— завещала она нам,— вы уж тогда присмотрите, чтоб Шурка (ее сын) сюда не лазил и не трогал ничего. Я припасала, а ему пропить ничего не стоит.

Увы, когда она умерла (летом 1926 года), я, ожидавшая тогда моего первого ребенка, мою Наташу, и брат Леонид были в отъезде и не снаряжали ее в царствие небесное. Сделали это ее дочь и ее сестры, тоже набожные. Не сомневаюсь, что они снарядили нашу нянечку так, как она того хотела.

Гулять няня водила нас главным образом на кладбище.

Все-то я вспоминаю нас с нею среди могил. По большей части могилы были безымянные, без плит, просто растрескавшиеся земляные холмики, над каждым холмиком белый крест, из земляных трещин выскакивают большие муравьи, рыжие и черные, я их боюсь.

Чаще всего гуляли на Армянском кладбище, к нему надо было идти по 14-й линии, там было много красивых памятников из мрамора и между ними один запомнившийся мне — на мраморной площадке стоймя железная дверца с большим висячим замком, а перед дверцей, положив руку на замок, словно желая его сорвать, стоял на коленях нагой человек, отлитый из чугуна. Мы часто сидели перед этим памятником, и однажды к нам подсела хорошенькая черноглазая старушка в черной бархатной шапочке и рассказала нам, что тут похоронены жених и невеста. Они были молодые и красивые, и любили друг друга, и собирались пожениться, но незадолго до свадьбы невеста умерла, а жених от горя застрелился, и их схоронили вместе и поставили им этот памятник.

Так я впервые услыхала о том, что на свете бывает любовь, такая сильная любовь, что от нее можно застрелиться, а также о том, что вообще можно застрелиться, то есть прекратить жизнь по собственному желанию.

О браке я до тех пор имела лишь то понятие, что это непременный счастливый конец всякой сказки. Формула счастья, тоже из сказок, была готовая: «Стали жить-поживать и добра наживать». «Добро» — были блестящие отрезы и полушалки с розами, уложенные в нянином сундучке, к этому добавлялся еще, пожалуй, супник с супом, а что тут бывает еще какая-то любовь, об этом я узнала от черноглазой старушки. Любить, говорила няня, надо маму и папу, бабушек и теток. Та любовь, из-за которой стреляются, явно была другая, особенная. Она не вела к хорошему — няня осудила жениха за самоубийство и определила, что невеста находится среди праведных, а жениху царствия небесного не видать за его самоуправство и гордыню, а стало быть, не видать и своей невесты, а стало быть, грех свой он совершил понапрасну. И мне было горько смотреть на коленопреклоненного чугунного человека, ухватившегося за висячий замок.

Помню, что вскоре после того я узнала, все от няни, что любовь в самом деле бывает и что она — тоже грех.

Иногда мы ходили в общественный сад, так называемый Александровский. Он был довольно велик и содержался в чистоте. Кроме широкой главной аллеи были в нем и уютные тропочки, и площадки для игр, и зеленые лужайки, осыпанные одуванчиками, и даже овраг, и даже что-то вроде пересохшего ручейка на дне оврага, и даже искусственный грот с терракотовыми карликами в островерхих колпаках.

Карлики меня немного пугали, но по дорожкам весело было бегать, весело было сбега́ть в сыроватый зеленый овраг, и там я однажды испытала настоящее счастье, впервые в жизни увидев грибы. Я их узнала по картинкам, отломила один, большой и тяжелый, с серой шляпкой, и побежала к няне с криком: «Няня, смотри, гриб!» Няня, сидевшая на скамеечке, взглянула и сказала: «Нешто это гриб, это шампиньон». Впрочем, пошла за мною в овраг и собрала все грибы, какие там были. Когда мы принесли их домой, мама подтвердила, что это шампиньоны, и сказала, что это очень вкусно. Она сама их зажарила в сметане, и все ели, кроме няни, которая все твердила, что это не настоящие грибы и есть их добрым людям не годится.

В этом Александровском саду по вечерам играла

музыка и была эстрада для представления. На представления нас не водили, мы только слыхали от кого-то, что там бывают и клоуны, и всякие артисты. Днем на пустой эстраде оставались какие-то следы этих вечерних представлений — приборы для гимнастики, коньки на колесиках; однажды на серых досках эстрады мы видели диковинные розовые туфельки со срезанными носками, а в другой раз — золотую шаль, переброшенную через спинку грубого деревянного стула.

А однажды средь бела дня мы увидели на этой эстраде необыкновенную женщину и необыкновенного мальчика. Мальчик сидел на стуле, а женщина стояла позади него. Он глядел вверх — на нее, а она вниз — на него, и, как ни была я мала, меня поразила необычность, жгучесть этого взгляда. У обоих у них было надето на ногах что-то вроде очень длинных розовых чулок, а на плечи наброшены коротенькие розовые пелеринки, фасоном совершенно как та пелеринка из козьего пуха, какую носила бабушка Надежда Николаевна, но только эти были из розового газа и осыпаны блестками. Я замерла перед этим зрелищем, зажмурившись. Няня, однако, не дала мне долго глазеть.

— Ну, чего стала, иди! — сказала она, подтолкнув меня в спину.

Как раз в это время женщина, нагнувшись, поцеловала мальчика в голову, а он протянул руку назад и взял ее за локоть.

— Бесстыжие! — сказала няня.— Ишшо и це́луются.

— Няня, кто это?

— А кто же как не актеры,— сказала няня.— Какой же хороший человек будет такими делами заниматься? Любишь — ну и люби себе потихоньку, а эти, видишь, на самое видное место вылезли.

— Они — жених и невеста, няня?

— Ну да, как же! — сказала няня.— Какие там жених и невеста, один грех: любовь.

— А это грех?

— Самый страшный,— сказала няня. Но я не поверила, а в сердце своем унесла этих двух людей в красивой розовой одежде, на самом видном месте потянувшихся друг к другу.

Вот такой в первый раз мне предстала любовь: неприкаянной, розовой, сурово осужденной.

Иногда — это бывало не часто — мы с няней садились в трамвай и долго, с пересадками, ехали через весь город на Старое кладбище, «к папе».

Там был наш склеп, пановский и грибановский (у истоков нашего рода стояли Грибановы, Пановы явились уж позже). Небольшая гробница была огорожена решеткой, на гробнице с трех сторон высечены надписи, извещавшие, кто лежит в склепе. Лежал там прадедушка Илья Михайлович Грибанов, лежала прабабушка Олимпиада Григорьевна Грибанова и лежал наш папа Федор Иванович Панов, утонувший в Дону, когда мне было пять лет, и брату Леничке год, при обстоятельствах туманных и даже загадочных, как говорит семейное предание. Трое погребенных — три надписи. Четвертую сторону гробницы оставила для себя бабушка Александра Ильинична, мать моего отца. (Ей не пришлось там лежать, она умерла в Ленинграде в 1941 году, незадолго до войны. По всей стране разбросаны пановские и грибановские могилы.)

На наклонной железной двери склепа висел огромный, как пудовая гиря, замок. Звякал ключ, няня распахивала железные створки, в лицо ударял погребной холод. Мы с братишкой, взявшись за руки, спускались по каменным ступеням в сырую глубину.

Прадедушка и прабабушка покоились в глубине склепа, в левом заднем его углу: две одинаковые могилы, всегда обложенные очень чистым песком. Справа, как бы поперек склепа, стояла папина гробница, сложенная из кирпича и выбеленная мелом, на гробнице всегда были свежие цветы, их привозила мама. В гробнице было длинное продольное окно со стеклом, сквозь стекло виден цинковый гроб, в нем лежали отцовские останки. Не надо бы нам, маленьким, показывать это все, отсюда родились многие мои детские страхи. Хоть я и не видела, и не могла видеть, отцовских останков, но Пушкина уже читала, и воображение уже работало вовсю. «И в распухнувшее тело раки черные впились» приходилось кстати, и ужасало, и отталкивало, а воспоминание об отце (любое!) не должно отталкивать. На фотографиях, которые мама свято берегла, папа был кудрявый, веселый, окруженный веселыми приятелями, за его плечом белели веселые треугольные паруса, черные же раки порождали трудные мысли о том, что все равно как жить, конец один, будешь ли ты поститься, как няня, или погрязать в грехах, как, по няниному мнению, погрязала бабушка Надежда Николаевна.

Что бабушка была учительницей музыки и в доме вечно звучали гаммы, это няня прощала и одобряла: это увеличивало доходы нашей семьи. Но в часы, свободные от уроков, бабушка Надежда Николаевна садилась за рояль и играла

до позднего вечера — это уже был грех. «Лучше б молилась»,— говорила няня.

А по воскресеньям к бабушке приходила ее приятельница Татьяна Николаевна, тоже учительница музыки, и они играли в четыре руки. («Лучше б молились».)

Как живых их вижу, этих чистеньких старушек в темных платьях с белыми кружевными галстучками, с серебрящимися волосами, уложенными валиком надо лбом. Руки, уже морщинистые, с темно-синими, почти черными жилами, неутомимо летают над клавишами, и завидую легкости и силе этих рук, меня тоже учат играть на рояле, но я никогда так не научусь, и сама слышала, как бабушка сказала маме: «Странно, у Верочки совсем нет моторной памяти, ей даже легкие упражнения даются с трудом». Странным это им казалось оттого, что способность к музыке была у нас фамильной, бабушка Надежда Николаевна играла как профессиональная пианистка, мама хорошо играла по слуху и пела, так же хорошо играл и пел ее брат Владимир Леонидович, дядя Володя. У него был бас, и, вероятно, это в свое время толкнуло бабушку Надежду Николаевну на безумную авантюру — отправить обожаемого сына учиться в Италию. Помню, нам говорили, что вот дядя Володя приедет из Италии и будет таким же знаменитым, как Шаляпин, и тогда конец нашей бедности. Помогала этому безумному предприятию бабушкина сестра Вера Николаевна, бывшая замужем за очень богатым человеком, шахтовладельцем И. С. Кошкиным, она же дала денег (800 рублей) на приданое моей маме, когда та выходила за папу.

Из итальянской авантюры, как водится, ничего не вышло. Проучившись сколько-то лет в Милане, дядя Володя простудился и потерял голос. Он приехал после этого к нам и сидел в гостиной, разговаривая с бабушкой, и вдруг оба заплакали, а меня позвала мама: «Иди в детскую, непременно тебе смотреть». Впервые я тогда увидела, как плачет громадный толстый мужчина, и была поражена как-то очень горько, хотя не понимала (и мне не объяснили) объема катастрофы.

Жить с нами дядя Володя не остался, уехал в Петербург, и бабушка сказала нам, что он там служит в «департаменте» (слово хоть и знакомое уже по Гоголю, но впервые возымевшее отношение к нашей семье), до сих пор у нас были только папин «банк» и мамина «контора» (после гибели папы мама поступила конторщицей в аптекарскую фирму «Лемме и компания»), да иногда еще

мелькал в разговорах прадедовский «магазин». По словам бабушки, дядя в этом департаменте может дослужиться до большого чина (опять Гоголь!). Няня же уверяла, что ни до чего этот грешник не дослужится и что кошкинские деньги ухлопаны на глупость, «лучше б о сиротах подумали, хотя б одели, а то ни одного чулка нет без дырок».

5
БАРЫШНИ ТРОИЗИ
(Дагерротип)

Когда-то семья Троизи была вполне благополучной и устроенной. Отец моей бабушки был коммерсант. Не знаю, чем он занимался, но по дагерротипам, сохранившимся у бабушки, видно было, что жили хорошо: ножки стульев отражались в начищенном паркете, прабабушка Ольга Ивановна была в кринолинах и кружевах, все четыре дочки тоже были расфранчены. Старшую дочку звали Любовью, вторую — бабушку мою — Надеждой, третью — Верой, четвертую — Софьей.

«Нас было четыре барышни,— говорила бабушка,— и все мы были очень музыкальны». Иногда она добавляла: «И красивы», но, в сущности, красива была только Вера Николаевна, обладавшая к тому же прекрасным голосом, даже на моей памяти она была еще красива и хорошо пела. По-настоящему играла на рояле только бабушка Надежда Николаевна; Любовь Николаевна и Софья Николаевна бренчали кое-как.

Из этих бабушкиных рассказов больше всего запомнился мне один — как их, четверых музыкальных барышень, впервые повезли слушать Чайковского. То был «Евгений Онегин». «И мы так смеялись»,— рассказывала бабушка. «Чему же вы смеялись?» — «Ну как же! Ведь совершенно ни на что не похоже, мы совсем к другой оперной музыке привыкли». В то время, которое я сейчас вспоминаю, в семье уже никто не посмеялся бы над Чайковским, перед ним благоговели, спорили иногда лишь о том, какая из его опер лучше, мама пела его романсы своим серебристым сопрано, мне внушали, что нет музыки лучше, чем «Пиковая дама», и когда впоследствии я слышала, как осуждают что-нибудь в искусстве за то, что оно «не похоже», я всякий раз вспоминала бабушкину историю о четырех барышнях, и меня тянуло заступиться за осуждаемое.

Судьба этих барышень сложилась по-разному. Надежда Николаевна и Софья Николаевна вышли замуж за совсем мелких коммерсантов, что-то вроде хлебных маклеров, много бедовали и рано овдовели. Красивая Вера Николаевна вышла за богатого человека и помогала бедным сестрам. Любовь Николаевна в отрочестве чем-то болела, что отразилось, видимо, на ее умственном развитии: в зрелых годах она была нетверда памятью, отличалась странностями, и сестры, друг к другу неизменно корректные, небрежно называли ее Любочкой. Впрочем, может быть, это состояние ума было наследственное, так как большими странностями отличалась в старости и мать ее Ольга Ивановна Троизи. Между прочим, у старушки была слабость отрезывать пуговицы от всякой одежды, какая попадалась ей под руку. Однажды ночью она пробралась в спальню моих родителей и срезала все пуговицы с костюма отца. Любовь Николаевна очень любила ходить в гости и вечно убегала из дома, что, по словам ее сестер, очень отражалось на хозяйстве и вызывало большое неудовольствие ее мужа, скромного учителя словесности в одной из ростовских гимназий. Помню, что, когда мы к ним приходили, Любовь Николаевна всегда стояла на крылечке флигеля, где они квартировали, босая и в рубашке, с растрепанными седыми волосами, и, поздоровавшись и одевшись наскоро, уходила в гости или в кинематограф, и по этому поводу родственники качали головами и говорили: «Бедная». В их домике было почему-то много охотничьих собак — кажется, на охоту ходил их сын Миша, да, конечно, потому что году в 1930-м он пал жертвой этой страсти, его нечаянно подстрелил на охоте какой-то товарищ. Эти собаки вечно лежали на каких-то неподходящих местах — на диване и даже на письменном столе, и я их ужасно боялась.

Муж Любови Николаевны, дядя Сеня, приходил к нам по воскресеньям завтракать. К его приходу стол обычно накрывался по-праздничному, готовилось что-нибудь вкусное и ставилась водочка. Приходил и наш священник отец Алексей, завтракал вместе с дядей Сеней, а потом они с мамой садились играть в преферанс. Я это очень любила и, наблюдая за их игрой, сама научилась играть. Каким-то краем сознания я понимала, что радушным приемом мама и бабушка стараются развлечь дядю Сеню и утешить в его домашнем неустройстве, и мне это нравилось. Скажу здесь несколько слов и о старушке в черном кружевном чепчике — маминой няне. Как и прабабушка Троизи, она доживала свой век на покое у моей мамы. Она была очень тихая

и незаметная, я даже не заметила, как она исчезла из дома. Мне сказали сначала, что она ушла в богадельню, а потом — что она умерла от холеры. Холера бушевала у нас в 1910 году и унесла много стариков, живших в богадельне. Это была вторая смерть, с которой я повстречалась,— в том же 1910 году погиб мой отец.

6
ГРИБАНОВЫ

Но сначала хочу вспомнить ту ночь, когда родился мой брат Леонид, в ожидании которого, как я узнала потом, и жила у нас акушерка Надежда Абрамовна, ночевавшая на диванчике в гостиной у двери маминой спальни. Конечно, я ничего не знала об этом ожидании, не могла знать и значения того шума и беготни, которые поднялись в доме в ту далекую январскую ночь 1909 года. После беготни стало тихо и в детскую вдруг вошел папа. Никогда прежде не бывало, чтобы он входил ночью, а тут вдруг вошел. Горели две лампадки перед иконамн. Я поднялась, стояла в кроватке. Папа подошел ко мне и сказал:

— Верочка! У тебя родился брат. Родился брат, и мама здорова. Скажи: «Слава богу».

Я сказала и поцеловала его, потому что он поцеловал меня, но опять ровно ничего не поняла, от непонимания было страшно. Пришла няня Марья Алексеевна, велела мне стать в кроватке на колени и прочитать «Богородицу» и «Спаси, господи, папу и маму». Я повторяла за нею знакомые слова, и мне стало спокойнее. Потом няня сказала:

— Ну спи, уже поздно, уже даже армянин погасил огонь.

Против окна детской была какая-то лавчонка, где, по словам няни, торговал армянин и где в окне до глубокой ночи горел огонь. В моем детском мире это окно называлось «армянин с огнем». Склоняя по-своему слово «огонь», я произносила «с огонем», меня передразнивали и сами стали так произносить.

Няня Марья Алексеевна была не прочь позлословить насчет наших семейных дел. Она посвящала меня в них. Она рассказала мне, что мы бедные, а тетки мои и бабушка Александра Ильинична — богатые, и не столько из ее слов, сколько по тону и выражению лица ее я сообразила, что мы в чем-то виноваты перед богатой родней. Дом, где мы живем, рассказала няня, принадлежит тете Тоне, все

подворье принадлежит тете Тоне, и скоро на этом подворье тетя Лиля и дядя Саша построят себе новый богатый дом. И правда, вскоре постройка началась, во двор стали свозить разные материалы, кирпич и всякие плитки, и дядя Саша, муж тети Лили, который был архитектор и построил в Ростове много домов, командовал рабочими. Перед домом они решили устроить сад и цветник и огородили эту часть подворья кирпичным забором, и няня говорила, что в отгороженных домиках стало очень темно и душно. Няня говорила, что богатые о бедных никогда не думают и что это большой грех. Особенно осуждала она тетю Тоню. «Ведь сама убогая,— говорила няня,— должна бы подумать, каково им в темноте да духоте». Тетя Тоня, Антонина Ивановна Панова, была горбатенькая, носила, чтобы скрыть горб, очень широкие складчатые платья, я очень, очень ее жалела и не могла осуждать ее с такой решительностью, как няня. И меня очень радовало, когда няня говорила, что бог милостив, прощает грешников, если они раскаются и станут творить людям добро. Мне даже иногда хотелось сказать тете Тоне, чтобы она так и поступила для собственной пользы. Но я не смела — я ее боялась. У нее были черные строгие глаза, и недобрая складка у тонких бледных губ, и выражение, которому я нашла название, став взрослой,— то было ожесточение несчастья.

В семье нашей было два типа, два склада наружности — я говорю о семье отца. Бабушка Александра Ильинична, отец, тетя Тоня, дядя Сережа и я обладали чертами тяжелыми и неуклюжими: толстоватые носы, грубые скулы, глаза небольшие, в глубоких глазницах. Такие же черты были на портрете прадедушкн Ильи Михайловича Грибанова. Тетя Лиля и дядя Илюша пошли в своего отца Ивана Михайловича Панова. От него у них были более тонкие и правильные черты, мягкие карие глаза, красивые руки, особенно у тети Лили. Пановская кровь влилась в наши жилы позже, первоначально никаких Пановых не было, были Грибановы. Прадед Грибанов и его супруга Олимпиада Григорьевна, крепостные крестьяне Московской губернии, в 1861 году получили вольную и приехали в теплый и богатый Ростов-на-Дону. Няня показала мне их домик на Софийской улице. Этот домик-крошечка в три окошечка принадлежал, по ее словам, старикам Грибановым. Тут они жили, тут была мастерская прадеда. Он был столяр-краснодеревец и спервоначалу стал ремонтировать старую мебель — либо у себя в мастерской, либо на дому

у заказчиков. Но потом дух богатого города захватил его, он решил переломить свою судьбу. Он поехал в Москву и попросил кредита у тамошних богатых мебельщиков. Московские мебельщики навели справки. Ростовчане отозвались, что Илья Грибанов — человек обстоятельный и честный. Прадед получил в кредит дорогую новомодную мебель и открыл магазин. По одним сведениям, магазин этот находился на Московской улице, по другим — на Старопочтовой. Та и другая были центром ростовской торговли. О тамошних вывесках еще в детстве и отрочестве моем ходили анекдоты. Говорили, например, будто над какой-то кроватной мастерской была нарисована люлька, в люльке младенец, и написано: «Сих дел мастер». Не думаю, чтобы это была правда. Ростовчане не грешили гаерством. Их образ жизни, их уровень культуры лучше всего описаны у Чехова. Это, конечно, не ахти что. Но все-таки ведь не самое уродливое и невежественное, что бывало в те времена. Чехов, правда, жил в Таганроге. Но далеко ли Таганрог от Ростова и на карте, и в культурно-историческом ряду?

Итак, старики Грибановы вышли в купечество, вступили в гильдию и стали богатеть. Родилась наследница, дочка Сашенька, бабка моя Александра Ильинична. Купили несколько доходных домов. Купили всякие цацки Сашеньке в приданое. Торговое дело процветало. Стало прадеду трудненько одному управляться с делами. Взял он себе в помощники старшего приказчика Ивана Михайловича Панова.

По тогдашним неписаным законам старший приказчик, если он оправдал хозяйское доверие, самим господом был предназначен в мужья дочери. Панов оправдал доверие, был к тому же собой недурен, не пил, большой родни в семью не вводил. Чего еще? Выдали наследницу Сашеньку за Панова.

Брак этот был благословен обильным потомством. Родился сын Федор, потом одно за другим еще трое чад: Антонина, Илья, Олимпиада. Но затем умерли старики Грибановы. Сашенька получила наследство. И тут развернулся ее характер.

Начала с того, что прогнала мужа своего Ивана Михайловича. Не знаю, почему она не прибегла к разводу, если пожелала избавиться от мужа: потому ли, что развод был слишком хлопотливым делом, или потому, что он казался ей бóльшим скандалом, нежели изгнание из своего дома законного супруга, отца своих детей. На снимках тех

лет бабушка Александра Ильинична выглядела тучной женщиной немолодых уже лет, с грубыми чертами мясистого лица, в платье со шлейфом, усаженным цветами и бантами. Судя по внешности, этой женщине более свойственно было самодурствовать, нежели добиваться своих целей законными путями. Впрочем, ни за что не хочу произносить над нею окончательный приговор. Она осталась в моей памяти как человек ярких дарований. Полуграмотная, до конца жизни не умевшая правильно писать, она знала наизусть Некрасова, от нее первой я услышала «Генерала Топтыгина», «Мороз, Красный нос» и «Русских женщин», и как она читала! Как она выговаривала гениальные строчки: «А сверху мне муж по-французски сказал: „Увидимся, Маша, в остроге“»,— с таким пониманием, словно она сама жила в те времена и в той среде и сама перенесла все это. Несомненно, в нашем роду, где играли, пели и имели кое-какое образование, эта необразованная бабка была наиболее одарена духовными возможностями.

Между прочим, я уверена, что в ней пропала замечательная комическая актриса. Она до тонкости умела изобразить любого человека, его лицо, походку, манеру говорить. Чем проще был человек, тем это получалось у нее лучше. Когда она бывала в ударе, она любила просверкать этим своим талантом, особенно перед старинной своей приятельницей Полиной Федоровной Тимоновой, с которой у нее были какие-то доисторические женские счеты.

Прогнав дедушку Ивана Михайловича, она вдруг как-то странно и дико закутила на удивление всему городу и прежде всего своим детям. Жившая при своих стариках в строгости, всему городу известная как дочь почтенных родителей, она вдруг окружила себя бог весть какими проходимцами — картежниками, выпивохами, никчемными людьми, преимущественно из тех кавказских красавцев, которых всегда так много было в Ростове. В два-три года в их руках оказались все ее деньги и доходные дома и все нажитое прадедом Грибановым. Дочерям Антонине и Олимпиаде осталось кое-что: первой — небогатое подворье на углу 7-й линии и Георгиевской улицы, второй — приобретенные Грибановыми бриллианты. Сыновьям не досталось ничего. Дядя Илья кончал в Москве медицинский факультет, перебиваясь уроками в тех купеческих семействах, где помнили Илью Грибанова. Дядя Сергей, кажется, и гимназию кончал, содержа себя собственными силами. Отцу моему тоже не досталось ничего.

7
ОТЕЦ

Старшего своего внука Грибановы готовили в руководители большого торгового предприятия. Он окончил в Москве академию коммерческих наук, где учили не только банковскому делу, но и языкам и откуда выходили со званием личного почетного гражданина. Кроме этой академии отец успел еще до полного банкротства семьи побывать за границей, где, во исполнение плана Ильи Михайловича Грибанова, усовершенствовался в знании трех европейских языков. Все это дало ему возможность, вернувшись из-за границы, устроиться помощником бухгалтера в ростовский банк Общества взаимного кредита. Видимо, это был способный человек. Не только мама, обожавшая его, отзывалась о нем так, но и дядя Илья, вовсе не склонный приукрашать своих братьев и сестер, не раз говорил мне: «Федор у нас был — золотая голова».

Тогда же, по возвращении, он женился на маме, отвергнув невесту из великановского дома. Из-за этого рассорился со своей матерью и сестрами. Было это в начале века. В 1905 году родилась я. Отец пожелал, чтобы я была названа Верой. Это было имя моей матери. Отец его любил и говорил, что сколько бы у него ни было дочерей, он всех назовет этим именем.

Работая в банке, он любил не банковское дело, а лодки, речной спорт — то была подлинная его страсть, подлинное призвание. Для себя и своих приятелей, разделявших эту страсть, он основал в Ростове яхт-клуб. Первоначально яхт-клуб помещался в станице Гниловской, немного ниже Ростова по течению Дона. Любители собирались там строить речные суда и кататься на них. Но очень скоро к неведомому ранее развлечению прихлынули толпы людей, не имеющих к речному спорту ни отношения, ни расположения. Стали приезжать на извозчиках и на баркасах — с шампанским, музыкой, певичками. Тогда отец и его товарищи бросили это место и построили новый яхт-клуб выше по течению, против 39-й линии, близ деревянного моста.

Собственными руками отец построил себе яхту и назвал ее «Вера». Он отлично управлял ею и иногда устраивал на ней настоящие представления перед мамой, сидевшей на террасе яхт-клуба: нарочно опрокидывал яхту и, спасаясь от «кораблекрушения», приплывал к пристани. Плавал он отлично, сердце было безупречное, и вот 28 мая 1910 года

он, устроив такое «кораблекрушение», не выплыл, исчез в Дону на маминых глазах.

В тот день с ним на яхте были два человека — больной старик и молодой человек, не умевший плавать. Сейчас же от яхт-клуба отчалила гичка, спасли и старика, и молодого, не нашли только папу. А на другой день утром матрос, служивший в яхт-клубе сторожем, выйдя на пристань, увидел прибившееся к ней тело отца. При вскрытии врачи обнаружили то, что называлось тогда разрывом сердца, но это не объясняло ничего, и многие годы гибель отца была темной загадкой, тяготевшей над нашей осиротелой семьей.

Что знаю обо всем этом я? Что в том 1910 году была видна комета Галлея. Явление ее, говорят, сопровождалось внезапными резкими переменами погоды. В одну такую перемену, говорили, и налетел ветер, враз опрокинувший яхту, отец не успел приготовиться к катастрофе. Существовало, впрочем, и другое объяснение. Когда отец учился в академии коммерческих наук, рассказывали мне, к нему на подмосковной даче подошла цыганка, попросила «посеребрить ручку» и нагадала ему, что, когда ему будет 30 лет, он в день своих именин утонет. Он утонул, когда ему было 30 лет, в день своих именин.

Мой отец, человек образованный и веселый, не веривший, по всеобщим отзывам, ни в бога ни в черта, почему-то часто вспоминал об этом предсказании. Накануне злосчастного дня они с мамой были в гостях, и за ужином он, рассказывала мама, вдруг сказал: «Да, господа, завтра я должен утонуть». И все, рассказывала мама, были поражены тем, что он сказал это так серьезно. И вот некоторые предполагали, что он вспомнил об этом предсказании, когда опрокинулась яхта, и у него не хватило сил выплыть — может быть, от волнения у него остановилось сердце.

Так или иначе, его не стало с нами, и тогда-то и появились мамина траурная вуаль и ее серебряные волосы (она поседела за одну ночь).

Меня не взяли на похороны, но няня поднесла меня к окну гостиной, и я видела погребальную процессию — большой цинковый гроб и за ним маму, которую вели под руки, а дальше шли родственники, а затем ехали извозчики.

8
ДОМ ТЕТИ ЛИЛИ

Дядя Саша построил дом из тех кирпичей и плиток, что горами были навезены во двор. Все говорили, что такого дома еще не было в Нахичевани. Полукруглое каменное крыльцо вело с улицы к резной полированной двери, украшенной вверху цветными стеклами. И чего-чего не было внутри: и колонны, и лепные потолки с позолотой, и тропические растения, и громадный аквариум с золотыми рыбками, лучшая грибановская мебель.

Тетя Лиля сказала, что белые занавески — мещанство, и она сама вымачивала белый тюль в крепком чае, чтобы придать ему, как она говорила, благородный вид. Она была большая рукодельница, поэтому в доме было очень уютно.

«Наконец-то я поживу как следует»,— сказала она, и действительно, они с дядей Сашей зажили на славу. Он строил дома богатым ростовчанам, а тетя Лиля рукодельничала или читала романы Марлитт. Она очень любила эти романы и говорила, что по ним научаешься хорошей жизни.

Тетя Тоня и бабушка Александра Ильинична поселились с тетей Лилей и дядей Сашей и взяли на себя все заботы о хозяйстве, чтобы дать тете Лиле возможность заниматься только собою. Они даже стряпали, хоть в доме была кухарка.

Тетя Тоня, горбатенькая и некрасивая, с детства была безгранично предана старшей сестре и служила ей, как раба. При доме устроили богатый цветник с настоящими прекрасными цветами, и занималась цветником все та же тетя Тоня. Когда, бывало, ни придешь, всегда застанешь ее стоящей на коленях на какой-нибудь клумбе. Со своим горбом, торчащим к небу, с желтым больным лицом и худыми руками она казалась особенно жалкой среди этих роз, гвоздик и сирени.

То она поливала цветы, то подсаживала рассаду, то просеивала землю, то обрезала сухие листочки.

Меня она не любила, я была дочерью ее брата, обманувшего надежды семьи, и я ее не любила, но была связана с нею моей детской жалостью, о которой она никогда не узнала, но я уверена, что если кто и жалел ее от всей души, то это были мы, дети, и жалость моя была так остра, что ощущалась как пронзительная боль где-то в глубине.

9
ВОДОВОЗ

На подворье тети Тони водопровода не было, как не было и электричества. Освещались керосиновыми лампами, вечно коптившими противной жирной копотью, а воду носили на коромыслах от водокачки и сливали в кадушку, стоявшую в кухне на лавке. Носить было тяжело, поэтому все радовались, когда во дворе появлялся водовоз.

Облезлая клячонка тянула громадную пузатую бочку, а водовоз шагал рядом. Он описан у Чехова, который вообще всю тогдашнюю нашу серенькую жизнь живописал со всеми ее подробностями. В рассказе «Бабье царство» среди прислуги, поздравляющей барыню с праздником, упомянут водовоз, заглянувший из сеней, но постеснявшийся войти.

Есть тут и точнейшая, как всегда у Чехова, деталь: у водовоза сосульки на бороде. Водовоз постеснялся войти, так как он стоял на самой нижней ступеньке общественной лестницы: он торговал товаром, дешевле которого уж ничего не было,— водой. Любая бубличница была выше него.

И сколько в моем детстве существовало такого мелкого люда, не знавшего ни хорошего обхождения, ни человеческой обстановки, ни грамоты,— все эти водовозы, холодные сапожники, швеи, ходившие на поденную работу из дома в дом, приказчики и рассыльные в ничтожных лавчонках. Для них моя бедная мама с ее вдовьим крепом была барыня, а тетя Лиля и ее муж, построившие себе красивый дом, были в их глазах миллионерами, а детская игрушка в витрине магазина — роскошью, доступной только для богачей, а копейка была — деньги.

Помню, как однажды подошел к нам с няней в Александровском саду какой-то пьяненький и сказал: «Бабушка, я тебе дам четыре копейки, а ты мне — пять копеек, и господь тебя наградит».

Няня достала из узелка на платочке медную копейку и дала ему. «Нельзя не дать,— сказала она, словно оправдываясь,— не дать — он заболеть может, ему опохмелиться надо. И что копейка, ее все одно Шурка пропьет».

Помню, я задумалась о том, как странно высказал этот пьяный свою просьбу, обычно нищие просили: «Дайте копеечку». Потом поняла, что это он придумал из гордости, так ему легче просить: вроде бы просит об обмене, а не о милостыне. Он был в чьей-то чужой старой шляпе с ото-

рванными полями и в калошах на босу ногу, но он был горд, и в награду за гордость моя няня, скуповатенькая и не терпевшая пьяных, дала ему копейку.

10

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА 1-ю ЛИНИЮ

Не знаю, по каким причинам тетя Тоня в 1915 году отказала нам от квартиры. Мама аккуратно носила ей плату — может быть, тетя считала нас недостойными и на таких условиях жить в ее доме. Так или иначе, мама стала искать другую квартиру, и скоро мы переселились на 1-ю линию, в дом, где нам очень понравилось.

Это был очень славный кирпичный домик с зелеными жалюзи. Дворик там весь зарос веселой травкой, в глубине его, за сараями, росло несколько черешен, при доме была терраса, а главное — в доме были и водопровод, и — впервые в моей жизни — электрическое освещение.

Так ново было и приятно повернуть выключатель и осветить комнату, не знать ни копоти, ни керосинового запаха, умываться не в тазу, а свежей проточной водой из-под крана.

Хозяин со своей семьей жил во флигеле, а домик, выходивший четырьмя окнами на улицу, заняли мы, перевезя все наше имущество с прежней квартиры.

Бабушка Надежда Николаевна, великая мастерица на всякое рукоделье, все очень уютно устроила.

Помню, между прочим, что она вырезывала из толстого английского ситца разные фигурки — цветы, китайцев, пагоды и делала абажуры для ламп и ширмочки для окон. Помню также наш музыкальный уголок, где стоял рояль, а над ним в овальных черных рамах висели портреты великих композиторов — Бетховена, Моцарта, Гайдна, почему-то все в белых париках и в жабо, так что с тех пор все знаменитые композиторы представляются мне в таких же кружевах и буклях.

Жизнь наша, впрочем, на новой квартире почти не изменилась. Так же рано утром мама уходила в свою контору, а мы оставались с няней и с бабушкой Надеждой Николаевной. Последняя давала нам уроки музыки и читала нам вслух, а няня водила нас гулять, кормила, мыла, одевала. Мама приходила только вечером, к чаю. Приносила нам что-нибудь вкусное, иногда книгу или игрушку.

Помню, принесла она как-то металлический аэроплан. Надо было потянуть какую-то пружинку, и аэроплан летел через всю комнату. Я тоже захотела запустить его, и — о ужас! Он перелетел комнату и врезался в лоб брату Леничке, сидевшему с няней в кресле. Хлынула кровь, закричал Леничка, закричала и я, увидев свое преступление и осознав себя тяжко виновной, последней из людей.

Думаю, что это был самый тяжелый день моего детства и, несомненно, один из самых тяжелых во всей моей жизни.

Перед вечером, незадолго до маминого прихода, бабушка брала нас с Леничкой, и мы отправлялись на Садовую еще раз прогуляться и купить чего-нибудь к чаю.

Шли сначала в булочную Филиппова и покупали булочки для нас, детей, калачи для мамы и няни, какие-то тминные хлебцы для бабушки — каждому то, что он любил. Заходили в бакалею, как называли у нас тогда гастрономические магазины, и опять-таки каждому покупали то, что он любил, и с полной кошелкой возвращались домой пить чай.

11

ТЕТЯ ЛИЛЯ

В детском моем мире было любимое и ненавидимое, прекрасное и безобразное, радости и ужасы.

Самое любимое были цветы. Всю жизнь они были для меня драгоценны, но в детстве особенно. Теперь я знаю почему: потому что я была к ним ближе. Вербена и флоксы были одного роста со мной. Став рядом, я словно бы шепталась с ними. За ромашками приходилось лишь чуточку нагнуться. Нагибаться низко нужно было только к тем, что цвели у самой земли,— к маргариткам, к анютиным глазкам.

Со всеми этими цветами я познакомилась в цветнике тети Лили.

Кстати сказать, тетя Лиля была, в сущности, тетя Липа, звали ее Олимпиадой, как ее бабку Грибанову, но тетя Лиля терпеть не могла свое простонародное имя и велела звать себя Лилей. «Наша Липка корчила из себя герцогиню»,— сказал мне как-то дядя Илюша через много лет, когда мы с ним подружились. Видимо, новый дом окончательно укрепил эти ее претензии, потому что он действительно был необыкновенно наряден и комфортабелен для Ростова.

По кушеткам, креслам и столикам тети Лилиного дома были разбросаны альбомы. В альбомах были собраны портреты знаменитых красавиц — Лины Кавальери, Клео де Мерод и других, уже не помню их имен. Заглянув в эти альбомы и книжки (читать я выучилась очень рано и как-то сама), я поняла, по каким образцам тетя Лиля устраивает свою жизнь. Она же, заметив, должно быть, что я читаю ее книжки, вдруг меня осчастливила. Однажды, придя к ней, я увидела на одном из кресел несколько книг в одинаковых серых переплетах. Тетя Лиля сказала:

— Вот, посмотри эти картинки.

Первая картинка, которую я обнаружила, изображала египетскую пирамиду, вторая — глиняный кувшин. То была «Детская энциклопедия», прекрасное издание, из него я узнала много нового — до сих пор помню, как лепят глиняную посуду, как делают сахар из тростника и свеклы, и еще много всякой всячины. Не знаю, почему тетя Лиля вдруг решила помочь моему воспитанию, но была ей очень благодарна, благодарна и сейчас.

В этом богатом доме, как и в нашей бедной квартирке, никто никогда не сидел сложа руки. Дядя Саша чертил в своей чертежной, бабушка Александра Ильинична помогала тете Тоне хозяйничать, тетя Лиля вышивала, выжигала по бархату, штопала. Однажды я застала ее сидящей на низенькой скамеечке в гостиной посреди ковра. У ног ее стояло блюдечко с водой и ящичек с красками. Кисточкой тетя Лиля набирала немного краски и подкрашивала выцветшие узоры ковра.

— Мой дедушка,— сказала она,— которому мы всем обязаны, никогда не сидел без дела и нам не велел.

Речь шла об Илье Михайловиче Грибанове, краснодеревце, о нем всегда в семье говорили с великим уважением. Бабушка Александра Ильинична рассказывала:

— Если бы я слушалась папу, я бы имела образование, как мои дети имеют. А я слушалась маму, она говорила, что, если я буду учиться, у меня голова будет болеть.

И через много лет дядя Илюша, указывая на портрет Ильи Михайловича, сказал мне:

— Вспоминай, Вера, этого старика, благодаря ему мы с тобой принадлежим к интеллигенции.

Из этих обрывочных частных разговоров делаю вывод, что уже очень давно русская провинция тяготела к образованию, стремилась выйти из провинциальной серости.

12
НАШИ ВЕЧЕРИНКИ

Когда отец умер, нас осталось у мамы двое: я и брат Леня, на четыре года моложе меня. Мне было пять лет, Лене — год.

Фирма «Лемме и компания», куда поступила на службу мама, внесла в наш быт и наши игры хорошенькие коробочки с пилюлями и капсулами, уложенными старательно, как конфеты, крошечные флакончики с духами и японские шелковые веера с черными лакированными ручками — их дарили служащим приезжие коммивояжеры разных фирм.

Помню также бесчисленные проспекты этих фирм с названиями кремов, духов и пудры. Помню, как мама подарила мне в полную собственность флакон одеколона, в котором стоймя плавала веточка ландыша с бубенчиками, похожими на жемчужинки.

Мама была человеком очень общительным. Особенно любила принимать у себя приятных ей людей, и раза два в месяц, как ни скромно мы жили, у нас происходили вечеринки.

С утра мама начинала хлопотать, самолично готовя закуску. Непременно приготовлялись салат из картофеля, огурцов, помидоров и лука, заправленный подсолнечным маслом и уксусом, и селедка под майонезом, которую мама тоже делала сама. Покупалась еще колбаса и раскладывалась звездочками на тарелках. Покупались сардины либо шпроты, а иногда мама сама готовила очень вкусные кильки: она вымачивала соленую камсу в крепком чае, пересыпала зернистым перцем, перекладывала лавровым листом, и кильки получались гораздо вкуснее тех, что продавались в магазине.

Большой раздвижной стол накрывался нарядной зеленой скатертью, в центре ставилась громадная миска с салатом, вокруг нее — тарелки с разной закуской, по краям стола — горки нарезанного хлеба.

Расставлялись большие и маленькие тарелки с широкими зелеными каймами (из великановского магазина), графинчики с водкой, настоенной на апельсинной корке, и стол был готов. Казалось — мы живем в роскоши.

Бабушка Надежда Николаевна спрашивала у мамы: «А что ты будешь петь?» — и приготовляла ноты, и вот начинались звонки и постепенно сходились гости.

Приходил дядя Сережа со своей женой. Приходили мамины крестницы — красивые девушки-гречанки. Прихо-

дили две дочери маминого начальника Миллера, управляющего ростовской конторой Лемме, Елена Генриховна и Дэзи, обе белокурые и румяные, как булки. Приходили мамины сослуживицы и сослуживцы. Один приносил свою скрипку, другой виолончель, бабушка Надежда Николаевна садилась за рояль, начинались музыка и пение. Потом ужинали, пили чай с домашним печеньем, на которое мама тоже была мастерица, она даже мятные пряники отлично делала сама, а после ужина продолжались пение и игры, иногда очень веселые. Помню, например, как дядя Сережа устроил «бой быков». Он изображал быка, а другой гость был тореадором, они даже какие-то костюмы себе соорудили из разного тряпья и очень всех развеселили. Нынче уж так не играют, стесняются, а тогда вполне взрослые и серьезные люди нисколько не стеснялись смеяться и смешить других.

Такие вечеринки происходили у нас много лет.

13
МОИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Вопрос о нашем образовании — моем и брата Леонида — угнетал мою бедную маму не меньше, чем вопрос о том, как нас прокормить. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. Банк, в котором служил отец, назначил брату Леониду маленькую пенсию вплоть до его совершеннолетия, это была единственно весомая статья в нашем бюджете. Мама получала в конторе тридцать рублей в месяц, почти все эти деньги шли на уплату за квартиру. Какие-то гроши приносили еще уроки, которые давала бабушка Надежда Николаевна, так что когда мама говорила: «Ничего не поделаешь, пора уже детям купить новые ботинки»,— мы, дети, понимали, что это дело не шуточное.

И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Она тоже, как покойная моя прабабушка Ольга Ивановна Троизи, носила черный кружевной чепчик и такую же ситцевую кофточку навыпуск, какую носила няня Марья Алексеевна. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где весь угол был сплошь убран искусственными

цветами, эти цветы меня восхитили, на уроках я не уставала рассматривать их. Кроме этих цветов и живых, на подоконнике, в комнатке было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала:

— Почитай мне вслух.

То был Гончаров, «Фрегат „Паллада“». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. И в первый же день я узнала множество разных вещей — и о кругосветных путешествиях, и всякие географические термины, и названия портов и городов. Так что мы, можно сказать, географию начинали изучать по «Фрегату „Паллада“».

Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали «Аскольдову могилу», и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. Или, достав с полки Пушкина, прекрасно читала «Песнь о вещем Олеге». Конечно, она первая забросила в меня интерес к истории, который потом так разросся. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась и тем не менее постоянно трудилась — писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов, читала книги и газеты.

Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью. Да и наружностью она была прелестна, эта маленькая старушка с ее всегдашним благообразием и какой-то лучезарной приветливостью, с чинно сложенными руками, в окружении книг и цветов.

Я шла к ней на урок, как на праздник. И мне казалось, что так будет бог весть как долго, годы и годы.

Помню мое удивление, мою растерянность, когда позвонила однажды у знакомой двери и мне долго не отворяли, а когда отворили, сказали: «Анна Фадеевна умерла». И потом панихида, и мы с мамой стоим у гроба, а в гробу — маленькое лицо среди веток жасмина и сирени.

И стала меня учить Евгения Станиславовна, существо настолько же не похожее на Анну Фадеевну, насколько не была похожа я сама.

Уже тогда, в детстве, чувства мои были чрезвычайно прямолинейны. Я либо любила, и тогда в человеке мне все

нравилось, либо не любила, тогда мне с человеком было тягостно. Причем любовь была — прежде всего восхищение, любование. Ведь вот — жалела же я нашу бедную тетю Тоню, но не было любования, значит, не было и сердечности, я не могла заставить себя подойти, заговорить, приласкаться.

Еще меньше восхищения могла возбудить Евгения Станиславовна, которая была моей второй учительницей. Это была старая девица или вдова, уж не помню, не столько старая, сколько поблекшая до серо-желтого цвета, неопрятная, дошедшая в тоске женского одиночества до полного пренебрежения к своей наружности.

Тяжелее всего я переносила ее рот. Спереди у нее не хватало нескольких зубов, и пустые места были залеплены воском. Мне казалось это таким ужасным, что я старалась туда не смотреть.

Я уже отлично понимала, что это нехорошо, грешно, но ничего не могла с собой поделать.

Это замученное жизнью существо в буквальном смысле слова снискивало себе пропитание, целый день мотаясь по урокам: в семье какого-то ученика Евгения Станиславовна завтракала, у нас обедала, еще где-то ужинала, своего хозяйства у нее не было. Не было также никакой родни, она никогда не рассказывала о близких и друзьях, рассказывала только о кошках, которых у нее было пять и которые носили слащавые имена вроде Бижу и Жужу.

Кошки всегда водились и у нас, но впервые я видела такую привязанность человека к этим животным, похоже было, что Евгения Станиславовна и думать ни о чем не может, кроме Бижу и Жужу, это тоже, на мой взгляд, ее не украшало.

Что касается занятий, то мы ринулись главным образом в грамматику и таблицу умножения, оставив в покое историю и поэзию, которые, по мнению моей новой учительницы, такой маленькой девочке были ни к чему.

У нее не было своего метода, как у Анны Фадеевны, она учила прямолинейно, без фантазий и отклонений, строго по программе. Ее просили подготовить меня в гимназию. Была выбрана гимназия Любимовой, слывшая очень хорошей. В этой гимназии было три приготовительных класса: младший, средний и старший, и мы с Евгенией Станиславовной прошли программу всех трех.

Без фантазий и отклонений! Я писала по прописям, закон божий учила наизусть, географию проходила по учебнику Крубера, а не по Гончарову. Появились задачи с бассейнами и встречными поездами, появились — сразу — языки французский и немецкий, очень много времени мы уделяли диктанту.

Сейчас вспоминаю, как для того, чтобы поступить в 1-й класс, уже порядочно нужно было знать. В частности, как много нужно было пройти по языкам — уметь считать, рассказывать содержание разных картинок, вести простейший диалог. То, что я знаю в области французского и немецкого языков, я вынесла из гимназии, а еще раньше — из уроков не особенно-то культурной учительницы Евгении Станиславовны.

У нее были ученицы из любимовской гимназии, и со слов этих учениц она рассказывала мне об учителях, у которых мне предстояло учиться. Так, я узнала, что «география» — Александра Александровна — какая-то причудница и капризница, у которой никогда нельзя знать, какую она поставит тебе отметку. Что Василий Лаврентьевич — «арифметика» — самый добрый, но «требует, чтобы соображали головой». Но самая причудница Нина Матвеевна — «русский язык»,— она только одного требует, чтобы ученицы заучивали «хорошенькие стишки» и читали ей, а больше ничего. Что основательнница и начальница гимназии Софья Яковлевна Любимова и ее сестра Варвара Яковлевна — старые девы, живут вместе при гимназии.

Этих двух сестер-начальниц я видела раньше, чем пришла в гимназию, по вечерам они гуляли по Садовой улице. В одинаковых темно-синих платьях с белыми воротничками, они были самые типичные учительницы, каких описывают в книгах. Обе они учительствовали всю жизнь, скопили деньжат и открыли свою гимназию. Они гуляли очень чинно, сложив коробочкой руки у талии. Мне нравилось, что они гуляют так дружно.

Потом я поступила в гимназию Любимовой и там воочию познакомилась и с Александрой Александровной, и с добрым Василием Лаврентьевичем, и с Ниной Матвеевной.

Нина Матвеевна была белой вороной среди учительниц и классных дам, одетых в синее и черное. Нина Матвеевна носила яркие блузки, рыжую лисицу на плечах и рыжий парик на голове. Она ходила не по-учительски весело и свободно; поговаривали девочки, что иногда ее после уроков дожидается возле гимназии какой-то офицер. Все это делало ее менее официальной, более доступной нашему пониманию, а потому любимой.

Неправда, будто она ничего не требовала, кроме стихов. Если я всю жизнь пишу правильно, я этим обязана ей. И диктовки мы писали, и сочинения, и речь нашу она поправляла педантично, и грамматические правила заставляла зубрить. Но действительно стихи были ее страстью, и урок она начинала с вопроса:

— Ну, кто мне выучил какой-нибудь хорошенький стишок?

Что она разумела под словом «хорошенький», я вскоре поняла: «хорошенькие стишки» были — Надсон («Христианка», «Иуда»), Фет («Сияла ночь...»), «Летний бал» Гофмана, кое-когда Блок, но в незначительных дозах. Если стихи были выучены нетвердо, Нина Матвеевна сердилась. Если кто-нибудь читал нечто, чего она не знала, она хвалила. Наибольшую похвалу снискала Зина Стасенкова, принесшая однажды «Запад гаснет в дали бледно-розовой...» Алексея Толстого. «Очень хорошенький стишок»,— сказала Нина Матвеевна. Я переплюнула Зину Стасенкову количественно, выучив до середины пушкинскую «Полтаву». «Ты можешь учить больше,— сказала Нина Матвеевна,— раз у тебя такая память». Да, в те годы память была такая.

Я с нежностью вспоминаю этих милых сумасбродок, непохожих на всех учительниц, вкладывавших в нас, во всяком случае стремившихся вложить что-то от самих себя, от своих пристрастий и симпатий. Они считали, что это дельное помещение капитала,— уже за это им спасибо. Благодаря Нине Матвеевне я пристрастилась к стихам — разве это мало?

Сначала мне нравилось их заучивать и тем щеголять перед Ниной Матвеевной и перед классом. Потом я полюбила их читать. Потом я стала их писать.

О чем были те детские стихи? Не забудьте, я была мещанская девочка из Нахичевани, пригорода Ростова-на-Дону. Я получала журнал «Задушевное слово». Меня водили в церковь. У меня была тетя Лиля, а у тети Лили альбомы с Линой Кавальери и романы Марлитт.

Вот тот эстетический и словарный круг, которым я была очерчена. Кроме того, я читала Метерлинка. В моих стихах были феи, снежинки, принцессы, розы, могилы, грехи, голубки, душа, разлука, смерть. Были, увы, и луна, и чудные звуки, и вьюги, и много всякой всячины, так остроумно перечисленной Толстым в его книге «Что такое искусство», которую я прочла много позже.

14
ГИМНАЗИЯ ЛЮБИМОВОЙ

В конце лета 1915 года я держала экзамены (их было довольно много) и поступила в 1-й класс частной гимназии Любимовой.

Помню экзамены: закон божий, русский (диктант), арифметика, география, языки французский и немецкий. По последним двум у меня были четверки, по остальным же предметам — пятерки.

Теперь по утрам я стала уходить раньше мамы, ей надо было в свою контору к десяти часам, а мне — к половине девятого.

В половине девятого нянечки переставали пускать учениц в раздевалку, а в пальто на урок не явишься.

Я помню свой номер в раздевалке — 383. Мы сами вешали свои пальтишки на вешалку и сами брали их оттуда, когда кончались занятия.

Классы были как в теперешних школах, коридоры тоже. Только во втором этаже был большой зал, и в нем большая, во всю стену, картина — Христос, благословляющий детей. Каждое утро ученицы выстраивались шеренгами перед этой картиной-образом и пели молитвы. Хор был довольно слаженный, и петь нам нравилось. Пели мы «Царю небесный», «Спаси, Господи, люди твоя», еще что-то — я уж не помню.

Однажды во время этого стояния и пения у меня закружилась голова, я ухватилась за девочку, стоявшую рядом, но не удержалась и упала. Очнулась в кабинете начальницы, Софьи Яковлевны Любимовой. Оказалось, что у меня был обморок, и меня туда перенесли и уложили на диван. Девочки стояли кругом и серьезно смотрели на меня. Потом пришла сама Софья Яковлевна, спросила, в чем дело, и сказала, чтобы я больше не ходила на утреннюю молитву.

Помню, однажды и в церкви мне сделалось худо от долгого стояния, и няня вынесла меня на паперть, на свежий воздух. Я, видимо, была слаба с детства, хотя болела не так уж часто. У меня не было ни скарлатины, ни даже кори, которая так редко минует детей. Бывали какие-то незначительные заболевания — ангина, коклюш, свинка. В 1920 году, в эпидемию, я переболела «испанкой» — была такая разновидность гриппа. От всех болезней лечил меня и братишку доктор Левентон. Я не любила его за то, что он

лез ложкой в рот и заставлял дышать глубоко, от чего у меня кружилась голова.

Учиться в гимназии мне и нравилось, и не нравилось. Нравилось, что учителя ко мне хорошо относились, что учение давалось легко, без надрыва. Нравился класс, он был хороший, дружный, без ябедничества, без ссор. Очень запомнились некоторые девочки: милая тихая Зина Стасенкова, хорошенькая смуглянка Мартьянова, красивая блондинка со странной фамилией Ладо́ня (она, впрочем, была классом или двумя постарше). Классную даму нашу Анну Аполлоновну мы не очень любили — за сухость и ворчливость, но, в общем, я шла в гимназию с охотой.

Мне давали утром пятнадцать копеек на завтрак, из этой суммы я копеек пять тратила еще по пути в гимназию на лакомство. На этом пути тут и там сидели торговцы с лотками. На копейку можно было купить либо три больших леденца, завернутых в папиросную бумагу (один такой леденец можно было сосать до вечера), либо порядочный кусок халвы, а за пятачок — целую шоколадку с начинкой из крема, в цветной бумажке с двумя язычками: потянешь за один язычок — на картинке выскакивает злобное лицо Вильгельма II, тогдашнего нашего врага, дернешь другой язычок — появляется чубатая голова героя тогдашней войны казака Козьмы Крючкова, прославившегося многими подвигами в битвах с германцами, как тогда называли немцев.

Запасшись таким образом лакомствами, я приходила в гимназию, вешала свое пальто на колышек под № 383, запихивала в рукава кашне и шапку (у нас были пребезобразные форменные зимние шапки из грубого черного плюша), внизу ставила калоши, в подкладку которых тоже были наглухо вделаны медные цифры 383, и бежала в зал на молитву.

На большой же перемене надо было позаботиться собственно о завтраке. В том же зале, где мы по утрам пели молитвы, был буфет, где за несколько копеек можно было купить либо пирожок, либо бутерброд с колбасой, либо горячую котлетку. Стакан сладкого чая стоил копейку. Так что на мои 15 копеек я кормилась отлично и была сыта вплоть до того момента, когда, придя домой, садилась обедать.

Мне очень нравилась эта самостоятельность — сама иду в гимназию и обратно, покупаю, что хочу, не захочу — совсем не буду завтракать, прокормлюсь шоколадками с Вильгельмом и Козьмой Крючковым,— и все-таки гимназия мне мешала. Она мешала мне читать. Я тогда уже глотала множество книг, и мне не нравилось, что приходится откладывать интересное чтение для того, чтобы зубрить названия каких-то городов или решать задачу о путешественниках, идущих друг другу навстречу. Попросту говоря, я стала лениться. И не огорчилась, а была рада, когда мое гимназическое учение прекратилось.

Насколько скудны были наши средства, видно хотя бы из того, что мне даже не смогли сшить летнее форменное платье. Зимняя форма была у меня с самого начала — коричневое шерстяное платье и черный шерстяной передник. Но на лето ученицам любимовской гимназии полагалось платье из голубого сатина, белый передник и белые ленты в косы. Мне очень хотелось иметь эту форму, но бедной маме так и не удалось выкроить на это деньжат. И без того все время возникали в связи с обучением в гимназии все новые и новые расходы.

Первоначально все было просто. На Садовой улице был писчебумажный магазин Иосифа Покорного. Надо было прийти туда и сказать: «Гимназия Любимовой, первый класс». И отлично вымуштрованный приказчик сооружал пакет, в котором были собраны все нужные учебники, тетради, даже набор акварельных красок, требуемых в 1-м классе гимназии Любимовой, для уроков рисования, даже кисточки нужных номеров, и перья, и резинки, и пенал там был, и дневник, и решительно все, что могли потребовать учителя; только ранец или сумку (у меня была сумка) надо было покупать отдельно. И я отправилась на первые уроки в горделивом сознании, что оснащена решительно всем, вооружена, так сказать, с головы до ног. Но потом оказалось, что кроме гимназических правил существуют еще гимназические традиции. А на них-то у мамы не было денег. Оказалось, что кроме учебников, тетрадей и тому подобного гимназистка должна иметь альбом для стихов и картинок, что розовая промокашка, вложенная в тетради, считается признаком безвкусицы и почти что нищеты, а надо покупать клякспапир других цветов и прикреплять его к тетрадям лентами с пышными бантами, и вот всей этой дребедени у меня не было, и я видела, что девочки с обидным сочувствием косятся на мои розовые промокашки без бантов и на мой более чем скромный альбом в переплете из коричневой клеенки, и горечью наполняло меня их сочувствие.

Много понадобилось лет, усилий и настоящих горестей,

чтобы из моей души вытравилось это мелкое, гадостное чувство.

И из каких дрянных мелочей складывается это чувство обездоленности! Ведь вот никогда не ущемляла меня красота Ладóни или смуглянки Мартьяновой. Никогда не позавидовала Зине Стасенковой, которая приезжала в гимназию в собственном экипаже. А вот дурацкие промокашки с бантами отравляли жизнь, подумать только!..

Если не считать этих ничтожных лишений, жили мы, как и прежде, вполне нормально. Все были сыты, одеты, обуты. В именины бывали пироги и торты, на рождество — елка, в день 22 марта — жаворонки с изюминами на месте глаз, на пасху столы ломились от куличей. В буфете стояли банки с вареньем, между оконными рамами — бутылки с вишнями, засыпанными сахарным песком. Вишни бродили, сок их употреблялся как наливка, а самые вишни — они назывались «пьяными» — шли на гарнир к жаркому.

Иногда, очень редко, нас с братишкой возили в цирк или в театр.

Из театральных зрелищ мне запомнился только «Потонувший колокол» Герхарда Гауптмана, все остальное было столь низкого уровня, что не сохранилось в памяти. В цирке меня прельщали газовые юбочки наездниц, осыпанные блестками, да еще запомнилась какая-то ученая обезьянка, остальное тоже, мелькнув, ушло навеки. Раза два водили нас в кино (тогда оно называлось «электробиограф», или просто «биограф»), смотрели мы там какие-то виды Швейцарии, новые парижские моды, какой-то военный парад — кажется, в Вене, да еще одну или две комедии с бесконечными потасовками. Все это не доставляло нам, детям, ни малейшего удовольствия и мы радовались, когда нас уводили домой.

15

ЕЩЕ О НАШЕЙ СЕМЬЕ

Я уже описывала наружность моего отца, которую знаю и по живым моим впечатлениям, и по оставшимся фотографиям. Эту наружность он унаследовал от своей матери Александры Ильиничны, а через нее — от Ильи Михайловича Грибанова. Думаю, от них же он получил свои способности и свойства характера. Мама рассказывала о чудовищной его вспыльчивости и горячности, когда он «невесть чего наговорит человеку, на которого рассердится, а через минуту стоит на коленях и просит прощения и опять-таки бог знает что грозит над собой сделать, если его сейчас же не простят». Эта черта — раздражаться до неистовства и сразу за вспышкой ярости так же необузданно каяться,— эта черта была у отца общая с его сестрой Олимпиадой Ивановной и перешла ко мне, и всю мою жизнь я вспыхиваю и невесть что говорю людям, а через мгновение ненавижу себя за это и молю о прощении и далеко не всегда его заслуживаю, а еще реже получаю — так уже сложилось... И эта несчастная черта характера отравила мне жизнь, и дорого бы я дала, чтобы ее не наследовать.

Почему я думаю, что свои способности, о которых вспоминала и мама, и все родные, отец унаследовал от бабушки Александры Ильиничны? Да потому, что она, несомненно, была ярко одаренным человеком и такою осталась в моей памяти, хотя жизнь не дала ей реализовать ни одной из ее возможностей.

У моей мамы Веры Леонидовны были очень черные, блестящие глаза под черными густыми бровями; белоснежные волосы красиво контрастировали с ними.

На моей памяти были у нее поклонники (няня называла их женихами), но она и слышать не хотела о новом замужестве и о том, чтобы дать нам, детям, отчима.

Поклонники приходили вместе с другими гостями, пили чай, слушали музыку и пение, играли в маленькие игры, принятые тогда («колечко», «мнения», «оракул», «фанты»), в именины приносили цветы и конфеты и исчезали, на короткое время обеспокоив меня, знавшую уже из «Давида Копперфильда», что отчим — это очень страшно.

Дети — эгоисты, теперь-то мне очень жаль, что мама не вышла вторично замуж, она была такая хорошая и так заслуживала любви и счастья. Подозреваю, что во многом была тут виновата бабушка Надежда Николаевна, я своими ушами слышала однажды, как она говорила маме, что, конечно, Илья Петрович хороший человек, но кто он такой, в сущности? Никто, какой-то комми. И как посмотрят на такой брак Кошкины и Асмоловы? Кошкины и Асмоловы были богатой родней бабушки Надежды Николаевны, и она их явно побаивалась. В свое время она им угодила, выдав дочь за богатого купеческого сына, а теперь опасалась не угодить. И, в сущности, из-за этих бабушкиных причуд моя мама не согласилась выйти замуж.

Она нравилась, моя мама, несмотря на раннюю седину и морщинки, у нее были такие живые черные глаза, свежий

цвет лица, маленькие руки и ноги, красивый голос. Помню, когда на террасе яхт-клуба она разливала чай (громадные самовары ставил и таскал матрос Федор, яхт-клубский сторож), в мамину честь внизу, под террасой, устраивались серенады, какой-нибудь мужской голос пел «Очи черные» и вставлял в слова романса куплеты собственного сочинения, вроде:

Моя звездочка, моя милая,
Моя ласточка сизокрылая.

А на громадную террасу с чайным столом и с собравшимися внизу участниками серенады светила большая луна, и ее свет столбом лежал поперек Дона, от берега к берегу.

Несправедливо, зря бабушка Надежда Николаевна корила тетю Лилю за ее «мещанские претензии», претензии тети Лили никого, в сущности, не сделали несчастными, претензии же самой бабушки Надежды Николаевны, не менее мещанские, думается мне, испортили жизнь моей мамы.

Эти Кошкины и Асмоловы, о которых постоянно, кстати и некстати, упоминала бабушка Надежда Николаевна, были ее гордостью, через них она приобщалась к тому кругу богато и широко живущих людей, который всегда ей импонировал. Иногда нас, детей, одевали с особенным тщанием и везли в гости к Кошкиным. Они жили в своем доме где-то поблизости от Старого собора, занимая целый этаж, там были комнаты, каких не было ни у нас, ни у тети Лили, одна комната, помню, называлась «будуар», другая «читальня», там стояла качалка, на которой я любила качаться, а на столе лежала Библия с иллюстрациями Г. Доре. Я уже знала Ветхий завет и рассматривала картинки с огромным удовольствием. Позже, когда в мои руки попало это издание, оно уже не доставило мне ни малейшей радости, равно как и мысль о том, что я могу его приобрести в полную собственность.

Библия с картинками, качалка, отличное богатое угощение как-то не примиряли нас, детей, с тем неприятным чувством, которое мы испытывали, посещая этот дом в качестве бедных родственников. Помню, как мне было неприятно, даже тяжело видеть, когда бабушка Надежда Николаевна, которую все называли прекрасно воспитанной и гордой, старалась услужить своей младшей сестре Вере Николаевне. Не следовало нас делать свидетелями этого, дети ведь все прекрасно понимают, и я начала все меньше уважать бабушку Надежду Николаевну.

Однажды Кошкины пригласили ее с нами погостить у них летом на даче. Дача находилась под Ростовом, за Федоровским монастырем, на берегу речушки Темерник. Мы поехали туда на извозчике. Помню, заехали в монастырь, и монашки показывали нам, детям, свое хозяйство, в том числе плодовый сад и пасеку. У меня была книжечка «Пчелы, осы и термиты», я знала много о пчелах, но ульи видела впервые и впервые же ела сотовый мед, которым нас угостили монашки. Кроме меда на стол были поданы прекрасные сливы, темно-лиловые и янтарно-желтые, и, что бывало редко, нам разрешили их есть сколько угодно, и мы налакомились вволю.

Для пчел у монашек были специальные посевы. Небольшие поля гречихи и медуницы лежали среди зелени розовыми и синими платками, над ними гудели пчелы. Мы проехали также мимо болгарских огородов, необыкновенно красиво возделанных, их содержали болгары-огородники, они продавали свои чудесные овощи на ростовских базарах. Трудно даже поверить, что обыкновенные капустные гряды могут выглядеть так красиво.

Целая аллея белых лилий шла вдоль берега Темерника справа от деревянного мостика, перекинутого через речку. Мостик соединял дачу Кошкиных с дачей Асмоловых. Дочь Кошкиных Наталья Ивановна была замужем за «молодым Асмоловым», как его называли в своих разговорах мама и бабушка Надежда Николаевна. Старики же Асмоловы владели большой табачной фабрикой, впоследствии фабрикой имени Розы Люксембург, и принадлежали к первому ряду ростовских богачей, и я помню, как бабушка Надежда Николаевна возмущалась, что Наталья Ивановна, ее племянница, совсем не умеет пользоваться своим положением, ходит в кофтах навыпуск, не хочет носить брильянтов и вообще «опустилась так, что противно смотреть».

Считать, что бабушка Надежда Николаевна была глупа, я не могу. Она не только не была глупа, но для своего положения в обществе была даже довольно развита. В нашем доме она одна читала газету «Приазовский край» и вообще читала много. В передней стоял ее большой шкаф красного дерева, где в правом отделении висели платья, а в левом на полочках среди белья она прятала от меня свои книги. Увы, я проследила, куда бабушка прячет ключ, и слишком рано начиталась Вербицкой, Нагродской и переводных романов, среди которых первое место занимали романы Локка. Бабушка Надежда Николаевна, а за нею и я читали, таким образом, «Ключи счастья», «Вавочку»

и много других книг, насчет которых теперь я понимаю, что лучше бы мне их в детстве и не видеть вовсе.

С гостями бабушка часто заговаривала на политические темы, и за это, я заметила, гости ее уважали. В свое время много говорила она о деле Бейлиса, во время империалистической войны — о поражениях русской армии, а затем главной и любимой ее темой стал Распутин и диковинные дела, происходившие в царском семействе. Не стану вводить добрых людей в заблуждение, будто моя бабушка была передовых взглядов и в душе чуть ли не революционерка, как любят уверять иные мемуаристы. Нет, в нашей скромной семье не было революционеров, но в ней здраво судили о процессе Бейлиса, и недобро поминали Ходынку, и осуждали распутинщину за тот позор, который она навлекает на Россию. И, судя по запомнившимся мне разговорам гостей, это были мнения, свойственные тогда всей массе мелкой русской интеллигенции.

Об этой мелкой интеллигенции, иногда предельно убогой духовно, иногда же находящей в себе силы подняться над этим убожеством, писал Чехов, и не надо эту интеллигенцию вовсе скидывать со счетов, она была вовсе не худшее, что когда-либо бывало на Руси, отнюдь не худшее. Может быть, потому мне так рано стал доступен Чехов, что я вырастала в той же среде, что и он, в тех же нравах и заботах — в частности, до чего же мне понятны его слова, что он всю жизнь по капле выжимал из себя раба.

16

НАШИ РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ

Мой дорогой дядя Сережа был женат на Юлии Дмитриевне Емолаки, греческого происхождения, и жил со своей семьей в милом кирпичном домике на 7-й линии, неподалеку от подворья тети Тони, где жили мы. При доме Емолаки был сад с богато цветущей сиренью и фонтаном, в бассейне которого плавали рыбки. Юлия Дмитриевна, тетя Юля, была строгого вида болезненная женщина, мы ее побаивались, особенно после того, как она однажды при нас больно наказала свою дочь Варю.

Она тоже очень много читала, у них с дядей Сережей было очень много книг, и они охотно позволяли мне рыться в этих книгах и советовали, что прочесть. (Так, помню, присоветовали Джека Лондона.)

Варя была ровесница нашего Ленички, и у нее тоже был братишка на несколько лет младше ее, Юра. Дядя Сережа часто надолго уезжал, но мы и без него приходили к тете Юле, бегали в саду, брали читать книги, рассматривали бабочек и жуков в ящиках по стенам, и часто, когда мы уходили домой, нам дарили большие букеты свежесрезанной сирени. В семье Емолаки был приемыш, его звали Мартын. Помню, однажды под его руководством мы хоронили возле фонтана мертвую рыбку, другой раз — дохлого воробья. Я вспоминала Мартына, когда писала мальчика Ваську в повести «Сережа».

Другой брат покойного отца, дядя Илья Иванович, уже тогда жил в Москве. Он стал хорошим зубным врачом и иногда, как и дядя Сережа, помогал моей маме деньгами. Женился он на женщине много старше годами, Александре Львовне, сыновей которой, гимназистов, он репетировал, еще будучи студентом.

Впоследствии, приехав в 1930 году в Москву, я эту Александру Львовну видела. Была она уже стара и совсем некрасива, причесывалась так же, как бабушка Александра Ильинична, свертывая седые волосы в маленький узелок на затылке. Дядя же Илья был тогда еще свеж и красив, но он очень любил свою жену и, когда она тяжело заболела, ходил за нею до последнего часа, а когда она умерла, очень горевал. После ее кончины он женился вторично, на этот раз на женщине много его моложе, Наталии Федоровне Любимовой.

Дядя Илья Иванович и ее так же горячо любил и уважал, хотя и мучил своим вспыльчивым и капризным характером — «пановским», как называла его покойная мама.

В 1912 году, в мае, у тети Лили родилась девочка. Ее назвали Ириной, и отныне вся семья посвятила себя этому ребенку. Нам, старшим внукам, сразу стало ясно, что с появлением Ирочки мы больше не существуем для бабушки Александры Ильиничны. То и дело мы слышали: «Не трогай Ирочкины игрушки», «Вот ты пришла, а у тебя кашель, ты можешь заразить Ирочку». Даже Варю, которая была с нею особенно ласкова и которую она любила, бабушка стала ласкать гораздо меньше.

Заразы в этом доме боялись как-то преувеличенно, до смешного. Из передней одна дверь вела в кабинет дяди Саши. Не знаю, по каким причинам этот кабинет на некоторое время был превращен в Ирочкину детскую. Во все это время щели в двери были заделаны войлоком — «Чтобы

микробы из передней не заползли в детскую»,— говорила тетя Лиля.

Конечно, нас, детей, больно задевало такое предпочтение, отдаваемое Ирочке. Мы не могли еще понять, что любовь не раздается поровну, как конфеты, что она избирательна и зависит от множества причин. Нас обижало, что Ирочка и одета лучше нас, и все самое лакомое отдается ей, и лучшие игрушки с елки, и она живет в своем доме (так говорилось при нас), а мы с мамой в наемных квартирах.

Все это, увы, надолго занозило наши души и не содействовало развитию добрых чувств. Конечно, сама Ирочка нисколько в этом всем не повинна. Вряд ли это дитя могло тогда и заметить все это. Это было обыкновенное избалованное дитя, заласканное, задаренное, миловидное (она была похожа на тетю Лилю), и на нее обида наша нисколько не распространялась.

Тетя Лиля говорила, что Ирочка будет воспитана особенно, необыкновенно, что в ней не будет ничего грубого и вульгарного, а когда она вырастет, то выйдет замуж за графа или барона. Тут, несомненно, продолжала работать Евгения Марлитт. Приведу один образчик этого особенного воспитания.

Сидим за обедом: мы, все дети, тетя Лиля и тетя Тоня. Тетя Лиля говорит о ком-то:

— Тонечка, она опять не так положила салфетки.

Тетя Тоня отвечает:

— Лиличка, от нее ничего невозможно добиться, она форменная де-у-эр-а.

Я соображаю, что это «де-у-эр-а» означает «дура», и мотаю себе на ус, что слово «дура», как грубое, нельзя говорить при Ирочке, для нее и придуман заменитель. Тетя Лиля, должно быть, видит, что я намотала это себе на ус, и одобрительно кивает мне со своего хозяйского места. Никто не догадывается, что Ирочка тоже в состоянии коечто намотать себе на ус. Обнаруживается это через несколько дней, когда при гостях этот ребенок ни с того ни с сего говорит тетке:

— Тонечка, ты форменная де-у-эр-а.

Плоды же всего этого я увидела через много лет, через много верст, когда уже стареющий дядя Саша жил под Ленинградом на даче с почти тридцатилетней Ирочкой и мы пошли купаться на озеро. С нами была и моя дочь Наташа.

Наташа, призовая пловчиха, нырнула в озеро, как

рыбка. Я, преодолев боязнь холодной воды, окунулась тоже. И одна бедняжка Ирочка так и не решилась войти в воду, она топталась на берегу, теребила бретельки купального костюма и не поддавалась ни на чьи уговоры.

Дядя Саша глядел на это, сидя на берегу на скамейке. Он сказал:

— Так уж воспитали, что все на свете страшно, всего надо бояться.

17

ЕЩЕ О МОИХ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ГОДАХ

В 1915 году, в котором я пишу, шла первая империалистическая война, и по вечерам взрослые говорили о неудачах русских на фронтах, о безобразиях распутинщины, о том, чем же все это, помилуй бог, кончится. Кончилось так, как в нашей скромной среде и не чаяли, но до этого было еще довольно далеко. Сперва были грозные слухи о том, что в Петербурге назревает голод, затем неведомо какими путями пришедшие в Ростов рассказы об убийстве Распутина и потом — известие, что царя уже нет, вместо него есть какое-то Временное правительство.

Вспоминается мне какой-то день, когда всем где-то раздавали билетики, и на этих билетиках каждый должен был написать цифру и куда-то этот билетик опустить.

Бабушка Надежда Николаевна и мама на своих билетиках написали цифру 5, что, как я потом узнала, означало партию кадетов, а няня принесла свой билетик мне и велела написать цифру 1, что означало партию социал-демократов. Моей голове эти цифры говорили так же мало, как и названия партий. Я не тянулась к политике, вероятно, потому, что в ней не таилось для детской души никаких поэтических, никаких эстетических очарований. В рассказах об убийстве Распутина был все же привкус романтики (Ну как же! Убили злодея, который срамил Россию, а значит, и нас с вами!), в писании же цифр на билетиках не было ровно ничего, кроме скуки, и скука отвращала...

Приходили письма от дяди Володи, что в Петербурге есть нечего, что они с тетей Аней собираются удирать в Витебск, где все-таки посытнее. Было еще от него письмо о том, что Петербург кишит крысами, что дядя Володя видел своими глазами чудовищное стадо крыс, шедших к Неве на водопой поблизости от Александро-Невской лавры. И будто какой-то болван извозчик бросил в это

стадо кнут, и через пять минут не было ни извозчика, ни его лошади, ни его пролетки. Пришли Октябрьские события. О них я мало что помню, да и сведения о них были отрывочные и неясные.

Правила в городе Ростовская коммуна.

В 1917 году я перестала ходить в гимназию. Меня оттуда не забирали и не исключали, я ушла сама.

Во-первых, устала слушать, как трудно платить за учение, ведь сто рублей в год, где их взять? Хорошо, если дядя Илюша или дядя Сережа пришлют вовремя, а как не пришлют? И было стыдно, что я, такая дылда, туфли уже тот же номер, что у мамы, сижу у нее на шее.

Во-вторых, вдруг стало невыносимо скучно ходить в гимназию, а особенно делать дома уроки. Мне казалось, что гимназия не поможет мне стать писательницей (а я уже тогда мечтала стать ею), а только мешает мне читать то, что хочется. Скоро гимназия закрылась.

Затем наступил тот первый день, когда на нашей улице, за окнами с китайскими ширмочками, с утра по-комариному запели пули, и бабушка трагически сказала маме: «Ты не пойдешь на службу!» А та очень просто спросила в ответ: «Как же это можно?» — и пошла, надев свой рабочий костюм: черную юбку и белую блузку.

Няня вышла за нею и принесла известие, что юнкера восстали против коммуны (у нас в городе было юнкерское училище), окопались около Балобановской рощи и стреляют из пулеметов по чему попало. Я и Леничка пытались читать и играть, а пули за окнами все свистели.

Бабушка сидела посредине своего маленького диванчика, на котором она спала, подложив под себя полосатую перину и прикрывшись стареньким, от старости тонким, как марля, пледом тигровой расцветки. Она сидела посредине, мы с братом Леничкой жались к ней с обеих сторон, пули шлепались о кирпичную стену домика. Вдруг раздался звонок с парадного хода. Няня побежала отворять и впустила нашего хозяина дома — Федора Михайловича Зудина. Федор Михайлович, одетый в черный добротный пиджак старомодного покроя, с маленькой остроконечной серебряной бородкой, с серебряной часовой цепочкой по жилету, вежливо поздоровался с бабушкой и сказал:

— Я, извиняюсь, не сразу сообразил, что тут находятся только женщины и дети, но как сообразил, долгом счел самолично зайти и узнать, как вы и что. И видите, будто сердце чуяло, вы даже подушками не заложились.

Он пошел в смежные комнаты, собрал подушки и заботливо заложил ими оконные проемы.

— Теперь хоть в окно не влетит,— пояснил он.— В пухе застрянет.

— А Верочка на работу пошла,— пожаловалась бабушка на маму.

— Ну и правильно,— сказал Федор Михайлович.— Чего же дома зря сидеть? Зарабатывать надо, мой Федя (сын) тоже чем свет на завод побежал. И не сбережете вы свою Верочку ни за какими стенами, Николавна: такое начинается, что никому не уйти в свои стенки, всякий в этом деле примет участие по своей силе возможности, хоть ваша Верочка, хоть вы сами, хоть эти детки. Не пять и не десять лет мы, простой народ, этого ждали, и пожалуйста — начинается! Они драки захотели — будет им драка такая, какой не бывало еще. Мы ведь тоже, дожидаючись, озлились, с обеих сторон быть крови, Николавна.

И, не обращая внимания на то, что у бедной бабушки от этих слов голова с волосяным валиком прически упала на плечо, Федор Михайлович простился и ушел. Ушел из домика, но не из памяти: тот первый для меня день — гражданской войны, когда откуда-то строчили из невидимых пулеметов какие-то невидимые и неведомые юнкера, когда сквозь их пули пошла в свою контору мама и сквозь пули пришел к нам строгий, добрый Федор Михайлович, чтобы забаррикадировать нам окна подушками, и то, как мы с Леничкой все время подбегали к окнам посмотреть, не застряла ли в пуху пуля, и обед того дня, съеденный нами с ощущением, что вот что-то рухнуло, а что-то началось,— весь этот день я вижу сквозь небольшой силуэт коренастого старика в старомодном пиджаке, таком старомодном, каких не носили уже ни мой отец, ни его братья. И, помимо бесчисленных книг на эти темы, навсегда мне запомнились его слова о том, что драки захотели они, стало быть, в грядущей крови повинны они, а не старый мастер Федор Михайлович и не его чахоточный сын Федя, ни свет ни заря побежавший на работу. Так бывает часто, что живое слово, вышедшее из теплых человеческих уст, врезывается в сердце острее и глубже самых умных книжных речений и самых убедительных примеров. И мне показалось в тот момент, что именно от него моя дорога пойдет теперь к узнаванию тех жизненных истин, когда я начну усваивать все, что до сих пор казалось мне столь непонятным и чего до сих пор не разумела моя душа, не понимавшая ни причин этой стрельбы, ни цифр, проставленных моей детской

рукой в каких-то листах, ни мудреных иностранных слов, которые все чаще попадались в листках, расклеенных на заборах и тумбах: «коммуна», «совдеп», «пролетариат», «буржуазия». И предчувствия сбылись — так оно все и совершилось полусознательно и робеющей и пораженной множеством открытий девочке ростовской окраины. И как рыба на удочку, потянулись вдруг ко мне новые знакомые, девочки и мальчики, с новыми книгами, от «Тиля Уленшпигеля» до брошюрок о 1905 годе и о Парижской коммуне. Говорили, что юнкера много в тот день убили людей, в том числе и тех, кто сочувствовал их восстанию, но и рабочие Ростова дали им отпор, то и другое записано в Большую историю нашей страны, а я здесь пишу о моих, только моих ощущениях и воспоминаниях, кончающихся в тот день тем, как мы были счастливы, когда вечером (уже горели лампы) в окно постучала условным стуком дорогая маленькая рука в простенькой перчатке и появилась наша мама с широко открытыми глазами, тяжело дышащая, но живая-здоровая и даже без единой царапины.

Мы ждали рассказов об ужасах, но их не последовало, был только подробный, пожалуй даже слишком, рассказ о том, кто из сослуживцев пришел на работу, и кто не пришел и что говорили в конторе о непришедших управляющий и бухгалтер, два Зевса конторского мирка. Впоследствии, не скоро, вспоминая об этом тихом дне из гудящего ада второй мировой войны, я думала, как с течением времени человеческие войны становятся все лютее и беспощаднее и из явлений хоть и очень несовершенного, но все же человеческого мира переходят в какую-то неподобающую человеку окаянную, инфернальную сферу. На голом поле, при свете небесных светил убил некогда, по преданию, Каин своего брата Авеля, и были они оба при этом, надо полагать, одеты в смиренную одежду тогдашних скотоводов и земледельцев, а нынешнее войско — это целый громадный зверь, оснащенный всякой всячиной ради того, чтоб убивать, и как можно мучительней.

Восстание юнкеров было подавлено, и жизнь потекла так, как до него,— с «Цыпленком жареным», с чтением книг, с усиливавшейся дороговизной на базаре, только я уже не ходила в гимназию, а доставала разные учебники и старалась их читать так, чтобы побольше запомнить, так как где-то в глубине души меня все-таки грызло, как же я останусь совсем необразованной и неотесанной.

С тех пор читаю всю жизнь, кое-что с пользой, кое-что

просто так, и уж рада-рада, что дети мои получили не только среднее, но и высшее образование.

Что я помню в последующие годы?

Что очень скудно стало с едой. На ужин чаще всего был ломтик черного хлеба, смазанный горчицей. Постепенно исчезало не только все лакомое, но и мало-мальски питательное.

Что в комнатах появились «буржуйки» — железные печурки, а топили не углем, а штыбом — угольной пылью, так как настоящего угля не стало.

Что в жизнь вошла и стала очень важным ее элементом «толкучка», «барахолка», «толчок» — это место называли по-разному.

Пенсию из папиного банка перестали выдавать. Маме стали платить жалованье натурой: как-то раз вместо денег выдали какое-то феноменальное количество пузырьков с валерьяновыми каплями, в другой — тоже что-то в этом роде. Жизненной опорой стала толкучка.

Так как мама стеснялась продавать на народе всякое старье, да и получалось это у нее, бедняжки, как-то неудачно, неприбыльно, то выходить на толкучку стала я. Как сейчас помню этот пыльный выгон где-то за Сенной площадью, уставленный возами, на которых высоко, на мешках драгоценной муки и кадушках масла, сидели станичные бабы, а кругом кишмя кишел народ: кто продавал брюки, кто пальто, кто какую-нибудь вазочку или старорежимные щипчики для сахара.

На мое усмотрение был предоставлен наш большой допотопный сундук, на котором спала няня. Там были сложены вещи, давно вышедшие из употребления, как, например, старые портьеры, безнадежно испорченные скатерти, платья, вышедшие из моды пятьдесят лет назад, шелковые нижние юбки, мамина темно-зеленая суконная ротонда, подбитая белыми мерлушками, папин фрак и белый жилет к нему, неизвестно чьи шляпы с птицами и султанами и прочее в этом роде. Я отпирала сундук, поднимала тяжелую крышку и высматривала, что же мне продать, на что мы будем жить в ближайшие дни и недели.

Из маминой ротонды решено было сделать мне зимнее пальто, а остальное все ушло на толкучку.

Я была наблюдательной и скоро распознала, что ценит толкучка и что ею отвергается. Поняла также, что главные покупщики — не слоняющийся по толкучке народ со штанами и вазочками в руках, а деревенские бабы, восседающие на возах; и к ним-то я и шла в первую очередь. Ни-

когда я не выходила с какими-нибудь щипчиками, я била наверняка: зеленая плюшевая скатерть в розах, гарусная вязаная накидка для подушек — вот чем могли заинтересоваться мои бабочки, я им это и предлагала. Особенный же успех имели шуршащие нижние юбки ярких цветов, с оборками, вырезанными по краю зубчиками,— у нас таких юбок было много, и все их я выгодно обменяла на муку, сало, подсолнечное масло, не брезгуя и мелкими добавлениями вроде пятка яиц или даже кусочка подсолнечного жмыха («макухи», как называли жмых в Ростове).

Одну такую юбку, красную, я описала в романе «Времена года», вобравшем вообще много деталей моей бедолажной жизни. Была, была на самом деле такая юбка, она взвивалась в моих руках, как победное знамя, когда я шла с нею между возами, и со всех возов тянулись ко мне здоровенные загорелые руки станичных молодиц, жаждавших заполучить себе эту красоту. Что-то очень прибыльно я ее обменяла на живительные продукты и много добра принесла в кошелке домой.

Когда же случалось отдавать что-либо за деньги, я тут же покупала продукты в базарных рядах и опять-таки возвращалась к своим не с пустыми руками.

Вот так и жили, кормясь от старого сундука.

Помню, как весной 1918 года в Ростов пришли немцы. Жители собирались в тот день кучками и глазели на небо, где по временам с урчанием пролетал аэроплан. Впервые тогда я увидела эту машину и услышала грозно-пророческое ее урчание. А затем не стало в Ростове коммуны и возникли новые слова, упоминавшиеся так же часто, как перед тем «Цыпленок жареный», то были слова: «белая гвардия», «белогвардеец», «контрреволюция».

Появилась новая песня «Яблочко», еще более популярная, чем «Цыпленок». Куда ни пойдешь: на улицу, в лавочку, в кинематограф — везде пели:

Ой, яблочко,
Куда котишься,
В Ростов попадешь —
Не воротишься.

Нам с братишкой эту песню почему-то запретили петь, мы по-прежнему пели только старые детские песенки из сборника, лежавшего у нас в доме на рояле чуть ли не с моего рождения.

18
«ПОКЛАРДАШ»

Однажды я подружилась с девочкой лет пятнадцати и впервые услышала от нее загадочное слово «Поклардаш».

— Как? — сказала она удивленно.— Ты ничего не знаешь о Поклардаше? Это означает — поклонение артисту Дашковскому.— И разъяснила, что этот Дашковский — тенор, поет в оперетте и что его почитательницы организовали целое общество или кружок, задача которого — служить артисту Дашковскому и украшать его жизнь.

— Ты тоже непременно должна вступить,— сказала Ната.

Я ни разу еще не была в оперетте и никогда не видела Дашковского и не имела никакого желания вступать в это общество, самая задача которого сразу показалась мне дурацкой. Но Ната вскоре натравила на меня Лену В.

Вероятно, описывая в «Сентиментальном романе» поэтессу Тамару Меджидову, я где-то в уме держала Лену, хоть Лена и не писала стихов. Единственное, чего хотела Лена, это во что бы то ни стало выглядеть оригинальной и ни в чем, сохрани бог, не походить на обыкновенных девочек. Она носила очень яркие платья и на шее длинные янтарные бусы, на конце их болтался какой-то китайский божок, ударявший Лену по коленям, когда она шла. Она не признавала ни наших книг, ни наших развлечений. Она читала неизвестно кем сочиненные приторные стишки, ходившие в списках по рукам, а других стихов просто не признавала. Ей, впрочем, нравилась моя начитанность, она даже сказала как-то:

— Из тебя еще выйдет толк, хотя тебя и вырастили таким комнатным растением.

О «Поклардаше» она заговорила сразу и горячо,— она, оказывается, и была его создательницей.

— Ты ничего подобного не видела,— говорила она.— Это такой человек, такой человек!

Я продолжала отрицать «Поклардаш», но на два деяния ей все-таки удалось меня подбить. «Поклардаш» по какому-то поводу решил преподнести подарок тенору Дашковскому и его жене. Подарок делался в складчину, и, по настоянию Лены, я, к теперешнему стыду моему, выпросила у мамы какую-то мелочь, якобы на книги. Помнится, были поднесены два одеяла, которые нашему дому несомненно были нужнее, чем Дашковскому.

Второе, на что подбила меня Лена,— это посмотреть Дашковского.

Она зашла за мной в воскресное утро и повела на «Продавца птиц» в Асмоловский театр. Это довольно просторное и хорошо содержавшееся здание служило у нас в городе и для драмы, и для оперетты. Построил его фабрикант Асмолов, и потому театр звался Асмоловским. В нем-то и подвизался несравненный Дашковский, ради которого ростовские девчонки складывали свои полтинники и пятачки, чтобы украсить его жизнь.

Как я себя похвалила за свою неуступчивость, когда увидела его на сцене! Много лет минуло, и я не хотела бы обидеть человека, о котором, в сущности, ничего не знаю, кроме того, что он своим голосом и наружностью снискал себе столь горячих поклонниц, но не могу не сказать, что не заметила в нем ничего достойного поклонения.

Что из того, что у него был приятный тенор, это был ведь самый обыкновенный тенор, студент Степа Айвазов пел не хуже под аккомпанемент бабушки Надежды Николаевны. Наружность же артиста была еще менее выдающейся, чем его голос. Это был вполне заурядный, хоть и довольно-таки смазливый брюнет в розовом трико и опереточных мишурных цацках. Я смотрела и думала, что, вздумай Лена почитать ему, например, Бальмонта, которым мы тогда увлекались, он скорей всего ничего не понял бы. Мне показалось, что его жена-примадонна вполне ему под стать, и мне даже обидно стало, помню, за Лену, Нату и всех этих глупышек, обожавших его. Глупышки эти сидели вокруг меня всем скопом — справа, слева, впереди и сзади — и хлопали Дашковскому так, что сотрясался зал.

— Что же ты не хлопаешь,— шептала мне Лена,— ну похлопай хоть немножко, а то неудобно.

Но мне, напротив, неудобным казалось именно хлопать, и я упрямилась до конца. Хотя девчонки не переставали меня уговаривать и долго после этого спектакля приставали ко мне с вопросами, почему, собственно, я не хочу к ним присоединиться, я не могла найти слов, чтобы объяснить им это, кроме слов «глупо» и «стыдно», и они меня считали глупой и косной и стыдили за это.

КАК У НАС ГОВОРИЛИ

Как почти во всех южных городах, в Ростове моего отрочества говорили не особенно правильно. Пусть не столь эксцентрично, как, например, в Одессе, но все-таки с большими искажениями и вольностями.

Помню, как потешался мой первый муж, когда бабушка Надежда Николаевна однажды сказала мне при нем: «Подбрось печку и поставь воду на голову». По-русски это бредовая бессмыслица, а по-ростовски означало: «Добавь угля в печку и согрей воду для мытья головы». Водой из ростовского водопровода нельзя было мыть волосы: она была очень жесткая, для мытья головы собирали дождевую, подставляя кадушку под водосточную трубу.

Помимо таких стихийно зарождавшихся языковых вольностей, в речи того времени были слова, происшедшие от тогдашних понятий и событий, уже следующему за мною поколению непонятные.

Так, например, женщина, имевшая многих поклонников, называлась «львицей», кража казенных сумм именовалась «панамой» — в связи с событиями при строительстве Панамского канала. Участь океанского парохода «Титаник», погибшего при столкновении с айсбергом, долгие годы жила в памяти ростовчан, при каждой вести о крупной катастрофе говорили: «Повторяется история „Титаника“», как бы заявляя этими словами претензию на причастность Ростова к большому миру и его судьбам. Да, в сущности, претензия эта была справедлива, так как Ростов активно старался не отставать от хода истории, он всем интересовался и на все откликался, его фабрики и заводы вошли в историю революционного движения, он следовал моде не только в одежде, но и в литературе, и в спорте, и в воспитании юношества. А если речь его жителей порой отклонялась от грамматических канонов, то, повторяю, для южных городов это было почти законом, ведь сколько в них смешивалось «племен, наречий, состояний». И это издревле, ибо с незапамятных времен устье Дона было вместилищем разных народов. По нашей степи, поросшей бессмертником и чебрецом, проходили хазары, печенеги, должно быть, еще авары; судя по историческим указаниям, на месте Ростова находилась хазарская Белая Важа, взятая Святославом. Мудрено ли, что каждое племя оставляло здесь свои словечки и обороты.

И в то же время в семьях, вкусивших от просвещения, говорили, помню, нарочито чисто и правильно, именно как бы в пику стихийно сложившемуся искаженному говору. Мне приказывали читать вслух и Священное писание, и светские книги и тщательно поправляли мое произношение, указывали правильные ударения, объясняли непонятные слова.

Я уже говорила, что бабушка Александра Ильинична наизусть знала Некрасова, она и в жизни любила употреблять его слова и обороты. Очень хорошо они с бабушкой Надеждой Николаевной называли друг друга: «сватья Наденька» и «сватья Сашенька», а меня она называла не внучкой, а внукой — по-старинному.

Помню, когда у нас в семье поздравляли кого-нибудь с новой одеждой — новым платьем или пальто, то непременно добавляли пожелание: «Из этого да в лучшее» — пожелание, вероятно, тоже очень старинное.

Своеобычной и чужеродной струей входит в эти мои воспоминания речь нашей няни Марии Алексеевны. Выросшая в иной среде, приехавшая на наш юг из Тульской губернии, она принесла в семью иные словечки, иную грамматику, какие-то нигде мною больше не слыханные стишки и прибаутки. Она была и грубовата на язык, то и дело, справедливо или несправедливо, отпустит, бывало, и бранное словцо. Но ни ко мне, ни к брату Леничке эти слова как-то не прививались, неведомо по какой причине, скорей всего по стыдливости: мы ненавидели грубые слова, самым бранным — собственно, единственно бранным — было в наших устах слово «дурак». Помню, как я была однажды не на шутку шокирована, даже оскорблена, прочитав в одном атласе подпись «орел-стервятник», мне показалось невозможным, что книга так гадко ругается.

Сказок няня нам не рассказывала, напротив, мы ей читали по ее желанию сказки, как и другие наши книжки, а рассказывала она нам о лесах, которых мы никогда не видели, о том, как хорошо собирать в этих лесах ягоды, грибы и ландыши. Однажды она съездила в свои края и привезла нам гостинец — варенье из лесной земляники в крохотных глиняных горшочках, мне показалось — никогда я не ела такого вкусного варенья. А больше всего няня говорила нам о святых мучениках и угодниках, о царствии небесном. И в то же время она нас угощала такими, например, пошлыми, ни к селу ни к городу не идущими и неизвестно где ею подхваченными стихотворными цитатами:

Говорила ему я:
Не ешь ягод, Илия.
Но не слушался
И обкушался,
Вот и помер, как свинья.

Или:

Господин
Сковородин,
По батюшке Шлепкин.

Так я до конца жизни и не поняла, для чего эта набожная старушка, искренне нас любившая, читала нам эти бездарные и бессмысленные стишата. Но, странная игра памяти, стоит мне вспомнить няню, я тотчас вспоминаю и господина Сковородина, и злосчастного Илию, умершего, как свинья, от обжорства. Надо ли говорить, что никогда больше я с этими личностями не соприкасалась. Впоследствии, более чем через полвека, старенькая маникюрша рассказала мне, что про этого Илию ей читали в детстве,— стало быть, была такая книжка?

— Верка,— говорила няня,— засвети лампадку господу, завтра праздник.

И я зажигала лампадку.

— Как стоишь,— говорила она в церкви,— руки раскорячила, повесь долу, как святые отцы велят.

И я вешала руки долу.

20
ВОЛОДЯ ФИЛОВ

Мы жили тогда в доме № 5-б по 1-й линии. Когда собирались гости, бабушка Надежда Николаевна садилась к роялю и играла. Она знала множество вальсов, полек, кадрилей и была прекрасным аккомпаниатором, под ее музыку нередко танцевали в нашем маленьком «зале».

Пела мама, обладавшая прелестным меццо-сопрано, пел арии из вагнеровских опер студент Степа Айвазов, пели очень музыкальные брат и сестра Даничевы — Степа и Маруся.

Иногда, правда редко, пел дядя Саша, муж тети Лили, у него был комический эстрадный репертуар, и аккомпанировала ему всегда тетя Лиля. Некоторые вещи, которые пела мама, мне потом уже никогда больше не попадались, я их помню только в ее исполнении. Я помню ее голос, то

грудной, то вспыхивающий светлым каким-то всплеском, и больно мне, больно, что ее нет, что жизнь прожита, что уже ничего не вернуть, даже на секунду.

Я не помню, чей это был романс, который она пела:

> В темном зале сейчас только плакал рояль,
> Кто-то пел про весну, про любовь и печаль.

И ни у кого, кроме нее, не слышала «Индусской песни» — «Брама, бог правоверных, царь городов священных...», но эти мелодии, напетые ее голосом, буду помнить до последнего конца.

В это время у нас стал бывать Володя Филов.

Неподалеку от нас жила дальняя наша родственница Надежда Николаевна Филова. После смерти мужа (не знаю, кем он был) она купила небольшой дом на углу 3-й линии и Георгиевской улицы и открыла магазин аптекарских товаров. В этом магазине она торговала патентованными лекарствами и парфюмерией, и много там было таких же коробочек, баночек и флакончиков, какие приносила от своего Лемме мама.

У Филовой было четыре сына: Николай, недурно рисовавший, Александр, рвавшийся на сцену, Виктор и Владимир. Эти последние два сыграли в моей судьбе большую роль, особенно Владимир.

Когда он стал к нам ходить, ему было девятнадцать лет, мне — одиннадцать. Это была громадная разница, и к общению со мной он снисходил только потому, что я писала стихи. Он сам их писал, и все его окружение писало, и в этом окружении была Сусанна Мар, и была Нина Грацианская, и был Георгий Шторм; все они позже стали писателями.

Володины стихи были плохи, немногим лучше моих, но не в этом дело.

От него я услышала, что необязательно аккуратно посещать гимназию и слушаться старших. Я услышала, что непослушание лучше, чем послушание, достойнее. Тихой мещанской девочке, старательно делавшей реверанс перед взрослыми, такие бунтарские мысли не приходили в голову, хотя она уже читала Писарева и была знакома с Евгением Базаровым и Марком Волоховым.

Очевидно, нужно было, чтобы все эти бунтарские слова произнес живой голос. И Володя Филов их произнес. Со своими друзьями он издавал рукописный журнал «Юная мысль». Он поместил в этом журнале какой-то мой стишок. Я была счастлива, только обиделась на то, что под стишком было подписано: «Верочка Панова, ученица 1-го класса»,— в упоминании о 1-м классе мне почудилась дискриминация.

Володя был очень похож на свою мать, такой же, как она, белолицый и полный, с пухлыми руками и маленьким ртом. Он ходил в черной тужурке с обтрепанными рукавами. Поступил в Ростовский университет, мечтал о литературе, знал наизусть множество стихов. От него я впервые услышала слова: «ничевок», «имажинист» и имя Велемир Хлебников. Володя восхищался Хлебниковым, а позднее — Сергеем Есениным. Мы перебирали имена поэтов и строчки стихов, сидя в маминой комнате перед жарко натопленной печкой. Мы пекли каштаны в горячих угольях, каштаны, лопаясь, громко стреляли, вкусны они были (или казались) необыкновенно.

Володю Филова я описала в «Сентиментальном романе» под именем Мишки Гордиенко, он же — журналист Вадим Железный.

21

МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

Это, стало быть, 1919 год. Я вытянулась и поздоровела, полюбила бегать на «гигантских шагах» и плавать на байдарке, у меня выросли порядочные косички, на конце каждой — длинный, трубочкой, локон, и я переживаю свой первый роман.

Не первую любовь — влюблялась я и раньше. Лет в семь влюбилась в красивого мальчика Васю Петрова, несколько месяцев подряд была влюблена в некрасивого мальчика Андрюшу Кочеткова. Но первый роман переживаю жарким летом 1919 года.

Это несомненно (для меня) настоящий роман, так как он, этот Коля Ф., не только качает меня на качелях и катает на своем велосипеде, усадив на велосипедную раму перед собой, и не только пишет мне записочки симпатическими чернилами (вероятно, попросту молоком), которые (записочки) надо подержать над лампой, и тогда проступают слова,— помимо всего этого Коля Ф. еще сделал себе на руке татуировку: большая репа проткнута стрелой, а под репой мои инициалы, и сестры дразнят его мною.

Старшая его сестра замужем за папиным сослуживцем, теперь директором завода «Красный Аксай». А Коля Ф.

приехал к ним погостить, и мы подружились на базе качелей, «гигантских шагов», крокета и байдарок.

Еще весной этого года дядя Сережа велел мне сесть в байдарку, подал мне весло и сказал: «Греби». И, о диво, я стала грести. Байдарку он мне подарил, она стала моя собственная, и я очень этим гордилась. А Коля брал яхт-клубскую байдарку, и мы плыли вниз по Дону рядом, иногда держась за руки.

Не было в этом романе ничего, чего можно бы устыдиться, была река, и небо, и некоторое красование друг перед дружкой, кто лучше гребет, кто одним ударом молотка проведет крокетный шар через две первые дужки и через «мышеловку», был горячий чистый песок, по которому так хорошо идти босыми ногами, да какие-то кустарники с узенькими темными листиками и некрасивыми лиловато-серенькими цветочками, похожими на цветки картофеля, да особенный, очень свежий запах речной воды, когда ты сидишь в байдарке так близко от веселых бегущих струй.

В то лето, едва позавтракав, мы с Леней шли в нахичеванский яхт-клуб (впервые мама нам разрешала уходить одним так далеко от дома). Шли сперва по улицам, мощенным булыжником, потом по деревянному мосту. Издалека виднелась белая ротонда яхт-клуба с большим балконом, подпертым деревянными столбиками, часто на этой террасе уже ждал Коля Ф. и махал нам своей гимназической фуражкой. Под балконом стояли байдарки и весла, на балконе — плетеная мебель, а в первой комнате прежде висел точно такой же, как у нас дома, портрет моего отца — основателя клуба. В 1919 году портрета уже не было, почему-то после революции его сняли,— может быть, сочли отца буржуем, не знаю. Маму это огорчало, нам же, детям, было все равно, у нас в яхт-клубе было много радостей — «гигантские шаги», песок, крокет, байдарки, дружба с Колей Ф., встречи с милым дядей Сережей, который тоже приезжал сюда каждый день.

Он все собирался научить меня плавать, но так и не научил, тут я оказалась совершенно бездарной, всю жизнь плавала как топор. Брат же Леня как-то научился у Коли и других мальчишек и находил в плавании много радости.

Иногда дядя Сережа поручал нам половить вокруг яхт-клуба бабочек для его коллекции. Мы приносили из дому сачок и раза три-четыре даже что-то поймали этим сачком, но всегда оказывалось, что это «что-то» у дяди Сережи уже есть. У него была очень хорошая коллекция, он обменивался бабочками с коллекционерами разных стран, помню в одном из его застекленных ящиков одну особенно поразившую меня тропическую бабочку — крылья у нее были длинные, заостренные книзу, белые, с перламутрово-зеленоватым отливом, и она была похожа на ангелов, как их рисовали в «Задушевном слове».

Я всегда была переимчива, как обезьяна, и мне загорелось и самой собирать коллекцию бабочек. Дядя Сережа подарил мне сачок (зеленый марлевый мешочек на неоструганной деревянной палке) и станочек, на котором пойманных бабочек расправляют и сушат, он давал мне читать книги по энтомологии и показывал всякую всячину под микроскопом, но у меня с коллекцией ничего не вышло, показалось скучно, увлечение угасло очень скоро. Несколько позже я так же зажглась собиранием почтовых марок и так же быстро охладела к этому занятию, вообще я, видимо, не коллекционер по самому складу характера, чего-то во мне для этого недостает, прежде всего — терпения. Но так или иначе недолгие мои занятия энтомологией доставили мне большое удовольствие, и я прекрасно понимаю увлечение бабочками у С. Т. Аксакова и В. Набокова, понимаю, что это может овладеть человеком и сделаться хобби всей жизни.

Вот такое было это лето 1919 года — юное, светлое, бодрящее.

Каждый день мы виделись с Колей Ф. в яхт-клубе, и, несмотря на это, он постоянно писал мне записочки, свидетельствовавшие как о его чувствах, так и о малой изобретательности, ибо на всех записочках повторялась все та же проткнутая стрелой репа, а каплющая из раны кровь была изображена красными чернилами. Но мне было четырнадцать лет, и все это, в том числе красные чернила, нравилось мне чрезвычайно и казалось прекрасной экстраординарностью.

И вот прошло сорок пять лет... Прошло сорок пять лет, мне, стало быть, было пятьдесят девять, я жила в Коктебеле. Дверь моей комнаты выходила на лестничную площадку, на площадке было окно. Как-то утром я вышла на эту площадку, смотрю — на подоконнике лежит письмо. На конверте надписано: «Вере Федоровне Пановой», почерк незнакомый. Я унесла письмо к себе в комнату, прочла и поняла, что это пишет тот самый Коля Ф., только уж, конечно, никаких стрел и прочего, просто приехал в эти края, узнал, что я тут, и просит к шести часам вечера выйти за калитку сада, чтобы повидаться.

Мне стало не по себе — ведь сорок пять лет!.. Моя приятельница Туся Разумовская тоже сказала:

— Вера, нельзя встречаться, вы просто друг друга не узнаете.

Но я все же вышла к шести часам того дня за калитку, [redacted] морю, и когда пошел мне навстречу долговязый человек с сильной сединой в волосах — я, представьте, узнала в нем того гимназиста. Да, этот человек был стар, но если отбросить седину и морщины, то черты остались, [redacted] сущности, те же, через сорок пять лет они были те же, [redacted] я сказала храбро:

— Здравствуйте, Николай Викторович.

Он стал художником-иллюстратором, работал в книжных издательствах, жил [redacted] Москве. Через полгода, [redacted] мое шестидесятилетие, прислал мне по почте громадную коробку шоколадных конфет, я поблагодарила телеграммой. Больше мы не встречались и не писали друг другу.

Роман же 1919 года окончился тем, что родители вызвали Колю Ф. обратно [redacted] Грозный — продолжать учение.

Вот [redacted] вся история моего первого романа. Если нет [redacted] нем ничего ослепительно прекрасного, то нет ничего и темного — ни крупинки,— [redacted] потому я вспомнила о нем легко и без печали.

22
ТРУДНАЯ ЗИМА

После этого радостного лета была долгая трудная зима. Она началась для нас болезнями и невзгодами. Сундук как источник доходов был исчерпан, пришел настоящий голод, когда пшенная каша или вареная картошка кажутся пиршеством, а такие вещи, как масло и сахар, вообще — небывальщина. Вместо сахара на стол подавали крошечные таблетки сахарина. Бросишь таблетку [redacted] чай — со дна чашки поднимется белесый, как бы мыльный столбик [redacted] вспухнет на поверхности чая белой шляпкой, [redacted] чай станет горьким и противным.

Мама заболела сыпным тифом, а я так называемой «испанкой» — тогдашнее название гриппа. «Испанка» страшна была своими осложнениями. В моем случае осложнение было очень странное — у меня началась цинга: изъязвились десны, стали выпадать зубы. Думаю, тут сказалось то, что нам с детства давали мало свежих фруктов [redacted] овощей.

Наша детская находилась рядом с маминой комнатой. Няня и бабушка печально переходили от одной больной к другой.

Подошло рождество. Грустно оно подходило — никаких приготовлений к елке, ни нового платья, ни разговоров о подарках. В самый канун сочельника стали раздаваться взрывы снарядов — к Ростову приближалась армия Буденного.

Уже был разрушен тот дом на Таганрогском, позднее на Буденновском проспекте, что описан в «Сентиментальном романе» как дом Хацкера, на самом деле то был дом Рацкера [redacted] Хосудовского, [redacted] нем помещался белогвардейский штаб.

Среди замыслов, которые мне не удалось пока осуществить, осталась пьеса «Рождество 1920 года», где я хотела написать приход буденновской армии в Ростов.

К звукам канонады мы уже тогда были привычны, она нас не пугала. Няня уверяла, что больных красные не тронут и что она, няня, все устроит хорошо. Взрослые, кажется, побаивались неизвестности, [redacted] мы с Леничкой беззаветно верили няне и не боялись ничего.

Я не помню, какое это было число, когда няня вошла и сказала:

— У нас конные во дворе.

Потом несколько красноармейцев поселилось у нас. Они заняли кухню и нянину комнатку за кухней — там было теплей всего. В наши комнаты они не заходили, боясь заразиться. Они принесли няне мешок муки, мешок пшена и тушу говядины и сказали ей так:

— Вот, бабка. Ешь сама и корми своих, но чтоб и мы были сыты.

Няня стала печь нам замечательные белые хлебы (для мамы из этого хлеба делались сухарики), варить мясные супы и пшенную кашу. Конечно, и буденовцы были сыты.

Еще через сколько-то дней няня положила на мою кровать какие-то свертки и сказала:

— Это тебе ребяты подарки прислали.

В свертках оказалось несколько стоп превосходной писчей бумаги, множество отличнейших карандашей и несколько коробок столь же превосходных резинок — серовато-зеленых, на каждой резинке изображен слон. Няня сказала им, что вот девочка все что-то пишет, и они велели это все отдать ей, то есть мне, «сами-то мы, говорят, не больно много пишем».

Бумага была чуть шероховатая, поглядеть на свет —

с какими-то вензелями. Мне ее хватило надолго, так же как и карандашей и резинок. Не помню, сколько времени простояли у нас буденовцы. Они ушли, а спустя какое-то время белые на несколько дней ворвались в Ростов и наделали много кровавых бед.

Потом снова вернулась Красная Армия.

Постепенно мы с мамой выздоровели, и жизнь пошла по-прежнему. Только стала она голодной, и голод все возрастал. Няня жаловалась, что все вздорожало, ни к чему не приступишься. Что хлеба не хватает. Что нищие просят уже не на кусочек хлеба, а на кусочек макухи, то есть подсолнечного жмыха.

Начав выходить, я сама увидела этих нищих. То были трое ребятишек, два мальчика и девочка. Стоя в ряд, они протягивали к прохожим грязные ручонки и жалостно тянули:

— Подайте копеечку на кусочек макухи.

Сколько прошло лет, целая жизнь прошла, целая вечность, а я так и вижу эти руки и слышу эти голоса.

Макухи есть нам не пришлось. Но вместо обеда или ужина ломтик ржаного хлеба, смазанный горчицей,— это случалось часто.

Думаю, что уже тогда мое здоровье начало расшатываться. Стало покалывать в сердце, врач нашел невроз.

Леничка тоже заболел испанкой, по ночам тяжело бредил, но у него в тот раз болезнь не разыгралась.

Наконец прошла эта трудная зима. Но еще более трудная началась весна.

Нас уплотнили. В няниной комнатке за кухней поселилась Н. Н. Филова, Володина мать, а в комнаты, выходившие на улицу, была вселена семья инженера, бежавшая на юг от питерского голода. Мама сначала говорила:

— Ну, ничего, ведь они люди интеллигентные, он же инженер.

Но очень скоро она поняла, что звание инженера еще не делает человека интеллигентным. Мы познали все ужасы и безобразия совместного житья. Интеллигентные люди даже завладели нашей мебелью. Конечно, большую роль в этом сыграла мамина кротость и беззащитность.

И тут еще нас покинула няня. Прожив с нами пятнадцать лет, она перешла жить к своей дочери, чтобы нянчить ее детей, которых было к тому времени уже что-то очень много. Причина уважительная, и у нас не было ни моральных, ни материальных возможностей удержать няню.

Мы все трудно привыкали обходиться без ее постоянной заботы. Но трудней всех пришлось мне.

Увы, я ничего не умела. А на меня легло все хозяйство.

Первое время было еще ничего: мы брали обед в районной столовой. Там давали всегда одно и то же: серенький супчик с крупой и серую кашу, так называемую «шрапнель», с кусочками красноватой солонины. Это были даже не кусочки, а хлопья, воло́кна, но тогда казалось, что оно и вкусно и сытно.

Корм этот отпускался по какой-то норме, в количествах незначительных. Но так как столовой заведовала наша родственница Н. Н. Филова, жившая с нами, то мне выдавалась очень приличная порция и супа, и каши.

Дома я все это разогревала и заправляла поджаренным луком, и мы, в общем, бывали сыты.

Н. Н. Филову устроил на эту должность ее сын Виктор Григорьевич Филов, о котором речь впереди. Он вообще устроил всех своих родственников, включая меня, доводившуюся ему какой-то десятой водой на киселе. Брат Володя — о нем я уже говорила — работал у него в газете фельетонистом, старший брат Николай — художником. Брат Александр с его помощью осуществил свою мечту — стал актером, поступил в театр. Некоторые люди называли это кумовством и осуждали Виктора Григорьевича, но я понимала, что иначе быть не могло. Вы подумайте: в свое время Н. Н. Филова осталась без мужа с четырьмя сыновьями мал мала меньше. Мальчишки росли в нужде, все вместе. Пальтишко со старшего переходило на второго, со второго на третьего, последним донашивал его самый младший — Володя. То же происходило со штанами, с бельем, с учебниками. И когда наконец они выросли и один из них оказался в состоянии дать остальным место в жизни и заработок,— мог ли он этого не сделать? Мог ли не помочь матери, которая стала к тому времени седой и больной? По-моему, не мог. По-моему, иначе было бы не по-людски.

Но нет на свете ничего неизменного. Не вечно было и наше шрапнельное благоденствие. То ли Н. Н. Филова ушла с работы в столовой, то ли столовую закрыли, уж не помню. Но явилась необходимость самой покупать продовольствие и стряпать.

А на какие шиши покупать? Все было безумно дорого, а денег не было.

Помаленьку я научилась и стряпать, учила меня

Н. Н. Филова, великая мастерица этого дела. Но я, увы, мастерицей не стала.

Не научилась и стирать хорошо. При няне ходила к нам стирать ее приятельница Кузьминична, торговавшая семечками у нас на углу. Ни маме, ни мне стирать не приходилось. Не стало няни — почему-то перестала приходить и Кузьминична.

Пришлось самой взяться за стирку.

В квартире у нас был водопровод, было где согреть воду, не было одного: не было у меня силенок. Особенно донимали меня два вязаных покрывала. Они были связаны из толстых бумажных ниток и состояли из квадратов, сплошь усаженных шишечками величиной с лесной орех. Бывало, намочишь эту штуку в корыте — и не повернуть ее, не то что выстирать. А уж хуже всего отжимать: стараешься-стараешься — ничего не выходит, только проклятые шишки врезаются в ладони. Но — стирала. Плакала, и стирала.

Не надо думать, что кто-нибудь меня к этому принуждал. Не заикались даже. Просто сама уже понимала, что время сделать стирку, что как это мне ни трудно, а все же легче, чем маме или бабушке.

Единственное, в чем я их винила, это в том, что не научили меня этому раньше, не приучили с малых лет. Я потом встречала женщин, у которых не было этого изъяна в воспитании, и всегда им завидовала. Женщин, для которых ничего не стоило вымыть полы во всей квартире, натаскать воды из колодца, перестирать белье, вскопать огород. В частности, попались мне женщины, воспитывавшиеся в институтах так называемых благородных девиц, и что же: эти благородные, эти бывшие дворянки умели и стирать, и готовить, и шить, и штопать. И я думаю, что это единственно правильное воспитание для детей всех слоев общества и всех времен.

Вот так-то днем я теперь работала по хозяйству, а по вечерам играла в азартные игры.

Как это возникло? У нас в доме и прежде иногда играли в карты: то преферанс составлялся, то винт. Играли и мама, и бабушка Надежда Николаевна, и дядя Володя. С нами, детьми, тоже играли в разные невинные игры — в «свои козыри», «акульку» (она же «ведьма»), «подкидного дурака», «комбинацию». Азартные же игры возникли после того, как нас «уплотнили».

Сначала стали играть на деньги в лото. Вошли во вкус — явилось «очко». А когда поселилась в нашей квар-

тире Н. Н. Филова, то стали играть в «девятку» и в «макао», а как-то раз кто-то даже принес настоящую рулетку.

Н. Н. Филова жила, как я уже говорила, в маленькой комнатке за кухней. Днем это была обыкновенная старушечья келейка с горкой подушек на кровати, с лампадкой перед образом, по вечерам же она превращалась в форменный игорный дом: всю середину ее занимал раскрытый ломберный стол, на зеленом сукне лентой растягивалась так называемая «талия», выливаясь из специальной деревянной колодки, кучками лежали деньги, кругом сидели игроки. Чуть начинало смеркаться, через двор и террасу начинали входить в дом какие-то люди — они назывались «партнеры». Мама спрашивала:

— Тетя Надя, есть сегодня партнеры?

— Да собираются помаленьку,— отвечала Н. Н. Филова.

Начинался вечер обычно с преферанса, и я обучилась этой игре, наблюдая ее. А потом кто-нибудь говорил: «Метнем»,— и начинался азарт. Особенно любили его сама Н. Н. Филова и моя бедная мама, теперь-то я понимаю, что этим женщинам, состарившимся во вдовстве, азартные игры служили некой разрядкой, эрзацем, называйте как хотите. Игра шла всю ночь и частенько продолжалась на другой день, и мама иногда шла на службу, так и не сомкнув глаз ни на минуту, и потом говорила, как она научилась спать на работе: иногда даже стоя, выйдя в коридор, и будто ей довольно поспать минуту-другую, чтобы сонливость прошла и она бы почувствовала себя совершенно бодрой и работоспособной. Возможно. Но что она таким образом вдребезги расшатывала свое здоровье — это несомненно. А впрочем, чем еще мы, в сущности, занимаемся в жизни, как не расшатыванием своего здоровья?

Где-то в это время в доме появляется новый член семьи — Анна Васильевна, жена дяди Володи.

Я забыла написать, что в 1915 году бабушка Надежда Николаевна ездила в Петроград повидаться с сыном. Ей очень понравилось в столице, она рассказывала о постановке оперы «Черевички» в Народном доме, о том, что дядя Володя бывает у очень знатных и богатых людей и что у него есть шанс очень хорошо жениться. Она давала понять, что этот «шанс» — прекрасно устроенная молодая вдова, которая в дяде Володе души не чает, что у нее много драгоценностей, и бабушка с мамой часто стали шептаться — очевидно, на эту тему. Вообще дядя Володя и его всевозможные «шансы» всегда были предметом упований

бедной бабушки Надежды Николаевны, упований, увы, так никогда и не реализовавшихся. Но на прекрасно устроенной вдове он все-таки женился, как хотели они все трое.

Поженившись, дядя Володя и его жена переехали из Петрограда в Витебск, убегая от голода, а затем решили податься в Ростов. Не знаю, что поманило туда ее, дядя же Володя возымел очередную фантазию, что в Ростове он будет преподавать итальянский язык. Не знаю, знал ли он сам этот язык, знаю лишь, что такова была фантазия. На моей памяти он несколько раз в Ростове поступал на службу, но нигде не оставался сколько-нибудь длительное время, нигде не прививался, будь то государственное учреждение или частная артель нэповских времен. Не уверена, что он был бездельником, как когда-то уверяла няня, не уверена также, что он был неудачником, думаю, что ему вредило крайнее легкомыслие, доходившее до какой-то пустоголовости, безалаберности, безответственности и, должно быть, его пристрастие дразнить людей и давать им обидные клички, ведь даже при этих своих мимолетных вылазках в трудовую жизнь он ухитрялся всем, с кем соприкасался, дать обидные характеристики и прозвища и даже нам, детям, их сообщить, а зачем? Какое удовлетворение это ему давало? Или в этом проявлялся комплекс неполноценности? Интересно, что эти характеристики и клички никогда не были остроумны, а только нарочито грубы и даже противны.

А вот Анна Васильевна, его жена, понравилась нам всем сразу. Она была несравненно умнее, тактичнее, обходительнее, чем дядя Володя,— это видно было сразу. Она даже иногда острила очень славно. И мы нисколько не протестовали внутренне, когда она, приехав, поселилась у нас вместе с дядей Володей. Правда, пожили они недолго — сняли где-то комнату и стали жить отдельно.

Я только сердилась и огорчалась, что дядя Володя нехорошо поступает с тетей Аней и что бабушка и мама ему это позволяют.

Сразу же, едва она приехала в Ростов, он заложил куда-то (уж не помню, в ломбард или частному лицу) все ее драгоценности, и они погибли в закладе, так как он их не выкупил в срок. Он оправдывался тем, что откуда же ему было взять денег на выкуп, но так как с самого начала было ясно, что этих денег взять будет неоткуда, то я считала, что он не имел права закладывать тети Анины вещи. И бесстыдно дурацкая его отговорка, что ведь уж сколько раз так закладывали, а потом как-то находили деньги на

выкуп, не убеждала меня, я только дивилась и на него, и на благоговейно слушавшую его бабушку. Впрочем, и Анна Васильевна к нему относилась с каким-то благоговейным обожанием, что-то, стало быть, было же в нем, чего мои глаза не видели и что заставляло почтенных женщин любить его и верить ему. Я до сих пор могу вполне понять причины такого моего отталкивания от дяди Володи, я не принимала его всего целиком, а ведь я была в общем-то существо добродушное и привязчивое, при всей своей вспыльчивости. Но с дядей Володей я даже не взрывалась, а именно отталкивалась — целиком и полностью и на сто процентов, как тогда принято было говорить.

Анна Васильевна была дочерью полкового священника. Когда отец ее умер, ее мать, попадья, бывшая очень красивой, вышла замуж за какого-то офицера. Офицер этот оказался из богатой семьи, получил какое-то огромное наследство, и Анна Васильевна и ее братья прожили юность в чрезвычайной роскоши.

Первый муж Анны Васильевны, тоже офицер, был убит в империалистическую войну, и она получала за него крупную пенсию. Но тут в ее жизнь вошел мой дядя Владимир Леонидович, и все пошло прахом: на пенсию после вторичного замужества она потеряла право, драгоценности, подаренные матерью и богатым отчимом, пропали в закладе, и очутилась бедняжка Анна Васильевна в чужом городе, в чужой семье безработной женой безработного, не приспособленного к жизни мужа.

Она приспособлялась как могла. Она стала ежевечерне играть в карты в комнате Н. Н. Филовой, старалась помочь нам в нашем хозяйстве, старалась создать получше условия для своего мужа, Володички, как она его звала, получше его накормить, а для этого таскала на барахолку последние свои вещи. У нее не было никакой специальности, и лишь в 1923 году ей удалось эту специальность получить.

Вышло это так. Мое начальство (тогда это был Юрий Давыдов) вдруг спросило меня: «Нет ли у вас в виду какого-нибудь корректора? У нас все корректора идут в отпуск, нам человек нужен позарез». Я счастливо вспомнила об Анне Васильевне и ответила: «У меня есть корректор», а придя домой, сказала: «Ну, Аннушка (так мы ее называли), извольте быть корректором, а то вы меня подведете». Она сказала: «Да я ведь ничего этого не знаю». Тогда я ей показала все корректурные знаки, какие мне были известны, и она оказалась такой толковой, что на другой же

день, отправившись к Давыдову, оказалась полностью на высоте и вскоре была принята корректором в газету «Советский Юг». Уверена, что, если бы на ее месте был дядя Володя, ни одного бы значка он не запомнил и только придумал бы для Давыдова какую-нибудь оскорбительную кличку или дразнилку. С тех пор наша Аннушка так и работала всю жизнь корректором.

23
ПЕРВЫЕ ЗАРАБОТКИ

В первый год или полтора платил за меня в гимназию дядя Сережа. Но у него росли свои дети, и, видимо, его возможности иссякли, а мамины возможности были еще скуднее...

И вот я, проучившись в 1-м и 2-м классах, ушла из храма ученья и снова водворилась дома, чтобы вольно читать что хочу, сочинять дурацкие девчоночьи стишата и (так как сложа руки у нас никому сидеть не полагалось) заниматься то тем, то сем, всегда, в сущности, весьма малопродуктивным,— то побренчать гаммы на рояле (хотя на мои музыкальные возможности родные давно махнули рукой), то почистить в кухне морковку, делая вид, что помогаю няне готовить (на самом деле только мешала), то полить цветы на подоконниках. С тех пор, когда в анкетах приходится отвечать на вопрос об образовании, я пишу: самообразование, ибо все то ничтожно малое, что я знаю, я почерпнула из чтения книг, в том числе учебников.

Над чтением моим в доме перестали подшучивать, и читала я беспрестанно: и за едой, и в постели, и во все остальное время. Сама обнаружила, что стала лучше понимать прочитанное — например, очень как-то поняла и приняла «Мертвые души», прежде казавшиеся мне очень скучными и непонятными. Так же по-иному вдруг ощутила и другие книги, читанные в раннем детстве. Мне нравилось сознавать, что я поумнела, и, каюсь, во мне стало развиваться дурацкое самомнение, мне вдруг показалось, что я гораздо умнее моих взрослых — бабушек, теток, дяди Володи, даже мамы, только до дяди Сережи я не чувствовала себя доросшей. Мне казалось, что они не могут понимать так, как я, моих любимых героев — Базарова, Волохова, Писарева, мне казались неумными их суждения, и, не будь у меня этого безумного самообольщения в детстве, думаю, моя жизнь в дальнейшем сложилась бы более

правильно и разумно, я не совершила бы многих ошибок и была бы с людьми внимательнее и добрее. Но тут уж ничего не поделаешь, казнись не казнись — дела не исправишь. Может быть, будь жив мой отец, он бы не дал мне так задирать нос, прибрал бы к рукам, он был, говорят, крутенек нравом.

Выйдя из гимназии и став вольной птицей, я стала много писать стихов. Не помню ни одного, все это было подевчоночьи глупо, подражательно и совсем не талантливо. Надо отдать мне все же справедливость — я и тогда это понимала, и когда кто-нибудь, например Володя Филов, хвалил мои стихи, мне это казалось насмешкой, и стыдилась. Уже тогда я поняла, что стихи надо писать очень хорошо — либо не писать вовсе. И годам к пятнадцати я перестала их писать. Но читать — читать стихи не переставала никогда. Когда, много позже, появились у меня в руках книги таких поэтов, как Пастернак, когда добрейший друг мой Ландсберг учил меня понимать Мандельштама, я была к этому всему уже готова, отнюдь не была серостью, самые трудные стихи воспринимала так же естественно и просто, как воздух и свет. Не знаю, как это достигается, знаю только, что людей, которые это умеют, я угадываю сразу и прилепляюсь к ним сердцем сразу, а люди, для которых это недоступно, для меня чужие, далекие и ненужные, мне с ними нечего делать.

Должно быть, это очень нехорошо. Но зачем я буду кривить душой на этих страничках? А может быть, это и хорошо, может быть, это и есть тот цемент, который скрепляет людей сильней всего? Что мы об этом знаем!

Способность восхищаться одним и тем же — разве она не больше сплачивает людей, чем способность ненавидеть одно и то же?

Не слишком ли много ненависти, не пора ли вернуться к учению любви и восхищения прекрасным?

В сфере прекрасного я знала тогда две вещи: стихи и музыку. Живописи не знала совсем: в Ростове не было картинных галерей, не было и настоящей архитектуры, то и другое я увидела гораздо позже, уже в зрелых годах.

Да, многое не было мне дано своевременно — так уж сложилось, винить в этом некого, мать давала нам все, что могла, и даже больше. Если бы я тогда сознавала это так, как сознаю теперь!

Мне шел пятнадцатый год, когда мне пришло в голову, что я могу зарабатывать деньги, подготавливая маленьких детей к поступлению в школу. Маму эта мысль обрадова-

ла,— уж очень ей, бедняге, трудно было нас тянуть. Имею ли я на это право, окончив два класса гимназии, об этом я не подумала. Велика была тогда моя храбрость, и еще больше — желание быть самостоятельной, не сидеть больше у мамы на шее. Не помню, кто достал мне урок в какой-то небогатой и очень безалаберной семье, где нужно было учить двух детей — мальчика и девочку. Я занималась с ними как могла, добросовестно, стараясь применять методы моих первых учительниц, и мною, кажется, были довольны, и я уже твердо рассчитывала, что оба мои ученика осенью поступят в гимназию вполне достойно, как вдруг в этой семье случилось несчастье.

Как-то прихожу на урок, вхожу в кухню, никогда не запиравшуюся, и слышу доносящиеся откуда-то из комнат вопли хозяйки дома, матери моих учеников:

— Что мне делать! Ах, что же мне делать!!

Бегу на голос и вижу растерзанную, растрепанную, всю залитую слезами женщину, без передыху твердящую:

— Ах, ну что же, ну что же мне делать?!

— Что случилось? — спрашиваю и слышу в ответ:

— Ох, Вера, Женичка умер! (Женичка — ее сын, мой ученик, которого еще вчера вечером я видела живым и здоровым.)

— Как, отчего?

— Ой, откуда я знаю! Утром встал, ничего не болело, а потом редиски покушал и умер. Ох, берите извозчика, поезжайте за моим братом, а то я тут одна с ума сойду.

Я поехала по данному ею адресу, нашла этого брата, отнесшегося к привезенной мною вести и к зову сестры как-то очень странно, я бы сказала — ожесточенно, и привезла его к несчастной матери. Вскрытие показало, что ребенок погиб, отравившись какими-то рыбными консервами, а вовсе не редиской, конечно, но уроки в этом доме у меня, естественно, прекратились.

Потом братья Филовы устроили меня в редакцию «Трудового Дона», и я на много лет стала журналисткой, газетчицей.

Один из братьев Володи, Виктор Григорьевич Филов, был большевик, подпольщик. Когда белогвардейцев выбили из Ростова, Виктор Филов стал редактором газеты «Трудовой Дон».

Володя стал фельетонистом в этой газете. Он подписывался: «Михаил Вострогин». Он и меня устроил в редакцию: без этой родственной протекции мне, дочери служащей, туда бы не попасть.

— Только возьми какой-нибудь псевдоним,— сказал он.— Филовы, Пановы — уж очень обывательские, бездарные фамилии. Возьми что-нибудь звучное. Смотри, Дина Сквольская подписывается: «Метеор».

— Это, пожалуй, нескромно,— сказала я.— Какой я метеор? А почему ты взял фамилию Вострогин?

— А это,— сказал Володя,— был один крепостной, замученный своим помещиком, он мне явился во сне.

Конечно, Володя это придумал тут же с ходу, чтобы озадачить, он это любил, и ему это ничего не стоило.

Я стала думать, какой же мне взять псевдоним? Почему-то мне хотелось принять фамилию какого-нибудь литератора, уже известную. С детских лет я решила, что буду писательницей, никем другим, только писательницей. Мне представилась подпись «Вера Гаршина», но я тут же подумала, что замахнулась высоковато, и стала ждать, пока подвернется что-нибудь менее обязывающее.

Оно подвернулось. Кажется, в какой-то книге я встретила фамилию Вельтман. Раньше не знала, что был в прошлом веке такой писатель Александр Федорович Вельтман.

Мне почему-то представилось, что подпись Вера Вельтман будет не мещанской и благозвучной.

Володя одобрил.

— Фонетически хорошо,— сказал он,— что имя и фамилия начинаются слогом «Ве».

Я стала помощницей районного организатора рабкоров по Нахичеванскому району и писала для газеты маленькие корреспонденции о нахичеванских заводах и фабриках, подражая Михаилу Вострогину.

Числилась я за отделом рабочей жизни. Моим шефом был завотделом, добрейший и снисходительнейший Миша Соболь, описанный в «Сентиментальном романе» под именем Акопяна.

Вообще, начало журналистского пути Шурки Севастьянова, героя романа,— это начало моего пути. Редакция «Серпа и молота» — это редакция «Трудового Дона», вплоть до уборщицы Ивановны и до балкона с почерневшей железной решеткой. Люди, с которыми я тогда соприкоснулась, почти все описаны в «Сентиментальном романе». Редактор Дробышев — это Виктор Филов.

В противоположность Соболю и Вострогину, которые были довольны моей работой, Виктор Григорьевич меня не очень долюбливал. Я, девчонка, осмелилась с ним поспорить по вопросу о выборности рабкоров.

Немногие помнят сейчас, что зачастую в те времена рабкоры были не добровольные, а выборные: выбирались на собраниях так же, как члены завкома. Вопрос о том, писать ли данному человеку в газету или не писать, решался поднятием рук. Впрочем, это не было общим правилом, разные газеты и разные города решали этот вопрос по-разному. У центральной «Правды», например, рабкоры были добровольные, в «Трудовом Доне» — выборные.

— Почему? — спросила я у Соболя.

Он ответил, что наш редактор считает, что так лучше.

Я не была с этим согласна и обратилась к самому редактору. С безапелляционностью, которой меня научили Володя и Базаров, я высказала ему свою точку зрения. Он так был удивлен этой дерзостью, что не сразу понял, о чем речь. Поняв, спросил:

— Кто вас научил этому?

— Никто,— сказала я.— Просто слышала, как об этом говорили рабочие на судоремонтном.

— Мало ли что говорят рабочие,— сказал он.— Они тоже могут заблуждаться, как и вы.

Я еще что-то брякнула, он сказал:

— Короче говоря, делайте свое дело, а это предоставьте тем, кто правильнее мыслит, чем вы.

Работала я с таким же увлечением, как мой Севастьянов, редакцию обожала, вне ее мне было скучно. Там был Володя Филов, там был Николай Погодин, были старые журналисты Суховых и Майзель, они учили нас, молодых, они верили в нас, верили в наше будущее, это нас окрыляло и подстегивало к усердию.

«Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобрения».

Впрочем, это тоже уже написано в «Сентиментальном романе».

Среди новичков, подобных мне, в «Трудовом Доне» были Иван Ольшанский и Николай Шуклин. Железнодорожник Ольшанский писал стихи:

Над моей колыбелью,
Беспокойны и легки,
Песни грозные пропели
Паровозные гудки.

Кажется, Шуклин тоже писал стихи, но я их не помню.

Его жена Анна Ивановна заведовала той библиотекой, где я брала книги. Эту милую женщину я описала в «Сентиментальном романе» — как она подбирает книги для Севастьянова. Описала и самое библиотеку, и свое отношение к книгам.

К тому времени я перечитала уже порядочно. Кроме тогдашнего девчоночьего чтения — всех этих Олькотт, Чарской, Бернетт, «Голубой цапли», «Сибирочек», «Лесовичек» и прочего — я прочла много из русской и мировой классики, о многом, например о «Фаусте», знала что-то понаслышке, уже не Виктора Гофмана, а Блока, Есенина, Ахматову знала наизусть.

Я была, таким образом, уже подготовлена к новой среде, более литературной, чем наша редакционная среда, к новому общению.

Тут начинаются новые встречи, они происходили и в редакции, и в том обсаженном розами особняке на Пушкинской улице, где, по роману, Шурка Севастьянов встречается с двумя Зоями.

В том особнячке я видела тогдашних ростовских поэтов — Володю Филова, Рюрика Ивнева, Рюрика Рокка, Сусанну Чалхушьян.

Собрание в особняке и его закрытие написаны с натуры. Под именем Югая выведен погибший впоследствии Яков Фалькнер, наружность Жени Смирновой я взяла от Ляли Орловой.

Но Ляля Орлова — это уже много позже, это — подвальчик в клубе Рабпрос (работников просвещения), куда мы, редакционные чернорабочие, не сразу решились сунуться, потому что там собирались люди, уже числившиеся или числившие себя в литературе. Мы с нашими газетными заметочками не дерзали идти туда, где читались стихи и проза почти всерьез.

Помнится, повел меня туда Арсений Старосельский, новый знакомый по газетной линии. С ним я пошла без страха оттого, что он всех в этом подвальчике знал «как облупленных», так он выражался по тогдашней моде.

Собравшиеся в подвальчике называли себя РАПП — ассоциация пролетарских писателей. Возглавлял их Владимир Киршон, позже ставший известным драматургом, а тогда работник Донского комитета партии. Возглавлял он их строго, без малейшего попустительства, следя, чтобы никакая порча не проникла ни в РАПП, ни в рапповскую продукцию.

Пришли к дому. По узенькой лесенке спустились в подвал. Там стояли скамьи, на скамьях сидели юноши и девушки, перед скамьями похаживал Киршон — самая яр-

кая фигура: черная борода, толстовка, сандалии на босу ногу, и притом красавец — смуглый румянец, пылающие глаза, на щеке родинка.

Фабричный паренек Боря Миркин написал потом про РАПП, используя манеру асеевского «Черного принца», такие стихи:

Путь до клуба Рабпрос
Прост.
Узкий, ие поскользнись
Вниз.
Всякий укажет шкраб
Трап,
Что приведет в РАПП.
Чтоб из чуждых поэт
Сред
РАППа ие втерся в круг
Вдруг —
РАПП под давленьем в мильон
Тонн
Держит Владимир Киршои.

Осуществлять это давление Киршону помогали Фадеев и Макарьев.

Вот этот самый Киршон похаживал тогда перед скамейками. А потом вышел высокий, тонкий, как жердочка, Гриша Кац и начал читать стихи:

Распрокинулись озера зольников,
Кожи в них лениво плещутся.

Я повидала зольники на кожевенных заводах и знала, что на озера они не похожи, что пахнет от них отвратительно и что вместе с плещущимися в них кожами это отнюдь не объект для поэзии. Но в то же время что-то задело меня за живое: вот повидал человек эти зольники, и стихи о них сочинил, и теперь читает эти стихи перед блестящим собранием, а я — эх! — дальше никому не интересных заметочек ничего не могу написать.

Потом вышла Лена Ширман (Арсений мне всех называл), широкоплечая, кудрявая, в матроске, и читала стихи про смуглого мальчика Джоаннетто, который «на стенке собора мелом нарисовал серп и молот, и за это фашисты его ослепили, влив ему известь в глаза».

Джоаннетто, ты слеп от известки,
Но совсем ослепить — не в их власти.
Ты увидишь, как молотом жестким
Будет скомкан и свергнут свастик.

И Ленином у таланту я тоже позавидовала.

Я стала заходить в этот подвальчик, иногда с Арсением, иногда одна. Я была при том, когда Фадеев читал там главы из «Разгрома», и при том, как Вениамин Жак читал свои стихи.

В Черных улицах
Да белая метель,
Эх, и хмурится солдатская шинель...

И когда его за эти стихи обругали — один сказал, что первая строчка — это из «Двенадцати» Блока, а другой добавил, что «да белая» воспринимается слухом как «дебелая», и хотя я и с тем, и с другим была согласна, но мне — впервые! — стало ужасно жалко поэта, которого ругают.

Кажется, второе замечание сделал Кац, а первое кто — не помню. Знала бы, что когда-нибудь буду об этом писать, записывала бы все подробно. Но откуда я тогда могла знать, что мне захочется воскресить каждый день и миг прожитой жизни?..

24

«ТРУДОВОЙ ДОН» И «ЛЕНИНСКИЕ ВНУЧАТА»

Сначала я работала в «Трудовом Доне», потом газета «Советский Юг» предложила мне писать для нее фельетоны в очередь с Ю. Юзовским и Борисом Олениным (Олидортом). Фельетонами в те времена назывались пространные эссе на какую-либо злобу дня, причем от этих эссе требовалась не только поучительность, но занимательность и даже, насколько возможно, некоторая, что ли, художественность. В центральной прессе мастерами таких фельетонов были М. Кольцов, Л. Сосновский и А. Зорич, вот и «Советский Юг» решил завести у себя нечто подобное.

Мы трое — Юзовский, Оленин и я — работали в очередь, темы каждый выбирал себе по своему усмотрению, иногда это было сопряжено с немалыми хлопотами и даже мучениями.

Помню, например, как месяца два подряд ко мне ходил какой-то неопрятный старик, он хватал меня за руку и говорил зловещим сиплым голосом:

— Сейчас же звоните краевому прокурору.

Дело в том, что он от макушки до пяток был напичкан сведениями о всевозможных злоупотреблениях и злодей-

ствах и требовал, чтобы я, отложив все дела, искореняла эти беззакония с помощью прокурора.

Очень скоро этого старика уже знала вся редакция, и сотрудники меня предупреждали:

— Вера, прячься, твой старик идет.

В то время я впервые начала хорошо зарабатывать в газете и смогла уже существенно помогать семье. А вскоре в моей газетной судьбе произошла крупнейшая перемена.

«Советский Юг» помещался во втором этаже большого дома на Дмитриевской улице, а на третьем этаже того же дома, как бы упрятанная за многими дверями и проходными комнатами, помещалась маленькая редакция краевой крестьянской газеты «Советский пахарь». Иногда из тех проходных комнат выходили сотрудники, здоровались, я отвечала на приветствия, но мы ничего друг о друге, в сущности, не знали и связаны не были ничем.

И вот стал выходить оттуда и приветливейшим образом здороваться маленький сухонький старичок, чуточку прихрамывавший на ходу, обросший чистенькой седой щетиной, с таким добрым и приветливым взглядом, что радость была на него глядеть.

Встречались мы этак несколько раз, здоровались, и он себя назвал:

— Яковлев Полиен Николаевич, бывший сельский учитель, а ныне работник «Советского пахаря».

А потом вдруг задал вопрос:

— А вы довольны вашей работой в «Советском Юге»? Не скучно вам?

— Что вы,— сказала я,— сплошное веселье.

— Я вам хочу предложить кое-что повеселей,— сказал он.— Крайбюро юных пионеров предполагает открыть новую пионерскую газету, и я буду ее редактировать. Идите ко мне секретарем редакции, мы с вами знаете какие закрутим дела!

— Да ведь такая газета уже есть,— сказала я,— и я — ее секретарь.

В самом деле, в Ростове существовала маленькая газета под названием «Ленинские внучата». Издавали ее крайком комсомола и Общество друзей детей. Первый осуществлял идейное руководство, а второе давало деньги. Редактором был Михаил Глейзер, он же редактор юношеской газеты «Молодой рабочий», а меня он включил в штат в качестве швеца, жнеца и в дуду игреца. Я — наряду с работой в «Советском Юге» — организовывала пикоров — пионерских корреспондентов, собирала и правила заметки, выпускала газету. Во всем мне помогали детишки-пикоры, вплоть до того, что они на саночках привозили из типографии отпечатанный тираж, и раздавали газету подписчикам, и принимали подписку.

— Нет,— сказал Полиен Николаевич,— это не такая газета, какая нужна детям. У нас будут сотни тысяч подписчиков, и писать в газету будут все дети, сколько их есть на Северном Кавказе.

И я поверила ему, и пошла секретарем в обновленную газету «Ленинские внучата», и никогда об этом не пожалела. Он отвоевал для нашей редакции отличную светлую комнату с балконом, он мгновенно собрал в эту новую редакцию множество новых людей — педагогов, ученых, детских библиотекарей, поэтов, вожатых, и кого-кого у нас не было, и все писали нам статьи всяк по своей специальности, и отвечали на вопросы читателей, а вопросы эти так и хлынули, едва мы выпустили два или три номера нашей газеты. И карикатуристы у нас появились, и бедовый раешник (его сочинял сам Полиен Николаевич), а писем пошло столько, что очень скоро Полиен Николаевич сказал:

— Верочка, нам вдвоем с этим потоком не справиться, возьмем-ка технического секретаря.

И в редакции появилась рыжая Люба Нейман, спокойная и педантичная, словно специально созданная для того, чтобы ни одно ребячье письмо не терялось и не оставалось без толкового и скорого ответа. А еще через сколько-то времени Полиен Николаевич сказал так:

— Дорогие мои, все это хорошо, но мало, мало! Надо взбудоражить ребят, надо их активизировать. Вот возьмем-ка да объявим конкурс на лучшие умелые руки, вот тогда увидите, что получится.

И мы, то есть газета, объявили этот конкурс. Мы выпустили и разослали по всему краю призывы, чтобы ребята-школьники присылали на этот конкурс все сделанное их руками — модели машин, рукоделия, рисунки, игрушки. Единственное было условие, чтобы работы эти были выполнены самостоятельно, без помощи специалистов. Наше начинание поддержали широко и щедро, так что мы могли объявить хорошие премии за лучшие экспонаты.

Бедная Люба Нейман! Теперь ей некогда было отвечать на письма. С утра до вечера она распаковывала посылки, приходившие в редакцию. Тут были и модели, и игрушки,

и рукоделия, и всякая всячина. В том числе тропические растения, выращенные трудолюбивыми детьми в комнатных условиях, мудреные радиоприемники (один, помню, был сделан на карандаше), и нарядные куклы в национальных костюмах народов СССР, и чего-чего тут только не было! Под все эти экспонаты нам отвели хорошее большое помещение, и выставка наша пользовалась огромным успехом. Яковлев умел хорошо подать такие вещи. Лучших юных мастеров он выписал в Ростов, и они сами демонстрировали свои изделия. Результатом было то, что авторитет «Внучат» неслыханно возрос среди ребятни, а тираж их превысил на Северном Кавказе тираж «Пионерской правды» и «Ленинских искр».

Тем временем почти такой же подъем переживала оставленная П. Н. Яковлевым газета «Советский пахарь». Там дела шли отменно плохо, пока не демобилизовался из Красной Армии и не был назначен туда редактором некий Иван Макарьев, крестьянский сын, рязанский мужик, знавший деревню как свои пять пальцев.

Назначенный редактором в газету, на которую никто не хотел подписываться и которую приходилось распространять по сельсоветам чуть ли не в принудительном порядке, он начал с того, что заперся в одной из редакционных комнат и велел принести себе все письма, какие только имелись в редакции. Три дня он сидел и читал эти письма, а когда вышел из своего затвора, то уволил половину сотрудников, месяцами гноивших эти письма без ответа, и взял в штат трех новых работников: агронома, юриста и врача. Отныне к ним стала направляться большая часть крестьянских писем, и Макарьев сам читал их ответы.

Но этого мало, он мобилизовал в свою газету Бориса Олидорта. Олидорт, он же Оленин, был журналист несколько провинциальный, но безусловно способный, этакое бойкое перо, не претендующее на утонченность, но умевшее писать быстро и занимательно.

Макарьев позвал его и сказал:

— Сочините роман с продолжением. Чтоб печатать из номера в номер, чтоб герой был простой хлебороб, желательно наш донской казак, и чтоб читатель помирал от нетерпения, дожидаясь очередного номера.

Олидорт не ударил в грязь лицом, он сочинил роман «Приключения Петра Николаева», в точности такой, какого желал Макарьев. Этот Петр Николаев был донской казак, он сражался против немцев, попал к ним в плен, после множества приключений попал в Африку, а там уже

начался такой переплет со львами и крокодилами, что читатели, несомненно, обмирали, ожидая следующего номера, и Олидорт получал столько писем, что в редакции не знали, куда их девать.

Тираж «Советского пахаря» в кратчайшее время достиг неслыханной цифры.

Работала я много, имея штатную должность в редакции «Ленинских внучат» и будучи обязанной не реже раза в неделю давать подвал в «Советский Юг», а кроме того, и из других газет — «Трудового Дона», «Молодого рабочего» мне нет-нет давали какие-нибудь задания, так как считалось, что я пишу хорошо. Так выглядело, думаю, на общем, довольно-таки сером фоне. По-прежнему мне все мечталось о настоящей литературе, но до этого было еще ой как далеко. Написанные мной несколько рассказов, одна повесть и пьеса «Весна» ничего общего с настоящей литературой не имели...

В редакции «Ленинских внучат» у меня со всеми установились отличные отношения. П. Н. Яковлев относился ко мне почти отечески, с Любой Нейман мы очень подружились, деткоры-школьники приносили мне показывать свои стихи и рассказы. (Они тоже все без исключения собирались стать писателями.) С супругами Жак, Веней и Миррочкой, я сдружилась тоже. Из Ленинграда в Ростов приехал Володя Дмитревский, пионерработник, он стал работать в крайбюро юных пионеров и писать статьи для «Ленинских внучат». И с ним я подружилась, характер у меня в то время был компанейский, легкий. А тут еще возник у меня роман с Арсением Старосельским, секретарем редакции «Молодого рабочего».

25

МОЕ ПЕРВОЕ ЗАМУЖЕСТВО. РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ

Весной 1925 года я вышла замуж за Арсения Владимировича Старосельского.

Мы были, по существу, еще совсем детьми, хотя считали себя вполне взрослыми. Мы пускались в самые дерзкие дурачества, некоторые из которых можно было бы назвать более строго — почти хулиганством.

Чего стоила, например, наша отъявленная проделка с отцом Эмки Кранцберга, почтенным учителем.

Когда мы со Старосельским поженились, он повел меня

представить своему отцу. Это было в день еврейской пасхи, и вся обстановка этой трапезы, и квартира, и ее хозяин, и дама с черными усиками — все это описано в «Сентиментальном романе», так что повторяться я не буду. Был вкусный обед, пили за наше с Арсением счастье, а после обеда Эмка Кранцберг, бывший с нами, вдруг сказал:

— Ребята, мне это все понравилось. Теперь пошли к моему папке, и я ему тоже представлю Веру как мою жену.

Ни одному из нас, троих взрослых дураков, не пришло в голову, как глупа и неприлична эта затея. И мы прямиком отправились к бедному папе Кранцбергу, и Эмка ему сказал:

— Папочка, поздравь меня, я женился, и вот моя жена Вера.

Старик умилился и поздравил нас и потом напоил чаем в своей холостяцкой комнате, обставленной гораздо интеллигентней, чем квартира старика Старосельского, и только все огорчался, что не может нас ничем «одарить» (он так и произносил это слово) и что ему бы очень хотелось нас «одарить», потому что мы такие молодые и неустроенные.

Он не догадывался, что мы прежде всего были идиоты, а уж потом молодые.

А потом настала расплата. Арсений обожал музыку, и мы с ним ходили на все сколько-нибудь стоящие концерты. И папа Кранцберг оказался обожателем музыки, и тоже ходил на все концерты, и неизменно видел там меня с Арсением. И однажды, не выдержав, подошел к нам и спросил напрямик:

— А где Эмка?

После чего я и сказала Эмке:

— Изволь сказать старику правду, я больше не хочу разыгрывать эту комедию.

Эмка сознался старику во всем, и тот великодушно простил нас и даже что-то такое подарил сыну — «одарил», по его выражению, сказавши при этом: «Ну да, вы еще так молоды, потом это у вас пройдет».

Он был прав: прошло без остатка, даже вспомнить об этом сейчас так странно...

Поженившись, мы со Старосельским поселились в крохотной комнатушке на Среднем проспекте. Чтобы попасть в нее, надо было пройти через общую кухню. Остальные комнаты этой квартиры занимала татарская семья. Вообще все это громадное грязное подворье было заселено татарами. Наш сосед был возчик-ломовик. Вероятно, возчиками были и другие жители подворья, так как двор был заставлен телегами. На телегах лежали цветные подушки и пестрое тряпье, а между телегами — собаки. Впоследствии я пламенно оценила строчку Заболоцкого:

Валялись пышные собаки.

Собаки именно валялись, и они были именно пышные, лучше не скажешь. Я никогда не видела цыганского табора, ни раньше, ни позже, но тогда я считала, что наш двор с его задранными к небу оглоблями и полуголыми детишками, ползающими по цветным подушкам, похож на табор, особенно когда светила луна.

Я боялась собак, они лаяли и бросались на входивших во двор.

У татар было по нескольку жен. Жены ссорились между собой, перебранка слышалась из всех углов. Однажды я видела пробегавшую через двор женщину с исцарапанным, окровавленным лицом. Я очень боялась нашего двора.

Жену соседа звали Катерина Федоровна. Она целый день крутила в кухне мясорубку и потом жарила большие котлеты из конины. У нее были две девочки: Асхаб и Магира, очень красивые, особенно Асхаб, мне казалось, что такою должна быть девочка Дина из толстовского «Кавказского пленника».

Кстати, об этом сочинении. Я люблю его с детства и ставлю несравненно выше «Кавказских пленников» Пушкина и Лермонтова. Мне представляется, что в один прекрасный день старик, рассердясь, сказал: «Мальчишки, что они знают о кавказском пленнике? Я напишу „Кавказского пленника“». И написал же!

Замужество за Старосельским очень меня изменило. Даже тогда я замечала в себе эти перемены.

Муж мой немедленно начал меня перевоспитывать в духе материализма и атеизма. Я читала «Капитал», Энгельса, Каутского. «Капитал» давался мне каторжным трудом, поэтому я должна была читать его вслух, а Арсений комментировал и объяснял.

Духовной пищей моей стал главным образом Маяковский.

Арсений его обожал и знал наизусть, он мог читать мне его непрерывно, особенно «150 миллионов». До сих пор не люблю эту поэму, особенно почему-то строчку: «Кальсоны Вильсона не кальсоны — зефир».

Как и Семка Городницкий в «Сентиментальном рома-

не», Арсений сам выработал себе гулкий бас для того, чтобы эффектно читать Маяковского.

Конечно, у Маяковского мне нравилось многое, да и вообще много и от Арсения переняла и полезного, хорошего: он учил меня говорить правильно, отучал от ужасного ростовского жаргона, прививал вкус к современной литературе, к музыке. Он окружил меня людьми более развитыми и интересными, чем те, среди которых я жила до него.

Но иногда я все же взрывалась. Помню, как-то привел Арсений одного своего товарища. Очень располагающий, приятный был человек. Но только, едва придя, он с места принялся читать «150 миллионов». Я вскочила и сказала: «Вы что, дуэтом будете теперь читать? Хватит с меня и одного декламатора». Оба они смутились, даже испугались. Потом шептались за дверью — конечно, обо мне,— а я плакала. Мне было жалко себя и жалко Арсения, что на его долю выпала такая отсталая, несознательная жена, а не Ляля Орлова, которую он любил до меня.

Ляля Орлова была дочерью крупнейшего офтальмолога профессора Орлова. Он был так же знаменит, как позже профессор Филатов в Одессе. В клиническом городке была глазная клиника его имени. Лялю Орлову воспитывали француженки-гувернантки, она была настоящая тонная «барышня», но, подросши, вступила в комсомол, стала носить кожаную куртку, и буденовку с красной звездой, и кобуру с револьвером у пояса. Куртку и буденовку она купила на толкучке, там можно было купить все — от самодельных папирос до именного оружия.

Из-под буденовки разлетались прямые, легкие русые волосы и смотрели веселые зеленоватые глаза, носик у Ляли был востренький, походка легкая, при всей странности своего облика она не отталкивала, была привлекательна.

Конечно, она гораздо больше подошла бы Арсению, чем я. Но она его не любила. Со мной она тоже не сблизилась, у нее был совсем другой круг знакомых и друзей.

Она вышла замуж за партийного работника.

Кое-что из ее биографии я вложила в биографию Марианны, одной из героинь «Сентиментального романа», а другой его героине — Жене Смирновой придала внешний вид Ляли Орловой. С бору да с сосенки собирался «Сентиментальный роман», мне он мил тем, что, перечитывая его, я погружаюсь в мир своей юности.

Первым и лучшим товарищем Арсения был Эммочка, Эммануил Кранцберг — Экран, как мы его звали сокращенно. Это был очень умный и хороший парнишка годами тремя моложе нас с Арсением. Отец его был учителем гимназии, Экран ушел от него, как многие комсомольцы-интеллигенты уходили в те времена от своих родителей. Уйдя от отца, он стал членом так называемой «четверки». В эту «четверку» кроме Экрана входили: Арсений Старосельский, Саня Гриценко и Боря Фатилевич.

Почему ушли от своих мелкобуржуазных родителей Старосельский и Фатилевич — понятно. Но почему оставил свою семью Саня, сын рабочего-железнодорожника? Бог его знает.

Все четверо ушли от своих отцов буквально на улицу, не имея никакой специальности.

Яша Фалькнер (в «Сентиментальном романе» — Югай) исхлопотал для них ордер на жилплощадь. По этому ордеру они поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна.

Экран, Эммочка, бывал у нас каждый день, я с ним очень подружилась. Он не старался изображать из себя железного коммуниста, как Арсений, не декламировал Маяковского и не считал, что меня нужно как можно скорее перевоспитать, а главное — он с таким искренним удовольствием ел то, чем я его угощала, не насмехался надо мной, как Арсений, когда я старалась покрасивее накрыть стол или ставила цветы перед зеркалом.

«Четверка» просуществовала довольно долго и еще дольше потом была предметом изустных комических рассказов, целого эпоса; частично я использовала его в «Сентиментальном романе» — например, кормление в кредит в кафе «Реноме инвалида», залихватские состязания — кто больше съест пирожных и др. Для тех, кому это важно, упомяну, что все ребята, входившие в «четверку», были в свое время в числе первых ростовских комсомольцев, и в городе их всех очень хорошо знали.

Арсений Старосельский был журналистом, работал в газетах Ростова, а затем Ленинграда, окончил КИЖ — Коммунистический институт журналистики. После нашего с ним развода был женат еще трижды, скончался скоропостижно в конце 1953 года в Ленинграде.

Кранцберг впоследствии, окончив рабфак, поступил в Донской политехнический институт в Новочеркасске, учился там вместе с моим братом Леонидом, вышел инженером, работал в Луганске, дальнейшая его судьба мне неизвестна, как и судьба Гриценко.

Боря Фатилевич основал в Ростове КОТ — комсомольский театр, впоследствии этот театр назывался ТРАМ, то есть театр рабочей молодежи, Боря был в нем главным режиссером, я помню несколько его спектаклей: «Клеш задумчивый», «Дружная горка», «Чужой ребенок». Он был талантлив.

Поставил он в начале 30-х годов и одну из моих первых пьес — пьеса была вполне ученическая, бестолковая и неряшливая, написанная под впечатлением «Поднятой целины» Шолохова, но Боря и из нее сумел сделать неплохой спектакль.

Он был убит на фронте во время Великой Отечественной войны, как и Гриша Кац и многие другие мои старые товарищи.

Все это были друзья Арсения Старосельского, и они очень скоро стали моими друзьями; они часто приходили к нам, главным образом в воскресные утра, потому что в эти утра мы их кормили роскошными завтраками, так уж как-то повелось.

Арсений был лакомка и следил за тем, чтобы у нас не переводилась обильная и вкусная еда. Каждое воскресенье он сам отправлялся с кошелкой на базар и возвращался с грузом роскошных яств: свежей икры, копчушек, фруктов, сливок. Приходил Экран, мы завтракали втроем. Наевшись до отвала, пили какао, и кто-нибудь из парней говорил:

— Какао освежает.

— Теперь съедим дыню,— говорил другой,— дыня освежает еще лучше.

«Освежались» дыней, потом копчушками, потом редиской или молодой картошкой с огурцом. И так, при тогдашних наших аппетитах, освежались чуть не до вечера.

Эти наши лукулловские завтраки долго потом вспоминали Старосельский и Кранцберг. В годы войны, в Перми, истощенный, больной дистрофией Старосельский говорил: «А помнишь, как мы когда-то ели?»

Почему же было не есть? Оба мы зарабатывали неплохо, первоклассной еды было полно и в магазинах, и на рынках, аппетит был молодой, волчий.

Он (аппетит) стал у меня хуже, когда я почувствовала признаки беременности.

Начиналась новая эра — подготовка к материнству и само материнство.

Я ждала его радостно, и все мои близкие — тоже.

Почему-то они были уверены, что родится девочка.

И заранее приготовили имя — Наталья. Я его приняла, и люблю это имя — может быть, из-за Наташи Ростовой.

Мы с Арсением зарегистрировались в загсе. Я пошла к Розалии Елеазаровне Собсович.

Эта Розалия Елеазаровна была старая, опытная акушерка. В годы нэпа она сколотила артель и под маркой этой артели открыла малюсенькую гинекологическую лечебницу.

Так как в артели были главным образом молоденькие неопытные медсестры, то, понятно, главой лечебницы была Р. Е. Собсович, и ее там все боялись как огня.

Завела она образцовый порядок и чистоту, помешана была на гигиене.

Всех троих моих детей я родила в этой крохотной уютной больничке, где детей не отбирали от матери, где было прекрасное обслуживание, прекрасное питание и всегда были заняты все койки в трех палатах.

Летом 1926 года мы поехали в рыбацкую слободку Маргаритовку на Азовском море, против Таганрога. Мы поехали туда втроем, с Леничкой, моим братом. Наняли две крохотные комнатки в рыбацкой хате и тоже мило провели лето, и чем-то эта Маргаритовка (она описана в «Сентиментальном романе» как место убийства Андрея Кушли) была моему сердцу ближе и приятней, чем субтропический Сочи, где мы были за год до этого, с его яркими красками и курортной публикой.

Пожив в Маргаритовке больше месяца, пустились мы домой. Наняли баркас (он вез в город свиней на продажу), сели, поплыли. Было необыкновенно тихое, голубое, прелестное августовское утро. Ни малейшего ветерка, баркас не трогался с места.

Не знаю, с чего Арсению вдруг вздумалось свистеть. Он имел абсолютный музыкальный слух и обладал способностью замечательно точно и артистично насвистывать любую пьесу, включая сложнейшие симфонии. Ему даже говорили, что он может этим способом зарабатывать, выступая в мюзик-холле.

Но когда он что-то очень красивое (кажется, Шопена) засвистел на баркасе, хозяева баркаса выразили самое бурное негодование. Они его ругали и спрашивали, как у него хватает совести делать такие вещи и неужели ему самому жизнь не дорога, а один молодой рыбак даже предложил вышвырнуть свистуна в лиман. Это убедило Арсения, и он замолчал.

И тут налетела буря. Она помчалась на нас высокими,

как дома, волнами с закручивающимися пенными верхушками. Воздух свистел, море громыхало, парус хлопал. И Леничка и Арсений мгновенно заболели морской болезнью. В трюме неистово визжали свиньи.

Что делалось на лимане! Это описал Э. Багрицкий в своем «Арбузе»: «Прет на рожон Азовского моря корыто». Позже мы узнали, что это был отголосок страшного шторма, вызванного норд-остом на Черном море.

Тогда мы не думали, чего это отголосок. Нас подбрасывало и швыряло вниз. Нас осыпало брызгами. Мы вымокли и продрогли.

Так прошло два часа, а потом наш баркас был подхвачен на гребень волны и со страшной скоростью помчался на таганрогский мол.

— Все к черту,— сказал Арсений,— это все.

А я увидела людей на молу. Они спускали моторку. Они смотрели на нас. Один помахал нам рукой. Я поняла: ничего не все, ничего не к черту.

Моторка помчалась нам навстречу, расстилая по лиману пенные седые усы. Мы перебрались в нее. Сразу стало спокойно на душе. С мола нам бросили канат. Мы поднялись по мокрым каменным ступеням.

Таганрог!

В Ростове нас ждала печальная весть: пока мы прохлаждались в Маргаритовке, умерла наша няня Марья Алексеевна. Врачи определили у нее рак желудка. Она отказалась от операции.

Ее похоронили на нахичеванском городском кладбище. Мы с Леничкой пошли на ее могилу — отнесли цветочков, поплакали. Невыразимо одиноким выглядел деревянный белый крест, когда мы уходили. Невыразимо грустно было в доме.

Но уже из всех сил ворочалась у меня под сердцем моя Наташа, уже шилось ей приданое, и радостным ожиданием вытеснялось горе.

«Да ты разродишься когда-нибудь?» — спрашивала у меня Люба Нейман.

9 сентября я наконец почувствовала боли и поняла: вот оно, пришло. Как приказывала Розалия Елеазаровна, я сейчас же, захватив все нужное, побежала к ней. Пешком: в трамвае она запретила — тряско, инфекция...

Пришла. С новой робостью позвонила у знакомой двери. Мне отворила молодая сестра Франциска: «А, это вы!..»

Я приняла ванну и легла на указанную мне кровать. К кровати придвинули большое мягкое кресло, покрытое

простыней, так что образовалась как бы кровать поменьше. На ней приготовили постель для ребенка. Странно было видеть эти приготовления для человека, который еще не родился.

На стене против меня висели большие круглые часы.

Схватки были пустяковые. «Ну,— подумала я храбро,— и это называют муками!»

Но схватки стали сильней. Они стали очень болезненны. Они стали ужасны.

Стрелки на часах двигались, но ничего не менялось. Только боль, боль опять и опять.

Подходила сестра Франциска и хорошенькая сестра Агнесса, появлялась сама Розалия Елеазаровна. Мне поправляли подушку, давали есть и пить, что-то говорили. Я смотрела только на часы.

Настал вечер. Все продолжалось без перемен. Несколько раз казалось, что я больше не выдержу. Мне сказали: «А вы покричите». Но я стеснялась кричать.

Настала ночь. В палату светил фонарь с улицы. Белые гардины падали вдоль окон призрачными складками. Уже не верилось, что когда-нибудь этому придет конец. Нет, это не могло кончиться... Ночь прошла. В окнах просияло утро. Принесли кофе с сухариком. И дальше двигались стрелки, но не изменялось ничего.

Между схватками я иногда засыпала — коротким сном, будто проваливалась куда-то. Но тотчас боль пробуждала меня.

И вдруг сквозь этот короткий сон я услышала металлический лязг и голоса. Я прислушалась и поняла, что они собираются вытаскивать мое дитя этими лязгающими щипцами. Я закричала, и все кончилось сразу.

Какое блаженство! Какое ни с чем не сравнимое освобождение! Какое счастье! Было 12 часов ночи с 10 на 11 сентября.

— Кто? — спросила я.

— Девочка,— ответила Розалия Елеазаровна.— Красавица.

Потом я узнала, что каждого принятого ею ребенка она называла красавцем. Но тогда я этого еще не знала и возгордилась.

Еще я спросила:

— Сколько пальчиков? — потому что в одной знакомой семье родился шестипалый мальчик, и в моем тогдашнем представлении это было неимоверное бедствие.

— Пять, пять,— сказали мне. Но я успокоилась только

тогда, когда сосчитала сама. На каждой ручке сосчитала и на каждой ножке.

Младенца искупали при мне и запеленали по всем правилам. Он не показался мне красивым: очень краснокожий, с довольно черными прямыми волосиками.

— Маленький индеец! — сказала я.

— Много вы понимаете! — сказала, обидясь, Розалия Елеазаровна.

— Она еще десять раз переменится, пока подрастет,— сказала сестра Агнесса.— Во-первых, у нее посветлеют волосы.

— Почему вы думаете?

— Потому что у нее светлые глазки.

И правда, глазки были не то голубые, не то серые.

Остаток ночи я провела в блаженном, глубоко переживаемом спокойствии. Мне уже неважно было, что вот опять светает, что приближается новый день. Мое дело было сделано.

Этот день принес, однако, новое переживание — я в первый раз ее кормила.

Не изумление, и потрясение испытала я, впервые увидев это чудо: как крохотный человечек, которого никто не учил, уверенно и мгновенно обнаруживает источник пищи и самозабвенно принимается ее поглощать, будто знает, что без нее не может быть жизни.

В этот момент сама будто рождаешься заново и все начинаешь видеть не так, как видела вчера. И понимаешь тысячи вещей, которых вчера не поняла бы нипочем.

Прежде всего мне захотелось, чтобы все, все мои пришли — сейчас же, сию минуту! — чтоб я могла им показать мою Наташу. Но вместо того Арсений позвонил в больничку по телефону — не скоро, только в середине дня, и ему сообщили о рождении дочери. А маму, брата и бабушку я увидела лишь через две недели, когда Розалия Елеазаровна наконец решилась меня выписать.

На этот раз она позволила мне ехать на извозчике, и я провезла по всему городу мое сокровище, завернутое в стеганое шелковое одеяльце.

Одеяльце было ярко-красное, потому что его покупал Арсений. Я должна была это предвидеть.

Если бы он мог, он и меня водил бы только в ярко-красном. Все другие цвета казались ему мещанскими.

Мы приехали на Средний проспект. Я внесла Наташу в наш татарский двор. В нашей комнатке за кухней ждала нас моя мама. Восторгам и расспросам не было конца.

Увы! Никто не сказал мне тогда, что опасно было везти ребенка на это подворье, в эту комнату! Да и кто мог сказать мне это тогда! Я спохватилась после того, когда чуть было не потеряла Наташу.

Двор был чудовищный по санитарному состоянию: эти телеги с тряпьем, эти собаки, эта непросыхающая грязь от мыльных помоев. Тетя Лиля упала бы в обморок, если б увидела такое

Первоначально в нашей комнатушке, когда мы в нее переехали, даже не было окна. Мы позвали каменщика, он сделал пролом в стене, и плотник вставил раму, и стекольщик вставил стекло. Правда, когда появилась Наташа, комната уже была светлой и солнечной и наша квартирохозяйка Катерина Федоровна говорила:

— Сколько лет живем в этой квартире и не догадались пробить окно.

Через несколько дней после того, как я привезла туда Наташу, случилось вот что.

Был вечер, Арсения не было дома. Я сидела за столом и читала. Вдруг рядом, в кухне, послышался грохот и звон разбиваемой посуды. Я приоткрыла дверь и увидела, что возле моей полочки с посудой стоит какой-то человек и делает очень странную вещь: снимает с полки одну за другой тарелки, чашки, кастрюли и швыряет об пол. Фаянс и стекло разлетались со звоном. Кастрюли грохотали, как весенний первый гром.

— Что вы делаете? — крикнула я.

— А вы кто? — спросил человек.

— Как это кто? — спросила я.— Я здесь живу.

— Это ваша посуда?

— Ну да, моя!

— А Федька и Катька где? — спросил странный человек.

Я догадалась, что он имеет в виду наших соседей, ответственных съемщиков этой квартиры, Катерину Федоровну и ее мужа.

— Не знаю,— сказала я.— У себя, наверно.

— А где их посуда? — спросил он.

— Не знаю,— солгала я благоразумно, уже догадываясь, в чем дело.

— Это их цветы? — спросил человек и сам себе ответил. — Их!

И, взяв горшок с геранью, разбил его об пол.

Часом позже вернувшаяся домой Катерина Федоровна убирала с полу черепки и землю и горько жаловалась:

— Некультуриый человек. Как это так можно? Сначала узнай, чья посуда, а потом бей.

— Да кто он?

— Он двоюродный брат Федора. Они еще ребятами ссорились. Он, видишь, пришел нашу посуду бить. Он и не знал, что ты тут живешь. Ты не думай, он придет извиняться.

— Не надо,— попросила я.— Пусть не приходит извиняться.

Мы наняли няню. В определенные часы она привозила Наташу ко мне в редакцию, и я кормила в комнате уборщицы Ивановны.

А один раз в деиь я ездила кормить домой. Так и перебивались.

Потом появилась у нас новая няия: могучего сложения девушка из орловской деревни. Звали ее Варя. Когда Наташа стала говорить, то называла ее Аба.

С первого дня почувствовалось, что в семью вошел милый, родной человек. Она быстро привязалась к Наташе и нам с Арсением стала как сестра.

Она была чистоплотна, проворна, исполнительна: золотые руки, золотое сердце.

Теперь я спокойно уходила на работу, уверенная, что за Наташей будет должный уход и присмотр.

Но летом 1927 года Наташа вдруг тяжело заболела. За одни сутки ребенок, еще накануне розовый и налитой, как яблочко, превратился в скелетик.

Мама пригласила доктора Гринберга, имевшего репутацию лучшего детского врача в Ростове. Он посмотрел, расспросил и не скрыл от меня опасности.

Дал какие-то лекарства, предписал диету. Но Наташа продолжала хворать и таяла с часу на час. Каждый раз, беря ее на руки, я ощущала, что она становится все легче.

Спасение, как во многих случаях жизни, пришло от мамы. Она сказала:

— Я позову Настю Нахманович.

— Кто такая? — спросила я.

Выяснилось, что она училась в гимназии вместе с моей мамой, а теперь — детский врач, заведует каким-то детским лечебным учреждением.

Пришла пожилая женщина — будь благословенна ее память! — и сказала:

— Очень тяжелый случай. Интоксикация всего организма, пища не усваивается, ребенок погибает от истощения. Прежде всего надо срочно переменить климат. Вы

сегодня — понимаете, не завтра, а сегодня! — должны вывезти ее — скажем, в Кисловодск.

— Ну что ж! — сказала мама.— Надо так надо!

Разговор этот был утром, а перед вечером того же дня мы уже сидели в поезде, уходящем на Минеральные Воды.

Не стану описывать эту поездку, она была ужасной: сидеть ночью в вагоие и кормить грудью угасающего ребенка, наблюдать, дышит ли ои еще, и думать: «Ну ладно, ну приедем в Кисловодск, а дальше-то что?..»

Но все сложилось счастливо. Едва мы вышли в Кисловодске, как к нам подошло несколько человек, предлагая комнаты. Мы выбрали одну женщину, показавшуюся нам самой симпатичной. Она отвела нас в свой дом и, узнав о нашем горе, посоветовала детского врача. Мама отправилась за ним сейчас же и вернулась вместе с ним. Я же попросила у хозяйки бутылок с горячей водой, чтобы согреть уже застывавшие ножки Наташи. Бутылки явились сразу же. Они были такие горячие, что больно было держать их в руках. Я завернула дочкины ножки в простыню и через простыню старалась отогреть их бутылками. Но ножки оставались ледяными. На счастье, явился доктор. Как мие жаль, что я не помню его фамилии, знаю только, что ои был из Москвы, в Кисловодск приехал отдыхать. Он подтвердил, что положеиие отчаянное, но сказал, что бороться еще можно. Дал пузырек с каким-то лекарством и велел дать одну каплю этого лекарства тотчас по его уходе, а другую — вечером. После каждого приема лекарства дать выпить чайную ложечку чая без сахара и без молока, затем трое суток не давать ничего, даже груди. А через трое суток дать супу (рассказал подробно, как его сварить) из куриных крылышек с протертой зеленью — картофелем, морковью и стручковым горошком.

Я пришла в ужас, но он велел точно выполнить все его предписаиия.

Как только он ушел, я попросила у хозяйки немного чаю и дала Наташе одну каплю оставленного доктором лекарства. Не знаю, что это было. Может быть, что-то для укрепления сердца.

Надежда ожила во мне, когда вслед за приемом лекарства понос и рвота прекратились совершенно. Вечером я дала вторую каплю. Ночь прошла спокойно, иожки бедного моего ребеика согрелись. Только под утро оиа запищала, прося есть, а потом кричала голодным криком весь следующий день. Я железно выдержала характер

и в тот день, и в два последующих. А потом мама купила на базаре куриные потроха и овощи и сварила суп.

Господи, как Наташа его глотала! Как она была голодна! Как не только мы, но и наша хозяйка обливались слезами, глядя на нее!

Мама побежала благодарить нашего спасителя доктора, а я завернула спасенную дочку в легкое пикейное одеяльце и вынесла на воздух.

Она стала поправляться не по дням, а по часам, исхудавшее тельце снова налилось, опять появились ямочки на локотках и коленках. Чудесный горный воздух оживлял ее.

Почти месяц мы прожили в Кисловодске. Конечно, все было направлено на то, чтобы исцеление больной совершалось как можно скорее и полнее. Ничего для укрепления собственного здоровья мы с мамой из Кисловодска не извлекли, нам это и в голову не приходило. Даже от экскурсий и прогулок, на которые нас приглашали, мы отказывались.

Недели через две кончился мамин отпуск, и она уехала. Мы с Наташей остались вдвоем. Болезнь ее не возобновлялась, и жизнь наша текла спокойно. А еще через две недели приехал Арсений. Не пережив вместе с нами Наташиной болезни, он был склонен считать наши волнения напрасной паникой и к рассказам моим отнесся с безучастностью, которая меня поразила. Я никак не могла ее понять, потому что в это страшное для меня время даже совершенно чужие люди относились к нам с живым участием и желанием помочь.

И еще одно мне не понравилось: Арсений объявил, что он не хочет, чтобы его дочь звали мещанским именем Наташа, пусть ее зовут Аля, это гораздо современней и звучнее. Я не была с ним согласна, мне вспомнилась тетя Олимпиада Ивановна, требовавшая, чтобы ее называли Лилей, и я впервые наговорила мужу много злых и горьких, наполовину несправедливых слов. И хотя, по обыкновению, моментально осудила себя за горячность и попросила прощения, но трещина явственно наметилась в наших отношениях, и оба мы стали нетерпеливо подумывать о возвращении в Ростов.

Когда мы вернулись, мама сказала, что ни за что не допустит, чтобы мы с ребенком продолжали жить на нашем кошмарном подворье и чтобы мы жили у нее. Она отдала нам комнату, где когда-то была наша с Леничкой детская. Мы перевезли туда наше имущество и зажили большой

семьей. Мама не могла не видеть перемены в наших с Арсением отношениях, и это ее, понятно, беспокоило.

А я раздражалась против него все больше. Мне стало казаться, что он думает только о себе, только себя любит. Меня возмущало, что всех моих близких он считает мещанами, а о себе думает, что он подлинно новый человек, победивший все пережитки прошлого и всегда поступающий в истинно пролетарском духе.

Меня это приводило в негодование. Мне вдруг стало с ним очень скучно. Прежде я рвалась домой, теперь же, когда рабочий день подходил к концу и в редакции делать было уже нечего, я с тоской думала, что вот опять надо идти домой.

Было ясно, что брак наш изжил себя и союз скоро рухнет. Мы уже просто скучали друг с другом. Чтобы не оставаться вдвоем, зазывали гостей, но ведь гость посидит да и уйдет, и я видела, что все близкие друзья — Экран, Володя Дмитревский — понимают, как у нас неблагополучно, и ждут нашего разрыва.

В этот-то момент и появился на моем горизонте Борис Вахтин. Володя Дмитревский еще прежде называл это имя и говорил: «Вот он бы тебе понравился».

Как-то вечером возвращались с Арсением откуда-то домой, видим — у наших ворот стоит Дмитревский с каким-то высоким человеком в белой косоворотке.

— Знакомьтесь, ребята,— сказал Дмитревский,— это Борис Вахтин.

Я поздоровалась и вошла в калитку, а Арсений без всяких предупреждений и предисловий стал читать асеевского «Черного принца».

Я вернулась взглянуть, как новый знакомый слушает стихи. Мне понравилось, как он это делал.

На другой вечер Дмитревский опять пришел с Вахтиным, мы пили на террасе чай с кизиловым вареньем, которое я сварила. Я научила Вахтина заедать брынзу кизиловым вареньем, и он сказал, что это очень вкусно, и похвалил варенье, и попросил Арсения еще почитать какие-нибудь стихи.

С тех пор Вахтин стал у нас бывать каждый вечер. Он очень сердечно отнесся к Наташе, нянчил ее, забавлял, играл с нею.

Теперь я опять шла домой с радостью. Я знала, что увижу там Бориса. Или он встретит меня у ворот, или я увижу его сидящим на террасе или в нашей комнате. А случалось, что он был в кухне — разводил примус и ста-

вил на него чайник. Ои быстро стал в доме своим человеком.

Так как среди наших приятелей был еще другой Борис — Фатилевич, то мы стали называть Вахтина заочно Боря Длинный, а Фатилевича — Боря Короткий: тот был небольшого роста.

Вахтин был из Ленинграда, как и Дмитревский. Они там вместе работали в пионерской организации. Потом вместе уехали в Ставрополь, где Дмитревский был, если не ошибаюсь, тоже на комсомольской работе, и Вахтин заведовал детдомом. Потом Дмитревский поехал в Ростов и стал заместителем председателя крайбюро юных пионеров, Вахтин же приехал в наш город лишь осенью 1927 года.

В ту осень меня вдруг потянуло писать, сочинять. Я стала набрасывать какую-то повесть для детей. Подал мне пример наш редактор П. Н. Яковлев, он в то время писал свою большую детскую книгу «Первый ученик» и читал нам главы из нее. Я тоже прочла ему и Любе Нейман главу или две своего сочииения. За мной то же сделал кто-то из деткоров, кажется, Сережа Деревянченко. Мы все нашли, что он очень талантлив. То был головорез-мальчуган из так называемой Нахаловки, ростовской окраины, славившейся своими хулиганами.

Я пригласила его почитать у меня дома, позвала на чтение Дмитревского и Вахтина. После Деревянченко читали у меня другие деткоры — Жозя Коген, Жора Брегман, еще кто-то. Как-то само собой сложилось, что каждую неделю у нас стала собираться маленькая группа молодых людей, намеривающихся посвятить себя литературе. Дмитревский и я читали прозу, Арсений — стихи. Дмитревский придумал для группы название: ГМГ — группа молодых гениев. Были в ней: Георгий Брегман, Борис Вахтин, Сергей Деревянченко, Владимир Дмитревский, Иосиф Коген, Исай Покотиловский, Арсений Старосельский.

Мы читали, потом пили чай с простыми сухарями. Сухарей уходило неимоверное количество: народ был молодой, здоровый.

Сейчас большинства этих людей уже нет на свете. А тогда мы только вступали в подлинную деятельную жизнь.

Своими творениями мы доставляли друг другу радость. В живом соревновании крепло наше желание быть писателями.

Большинство молодых гениев жило в Ростове. Мы

с Арсением ходили их провожать через «границу» — поле, отделявшее Нахичевань от Ростова.

Как-то на Садовой у Крепостного переулка остановила нас группа каких-то парней и пыталась завязать драку. Молодые геиии драться не хотели, некоторые из них разбежались, Дмитревский, как работник крайкома комсомола, пытался (безуспешно) вызвать милицию, и только маленький Сережа Деревянченко, истый сын бесшабашной Нахаловки, с готовиостью и знанием дела ринулся в драку.

На другой день я должна была по поручению редакции проводить какое-то деткоровское совещание в одном из ростовских клубов.

Провела я совещание, выхожу на улицу, меня останавливает незнакомый человек: долговязый, несуразно одетый — длинный плащ с капюшоном, на глазах синие очки, длинные белокурые волосы прядями спускаются на плечи.

Я даже отступила. Но незнакомец спросил:

— Товарищ Панова, вы меня не узнаете?

И я по голосу узнала Вахтина.

— Что за маскарад? — спросила я.

Оказалось, что вчерашние драчуны его таки поколотили, в частности посадили ему под глазом огромный синяк. Поэтому, отправляясь нынче сюда, в клуб, где, как он знал, он встретит меня, он надел синие очки. А потом решил надеть и чью-то старую тальму, чтобы я его не узнала.

— Ну, и на кого я похож? — спросил он.

— На народовольца,— сказала я первое, что пришло в голову.

— Правильно,— сказал он.

— А глаз болит? — спросила я.

— Нет,— отвечал он,— глаз я вылечил сразу, на месте: просто приложил его к фонарному столбу, столб железный, холодный — помог.

Я хотела было сказать ему, чтобы он приходил к нам, но подумала: «Нет, пусть сам придет, без приглашения»,— и он пришел в тот же вечер.

Мне уже было ясно, что без него мне дом — не дом, и я — не я, и жизнь — не жизнь. Но о разрыве с Арсением я даже подумать боялась. Мне казалось, что это бесчеловечно, невозможно — отнять ребенка у отца. Потому что я ни за что не рассталась бы с Наташей.

И вдруг не кто иной, как Эмка Кранцберг, Экран, старый и закадычный товарищ Арсения, задал мне вопрос:

— Скажи, Вера, ты еще долго будешь тянуть эту лямку с Сенькой?

Я спросила.

— То есть как это?

— Да так,— сказал Эмка.— Тебе он давно гиря на ногах, как будто я не вижу. Ты давно его переросла.

— Эммочка,— сказала я.— Я не могу так рассуждать. Что значит «переросла»? Я этого не понимаю. Что же, потвоему, бросить его?

— Не то слово,— сказал он.— Не бросить, и бежать без оглядки, если хочешь чего-нибудь добиться. С ним ты пропадешь.

— А он пропадет без меня,— сказала я.

— Ничего,— как-то странно произнес он.— Не пропадет. С тобой ему тоже уже трудно дышать.

Понятно, я не сделала из этого разговора никаких выводов. Все оставалось по-старому. Зачем было устраивать в своей жизни такой переворот, когда я не знала даже, может ли Борис меня любить. (Намеку Кранцберга, что Арсений меня разлюбил, я не поверила; ужасно я тогда была самоуверенная дуреха.)

Развязка пришла скоро.

В декабре 1927 года я сильно заболела: у меня сделался тяжелый приступ аппендицита. Вызванный врач поставил неверный диагноз, и, вместо того чтобы срочно оперировать, меня оставили жить с моим аппендиксом.

Второй приступ, в январе 1928-го, был гораздо более жестоким и напугал семью. Пригласили врача из клиники, знаменитого нашего хирурга профессора Н. А. Богораза.

Он сказал, что лучшее время для операции упущено, что сейчас оперировать нельзя, так как возник гнойник, но что, безусловно, нужно поместить меня в клинику, а уж там определят момент, когда будет возможно хирургическое вмешательство.

Он сказал, что болезнь эта сложная и опасная и что в клинику надо положить меня завтра же.

В тот вечер, как всегда, собрались у нас ребята. Были Экран и Дмитревский, пришел и Боря Фатилевич с женой. Я смотрела на них печально: в тот вечер они все были мне не нужны. Погоревав, я подозвала Экрана и шепнула ему:

— Эммочка, найди мне Бориса Вахтина, я хочу и с ним попрощаться.

Уж не знаю где, но добрый, милый мой Экранчик нашел Вахтина — через полчаса они вместе входили в комнату.

— Боря,— сказала я,— завтра меня увезут в больницу, я хотела с тобой попрощаться.

А он сказал вдруг: «Деточка моя», и это получилось не прощанье, а словно бы встреча после разлуки.

Никогда Арсений не говорил мне таких слов. Он бы, наверное, счел их мещанскими.

С каким просветленным сердцем я на другой день ехала в клинику! Каким сиянием с того вечера была окрашена каждая моя минута! Как твердо я знала, что Борис в первый же день придет меня проведать, и он пришел! И никогда меня не обманывала моя вера в него! И если впоследствии мне пришлось заплатить за эту любовь величайшим горем, то было за что платить!

В клинике профессора Богораза меня сначала положили в большой, густо населенной палате, где мне сразу прожужжали уши о всевозможных ужасах. Как раз накануне в изоляторе кто-то умер от гнойного аппендицита, и мать умершего прибежала в нашу палату с криками: «Зарезали, зарезали!» Но потом Володя Дмитревский ухитрился устроить так, что меня перевели наверх, в изолятор, в маленькую палату, где кроме меня помещалась еще только одна больная.

При этом Володя использовал не столько свой служебный авторитет работника крайкома комсомола, сколько какое-то свое собственное недомогание, посоветоваться насчет которого он отправился к самому профессору Богоразу. Профессор заинтересовался этим недомоганием, а попутно Володя и выхлопотал для меня, как для работника пионерской газеты, палату в изоляторе, и заодно и пропуск для себя, дающий право навещать меня каждый день.

Вначале он пользовался этим правом, потом передал пропуск Борису, а потом дела мои приняли такой оборот, что и мама, и Леничка, и Арсений, и Наташа со своей няней Варей беспрепятственно приходили ко мне когда хотели, а мама от меня почти не отходила.

6 февраля мне сделали операцию — благополучно удалили аппендикс, все шло хорошо и вдруг пошло очень плохо — началось гнойное воспаление брюшины. Я не понимала, что значит, когда температура утром 35°, а вечером 41°, но я очень хорошо понимала, почему так строг и холоден вдруг стал со мной мой лечащий врач доктор Геккер, прежде отечески ласковый ко мне, и почему, когда

меня теперь везут на носилках в перевязочную, то все встречные отводят глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом.

Взглядывая в зеркальце, я видела острый, как лезвие, чужой нос, а ногти иа руках моих стали лиловыми.

Вдруг, уже в середине марта, пришли за мной днем санитары [illegible] повезли в перевязочную. Я удивилась — перевязки в этот день не должно было быть — и подумала, что санитары ошиблись. Но в перевязочной стоял профессор со всей своей свитой, [illegible] по его знаку меня сразу положили на стол. Я сказала профессору:

— Николай Алексеевич, ну зачем меня еще мучить (перевязки были очень болезненны), ведь [illegible] все равно умираю.

Он не стал меня разубеждать, [illegible] только сказал:

— Но ведь я обязан сделать все, что от меня зависит, правда?

И тотчас я почувствовала запах хлороформа — над моим лицом очутилась маска. И проснулась [illegible] только утром следующего дня на своей койке. Проснулась от боли повыше колена — это мне вливали физиологический раствор. Оказалось, что профессор Богораз, не предупредив ни меня, ни моих близких, сделал мне операцию, которая одна могла меня спасти. Впоследствии, когда я уже поднялась, доктор Геккер говорил мне:

— Эта операция войдет в историю хирургии, он — отчаянная голова, но и талант же.

Я не знаю подробностей этой операции, знаю лишь последствия: перестала скакать температура, исчезли все зловещие признаки близкого конца, [illegible] стала неправдоподобно много есть.

Очень скоро [illegible] подошла к окну и увидела зеленые ветки сада и синее небо, потом вышла в коридор и пошла по клинике. Правда, при всем том [illegible] весила перед выпиской из клиники 36 килограммов.

Опять все приходили меня проведывать, и все поздравляли, [illegible] [illegible] чувствовала себя отмеченной милостью судьбы.

Через много, много лет, в 1950 году, в перечне лиц, награжденных Государственной премией, я услышала по радио имя профессора Богораза. В том же перечне было и мое имя, [illegible] была награждена за повесть «Ясиый берег». Я дала Н. А. Богоразу телеграмму, где были слова:

«Много лет назад в Ростове-на-Дону ваше умение, смелость и талант спасли мне жизнь».

Он тогда уже работал [illegible] Москве, в 1-м Медицинском институте. Многих спас Николай Алексеевич. Но, может быть, ему все-таки было приятно получить и мою телеграмму.

Между прочим, когда я его узнала, он был инвалидом — обе ноги были ампутированы. Рассказывали, что несколько лет назад он попал под трамвай. Его доставили в клинику его имени. Он распорядился, чтобы ноги были немедленно ампутированы, и сам руководил операцией, лежа под ножом.

26

ЛУЧЕЗАРНОЕ ВИДЕНИЕ МОЕЙ ЖИЗНИ

Лучезарное видение моей жизни: идет мне навстречу по Богатяновскому Борис Вахтин (старший из имеющихся [illegible] могущих явиться Борисов Вахтиных).

Вл. Ив. Дмитревский написал в своей книге, что у Бориса Вахтина были большие голубые глаза,— это неверно, ты забыл, Володя: и не большие, и не голубые вовсе, [illegible] темные, зеленовато-серые, чуть косо поставленные, чуть-чуть косящие в спокойном состоянии, сильнее косящие в минуты раздражения, необыкновенно блестящие: казалось, свет преломлялся в них [illegible] отбрасывался обратно снопами.

Когда он улыбался, у внешних уголков глаз появлялись морщинки, лучики морщинок, белых на розовой коже.

Он легко краснел, все лицо заливалось нежным, девичьим румянцем. Все линии этого лица были легки и прелестны, несмотря на широкие скулы и (предмет его вечных терзаний) большие уши.

Мне кажется, что комната светлела, когда в нее входил этот очень высокий человек с парадоксальной смесью скандинавских и монгольских черт лица и с бледно-золотистыми волосами, прядями откинутыми назад.

Когда я поняла, что люблю его, что он любит меня,— рука моя тянулась к этим волосам — погладить, коснуться. Но даже мне он этого не позволял, краснел, смущался, запрокидывал голову.

До его гибели было еще почти 10 лет, [illegible] мы успели полюбить друг друга, пожениться, и у нас родилось двое сыновей, названных, по вахтинской семейной традиции, Борисом и Юрием, старший в 1930 году, младший в 1932-м.

В моей памяти он всегда жив и идет мне навстречу по Богатяновскому, и его волосы сияют на солнце нежным золотом, и порой мне кажется, что когда-то и его еще увижу таким...

Я уже писала о своей болезни и об операции, которую сделал мне профессор Н. А. Богораз.

После операции меня послали в Ейск лечиться грязевыми ваннами, и Борис приехал туда. Мы с Наташей и Варей жили в дачном пригороде, называвшемся Сады, снимали комнатку в домике старухи гречанки Вазео. Вокруг домика был абрикосовый сад. Каждое утро под деревьями земля была усыпана розово-желтыми абрикосами, опавшими за ночь. По договору их можно было есть сколько угодно, только для варенья и компота нужно было их покупать у хозяйки. Ее расчет был правильный — со второго дня ни я, ни Наташа уже и не глядели на абрикосы, а на третий день, слегка переболев, отвалилась от них и Варя.

А осенью мы вернулись в Ростов, я развелась со Старосельским и стала женой Вахтина.

Наташа к нему еще в Ейске привыкла и привязалась, так что и с этой стороны все обстояло хорошо. Арсений, в сущности, радовался такому положению вещей, так как он тогда собирался жениться. В общем, не происходило никаких драм, ничьи сердца не были разбиты, ничьи жизни не были искалечены, а я была счастлива своей любовью к Борису и его отношением ко мне.

Попытки описать человеческую жизнь изо дня в день, не пропуская ничего, не удавались даже в самых высоких из известных нам случаев («Былое и думы»). Человеческий день складывается из столь многочисленных, из столь неинтересных для других лиц событий, что непрерывно держаться на этой мелкой воде невозможно. Поэтому в этих записях я упоминаю только о том, что особенной радостью либо особенным горем вдавилось в сердце.

Мой брат Леонид, четырьмя годами меня моложе, рос хорошим тихим мальчиком, не драчуном, не хулиганом. Наша мама радовалась на него. Он нормально окончил среднюю школу и мечтал поступить в Донской политехнический институт, находившийся тогда в Новочеркасске, на химический факультет. О том же мечтал наш приятель Эмка Кранцберг, Экран. Общая цель сблизила молодых людей, я замечала — к пользе для обоих. Невыносимо дерзкий Экран стал мягче, а наш Леничка как-то шире и тверже и в выборе книг для чтения, и в каждодневных своих поступках.

Чтобы поступить в Политехнический, Экран пошел учиться на рабфак. Леничка же готовился дома с помощью какого-то образованного соседа, знавшего математику и другие мудреные вещи.

Покуда я долечивалась после перитонита в клинике профессора Богораза, Экран окончил рабфак и подал документы в Политехнический. Подал и Леничка, но ему, как сыну служащей, было почти невозможно попасть в вуз, какие бы он при поступлении ни получил оценки. Так что я, в сущности, и не знаю толком, каким образом он все-таки попал в институт. Правда, не на химический, как ему хотелось, а на металлургический. Было это в 1928 году.

Прошло время. Я покинула клинику, была замужем за Борисом Вахтиным, ждала ребенка. Леничка продолжал учиться, присылал письма. По письмам было видно, что студенческая жизнь дается им с Экраном нелегко. Как-то мы с мужем съездили к ним в Новочеркасск, где они снимали комнату «от хозяйки», и собственными глазами убедились в трудностях этой жизни. А между тем я стала замечать, что у моей мамы и мужа день за днем портятся отношения. Первоначально испытывавшие друг к другу чувства симпатии и уважения, оба вдруг стали раздражаться по мелочам, вести себя так, будто они были людьми с разных планет, случайно встретившимися в какой-то точке мирового пространства. Я слышала, что между зятьями и тещами складываются такие отношения, но здесь оба были мне кровно близки, я не могла понять причины этих перемен и очень мучилась. Весной 1930 года Леничка написал нам, что уезжает на студенческую практику на Украину, в Енакиево, работать на домне. Нас сильно печалила разлука, но тут уж делать было нечего: было так необходимо, чтобы он окончил учение и вышел, как говорится, в люди. Но вот 28 мая, проснувшись и лежа в своей комнате, я вдруг услышала рядом, в маминой комнате, ее заглушенные крики: «Что же мне делать? Что же делать?»

Я выбежала к маме. Она молча подала мне телеграмму. Там было написано: «Приезжайте немедленно, Леонидом несчастье». Телеграмма была из Енакиева.

— Так что же мне делать? — спросила мама.

— Ну конечно, ехать,— сказала я,— вот сейчас и поедем вместе.

Но тут пришел дядя Володя, мамин брат, за которым успели послать (он жил близко, за углом). Они с мамой стали убеждать друг друга, что мне ехать никак нельзя,

потому что я жду ребенка, и что нас ждет в Енакиево — неизвестно. Болезнь это или несчастный случай, который легко мог быть тогда в горячем цехе?

Мне позволили только проводить их на вокзал, и я видела, как они, оба постаревшие и сгорбленные, идут по платформе к своему вагону. Я бросилась домой. Мне казалось, что там мне будет легче. Все вдруг на этих улицах стало такое чужое и далекое. А дома на рояле уже лежала вторая телеграмма: «Леонид умер похороны вторник».

Мне подумалось: «Они успеют». Но это не принесло мне утешения. Они вернулись на другой день после похорон. Леничка умер от воспаления легких. Через несколько дней студенты, хоронившие его, прислали маме копию надписи, которую они водрузили на его могиле. Мы стали жить дальше, спасаясь от отчаянья благодатной дребеденью текущего дня.

Все мы, даже маленькая Наташа, очень старались беречь мою маму, потому что она заболела тяжелой нервной болезнью. Я боялась, что эта болезнь не пройдет никогда. И словами, и мыслями мама ежеминутно возвращалась к своему горю, ни о чем другом просто не слышала. В это время все выводило ее из себя: шаги, удары детского мячика, легкий звон закрываемого окна.

К счастью, оказалось, что проходит и это. Даже быстрее, чем я надеялась. Как это ни странно, выручило веселое слово. Мама, несмотря на несчастья и порожденный ими пессимизм, всегда любила шутку, смешную историйку, хороший каламбур. Вот мы с Борисом, дядей Володей и присоединившимися к нам Экраном и Старосельским не отходили от мамы. Причем каждый выкладывал свои запасы шуток и анекдотов. И что же? Моя мама понемногу стала улыбаться, и скоро мы услышали ее знакомый открытый, какой-то доверительный смех, выражавший вот что: «Вы сами видите — я не хочу смеяться, и не могу смеяться, так зачем же вы меня так смешите?»

В 1930 году родился наш с Борисом старший сын. Роды опять были тяжелые, а меня уверяли, что вторые всегда бывают легче, и в муках я, как, думаю, все женщины, клялась, что никогда ни за что больше не буду рожать.

Сын родился крупным, в 3,5 килограмма, и отнюдь не красавцем. Да еще когда ему закапали чего-то в глазки, у него совершенно слиплись ресницы, только в щелочках проглядывало что-то голубенькое. Когда Борис позвонил из редакции, ему сообщили, что у него родился сын, и, по обыкновению, добавили:

— Красавец.

А через час Борис сам приехал в больницу и попросил показать сына. И когда увидел, то сказал:

— М-да!

Надо сказать, что он был совершенно уверен, что у него будет сын, и эта уверенность почему-то выводила из себя всех его товарищей по отделению «Комсомольской правды», где он тогда работал. И когда они услышали, что он звонит в больницу, то спросили:

— Неужели сын?

— Ну конечно, сын,— ответил Борис, и они очень рассердились, что не помешало им в тот же вечер явиться к нам с целыми снопами белых хризантем.

Борис работал в отделении «Комсомольской правды» заместителем заведующего, а заведующим был Володя Третесский. Через несколько дней после рождения сына отцу пришлось уехать в командировку в Москву. И что же, я изо дня в день видела, как хорошеет наше дитя, которое отец встретил таким разочарованным «м-да». Я с нетерпением ждала возвращения отца, чтобы предъявить ему это, как мне казалось, чудо, и не утерпела — телеграфировала, что наш сын неслыханно похорошел. Я боялась, что он мне не поверит, но была вознаграждена за все, когда, вернувшись и подойдя к ребенку, лежавшему на моей кровати, он сказал:

— Какой хорошенький!

Летом 1931 года мы с Борисом и с детьми (Наташей и Борей) поехали в Шишаки, село Полтавской области. Там Борис представил меня своей матери Марии Петровне Колтовской (по второму мужу) и ее старинной подруге Марии Владиславовне Кошевой, урожденной Коробко. Эти две Марии были подругами со времен института, где обе они воспитывались. Благодаря М. В. Кошевой семья Вахтиных знала и любила село Шишаки: у Марии Владиславовны там был домик, оставленный ей ее матерью, сельской учительницей. В домике были три комнаты и кухонька, а при домике — сад, огород и все, что полагается, любовно хранимое и ухоженное. И сама Мария Владиславовна, хозяйственная, опрятная, добрая, с ловкими движениями и вкусной полуукраинской, полурусской речью, очень была привлекательна.

Мать же Бориса, в прошлом красавица несколько итальянского типа (она была урожденная Арнольди), в то время еще была хороша собой и очень моложава, хотя ей было уже под пятьдесят.

Там прожили мы июль и август 1931 года, купались в Псле, дышали, радовались.

Осенью мы вернулись оттуда в Ростов, все было пошло по-старому, и вдруг Борис упорно заговорил о переезде в Москву.

Туда уезжал Третесский — служить в «Крестьянской газете», загорелось и Борису, он стал просить Третесского найти ему работу в Москве. Мне не хотелось, но когда Борис уехал (Третесский устроил его в многотиражку на завод «Электропровод») и написал мне, что у него есть комната и что он меня ждет, то, конечно, поехала и я. Ехала с каким-то смутным страхом (до этого я только раз, осенью 1931 года, была в Москве), но поначалу все показалось очень мило: ласковый, довольный моим приездом Борис, неплохая комната — правда, в полуподвальном этаже — на шоссе Энтузиастов (нравилось название) за Рогожской заставой, и с нами поселился ростовский наш товарищ Яша Волчек (ныне драматург), он тоже поступил в многотиражку «Электропровода», и к Третесскому мы часто заходили в «Крестьянскую газету» на Воздвиженку, и Володя Дмитревский к нам заезжал со своей женой Наташей, так что и друзья были, и дом, и работа. Правда, с хозяйством было трудно, даже керосин для примуса добывали по каким-то особым талонам, которые приносил Борис, из продуктов главным образом консервы, но на Мясницкой у частных торговок мне иногда удавалось купить отличное вологодское масло (кремового цвета бруски в пергаментной бумаге), и иногда в нашем плохоньком магазине продавали паштет в жестянках или сгущенное молоко, тогда мы вкусно ели. Паштет я пережаривала на сковороде с луком и маслом, и он становился нежным и вкусным. И чай со сгущенкой был совсем не то что без сгущенки.

Первую половину зимы мы прожили таким образом. Мама писала нам о детишках, что все нормально, и мы считали себя устроенными. Но потом я стала хворать, и у меня на морозе стали делаться обмороки, несколько раз я падала на улице и в трамвае. Стала очень тосковать по теплу, по жаркой печке. Помню, в какое-то утро мы все не могли дождаться, когда же рассвет: что ни проснемся, все темно да темно. Пока не сообразили, что наше большое окно, выходившее во двор, почти доверху завалено сугробом (вероятно, ночью была метель). Борис пошел отгребать снег и, вернувшись, принес в ладонях крохотного мышонка, которого откопал в снегу под окном. Мышонок

был жив-здоров, мы его покормили, и он до весны жил у нас в комнате, появляясь, как только мы садились за стол.

Я себя чувствовала все хуже, обморочное состояние начинало меня мучить, как только я выходила на улицу. Выяснилось, что я жду ребенка.

Так дал знать о своем приближении мой сын Юрий.

Я представляла себе, как уже теперь тепло у нас в Ростове, и мне до слез хотелось туда, к югу, к акациям, которые скоро зацветут (в Москве вокруг нашего дома всюду еще лежали пласты грязного льда). Наконец Борис благословил меня на отъезд, и я уехала.

Я нашла детей не такими лучезарно благополучными, как писала мама, они недавно перенесли ветрянку, и я полностью переключилась на них.

Началась очень сумбурная жизнь, я зарабатывала тогда мало, мы вечно ждали денег от Бориса, он тоже зарабатывал от случая к случаю, и это было трудно при такой большой семье, где все, от стара до мала, зависели от нашего благополучия.

Бабушка Надежда Николаевна стала сильно болеть.

Детишки требовали массы забот, мои обмороки не прекращались, я упала однажды на Садовой, несколько раз — у нас вблизи дома на 1-й линии. Очень трудный, помню, мы прожили год.

Весной 1932 года Борис написал, что он уходит из многотиражки и думает вскоре вернуться в Ростов. Он не назначил, когда именно, но в начале июня — помню, было воскресенье — мы сели обедать, и вдруг, подняв глаза, я со своего места увидела в окне его лицо, лицо под серой кепкой, и его плечи под черным кожаным пальто. В этом пальто в февральскую ночь 1935 года он ушел из дому уже невозвратно. В этом пальто в сентябре 1936 года я видела его в Кеми, уже в самый последний раз, в проклятой избе за колючей проволокой.

27

ЗИМА 1934/35 ГОДА

В этом году наши домохозяева продали свой дом артели ломовых извозчиков. Чтобы освободить дом от жильцов, ломовики сняли нам квартиру (очень невзрачную) в домике рабочего-застройщика Заднеулицына в доме 80в на Богатяновском проспекте (ныне проспект имени

Кирова). Мы переселились туда 24 ноября 1932 года. Я принимала в переезде большое участие, передвигала и поднимала тяжелые вещи и неудивительно, что утром 25 ноября, проснувшись, почувствовала предродовые боли. Я немедленно пешком пошла в ту самую частную больничку Р. Е. Собсович, где родились оба мои старшие. Там все было, как прежде, белоснежно и педантично.

Меня, как прежде, без конца мыли, прежде чем уложить на койку, к которой было приставлено огромное кресло с приготовленной для будущего младенца постелькой.

Имея уже двойной опыт, я боялась родовых мук, и меня убеждали, что в третий раз мне покажется совсем легко. Это оказалось пустой болтовней, боли были столь же мучительны, как в первый и во второй раз, и вдобавок случилось следующее: после многих схваток мой мальчик вдруг повернулся во мне (я почувствовала этот поворот, подобный толчку, сотрясшему все мои внутренности) и пошел не головкой, а ножками. Розалия Елеазаровна и ее помощницы страшно всполошились и стали готовиться: приготовили таз с горячей водой и таз с холодной, и когда дитя вышло, его стали окунать попеременно то в один таз, то в другой, а в промежутках усердно растирать мохнатым полотенцем и делали это до тех пор, пока оно не чихнуло. Чихнув, оно стало дышать, а затем немедленно залилось голодным криком, требуя пищи. Наташа, родившись, целые сутки не просила груди, довольствуясь слабым теплым чаем с ложечки, Боря попросил грудь лишь часа через четыре после рождения, Юрочка же затребовал пищи сразу, едва глотнув воздуха. Он взял сосок губами уверенно и твердо и сразу стал сосать, словно его этому кто-то научил. Это, а также то, что он от рождения был очень похож на отца, необыкновенно сильно привязало меня к нему.

Я уверена, что если бы жизнь не разлучила нас с Борисом так рано и жестоко, то у нас было бы еще много детей, еще много красивых и умных сыновей, потому что мы были так молоды и так друг друга любили.

С рождением Юрика возникло много бытовых затруднений, маме было очень трудно управляться с тремя детишками, няньки попадались все такие, которым мы не решались доверить наши сокровища, бабушка Надежда Николаевна стала очень хворать, и маленькие дети ее беспокоили, и главное, на юге начался тот голод, от которого осталось так много могил в сельских дворах Северного

Кавказа и Украины. Мы питались плохо, и у меня очень скоро стало не хватать молока для моего маленького. С разрешения врача я его стала очень рано прикармливать, так что он не голодал, но зато, отведав молочного киселька, манной каши и сладкого кофе с молоком и печеньем, он наотрез отказался от моего молока, и на этой почве между нами каждый день происходили драмы.

Потом стало полегче. Сперва Бориса, а потом и меня прикрепили как ударников к каким-то закрытым распределителям, и голодать мы перестали. На базаре появились (правда, по баснословным ценам) молочные продукты, яйца и мясо. Старших двух детей устроили в частную группу с немецким языком, там они проводили время до обеда. Борис стал работать в краевой газете «Молот», где его зарплата была выше.

Зима 1934 года была для нас светлой (свет перед наступлением полного мрака). Мы оба любили своих детишек и свой угол и старались пораньше прийти с работы, чтобы провести вечер в кругу семьи. Борис находил, что я не так купаю детей, как надо, и купал их сам, и действительно, он так ловко мыл им головы, что мыло совсем не попадало им в глаза и у него они никогда не пищали. Он купал их, сажая в ванночку по двое, и стоял над ними с засученными рукавами, а я их принимала одного за другим из его рук, чтобы вытереть нагретой у печки простыней. Мы оба любили это занятие. Еще больше Борис любил после обеда лечь на кровать в нашей крохотной спальне, и дети чтоб садились на него верхом (Юрик садился ему на грудь, Боря на живот, а Наташа на колени), и он им рассказывал всякие сказки и истории.

Помню такой случай: Наташа очень раскапризничалась, невозможно было ее ничем успокоить, и Борис стал ей говорить, что ее капризы очень огорчают маму, то есть меня, что я могу от этих огорчений заболеть так сильно, что придется положить меня в ящик и закопать в землю навсегда. Он так прочувственно это рассказывал, что и у него, и у меня навернулись слезы. Дитя же, прослушав внимательно до конца, сказало:

— Расскажи еще раз.

Борис дурно выговаривал букву «р» — у него получалось то «л», то «в», то вообще ничего не получалось. Схожие нелады были у него и с буквой «л». Помню, как однажды, показывая детям картинки в какой-то книге, он вдруг громко позвал из спальни:

— Вера! Иди скорей!

Я пришла.

— Скажи им, как называется эта птица,— сказал он, показывая на картинку.

Птица была орел. Он никак не мог ясно выговорить это название.

Первоначально Борис занимал в редакции «Молота» место завотделом информации. Информация передавалась по вечерам, поэтому вечером он был занят в редакции и возвращался поздно. Утром он тоже ехал в редакцию, и до этого мы завтракали всей семьей, причем Юрик радовал нас и забавлял своим аппетитом. Отец съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе, и Юрик съедал яичницу из трех яиц и выпивал два стакана кофе. Старшие ребята ели хуже и капризничали, Юрик — никогда.

К обеду Борис возвращался из редакции, и обедали мы опять-таки всей семьей. Затем он ложился отдохнуть в нашей комнатке, а детей усаживал на себя, и они час-полтора премило играли в этой позиции. Игры придумывал отец. В это время он рассказывал им что-нибудь и читал книжки

Как сейчас вижу эту бедную комнатку, на окне ситцевая занавесочка, перед окном маленький письменный стол, под углом к нему кровать, на ней лежит плашмя Борис, на Борисе лепятся детишки.

Боже мой, кому и чему это мешало, что мы были счастливы?

Впрочем, и тогда у нас были горести. Стала очень хворать и быстро шла к концу бабушка Надежда Николаевна. Она давно уже мучилась тяжелыми болями и раза два ложилась в клинику для исследования, но определить ее болезнь врачи не могли. Когда боли становились нестерпимыми, она опускалась на колени перед своей постелью и прижималась к ней животом, ей казалось, что это облегчает боль. Она скончалась на руках у мамы и у меня. Я помню, ее смерть очень поразила Бориса, я не понимала, почему это так, пока не догадалась, что он попросту боится вида смерти и мысли о ней. Когда покойницу стали поднимать, чтобы положить в гроб, и во время подъема из мертвой груди вдруг вырвался легкий всхлип — Борис закричал так страшно, что я за него испугалась.

Мы похоронили бабушку. В похоронах приняла участие моя свекровь Мария Петровна, приехавшая нас проведать. Она не знала, что на юге голодно, мы ей об этом не писали, и взяла с нас слово, что мы приедем на время своего отпуска к ней в Ленинград.

«Я вас откормлю,— сказала она,— у нас в Ленинграде

все есть». Я очень радовалась предстоящей поездке, мне хотелось повидать Ленинград, о котором Борис рассказывал с таким восторгом.

В августе мы с Борисом получили отпуск и тотчас же поехали в Ленинград, взяв с собой Наташу и Борю, как того хотела свекровь. Она жила близ Карповки, на улице Литераторов, в доме, принадлежавшем когда-то мужу актрисы М. Г. Савиной. Теперь там были обычные, коммунальные квартиры, в одной из них жила Мария Петровна. У них были преоригинальные соседи — бывшая камеристка Савиной (кажется, ее звали Мария Уаровна) и ее брат (помнится, Уар Уарович), в прошлом — придворный лакей, теперь — сапожник. Оба они рассказывали много интересного о прежней жизни, особенно о Савиной, о которой Мария Уаровна знала всю подноготную. Мы, впрочем, жили не у свекрови, а где-то поблизости у ее знакомых сняли на месяц комнату. Детишки же жили на улице Литераторов с Марией Петровной и с котом Зайкой (опять Зайка), тоже довольно необычным котом. Его необычность обнаружилась в первый же день по нашем приезде. Мы привезли Марии Петровне две корзины помидоров и свежих огурцов. Она разложила их на подоконнике, возле которого стоял обеденный стол. И вот, едва мы сели обедать, вижу: кот Зайка, распушив трубой хвост (вернее, половину хвоста, другую половину у него отъели крысы, когда он был еще котенком), вскакивает на подоконник, лапой сбивает на пол один из огурцов, и тотчас же внизу слышится сочный хруст. «Ах ты воришка!» — восклицает свекровь и поясняет, что Зайка больше всего на свете любит свежие огурцы; поставь на окно молоко, масло, сало — не тронет, а огурец непременно украдет. Я бы этому не поверила, если б Зайка в тот миг не доедал украденный огурец возле моих ног. Потом я видела, как он уплетал и помидоры, и арбуз, и дыню,— уникальный вкус был у этого кота.

В тот же день Борис повез меня смотреть город. Мы были в Александринском театре, смотрели «Маскарад», потом шли пешком через Марсово поле (не думала я тогда, что буду когда-нибудь там жить, на углу Марсова и Мойки), потом по мосту на Петроградскую сторону. При свете вечерних фонарей я впервые увидела памятник Жертвам Революции, и памятник «Стерегущему», и поразившую меня прекрасную мечеть. Любовь к Ленинграду пронзила

меня мгновенно, это была любовь с первого взгляда, и когда в последующие дни Борис показывал мне улицу Зодчего Росси и другие красоты города, моя любовь к Ленинграду даже не усиливалась — она была уже достаточно сильна, чтобы остаться в сердце навек.

Мы почти каждый вечер ходили в театры, даже несколько раз были в оперетте. Я не любила оперетту, но Борис любил, и ради него я смотрела и «Сильву», и «Фиалку Монмартра», и «Шоколадного солдатика» (этот был поинтеллектуальнее прочего, так как текст на него писал Бернард Шоу). Смотрели «Свадьбу Кречинского» и «Страх» Афиногенова. Борис любил театр, да и я тогда уже любила. Меня неприятно поразили только актеры, не понравился ни Юрьев в роли Арбенина, ни Корчагина-Александровская, игравшая Клару в «Страхе», ни Вольф-Израэль в роли Нины в «Маскараде». Я находила, что все они гораздо провинциальней наших ростовских актеров. Борис сперва спорил, а потом согласился со мной, но знатоки очень на нас сердились и говорили, что оба мы ничего не понимаем. Увы, посмотрев «Маскарад» вторично, я утвердилась в первом своем впечатлении. Выспренность, недостоверность, провинциальное подвывание были присущи многим актерам. Нет, не понравились мне ленинградские актеры. Зато Казанский собор, мечеть, улица Росси, набережные, мосты — это засело в сердце как занозы.

Вывозил меня Борис и за город, показывал Петергоф. Ходили с ним и в Эрмитаж, где впервые я повидала настоящую живопись и скульптуру. Они меня, впрочем, не поразили. Возможно даже, что я в воображении своем представляла их себе не то чтоб более прекрасными, но более говорящими моему уму и сердцу.

Точно так же ничего мне не дали в тот раз статуи Летнего сада и фонтаны Петергофа: взглянула и пошла себе дальше, нисколько не затронутая. Красота античных форм так и осталась для меня, к сожалению, навсегда безразличной и далекой. Живопись иногда доходит до души, но не часто: то Шагал, которому я бы хотела уподобиться в прозе, то какая-нибудь икона, то какое-то странное темно-серое полотно, на котором взрываются какие-то туманные желтые зародыши новых вселенных — это полотно я видела в Нью-Йорке в музее Гугенгейма и долго стояла перед ним. Но гораздо сильнее, чем живопись, ощущаю слова, подобные этим строкам Мандельштама:

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени.

Нелепо, и нельзя объяснить почему, но для меня эти строчки передают всю гамму лилового, от самого нежного до почти черной фиолетовости грозовой тучи. Не спрашивайте объяснений, не спрашивайте, почему мне не нравится статуя Антиноя и почему нравится картина Рериха «Борис и Глеб». Почем я знаю?

Собираясь в Ленинград, я боялась, что мои более чем скромные платья не будут уместны в столь блестящем городе, и заранее стеснялась. Но походив по Ленинграду, убедилась, что тут всяк одет кто во что горазд и что у нас в Ростове тряпкам придают гораздо более значения, чем здесь. И успокоилась.

В общем, мы прожили свой отпуск очень хорошо. А когда вернулись, жизнь потекла так же, как до отпуска: в заботах о семье, в работе, в тихой радости, которой суждено было продлиться так недолго.

Новый, 1935 год мы встречали у Бориса Фатилевича (Борьки Короткого) и его новой жены, молодой актрисы.

Я уже писала, что Боря Фатилевич поставил в своем театре мою пьесу «Весна». Пьесу эту я потеряла, и нисколько не жалею, так как она была совершенно ученическая и подражательная, но спектакль был для меня целой бурей новых переживаний. Когда пошел занавес и я увидела оформление, которым Фатилевич заранее хвастал: черный бархатный задник, на нем вверху звезды, а внизу воздушные очертания цветущих садов,— я как-то вдруг и сразу ощутила, что не все дело в том, чтó мною написано, дело и в том, чтó приложили к этому другие люди — вот, например, художник, который придумал этот черный бархат, да и наверняка Фатилевич, а еще ведь актеры! И когда на сцене появилась жена Фатилевича, под гримом прекрасная, какой она никогда не была в обычной жизни, мне показалось, что слабое мое детище — эта пьеса подхвачена множеством умелых и добрых рук, которые это детище вы́ходят и вырастят.

С тех пор я не раз видела на сцене свои пьесы и убедилась в том, как много в спектакле зависит от актеров, от режиссера, художника, от музыкального сопровождения, но ведь тогда это было впервые — как первый поцелуй...

Спектакль прошел гораздо лучше, чем я ждала, в зале даже хлопали, но долго на сцене он не удержался — слишком слабенькая была пьеса. Однако я до сих пор благодарна Боре Фатилевичу за то, так сказать, первое приобщение мое к театру. Если я стала драматургом и написала целую книгу пьес и некоторые из них довольно долго

продержались на сцене — к этому, несомненно, причастен в какой-то мере и Борис Фатилевич.

Итак, мы встречали Новый год.

Было много актеров, много выпивки и много шума. Мне это все не понравилось настолько, что я с тех пор возымела отвращение к подобным сходкам с непрерывным чоканьем и криком. Но Борис мой был доволен, и слава богу. Больше уж нам ни разу не пришлось вместе бывать где-либо в гостях. И вообще нам оставались считанные дни более или менее спокойной жизни, только мы этого еще не знали...

28

КРАХ

Вечером 1 декабря 1934 года Борис, как это бывало часто, задержался в редакции для приема информации. Я прилегла на кровать, у изголовья которой стояла тумбочка с телефоиом. Почти сейчас же в ухо брызнул звонок. Борис сказал: «Вера, в Ленинграде убили Кирова». Я воскликнула: «Это ужасно!»

Но это тривиальное слово и в тысячной доле не выражало моих тогдашних чувств. В голове покатились какие-то туманные, ни с чем не сообразные, я бы сказала, средневековые мысли. Почему-то сразу стало ясио, что с этого момента вся жизнь наша пойдет совершенио иначе.

Помню другой роковой день.

Я выпускала газеты в типографии. Металлический стол, колонки линотипного набора, груды влажных бумажных листов для оттисков, разбросанные верстатки и щетки, придирчивый метранпаж в черной спецовке, все как всегда. И вдруг зовет кто-то из наборщиков (кажется, Харламов):

— Товарищ Панова, вас просят к телефону.

Бегу через длинный наборный цех между лииотипов, хватаю трубку. Голос мужа:

— Вера? Ты можешь сейчас же, ие откладывая, приехать домой?

Конечно, пугаюсь, конечно, спрашиваю:

— Что случилось?

— Не спрашивай иичего, отвечай: можешь или нет приехать сразу?

Конечио, отвечаю, что могу. Конечно, сердце леденеет сразу от этого короткого разговора, но оно еще не знает

правды, оно еще на ложном следу: ему почудилось, что стряслось что-то ужасное с кем-то из детей.

Как бегу по гололедице к трамвайной остановке, как еду в трамвае, как добираюсь до дома,— ничего не вспомнить: мутный сон и холод ужаса. Но вот я дома, в нашей маленькой комиате. Вот мама. У нее лицо спокойное. На мой лихорадочный вопрос:

— Дети? — она отвечает:

— Дети в порядке.

И вот Борис. Лицо потрясенное, губы еле шевелятся:

— Меия уволили по обвинению в троцкизме. По обвинению в том, что я скрыл при проверке партдокументов свою причастность к троцкизму. И сегодня это будут обсуждать на партийном собрании.

Все это свалилось на него внезапно: сидел за своим редакционным столом, работал — вдруг его вызвали к редактору Шаумяну (сын бакинского комиссара Шаумяна, одного из 26-ти), и тот ему все это изложил.

— Наверно, исключат из партии,— сказал Борис.

Я была тогда еще дура набитая. Обе мои первые мысли были дурацкие. Первая, которую я высказала вслух: «Может, еще и не исключат». Вторая, которой я, слава богу, не высказала, была еще глупей: «А все потому, что забыл сказать на том собрании, что в Ленинграде принадлежал к оппозиции». Я не знала тогда, что это ровно ничего ие значило — сказал, не сказал,— что это поражает равно сказавших и не сказавших, виноватых и безвинных, что это падает на человека, как удар молнии. Ничего я тогда еще не знала, поняла только, что беда подошла вплотную, неминучая, страшная, всем бедам беда.

Борис сказал две вещи:

1) Лишь бы не арестовали, остальное еще туда-сюда.

2) Пойду к Фалькнеру.

Как ни была я глупа, но все же сказала:

— Ничего он тебе не поможет.

Мы смогли тем ие менее пообедать, а потом Борис ушел на партсобрание, сказав, что позвонит мне оттуда.

Телефон на тумбочке зазвонил раньше, чем я ждала. И сейчас же в трубке раздался голос:

— Вера? Исключили!!!

Что я могла сказать? Я сказала:

— Иди домой.

А шестого февраля добрейший Полиен Николаевич Яковлев вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Вера Федоровна, поверьте, мне это очень трудно вам говорить, но нам придется расстаться.

Приказ был вывешен с молниеносной быстротой, и больше я на работу во «Внучата» не ходила. Вместо Яковлева редактором стал Лева Краско — вероятио, Яковлева убрали за то, что не сразу уволил меня, жену исключенного из партии. Когда я вернулась домой с известием, что я безработная, Борис сказал:

— Давай подумаем, как сократить наши расходы.

Мы уволили домработницу — без всякого сожаления, так как она была никудышная, и отказались от услуг некоей Флоры Федоровны, дававшей Наташе уроки немецкого языка. Остальные расходы сокращать было невозможно — нужно было есть-пить, как-то одеваться, чинить обувь и т. п.

В следующие дии пришла маленькая иадежда — Борис, как иамеревался, пошел к Якову Фалькнеру, и, против моего ожидания, Фалькнер захотел ему помочь — ои в последнее время сдружился с Борисом и, должно быть, просто не мог видеть в нем врага народа. Фалькнер обещал Борису устроить его на завод «Ростсельмаш».

— Конечно,— сказал Фалькнер,— ваших привычных журналистских заработков там не будет, но прожить можно. (А мы уж ни о чем ином и не мечтали...)

Он сдержал обещание — 11 февраля, это был канун выходного дня, Борис впервые пошел на работу на «Ростсельмаш». Вернулся часов в шесть, перед вечером, веселый, и на мои вопросы ответил, что его поставили работать подручным слесаря, что не боги обжигают горшки, что он очень скоро вполне сживется с этой работой и что все еще, может быть, будет не так уж плохо. Мы пообедали. Это был наш последний обед. Выпили чаю и рано легли спать, так как Борис чувствовал себя все-таки усталым после непривычной работы на станке.

В середине ночи я проснулась от каких-то голосов за дверью и от грохота болта. Прислушалась и поняла, что мама кому-то отворяет, различила голос домовладельца Матвея Карповича и как-то вдруг поняла все. Поняв, спросила:

— Борис, ты слышишь?

— Да, да! — ответил он и сразу сел, и сразу в дверь стали входить люди: Матвей Карпович (они его взяли в понятые) и два незнакомых: военный в буденовке с красной звездой (потом узнала, что его фамилия Анисимов)

и штатский в очках (впоследствии узнала и его фамилию — Аппельбаум).

Уж не помню, кто из иих предъявил ордер иа обыск у гражданииа Вахтина Бориса Борисовича, заключив фразой: «с последующим вашим арестом». Обыскали прежде всего нашу комнату (дав мне предварительно встать и одеться), потом мама, бедная мама, повела их в детскую. Конечно, ее расчет был нелеп, разве этих людей мог умилосердить вид троих спящих детишек, но мы все были тогда простаками, не смыслящими ии аза.

Во время обыска я раза два открывала входную дверь, выглядывала во двор: светало, мела метель, крылечко все пуховей, все выше зарастало снегом. Больше всего они провозились с книжным шкафом, каждую книгу брали за корешок и трясли, а потом кидали на пол. Из одной книги выпала пачка облигаций госзаймов, из другой — деньги, полученные мною при увольнении. То и другое нам вернули тотчас же предупредительнейшим образом. Никакого проку от этого обыска явно не было, да они и не добивались его, им нужно было проделать все формальности, прежде чем арестовать человека.

Мне они велели дать ему с собой смену белья (еды никакой) и в понедельник прийти на улицу Энгельса, 33, там мне скажут, какие передачи и в какие дни я могу делать.

Не помню, как я дожила эту ночь. Помню, что на другой день я сидела у нашего маленького письменного столика и писала письмо М. И. Калинину. Сколько таких писем было мной написано в дальнейшем, и все до единого напрасно. Но в тот день я была слепа, как новорожденный щенок, горе сжимало мне горло, не давало дышать, и я писала, еще надеясь, что от этого что-то может измениться.

Помню, что весь этот день меня, кроме ощущения железного ошейника на горле, не покидало ощущение ледяного холода — я набрала полные туфли снега, когда бежала к воротам вслед за Борисом и теми, кто его уводил.

В тот же день я собрала еду и белье, чтобы завтра же, в понедельник, отнести по указанному адресу. (Надеюсь, адрес я этот указала правильно, если нет, меня поправят многие и многие, кто помнит лучше.) В понедельник спозаранок пустилась в путь. Как сейчас вижу эту дверь, такую обыкновенную, и эту заплеванную, забросанную окурками лестницу. У двери на каменном крыльце стоял часовой, он пропустил меня без всяких вопросов. Подиялась — на первой же площадке налево дверь, в двери окошечко,

у двери стоит какая-то маленькая старушка. Я прильнула к окошку, оттуда спросили:

— К кому?

— К мужу,— глупо ответила я.

— Фамилию скажите.

Я назвала: «Вахтин»,— мне сказали:

— Давайте,— и я передала в окошечко мои свертки и пакеты, довольная собой, что правильно распорядилась — принесла передачу, ни у кого не спрашиваясь. И вдруг маленькая старушечка берет меня за локоть:

— Вахтина арестовали? Когда?

— Прошлой ночью,— отвечаю.

— Я — мама Вали Вартанова,— сказала маленькая старушка,— его тоже арестовали в ту же ночь.

Разумеется, мы уже не могли отстать друг от дружки — вместе пошли вон из окаянного дома. Выяснилось (сверили по времени), что прямо от Вартановых они поехали к нам. Розалия Георгиевна сказала, что они приезжали в черной машине, я этой машины не видела, хоть и выбегала за ними, когда они выходили. Спросили друг друга о некоторых общих знакомых. Но в тот день и Исай Покотиловский, и Володя Третесский были еще на свободе, их арестовали позже, когда именно — не знаю.

С милой, приветливой Розалией Георгиевной мы стали встречаться очень часто — и не только у той двери с окошечком, мы стали бывать друг у друга. Я познакомилась с ее дочерью Варюшей, сестрой Вали Вартанова. Варюша была красавица редкая, прекрасная, как шемаханская царица. Она была замужем за зубным врачом Василием Тихоновичем Галкиным. Он ее обожал и баловал, как мог, хоть за одно свое дитя Розалия Георгиевна могла быть спокойна. За Валю же ее сердце обливалось кровью денно и нощно. Это была та материнская скорбь, которой не изжить до гроба, те святые слезы, о которых писал Некрасов.

Позже к нам присоединилась Сима, сестра Исая Покотиловского. Мне с этими женщинами было легче, чем с кем бы то ни было, нас объединяло общее горе и общие бредовые мечты, что авось вдруг что-то изменится, вдруг да забрезжит надежда. Увы, эти мечты были совершенно беспочвенны, ниоткуда не блистало ни малейшего луча, люди вокруг падали и падали. Почти в каждой семье было такое же горе, как у нас, то есть у меня, у Вартановых, у Покотиловских.

Кстати, если бы не эти несколько женщин, уравненных

со мной роком в моей отверженности, мне бы почти не с кем было знаться. Володя Филов, родственник и почти друг детства, на другой день после моего увольнения из «Внучат» без обиняков дал мне понять, что нам незачем впредь встречаться. Те, что во «Внучатах» льстили мне сверх всякой меры и даже изображали из себя моих учеников — Давид Гоухеров, Женя Вакурская, Люсьен Штокгаммер,— встречая меня, заблаговременно перебегали на другую сторону улицы, чтобы кто-нибудь не увидел их близко от меня. Через много, много лет, уже будучи трижды лауреатом Сталинской премии, я получила большое письмо от Люсьена Штокгаммера. Он мне напоминал, как мы оба когда-то работали во «Внучатах», и просил меня ему помочь — в чем же? Ни более ни менее как получить повышение в чине, он служил тогда в армии и его, по его мнению, очень долго не производили не то в капитаны, не то в майоры, уж не помню. Как ни была я уже приучена к подобным письмам, но очень тогда удивилась Люсиному посланию. Пришлось ему ответить, что он обратился не по адресу, что я не маршал и даже не генерал и чины раздавать не могу.

Но и тогда нашлись люди. Веня и Мирочка Жак ни на йоту не изменили прежнего дружеского и доброго отношения ко мне. Женя Безбородов, прежде бывавший у нас очень редко, тут вдруг зачастил и всячески старался подбодрить меня живым разговором и шуткой. Милый Полиен Николаевич, встречаясь на улице, всегда останавливался, пожимал мне руку, называл, как в прежние времена, Верочкой, говорил: «Что делать, дружок, у вас дети, надо жить, надо держаться». И даже угрюмая Белла Плотникова, библиотекарша, ласково улыбалась мне. Не говоря уж о Сарре Бабенышевой — та, как и Жаки, помогала мне не только добрым словом, но иной раз и материально. Помню, не стало у нас угля, нечем было протопить, и Саррина мама сказала: «Приходите к нам, Верочка, берите сколько вам нужно, у нас еще есть». Я пошла к ним и принесла полное ведерко угля, затопила печку и выкупала детей. А милый Эммочка Кранцберг стал каждый месяц присылать мне деньжат ..

Зато и удивила меня в те дни любимая моя Люба Нейман, «рыжая». Пришла ко мне и, когда я не удержалась от сетований, сказала буквально следующее:

— Вера, у нас никого не сажают без вины, это мне Вася сказал, я ему верю. (Вася, ее муж, был чекист.) — Впрочем, то же самое сказал мне Яша Фалькнер, когда я сдуру

разлетелась к нему с жалобой на то, что меня не берут на работу даже саиитаркой в больницу.

— Что делать, Вера,— сказал Фалькнер,— в этом ты можешь винить только своего Бориса.

Я сказала:

— Ты не хуже меня знаешь, что за Борисом нет никакой вины, как и за всеми другими.

— Ерунда,— сказал Фалькнер.— Невиновных у нас не сажают.

Он был тогда членом Бюро Северо-Кавказского крайкома партии, большим иачальником, когда говорил те слова, сидя в своем роскошном кабинете. А много лет спустя Иван Макарьев, вернувшись из двадцатилетней ссылки, сказал мне, что Яша Фалькнер умер, не выдержав истязаний. Бедняк Фалькнер. Он описан в «Сентиментальном романе» под именем Югая, только в Ростове иет переулка имени Фалькиера, а мог бы быть...

Насчет работы я обращалась с письмом к первому секретарю крайкома партии тов. Шеболдаеву, но он мне не ответил вообще ничего; впоследствии я прочла в газетах (уже живя на Украине), что Шеболдаев расстрелян как враг народа. О, сколько теней шествует со мной рядом — и с тобой, Бувочка!

Председатель крайисполкома Ларин разделил участь Шеболдаева. Председатель горисполкома Овчинников застрелился сам, когда пришли его арестовывать. Был такой Змиевский, секретарь той парторганизации, которая исключила Бориса из партии. И он, это совершенное ничтожество, абсолютный нуль, кому-то застил свет, и его расстреляли как польского шпиона.

Но все это потом. А в те весенние месяцы и в начале лета 1935 года я с моими новыми приятельницами думала и говорила об одном — скорей бы кончилось следствие над нашими близкими, скорей бы выяснили, что они невинны, и отпустили их. Несчастные дуры, мы верили, что это возможно.

В эти весенние дни затеяла я как-то большую уборку. Перемыла окна, потом взялась мыть полы. Дети, все трое, сидели в это время за столом, обедали. Мою пол и, отжимая над ведром тряпку, сквозь стук падающих капель вдруг слышу, что кто-то твердыми шагами всходит иа крыльцо. И сейчас же широкая плотная тень ложится иа пол передо мной и, подняв глаза, я вижу фигуру в шинели и буденовке с красной звездой и узнаю — это тот военный, что приходил за Бувочкой.

— Вы ко мне? — спрашиваю.

— К вам.

— С ордером или без?

— Пока — без,— отвечает он с какой-то зловещей игривостью.— Но я вас попрошу проехать со мной, с вами хотят поговорить.

Входит мама. Я спрашиваю:

— А что мне взять с собой?

— Ничего,— отвечает он,— кроме паспорта.

За воротами, впрочем, ждет машина. Не знаю почему, я ие пугаюсь. Не знаю почему, я все-таки верю этому Аиисимову.

Мы приезжаем к тому дому, куда я ношу передачи Борису. Мимо часовых всходим наверх, и нас впускают в ту дверь, где окошечко для передач. Еще одна дверь, первая или вторая по коридору. За письменным столом человек в военном френче, благообразный. Анисимов нас знакомит:

— Вера Федоровна, жена Вахтина. А это товарищ Топильский, следователь по делу вашего мужа.

А я почему-то думала (кажется, Варюша Вартанова как-то сболтнула), будто дело Бориса и Вали Вартанова ведет тот очкарик Аппельбаум, который их арестовывал. Смотрю на это новое действующее лицо нашей трагедии. Топильский. Поляк? Украинец? Кажется, русский...

Приглашают сесть. Рассматриваю комнату, думая: «Все это видит и Бувочка, здесь его допрашивает этот человек». Впрочем, сейчас допрашивают меня. Прежде всего о том, кто у иас бывал в последние годы. Кто бывает у меня сейчас, не спрашивают — верно, знают... Я, как ни глупа, все же смекаю: только не впутывать новые имена. Называю тех, кто, как мне известно, уже арестован: Вартанова, Покотиловского. О том, что Третесский тоже уже арестован в Москве, я еще не знаю, но называю и его, так как понимаю, что их с Борисом дружбу скрывать невозможно.

Дальше следует вопрос:

— Как и в какой форме ваш муж высказывался при вас против советской власти?

Отвечаю, что никак, ни в какой форме, а сама думаю: «Эх, голубчики, небогато же у вас материала, если вы у меня о муже спрашиваете такие вещи!»

Но следуют вопросы:

— Известно ли вам, в какие годы ваш муж служил офицером в белой армии?

— Граждании Топильский,— говорю я,— разберемся в этом деле с помощью арифметики. Мой муж родился в 1906 году. Сейчас ему 29 лет. Сколько же ему могло быть лет, когда он служил офицером в белой армии? И могло ли это быть вообще?

Молчание, потом ответ:

— Пожалуй, он действительно был несколько слишком молод, когда существовала белая армия.

Новый вопрос:

— Говорил ли при вас ваш муж, что Горький ошибался, считая, что талант воспитывается средой?

— При мне не говорил,— отвечаю,— а разве это преступление против советской власти, если бы он сказал такую вещь?

— Ну,— говорит умный следователь,— вам ведь известно, как высоко советская власть ценит заслуги Алексея Максимовича.

В общем, пустяшный был разговор. Я спросила, конечно зря, скоро ли кончится следствие по делу мужа Топильский ответил:

— Трудно сказать, справляйтесь в прокуратуре.

А мы с Варей и Симой только этим и занимались.

Под конец Топильский стал любезен. Дал мне свой служебный телефон, велел звонить и сказал, что, возможно, вскоре мне будет разрешено свидание с мужем.

И правда, довольно скоро ои позвонил мне и сказал, что я могу повидаться с Борисом. Я помчалась в их адский дом и в самом деле увидела Бориса. Он был, конечно, несчастен предельно, но, к моему изумлению, довольно свеж и ничуть ие похудел даже. Сказал, что видел протокол моего допроса, что я молодец и умница, зря только не сказала, что он не согласен с Горьким.

— Но я же не знала,— сказала я,— ты при мне этого в самом деле не говорил

Потом рассказал, что его несколько раз пугали, что если он не сознается в своих преступлениях, то я тоже буду арестована. Сказал, что все мои передачи ему доставляются аккуратно и чтобы я не тратилась ни на какие излишества для него. Спросил о детях, я рассказала подробно. Спросил, написала или я его матери, и велел написать все как есть. Я сделала это в тот же день, и с тех пор мне стали помогать материально и свекровь моя Мария Петровна Колтовская, и тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова, жившая в Дербенте. Это было очень кстати, уж больно

мне было трудно перебиваться, не имея никакого заработка.

Главной статьей моего дохода было 100 рублей, которые ежемесячио присылал мне на Наташу Арсений Старосельский. И через него же в жизни нашей семьи произошла новая очень большая перемена. Но об этом несколько погодя.

В середине лета опять вдруг позвонил мне следователь Топильский.

— Ваш муж сегодня уезжает в Москву,— сказал он.— Соберите быстренько все, что считаете нужным дать ему с собой, и приходите, я вам дам свидание.

Опять иду в тот дом, опять жду в какой-то комнате. Конвойный вводит Бориса. Он видит меия и пугается ужасно, до смертной бледности.

— Что это такое? — спрашивает он неживым голосом.— Свидание?

Я рассказываю о звонке Топильского.

— Плохо дело,— сказал Борис,— они здесь ничего не добились и переносят следствие в Москву.

— Авось либо и там не добьются,— сказала я, сама насмерть перепуганная его испугом.

— Добьются,— сказал он,— для того все и затеяно.

Время свидаиия истекло. Мы простились с тяжелым чувством.

Проводить его на вокзале Топильский мне не разрешил, да Борис и сам просил меня этого не делать, но Варя Вартанова как-то ухитрилась получить позволение проводить брата (его тоже в тот вечер отправляли в Москву, о чем я узнала, вернувшись домой и застав там всех моих товарок по несчастью).

На другой день Варя рассказала, что это был за отъезд: вагон с решетками на окнах, конвой на площадке и внутри вагона. Валя и Варя хотели перед отправкой поезда еще раз обменяться рукопожатием через открытое окно — их руки раздернули. Она рассказывала об этом, обливаясь слезами, и мы все плакали, глядя на нее.

Мы как-то поияли, что надеяться больше не на что, конец всему, я даже перестала писать мои бесконечные письма иа высочайшие имена. Варюшииым занятием стало с тех пор звонить в Москву в прокуратуру, наводить справки. То же делала из Лениигр ада Мария Петровна, мать Бориса. Ответ был всегда один и тот же: «Следствие продолжается».

Иногда Мария Петровна и Варя перезванивались

между собой, чтобы обменяться этими однообразными сведениями.

Была середина лета, когда Мария Петровна сообщила, что следствие закончеио и Борис вместе со своими одноделъцами переведен с Лубянки в Бутырскую тюрьму. Был известен и приговор: коммунистам Вахтину и Третесскому, комсомольцам Вартанову и Покотиловскому — по десять лет Соловецкого концлагеря, беспартийному Яше В.— пять лет какого-то овцесовхоза в Сибири. И мы все позавидовали родным беспартийного Яши.

Мария Петровна имела свидание с Борисом в Бутырской тюрьме (через две решетки), и несколько раз переправляла ему туда богатые передачи. Потом я узнала, как распределялись там передачи. (Мие рассказал сам Борис при нашем свидании с ним в Кеми в сентябре 1936 года.)

Должна сказать, что довольно скоро от Бориса с Соловков пришло первое письмо. Он просил меня держаться стойко — ради ребят, даже утешал тем, что, мол, десять лет пройдут, и ои вернется, и опять мы будем вместе. Подобные же письма получили Вартаиова и Покотиловские. Меня Бувочкины утешения не утешали, я уже понимала, что нам иикогда не вернут нашу жизнь, что все прошло и остается одно — храбриться сколько возможно и стараться все, что возможно, делать для детей.

Вскоре от свекрови Марии Петровны пришло письмо, еще раз изменившее мою жизнь. Она писала, что понимает, как мне трудно с тремя детьми, и предлагает следующее: она возьмет к себе Наташу и Борю и будет их растить, а самый маленький пусть останется у меня.

Мне было очень больно отрываться от двух старших детей, но я уже так устала, что решила следовать за своей судьбой и не отказываться от предложения свекрови. Постаралась, чтобы не ударить в грязь лицом, как можио лучше экипировать отъезжающих детишек, деньги на это ссудил мне все тот же Веня Жак, получивший в то время гонорар за сценарий для кино. Долг этот, по тому времени очень немалый, я смогла ему отдать лишь через много лет — кажется, в 1952 году.

Так или иначе, я снарядила Наташу и Борю как только могла лучше. Этот день запомнился мне навсегда не только проводами детишек, с которыми я прощалась и дома, и на вокзале, но и разразившимся в этот день ураганом.

Когда ушел поезд, унося их от меня, я вернулась домой

к Юрику и маме. Вернулась и села читать у своего крохотного письменного столика у окна. За окном был бедный заднеулицынский сад, несколько десятков плодовых деревьев — абрикосовых и вишневых, невыразительные серые стволы, шевелящаяся листва. Читала я, читала и вдруг чувствую: что-то передо мной изменилось. Подняла глаза и вижу: перед окном сплошным занавесом висит ливень, ветер буквально срывает с деревцев их жидкие кроны, серые стволы по пояс в воде, словно они растут из озера. Я хотела побежать на улицу, посмотреть, что делается там, но мама умолила меня не ходить, она боялась... Только на другой день я вышла на улицу и увидела, что ларек, стоявший на углу, лежит на земле боком, провода оборваны, несколько деревьев сломано.

После отъезда старших детей в доме все стало для Юрочки и ради Юрочки, баловали мы с мамой его ужасно, любили непередаваемо. Назывался он у нас Одуванчик и Усик, а сам себя называл Уля. Варя Вартанова тоже его обожала и впоследствии, когда у нее родилась дочка, назвала ее Юлей — потому, объяснила она мне, «Юля» похожа на «Улю»! Весной 1936 года в Ростов приехала Инна Виккер, иовая жена Старосельского. Впрочем, она с ним тогда уже развелась. Инна Михайловна Виккер была женщина светски воспитанная и обходительная, щеголиха и модница, и меня немало удивило, что по приезде в Ростов она стала бывать у меня каждый день и даже по нескольку раз в день, хотя и жила совсем иными, очень печальными интересами. Но потом оказалось, что просто она горячо полюбила моего Юрочку, до того полюбила, что уж и жить без него вроде бы не может.

— Мне тоже нужен такой мальчик! — говорила она.

— За чем же дело стало? — спрашивала я.— Захотите — и будет.

— Вы не понимаете,— отвечала она.— Мне нужен точь-в-точь такой. Чтобы и глаза такие, и нос, и волосы.

Волосы у него действительно были замечательные — крупные шелковистые кольца цвета бледного золота. Я понимала, что у Инны Виккер такого мальчика и в самом деле не будет, и жалела ее.

Я пишу отрывочно и бегло, потому что воспоминания об этом времени всплывают по кусочкам, не сливаются в единый поток.

От Марии Петровны приходили письма, что с детьми все благополучно, что Наташа учится в школе, во 2-м классе, что Старосельский помогает чем только может. На лето

1936 года Мария Петровиа предполагала вывезти детей в Шишаки и предложила, чтобы туда же приехала моя мама с Юриком, а жить-де устроятся все вместе, оно и дешевле, и уютней.

Но до этого лета произошло у меия капитальное событие — я устроилась иа работу.

В свое время, когда я еще только иачинала работать в «Трудовом Доне» под покровительством Володи Филова, в тамошией типографии было несколько учеников-наборщиков, и между ними некий Витя Попов. Дружбы у иас с иим особой ие было, просто видели иногда друг друга в типографии и редакции, но в 1935 году этот Витя Попов, став редактором многотиражки завода «Ростсельмаш» и узнав от кого-то о постигших меия бедах, вдруг пригласил меня к себе и сказал:

— Слушай, Вера, а иди-ка к нам корректоршей, у нас одна есть, да она не справляется.

Я, конечно, сейчас же согласилась, и хотя зарплата была ничтожная, но уже то, что я где-то кому-то нужна как работник, что по утрам мне нужно к определенному часу быть в редакции, уже это мне было драгоценно, и я до гроба не забуду, как Виктор Яковлевич Попов протянул мне тогда руку помощи.

Корректорша, которая уже работала в многотиражке, была очень несимпатичная, но в то время характер у меня был уживчивый, и я скоро с нею сработалась. Так же очень скоро кроме корректуры Виктор Яковлевич поручил мне выпуск газеты, а затем и литературную правку всего материала, так что я стала одним из первых людей в редакции, и это очень меня радовало.

В типографии оказалось двое моих старых знакомых — наборщики Ильин и Мануйлов, так что и там меня встретили очень хорошо. Не помню, как это вышло, что меня попросили в обеденный перерыв читать вслух рабочим типографии книги по моему выбору. Я читала вслух хорошо, и ко мне стали относиться еще лучше.

Я вставала теперь очень рано и бежала к трамвайной остановке на Сенную улицу. Трамвай был всегда переполнен рабочими утренней смены, ехавшими на «Ростсельмаш». Шел трамвай по городским улицам, потом степью, мимо Балобановской рощи, потом между рядами свежевыкрашенных комбайнов, стоявших под открытым небом (к тому времени «Ростсельмаш» уже выпускал и комбайиы, их не успевали отгружать, вот они и стояли в ожидании отправки).

Я с торжеством написала друзьям, что я опять работаю, я знала, что им это приятно будет узнать. Как ни мала была зарплата корректора многотиражки, но это было нечто, обязательно тебе положеиное в определенные числа месяца,— свои, кровные заработанные деньги. И хотя ни с кем в редакции у меня ие установилось таких славных дружеских отношений, как когда-то во «Виучатах», но мне там дышалось легко, и я вставала утром без тоски и отчаяния.

Помню, меня попросили 8 марта 1936 года организовать женский праздник. Старалась я очень, и вышло у нас как-то очеиь все симпатично: и поели вкусно, и песни пели хорошие, и даже кто-то танцевал, и потом все говорили, как было хорошо, и благодарили меия, а мне было приятно.

Тем временем свекровь с Наташей, Борей и двумя родственницами своего мужа поехали из Ленинграда в Шишаки, и туда же я отправила маму с Юрочкой. Радовалась, что детишки проводят лето на воздухе в прекрасном месте, радовалась, что у меня на работе все хорошо, ио вскоре меня ждала новая беда. Я была уволена из многотиражки. Снова, как в раиней юности, стала зарабатывать, давая уроки детям.

Скоро должиы были приехать дети, и я решила побелить квартиру. Я храбро взялась белить потолки и стены. Мие казалось, что это пустяковое дело, но выясиилось, что оно, как все на свете, требует большой сноровки и навыка. С мочального помазка холодная жидкая известь текла мне в рукав, босые ноги скользили по кухонному столу, на который я влезла, а потолки были необозримы, как вечиость. И я уже озлилась на эти потолки, на свое неумение, на необходимость что-то делать, не умея, как вдруг отворилась дверь, и, одетая в когда-то подаренное мною старенькое платьице, вошла милая Верочка, одна из бывших Наташиных нянь. Мигом выхватила у меня помазок, мигом взобралась ко мне на стол, мигом потолок над моей головой стал покрываться ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной краской наведенными мазками. Потом Верочка сказала:

— Идите гулять и приходите домой вечером.

Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заляпанный мелом пол.

Да, иа каждом шагу мне в жизии попадались хорошие люди, и сколько добра я видела от них! И сквозь все про-

житые мною годы мне сияет это добро. Сияет и иапоминает, как мало я сама делала людям, какой иа мне лежит громадный долг.

Я получила из Шишак телеграмму о приезде детей и бабушек и поехала на вокзал их встречать. Поезд пришел, но моих в нем не оказалось. Встревожеииая и опечаленная, я вернулась с перрона на вокзальную площадь и встала в очередь к автобусу, чтобы ехать в город. Напротив этой очереди была другая — к трамваю. И вдруг там, в той другой очереди, я увидела головку ребенка с золотистыми локонами из-под белой пикейной шапочки. «Как этот мальчик похож иа моего Юрочку»,— подумала я. Перевела взгляд пониже и увидела голубенькую рубашку, которую своими руками шила и вышивала для Юрочки. Это и был он, нечего было и раздумывать — конечно, он. Перевела взгляд выше и увидела жесткие черты и черные волосы моей свекрови Марии Петровны. Это они приехали, как же я их пропустила на перроне?! Рядом стояли моя мама, Наташка и Боря. Я бросилась к ним бегом через людную площадь. Оказывается, они меня на перроне тоже проглядели и обеспокоились, почему я их не встречаю, и увидели меия, только когда я бежала к ним по площади, налетая на всех прохожих. Мы сели в трамвай и приехали домой, и я поила их чаем со всякими вкусными вещами, которые припасла к их приезду. Бабушки хвалили меня за то, что я так чисто убрала в доме (благодаря помощи Верочки он и самом деле сиял как стеклышко), дети с восторгом лопали варенье и фрукты, и очень трудно было мне сказать моим старушкам, что я опять безработная, и трудно успокоить детей, которые вообразили, что им опять придется от меня уехать. Но в конце концов я детей «разговорила», вымыла на ночь и они легли спать в свои кроватки.

И опять мы стали жить впятером: я, дети и дорогая моя, незабвенная мамочка, которой я стольким обязана.

Нам было хорошо впятером. Опять я пела детям перед сном те песни, под которые они привыкли засыпать, читала им вслух, любовалась их словечками и выходками. Делала для них все возможное и невозможное: старалась, чтобы ни в чем они не испытывали нужды, чтоб всегда были чистенькие и ухоженные.

СВИДАНИЕ

Ко мне пришли женщины: мать и сестра Вали Вартанова и сестра Исая Покотиловского. Я с этими женщинами встречалась часто, так как Вартанов и Покотиловский были так называемыми «однодельцами» моего мужа Б. Б. Вахтина.

Слово «однодельцы» означало, что им всем шилось одно и то же дело (что на самом деле никакого дела не было, выяснилось после XX съезда КПСС, когда все трое были реабилитированы. Но тогда до этого было еще много лет, всем троим еще предстояло погибнуть, а нам, женщинам, изойти слезами, и слова «одноделец», «репрессированный», «жена репрессированного» звучали еще очень страшно).

Женщины пришли и сказали:

— Мы все написали заявления о свидании. Посылать надо в Москву, Кузнецкий мост, 24, Главиое управление лагерей — Гулаг.

— Вам дадут свидание,— посулила мне Варюша, сестра Вартанова.— Уж вы сумеете написать трогательно.

Но мне что-то не захотелось писать трогательно. Я писала кратко: я, такая-то, прошу разрешить мне свидание с моим мужем таким-то, находящимся там-то.

И муж, и его «однодельцы» находились тогда в Соловецком концлагере. Мы посылали им туда посылки и письма и иногда получали письма от них.

Я послала мое заявление в Гулаг и стала жить очередным ожиданием. Это было весной 1936 года, а в конце июля меня вдруг вызвали в милицию.

— Распишитесь,— сказал милиционер,— в получении известия.

— Я никакого известия не получала.

— Получите, только сначала распишитесь.

Я расписалась в книге, и милиционер сказал, что мне, по моему заявлению, разрешено свидание с мужем в течение 10 часов, в присутствии коменданта. Для этого от 1 до 10 сентября я должна приехать в город Кемь и явиться в управление Белбалтканала, имея при себе паспорт.

— А как оии узна́ют,— спросила я,— что свидание мне действительно разрешеио?

— Не беспокойтесь,— сказал милиционер,— узна́ют...

Я раздобыла денег на поездку и отправилась в путь с таким расчетом, чтобы попасть в Кемь 5—6 сентября.

Путь мой лежал через Ленинград, где жила моя свекровь, мать мужа. Она меня встретила и помогла достать билет на скорый поезд «Полярная стрела».

Какая я была тогда напуганная, почти сумасшедшая видно хотя бы из того, что я была уверена, что меня непременно арестуют в поезде, и, вместо того чтобы наслаждаться поездкой в прекрасном комфортабельном вагоне, я мучительно присматривалась ко всем пассажирам, мужчинам и женщинам, гадая — не этот ли, не эта ли сейчас подойдет ко мне с ордером на арест...

Станций было много, на каждой входили новые пассажиры, и мучительное мое беспокойство продолжалось до самой Кеми.

Зато в другом отношении я успокоилась: если, пускаясь в путь, я опасалась какой-нибудь путаницы, недоразумений, в том числе и того, что сама что-нибудь не так сделаю, не туда попаду, то эти опасения улетучились очень скоро.

Уже в дороге я по каким-то приметам поняла, что многие из пассажиров «Полярной стрелы» едут по тому же делу и с теми же страхами, что я, и что мие не составит никакого труда ориентироваться в Кеми и попасть куда нужно и когда нужно. И в самом деле, первый же человек на станции Кемь, к которому я обратилась, не только сразу указал мне здание Управления Белбалтканала (оно возвышалось над другими домами и было видно издали), но и объяснил, что мне надо сесть в поезд, идущий на Кемь-пристань, и там найти себе у жителей приют на время свидания («Они там все сдают углы,— сказал мой добрый советчик,— и там же есть большой продовольственный магазин, да, масло должно быть, все время было, а насчет остального трудно сказать, это как повезет...»).

Маленький дачный поезд повез меня на Кемь-пристань. В вагоне против меня сидела немолодая цыганка какой-то диковинной, фантастической красоты, одетая пестро и нарядно. Она сидела, раскинув свои пышные юбки из торгсиновских ситцев, юбки не скрывали пыльных босых ног, в ушах у нее были золотые кольца, на шее — ожерелье из золотых монет.

Она сразу спросила:

— На свиданье приехала? К кому?

— К мужу.

— И я к мужу,— сказала цыганка.— Дай руку, я тебе погадаю.

Я отказалась гадать, о чем жалею и по сей день.

Мещанский мой рационализм меня удержал. Вместо гаданья мы пошли в магазин покупать масло.

Мне объяснили, что продавцы в магазине — заключенные, кассирша — заключенная, прохожие на улице — заключенные и что верхом необходительности и душевной грубости в этих местах считается спрашивать человека, за что он осужден. До этого я, впрочем, дошла и своим умом, и никого ни о чем спрашивать не собиралась.

Район Кемь-пристань был весь деревянный: дома, мостовые... В перспективе маленьких улочек маячили штабеля бревен и досок. Когда мы с цыганкой шли вдоль домов, из окошек сквозь герани на нас смотрели лица.

В первом же домике, куда я постучалась, мне сдали угол — то был действительно угол большой комнаты, очень убогой и грязной, но с надраенным до белизны дощатым полом (в Кеми все полы скреблись до белизны). Постели у хозяев не было, вообще бедность в доме была отчаянная, но опекавшая меня хозяйская девочка сказала:

— А картошку покупайте у нас, у других не берите. Вы, наверно, будете жарить картошку для дяди. Кто приезжает на свидание, все жарят картошку.

Она принесла кошелку картошки и противень, и, повинуясь ее подсказке, я стала жарить картошку на жарко накаленной плите. Я старалась вогнать в это кушанье как можно больше масла, понимая, что для «дяди» это сейчас главное... Если даже вольные люди, дети и взрослые, смотрят на масло такими глазами...

Но надо было еще заявиться в Управление Белбалтканала, и я пошла Здание как здание, казенное, серое, с вывеской. У подножья лестницы — часовой в военной форме. Он справился в какой-то бумажке и пропустил меня, отобрав паспорт. В прокуренной комнатушке другой военный подтвердил мои права на свидание, но сказал:

— Сегодня мы не успеем привезти вашего мужа с Соловков, «Ударник» уже вышел. Завтра вечером встречайте на пристани.

Он был так любезен, что даже спросил, как я устроилась. И предупредил:

— Вокруг Кеми ходите осторожно, тут все кишит беглыми.

Я не собиралась ходить вокруг Кеми, но поблагодарила и обещала быть осторожной. Осторожность моя свелась к тому, что паспорт, возвращенный мне, и небольшие свои деньги я спрятала в чулок, прихватив сверху резинкой. Сама не знаю, зачем я это сделала, многое в те дни дела-

лось безотчетно, безумно,— да и могло ли быть иначе?.. Но через несколько дней этот чулок сослужил мне службу...

— А наших привезут сегодня,— сказала цыганка.— Мы ведь вчера приехали. Приходи встречать вместе.

Вечером я пошла. Почему бы мне не встретить с нею ее мужа и не поглядеть, как это пронсходит? На пристани, представлявшей собою как бы громадный дощатый надраенный пол, между высокими штабелями светлых досок собралась целая толпа цыган. Кроме моей красавицы там была еще одна пожилая некрасивая цыганка, была молодая девушка, тоже некрасивая, но с великолепными огненными глазами, был молодой цыган в богатой, на меху, распахнутой шубе, куривший дорогие папиросы из серебряного портсигара, и целая куча грязных, лохматых, полуголых цыганят, цеплявшихся за женские юбки.

Унылая деревянная пустыня, унылое белесое море под белым небом, желтая, невыразимо горькая вечерняя заря на краю неба. Цыгане вдруг замахали руками, и кто-то крикнул:

— Идет!

В белесой бескрайности показался дымок: шел «Ударник» — связной между Кемью и Соловками. В моей памяти он похож на речной трамвайчик, что ходит по Неве. Он приближался, на нем было много людей, двое из них сняли шляпы и приветствовали ждавших на пристани.

— Вон наши! Вон! — толкала меня цыганка.— Вон, которые в шляпах. Наши цыганы!

Цыгане в шляпах первыми сошли с «Ударника». К ним бросились детишки, бросилась девушка и парень в шубе и обе пожилые цыганки. Глядя, как они обнимаются и целуются, я думала о том, что завтра, если мне выпадет счастье дожить до этого, так же привезут на этом пароходике и моего «дядю»... Пока же, чтобы не мешать, я отошла в сторонку и присела на сложенные там доски. Да, я была и там, стезя моих скитаний прошла по берегу этого печального моря, я видела эту горькую зарю, и минутную горькую радость обездоленных людей, н пылающие глаза девушки-цыганки, припавшей к груди отца. Я сидела на досках и смотрела на все это, и оно врéзалось в мою память, как острая пила.

Какие-то люди проходили мимо взад и вперед. Люди достаточно обросшие и обтрепанные, чтобы угадать в них заключенных, с лицами миролюбивыми, сочувствующими. Раздался вопрос:

— На свиданье, гражданочка?

— На свиданье.

— Что ж, привезли его?

— Нет. Завтра.

— А вы откуда, гражданочка? А, с Ростова-на-Дону? А я — с Украины. Соседи, значит.

Далеко на пристани в каком-то окошке блестел огонек. Мой собеседник ушел туда и вернулся.

— Гражданочка,— заговорил он дружески.— Вы бы не были так добры зайти до нас в контору Мортранса? Вон там наша контора, где огонек горит. Наш бухгалтер вас очень приглашает, ему поговорить желательно. Он очень, вы не думайте, культурный человек. Ох, если бы вы знали, гражданочка, что это за человек!

— Что же это за человек? — поинтересовалась я.

— О, гражданочка! — восторженно вскрикнул мой собеседник, но на вопросы не ответил, а зашагал опять к конторе, как бы уверенный в том, что я за ним иду.

Я была молодая, на секунду я усомнилась... Но тут же подумала: «Э, не может быть!» — и пошла.

В конторе Мортранса на столе горела керосиновая лампа, лежали гросбухи и сидел красивый старик с белоснежной узкой бородой. Белоснежными и узкими были и руки его, лежавшие на раскрытом гросбухе.

Он стал спрашивать, я отвечала. Его интересовали разные вещи: каковы на юге виды на урожай, есть ли уже в Ростове троллейбус, слышала ли я оперу «Катерина Измайлова»? Спросил, за что осужден мой муж — я же спросить его не осмелилась.

Так я и не знаю, кто он был, и, конечно, корю себя за то, что не дозналась; но, как и многое другое, это непоправимо и никакими домыслами тут не поможешь. Кем угодно мог он быть, духовным сановником либо светским, беспартийным либо коммунистом, и какое, в сущности, это имеет значение для кого бы то ни было... В этой пустыне погибали одинаково эти и те...

Цыгане уже разошлись, когда я возвращалась из конторы Мортранса.

Моя цыганка подошла ко мне.

— Свидание будет происходить,— сказала она,— в Кемском лагере, это совсем рядом с тем домом, где ты сняла угол. При свидании,— сказала она,— будет комендант, но это ничего! — Цыганка согнула палец и постучала косточкой сперва себя по лбу, потом по доскам, у подножья

которых я сидела. Она давала понять, какого она мнения о коменданте, который будет надзирать за нашим свиданием.

Так оно и оказалось, это было одно из самых тупых лиц, какие я видела в жизни. Он сидел за особым столиком у двери той комнаты, где происходило свидание, и все время что-то рисовал карандашом на листке бумаги, слушая наш разговор. Мы говорили свободно, стесняясь его так же мало, как деревянного дивана, на который нас усадили. Нет, он нам не мешал нисколько, этот бедный комендант. Но буду рассказывать по порядку.

Мой муж приехал с Соловков на другой вечер после цыган. Я издали увидела его на палубе — он в любой толпе был на голову выше других, рост его был 186 см... На нем было его черное кожаное пальто и серая кепка, в которых его увели из дому в ночь на 12 февраля 1935 г.

Конвойные сделали попытку не дать нам приблизиться друг к другу, но тотчас же, без наших просьб, отказались от этой попытки. Даже не помешали мне идти рядом с ним до ворот Кемского лагеря.

У этих ворот нам пришлось расстаться до следующего дня. Мы уговорились, что предоставленные нам 10 часов распределим так: три дня по два часа и четыре дня по часу.

Тогда, в начале, нам показалось, что это поистине безбрежное время, что мы — обладатели несметного богатства, и мы были счастливы — в последний раз!

На другой день и полдень я пришла к этим воротам одна. Я принесла все, что могла,— всяческую снедь из «Гастронома», жареную картошку, глиняный кувшин с вишневым вареньем, несколько буханок хлеба. Часовой указал на избу неподалеку от ворот. Я вошла в большую комнату. И когда, мой ушедший невозвратно, я вспоминаю места наших свиданий, я прежде всех светлых мест, украшенных зеленью садов и лазурью моря, вижу эту комнату в нищей избе на территории концлагеря. У двери ее сидел и рисовал тот самый комендант, перед окном сидели две женщины и мужчина, на полу — цыгане, а на деревянном диване — мой Борис в своем кожаном пальто.

Женщины перед окном оказались сестрой и матерью заключенного, сидевшего с ними у столика. Мать была глухая, дочь громко повторяла все, что говорил сын. Они стеснялись своего крика и были очень несчастны.

Но цыгане были великолепны. Они расстелили на полу цветную скатерть и пировали от всей души. На скатерти были наставлены тарелки с жареными курами и южными

плодами — виноградом, грушами, пунцовыми помидорами. Молодой цыган в шубе достал нож и один за другим разрезáл арбузы, и все они ели, и пили, и чокались с воодушевлением, очевидно видя в этой совместной трапезе высшую красоту и радость свидания. Мы с нашей жареной картошкой были, конечно, жалки рядом с ними.

— Боря,— сказала я,— ты не знаешь, за что тут эти цыгане?

Он знал и объяснил мне. Они решили самоопределиться и выбрали себе своего цыганского короля. Вон тот цыган — король, а другой — его премьер-министр. Моя красавица-цыганка оказалась супругой премьера, а некрасивая — королевой. А этот парень и девушка — принц и принцесса. Ну, и вся эта мелюзга — тоже королевские дети, высочества.

Мы поговорили о своих детях, ожидающих в Ростове моего возвращения, и о том, чего-чего только, господи, нет на свете!.. Поговорили о беглых, якобы кишащих вокруг Кеми. Муж рассказал, как он сам собирался бежать с Соловков на плоту, как они с другим заключенным строили плот, но когда он был уже построен, товарищ мужа испугался и отказался бежать. «И у меня,— сказал Борис,— не хватило духу пенять ему, он уже доходил и вскоре умер от чахотки...»

Мы разговаривали, комендант рисовал, цыгане ели и пили, те трое у окна кричали о своих делах... В общем, эта плачевная комната являла картину полноты жизни, никто не стал бы этого оспаривать... Жизни с горючими слезами, ползающими детишками, янтарными грушами, куриными ножками, торчащими из жующих ртов. Ах, с каким аппетитом они жевали, с каким размахом чокались. И вдруг звон, гром, вскрики — это зарыдала девушка с огненными глазами, упав головой на стол. Что-то запрыгало по полу, что-то разбилось. Но почти сразу рыданья прекратились, и возобновилась степенная, почти благоговейная трапеза.

Такая невинная радость — досыта накормить любимого человека — эта радость была мне дана на считанные дни, и то по особому соизволению — мне просто выпал счастливый билет, что перст судьбы отметил мое заявление в ворохе других... Не потому ли, что оно было написано самыми простыми словами, без всяких попыток растрогать?.. Москва ведь слезам не верит, сказано давным-давно...

Первые два часа пролетели как одно мгновение. Уже в конце первого часа мы поняли, что наше богатство —

мираж, что не успеем мы оглянуться, как окажется, что ему конец. Так и было, но все же спасибо судьбе за эти часы...

Я приходила каждый день и приносила еду, однажды мне посчастливилось раздобыть десяток свежих яиц, в другой раз — даже мяса, так что я смогла принести Борису бифштекс. Он говорил, что уже и мечтать перестал о такой пище.

Он попросил, чтобы я перед своим отъездом передала ему денег, так как по почте они идут очень долго. Я обещала с легким сердцем — деньги ведь лежали у меня в чулке...

Но за день до отъезда я чуть было не провалилась с этим делом...

Я пришла на свидание, не чуя недоброго. И вдруг комендант приказал мне войти в смежную комнату, а там меня ждала рослая дивчина, которая объявила, что должна меня обыскать.

Вошел комендант и подтвердил, что я должна дать этой гражданке меня обыскать.

— Оружие есть? — спросила дивчина.

— Ну что вы! — сказала я.

— Деньги? Письма? — приставала дивчина.

— Ничего нет,— соврала я, и вдруг меня осенило — надо идти напролом: — Есть деньги,— сказала я.

— В лифчике?

— Нет. В чулке.

— Товарищ комендант,— позвала дивчина.— Они говорят, у них в чулке деньги.

— Покажите,— сказал комендант. Я достала деньги и паспорт и протянула дивчине.— А зачем вы это спрятали?

— Видите, меня предупредили,— сказала я,— что тут кругом бродят беглые. Если бы они отобрали у меня деньги, мне бы и домой не доехать.

— Это у нас есть,— признал он хмуро.— Ну ладно, идите.

— Паспорт-то хоть отдайте!

— Отдай им всё,— приказал он дивчине. Она отдала.

В соседней комнате меня встретили испуганные глаза мужа: он уже знал, что в этот день всех приехавших на свидание обыскивают. Я его успокоила и передала ему деньги.

Между прочим, они ему были нужны, чтобы заплатить долг. Дело в том, что на свидание его привезли за плату.

Вот как это было: он отдыхал после обеда, и вдруг его позвали: «Вахтин, на свиданье!» Он пошел, ему сказали: «Пять рублей за проезд!» У него не было. Вдруг он увидел Третесского. Тот себя все время чувствовал перед товарищами виноватым, так как имел слабость подписать при следствии все нелепые обвинения. Теперь, увидев Бориса и узнав, что его вызывают на свидание, он сказал: «Не говори Вере, что я сознался». Борис на это сказал: «Давай пять рублей!» У Третесского деньги нашлись, и он дал.

— Боря,— сказала я,— они же с тебя и за обратную дорогу потребуют.

— Ну уж нет,— сказал он,— я мог еще заплатить за то, чтобы меня отвезли на свидание. Но платить за то, чтобы меня везли обратно на каторгу,— нет уж, этого не будет.

Из этого ответа я поняла, как невыносимо ему живется на каторге из-за этой его гордыни и непримиримости. Ах, всегда и везде легче живется нестроптивым, смирным, со всеми соглашающимся. А мы с ним никогда такими не были, вот и обошлась с нами жизнь так, как обошлась.

Осталось рассказать о прощании — последнем, потому что больше мы не встречались.

Как я купила билет, и как трудно мне было ему об этом сказать, и как мы простились в этой комнате, зная, что завтра я уже не приду сюда.

Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб, я знала, что он думает о самоубийстве, и он потом писал мне в Ростов, что его поразило именно то, что я ему перекрестила лоб... Но мы ведь всегда всё знали друг о друге...

Потом я вышла и пошла к воротам. У забора из колючей проволоки остановилась. Подошел солдатик-конвойный и стал рядом. И вдруг я услышала голос Бориса: «Вера, прощай», и он прошел за колючей проволокой, еще раз прошел передо мной — уже в самый, самый последний раз я увидела его солнечные волосы и прекрасное, неповторимое лицо.

И я знаю: если я когда-нибудь в чем-нибудь могла быть перед ним виновата — при жизни ли его или после его кончины (он реабилитирован посмертно) — я знаю, он все мне простил ради той минуты, когда мы прощались у колючей проволоки...

30
ЗИМА 1936/1937 ГОДА

Несмотря на нужду и на горе, которое никак не хотело смягчаться, эта зима вспоминается мне как хорошая. Это потому, что, во-первых, все трое детишек опять были со мной и я знала каждый день и час, что с ними происходит, кто что сказал и т. д. Наташа ходила в школу и по вечерам при мне готовила уроки за нашим большим обеденным столом (еще из грибановского магазина). Мальчики же были дома целый день, у меня на глазах.

Во-вторых, в эту зиму нас материально поддерживал Торгсин (магазин, где продавалось все что угодно на валюту или золото). Валюты у нас не было, но было кое-какое столовое серебро, кое-какие золотые вещи: нательные крестики с цепочками, мой золотой, с монограммой медальон — тоже на хорошей цепочке, мое золотое колечко с хризопразом, мамино и папино обручальные кольца. Это все ушло в Торгсин, и дети хорошо питались всю зиму. Конечно, было не без болезней. То простуда, то ангина, то вдруг конъюнктивит у Борюши, то дети во дворе ударили Борю по голове разбитой бутылкой, так что из-под его матросской шапочки потоками лилась темно-красная кровь, и я, схватив его на руки, бегом бежала с ним в ближайшую поликлинику, то в нашем садике выкопали яму для посадки дерева, и Юрка пытался перепрыгнуть через нее и, конечно, свалился и растянул себе ногу.

К новому, 1937 году я устроила моим ребятам елку. В то время купить елку было невозможно, но дядя Володя, Владимир Леонидович, достал нам несколько больших пушистых еловых лап (кажется, купил у кладбищенского сторожа), и я проволокой связала эти лапы в одну хорошенькую пышную елочку. Одни наши знакомые прекрасно делали елочные игрушки, от самых простеньких до самых сложных, и нас научили, мы с мамой недели две просидели над этим делом, и елочка получилась у нас на славу.

Я писала, что любовалась детскими словечками. Они говорили премило, особенно Юрик. Подойдя ко мне и протягивая ручки, он говорил:

— Суките кавчики. (Что означало: засучите рукавчики.)

Сухарики он называл макариками, видимо, от слова «макать». (У Чуковского в «От двух до пяти» ребенок называет сухарики кусариками.) И совершенно «чуковский» разговор был у него однажды с бабушкой, моей мамой:

— Бабушка, ты скоро сдохнешь?

— А тебе этого хочется?

— Да.

— А зачем?

— А я тогда цельный день буду у Вальки сидеть.

Валька была хозяйская девочка, обожавшая его и водившая смотреть на похороны, что Юрке очень нравилось. Мимо домика, где мы жили, часто проходили похоронные процессии с музыкой, так как кладбище находилось неподалеку, и Юрка вместе с Валей вечно торчал в толпе, глазеющей на эти процессии.

И гулять его Валя водила на кладбище, как нас когда-то наша няня Марья Алексеевна. Так что мрачный и диковатый старик, Валькин дед, сказал мне однажды:

— Федоровна, ты не пущай Юрку с Валькой на кладбище. Не вышло бы чего.

— А что может выйти? — спросила я.

— А то, что такого мальчонку кто хочешь украдет,— сказал старик сурово и заботливо.

Наташа, вернувшись в Ростов, стала ходить в ближайшую школу. Она училась хорошо, много читала, в том числе газеты «Ленинские внучата» и «Пионерская правда». «Пионерская правда» в то время обучала своих читателей играть в шахматы, для этого печатала цикл статей, очень толковых. Наташа их прочла, и ей загорелось играть в шахматы. У меня не было денег на настоящие шахматы, я купила картонную доску и набор специальных шашек, на каждой шашке была изображена шахматная фигурка — конь, слон, ладья, ферзь, король, так что этими шашками можно было играть и в шахматы. Принесла я все это домой, и мы с Наташей уселись играть на углу нашего обеденного стола. Но ей моментально надоела эта игра, я же всегда была равнодушна к шахматам, а мальчишки стояли рядом, как два столбика, и немного погодя сказали:

— Теперь мы,— и, к моему удивлению, стали играть так, словно их этому специально учили.

Это было зимой 1936/1937 года, а с весны в наш зеленый дворик стали ходить мальчуганы, маленькие и большие, и даже совсем великовозрастные,— играть в шахматы с Борей и Юрой: такая о них пошла слава. Однажды, гуляя с ними в скверике перед Покровской церковью и проходя мимо скамьи, на которой сидели взрослые и молодежь, я услышала, как какой-то парень сказал:

— Вон идут самые маленькие шахматисты в Ростове.
— Где? — спросил кто-то.
— А вон — беленькие, за ручку с мамой идут.

Я возгордилась, но напрасно: правда, сыновья мои несколько лет занимались шахматами, участвовали в школьных турнирах, даже получали какие-то разряды, но ни один из них не ушел в это дело с головой, не превысил того уровня, за которым начинается настоящий шахматист. Другое было суждено им.

Так же преждевременно и зря восхищалась я одно время математическими способностями Бори.

Однажды я читала книгу, держа ее раскрытой на коленях. Боря подошел и, ткнув пальцем в колонцифру, сказал:

— Триста семьдесят два,— и это было совершенно точно, хотя никто его до этого не учил читать числа, он дошел, как говорится, своим умом.

А после этого стал поражать нас способностью безупречно производить в уме арифметические действия, особенно вычитание.

— Сколько вам лет? — с ребячьей бесцеремонностью спрашивал он у кого-нибудь и, получив ответ, говорил: — Значит, вы родились в таком-то году.— И всегда расчет был правильный.

— Математиком будет,— возмечтала я, но и это оказалось такой же обманчивой вспышкой детской одаренности, как в случае с шахматами. Не стал мой Борюша математиком, как не стал и шахматистом. Литература, слово стали для него главным предметом и устремлением, мои гены вошли в него.

Я им всем троим очень рано и очень много стала читать — и прозу, и стихи. Чего мы только не читали, и они все впитывали в себя, как губка впитывает влагу. Иногда я не читала, а рассказывала, это тоже давало им порядочно. Помню, в «Таинственном острове» Жюля Верна встретилось нам выражение «Ноев ковчег», и онн сейчас же спросили, что это значит. Я рассказала им легенду о всемирном потопе и о Ное. Выслушали с величайшим вниманием — я бы сказала, с вдохновением. Потом Юрик сказал:

— Расскажи еще раз: я не понял, откуда был гной.

«Гной» — было понятно, гной был у бабушки в нарыве на пальце, и к пальцу прикладывали компресс, а Ной — было ново и туманно, и я не поленилась рассказать еще раз.

Помню, что позже, уже в Шишаках, на берегу Псла, на песочке, я им читала «Думу про Опанаса». Это было трудно, приходилось с ходу объяснять множество сложных вещей, начиная с гайдамаков и кончая тем, что значит «Опанасе, наша доля туманом повита», но как же я была вознаграждена, когда, дочитав последние слова, которые и у меня всегда вызывают ком в горле, я увидела, что они, все трое, еле удерживаются от слез.

Но это чтение на Псле было много позже, а пока что мы находились еще в Ростове, на Богатяновском проспекте, в доме застройщика Матвея Карповича Заднеулицына. И вдруг заболевает мой Боря. После каждого приема пищи он жалуется на боль, и мама первая догадывается, что это — аппендицит, ведь и я в 1928 году чуть не умерла от аппендицита, и Борис, отец, болел аппендицитом и перенес сложнейшую операцию... Ведем нашего мальчика к врачу, тот подтверждает: аппендицит, оперировать надо срочно. Везу Борюшу в больницу — она далеко, на окраине, где-то за Нахаловкой. Первым специалистом по операции аппендицита слывет доктор Аствацатуров, мне удается его умолить, чтобы оперировал он.

Дни идут быстро, наступает день операции.

С утра я в больнице, в той детской палате, где лежит мой мальчик, такой синеглазый, такой с виду здоровенький. При мне его на носилках с колесиками увозят в операционную. Я прихожу, как мне велено, через три часа и вместо моего прекрасного розового мальчика вижу на той же койке нечто больное, с неузнаваемым зеленоватым личиком, измученное рвотой после наркоза. И безумное раскаянье охватывает меня — зачем я послушалась врачей, зачем согласилась на эту операцию? Потом-то выяснилось, что иначе нельзя было, но в тот день тревога меня истерзала.

Больше всего мучила меня возможность нагноения (какое было в свое время у меня). Я знала, что ребенок перитонита пережить не может. Из больницы его выписали скоро, через несколько дней. Запретили везти в трамвае, велели, чтоб шел сам. Но ему это было трудно, и я почти всю дорогу несла его на руках. Он был в шубке, в ботах и потому довольно тяжел, и чуть ли не на каждое встречное крыльцо я стелила свой вязаный шарф, и мы с сыночком, присев, отдыхали две-три минуты. Но когда дня через три выяснилось, что у него в правой стороне живота назревает абсцесс (как было у меня когда-то), меня охватил страх.

И тут я вспомнила о средстве, которое, как я надеялась,

может спасти моего сына. Тогда еще мало знали — так, только слух ходил — об удивительных целебных свойствах цитрусовых плодов. В ту весну город был завален великолепными испанскими апельсинами и лимонами, и я купила сразу чуть не сотню этих плодов — на все деньги, какие были в доме,— и, не спрося даже доктора, стала отпаивать Борю соком. Я выжимала в чашку несколько апельсинов и добавляла туда же лимонного сока, и он пил это питье по несколько раз в день. Через неделю примерно его снова посмотрел хирург и сказал, что это очень странно, но инфильтрат уменьшился. «Что вы делали? — спросил он.— Компрессы?» И очень меня похвалил, когда я рассказала про апельсины и лимоны. Я продолжала это лечение, и вскоре опасность гнойного заражения совершенно отпала.

Да, но зато явилось другое: мой мальчик совершенно перестал есть, он отказывался от любой пищи, даже самой лакомой, единственное, что он соглашался принимать, был чай с бубликами, но какая же это еда? Ему варился суп из его любимых куриных потрохов, его любимые компоты из фруктов и ягод, и Наташа с Юрой съедали это все с восторгом, а Боря ничего в рот не брал. Он стал быстро худеть, и мы с мамой только плакали, глядя на него. И наконец доктор сказал мне, что если я не вывезу сына немедленно в сельскую местность, где к нему вернулся бы аппетит, то у него разовьется скоротечная чахотка.

Сельская местность? Я сейчас же подумала о Шишаках. Там уже были кое-какие связи, климат там был превосходный — сосновый бор, сухой песок, благодатная природа прекраснейшей страны — Украины. Но вывезти? На какие деньги?.. Мы еле перебивались, тратя только на питание.

31

ШИШАКИ

И в одно прекрасное утро, в начале июня 1937 года, я с детьми погрузилась в вагон и поехала на благословенную Украину.

Я заранее написала М. В. Кошевой, прося снять для нас недорогую комнату. Она ответила, что исполнит мою просьбу. Конечно, без ее помощи мы бы не обошлись.

Ехали мы трудно, так как на четверых у нас была одна нижняя полка. Кое-как я расположила на ней ребят, а сама спала возле них.

Доехали мы до станции Сагайдак. Там наняли подводу и поехали в Шишаки.

Сперва мы, конечно, заехали к М. В. Кошевой. Она накормила нас вкуснейшим традиционным борщом и, покричав через тын своего сада некую Федорушку, велела ей проводить нас в снятую для нас комнату у какой-то Гапки. Гапок в Шишаках было много, я не помню фамилии той, у которой мы поселились первоначально. Это была довольно просторная комната в веселой белой хате, окнами на огород и в садик, где под вишнями была сложена из кирпичей маленькая плита для летней стряпни. Первое мое дело было наладить для старшего сына то питание, какое рекомендовал ему доктор. Это уладилось очень просто — и с парным молоком, и с яйцами из-под курицы, и с самими курами для бульона. В комнате было чисто, пол смазан свежей глиной и посыпан травкой, стены свежевыбелены. Правда, кровать была одна, за печью, но зато громадная, все трое ребят укладывались на ней поперек, а я спала на лавке, что отнюдь не было неудобно.

О радость, о счастье! Со второго же дня мой Борюша стал есть, как до болезни, особенно охотно он ел сырые яйца, которые я взбалтывала в кружке, куда крошила мякиш превосходного деревенского пшеничного хлеба. А перед вечером хозяйка приносила нам кувшин парного молока, и все ребята его пили с удовольствием, которого я не понимала, но которому радовалась.

Так началась наша жизнь в Шишаках.

32

ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА В ДЕРЕВНЕ

Это чудесное место я полюбила еще тогда, когда впервые приезжала сюда с Борисом и детьми в 1931 году Теперь, увидев, как буквально на глазах стал здесь поправляться и крепнуть старший сын, я решила, что буду держать здесь детишек, пока будет хоть малейшая возможность. Одна мысль о возвращении в Ростов была мне отвратительна. В Шишаках мы с детишками прожили тогда больше двух лет. Конечно, жить в деревне в наемных квартирах совсем не то, что жить в своей хате, но я приноровилась и не тужила. Главная забота моя была создать детям возможно лучшие условия жизни. Не умея готовить в русской печи, я стряпала на маленькой плите, сложенной в саду под вишнями. На маленьком, но обильном деревен-

ском базаре покупала все самое питательное и вкусное. Тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова, преподавательница математики, жившая в Дербенте, присылала мне ежемесячно небольшую сумму, мне хватало. Так прошло лето 1937 года.

Осенью Мария Владиславовна Кошевая должна была вернуться в Ленинград. Там она жила постоянно со своим мужем Борисом Васильевичем Кошевым, только на лето приезжала в Шишаки. Предстоящий ее отъезд меня беспокоил, я чувствовала, что он вызовет в нашей жизни какие-то перемены, но не знала, какие именно. Мне очень хотелось, чтобы к нам приехала мама, мне уже по горло хватало разлук, но почему-то я стеснялась заговорить об этом с Марией Владиславовной. Как вдруг она со мной сама об этом заговорила.

В то лето кроме каких-то гостей, ленинградских знакомых, у Марии Владиславовны жила некая Людмила Леонидовна Арбенева, вдова, пожилая, больная женщина, разбитая параличом. Характера она была доброго и миролюбивого и тихо жила в отведенной ей светлой угловой комнатке рядом со столовой. Мария Владиславовна за нею ходила и сокрушалась, как же Людмила Леонидовна будет без нее. И вот однажды сказала мне, что просит меня с детьми и мамой поселиться в ее доме с тем, что я и мама будем ухаживать за Людмилой Леонидовной. Я согласилась с радостью, ее дом очень мне нравился, и в нем нам с мамой, конечно, было бы лучше хозяйничать, в этом благоустроенном домике, чем в непривычной хате с русской печью. Кроме ухода за больной нужно было следить и за маленьким хозяйством Марии Владиславовны — кормить кур, топить печи, сбрасывать снег с крыши и присмотреть, чтобы весной вовремя был вскопан и засажен огород. Копать и сажать обязалась одна из соседок — колхозница Федора Ивановна Романовская, она же носила нам воду из колодца, мазала пол в кухне (в комнатах полы были дощатые) и консультировала нас по части куроводства. С ее сыном Миколой, школьником лет тринадцати, очень скоро подружились Боря и Юра, это был славный смышленый мальчик, по всему его поведению видно было, что он растет в нравственной и разумной семье, где не принято ни ругаться, ни даже ссориться, где все благообразно и достойно. Кроме него ходили к детям еще две девочки из громадной семьи Воронянских, Нина и Галя, обе красавицы, особенно Нина, я лиц с таким мягким овалом и такими ресницами никогда не видела. Впрочем, мои ребята и без партнеров играли отлично, особенно когда приехала мама и привезла все их игрушки. Под детскую комнату мы определили столовую, где было светлее всего и имелась лежанка. Мы с мамой спали на лежанке и раскладушке, а дети в своих кроватках. Большую дверь на террасу Мария Владиславовна, уезжая, занавесила ковром, чтобы не дуло, на подоконниках стояли цветы. Вдоль ковра стоял простой стол, под которым дети держали свои игрушки. Утром, едва встав и одевшись, они опрометью бросались под стол и сейчас же принимались строить из кубиков дома и крепости, расставлять пушки для сражения и т. д.

Наш с мамой день был очень уплотнен, полон хлопотами по хозяйству и уходом за детьми и за больной Людмилой Леонидовной. Несмотря на то что дом был почти городского типа, нам многому приходилось учиться заново. Между прочим, мы, привыкшие к каменному углю, не умели топить дровами, и у нас уходило их очень много, а они были дороги. Я не умела стирать так, как стирали деревенские женщины, и меня мучило, что мое белье получается не таким ослепительно белоснежным, как у них, и все-таки я не могла принудить себя полоскать белье в ледяном Псле и отмывать его в самодельном щелоке, разъедавшем кожу. Перелагать же все эти работы на чужие руки не было никакой возможности.

В ту зиму у нас было несколько событий. Во-первых, мы устроили елку. Много вечеров сидели с мамой и сделали множество игрушек и мешочков для сластей. Саму елку достали без труда, свежую и прекрасную. Пришли все приятели детишек. Мы всем подарили по самодельной куколке и по мешочку с гостинцами. Дети читали стихи, танцевали и пели, и нас поразила музыкальность, артистизм и прелестные голоса этих маленьких украинцев и украинок. И было очень приятно, когда на другой день стали приходить матери и бабушки, благодарить и говорить, что даже в школе и в Доме культуры никогда не было такой интересной елки и таких подарков. И, уже порядочно ознакомленная с шишакской жизнью, я знала, что наши немудреные куколки в юбчонках из жатой бумаги сейчас висят по хатам, прикрепленные к зеркалам и занавескам.

Но наиболее значительным и чреватым событиями было письмо моей свекрови, Марии Петровны Колтовской. Она извещала, что скоро она и ее муж приедут в Шишаки и мы будем жить все вместе. Предстоял еще какой-то неведомый перелом, и я решительно не знала, радоваться ему или нет.

С одной стороны, вроде бы хорошо сплотиться всем вокруг детишек и поднимать их сообща. С другой стороны, у свекрови характер был отнюдь не мягкий, и было жутковато, как-то мы сживемся, что у нас получится?

Они приехали ранней весной, и следом за ними прибыла и Мария Владиславовна, наша хозяйка. Она распорядилась так: я с семьей (мамой и детьми) переселюсь во флигель, и в так называемом большом доме будут жить Мария Петровна с мужем. Нисколько не обсуждая это распоряжение, мы так и разместились, и я не чувствовала себя ущемленной, живя в прелестном маленьком домике с веселой террасой, вокруг которой вились по веревочкам посаженные мною бобы. Между двумя домиками свекор разбил клумбы и посадил цветы, по вечерам мы с детьми их поливали.

Моя свекровь была одной из самых красивых женщин, каких я встречала в моей жизни. На шестом десятке лет ее лицо не утратило тонких черт, фигура — стройности и горделивости, удлиненные черные глаза — молодого блеска. Зная, что ею любуются, она говорила не без кокетства: «А мне уже за пятьдесят», и не находилось человека, который бы осудил это маленькое и такое законное ее кокетство.

Она окончила Смольный институт, и в ее альбомах с фотокарточками был портрет юной красавицы в институтской форме — строгом темном платье с белой пелериной и длинными белыми нарукавниками — рукавчиками, как она их звала по институтской привычке. Смольный институт в ее юности был учреждением для воспитания так называемых благородных девиц, но, видимо, учили там этих девиц не только иностранным языкам, танцам и другим подобным вещам, но и многому другому, более полезному, так как на моих глазах Мария Петровна и стирала, и полы мыла, и картошку чистила не хуже любой деревенской женщины, и золу просеивала, и дрова пилила с удовольствием, находя это полезным для здоровья.

Все это мне очень нравилось, как и то, что она держится, что называется, в форме, никогда не выходит к столу небрежно причесанной, кое-как умытой. Но многое мне, естественно, было чуждо в этой женщине другого поколения и других понятий о жизни, особенно же нас рознило разное отношение к литературе, да еще ее властность, постоянно натыкавшаяся на мое врожденное упрямство, и это неизменно вызывало между нами короткие, но бурные

вспышки, от которых обе мы душевно страдали, но с которыми ни одна не умела бороться. Бабушка она была прекрасная, заботливая и умная, так что дети мои росли под внимательным присмотром двух разных бабок, благородной и плебейской, и каждая из них была достойна уважения. И иной раз, видя небрежное отношение к старикам в той или другой семье, мне хочется сказать: «Берегите ваших бабушек и дедушек, сколько бы ни было у них недостатков, без них вам было бы куда как трудно жить». И в самом деле, какие бы между мною и моею свекровью ни происходили стычки — на почве ли ревности к детям, или на почве великой разницы во взгляде на жизнь,— мы после каждой из них остывали мгновенно, и отношения наши снова становились душевными, и в детей она снова вкладывала все свои силы.

И обеих бабушек я вспоминаю с неизбывной любовью — и кроткую мою маму, так мало видевшую в жизни радости, и пылкую свекровь.

Первое время все у нас шло хорошо, раздражаться мы стали позже, летом.

Теперь я думаю, что раздражение было вызвано тогда, главным образом, появлением слишком многих людей.

По моему довольно легкомысленному приглашению из Ленинграда приехала Галя, жена Арсения Старосельского, с полуторагодовалой дочерью Таней. По своему желанию приехали из Ростова дядя Володя и тетя Аниа Васильевна, а из Дербента — тетка Бориса Елена Васильевна Аккерманова. Из Москвы приехала старинная приятельница свекрови Любовь Евстафьевна Бовэ с сыном-школьником и молоденькой невесткой Любочкой, женой старшего сына. Приехал младший сын Марии Петровны. Из Ростова приехал мой знакомый, старый журналист Михаил Маркович Майзель.

Со свойственным ей пылом и торопливостью свекровь взялась на всех на них стряпать. Уставала она, конечно, немилосердно, хотя и мы с мамой, и все женщины ей помогали. И хотя все эти приезжие жили отдельно, разместившись в наемных комнатках и углах, но большую часть дня проводили у нас, и, конечно, такое множество различных людей, такой перекрест характеров, привычек, симпатий, антипатий не могли не содействовать постоянному беспокойному раздражению и нервическим вспышкам. Мария Владиславовна почему-то невзлюбила Галю, и каждый Галин поступок вызывал ее гнев, и такие же отношения возникли между теткой Аккермановой и мною; возможно,

существовали и другие конфликты, о которых я не знала. Так что к концу лета все это стало помаленьку походить на пороховой погреб.

Еще зимой, до приезда свекрови, задумала я написать пьесу. Вспомнив времена «Ленинских внучат», решила написать об испанских событиях. С самого начала это было безумием: что я знала об этих событиях, кроме газетной информации? Я даже не могла сложить ни одной мало-мальски вразумительной реплики, а потому решила писать белым стихом: мне казалось, что это легче. Писала я прямо в тетрадку, без черновиков, увлеченная не столько событиями, сколько течением пятистопного ямба, казавшегося мне прекрасным. Да, в первый и последний раз в жизни я сочинила тогда трагедию в стихах. Называлась она «Мерседес» и стояла за гранью всего, что хоть отдаленно имеет право называться литературой. К счастью, я тогда в вихре новых творческих ощущений этого не понимала. К счастью, ибо, понимай я, разве я рискнула бы послать эту тетрадку в Москву на имя Сталина? Уже отправив заказную бандероль с нашей деревенской почты, я перечитала мое сочинение и пришла в ужас, но было поздно — послание ушло.

Я утешала себя тем, что оно не дойдет, а если и дойдет, то на него не будет ответа. И почти уговорила себя, что никто моей дурацкой трагедии не прочтет, как вдруг в разгаре лета пришел ответ.

Сперва он удивил меня безмерно, так как был не из секретариата Сталина и, разумеется, не от него самого, а из какого-то учреждения с неизвестным мне в ту пору названием. Потом-то все оказалось очень просто: секретариат Сталина переслал мое письмо в Управление по делам искусств с просьбой дать оценку моей пьесе, а Управление поручило это драматургу Александре Яковлевне Бруштейн. И теперь письмо этой незнакомой женщины я держала в руках, мучительно вчитываясь в легкие беглые строчки и наслаждаясь ими. Нет, она не хвалила. С жестокой искренностью она высказывала свое мнение, и я не могла не чувствовать его справедливости. Надо писать о том, что знаешь непосредственно, а не из газет, говорилось в письме. Говорилось там также и о подражательности, и о напыщенности, ясно намекалось и на недостаток культуры у автора. Все это была несомненная правда, но мне было легко и радостно читать все это, ибо одновременно мой рецензент отмечал мои литературные способности и выражал уверенность, что я сумею проложить себе

дорогу в литературе. А в конце была приписка, что если я буду в Москве, то чтобы пришла по такому-то адресу, чтобы познакомиться.

33

Я ОТПРАВЛЯЮСЬ ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Еще до Галиного приезда в Шишаки было решено, что обратно она поедет вместе с Наташей. Наташе надо было продолжать учение в русской школе. Арсений хотел, чтобы это была ленинградская школа. У меня не было ни материальной, ни моральной возможности возражать против того, чтобы Наташа пока что пожила у отца, но от мысли о предстоящей новой разлуке у меня разрывалось сердце, я с ужасом ждала момента, когда собравшиеся у нас гости начнут разъезжаться, по ночам мне снилось, как мы с дочкой прощаемся на покрытой подсолнечной шелухой платформе.

И вдруг после одной такой тоскливой ночи, когда и просыпаться не хочется, у меня блеснула мысль: а что, если и мне вместе с Наташей и Галей уехать в Ленинград, чего мне ждать в Шишаках, что тут может быть, я даже написать ничего путного не смогу, да и вообще работы тут не найти, поеду-ка в Ленинград, в Москву, вдруг там улыбнется судьба?.. Думаю, что пришла эта мысль из письма милой А. Я. Бруштейн, как бы подсказавшей мне, что я могу в скором времени быть в Москве.

Я написала о моем плане тете Лиле, которая тогда жила в Ленинграде, обменяв свои московские комнаты на ленинградскую квартиру. И вот судьба! Тетя Лиля и дядя Саша без всяких моих просьб прислали мне на дорогу денег и пригласили первое время в Ленинграде пожить у них. А Любовь Евстафьевна Бовэ звала меня в Москву, говоря, что я могу жить у нее, сколько будет нужно по моим делам. Должна сказать, что Бовэ с первого знакомства относилась ко мне с большой симпатией и твердо защищала в наших стычках со свекровью и свекром. Те и слышать не хотели о моей поездке. Любовь же Евстафьевна утверждала, что я ничего не могу сделать умнее, как оставить Шишаки и пытаться найти свою литературную судьбу. Не думаю, чтобы она веровала в мои способности, ей неоткуда было их узнать, не думаю также, чтобы ее так уж пленяли мои качества, просто она была сама человеком смелым и деятельным и любила видеть эти свойства в других. Она

доброжелательно внушала мне, что у меня еще все впереди, только не надо быть лежачим камнем, надо выходить в мир, в жизнь. Я была ей горячо благодарна за эту поддержку и тоже начинала искренне ее любить. Но еще больше поддержала меня — совершенно внезапно — добрая наша Мария Владиславовна. После одной бурной сцены между мной и свекровью по поводу моего отъезда она догнала меня в саду и сказала:

— Вера Федоровна, не слушайте вы их, поезжайте за вашей синей птицей.

Ее муж, тоже проводивший свой отпуск в Шишаках, первый покинул наш кишащий людьми, арбузами и конфликтами приют и уехал в Ленинград. За ним стали разъезжаться и другие, не было дня без отъездов, и вот наступил день, когда надо было уезжать и мне с Галей и девочками.

Сборы мои были недолги, и вот в один солнечный августовский день мы сидели, свесив ноги, на колхозной телеге и Никита Трофимович Воронянский, дед хорошеньких Нины и Гали, вез нас на станцию Яреськи. Билеты были куплены, телеграмма Арсению отправлена. В конце улицы телегу догнали мои мальчики. У меня сжалось сердце, когда я еще раз поцеловала их, сжалось оттого, что я не могла взять их с собой, оттого, что завтра я их уже не увижу и кто знает, когда увижу и при каких обстоятельствах. И с этой болью я поехала за моей синей птицей.

Прелестна была дорога среди полей и мимо Бутовой горы с ее лесом, но потом был долгий путь в жестком вагоне, а еще труднее была безумная пересадка в Киеве, где мы толкались от одного переполненного вагона к другому. К сожалению, в Киеве у нас хватило времени только на то, чтобы побывать в Ботаническом саду, и я безбожно упустила в тот раз случай подробно ознакомиться с этим городом Ольги и Феодосия, Михаила Булгакова и Турбиных. Просчет этот, впрочем, пошел мне на пользу, и с тех пор, куда бы я ни попадала, стараюсь все увидеть, унести в памяти каждую деталь.

Проходил день за днем, мы приближались к Ленинграду. Галю волновала предстоящая встреча с Арсением, их отношения сложились явно не очень-то благополучно.

Я заранее решила, что постараюсь как можно меньше обременять ее своей особой и как можно больше помогать по хозяйству, и на этом решении я успокоилась, стараясь думать о том, как, отыскав синюю птицу, возвращусь

к моим мальчикам и маме. Я даже поделилась этими мечтами с Галей, но она облила меня холодной водой, приведя пословицу: «Дурак думкой богатеет», и я не могла в тот момент мысленно не согласиться с этой небогатой мудростью.

Но вот мы подъехали к Ленинграду, наш поезд покружил в лабиринте путей и остановился перед зданием Витебского вокзала. Среди людей замелькала на платформе косоворотка Арсения.

Он был точно такой, как в давние времена, когда терзал меня «150 миллионами» Маяковского: все было на месте — косоворотка, кепка, портфель, неутомимая манера пропагандировать.

Мы в трамвае поехали на Крестовский остров, где была квартира Гали и Арсения. Это была комната в одном из громадных корпусов на Морском проспекте. Кухня была общая, грязная. Ванной не было.

Галя предоставила мне на выбор одну из кроватей и оттоманку, и я зажила новой, в сущности, бездомной жизнью. Ибо меньше всего было домом это жилье, где никто ничего не берег и не ценил, где полностью восторжествовали антимещанские принципы Арсения, где мне, как говорится, давали по рукам, если я пыталась приукрасить комнату или хотя бы привести ее в порядок. Беспорядочность здесь была доведена до предела.

Пригляднее и уютнее показалась мне после этого жилья квартира тети Лили и дяди Саши на Моховой. Там было всего две комнаты, но в них было чисто. К ним я вскоре и переехала.

Пока не было тети Лили, я чувствовала себя в ее семье очень нужным человеком, почти хозяйкой. От меня зависело, чтобы они все были сыты и довольны жизнью, мне это нравилось.

В моем крохотном коричневом чемоданчике я привезла рукопись новой пьесы, начатой в Шишаках. По вечерам, когда все ложились спать, дядя Саша зажигал лампу на своем чертежном столе и садился чертить, а я запиралась в кухне и, сняв посуду с кухонного стола, принималась за свое сочинение. Впрочем, историю «Ильи Косогора» я опишу отдельно и подробно, с этой пьесы началось мое бытие как драматурга.

Я начала ее летом 1939 года. Начала потому, что прочла в харьковской газете «Комуніст» о конкурсе на лучшую пьесу для колхозного театра. Были опубликованы условия конкурса: не более пятнадцати действующих лиц,

не более двух смен декораций, рукопись должна быть перепечатана на машинке.

Я писала, лежа на траве в саду Воронянского. Сад переходил в леваду. Пахло свежим сеном — на леваде тут и там стояли новенькие копны. Удоды пролетали надо мной и проваливались в дупло старой ивы, где у них было гнездо. Иногда из дупла выскакивала головка удоденка с продолговатым клювом и с коричневым забавным хохолком. Но хрустнет где-то сучок — и удоденок мгновенно проваливается в дупло, и там ни возни, ни шороха. Я писала прилежно час за часом, и, хотя эта пьеса не была продиктована ни вдохновением, ни тесным сродством с материалом, кое-что в этой работе доставляло мне настоящую творческую радость: создание судеб и характеров, драматичность некоторых ситуаций, удачно найденное слово. Хотя при этом [redacted] прекрасно понимала, что эта пьеса еще отнюдь не я, что мне еще долго предстоит искать себя, то есть точку приложения моих возможностей в литературе. В то время я находилась под могучим влиянием драматургии Горького и невольно подражала ему.

Впоследствии, через много лет, когда Гослитиздат издавал собрание моих сочинений, мой редактор П. А. Сидоров поместил «Илью Косогора» в том исторических моих произведений. Здесь хочу оговориться: я никогда не считала эту пьесу исторической, она и не замышлялась как таковая. Найдя среди моих шишакских знакомых резко выраженный характер потенциального мироеда, не могший развернуться в условиях колхозного бытия, я поместила этот характер в иное, «столыпинское время», где он и смог показать все [redacted] нем заложенное. Фамилия Косогор тоже была взята из шишакского окружения, остальное же являлось вымыслом, рождавшимся по мере того, как я писала, так сказать из-под пера,— совершенно новое для меня и заманчивое явление.

У меня было мало бумаги, а писалось быстро. Днем, повторяю, я писала на леваде, ночью же работала на лежанке, где спала. Днем моя чернильница стояла на земле среди травинок, ночью — на выступе лежанки. Днем мне светило солнце, ночью я прилаживала на том же выступе обломок свечки, оставшийся от прошлогодней елки. Какой это был крошечный, чахлый, шатающийся огонек! Но и ему приходилось радоваться.

В Ленинград я взяла пачку черновых листков и вырезку из «Комуніста». Купив клеенчатую тетрадь, старательно переписала туда пьесу, попутно исправляя и дополняя

ее. Это я уже делала в кухне тети Лили, у большого стола, при электрическом свете. Помню, приятно было сознание, что вот они спят, [redacted] я работаю — делаю, как мне казалось, что-то важное. По условиям конкурса пьесу надо было перепечатать на машинке, но об этом не приходилось и мечтать. «Авось сойдет и так»,— думала я, отправляя пьесу на конкурс.

Надо было указать адрес автора. Шишакский адрес показался мне несолидным, я присвоила себе адрес Арсения и Гали, живших на Крестовском острове. Теперь нужно было ждать.

Конечно, я не надеялась ни на какую премию. Я ведь не знала тогда, что такое подобные конкурсы. Мне представлялось, что [redacted] соприкасаюсь с Парнасом. Зная слабости моей работы и вспоминая обсуждения в ростовском РАППе, я старалась вообразить себе, какие громы грянут из парнасских туч.

Житье мое тем временем было абсолютно птичьим. Сначала меня на месяц прописала [redacted] своей квартире тетя Лиля. Потом, когда срок прописки истек, удалось прописаться в квартире Арсения и Галины — тоже временно. Денег было еще меньше, чем в Шишаках. Чтобы доехать от Моховой до Крестовского и обратно, приходилось принимать мелочь от тети Лили и Гали. К тому же тетя Лиля сердилась, что я езжу на Крестовский,— отчасти потому, что это отвлекало меня от обязанностей прислуги, но главным образом потому, что боялась заразы. Ей казалось, что на Крестовском все больны дифтеритом, скарлатиной, коклюшем, тифом и что я непременно перенесу все эти заболевания в ее дом. Спорить было бесполезно. Наконец она просто запретила мне бывать на Крестовском, [redacted] стало быть, видеть Наташу и общаться с людьми, с которыми у меня были общие интересы.

За этим последовал полный разрыв. Во-первых, я нечаянно разбила какую-то вазочку. Во-вторых, и главных, тетя нашла домработницу. Я должна была уступить ей свое место в столовой.

Я решила ехать в Москву. Может быть, моя синяя птица ждала меня там? У меня были припрятаны тридцать рублей, подаренные мне дядей Сашей в день моих именин. Уже не помню, хватило ли мне этих денег на дорогу или я занимала еще у Гали. Помню себя на Московском вокзале. Носильщик покупает мне билет на какой-то глухой поезд, уходящий поздно ночью. Я впервые вижу «Красную стрелу», готовую к отправке. Любуюсь через окна красивы-

ми купе и не догадываюсь, сколько еще мне придется ездить в этом комфортабельном поезде.

Пока что без всякого комфорта, но полная надежд добираюсь до Москвы обычным поездом. Курский вокзал. Метро. Я наизусть знаю адрес Л. Е. Бовэ, так радушно приглашавшей меня. Суеверно загадываю: если она меня встретит хорошо, значит, все сложится удачно.

Она встречает меня как нельзя лучше. Ее жилье тесно, в одной комнате спит она и ее сын Роберт, в другой невестка Любочка со своим маленьким сынишкой. В первой комнате на диване помещается также Аня, когда-то работавшая у Любови Евстафьевны домработницей. Но московское гостеприимство шире ленинградского. Вся семья, в том числе Аня, сердечно меня приветствует. На столе появляются чай и бублики. Любовь Евстафьевна укладывает меня спать на кровати рядом с собой. До поздней ночи она говорит мне слова ободрения. Она верит в мое будущее, это для меня самое дорогое.

То было в сентябре, и вот мы живем вместе всю осень и начало зимы. Мы условились, что из каких-то грядущих доходов я уплачу третью часть наших расходов на питание. (Ибо она считает, что нас трое — она, Роберт и я.) По вечерам мы с нею играем в гусарский преферанс (вдвоем). Пишем друг иа друга наши липовые выигрыши. Я пытаюсь работать, еще в Леиинграде я начала думать о пьесе «Старая Москва». Объявлен был конкурс, всесоюзный, я пошлю на него эту пьесу. Но я так мало знаю о старой Москве, да и вообще, что я знаю? И кто же я в конце концов, и когда коичится эта птичья жизнь? И опять влияние Горького, словно его могучая рука лежит у меня на темени и вынуждает смотреть на вещи его, горьковскими глазами, а не моими.

И вот я ныряю в Москву, чтобы возобновить старые связи и завязать новые. В зиакомом доме на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка я нахожу дядю Илью. Он живет в тех же двух комнатах, где жил в 1931 году, занимается зубоврачебной практикой, выглядит свежо и молодо. Его жена Александра Львовна умерла несколько лет назад, он женат теперь на Наталии Федоровне Любимовой, женщине годом моложе меня, милой и приветливой.

Дядя не очень верит в мою синюю птицу, но ласков со мной и предлагает работать в его кабинете. Там, за столиком, уставленным ступками, и гипсом, и банками с ватой, я нахожу книжную полку, а на ней среди всякого хлама — старый, начала века, путеводитель по Москве. Какая

находка, сколько прекрасных сведений: названия улиц и храмов, история инженера Балинского с его проектом метрополитена — для меня это клад. Я всему нахожу применение в моей новой пьесе, моя фантазия разгорается, я придумываю семью Сушковых, и Шурку Хлебникова, и Любовь, и цыган, и все придумывается так радостно.

Я начииаю часто бывать у дяди и не раз ночую в его зубоврачебном кабинете, где для этих случаев между письменным столом и бормашиной устанавливается раскладушка.

Но мне еще надо разыскать Александру Яковлевну Бруштейн, писавшую мне в Шишаки после моего письма к Сталину. Я нахожу Серебряный переулок (это очень близко от Борисоглебского). Страшно волнуюсь, нажимая звонок на двери, где висит эмалевая дощечка с именем профессора Бруштейна. Гадаю: кто ей этот профессор — муж? Отец? Почему-то ожидаю увидеть молодую женщину, причесанную у парикмахера и прекрасно одетую. Но меня ведут к седой добела старушке в морщинках, в сильных очках (оказывается, она очень плохо видит) и со слуховым аппаратом (она очень плохо слышит). Но эти еле видящие глаза полны такой доброты и ума, что сердце мое переполняется доверием и симпатией.

Она заставляет меня рассказать все о себе. Говорит, что у меня талант, спрашивает, что я делаю сейчас. Наш разговор все время прерывают: то кто-то к ней пришел, то ее зовут к телефону. Между прочим, приходит Надежда Яковлевна Абезгуз, которую она рекомендует как своего секретаря. Позже я узнала, что Надежда Яковлевна несет здесь секретарские обязанности из чистого обожания и преклонения перед А. Я. Бруштейн. Что это обожание разделяет с нею множество людей, которым Александра Яковлевна, детский писатель и драматург, помогает своими советами.

Рассказывала мне Надежда Яковлевна и о плохом здоровье «бабушки», как она называла Александру Яковлевну, в частности о том, что знаменитый профессор В. П. Филатов делал ей операцию на глазах и что вскоре предстоит еще одна такая операция. И меня поразило, что столь больной человек так весело смеется, острит, сыплет анекдотами. Я всегда любила посмеяться, и эта веселость «бабушки» Бруштейн привязала меня к ней необыкновенно быстро и прочно. День, когда я ее не видела и не говорила с ней, казался мне пустым. Боюсь, что в этот период я ее изрядно замучила своими визитами и телефонными звон-

ками. Впрочем, не одна я мучила. Она всегда была окружена такими, как я. С радостью я видела, что и она ко мне вроде как бы привязывается и уверенно ждет от меня чего-то.

Иногда я замечала, что меня как бы экзаменуют. То просят почитать вслух газету и наблюдают, как я произношу иностранные имена и географические названия. То искусно выпытывают, читала ли я то или другое и как отношусь к прочитанному. Эти экзамены меня не обижали, даже льстили мне. Я хотела не ударить лицом в грязь и невольно умнела в присутствии «бабушки».

Приближался новый, 1940 год. Незадолго до него «бабушка» вдруг сказала:

— Верочка (она давно меня так звала), вам, должно быть, хочется заработать денег.

— Еще бы! — сказала я.

— Есть одна работа,— продолжала «бабушка»,— довольно противная, но можно заработать три тысячи.

Три тысячи! Это показалось мне несбыточным. В тот же миг я решила постараться сделать эту работу и, если получу эти три тысячи, немедля отвезти их маме и мальчикам, явиться к ним с подарками и всякими вкусностями, что выглядело совершенно невозможным в ту пору моей жизни.

«Бабушка» объяснила: есть в Москве такое учреждение — Центральный дом художественной самодеятельности при ВЦСПС. Сокращенно это называется ЦДХС ВЦСПС. Сейчас наступает пора детских елок, массовых детских праздников. Дому требуется сценарий такого праздника. Они используют этот сценарий в домах культуры и во дворцах пионеров, а кроме того, напечатают — при условии, если сценарий будет хорошего качества. Цену назначили — три тысячи. Но только, сказала «бабушка», им надо срочно, сценарий должен быть готов через два дня.

— Два дня! — воскликнула я.

— Вы сделаете,— сказала она.— Вы сделаете чудно.

Я усомнилась — меня пугал срок,— но сообразила, что ведь между двумя днями еще имеется ночь, а ночью я работать привыкла, и, сообразив, согласилась.

Моя добрейшая Л. Е. Бовэ, узнав о полученном мною сверхсрочном заказе, постаралась создать мне все условия для работы. Большой обеденный стол был отдан в мое распоряжение, и я засела за елочный сценарий.

Я писала лихорадочно. Откуда бралась выдумка? За эти два дня и одну ночь я сочинила несколько сценок,

несколько стихотворений и целую маленькую пьесу по мотивам народных сказок. Вдруг вспомнились и сказки, и газетные материалы, которые можно было использовать, и случайно узнанные где-то милые вещи («Майкина остановка»). Отдельные кусочки складывались в нечто целое — в сценарий. И так как я где-то в душе уже поняла тогда, что не боги обжигают горшки, я готова была заранее торжествовать победу.

Конечно, первый блин вышел комом. Конечно, сценарий вышел недостаточно массовым, он вышел камерным, обнаружил мое незнание законов самодеятельности. Я шагнула в эту сферу из замкнутого, отъединенного мира, и понадобилось вмешательство «бабушки» и ее приятельницы А. А. Кудашевой, чтобы это исправить. На исправление мне оставалась еще одна ночь, но мне этого хватнло. Под белой висячей лампой в комнате Любови Евстафьевны Бовэ я до утра заканчивала работу, и, когда закончила, правая рука моя болела от плеча до кончиков пальцев.

Утром одним из первых поездов метро я летела на Арбат, к «бабушке».

— Верочка,— сказала она, прочитав исправленный вариант,— если вы возьмете с них за это меньше пяти тысяч, я с вами больше не знакома, так и знайте.

— Не знаю,— сказала я,— боюсь, что не сумею.

— Извольте суметь,— отрезала она.

На другой день я должна была читать в ЦДХС ВЦСПС мой елочный сценарий.

Я приехала туда и впервые заседала в качестве автора у зеленого стола в окружении дам делового вида. Сперва оробела, увидев, что «бабушки» среди них нет (а она обещала быть непременно). В расстройстве я даже покинула заседание и вышла на улицу и сразу увидела «бабушку», спешившую ко мне со стороны улицы Герцена в своей меховой шубке и громадных очках (ЦДХС на улице Станиславского). Я радостно бросилась к ней, теперь все, показалось мне, должно пойти хорошо.

Я не ошиблась: и читала я хорошо (а как трудно впервые читать вслух собственную вещь, литераторы знают), и слушали меня все эти женщины прекрасно, и похвалам не было конца. Увы, я еще не знала, с каким литературным материалом в этих стенах обычно имеют дело, и принимала похвалы за чистую монету.

Все это было прекрасно, но после обсуждения меня оставили с глазу на глаз со строгой женщиной — директором ЦДХС, и передо мной лег лист договора, и нужно было

решать вопрос об оплате. Я очень боялась «бабушки» и ее угрозы отречься от меня, но торговаться не умела, и стыдно казалось мне это. С первых слов директриса дала понять, что о пяти тысячах не может быть и речи. Я, со своей стороны, дала понять, что не может быть речи о трех тысячах. На этом обе мы стали железно, причем обе знали, что мое упорство совершенно бесплодно, ибо куда я могла пойти с моим елочным сценарием, кому он был нужен, кроме ЦДХС? Я боялась, что директриса вдруг возьмет и скажет мне все это, добавив, что я могу забирать мою писанину и идти домой. Но она этого не сказала, и после некоторого толчения воды в ступе мы, наконец, сошлись на четырех тысячах, причем две я должна была получить немедленно, а две ЦДХС обязался перевести мне в Шишаки.

«Бабушка» была недовольна моей сговорчивостью, я же, получив такую уйму денег — две тысячи, была, напротив, бесконечно довольна и ушла с ощущением, что, кажется, отныне мои дела пойдут получше. Я немедленно отдала Л. Е. Бовэ мой долг в общую хозяйственную кассу, дала сколько-то взаймы дяде Илюше, находившемуся тогда в денежном затруднении, и телеграфировала маме, что скоро приеду. И, конечно, побежала по магазинам, покупая то и это для мамы и ребятишек.

Не помню, откуда я набрала столько чемоданов, но в момент моего отъезда из Москвы их было пять. Они были до отказа набиты тканями, обувью, но по преимуществу съестными припасами. В том числе была голова голландского сыра и сотня мандаринов, причем каждый был завернут в папиросную бумагу. Подумав, я часть этих лакомств послала маме посылкой — так сказать, авансом.

Я благополучно отбыла из Москвы, сердечно простившись со всеми, кто меня так опекал, и благополучно доехала до станции Яреськи, где мне надлежало высадиться. Затруднение было в том, что поезд останавливался в Яреськах на одну минуту, а носильщиков там не водилось, а чемоданов было пять. Я сделала так: заранее вынесла весь мой багаж на вагонную площадку и, едва поезд остановился у темной станции, стала один за другим выбрасывать мои чемоданы на платформу. Я слышала, как отскакивали чемоданные крышки, видела, как что-то выпадало и катилось по оледенелой платформе, но что было делать? Наконец сбросила последний чемодан и сошла сама. И пошла от чемодана к чемодану, подбирая выпавшие мандарины и свертки. Не без труда собрав все чемоданы в одну кучку, отправилась искать подводу. На мое

счастье, нашла за станционным зданием телегу с лошадью и возницей. Он и привез меня с моей поклажей к маме и мальчикам. Они уже спали, но поднялись на мой стук и при свете маленькой коптилки разбирали мои подарки. Кое-что ели тут же, они соскучились по вкусным вещам.

Я опасалась, что ЦДХС затянет выплату мне остальных двух тысяч, но оказалась неправой: буквально через два-три дня наш шишакский почтальон принес мне перевод. История со сценарием закончилась вполне успешно. Еще через сколько-то времени пришла тощая уродливая книжечка в переплете из бумажки — ЦДХС издал мое сочинение, отпечатав его на стеклографе. А еще впоследствии мой пасынок рассказал мне, что он самолично был на елке, организованной по моему сценарию, и с другими ребятами разучивал сочиненные мною песни. Эта невзрачная книжица — воспоминание о первых, еле приметных шагах моей литературной работы — долго стояла у меня на полке, пока я не отдала ее в ЦГАЛИ вместе с другими материалами.

Все заработанные деньги я отдала маме, чтобы она жила на них в мое отсутствие. Потому что меня опять безудержно тянуло в Москву — продолжать поиски моей синей птицы.

Мы жили первое время по-прежнему в доме Марии Владиславовны Кошевой. С наступлением весны стали, как и в прошлом году, съезжаться гости. Я стала опасаться, что такое скопище жильцов обременительно для М. В. Кошевой, и переселилась в другой дом, стоявший на леваде. Там меня постигла в то лето странная болезнь, выражавшаяся в непрерывной головной боли и в светобоязни. Выходя из прохладной темной хаты во двор, я накидывала на голову мокрое полотенце, иначе солнце пронзало всю голову невыносимой болью. Тем не менее по ночам, когда темней всего, боль становилась особенно жгучей: казалось, в мозгу созрел и вот-вот прорвется нарыв. Не только писать — я ничего не могла делать, каждое движение было мучительно, даже надеть чулки поутру стало трудной задачей. Лекарства не помогали. Я уже стала отчаиваться, как вдруг болезнь прошла так же внезапно, как явилась: в какое-то утро, проснувшись и боязливо взглянув на солнечные щели в ставнях я, к удивлению своему, ощутила, что голова не болит. Встала, вышла в другую комнату и принялась стирать белье в корыте. Потом расстилала выстиранное белье во дворе на травке,

все время прислушиваясь, как там мой «нарыв» в голове. Но «нарыва» больше не было.

В целом лето было хорошее, но за ним пришла осень, гости разъехались, надо было ехать и мне. Очень тяжка была новая разлука с детьми и мамой, и не приснилось нам тогда, при каких обстоятельствах мы свидимся снова. Увы, ехать мне было необходимо, чего было ждать, живя в Шишаках? В один теплый сентябрьский день Н. Т. Воронянский на колхозной телеге отвез меня на станцию.

Опять я окунулась в Москву, опять жила у Л. Е. Бовэ и ночи напролет слушала рассказы о ее молодости, о первом замужестве, о том, как за нею волочился Распутин. Часто бывала у «бабушки» и у дяди Ильи Ивановича, где снова ночевала на раскладушке в зубоврачебном кабинете.

В том году всеобщее внимание было приковано к европейской войне. У всех на языке была линия Мажино и успехи немцев, ледяные предчувствия уже касались сердец. Осень и зима прошли сумрачно. Только мамины письма грели душу, она и мальчики жили нормально.

В конце ноября грянула война с белофиннами, и, съездив в Ленинград повидаться с Наташей, я впервые увидела в подъездах синие лампочки... У Арсения с Галей жизнь шла все печальнее, Наташе с ними было нерадостно. Я мечтала как-то собрать около себя всех детей и жить с ними, но как было это сделать? Ни кола, ни двора, ни копейки заработка после елочного сценария...

Помню очень хорошо, что было 1 апреля (число это запомнить нетрудно). Мы с Л. Е. Бовэ сидели в столовой в ожидании обеда, как вдруг Аня принесла мне письмо. Оно было из Ленинграда, от Гали. Она писала, что на их адрес (который я указала, посылая «Илью Косогора» на конкурс) пришло для меня извещение: «Илье Косогору» была присуждена первая премия 7 тысяч рублей.

Первым моим душевным ощущением было отчаяние: я вспомнила, что сегодня 1 апреля, и испугалась, что Галя меня разыгрывает.

Эта мысль была черным грехом по отношению к милой, доброй, любившей меня Гале, но в тот момент уж очень было велико мое неверие в жизнь.

Удивительно, но Любовь Евстафьевна приняла известие без всяких сомнений.

На другой день, посоветовавшись с дорогой моей А. Я. Бруштейн, я пошла в Госбанк на Мясницкой (улица Кирова) разузнать, каким образом я могу получить мою премию. Ответ был самый неутешительный. Главный бух-

галтер, записав все указанные мною данные, сказал, что Госбанк выдаст мне эти деньги, если я буду иметь в паспорте отметку о прописке в Москве. Опять я испытала приступ удушья: Л. Е. Бовэ жила в ведомственном доме, где нельзя было прописаться, а дядю Илюшу, больше всего любившего покой, я боялась попросить. Выручила опять-таки А. Я. Бруштейн. Узнав о моих затруднениях, она поговорила со своей домработницей Марией Федоровной, и та согласилась прописать меня у себя как свою сестру (благо отчество было одинаковое). Так и было сделано, и через довольно краткое время я получила в Госбанке на Мясницкой свою премию. И такой богачкой, как тогда мне казалось, с подарками и деньгами поехала в Ленинград, затем в Шишаки, затем снова вернулась в Ленинград.

В ту поездку я очень подружилась с семьей Кониковых — Марией Христофоровной, химиком, и ее мужем Александром Леонидовичем, физиологом.

Я еще в Ростове о них слышала, так как с ними дружил В. К. Жак. Арсений и Галя тоже у них бывали, стала бывать и я. У них познакомилась со многими интересными людьми, и в том числе с блестящей рассказчицей Ириной Валерьяновной Карнауховой (детской писательницей, выступавшей также по радио под псевдонимом «Бабушка Арина»). Когда в Ленинград внезапно приехал брат Арсения Яков Старосельский, он тоже стал бывать у Кониковых и сдружился с ними. Эти маленькие вечера со скромной закуской всегда были очень приятными и веселыми. Все ко мне относились дружески и сердечно, и я помаленьку оттаивала, с меня сходили мрачность и нелюдимость. Всегда вместе со мной бывала у Кониковых и Наташа, и я замечала, что и для нее это знакомство полезно, она тоже становилась живей и веселей. Помню, мы в складчину устраивали блины, все женщины нашей компании пекли их, и руководила нами Мария Христофоровна, мастерица на все руки, умевшая всем окружающим передать свое мастерство и энергию.

Кроме блинов запомнилась мне наша коллективная прогулка на Каменный остров — пешком, в чудесный морозный вечер, когда не разобрать было, что сыплется с неба — снег или звезды. То время было островком отдыха; я вспоминаю о нем со светлым чувством.

Но уже подходил 1941 год, и уже встреча его не сулила доброго. Кониковы пригласили меня в компанию, и Новый год мы встретили в чьей-то чужой квартире шумно и неуютно. Было слишком много чужих несимпатичных лиц

и слишком много вина, и нестерпимо грустно мне было оттого, что те, кого я люблю, так далеко от меня. С тех пор я стараюсь встречать Новый год только с самыми близкими людьми, хотя бы в самой будничной обстановке. Исключением была лишь встреча Нового, 1945 года в санпоезде, где вокруг меня были спутники, прототипы героев будущей повести. В ту ночь у всех нас было прекрасное настроение, дыхание победы уже носилось тогда в воздухе, наши войска были в Австрии, И. А. Порохин по этому случаю даже выдал нам какой-то безобидной выпивки.

Но вернусь к зиме 1940/41 года.

34
ДОМИК ПРОТИВ ЛИЦЕЙСКОГО СКВЕРА

Через своих знакомых, живших в городе Пушкине (бывшем Детском Селе), Кониковы помогли мне снять крошечную комнатку в Пушкине в семье Сперанских. Семья состояла из матери и дочери, недавно лишившейся мужа. И ту и другую звали Надежда Владимировна, так что заочно о них говорили: Надежда Владимировна старшая и Надежда Владимировна младшая. Дочь работала учительницей — преподавала историю в одной из пушкинских школ. Мать жила с нею. Обе были высококультурные женщины, в их библиотеке стояли книги на разных языках, обе великолепно читали вслух стихи с тем пониманием, исполненным ума и такта, которое не допускает никаких актерских приемов и дает о себе знать естественным прочтением строк, созданных талантливым поэтом (неталантливых эти женщины не читали). Сравнительно быстро между мной, жиличкой, и между ними, владелицами квартиры, установились прекрасные отношения, полные взаимопонимания и доброжелательства.

Условия найма были для меня приемлемы: надо было только оплачивать счета — за квартиру, электричество и прочее такое,— после того как Надежда Владимировна младшая потеряла мужа, им это стало трудновато. И вот я, а затем и моя Наташа получили временную прописку в домик против ворот в лицейский скверик. Кажется, этот домик принадлежал некогда одному из лицейских учителей Пушкина. Помню, как меня восхищало то, что я на какое-то, пусть краткое, время обеспечена пропиской, что Наташа живет вместе со мной, а главное, что это прекрасное

место, перейти дорогу — и вот он, лицейский сквер, и в нем сидящий на скамье Пушкин (любимый мой памятник) с его дивными стихами на цоколе, с облетевшими осенними листьями у его ног, а дальше — парки, о которых он написал:

> Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
> Вхожу с поникшей головой.

Уже после освобождения Украины от оккупантов, днем служа секретарем-машинисткой в райпотребсоюзе да копая картошку на колхозных полях, ночью я при свете фитилька, плававшего в блюдце с подсолнечным маслом, стала писать книгу «Остландия» — так называли захватчики временно оккупированные ими области СССР. К этой книге я взяла эпиграфом эти самые строчки Пушкина о прекрасных садах, горько вспоминая, как они выглядели во время войны.

К сожалению, «Остландия», написанная от руки на страницах старой бухгалтерской книги со словами «Дебет» и «Кредит», пропала в моих странствиях, как и некоторые дорогие мне письма, телеграммы, записки, все то, что копит человек в своей жизни и что он любит и чтит как самое дорогое, но — увы! — что почти никогда не удается сберечь.

Но вернусь к домику против ворот лицейского сквера. Мы с дочкой занимали комнатку, в которой прежде работал муж младшей Надежды Владимировны, начинающий художник. Его работа — портрет Пушкина — висела на стене. Спали мы с дочкой на большом диване, поставленном в нише из полок, сплошь занятых книгами. Комнатка была очень холодная, от всех стен дуло, но на крайний случай имелась маленькая, похожая на тумбочку чугунная печка, которую можно протопить дровами, а в еще более крайнем случае сосновыми шишками и сухими веточками, собранными в парке. И вот эта печка, этот диван, книги, портрет Пушкина и то обстоятельство, что Наташа живет со мной и по утрам я вижу, как она позавтракала перед уходом в школу и как заплела косы,— все это, такое с виду малое, рождало во мне уверенность, что вот так же мы непременно будем когда-нибудь жить вместе все — я, дети и мама. Как это случится, я не умела предугадать, но знала, что это будет, и будет через литературный успех, не иначе. И сколько я тогда набросала никчемных отрывков, каких-то начал и концов чего-то, я припомнить не могу. Отцедились в памяти только два названия: пьеса для

кукольного театра по сказке Аксакова «Аленький цветочек» и комедия «Синус». То и другое пропало, да я и не жалею, настолько все эти клочки ни на что не годились. С обеими Надеждами Владимировнами отношения у меня сложились, как я уже сказала, отличные, хоть и не сразу. По многим наблюдениям я знала, что эти высокообразованные и интеллигентные женщины не могут не видеть разницы между собой и мной, что моя недостаточная культурность принимается ими иногда болезненно, что я, должно быть, представляюсь им какой-то взбалмошной чудачкой. И в самом деле: где-то оставила детей, живу птичьей жизнью, ни кола ни двора, и в то же время черт знает на каких основаниях мечтаю стать писательницей и по целым дням что-то пишу на столе против пушкинского портрета — этакое святотатство! — запершись на ключ, и знакомые у меня все интеллигентные и даже ученые. Помню, как медленно обе эти женщины привыкали ко мне, так сказать, принимали меня в свой круг. Как-то в маленькой кухоньке, где на плите грелись бок о бок наши чайники, я рассказала про моего дядю Сережу, про его увлечение собиранием бабочек. Случайно я произнесла слово «энтомолог» и увидела, что мои дамы при этом улыбнулись, будто я была людоедка Эллочка, произнесшая умное слово. Улыбка была, впрочем, хорошая, не обидная, признающая меня ровней. Потом я увидела, что их очень подкупает мое пристрастие к стихам. Потом я съездила как-то в Ленинград, чтобы выкрасить волосы, что я всегда делала от случая к случаю. Вернулась шатенкой с бронзовым отливом, и когда младшая Надежда Владимировна спросила, а как выглядит эта процедура, в чем она заключается, я им все описала объективно, самокритично и, должно быть, смешно, потому что они смеялись обе. И я вдруг почувствовала, что признана ими, что впредь мои литературные претензии здесь не будут считаться беззаконными, и привязалась к ним, как к родным. И Надежда Владимировна старшая даже стала меня учить французскому языку, и младшая — читать мне самые трудные для восприятия стихи, уже уверенная, что я все пойму.

Я уже сказала, что все искали мне работу. Об этом хлопотал и дядя Саша. И вдруг он предложил мне однажды — не хочу ли я поступить на службу в Дом ученых.

Ученых?

Я готова была хоть к черту в зубы, лишь бы укрепиться в жизни. Только что же я буду делать в Доме ученых, с моим-то образованием?

Но дядя Саша объяснил:

— Они устраивают гостиницу для приезжающих ученых, им в эту гостиницу нужна заведующая.

Во всяком случае, подумала я, надо туда сходить потолковать, и отправилась, не мешкая.

Дом ученых с его резными деревянными панелями и уютными гостиными показался мне дворцом.

Наконец, разговор дошел до зарплаты. Почему-то мне казалось, что в этой должности я буду получать прилично, но товарищ, говоривший со мной, сказал:

— Вы будете получать столько-то рублей.

Я даже покачнулась — на эти деньги я бы не могла содержать семью.

— Это по ведомости,— продолжал товарищ.— На деле же, умеючи, вы будете иметь раза в три больше. Ведь под вашим начальствованием будет буфет.

«Вот куда меня принесла моя жизнь!» — подумала я с горечью.

После переговоров о службе я поехала к себе в Пушкин.

Мне отворила дверь Надежда Владимировна — старшая. Он сказала:

— Вам телеграмма.

Со времени смерти брата я очень боялась телеграмм и тут испугалась: не из Шишак ли? Что случилось?

Но телеграмма была из Москвы и подписана фамилией: Завадский. Я знала, что это один из крупнейших театральных режиссеров, только не знала, в каком театре он работает. И вот в подписанной его именем телеграмме я прочла, что Театр имени Моссовета просит меня передать ему мою пьесу «Старая Москва» для постановки в ближайшее время.

Так я узнала, что моя пьеса была отмечена на конкурсе премией (она была разделена между Щегловым — за пьесу «Сокровище Сампо», Афиногеновым — за «Машеньку» и мною).

Отпадала мысль о гостинице для приезжающих ученых и о буфете.

Был уже вечер, когда я держала в руках эту телеграмму, заново переломившую мою жизнь. Утром я побежала на телеграф, и через несколько дней уже катила в Москву, переполненная лучезарными надеждами.

В Театре имени Моссовета меня сразу повели по кабинетам. Сначала меня приняла секретарша директора, потом сама директорша, подписавшая со мной договор,

затем ее заместитель и, наконец, сам Завадский, чарующе любезный и обаятельный.

Он рассказал, что он-то и открыл мою пьесу в груде присланных рукописей (он был членом жюри конкурса) и сам ее будет ставить.

Затем я читала пьесу коллективу театра. Мне очень хлопали, и, когда я хотела прервать эти аплодисменты, сидевший рядом со мной Завадский сказал:

— Потерпите, может быть, этого уже больше никогда в вашей жизни не будет.

И уж не знаю, что меня дернуло за язык, но я ответила сразу и уверенно:

— Будет! — так что он даже удивился и посмотрел на меня недоуменно.

Я стала каждый вечер бывать на спектаклях, познакомилась с жизнью театра, изучила все его закоулки. Все эти переживания начинающего драматурга прекрасно описаны в «Театральном романе» М. А. Булгакова.

Раза два или три мне представляли режиссеров, приехавших из периферийных театров за моей пьесой, которая еще не пошла в распространение. Мне пришлось попросить театральную машинистку перепечатать пьесу, чтобы иметь в своем распоряжении несколько экземпляров.

Уж не помню, какие причины понудили меня после установления отношений с Театром имени Моссовета ехать в Ленинград. Скорее всего, это было непреодолимое желание неудачника показаться наконец-то в свете удачи.

Не помню также, сообщила ли я тете Лиле о своем приезде, но она меня ждала и встретила радушно.

Оказалось, что в мое отсутствие звонили из Театра имени Пушкина и просили, чтобы по возвращении немедленно позвонила художественному руководителю театра Вивьену.

Конечно, я позвонила тотчас же. Вивьен сказал, что просит меня прийти и принести пьесу.

И вот через день или два я входила в прекрасное здание Александринки.

Первым встретил меня режиссер Петровых, он, как оказалось, должен был ставить мою «Старую Москву» под руководством Вивьена. Затем мы пошли к Вивьену. Он был еще любезнее, чем Завадский, и сказал, что сам намерен играть молодого Хлебникова, а Ксению будет играть такая-то. Я вспомнила ее в «Маскараде» и сказала:

— Что вы, она не подходит, у нее такой противный голос,— и не поняла, почему Петровых толкнул меня

ногой, только обиделась и сочла его неучем. А когда он, выйдя со мной из кабинета Вивьена, спросил:

— Вы, очевидно, не знали, что эта актриса — жена Вивьена,— я была готова провалиться сквозь землю, но, так как идти извиняться было невозможно, постаралась поскорей забыть этот ужасный эпизод.

Начались новые приятности в новом театре: успешное чтение пьесы в коллективе, знакомство со множеством актеров, из которых кое-кого я знала (Гайдарова, например, по фильмам моего детства и отрочества). Особое наслаждение было заходить в великолепный зрительный зал и воображать, как в этих креслах будут сидеть зрители, как будет сиять эта люстра, а на сцене будет идти моя «Старая Москва», будут произноситься те слова, которые я сочинила.

Все, казалось, было на мази, никаких сомнений быть не могло. Начались репетиции, и жена Вивьена не показалась мне в них неприятной, а, напротив, весьма тонкой и умной актрисой, а иные — например, Вивьен и Скоробогатов, игравший старика Сушкова,— казались мне совершенством.

Я, как и актеры, стала каждое утро приезжать в театр к 11 часам, туда были устремлены теперь все мои мысли. С каким наслаждением я садилась в битком набитый дачный поезд в тот час, когда утреннее солнце пригревало доски железнодорожной платформы перед зданием вокзала в Пушкине!

Какая была радость перед репетицией зайти в будочку на углу Невского и Перинной линии (будочку, где помещалась сосисочная) и съесть пару горячих, прямо из котла, сосисок с порцией горячего пюре, чтобы заправиться перед тем, что теперь составляло мой рабочий день.

Таких прекрасных, лучезарных рабочих дней у меня не было ни раньше, ни впоследствии.

Множество повестей и рассказов сообщают о том, что 22 июня 1941 года с утра стояла восхитительная погода. Таким и я помню этот день.

Воскресенье, ехать в Ленинград было не нужно, так как репетиций по воскресеньям не бывало. Я встала позже обычного и, увидя в окне жаркое солнце, пошла погулять.

Подходя к рынку, я вдруг услышала радио: это было сообщение о нападении Германии на Советский Союз.

Каюсь, я не сразу поняла суть этих страшных слов.

С того мгновения жизнь моя, как и всех вокруг, прико-

валась и радио, к черной трубе, висевшей над входной дверью нашей квартирки. Она, эта труба, вещала так громко, что можно было ее слышать не выходя из комнаты. Все мы ожидали от этой черной трубы какого-нибудь чуда, которое разрушило бы тяготеющий над нами кошмар, каких-нибудь слов, которые вернули бы нам покой и радость. Но, увы, эти слова не прозвучали.

Вскоре прекратились репетиции пьесы, и общее настроение было таково, что я даже не рискнула задать театру какой-либо вопрос по этому поводу: жены провожали мужей в армию, каждый день уезжали мобилизованные на рытье окопов, даже такой столп Александринки, как Николай Черкасов, записался в ополчение, и мне казалось немыслимым и безобразным заботиться о своих личных интересах.

Все мои мысли были связаны с матерью и сыновьями, которые находились в это время на Украине, в Шишаках. Страшная тревога за них не покидала ни днем, ни ночью.

Между тем немцы приближались к Ленинграду. Эвакуировался Александринский театр, уехали со своими предприятиями Кониковы, эвакуировалось общежитие Консерватории, расположенное рядом с нашим домом, уехала вместе со школой испанских детей, где она преподавала, Надежда Владимировна младшая.

Но куда было эвакуироваться мне? Всем сердцем я мечтала воссоединиться со своей семьей, собрать под свое крыло сыновей, дочь и мать.

Пушкин постепенно пустел. Магазины стояли открытые настежь, на улицах мертвая тишина. Поезда со станции отправлялись неаккуратно. Я с Наташей и Надеждой Владимировной старшей собиралась со дня на день переехать в Ленинград, но мы опоздали.

Запомнилась мне какая-то ночь, я, дежурная ПВО, вышла из дома и села на крыльцо соседнего дома.

Необычаен был вид этой ночной улицы. Откуда-то издали доносился звук одиноких шагов по каменной мостовой. Этот звук словно усиливал мрачную тишину. На другой стороне улицы черные окна были прорезаны белыми бумажными крестами. Из-за угла, где находился вход в лицейский сквер, показался грузовик с военными и штатскими. Сейчас же человек, дежуривший по соседству со мной, остановил его — видимо, спросил пропуск. Машина направлялась в Ленинград.

«Если еще покажется машина,— подумала я,— остановлю ее и попрошу, чтобы меня с Наташей и Надеждой Владимировной старшей захватили с собой».

Но прошел час, другой, третий, а машин больше не было.

35

ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ ТЕБЯ НЕ ВИДЕЛА

Целую вечность тебя не видела, ни лица твоего, ни улыбки, что так прелестно морщила уголки твоих глаз и губ, ни даже почерка твоего — прежние письма твои сгорели в огне войны, а новых я не получала и не получу уже. Расставание наше было долгое и многоступенчатое, я спустилась за тобой по крыльцу, заметенному снегом, и бежала до ворот, и метель белыми петлями стелилась по земле. С той ночи она мне сопутствовала всюду, метель кидается мне под ноги, куда бы я ни пошла, и мешает идти, и стужа хватает меня за горло, мешая дышать.

Хочу тебе сказать, что за эту вечность разлуки я очень много узнала. О, тебе известно, какою я мнила себя многоумной, как высоко ставила свое пустяшное знание жизни, вычитанное из книг, и свое воображение, которое могло представить мне все, чего я не видела и о чем не читала. А оказалось, я не знала почти ничего, и вот, оторванная от тебя и от нашей любви, я стала узнавать. Чаще это узнавание было горьким, чем радостным, но были и счастливые узнавания.

Я узнала себя — что такое аз есмь и что мне предназначено делать в мире и вот я по мере сил делаю, осторожно расходую свои возможности, стараясь не зарваться, хотя и это не так-то легко, да, милый, все нелегко в этом мире, на этой земле.

Чего-чего только не узнала я о повседневной людской юдоли, об их делах и страданиях.

Ну вот хотя бы, к примеру: *как весело смотреть на пожар.*

Я сплю (а почему я сплю в кухне, на узкой продавленной кровати, вплотную приставленной к стене? Уж не помню...) Я сплю и вижу сон, и вдруг голос сквозь сон:

— Вставайте, пожар!

Надежда Владимировна стоит надо мной, уже умытая, свежая, хотя накануне водопровод перестал действовать, и говорит:

— Горит рядом, за дровяным складом, надо вставать...

И тотчас же громкий стук в окно и в дверь, и уже много голосов:

— Вы с ума сошли спать, сгорите живьем!

Я вскакиваю и выбегаю на крыльцо. Оно обращено к забору, за которым находится дровяной склад. И вижу — там, за забором, плещет огонь. В свете сентябрьского утра, еще почти летнего, этот огонь не ярок, не зловещ. Но какие-то веточки от горящих деревьев перелетают через забор в наш двор, а рядом, на дровяном складе, что там? Конечно, дрова, и если они запылают, это будет целое озеро пламени, и уцелеют ли тогда наши деревянные сараи, и деревья у нашего крыльца, и самое крыльцо, и мы сами?

Горит дом за складом, кто говорит — партизаны подожгли, кто говорит — сами немцы, набилось их в этот дом видимо-невидимо, и ну топить все печи, благо дрова под рукой. И дотопились до того, что дом вспыхнул, как солома.

— Дураки,— говорит кто-то из женщин, набежавших с улицы.— Они там у себя не привычны дровами топить, вот и зажглись.

А мне, не знаю почему, вдруг становится весело. Я не могу отвести глаз от огненных языков, взлетающих за забором. Я хочу, чтоб этот дом сгорел. Чтоб сгорели запасы дров на складе. Я люблю ладные дома и красивые вещи. Даже простое березовое полено с темными черточками на шелковистой кожице кажется мне очень красивым, я с любовью беру его в руки. Но не менее люблю смотреть на пожар. Он сожрет все — и пусть! Пропади оно пропадом, коли тут немцы!

Еще прежде, чем я открыла в себе этого страшного человека, разрушителя, я узнала всякие другие вещи. Когда мы были так молоды и счастливы, мы и не воображали, что эти вещи могут нам открыться. Ну, думала ли я когда-нибудь о том, *как неприятель входит в город?*

Перед тем, как войти, он поливает город огнем, забрасывает бомбами и обстреливает из пушек. Отвратительное мяуканье мин, шипенье летящих снарядов и грохот взрывов наполняют уши, мозг, все тело. Соседки приходят одна за другой, они говорят:

— Уходите в убежище, разве можно сидеть дома, хотите, мы вам займем местечко?

Убежище близко — под Екатерининским дворцом и под Лицеем, в котором учился Пушкин. Есть также щели, выкопанные в земле. Они и в лицейском скверике, и на улицах... Но мы еще не перевоспитаны войной, еще полны гордыни и брезгливости. Нам, видите ли, не по вкусу, что женщины тащат с собой в авоськах керосинки и ночные горшки. Мы живо представляем себе, что за жизнь будет в этих убежищах. Мы сидим дома, под бомбами и снарядами. Я раскладываю пасьянс, Надежда Владимировна читает без передышки русские, французские, немецкие, польские книги. Мы с дочкой сидим на диване рядом, прижались друг к другу: если попадет в нас, пусть убьет обеих вместе. Вот как мы еще ничего не понимаем в происходящем, даже не соображаем, что вовсе не обязательно убьет обеих вместе... Но в непонимании — наше счастье в тот момент.

Днем приходят муж и жена Поляковы. Они тоже усаживаются рядом, чтобы быть убитыми вместе. У жены — приступ ее тяжких бруцеллезных болей, а морфий кончился, и достать негде, и она говорит:

— Пусть убьют лучше...

А вечером появляется другой сосед, учитель. Он бегает по комнате вне себя от страха, стиснув руки, как перепуганная истеричная женщина. Он не понимает, как мы можем сидеть дома, когда есть бомбоубежище. Он, впрочем, не хочет идти в убежище: боится быть убитым по дороге,— грохот не умолкает. Он хочет, чтоб мы пошли с ним. Но мы отказываемся... Нам все кажется, что куда легче быть застигнутым смертью в своей комнате, чем существовать среди керосинок и ночных горшков где-то под землей. Убежище представляется нам адом, а наши бедные комнаты с книгами и милыми людьми — прекрасным раем.

Мы пьем чай большой компанией, каждый приносит свои запасы съестного, они ничтожны, но все-таки у нас есть хороший чай для заварки, сахар, хлеб. Поляковы принесли печенье... Пьем чай и ложимся спать: я с дочкой на нашем диване, Надежда Владимировна в своей комнате, в одиночестве. Мы все предлагаем составить ей компанию, но она отказывается. Ни на секунду не прекращается гром канонады, и вдруг один удар, сдается, падает совсем уже на наши головы, и Наташа говорит, открыв глаза:

— По-моему, это попало в наш дом.

Она права — утром мы в этом удостоверяемся. В общежитии Консерватории, в зале рядом с нашей квартирой, снаряд пробил потолок и ушел под пол, расщепив паркет на мелкие красноватые щепочки. (Они потом долго служили нам растопкой, когда мы топили плиту.) Все в зале было запорошено серой пылью от разбитой штукатурки. По

черному лакированному роялю змеилась трещина, похожая на молнию. Толстые железные брусья кровати свились в спирали. Но большое зеркало на стене даже не треснуло, только покрылось пылью. Почему-то это внушило мне надежду и даже успокоение.

Но ненадолго. Потому что канонада не только не утихала, но становилась все более адской. Я вышла на улицу — тротуары были сплошь осыпаны битым стеклом и кирпичом, в домах рядом с нашим и напротив не оставалось ни одного целого окна, сорванные электрические провода валялись на земле. Я прошлась от угла до угла по мостовой, на тротуар ступить не решалась. Мужчина и женщина, держась за руки, перебежали мне дорогу, женщина плакала навзрыд, мужчина ее урезонивал:

— Ну чего ты, чего! Вон видишь,— показал на меня,— женщина идет себе спокойно.

Они вошли в лицейский сквер, а я в свой двор. У меня была забота: припрятать на всякий случай свои сокровища — несколько луковиц и плитку шоколада, я возлагала на них какие-то надежды, было бы жалко, если бы немцы их отобрали. Теперь я не сомневалась, что немцы придут, мы знали, что город с рассвета оставлен нашими войсками и властями, а этот грохот смерти предварял, чуяло сердце, грозную перемену судьбы.

В нашей маленькой кухне мы похлебали какого-то серого супчика с крупой, сваренного Надеждой Владимировной. После обеда Наташа стала мыть посуду, а я стояла у окна и глядела во двор. Какой-то толстый человек вошел в калитку и прямиком направился в общежитие Консерватории, уже несколько дней пустовавшее (жильцы разбежались).

— Я, гражданка, буду жить здесь,— сказал он, хотя я ни о чем его не спрашивала.— Покамест один, а потом приведу семью. Наш дом на Пушкинской разбомбили, а тут комнаты порожние стоят.

— А у вас есть разрешение? — спросила я и в ту же секунду поняла глупость своего вопроса. Какие уж тут разрешения!.. Гражданин, впрочем, не обратил на мои слова никакого внимания.

— Так я пошел устраиваться,— сказал он, и сейчас же прямо в лицо мне загрохотало, брызнуло колючим... Я отпрянула от окна, Наташа ухватилась за меня, женщины вскрикнули.

— Вы ранены? — спросила меня Надежда Владимировна.

— Нет, нет! — заверила я, сама не веря своим словам. Пол кухни был забрызган битым стеклом, а за окном на земле лежал толстый гражданин, и от его бока, извиваясь, как змейка, текла темная кровь.

— Дай мне йоду и бинтов! — сказала я Наташе и побежала во двор. У нас были бинты и дезинфицирующие средства, закупленные еще в те дни, когда аптека работала нормально. Наташа сообразила, что помимо йода и бинтов мне нужна еще чья-то помощь, чтобы перетащить раненого. Вдвоем мы взволокли его на крыльцо консерваторского общежития и устроили на полу в первой комнате. На его счастье, он был, видимо, человек бывалый и сам командовал, что надо делать. По его указаниям мы сняли с него рубашку и отыскали на жирном белом животе рану, из которой бежала кровь. Я вспомнила что-то из своих книжных знаний и густо смазала йодом кожу вокруг раны.

— Осколок! Осколок вынуть надо! — твердил раненый.

Книжные сведения говорили, что ничего, кроме боли и инфекции, я не могу ему причинить, таща осколок из раны немытыми руками. Боялась я ужасно, ужасно. Но преодолела боязнь и пальцами вытащила из кровавой раны острый кусок железа, не гладкий, а какой-то губчатый, пористый.

— А заражения не будет? — нелепо спросила я при этом.

— А черт с ним, хоть бы и было,— пробормотал раненый.— Спасибо, сестра, что помогли.

Зато большое было удовольствие бинтовать его чистейшим новеньким бинтом. Бинтовала я долго, старательно, на совесть. Жалко было только, что эти белоснежные марлевые полосы так быстро пропитывались кровью и теряли свою белоснежность. Потом мы напоили раненого водой. Хотели принести ему чаю, но он просил: нет, пожалуйста, холодной воды. Потом мы с Наташей ушли в свою кухоньку. А вскоре туда вошла Надежда Владимировна со странно растерянным видом и сказала:

— Вера Федоровна, взгляните с крыльца на улицу — по-моему, немцы!..

Я вышла на крыльцо, обращенное к дровяному складу. За решеткой на Коммунистической улице стояли солдаты. Три или четыре солдата, ну конечно, не наши, в каком-то зеленом пятнистом обмундировании и не с нашим оружием в руках.

Мы так привыкли за последние дни видеть прибежище

от всех напастей у себя дома, что и теперь, не сговариваясь, бросились в наши комнатушки и заперлись там. Как будто задернутые тюлевые занавески и поворот ключа в двери мог нас спасти, защитить, укрыть от того неведомого, страшного, стихийного, что обрушилось на нас. Обрушилось, казалось нам, внезапно, хотя все последние дни мы не могли не знать, что оно обрушится.

А дальше, родной мой, стала я учиться все новым и новым вещам...

Как по кусочкам проживать день. Проснуться утром, вспомнить: «В городе немцы, чужие, враги, всесильные над тобой, и деваться тебе некуда, и негде искать защиты»,— вспомнить это и жить с этим весь день — невозможно. Но можно, но в твоих силах расчленить день на маленькие, твердо ограниченные кусочки и проживать кусочек за кусочком, стараясь не думать ни о чем, кроме этого проживаемого кусочка.

Утром надо — что? Растопить плиту, поставить чайники. Одного чайника не хватает, нужно два: один — чтобы всем почистить зубы и вымыть лицо, другой — чтобы приготовить чай.

Прежде чем затопить плиту, надо сбегать в консерваторское общежитие, в разбитый снарядом зал, и набрать паркетных щепочек на растопку, иначе дрова очень долго не разгораются. Сбегали, принесли, зашумел на огне первый чайник — товарищи, прошу, можно чистить зубы,— глядишь, и прожит кусочек дня.

Тарахтенье колес по улице — это немецкая походная кухня, аккуратная, как хронометр, везет на позицию завтрак,— а мы в своей кухоньке чистим над раковиной зубы, совсем как в прежние времена, и сливаем друг другу на руки теплую воду из большого медного чайника, потом пьем чай, скрупулезно деля на всех поровну остатки пиленого сахара и ломтик засохшего хлеба,— вот, глядишь, прожит второй кусочек похожего на бред дня. «А на обед я вам сегодня сделаю настоящее рагу из конины, будете есть?» — «Еще бы, конечно, будем!» — «То-то!»

Сахара у нас остались пылинки в старой коробке из-под конфет, хлеба нет вовсе, купить чего-нибудь съестного негде, магазинов не стало, булочные и «гастрономы» смотрят на улицу заколоченными дощатыми окнами, в Гостином дворе у двери мебельного магазина лежит зеркалом кверху брошенный шкаф (кто-то его тащил, дотащил до выхода и там бросил), да нам сейчас зеркальные шкафы и ни к чему, нам нужна пища, мы уже соскучились по ней, за несколько дней соскучились по хлебу, каше, по самому простому и насущному...

Но есть надо, значит, надо самим добывать где-то пищу. Соседки хвалят отменные качества желудя. Если его хорошо прожарить и смолоть, получается очень вкусный и питательный кофе. Но до желудей мы еще не дошли, у Надежды Владимировны есть настоящий кофе в зернах, продукт, можно сказать, буржуйский, мы пьем настоящий, душистый, бодрящий напиток вместо желудевой бурды. Но другая подсказка соседок — насчет совхозных огородов — нам очень кстати. На краю города, за железной дорогой, лежат эти огороды, картошка там, правда, уже выкопана, но если еще раз пройтись по этим убранным грядам, то найдешь немало мелких, как орехи, картофелин, превосходная пища! И мы все идем туда, и перекапываем рыхлую землю, и собираем эти драгоценные уцелевшие картофелины. Они желтого цвета или зеленоватого в темных пятнышках гнильцы, но они нам дороже жемчужин... И морковь мы рвем с увлечением, она красивая, сочная, сладкая, старики мои ее едят просто так, без ничего...

А по утрам мы с Николаем Николаевичем ходим за мясом. Встаем ранепько и идем в парк.

В золотую осень сады эти особенно прекрасны, золотые арки над головой, золото ворохами под ногами. В золоте лежит на какой-нибудь лужайке убитая бомбой или снарядом лошадь. Николай Николаевич острым ножом надрезает шкуру и отворачивает в обе стороны от разреза, будто распахивает створки двери. А моя обязанность — нарезать куски красного, сыропахнущего конского мяса и дома приготовить из него кушанье. Я промываю куски конины в растворе марганца, складываю в гусятницу и ставлю в духовку. Добавляю туда лука (мои луковицы берегу теперь на полке за книгами), картофеля и много моркови. Соль мы добыли из какой-то ямы, указанной опять же соседками. Томясь в духовке, конина пускает темно-коричневый сок. Получается даже довольно вкусно. Будь к этому хлеб, совсем было бы хорошо. Но хлеба нет.

Вот так мы живем, по кусочкам проживая день за днем. И нам уже кажется, что это, в сущности, туда-сюда, можно жить и так.

Иной раз происходят странные вещи. Вдруг в квартиру влезает в окно немецкий солдат и уносит не что-нибудь, а книгу, и не какую-нибудь, а «Мать» Горького. Или вдруг супруги Поляковы приносят свернутый в трубку огромный ковер (и как только они его притащили на своих щуплых

плечах?), и выражают желание продать его, и даже назначают цену.

Словно наряду с громадным черным демоном войны беснуются вокруг нас еще какие-то плюгавые, но тоже страшные, особенно бесчисленностью своей страшные, маленькие дьяволята, спущенные с цепи главным демоном. Или так должно быть во всяком затяжном бреду — чтобы в главный бред вступали, примешиваясь к нему, мелкие второстепенные бреды, усугубляя его ужас и в то же время как бы отвлекая от него, чтобы хоть на минутку мозг бредящего отдохнул и успокоился чуточку.

Из второстепенных бредов выстроился целый сюжет — ковер был продан именно тому солдату, который стащил у нас с полки томик Горького. Солдат рассказал, что в Германии ждет его невеста, очень хорошая фрейлейн, дочь булочника (показал карточку миловидной блондинки), он, солдат, женится на ней после войны, ковер будет украшать их уютную квартиру, он теперь же пошлет невесте этот подарок. Как он посылал, как добирался ковер из Пушкина в Германию, не знаю. Мне это так же безразлично, как то, откуда взялся этот паршивый ковер. Из мрака войны он возник и во мрак войны ушел, как многое, многое другое...

36
ВОЙНА

Очень запомнился мне день 1 октября 1941 года. Утром мы с Надеждой Владимировной пошли в лицейский сад. Еще совсем недавно там сидел на скамье Пушкин. Теперь Пушкин был зарыт в землю и на опустевшей площадке печально лежали мокрые желтые листья.

А дома уже ждала нас новость: приходил полицейский с белой повязкой на рукаве и известил, что по распоряжению немецкого коменданта все жители должны к 23 октября, то есть за три недели, уйти из Пушкина. Куда? А куда хотите.

Легко сказать! Пушкин — это как-никак крыша над головой, это вода из парковых источников, это почти свежая конина из того же парка, это книги, накопленные матерью и дочерью Сперанскими. В первый момент мне почудилось, что стоит нам отойти на шаг от всего этого, как мы начнем слабеть от голода и жажды. И куда идти? Куда держать путь? Но тут вдруг Наташа дала единственно верный ответ на этот вопрос:

— Как куда, мама? Мы пойдем к мальчикам, к бабушке в Шишаки. И Надежда Владимировна с нами.

Надежда Владимировна сразу согласилась и обрадовалась, и мне стало легче, и я устыдилась, что не я нашла этот ответ. Конечно, в Шишаки, конечно, соединиться с детьми и мамой.

И мы стали собираться. Это было не так-то просто: что брать с собой, что бросить? Мне-то бросать было не жалко, я, как перелетная птица, ничего не имела, кроме самого необходимого, но у Надежды Владимировны были и любимые книги, и памятные вещи, и она плакала, собираясь.

Мы сшили три рюкзака и стали их наполнять. Тут я пожалела, что успела отвезти к Гале все наши теплые вещи. У нас с Наташей не было ни валенок, ни теплых пальто, наши пальтишки были чистая эфемерность... К счастью для Надежды Владимировны, ее дочь, эвакуируясь, не взяла с собой зимних вещей, и теперь Надежда Владимировна, надев пальто с меховым воротником и меховую шапку, оказалась не только отлично экипированной, но чрезвычайно прилично одетой по сравнению с нами.

Мы уложили в наши рюкзаки все, что могли. Это было очень немного, но проклятые мешки все же оказались очень тяжелыми для наших непривычных плеч.

Тем не менее мы радовались. Радовались перемене, радовались обретенной цели — добраться до Шишак, увидеть близких. Как мы доберемся — мы не знали, на всякий случай взяли с собой все свои деньги, хотя и понимали, что они нам не помогут.

Деньги-то у нас были, а вот хлеба на дорогу не было ни крошки.

22 октября Надежда Владимировна сходила в комендатуру и своими глазами прочла вывешенный там приказ о выселении из Пушкина всех жителей. Говорили, что только немногим разрешено остаться — по именному списку. Что в список этот вошли полицейские и все лица, изъявившие желание сотрудничать с немецкими властями.

Мы решили уходить на следующий день утром. Нужно было решить еще одну задачу — еда на дорогу и папиросы, у меня не оставалось ни одной. Но тут началась серия маленьких чудес, которые я хочу описать подробно.

Вечером 22 октября пошла я в сарай набрать дров и, разметав поленницу, вдруг увидела за нею большую, с полведра, синюю эмалированную кастрюлю, полную квашеной капусты. Откуда она взялась, не имею никакого понятия. Я оттащила ее домой, из остатков картофельной

муки испекла на плите подобие оладий, и мы недурно поужинали, несколько оладий даже осталось.

Эти оладьи мы утром уложили в сумку от противогаза, налили в бидончик крепкого кофе — это были наши припасы на дорогу. Я выкурила свою последнюю папиросу и, чувствуя растерянность и звон в голове, вышла на улицу. Мне хотелось взглянуть, уходит ли еще кто-нибудь или мы остались последние. Но я еще ничего не увидела, как вдруг меня окликнул женский голос с мостовой (я шла по тротуару):

— Гражданочка! Вам папирос не надо?

— Надо, надо! — чуть не вскрикнула я. Пожилая женщина в платочке улыбнулась моему изумлению.

Я подошла к ней. Она достала из-за отворота пальто пачку «Беломора» и сказала:

— Только вы мне дайте каких-нибудь продуктов. Что у вас есть?

— Ничего,— сказала я,— только немножко квашеной капусты.

— Ну давайте хоть капусту,— вздохнула женщина,— а то у меня совсем ничего нет.

Я повела ее к себе и отдала ей капусту вместе с кастрюлей, и Надежда Владимировна добавила к этому еще мясорубку.

Видимо, женщина в платочке тоже знала секрет добывания конины из парка, потому что она не только с удовольствием взяла мясорубку, но еще дала нам за иее десяток отличных крупных картофелин. Я их сварила и уложила в противогаз с пакетиком соли.

В первый же день пути мы их съели не чистя, вместе с кожурой. Могу засвидетельствовать — это вкусно.

Вот так, благодаря этим маленьким чудесам мы вышли из дому с некоторым запасом съестного и с пачкой «Беломора».

Было прекрасное осеннее утро с нежным инеем, легким воздухом. Увы, едва мы сделали несколько шагов по улице, как мне стало ясно, что недалеко мы уйдем с этими рюкзаками: сразу заболели шейные позвонки и трудно стало дышать.

— Вера Федоровна,— сказала Надежда Владимировна,— придется что-нибудь выбросить.

И мы вынули из наших мешков часть поклажи. Под какой-то липой в Екатерининском парке мы положили несколько платьев, пару простыней и новую скатерть, которую я покупала в подарок маме.

Мешки стали чуть полегче, но продолжали очень давить на позвонки. Такая боль бывает, когда очень долго просидишь за пишущей машинкой.

Опять, как сутки назад, прошли через лицейский садик. Как изменился мир за эти сутки! Вчера мы были несчастливы, но все же у нас была крыша над головой. Теперь же мы стали бесприютными странницами без кола, без двора.

Впереди и сзади нас шли люди с мешками за спиной. Мы сразу разглядели, что большинство идет отнюдь не налегке. Женщины несли кухонную утварь, утюги, катили детские коляски и тачки, одна тащила на спине огромное цинковое корыто. Мы невольно ощутили свою неприспособленность, свое бессилие — и ужаснулись.

Я заговорила с идущими. Кто-то из них сказал, что надо идти в Гатчину, там находится эвакопункт.

Шея болела все сильней, а выкидывать из мешков было уже нечего. Мы приостановились, съели по картофелине и попили кофе из бидончика. Первые несколько минут было ощущение, что тяжесть стала меньше.

Нас догнала телега, уставленная ящиками, в ящиках были горшки с белыми хризантемами — должно быть, из пушкинского цветоводства. Я попросила возницу подвезти, посулила денег. Но ему было не до нас, и на что ему были деньги!

А нам становилось все тяжелей. Мы прошли уже несколько деревень, но дорога, казалось, была бесконечной. Бесконечной казалась дорога до Гатчины — и до Шишак!..

Так или иначе, мы добрались до гатчинского эвакопункта.

Это был деревянный павильон дачного типа, битком набитый людьми. Они лежали на плиточном полу, залепленном жидкой грязью. И мы расстелили на полу наши тощие байковые одеяла и легли среди грязи и затоптанной в грязь соломы.

После войны я ездила в Гатчину, думала найти место, где стоял этот барак, но не нашла ничего, что напомнило бы о нем.

Ночью гудели самолеты, дважды где-то громыхнули разрывы, и странно было желать, чтобы бомбежка смела с лица земли Гатчину и приютивший нас павильон. Желание, впрочем, естественное, потому что самолеты, летавшие над оккупированной землей, были наши и потому что назавтра нам предстоял столь же трудный и унизительный день.

В темноте барака кто-то бредил, и впервые мы на этом ночлеге заразились вшами.

Уже совсем поздно пришел какой-то человек с большой корзиной и роздал всем по пайке хлеба. Хлеб был не нашей выпечки и не нашего вкуса.

День 24 октября не удержался в моей памяти. Беженцы весь день говорили о предстоящей отправке на станцию Веймарн и о наших военных неудачах, гадали, возьмут ли немцы Ленинград, и боялись предстоящей ночи и бомбежки. Я обошла барак и двор вокруг него и поужасалась царившей там грязи.

Так долго, темно и грязно жили мы до вечера, а вечером нас погнали на станцию, чтобы везти в Веймарн по железной дороге.

Если существует ад, то это, возможно, тот товарный вагон, в котором нас везли в Веймарн. Все мы, так называемые беженцы, со всеми мешками, корытами и грудными детьми были затиснуты в эту отсыревшую коробку, где кислорода не хватило для всех даже на первый вдох. Мы сидели на своих мешках у самой двери и были счастливы, когда в щелку этой двери врывался слабый ветерок с ночных полей. Всю ночь плакали ребятишки на материнских руках, и всю ночь беспощадно, невозможными словами ругались измученные, отчаявшиеся женщины, потерявшие в аду свою женскую стыдливость. И ко всему этому присоединилось напряженное ожидание чего-то, против чего мы были бессильны в этой темноте и бесправии. Так что при всем своем отчаянии мы обрадовались, когда в дверной щели посветлело и замелькали палки станционных изгородей. Кто-то отодвинул дверь, кто-то скомандовал выходить. Кто-то сказал, что велено идти на Ивановскую фабрику и там ждать новой команды. Выйдя, я оглянулась и увидела, как за мною выливается из вагона пестрый поток людей, нагруженных пожитками.

Уже в тот день начался снегопад, перешедший вскоре в непрерывную метель. Воздух наполнился крутящимися снежинками, на тонком слое мокрого снега скользила нога, мы брели с трудом. Не отошли и двухсот шагов от железной дороги, как Надежда Владимировна изнемогла и схватилась за сердце. Я достала свою драгоценность — плитку шоколада, сбереженную от последнего пайка, полученного по карточкам, отломила три дольки, мы съели и запили кофе, и, к радости моей, Надежда Владимировна смогла идти дальше.

Подходили люди, говорили разное страшное. Бледный, унылый молодой человек резонно сказал, что от фашистов в любую минуту можно ожидать чего угодно, что нам нельзя рассчитывать ни на что хорошее (словно мы рассчитывали!). Женщина сказала, что на фабрике, куда нас гонят, каждый день случаются самоубийства, беженцы бросаются в реку или вешаются, предпочитая гибель плену. Я подумала, что это в самом деле лучший исход, и в то же время почувствовала, что у меня на такой исход не хватит сил, ведь рядом со мной шла дочь, у которой на всем свете не было в тот момент никого, кроме меня.

Дорога прошла через какой-то лесок, где на дереве висело что-то длинное, темное, скрученное, как сигара,— это был повешенный. Дорога пошла мимо танка, лежавшего в грязи на боку с повернутыми вбок гусеницами. Рядом лежал обгорелый человеческий череп. Дорога прошла через деревушку с распахнутыми настежь воротами, в одном дворе возились возле телеги немецкие солдаты, в другом скакала, натягивая цепь, черная собака. И при всем при том на окошках и тут были занавески и цветы. До чего живуч человек: его душат, жгут, терзают его сердце, а он живет и живет в окружении привычных вещей. Агрессоры полагают, будто они уничтожат все полностью,— ан нет!.. Вдруг в какой-то деревушке кто-то топит печь, пьет чай, ожидает, чтобы на герани распустились бутоны.

Ивановская фабрика вспоминается как скопище убогих бараков и изб, вообще казалось, что все здания на свете превратились в почернелые избы... Мы вошли в первую попавшуюся избу. Там перед затопленной плитой сидел пожилой человек и курил самокрутку. Так как в вагоне я выкурила всю пачку «Беломора», я попросила у него табачку. В ответ он раскрыл передо мной жестяную коробку от зубного порошка, в ней было какое-то странное зеленое крошево.

— Табачку у меня нет,— сказал человек,— курю сушеный вишневый лист, попробуйте.

Я попробовала. Оно в самом деле курилось, только было странного аптекарского вкуса, и у меня скоро закружилась голова.

На плите вскипел чайник, и человек угостил нас мятным чаем из жестяной кружки, а мы угостили его оладьями.

Разговорились. Человека звали Михаил Федорович, он был из Красного Села и изгнан оттуда так же, как мы. Уже неделю он жил на Ивановской фабрике и сообщил нам драгоценное известие: будто здесь, на фабрике, из потока беженцев немцы отсеивают людей, пробирающихся в При-

балтику, на Украину и другие республики Советского Союза, и помогают им достигнуть цели их странствия.

— Понимаете,— сказал Михаил Федорович,— немцы заигрывают с этими народностями, поэтому и пошли на такую меру.

Хотя мы и не приняли на веру этих сообщений и соображений, тем не менее Надежда Владимировна немедленно отправилась навести справки и по возможности устроить нас получше. Очень скоро она вернулась и сообщила, что все подтвердилось, здесь, на фабрике, уже отобрана группа людей, направляющихся на Украину, в Финляндию и республики Прибалтики, и что нам троим указано присоединиться к этой группе и жить с нею вместе в особом помещении впредь до новых указаний.

И она отвела нас с Наташей в барак, где было попросторней и почище гатчинского барака и были нары с сеном для спанья, и были эстонцы, финны и русские, подобно нам пробирающиеся в какие-то места. Среди этих людей мы увидели много знакомых лиц — они ехали сюда в одном вагоне с нами.

В том числе были мать и дочь из Ленинграда, солдат латыш и старуха эстонка в ярких вязаных чулках и варежках, усевшаяся у входа в напряженной деревянной позе идола.

Эта картинная старуха по собственной инициативе взяла на себя роль нашего старосты и опекуна: составила список всех членов группы — кто, откуда, куда, зачем. Надежда Владимировна назвалась моей теткой, сестрой моей матери, к которой я направляюсь в Полтавскую область.

Старая эстонка позаботилась и о нашем пропитании. Уж не знаю откуда, но ее заботами появилась пшенная каша и мятный чай, и мы поели и попили горячего, прежде чем улечься на нары. После Гатчины нам тут показалось и удобней, и чище, хотя на деле это вряд ли было так.

Но утром Надежда Владимировна принесла неутешительные известия. Только финнам и прибалтийцам немцы были готовы помочь в их дальнейшем продвижении, для чего, в частности в Нарву, должен был отправиться специальный автобус, все же прочие, в том числе и мы, должны были идти пешком в Гдов или Псков и никуда больше.

— А что мы будем делать в Гдове или Пскове? — нелепо спросила я у Надежды Владимировны.

— Ну,— ответила она бесстрашно,— то же, что делали в Гатчине и тут: ждать у моря погоды и искать случая продвинуться дальше.

Легко сказать... Мне вспомнились рассказы о беженцах, кончавших с собой, вспомнилась скользкая дорога, и наша рваная обувь, и давешний сердечный припадок Надежды Владимировны, и то, что ночью Наташа жаловалась на боль в горле.

— Не падайте духом, Вера Федоровна,— сказала Надежда Владимировна.— Я попробую уговорить коменданта: боюсь, что мы в самом деле не дойдем.

Среди нас одна Надежда Владимировна знала немецкий, а это было в нашем положении громадным преимуществом: звуки немецкой речи все-таки действовали на немцев.

Надежда Владимировна пожелала, чтобы я вместе с нею пошла к коменданту. Я пошла и увидела в невзрачной комнате невзрачного офицера с нашивками. При офицере был горбатенький переводчик в костюме и кепке ширпотребного производства.

Властным взглядом отстранив переводчика, Надежда Владимировна прибегла к своему превосходному немецкому языку. Увы, комендант не поддался. Он категорически отказался допустить нас в автобус, идущий к Нарве, настаивал на Пскове или Гдове. «Цу фусс!» (пешком),— упорно твердил он. Для начала мы должны были завтра же вернуться на станцию Веймарн и уж оттуда двигаться дальше.

Приказ прост: мешки на спину и цу фусс, цу фусс, ножками — транспорта не будет, не воображайте — со станции Веймарн в Гдов или Псков, по вашему выбору.

Но есть слух, что в Нарву беженцев повезет автобус, и Надежда Владимировна уговаривает веймарнского коменданта, чтобы отправили нас в Нарву в этом автобусе. Надежда Владимировна уж и до Веймарна-то добрела с трудом, еле пришла в себя с помощью черного кофе, который мы несли в бидончике из Пушкина, и кусочка шоколада — мне выдали шоколад вместо сахара в тот последний раз, когда я получала паек в Пушкине. А теперь у нас нет ни кофе, ни шоколада...

Но комендант стоит на своем: он сам знает, кого куда отправлять, нам надо идти в Псков или Гдов, и именно цу фусс, потому что транспорта туда не будет.

— Они не дойдут! — заступается за нас горбатенький комендантский переводчик, но и к его голосу комендант глух.

Утром на дворе разыгрывается метель, в мокром снегу

скользит нога. Я беру бидоны и иду к колонке набрать воды. Вдруг передо мной горбатенький переводчик:

— Что вы делаете?

— Набираю воду.

— Да вы черт знает чем занимаетесь, а через пять минут уходит автобус на Нарву.

— Так ведь нам же не разрешили.

— Не будьте дурой! — орет на меня переводчик.— Берите ваших, садитесь и поезжайте!

Спасение? Бросив бидон, я опрометью бегу в барак. Наспех оповещаю дочку, Надежду Владимировну, еще какие-то женщины ухватываются за меня.

Автобус — это просто-напросто грузовик с брезентовой будкой; но никогда никакой международный вагон не покажется мне таким прекрасным и удобным, как эта будка. Поддерживая друг дружку, мы влезаем в нее и с трепетом ждем, когда грузовик тронется. Нам кажется, что уехать не удастся, что комендант нас застукает и погонит в Гдов цу фусс по мокрому снегу... И мы побредем в наших худых туфлях, сгибаясь под тяжестью проклятых мешков...

Я раздвигаю полотнища брезента и смотрю на покидаемый нами Веймарн: жалкие станционные домишки, сосны, частоколы вокруг огородов — удивительно, до чего неузнаваемым, нереальным и нереально мрачным война делает самый обыкновенный, самый привычный пейзаж. Казалось бы, что может быть неимоверного, инфернального в дачной изгороди из желтых палок? А вот поди ж ты, истинно адское зрелище, оказывается... Невиданное, зловещее...

Смотрю между полотнищами брезента, и вдруг глаза мои упираются в глаза коменданта. Он стоит совсем рядом и глядит в упор, он узнал меня, сейчас узнает и Наташу, и Надежду Владимировну...

«Сейчас высадит»,— думаю я судорожно, но комендант делает знак рукой, и грузовик трогается.

37

ЭТОГО ПИСЬМА Я ЖДАЛА И ДОЖДАЛАСЬ

И вот мы в Нарве, и мальчик Олег ведет нас по улицам. Он сам подошел, Олег, услышав русскую речь, сам вызвался проводить. «К русским, к русским!» — говорит он. Женщину, к которой мы приходим, зовут Полина Николаевна, дочь у нее замужем за советским офицером

и живет в Ленинграде, и потому она смотрит на нас как на дочерних посланцев.

Полина Николаевна начала с того, что расстелила на столе под лампой белоснежную скатерть и стала кормить нас обедом.

Есть вещи, о которых трудно рассказывать, боишься, что тебя поймут неправильно. За недолгий путь из Пушкина в Веймарн, за несколько дней барачной жизни среди беженцев я не только забыла о таких вещах, как скатерть, вилка, мирный свет висячей лампы,— я перестала верить, что они есть на свете. Полина Николаевна своим радушием возвращала нам веру в то, что все есть и все еще будет.

Благословен тот, кто для путника, пришедшего из мрака, зажжет свет, и постелет скатерть, и подаст кушанье. Благословенны возвращающие людям веру.

В этой крошечной гостеприимной квартирке мы и ночевали первую ночь. Но на другой вечер пришел полицейский и увел нас. «Беженцы должны жить в специальных местах,— сказал он,— а то получается непорядок». Нам очень не хотелось покидать наш приют, почем же я знала, что это за мной приходила моя литературная судьба? Да, это была судьба, она повела меня по вечерним улицам и привела в странный зал, холодный и унылый, где окна были закрыты шестиугольными желтыми щитами, а с потолка свешивалась электрическая лампочка на кривом шнуре, и в ее свете двигались какие-то люди в серых лохмотьях.

— Они не похожи на беженцев,— сказала я.

— Вера Федоровна,— сказала Надежда Владимировна, знавшая все на свете,— вы знаете, где мы? Ведь это синагога!

Да, нас привели в синагогу. По узкой лестнице мы поднялись на хоры, там были нары, устланные соломой, здесь нам предстояло жить сколько-то времени. Потом пришла раввинша, маленькая, страшная, похожая на сверток каких-то траурных лоскутков,— вдова раввина, убитого немцами в числе других нарвских евреев. У нее убили всех, вплоть до внуков и правнуков, она одна жила в опустевшей, оледеневшей квартире и просила у всех, в том числе и у нас, чтобы ей привезли дров. Одну из ночей мы ночевали в этой квартире, набитой свалявшейся овечьей шерстью, и всю ночь мне снились те, кого увели отсюда, чтобы убить.

А те оборванные люди в синагоге были пленные — военнопленные с Эзеля и других островов. Бургомистр

Нарвы выпросил их у немецкого командования для городских работ и поселил [redacted] синагоге вместе с беженцами. Мы отдали им остатки продовольствия, взятого из Пушкина, подарили им иголки и нитки, [redacted] они, когда пришло нам время уходить из Нарвы, смастерили нам саночки, чтобы мы могли везти наши рюкзаки, [redacted] не тащить на спине. Вот как выглядело то, что я потом описала в пьесе «Метелица», пьесе, которая много лет пролежала у меня в столе, прежде чем появилась [redacted] печати и на сцене.

Даже умный, добрый ко мне А. К. Тарасенков сказал про нее: «Что это вам вздумалось написать такую мрачную вещь?» Н. Коварский выразился резче: «Кому это нужно?» Один за другим театры от нее отказывались.

Тихие жительницы городка Пушкина, приведенные судьбой в это странное место, мы слушали жестокие рассказы этих людей о муках плена, о прежних их профессиях, об оставшихся дома близких, но не это меня поразило. Поразило, когда (это было в первый же вечер) в угрюмом зале с грязно-желтыми щитами на окнах вдруг грянула песня.

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицею девица идет,—

чисто вывел молодой красивый тенор, и хор загремел могуче:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Обреченные люди пламенно взывали к жизни, останавливали ее, желая перед гибелью на нее наглядеться:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли то ль на белое лицо...

Вот откуда взялась моя пьеса «Метелица», сберегавшаяся до того дня, когда Центральный театр Советской Армии осуществил ее постановку. Спектакль был хорош, но для меня окончательной победой пьесы была ее премьера в Ленинграде, в Большом драматическом театре имени Горького, где ее поставил Мар Владимирович Сулимов.

Я сидела [redacted] зале, и, когда сцена замутилась метелью, когда пошли перед глазами фигуры пленных и [redacted] зале синагоги зажглись бра, мне пришла в голову мысль: «Разве не может быть, что кто-нибудь из них, из тех, находится сейчас среди зрителей? Почему же этого не может быть, это вполне может быть, и конечно же он узнает, непременно

узнает. Если еще не узнал, то узнает сию минуту, как только грянет песня. Уж песню-то он не может не узнать, уж таких-то совпадений не бывает, эта песня пелась тогда-то и там-то, и пели ее такие-то».

И песня грянула:

Вдоль по улице метелица метет...

Но сколько я ни смотрела (а я смотрела во все глаза), никто не поднялся в зале (а должен был подняться, если б узнал), никто не подошел к рампе (а, конечно, подошел бы, если б узнал)...

Уходя после спектакля, я все оглядывалась, не идет ли кто за мной... Но не шел никто.

И тогда я стала ждать письма.

«Метелица» шла на сцене Ленинградского БДТ несколько сезонов, и все я ждала письма.

Фантазировала: он живет не в Ленинграде, [redacted] БДТ не ходит. Но вот получил командировку в Ленинград. Ему говорят: «Сходи в БДТ, это у нас хороший театр». Он спрашивает: «А на что сходить?» — «Да на что достанешь билет». И вот ему выпадает билет на «Метелицу». Он садится на свое место, идет занавес... В зале синагоги загораются бра, летит метель, входят пленные. Кто-то запевает:

Вдоль по улице метелица метет...

— Постойте! — говорит этот человек.— Постойте!

Так я себе рисовала, дожидаясь письма.

Вышло иначе. Хотя письма я все-таки дождалась.

После довольно долгой сценической жизни спектакль БДТ «Метелица» был показан по телевизору. Вот после этого-то и пришло письмо.

Я его привожу слово в слово.

Здравствуйте, дорогая писательница
Вера Панова.

Прошу большого извинения за такое простое обращение к Вам.

Я давно решил Вам написать письмо, но даже не знаю, как обратиться и по какому адресу написать. Я живу в г. Черемхово Иркутской области и работаю здесь на шахтах и разрезах много лет [redacted] должности горного мастера.

Недавно я смотрел по телевизору постановку Ленин-

градского театра, правдивую киноповесть в 2-х частях «Метелица» по Вашему роману или повести.

Я хочу поблагодарить Вас за такую кинокартину, ибо я сам там в эти дни и минуты был участником этой истории. Я был в этом синагоге-лагере с начала его организации и почти до конца 1943 года в городе Нарва. Прошу Вас, если Вам не трудно, напишите письмо мне, и я Вам тоже могу кое-что написать. Конечно, это было так давно.

Вашего адреса я не знаю, но догадываюсь, что Вы состоите в Союзе писателей г. Ленинграда, и я решил написать Вам письмо-розыск.

Мой адрес...

Б. Тарасюк.

Я и теперь жду писем. Я всегда жду писем... Вдруг, например, мальчик Олег (теперь уже, разумеется, взрослый Олег), прочитав этот рассказ, напишет мне: «Ах, как же, помню». Или вдруг тот переводчик жив-здоров и напишет: «Как же, помню, грузовик вот-вот уйдет, а вы с больной девочкой и старушкой останетесь на бобах...»

Только от Полины Николаевны я не жду письма. Несколько лет назад я была в Нарве, и мне сказали, что ее уже нет в живых...

38
В ОККУПАЦИИ

Я уже не могу шаг за шагом описать весь тот путь, который мы, Надежда Владимировна Сперанская, Наташа и я, прошли от Нарвы с ее страшной синагогой до села Шишаки на речке Псел, где я надеялась соединиться (и соединилась) с моими сыновьями и мамой. Где мы шли пешком под ледяными зимними ветрами, где ехали по узкоколейной железной дороге в узеньких и холодных немецких вагонах? Где удавалось нам достать хлеба, а где не удавалось? На какой станции видели женщину-беженку, державшую на руках умершего в дороге грудного ребенка? В каком месте нашего страшного пути я, продрогнув в вагоне и не в силах отогреться собственным дыханием, вдруг почувствовала, что засыпаю, и сквозь это засыпание поняла, что засыпать нельзя, что это — конец, гибель? И тотчас же меня стали расталкивать и окликать какие-то чужие женщины, говоря то же, что я думала,— чтобы я не спала, что это — смерть. Совершенно не помню,

где все это было, в какие числа. Только факты остались в памяти, один другого страшнее.

Так или иначе, но мы продвигались к цели, и сознание этого нас не покидало, пока мы не приехали в Полтаву. Как ни странно, но именно там нас покинула бодрость — поезда оттуда в нужном нам направлении не шли, надо было идти пешком, люди на вокзале, большей частью жители Полтавщины, рассказывали нерадостные вещи о немецком хозяйничанье.

Наконец мы дошли до Решетиловки и у тамошних жителей нашли приют на ночь. После этой ночи со мною сделался припадок: утром я не могла подняться со скамьи, а когда поднялась — ощутила такую слабость, что не могла ступить. Пришлось вернуться в хату и долго сидеть, пережидая приступ.

Наконец пошли. Опять было снежно и так холодно, что перехватывало дыхание. Надежда Владимировна думала, что сразу за Решетиловкой будут Шишаки, и огорчилась, узнав, что надо еще пройти через Малую Бузовую.

Вот где нас приняли отменно — в Малой Бузовой. Опрятная красивая хозяйка на славу нас угостила, уложила спать, указала дорогу на Шишаки.

Уже пришли в Шишаки, уже прошли мимо почты, мимо магазина и школы, мимо могил героев революции, уже сверху, с горки, я видела нашу Березовку — улицу, где жили мои дети, как вдруг бедняжка Надежда Владимировна спросила:

— Еще далеко?

— Нет,— ответила я,— уже совсем близко.

Она не поверила:

— Сколько? Километров пятнадцать?

— Что вы,— сказала я.— Через десять минут придем.

Было так холодно, что я вынула из мешка мое байковое одеяло и покрылась им с головой. И в таком виде пришла к воротам дома Марии Владиславовны Кошевой.

Не было ни сознания достигнутой цели, ни радости, что путь завершен. Была одна мысль: «Живы ли? Здоровы ли? Здесь ли?»

Дойти до двери и убедиться в этом, и больше ничего не нужно.

Но раньше, чем мы дошли до двери, я поняла — живы. Видно было через плетень, как из «хатыньки» — крошечного мазаного флигелька — кто-то вышел и пошел к главному дому. А оттуда ему навстречу вышла мама и сразу увидела меня, проходившую за плетнем.

Когда мы бросились друг к другу, она сказала:

— Я знала, что ты жива, что ты к нам проберешься.

— Дети? — сказала я.

— В кухне,— ответила мама.

И вот эта кухня с чистым глиняным полом, с белоснежными стенами, с чистенькой кадушкой для воды — кухня домовитой Марии Владиславовны.

Свекровь моя, Мария Петровна, стоит у плиты. Словно не веря своим глазам, она говорит:

— Вера!..

Мальчики, Боря и Юра, вбегают в кухню из комнат. Они выросли и уже не так хороши собой, как прежде, но что это значит для меня?

Я нашла моих мальчиков здоровыми, спасибо бабкам. Узнала, что они по-прежнему играют в шахматы, катаются на саночках, а читают теперь сами.

Это был мой первый взгляд на мир, до которого я добралась. Второй взгляд был более широким.

Неподалеку от дома, где мы жили, стоял обугленный дом полицейского. Рассказывали, что этот негодяй выдал немцам партизан, ушедших от оккупантов в лес. И за это-де партизаны сожгли дом предателя. Очень страшно, говорили, горел этот дом: несколько дней-де горел и не сгорал, пока, наконец, не рухнул грудой самоварных углей. А во главе тех партизан, рассказывали, стоял Куприян Тутка, бывший секретарь райкома партии.

Женщины, на вид скромные и боязливые, пешком шли в Харьков якобы что-нибудь продать или купить на базаре и потом приносили в Шишаки советские газеты, пряча их в лифчике. И одна из этих женщин, ловко стирая в корыте цветастый бумазейный халатик, говорила:

— О, ненавижу! Пусть только придут наши, своими руками этих проклятых буду убивать!

Жили мы скудно, пищи не хватало, одно время Боря до того ослабел, что по утрам еле мог подняться с постели. Надо было немедленно выходить из этого положения, надо было работать и самой зарабатывать на себя и свою семью.

Мы с Наташей стали работать в бывшем колхозе «Ставидло», который теперь назывался общественным двором.

С непривычки нам было трудно, особенно когда приходилось поднимать мешки по сорок — пятьдесят килограммов. Но мы старались не отстать от женщин ни на прополке, ни на других работах, и они относились к нам

хорошо. Даже делились едой, если видели, что у нас к обеду ничего нет, кроме хлеба.

В феврале 1943 года, то есть после поражения немцев под Сталинградом, пошли слухи о дальнейших победах нашей армии и о том, что скоро немцы от нас будут тикать. Но бои шли еще далеко от нас, и в поведении шишакских властей ничто не указывало на близкие перемены. Однако слух держался так упорно, что все в него уверовали. Вере этой способствовали два обстоятельства.

Во-первых, в Шишаках появились итальянские солдаты, бежавшие из-под Сталинграда. На базаре возникла вдруг неимоверно тощая фигура в лохмотьях военной одежды, в драной шапке, напяленной на уши, с черной щетиной на лице. Фигура пошла между столами со снедью, приговаривая два слова: «Итальяно» и «Сталинград». Фигура хромала и выглядела очень жалкой, и из-за столов потянулись женские руки с кусками хлеба. Итальянец благодарил по-французски: «Мерси». Женщины понимали это слово. Иные из них отвечали сурово: «Не ходить бы тебе на нас, теперь не побирался бы». Но большинство не осуждало, должно быть понимая, что не по своей воле шел на нас этот солдат.

Второе, что подтверждало слухи о скором уходе немцев, была статья, напечатанная в одной из украинских газет, не то в полтавской, не то в миргородской. В статье приводилось высказывание Геббельса по поводу Сталинградской эпопеи. Геббельс говорил о том, что в войне возможны всякие случайности и что немецкое командование недостаточно учло громадность советского военного потенциала. Точного текста не помню, но смысл был именно такой, весьма обнадеживающий.

И наконец, в одно мартовское утро мы, встав от сна, узнали, что ночью немцы укатили из Шишак.

В голове и душе замелькали планы будущего. Я начала писать пьесу «Метелица». Набросала кусочек и листочки спрятала в поленницу, стоявшую в сенях.

Все это действо составляло для меня уже как бы частицу будущего.

В радостных мечтах легли спать. И вдруг раздался громкий стук в дверь. Такие грозные, глухие удары. Сердцу стало холодно. Кто это? Немцы, полиция? В соседней комнатушке спали дети, спала Наташа.

— Кто там? — спросила я, выйдя в сени.

В ответ: «Откройте»,— и брань. Голоса не немецкие — очевидно, полицаи.

— Не открою! — сказала я, решив, что если это гибель, то зачем же ее впускать в дом собственными руками.

— Ты с ума сошла! — ухватилась за меня мама.— Я им отворю.

— Не смей! — сказала я.

Голоса из-за двери закричали:

— Отвори, хозяйка, нам только водицы напиться!

— Не отворю! — сказала я.

Тогда они стали бить чем-то тяжелым сперва в дверь, потом в стену дома. Но стена была подперта изнутри поленницей, ее нельзя было свалить ударами прикладов. Мы с мамой ждали, затаив дыхание. Наконец за дверью послышался топот сапог, потом звякнула щеколда на калитке — они ушли.

Так я и не знаю, кто ломился к нам в ту ночь, затерявшиеся ли в селе немцы или украинские полицаи.

Странные были тогда дни, жуткие и в то же время полные надежды. В селе было безвластье — ни немцев, ни наших войск.

И все мы выходили на улицу слушать, не гремят ли выстрелы. В воздухе погромыхивало явственно, но мы опять выходили послушать, не приблизилось ли громыханье.

Оно не приближалось. Оно, увы, отдалялось. Оно отдалилось совсем. Сладкий сон уходил, смывался. В Шишаках опять появились немцы. Чем был вызван их временный уход? Никто не знал, откуда было узнать? Но для всех их возвращение было жестоким разочарованием.

Однажды ночью в сентябре я проснулась от скрипа колес и ржанья лошадей. По улице мимо нашего дома ехали телеги, вереница телег. Я вышла к калитке.

Непроглядно черная была ночь, но еще чернее этой черноты были лошади и поклажи на проезжающих по улицам подводах.

Ржали лошади. Плакали дети. Кашлял кто-то.

Стоя у калитки, я закурила и увидела напротив, по ту сторону улицы, попыхивающие глазки папирос. Там, на крылечках, тоже стояли, курили, смотрели.

Я не подошла к подводам, не спросила, кто едет, куда, зачем; я поняла.

Утром соседи рассказывали, что из Опошни немцы выгнали всех жителей.

— Всем надо уходить,— говорили соседи.— Либо в кукурузу, либо в лес.

А в полдень ко мне зашла соседка и выработала для меня программу действий.

— В кукурузу прятаться опасно,— сказала она,— лучше в лесу. Я за вами зайду, когда смеркнется, мы тоже идем в лес.

Она сдержала обещание, зашла за нами часов в девять вечера. Мы были уже готовы и пошли сразу же.

Фантастичен был путь через уснувшее, с погасшими окнами село, потом по тихой дороге, потом по лесу. Очень хотелось пить, мы скоро выпили воду, взятую с собой, и пили из лужиц, стоявших в колеях дороги. Наутро разглядели, что вода эта была голубовато-молочного цвета, вкус ее, впрочем, был хорош.

Вслед за соседкой и ее мужем мы углубились в лес. Уже светало. Было прохладно и шелестно. В том месте, куда нас привели, было много людей, одни сидели на небольшой скирде сена, другие прямо на земле, мужчины, женщины, дети, между деревьями виднелись силуэты коровы и лошади.

Утро разгоралось, захотелось есть. Мы сделали шатер, воткнув в землю несколько веток и натянув на них одеяло, все то же коричневое байковое одеяло, которое я принесла из Пушкина. Когда я усадила маму в этот шатер, то ясно представила себе, что у меня для нее нет никакого другого жилья и неизвестно — будет ли. Я послала мальчиков за топливом, а сама расстелила перед мамой полотенце и достала из кошелки наши съестные припасы. Самое ценное из них были подсолнечное масло, сухари. Мальчики принесли сухого валежника и развели костер. Мы поели, я закурила. Уж не помню, что я курила в том лесу,— кажется, кто-то со мной поделился своим самосадом. Среди находившихся там людей немало было знакомых, и уже на вторую ночь Наташа пела с ними советские песни. Было ново и чудесно, что теперь можно, не таясь, петь и про Катюшу, и про любимый город, и про все, что мы любили.

Ровно неделю мы провели в лесу — с 15 по 22 сентября. Иногда шел дождь, и наш шатер промокал насквозь, но нас это не пугало. Как-то раз раздался в лесу собачий лай и прошел слух, будто это немцы с помощью собак разыскивают беглецов, но все обошлось благополучно. По привычке мы с Наташей припадали к земле и слушали, не гремит ли. Земля не гремела.

Мальчики приносили топливо и воду и были очень довольны всем этим приключением. Но, увы, наши запасы

съестного очень скоро иссякли, надо было хоть чего-нибудь раздобыть.

Мы с Юрочкой взяли кошелку и отправились на добычу. В лесу видели множество беглецов, некоторых с коровами. Видели, как между деревьями бегал явно встревоженный полицай с жовто-блакитной повязкой выше локтя. У выхода из леса увидели ту самую соседку и ее мужа. Муж сидел на пне, а около него стояли два немца и что-то ему говорили. Поодаль стояла корова. Соседка была бледна и не сводила глаз с немцев. Вдруг она как бы что-то поняла, подошла к немцу, взяла из его руки походный котелок, подошла к корове и принялась ее доить.

Получив молока, немцы успокоились и удалились. Я обратила внимание на то, как поразительно не похожи эти немцы на тех толсторожих молодцов, каких мы видели в Пушкине в первые месяцы войны. Эти, теперешние, были почти мальчики, узкоплечие и тонконогие, с прыщавыми бледными лицами. «Добираются остатки»,— подумалось невольно.

Соседка пошла в лес, а мы с Юриком вышли на какую-то улочку, примыкавшую к лесу. Вместо первых двух-трех изб мы увидели сплошное пепелище, а в четвертую вошли. Она была пуста. Подоконник, лавка и весь пол были усыпаны только что снятыми с кустов помидорами. На припечке сидела курица. Видимо, хозяйка хаты выбиралась отсюда срочно.

Потом мы узнали, что эти уходы действительно совершались молниеносно, иначе и быть не могло. Немцы приходили и знаками показывали, что сейчас будут жечь хату. Едва дав хозяевам выйти, они пускали в соломенную крышу ракету, и мгновенно хата охватывалась огнем.

А иногда это была не крыша дома, а старая старуха или дитя, стоящее на крыльце,— та мишень, куда изгоняемый враг направлял свою пулю...

Курицу мы не взяли, хотя она была явно обречена на сожжение живьем, но, каюсь, некоторое количество помидоров в кошелку уложили.

Когда мы вернулись на нашу стоянку, в лесу уже знали, что немцы жгут Шишаки, и все говорили, что придется копать землянки, а я думала — куда же мы денемся с детьми и мамой, как пережить предстоящую зиму. Засыпая в ту ночь, я видела сквозь ветви багровое зарево, это горели Шишаки, горел там и дом, укрывавший нас в последние годы, я это знала, и сны мне снились багровые и черные.

Если не ошибаюсь, 20 сентября над нашими головами

зашипели перелетающие через нас снаряды, и мы догадались, что подходят наши. Мальчики пошли на разведку и рассказали, что видели вдали на лугу перебегающие человеческие фигурки. Люди, прятавшиеся в лесу, стали расходиться. 22-го утром двинулись и мы.

Вышли из леса и увидели незабываемую картину: вслед за нами выливался человеческий поток. Несли детишек, вели скотину, подзывали отстававших собак. Жизнь возвращалась в прежнюю колею.

Навстречу нам шли две женщины. Я спросила:

— Можно идти в Шишаки? Немцы там?

Женщина сказала:

— Та яки там нимцы, там вже наши! — и мы пошли без сомнений.

Шли среди сплошных пепелищ — сожжено было все подчистую. Черные улицы были неузнаваемы. Среди остатков черных стен стояли обгорелые бездыханные трубы. Кое-где люди уже работали кирками и заступами, копали землянки. Кое-где уже сушилось на травке заботливо расстеленное белье. Но вообще людей было мало, должно быть, многие беглецы еще не вернулись в село.

И я остро-остро, словно то была не мимолетная мысль, а удар ножа, ощутила, что то, на что я сейчас смотрю, не просто исторический случай, а частица громадного эпоса, который с годами отольется в песни, былины, картины, романы, в военную и политическую науку, в героические мифы, и в застольные здравицы, и во все то, чем живет, дышит и скрашивает свои дни все человечество, включая меня, и моих детей, и мою старенькую маму, идущую рядом со мной по неровной лесной дороге, где нога ступала то на древесный корень, мостом перекинувшийся через эту дорогу, то на слежавшиеся и отвердевшие, как камешек, опавшие листья, полузатопленные в похожей на зеркальце лужице, то на коровью лепешку, то на мертвого жука, то на неведомо откуда взявшуюся здесь ветку бледно-лилового колокольчика из тех, что выращиваются в холе на ухоженных клумбах нарядного цветника, ветку с большим бубенцом и причудливым извивом стебля, похожего на орнаменты древних наших деревянных строений. Жизнь со всеми своими внезапностями и радостями будто текла нам под ноги, как разворачивающийся ковер, а то мертвое и страшное, что так долго тяготило нас, уходило, будто клочок страшного сна, оно уже догромыхивало где-то вдали последними своими громыханьями, оно рассыпалось в порошок в тех рассказах, которые мы слушали от встреч-

ных людей, покуда шли из леса на свои шишакские пепелища.

Мы слушали повесть о том, как сжигали Шишаки и немцы уходили, не оглянувшись на еще одно черное пепелище, оставляемое ими за собой. Но когда выходил на пепелище первый человек, он прежде всего бросался туда, где стояла его лопата, и начинал, как древние его предки, рыть землю, строить землянку для себя и своей семьи, чтобы в подземном затишье пережить свою беду, свою ненависть к разорителям.

Мы слушали рассказы и о том, будто мишенью бывали не только люди, но и скот, молодняк и взрослый, и что с особенным удовольствием фашисты бросали убитых телят в колодцы, чтобы отравить всю жизнь, какая еще оставалась на нашей земле после их ухода. И рассказы о том, как тетка Горпина все это пережила и даже ни словечка этим зверям не сказала, но когда вслед за теленком звери кинули в колодец ее Володьку, закричала Горпина таким голосом, что по всем Шишакам услышали люди этот крик и бросились, забыв страх, к Горпининому дому. И прибежали швидко, но уже ничем помочь не могли — не вернуть Горпине ее Володьки. И даже мертвым она его увидеть не может, дуже глубокий колодец выкопал когда-то покойный Горпинин чоловік.

Домишко, в котором мы квартировали, тоже был сожжен дотла. Я попробовала открыть тайник, в котором перед уходом спрятала зерно. Это мне удалось, но зерна моего уже не существовало, в истлевших мешочках лежало что-то черное, как уголь, обжигавшее руки, дурно пахнущее и для еды непригодное. Не уцелели и те реликвии, которые я спрятала вместе с хлебом. Не уцелело ничего, кроме нас пятерых, которым негде было приклонить голову.

Признаюсь, в душе у меня не было ни капли надежды, когда я, оставив детей и маму около разоренного тайника, побежала к М. В. Кошевой. Конечно, это привычка потянула меня туда, ведь в этом домике я жила и в первый мой приезд в Шишаки в 1931 году, и в трудные годы войны, и вообще навсегда для меня Шишаки связаны с этим уютным, столь гостеприимным для меня домом, где крыльцо спускалось к трем старым плакучим березам и в кухне на лавке стояла кадушка с опущенным в нее большим ковшом. Я не питала на этот раз никаких надежд и не сразу поверила своим глазам, когда еще издали увидела эти три березы, и знакомую красную железную крышу, и посеревший от времени тын, огораживавший двор. А во дворе на зеленой травке ходили, как раньше, цыплята, а на террасе сидела сама Мария Владиславовна в чистом капоте, встретившая меня словами: «Где все ваши? Я вам оставила половину флигеля». И при этих словах надежда — нет, уверенность хлынула в меня. Ибо я знала, что ни все мы впятером, ни каждый из нас в отдельности не в силах выкопать землянку для жилья, и эти слова М. В. Кошевой были спасением для нас. Оказалось, что, когда пришли к ее воротам немцы, чтобы сжечь ее дом, ей удалось их подкупить какими-то брошками и серебряными ложечками, оставшимися после ее матери, и немцы, покрутившись перед воротами, ушли. И она, оставшись, таким образом, владелицей дома и флигеля, быстро все распределила: сама осталась жить в так называемом «большом» доме (том, перед которым росли березы) и туда же поселила Надежду Владимировну, а во флигеле определила в кухню нашу семью, а в комнату — какое-то совершенно обнищавшее беженское семейство из Харькова. Не знаю, как харьковчане, а в моей семье о Марии Владиславовне до сих пор живет благодарная память, и после войны она писала моим сыновьям, и вышло так, что когда она приехала в Ленинград, продав свой дом шишакским районным учреждениям, и здесь скончалась, то хоронил ее мой младший сын, которого она особенно любила.

Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад, и никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей...

Плохо было у меня только с топливом. Оно стоило очень дорого, так как людям, жившим в землянках, приходилось тратить его много, и цены на дрова поднялись. Я ходила на постройку нового Дома культуры (старый был сожжен) и подбирала там каждую щепку. На улице подбирали каждую оброненную хворостину. Но где же этим изо дня в день протапливать русскую печь, она требует дров настоящих.

Очень плохо у нас было также с одеждой, особенно с обувью, очень не хватало теплых вещей, мы зябли и часто болели.

Так обстояли наши дела, когда Наташа стала получать письма от отца.

Сразу после изгнания немцев она ему написала в Ленинград по старому адресу, сообщая, что с нею было и где она находится. Письмо получил сосед и написал Наташе, что ее мачеха Галя Беловецкая умерла во время блокады,

а отец с дочерью Таней находится в Перми, куда он, сосед, и переслал Наташино письмо.

И вот — хлоп! Пришло письмо из Пёрми от Арсения, а в письме — оформленный по всем правилам вызов в Пермь на имя Наташи и мое.

Помню, меня поразило тогда отношение мальчиков к этому письму. Неизвестно почему, они усмотрели в нем возможность возобновления семейных отношений между мною и Арсением Владимировичем и очень нахохлились. Я их успокоила и убедила, что нужно ехать. Мама тоже согласилась ехать.

Тогда я, взяв вызов, пошла к секретарю райкома партии, славной женщине, и просила ее помощи. Мне нужно было получить пропуск на выезд в Пермь не только для себя и Наташи, но и для всех членов моей семьи. Секретарь отнеслась к моей просьбе с полным пониманием и сочувствием, и я сразу получила нужный мне пропуск на всех нас.

В письме своем Арсений заверял, что в Перми мне будет обеспечена работа в газете.

Примерно в то же время Надежда Владимировна каким-то образом разыскала свою дочь, Надежду Владимировну младшую, и решила ехать к ней в Кировскую область. Мы мечтали выехать из Шишак вместе, но это не удалось, я с семьей уехала раньше.

39
ПЕРМЬ

Подъезжая к Перми, мы видели широкую ледяную Каму, прогрохотали по монументальному мосту. Снова я испытала отрадное чувство, что нечто задуманное исполнено, некая цель достигнута, всех довезла до места живыми и здоровыми, теперь надо постараться, чтобы насколько можно нормальнее устроить их,— как-то это удастся?

Увы! Печально и неласково встретила нас станция Пермь-вторая — обледеневшим вокзалом, морозным ветром, желтыми сосульками на вагонах, теснившихся на пути.

По деревянной лестнице, врубленной в снежный откос, мы вышли на широчайший проспект. Далеко друг против друга стояли пятиэтажные новые дома. «Это дома рабочих Мотовилихи»,— объяснила встретившая нас новая жена Арсения. Я спросила, не работает ли она на Мотовилихе.

Она ответила отрицательно: нет, она работает вместе с Арсением в редакции железнодорожной газеты «Сталинская путевка», она там — корректор. А комнату в этих домах город дал ее отцу, эвакуированному вместе с нею и ее матерью из Москвы, в начале войны.

Морозный ветер дул нам в лицо, мешки за нашими плечами были как каменные, сердце болело за ребят, так покорно тянувших эту тяжесть на своих худеньких спинах. Я обрадовалась, когда мы дошли и Галя (новую жену Арсения звали так же, как и предыдущую) открыла перед нами дверь своей квартиры.

Недолга была радость. С первого взгляда стало ясно, что живут в этой квартире трудно и скудно. Еды не было никакой.

На другой день приехал Арсений. Я приступила к нему с расспросами и услышала подробный рассказ о сложностях тыловой жизни и о том, что редактор «Сталинской путевки» обещал мне дать работу в редакции, но я должна быть готова к тому, что этого заработка мне не хватит, так как буханка хлеба на базаре стоит 150—200 рублей, кило картошки — 75 рублей, остальное соответственно.

«Что-нибудь да будет,— подумала я,— не для того же судьба провела меня через круги оккупационного ада, чтобы мы погибли здесь от дистрофии».

Арсений был желто-бледен, с ввалившимися щеками. Видно было — изголодался человек.

— Что за люди у вас в редакции? — спросила я.

Он дал ответ в своем роде:

— Ребята шикарные.

Он повел меня в «Сталинскую путевку». Я познакомилась с редактором М. Г. Гуревичем, секретаршей А. Г. Киян, художником Борисом Андреевичем, Ильей Алексеевичем Трифоновым и другими сотрудниками. По их просьбе рассказала им о моих скитаниях по оккупированной земле. Они мне понравились, а по тому, как они меня слушали, я поняла, что и я им понравилась.

И вернулась я к журналистской работе — в «Путевке» и в областной газете «Звезда», куда рекомендовал меня Гуревич. Выяснилось, что я ничего не утеряла из прежних журналистских навыков, моей работой были довольны.

По заданиям двух моих редакций я шла то на заводы, то в железнодорожные мастерские или в диспетчерскую, то в рабочее общежитие. Это было мне привычно с давних времен, хотя силы были уже далеко не прежние. На трамвае ездить не приходилось — он всегда был переполнен,

приближался к остановке, со всех сторон увешанный людьми, пробиваться в него нужно было силой, я и не пыталась. Очень мучил меня холод, пронзительные ветры с Камы — зима опять была суровая, слишком суровая для нас, южан, а одежки наши не приспособлены были к морозам.

Вообще в первые мои пермские дни я растерялась — совершенно нечем было кормиться, и плохо бы нам пришлось, если бы не писательская организация.

В Перми жило много писателей из Ленинграда, в том числе — благодарная ему память — милейший и доброжелательнейший Михаил Эммануилович Козаков, с которым я познакомилась в Москве в дни успеха «Старой Москвы». Он познакомил меня со своей женой Зоей Александровной Никитиной, которая при этой писательской группе ведала бытовым устройством и заведовала лагерем для писательских детей, основанным в деревне Черной, в двух часах езды поездом от Перми. Сами писатели жили в городе, в гостинице, которую все звали «семиэтажкой».

М. Э. Козаков встретил меня по-братски и сразу стал опекать. Он дал мне справку, что я член Союза писателей (то была «ложь во спасение», но его авторитет был так велик, что никто не усомнился), я получила ссуду, и, главное, все трое моих детей были приняты в детский лагерь в Черной. В лагере ребятам было обеспечено питание, кров, врачебный надзор, школа... Мы с мамой поселились по соседству с Черной, в деревушке Даньки, так что я ежедневно могла видеть детей, а они меня. Дочь Арсения Таня, сестра моей Наташи, тоже жила в лагере, и сам Арсений некоторое время работал там воспитателем.

В лагере я возобновила знакомство с Ириной Валерьяновной Карнауховой, детской писательницей (с ней я когда-то познакомилась у Кониковых). Дочь Карнауховой Галя тоже жила в лагере.

Благодаря М. Э. Козакову нам с мамой выдали продуктовые карточки, но получать по ним продукты нужно было в городе, и З. А. Никитина, спасибо ей, предложила мне сдать карточки в лагерь и получать хлеб в лагере. Это меня очень устроило — не нужно было ездить в город, хлеб мне выдавала кладовщица лагеря Александра Карловна. Вообще много хороших людей я узнала в лагере — и Киру Николаевну Липхарт, на дочери которой впоследствии женился мой Боря, и прелестную семью Фуксов, и супругов Гор — писателя Геннадия Гора и его жену Наталью Акимовну. Все они были ко мне очень добры, и со многими

очень интересно было разговаривать. Особенно радовало меня то, что дети смогут идти нормальной дорогой.

У Наташи возникла очень дельная мысль — за лето подготовиться и осенью сдать экстерном экзамены за 9-й класс, чтобы попасть в 10-й и в будущем году получить аттестат зрелости. В подготовке помогла ей писательница Е. Н. Куприянова, работавшая в Черной в качестве педагога.

В Даньках мы с мамой жили в избе, где было много тараканов и клопов, хозяйка не любила нас, тяготилась нами, мы болезненно это воспринимали, особенно мама. Единственной радостью там была баня, которая хоть и топилась по-черному, но всякий раз воспринималась как счастье.

По-прежнему хуже всего было с одеждой, все износилось, а взять было негде.

Через Пермское управление по делам культуры я получила некогда присужденную мне премию за «Старую Москву» — так появились деньги для уплаты за получаемые по карточкам продукты.

В то время я уже начинала чувствовать недомогание, сломившее меня впоследствии. Особенно по утрам, при пробуждении, было нехорошо с головой и с дыханием, и я понимала, что необходимо бросить курить, но не хватало воли. Я тогда вплотную занялась пьесой «Метелица», работалось трудно, на ее протяжении надо было разместить десять разнозначных мужских ролей, это было как задача по тригонометрии.

Вдоль стены нашей комнаты стояла длинная лавка, она заменяла мне письменный стол, вместо стула был чемоданчик, на который я садилась, чернильницей моей была школьная непроливайка, но пьеса меня удовлетворяла, я чувствовала, что она говорит правду и учит хорошему. За стенкой гремела ухватом и горшками хозяйка, мама иногда подходила и говорила тихо:

— Извини, я только на минутку тебя прерву.

Мне это не мешало, судьбы заключенных в нарвской синагоге слагались сцена за сценой, пьеса шла к концу.

Мы прожили уже весну и часть лета, когда как снег на голову грянуло известие: ленинградские писатели возвращаются в Ленинград, детский лагерь в Черной распускается, я должна забрать моих ребят к себе или уезжать с ними куда хочу. Уезжать мне было некуда, и дети переселились в Даньки. В нашей комнатушке стало очень тесно, теснота отражалась на здоровье детей, хозяйка стала

к нам еще нетерпимей, как-то вдруг выяснилось, что никакого пайка не хватит на такую семью, мои утренние приступы удушья и головокружения усилились.

Помню, было утро, когда я, проснувшись, не могла одеться. Я понимала, что надо преодолеть слабость, ехать в город, что если я опоздаю на поезд, то семья останется без хлеба, но пол уходил у меня из-под ног, дыхание останавливалось, только жестким усилием воли я заставила себя одеться и выйти из избы под морозный ветер.

Помню тоскливое чувство покинутости в тот день, когда все уехали и Черная опустела. Какими счастливцами казались мне уехавшие, какими лучезарными виделись мне их перспективы, как я хотела в Ленинград! Не знала я тогда, что давным-давно охладели к моей пьесе и Театр имени Моссовета и Театр имени Пушкина, я воображала, что все эти колеса еще крутятся, что там меня дожидается интересная работа, твердый заработок, известность! Розовые сны, пробуждаясь от которых как бы сразу стукаешься головой о каменную стену. Но ведь снилось не от легкомыслия, а оттого, что жизнь посулила, поманила удачей.

В неведении предстоящих разочарований я продолжала строить, как могла, наше пермское бытие. Директор радио Н. А. Волков предложил мне писать для их передач очерки и рассказы.

Я их писала, используя злободневный газетный материал. За рассказ или очерк радио платило мне 75 рублей — рыночная цена килограмма картошки. Иногда за неделю удавалось написать два очерка.

Писала я теперь главным образом в редакции «Сталинской путевки», там же сама перепечатывала на редакционной машинке, там же по большей части и ночевала на редакционном диване, редакция стала моим домом. В Даньках жить становилось все трудней, и мама и дети с трудом переносили эту жизнь, надо было с нею кончать.

Арсений познакомил меня с Людмилой Сергеевной Римской, директором областного книгоиздательства. Она предложила мне сотрудничать в областном альманахе «Прикамье», но у меня как-то ничего не придумывалось...

Тут, на мое счастье, возникло предложение бабушки Андреевны. Так звали симпатичную старушку, редакционную уборщицу. Не знаю почему, она ко мне благоволила, хотя, несомненно, я доставляла ей лишние хлопоты моими ночевками в редакции и полными пепельницами окурков, скоплявшихся к утру.

Узнав о моем положении, она сказала мне, что у нее

имеется собственный домик на окраине и что, если я хочу, она готова сдать мне комнатку.

Чтобы решить этот вопрос, она повела меня посмотреть домик. Он находился на Артиллерийской улице. Еще подходя к забору, из-за которого свешивалась черемуха, я подумала: «Хочу сюда».

Мне почему-то знакомым показался этот забор. И так же знаком был дворик, местами поросший мелкой зеленой травкой, и уютная кадушка под желобом, и деревянное крылечко, и когда-то зеленые ставни, выцветшие под солнцем, и маленькая кухня и за нею комната с образами, фикусами и сундуком в углу.

— Вот эту комнату могу тебе сдать,— сказала Андреевна.

В тот день из Даньков приехал Юрочка — повидаться со мной. Я повела его на Артиллерийскую и, заметив, как он смотрел на черемуху, дворик и комнату, спросила:

— Хочешь остаться здесь, не ехать больше в Даньки?

И даже сердце у меня сжалось — так он обрадовался, мой бедный ребенок.

Я с легким сердцем оставила его у бабушки Андреевны, а сама поехала в Даньки, чтобы привезти Борю. Он тоже очень был рад переезду из Даньков. В комнате, которую сдала мне Андреевна, была большая кровать, Андреевна определила ее для мальчиков. Таким образом, жилье для них было обеспечено, теперь надо было устроить маму и Наташу. Сама же я намеревалась ночевать на сундуке либо оставаться, как прежде, в редакции.

Реэвакуация ленинградцев и москвичей тем временем помаленьку продолжалась. Разъехались писатели, подобно мне оставшиеся в Перми после отъезда детского лагеря. Получил вызов в Ленинград и Арсений.

Л. С. Римская помогла: мама и Наташа получили комнату Арсения, мне только нужно было найти денег, чтобы прикупить хоть какой-нибудь мебелишки. Помнится, толику денег я получила от книгоиздательства благодаря опять-таки Л. С. Римской — в виде аванса под неведомо какие произведения для альманаха «Прикамье». Что же, я вскоре покрыла этот долг, и ни «Прикамье», ни издательство не понесли никакого ущерба.

Я забыла написать, что Наташин план сдать экстерном за 9-й класс удался, и в Перми она ходила уже в 10-й. Мальчиков я тоже записала в школу, и они учились нормально, одно было плохо — из-за плохой одежды они очень зябли и часто болели. Не меньше, впрочем, зябли

и мы с Наташей. В смысле питания было терпимо — мы имели карточки, бабушка Андреевна каждый день баловала нас самоваром.

Вообще, когда я слышала в то время жалобы некоторых эвакуированных, будто их плохо встретили в тылу,— меня эти жалобы удивляли; я свидетельствую, что мне была оказана всяческая поддержка — и учреждениями, и людьми, да и другим эвакуированным тоже, когда речь шла о насущных вещах, а не о вздорных претензиях.

Весной 1945 года Наташа окончила среднюю школу. Как-то очень хорошо она написала выпускное сочинение, оно было даже цитировано в газете. Мальчики благополучно перешли в следующие классы, я дописала «Метелицу», жизнь шла своим чередом.

Конечно, каждый день давался трудно. Например, мальчики заболели корью, а меня радио послало в командировку в Кудымкар, центр Коми-Пермяцкого округа, в составе отправлявшейся туда бригады. Пришлось ехать, оставив больных ребят на попечении Андреевны и Наташи. В Кудымкаре, впрочем, было недурно, и там даже прилично заработала. Тамошнее издательство заплатило мне гонорар за брошюру о коми-пермяцком художнике-самоучке Субботине-Пермяке. Я была полным профаном в живописи, но написание брошюры, включая изучение материала, заняло у меня двое суток, что казалось издательству совершенно невероятным. Секретарю окружкома, однако, моя брошюра так понравилась, что он спросил у меня, не имею ли я к нему каких-нибудь просьб, касающихся быта, и, когда я откровенно призналась, что мне очень нужны туфли, дал мне записку на какую-то базу, и я получила пристойные кожаные туфли, каких у меня давно уже не было. В Кудымкар я по оттепели приехала в насквозь промокших худых валенках.

Я понятия не имею, читал ли кто-нибудь, кроме секретаря окружкома, мою брошюру, но она была вскоре издана, это я знаю от Л. А. Образовской, писавшей свою кандидатскую диссертацию о моих работах и знающей их судьбу лучше, чем я.

В общем, я вернулась из командировки с деньгами и приодетая и могла полакомить ребят вкусными вещами, купленными на базаре, а они, уплетая эти вкусные вещи, говорили с насмешкой:

— А ведь правда, наша мамочка хорошо пишет!

В ту весну сотрудникам «Путевки» были выданы участки под огороды. Получила делянку и я. Засадила ее

только картошкой, кукуруза и подсолнух здесь в городе были ни к чему.

Участки наши находились за городом, ездить туда надо было поездом.

В конце лета мы собрали наш урожай. Я отдала свою картошку Андреевне, она была довольна.

Вообще в то время наша жизнь, как никогда, была связана с картошкой. Вспоминая Пермь, я вспоминаю с благодарностью и ее.

40

МОЙ ДЕБЮТ В ЛИТЕРАТУРЕ

Война шла к концу, и в городах тыла началась широкая кампания по устройству эвакуированных детей, живших в детских домах, без родителей, без семьи. Редакция областной газеты «Звезда» послала меня собрать материал и написать очерк. Я увидела много поучительного и, между прочим, обнаружила одну знаменательную черту. Наиболее стремились получить ребенка на воспитание те люди, у которых было много детей. Помню одного милиционера и его жену, у них было трое собственных детей, жили они в коммунальной квартире, а между тем как они добивались получить из детдома еще одного ребенка. Им отказывали, ссылаясь на неважное их устройство, а они продолжали, что называется, обивать пороги учреждений, пока не добились своего. Помню, как гордо они уводили из детдома сиротку девочку, держа ее за руки, как жена милиционера строила планы, как она оденет девочку (свои дети у нее были мальчики).

Все увиденное показалось мне таким важным, что захотелось написать не очерк, а повесть, хотя бы совсем маленькую.

Не помню, по каким причинам я писала эту повесть не в своей комнате на Артиллерийской и не в редакции «Путевки», а в маминой комнате, где прежде жили Арсений и его жена. Я написала ее, эту повесть, за три недели, работая денно и нощно. Это были всего три с половиной авторских листа, но для меня это было очень много. Стало быть, я могу написать в прозе нечто более капитальное, чем очерк или газетный рассказ. Мои перспективы раздвинулись, мои надежды укрепились.

Фамилия того милиционера была Пирожков, на Урале это распространенная фамилия, и мою повесть я тогда

назвала «Семья Пирожковых». С самого начала я ее готовила для альманаха «Прикамье», куда так давно приглашала меня милая Л. С. Римская. Она знала о моем замысле и приветствовала его.

Закончив повесть, я за две ночи перепечатала ее на машинке в редакции «Путевки» и понесла Римской. Она прочла ее и одобрила, пообещав напечатать в майском номере «Прикамья». И просила писать еще. На радостях я в ближайшие дни писала еще большой рассказ о старой сельской учительнице, но сама видела, что он получился плохим. И хотя он был помещен в той же книжке «Прикамья», где [redacted] «Пирожковы», но славы мне не принес, напротив.

«Семья Пирожковых» же сразу стала жить легкой, удачливой жизнью. В редакции «Звезды» устроили читку и обсуждение моей повести. Собрались работники книгоиздательства во главе с Л. С. Римской и несколько журналистов и писателей, в том числе живший тогда в Перми В. Ардов. Я прочла повесть, кажется, хорошо, сужу по тому, как меня слушали, некоторые даже со слезами. Я вспомнила мрачное предостережение Ю. А. Завадского: «Вдруг этого больше никогда не будет» и с глупой самонадеянностью подумала: «Нет, будет, если я захочу».

Неизъяснимую сладость доставили мне слезы [redacted] смех слушателей, и впервые я тогда ощутила, что могу внушать людям хорошие чувства.

Начались высказывания, и я услышала много добрых слов, самые сердечные и лестные — от Л. С. Римской и Ардова. Помню, он сказал, что удивлен, не ожидал... Поругали только неудачную сентиментальную концовку, я ее переделала на другой же день. Вообще почистила текст, стараясь сделать его крепче, жизненней, доходчивей. При описании детей очень помогли мне уже тогда мои наблюдения над собственными детьми, некоторые сценки [redacted] целиком списала с натуры.

Спустя годы, в Ленинграде, я вернулась [redacted] «Семье Пирожковых» и еще раз переписала ее по просьбе тогдашнего редактора альманаха «Ленинград», ныне покойного Б. М. Лихарева. Переписывая, я поняла, что она неправильно названа, что главное драматическое лицо в ней [redacted] несомненно главный характер — Евдокия, и назвала повесть ее именем. Под этим именем повесть с тех пор и переиздавалась, и на экраны вышла, и переведена на многие языки.

Эту скромную повесть [redacted] считаю подлинным моим

дебютом [redacted] литературе, с нее я уверовала в себя и стала писать более свободно.

Как обещала Л. С. Римская, повесть была напечатана [redacted] майском выпуске «Прикамья», [redacted] вскоре в «Литературной газете» появилась рецензия, где весьма одобрялась «Семья Пирожковых» и очень был обруган (справедливо) напечатанный с нею вместе мой рассказ об учительнице. «Словно это писали разные люди»,— правильно отмечалось в рецензии. Я очень благодарна ее автору Е. Усиевич, эта рецензия многому меня научила.

«Прикамье» с моими опусами вышло, если не ошибаюсь, в конце апреля 1944 года, а в мае пермские писатели послали эту книгу в Москву, [redacted] Союз советских писателей, чтобы обратить на меня внимание москвичей. Инициатором этого доброго дела была ныне покойная Евгения Федоровна Трутнева, автор многих книг для детей.

Из Москвы написали, что просят меня, когда буду [redacted] Москве, зайти в областную комиссию Союза писателей, где намерены обсудить мою повесть «Семья Пирожковых».

И вот, высадившись в Москве, [redacted] пошла [redacted] Союз. Председателя областной комиссии А. Д. Карцева не застала, но его секретарша Анна Яковлевна была в курсе дела. Я сказала ей, что не хотела бы, чтобы моя работа обсуждалась теперь, что прошу перенести обсуждение на то время, когда у меня будет готова новая повесть. Анна Яковлевна очень удивилась, но ответила, что она передаст это Карцеву и что желание мое безусловно будет уважено.

Другая же моя просьба, сугубо практическая — достать мне билет до Перми,— никак не могла быть исполнена, и я обратилась с нею в другое учреждение — Комитет по делам искусств на Неглинной. Я не очень рассчитывала на его помощь, зная, как в те дни трудно было достать билет, но там встретили меня с величайшим радушием [redacted] сделали больше, чем я просила: дали официальную бумагу коменданту вокзала с просьбой устроить мне билет в Пермь и предложили участвовать в закрытом конкурсе на лучшую пьесу для детей.

Тут же я подписала договор, так что опять возвращалась [redacted] детям и к маме с победой.

Смущал меня только срок представления пьесы на конкурс — какой-то фантастически короткий; но [redacted] была уже так крепко убеждена в своих силах, что решила об этом не думать. «Что-нибудь будет,— говорила я себе,— как-нибудь выйду из этого затруднения».

И действительно, вернувшись [redacted] Пермь, я быстро напи-

сала эту пьесу. Она называется «Девочки». Жюри конкурса отметило ее поощрительной премией, и она много лет шла в различных театрах страны.

Не покладая рук писала днем, а ночью думала о том, что уже написано, и о том, что еще надлежит написать. Одновременно с этим продолжала работу в газетах и на радио.

В это же приблизительно время Пермское отделение Союза писателей направило меня в Москву на пленум правления Союза. Я не была не только членом правления, но даже членом Союза писателей, но в Перми считали меня писателем и хотели, чтобы на пленуме был их представитель, и хотя меня смущал такой оборот событий, но я поехала.

Я исправно ходила на заседания пленума и впервые увидела там многих писателей, имена которых знала по книгам и газетам, в том числе О. Берггольц, С. Кирсанова, А. Прокофьева. Берггольц была очень хороша собою — тоненькая, в черном платье, с головкой золотой, как подсолнечник. Из знакомых я встретила на пленуме Ю. Юзовского, которого помнила с ростовских времен, В. К. Кетлинскую. Я тогда не знала и не могла знать взаимоотношений этих людей, и кое-что меня немало удивило, например то, что Прокофьев в своем выступлении бранил «Февральский дневник» Ольги Берггольц, очень нравившийся мне: по тогдашним моим понятиям, поэту выступать так резко против поэта было нехорошо. Прокофьеву много хлопали, это меня огорчило. Но потом на трибуну поднялась Берггольц и, тряхнув своей подсолнечной головкой, сказала:

— Я не буду отвечать товарищу Прокофьеву, я прочту отрывок из поэмы.

И прочла кусок, начинающийся словами: «И на Литейном был один источник»,— и как прочла!..

Когда она произнесла последние строчки: «Год Ленинграда, год его зимы, год сталинградского единоборства» — рухнули такие аплодисменты, что казалось — сейчас обвалится потолок. Стало ясно, что победа эта и не была бы столь явной, не выступи Прокофьев против ее поэмы.

Слушала я и выступление Кирсанова и волею случая устроила ему в те дни приятный сюрприз. Вот как это было. В перерыве между двумя заседаниями я прохаживалась по улице Воровского, вдруг вижу — идет Кирсанов. Подошел и спрашивает:

— Не скажете ли вы, как отсюда пройти в Борисоглебский переулок?

В руке у него были цветы, и вид он имел именинный. Я ответила:

— Как же, товарищ Кирсанов, вот сюда, потом направо.

— Вы меня знаете? — удивился он.

Не понимаю, что меня толкнуло, но я сказала:

— Еще бы, товарищ Кирсанов, кто же вас не знает,— и по мгновенно просиявшему его лицу увидела, как приятно было ему это услышать.

«Интересно, зачем я соврала?» — подумала я, но не раскаялась в своей лжи. Им, видно, нелегко живется, подумалось, пусть же у них будут минуты счастья.

Заседания происходили в красивом зале, обшитом резным деревом. К висячей галерейке вела узкая лестница. Я сидела на ступеньке лестницы. Подсел Юзовский, поговорили о Ростове. Какие-то незнакомые люди подходили, интересовались, откуда я, что написала.

Да, на пленуме было для меня интересно и приятно, но пленум кончился, и я вернулась в Пермь — на Артиллерийскую улицу к детям, на улицу Ленина в издательство.

41

«СПУТНИКИ»

В Перми я начала писать роман «Кружилиха». Сейчас мне представляется, что я начала его писать с того момента, как сошла с поезда в заводском поселке, описанном в «Кружилихе», поднялась по обледенелой лесенке, прилаженной к скату, и вышла на широкую, как шлях степной, снежную улицу. Далеко-далеко друг против друга стояли пятиэтажные дома, неогороженные, ничем не обсаженные, просвистанные ветром. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка. Дальше пошли старые постройки, бревенчатые срубы, многие — поставленные еще в прошлом веке; дерево построек почерневшее, суровое; словно углем на белой бумаге нарисован поселок.

Так вернулся с войны мой сержант Лукашин. Взошел по этой лесенке и постучался в один из старых домов. А потом поселился в новом, у жены своей Марийки. Я люблю сержанта Лукашина, хоть он и пришел с войны без орденов. Без орденов и с семью нашивками за ранения —

это бывает, и на войне бывает, и в литературе. Никто из критиков меня за него не похвалил, но я думаю, что правильно написала сержанта Лукашина — его чистоту, доброту, бессребренность и спокойную, негромкую отвагу. В схватке Листопада с Уздечкиным все время рядом присутствует Лукашин и, не вмешиваясь в спор, напоминает: «Товарищи, товарищи, существую и я!»

Я приезжала в поселок и на завод по поручениям редакции, и постепенно мой роман заселялся, его герои размещались в этих домах, обретали плоть, голос, судьбу. И хотя я уже писала что-то на своем веку, здесь впервые узнала, как трудна писательская работа и как она сладостна. Десятки раз переписывала каждую фразу, стремясь, чтоб изображение было точным. В поисках выразительности меняла конструкции, сочетания, столкновения частей. Удивительная радость в этих кропотливых, бесконечных, никогда сполна не удовлетворяющих стараниях... Роман был уже наполовину написан. Но тут Пермское отделение Союза советских писателей командировало меня в военно-санитарный поезд № 312.

В один декабрьский вечер 44-го года я пришла в редакцию областной газеты «Звезда», и мне сказали:

— Вас искал Михайлов.

Борис Николаевич Михайлов, поэт и работник «Звезды», был секретарем областного отделения Союза писателей. Я пошла к нему.

В его большом кабинете горела только лампа на столе, а глубина комнаты была не освещена, и в одном из полутемных углов сидели два человека в шинелях.

— У товарищей к вам дело,— сказал Борис Николаевич.

Сидевшие в углу встали и подошли. Это были мужчина и женщина. В офицерских шинелях они выглядели монументально. При дальнейшем рассмотрении женщина оказалась старшим лейтенантом, мужчина — капитаном.

— Они из санпоезда. Хотят пригласить вас с собой. Мы вам дадим командировку.

Я не поняла. Зачем я санитарному поезду? Мужчина в шинели ободряюще улыбнулся. Блеснул золотой зуб.

— Нам нужно ваше перо,— сказал мужчина.— Мы получили из Главсанупра приказ написать брошюру о деятельности нашего коллектива. Для обмена опытом. И для этой цели нам разрешено пригласить журиалиста.

— Вам будет у нас неплохо,— сказала женщина, за-

думчиво рассматривая мое летнее пальто (на дворе был трескучий мороз).

— Выезжаем завтра,— сказал мужчина.— Остановились на два дня — полудить кухонные котлы.

— В общем, решайте,— сказал Борис Николаевич, которому мы мешали писать статью.— Я уже всех опросил, и журналистов и писателей, все отказались, вы последняя. Я говорил, что и вы, по семейным обстоятельствам, вряд ли согласитесь поехать. Но они вот сидели, ждали.

Я согласилась и на другой день — уже смеркалось — пришла со своим маленьким чемоданчиком на станцию Пермь-вторая.

Писал один критик, да и сама я вижу: в том, что я пишу, два мотива повторяются с почти назойливым постоянством — мотив поезда и мотив метели. Думаю, оба они врезались мне в мозг в те военные зимы.

Военные зимы были (или казались?) немилосердно, небывало лютыми. А ездить приходилось почему-то все зимой, тоже в условиях небывалых.

Помню, в жестокий мороз с ветром совсем уже решилась, просидев несколько суток на глухой станции, ехать на открытой платформе и попутчиц своих убедила. Они ужасались, тряслись от стужи и страха, но дали себя убедить. Ни у одной из нас лишнего лоскута не было, чтоб как-нибудь утеплиться, и приехали бы мы, разумеется, замерзшими, но в последний миг спало с меня безумие, я словно проснулась и сказала: «Мы с ума сошли: конечно, не поедем»,— и мои попутчицы, уже вознамерившиеся было лезть на эту смертную платформу, заулыбались от радости...

Когда я оглядываюсь на те годы, в моих глазах прежде всего встает снежный вихрь высотой до небес, несущийся над железнодорожными путями, и обшарпанные, обвешанные желтыми сосульками трудяги поезда, с криком пробивающиеся сквозь вихрь. И моя память не в силах отринуть эти картины.

И вот среди точно таких поездов, тесно стоящих на битком забитых задворках Перми-второй, я издали вижу нечто ослепительное, сказочно чистое, яркое и нарядное: вереницу темно-зеленых пассажирских вагонов, на каждом нарисован красный крест на белом фоне,— ну новехонькие вагоны, ну только что с завода! Блестит краска, блестят окна, на окнах занавески дивной забытой белизны, не марлевые — полотняные, не простые — вышитые. Как только все это сверкнуло мне в глаза, я поняла — это тот

поезд! Поняла раньше, чем увидела вчерашнего капитана.

Он прохаживался вдоль поезда, поскрипывая по снегу начищенными сапогами. Увидев меня, взглянул на часы — дал понять, что я опоздала. Но не сказал ничего, а повел меня в вагон.

Невдомек было мне, когда я с крохотным чемоданчиком входила в штабной вагон, какую роль в моей судьбе сыграет этот поезд, вернее — люди, к которым я иду. Эти люди жили на колесах уже почти три с половиной года, с первых дней войны собрались они в этом поезде и с честью, непорочно несли свою благородную службу. Поезд был один из лучших в Советском Союзе, и командование решило, что поездной коллектив должен написать брошюру о своей работе — для передачи опыта коллективам других санитарных поездов. Я была направлена им в помощь как профессиональный журналист; я была — перо, которое запишет их рассказы и расположит в должном порядке.

Это было организовано так. Каждое утро ровно в половине девятого в купе, где меня поселили (в вагоне-аптеке; там стоял маленький письменный стол, выкрашенный белой краской, и все купе было белое, вымытое карболкой, и вообще я никогда больше не жила в столь стерильной обстановке — ведь в этом вагоне раненым делали перевязки),— в мое купе начинали приходить работники поезда: сестры, санитарки, рабочие. Они приходили по одному, садились и рассказывали обстоятельно, не торопясь, что было с ними за годы войны в этом госпитале на колесах, и что было до войны, и что они любят, и чего ждут.

Присылал их капитан. Далекий от тонкостей нашей профессии, он с замечательным чутьем устанавливал очередность посещений, так их распределял, что из сочетаний разных повествований, характеров, обликов как бы высекались искры, дополнительно и с новой точки зрения освещавшие складывавшуюся в моем представлении историю. Вслед за пышной, красивой, звонко хохочущей женщиной появлялся грустный парень, не взятый в действующую армию из-за слабого здоровья. За пожилым бойцом — совсем юная девушка-санитарка, за человеком сдержанным и скромным — самоуверенный и самовлюбленный...

Всем им требовался слушатель. Друг другу они давно все рассказали, а тут свежий человек, молчаливый, внимательный. Не перебивает, не говорит: «А вот у меня тоже»,— только слушает. И можно рассказывать час, два, сколько хочешь.

Они смеялись, вспоминая прошлое, плакали, вспоминая о своих погибших. Невесты говорили о женихах, мужья о женах. Некоторые пели мне свои любимые песни и романсы. Санитарному управлению нужно было мое перо, этим людям нужны были мои уши.

Но мне-то в ту пору, в конце 1944-го и начале 1945-го, этот поезд был нужнее, чем я ему, бесконечно нужнее! Все у меня тогда дошло до предела, и прежде всего усталость. Я закружилась в газетной работе, и она уже не давала мне удовлетворения, и другое, что я делала, тоже, в том числе уже начатый роман, вышедший через несколько лет под названием «Кружилиха». Я запуталась и не понимала, что у меня получается, а что не получается, и жила в лихорадочном ритме, в котором нельзя продержаться долго. И то, что мне дали — вдруг! — успокоиться, оглядеться, что-то решить для себя и о себе,— было великим благодеянием жизни.

Кто его знает, может, я и существую до сих пор потому, что 312-му санпоезду понадобилось полудить котлы, и сделать это по каким-то причинам пришлось в Перми, а не в другом городе, и как раз подоспел благословенный приказ Главсанупра о благословенной брошюре, и две фигуры в шинелях возникли в кабинете Бориса Николаевича.

И я вплотную соприкоснулась с миром, до тех пор мне незнакомым, оказавшимся странно созвучным мне и давшим могучий толчок моей застоявшейся работе. В хаосе рассказов, песен, слез зарождалась книга о подвиге любви и милосердия.

Долго ехали мы порожняком до Двинска. Там приняли раненых и повезли в Рязань. Настали дни горячие — не до разговоров. Но потом мы опять поехали за ранеными, и возобновилось то, что капитан называл подготовкой материала,— поток повествований и признаний. Я отбирала из них, что годилось в брошюру. Мне хотелось сделать ее хорошо. Но тут у нас с капитаном обнаружилось полное несходство понятий, что такое хорошо и что такое плохо.

— Иван Алексеевич,— сказала я,— давайте знаете какую сделаем книжку: я запишу, что мне рассказывают, их словами запишу — вот рассказ санитарки, вот рассказ врача, бойца, медсестры,— и будут слышны голоса живых людей, их интонации, и книжку будут читать везде, а не только в Главсанупре.

Но Иван Алексеевич посмотрел на меня строго и велел, чтоб была брошюра как брошюра.

— Учтите,— сказал он,— сколько инстанций будет ее

утверждать: командование поезда, партийное собрание части, общее собрание части, РЭП и, наконец, Главсанупр. Это не шутки.

И дал мне печатные образцы, которым я должна была следовать.

Я хотела угодить всем инстанциям и очень старалась, но у меня не выходило по образцам. Это огорчало Ивана Алексеевича. Особенно ему не нравились мои, по его словам, слишком короткие фразы. Он брал перо и удлинял их, переделывая точки в запятые. Над некоторыми запятыми, подумав, вставлял: «Исходя из чего» или: «Вследствие чего».

А я по ночам начала писать повесть о санитарном поезде.

Об этом самом? И да и нет.

Инстанции тут были ни при чем, и я населяла мой поезд кем хотела. Женщинами и мужчинами, встреченными когда-то, где-то. Они приходили по моему выбору и зову, в этих вагонах разыгрывались их драмы. И право же, они чувствовали себя здесь как дома.

По-разному может возникать писательский замысел.

Часто в его основе лежит некое пронзительное впечатление, оно дает первоначальный толчок, на него (иногда многими годами) напластываются другие впечатления, встречи, мысли, прочитанные книги. Причем все тянется к основоположному, обжегшему тебя впечатлению.

Это не просто накапливается — происходят своего рода «химические» процессы, от соединения простейших элементов рождается новое, часто неожиданное.

Иногда тот же процесс происходит, так сказать, наизнанку. Судьбы, характеры, детали откладываются в кладовых памяти и хранятся нереализованные, нетронутые. И лежать им без движения, глухо тревожа и обременяя душу, пока не блеснет, родившись от нового живого впечатления, оплодотворяющая мысль, которая оживит и объединит это разрозненное хозяйство. К этому магниту рванется все, что накоплено в закромах, и хозяин — писатель — гляди в оба, чтоб не налетело излишнее, к делу не идущее.

Так написались «Спутники».

Я писала их потихоньку от Ивана Алексеевича, потому что он сердился.

Раза два заставал меня за этим занятием, спрашивал сухо:

— Вы что пишете? Почему не брошюру?

Я признавала: служба есть служба. Не для того я тут, чтобы сочинять повести. Но было выше моих сил не писать то, что хочется. Кроме того, мой сугубо штатский организм возмущался при мысли, что брошюре должны быть посвящены двадцать четыре часа в сутки. Я считала, что если урываю несколько часов от своего ночного сна, то до этого никому нет дела. Иван Алексеевич терпеливо убеждал меня, что я не права.

На этой почве у меня, человека непугливого, был момент настоящего испуга, леденящего кровь.

Это было по пути к Варшаве. С медленностью неимоверной — пешеход мог обогнать его шутя — поезд тащился среди великолепных лесов, утонувших в снегу. Немцев тут уже не было, и наши части прочищали леса от бандитов, которых, по словам встречных красноармейцев, было хоть пруд пруди.

И вот сижу глубокой ночью за своим столиком и пишу о комиссаре Данилове, как он накрыл Кравцова и других за картами и пьянкой, а поезд тащится еле-еле, так что даже не погромыхивает неплотно прикрытая дверь купе, и в вагоне-аптеке ночная тишина, ни души, кроме меня, как вдруг, продолжая писать, краем глаза вижу: дверная щель расширяется. Слежу — так и есть: расширяется — тихо-тихо, и — вот где испуг — в темной щели, на высоте человеческого роста, глаз блестит! Слежу, затаив дыхание, и вижу фигуру в чем-то темном, длинном и нахлобученную шапку, и вдруг дверь рывком настежь, и знакомый суровый голос:

— Опять не брошюру пишете?

— Ну вас, капитан,— говорю я, вытирая пот со лба.

Оказывается, шел проверить, хорошо ли закрыты вагоны. Чтобы на ходу не вскочил невзначай кто не надо. Шел, видит — у прикомандированного журналиста свет в купе. Эх, опять не делом занят журналист...

Сердился он зря: брошюру мы написали довольно быстро и по всем правилам брошюрного искусства. В феврале 1945 года она была утверждена поездными инстанциями, и я высадилась в Москве, сердечно распрощавшись со своими спутниками.

На брошюре стояло имя начальника поезда. Забегая вперед, скажу, что света она не увидела; пока ее утверждали последующие инстанции, война кончилась и санитарные поезда стали расформировываться.

Но ее перепечатали на машинке на отличной бумаге, снабдили множеством фотоснимков и переплели в красный

бархат. К ней даже приделана в виде закладки лента с золотой кистью. Ни одна моя книга никогда не будет так роскошно оформлена... В таком виде брошюра и пошла в Музей санитарной обороны вместе с двумя образцово-показательными вагонами ВСП-312...

— Ну, а все-таки,— спрашивают иногда читатели,— были же в поезде люди, изображенные в «Спутниках»,— Данилов, доктор Белов, Юлия Дмитриевна, Фаина и другие, не целиком же вы их выдумали?

Читатель заметит сходство между Иваном Егоровичем Даниловым и Иваном Алексеевичем Порохиным, описанным в этом очерке.

Деятельность Данилова — подлинная деятельность Порохина. Много сходных черт в их наружности и биографии. Но многое у Данилова и от других прототипов, не от Порохина. Например, его отношения с женой.

То же можно сказать об остальных героях повести.

Майор Даничев, начальник поезда, был старый ленинградский врач, интеллигентный, мягкий. Я сохранила эти черты в облике Белова, но собственно характер Белова, а также его семейная история Даничеву не принадлежат. Семья доктора Даничева в блокаде уцелела, и я ее не знаю. Сонечка, Ляля, Игорь пришли из других семей.

Гибель Сонечки и Ляли — типический сюжет блокадной трагедии.

Была в поезде превосходная хирургическая сестра — ее работу я описала в повести,— но она была гораздо моложе Юлии Дмитриевны, приветливая, приятной наружности, ни лицом, ни судьбой не схожая с Юлией Дмитриевной.

Из женщин ближе всех к своему поездному прототипу сестра Фаина. Только кончая повесть, я пожалела, что такая отличная женщина уходит из нее неустроенной, и я ее выдала замуж за монтера Низвецкого.

А вот кого, например, начисто не было в ВСП-312, чьей даже тени там не мелькало,— это доктора Супругова. На его месте была милая, тихая, серьезная Татьяна Михайловна Дьячкова, которая тогда приходила по мою душу в редакцию «Звезды» вместе с Иваном Алексеевичем. (Кстати, монументальной она выглядела только в шинели — худенькая была и хрупкая.)

Девятому вагону в «Спутниках» уделено много страниц. Это вагон-аптека, где в дни псковского боевого крещения делали операции, где безраздельно царила

Юлия Дмитриевна, где Васька лежала под пальмой и определяла свой жизненный путь.

Перевязочная с пальмами и зеркалами была в одном конце вагона, в другом находилась маленькая аптека, с прорезанным в двери окошечком, а рядом с аптекой — на месте обычного проводницкого — мое купе со спальной полкой в глубине, двумя стульями и маленьким письменным столом.

Этой чистоте как нельзя лучше соответствовал общий дух поездного бытия: дух благопристойности. Я там не слышала крика, перебранки, разнузданных речей. Все ходили занятые делом, полные достоинства. Друг к другу относились уважительно! Друзья мои, как это было прекрасно, благородно и целебно. И так может быть, в сущности, в любом месте, если люди захотят...

Жить, как здесь жили,— совершенно не то что просто ехать по железной дороге, хотя бы очень долго.

Пусть длинное и трудное предстоит вам путешествие, но вы едете по определенному маршруту, в известный день и час прибудете туда-то. Вы планируете дальнейшие ваши поступки и отсчитываете дни, оставшиеся до приезда.

Здесь маршрут может измениться в любое мгновение, и сколько месяцев и лет (о днях вообще нет разговора) продлится ваша поездка — не знает никто, и время ускользает, как почва из-под ног. Очень это выматывает — этак болтаться во времени и пространстве.

После многодневного изнурительно медленного хода, когда у людей тускнеют глаза и самые стойкие готовы «запсиховать», поезд вдруг помчался со скоростью «Красной стрелы». Вы воспряли духом, вы осчастливлены бодрым перестуком колес, чувствуете себя наконец участником действий, событий! Но через час, полтора, четверть часа все так же внезапно кончается: вас останавливают на бегу и задвигают на какой-нибудь двадцать седьмой путь, между калечеными составами, или отводят на заброшенную ветку, где даже калеченых составов нет, только снежок метет в чистом поле,— и стойте там столько суток, сколько положат неведомые диспетчеры.

А одну ночь, помню, мы кружили вокруг Москвы. Колеса тарахтели усердно, и паровоз так кричал, словно мы куда-то спешили, ужасно бочсь опоздать. А нас попросту некуда было поставить и нельзя было двинуть дальше, пока дорога не разгрузится. Вот мы и носились по кругу. Мимо нас пролетали синие лампочки, приземистые железнодорожные постройки, самодельные плакаты у вхо-

дов в кино и клубы, а больше всего — поезда, бесконечные, неосвещенные поезда, либо грохочущие нам навстречу, либо немо стоящие на снежной земле.

Люди, с которыми свела меня судьба, жили так более трех лет.

Человек, с одной стороны, всегда куда-то едущий, с другой — всегда прикованный к месту, не принадлежащий себе, теряющий ощущение времени,— такой человек немалые должен делать усилия, чтобы не потерять равновесия.

Выручал его труд.

Мои спутники сами ремонтировали свои вагоны, потому и ходил ВСП-312 красавцем и щеголем.

Они делали из консервных жестянок кружки и сбывали в сельпо и городские торги, а на вырученные деньги разукрасили вагоны для раненых ковровыми дорожками и шезлонгами. Посчитайте, сколько надо сделать кружек, если за штуку торги платили десять — пятнадцать копеек тогдашними деньгами.

Не буду перечислять их занятия, они описаны в «Спутниках», повторяться скучно. Скажу только, что «психовать» людям было некогда, а также — что главная заслуга в этом принадлежала капитану Порохину Ивану Алексеевичу, который был не только парторгом, но и душой поезда.

Речь шла, понятно, о порожних рейсах. Во время груженых, когда поезд вез раненых из прифронтовой полосы в тыловые госпитали, все было по другому. Но эти дни напряжения всех сил пролетали так быстро по сравнению с днями ожидания. Поезд с ранеными не задвигали на запасные пути, он шел и шел... Впрочем, описано и это.

Когда я пришла, поезд начинал свой очередной порожний рейс.

Для меня эта командировка (я провела в поезде четыре рейса: два порожних — когда мы ехали за ранеными в Двинск и Червонный Бор, и два груженых — когда мы отвозили раненых в тыл), это пребывание в удивительном коллективе ВСП-312 имело то значение, что тут я окончательно поняла: я буду писателем, потому что не могу им не быть, не могу не рассказать о жизненном подвиге этих людей. Расскажу так, как вижу и понимаю. Это и будет посильный вклад мой — и в литературу, и в жизнь.

Едучи на пленум, я взяла с собой уже законченную (только что) первую часть «Санитарного поезда» (так первоначально я назвала «Спутников»). Написанное, казалось мне, уже не стыдно показать людям.

В областной комиссии взяли мою рукопись и назначили день обсуждения. Вместе со мной должен был обсуждаться В. Овечкин, только что с большим успехом напечатавший в журнале «Знамя» свою повесть «С фронтовым приветом».

Кроме прозы я дала на обсуждение две пьесы — «Старую Москву» и «Метелицу». Меня очень обрадовало, что в числе лиц, долженствовавших участвовать в обсуждении, значилась А. Я. Бруштейн. Я думала: «Она меня защитит»,— не догадывалась, что защищать будет не от кого.

Помню, с каким трепетом шла я на это обсуждение. Оно началось с драматургии. К моему удивлению, высказавшиеся бранили мою «Старую Москву» за литературщину, а «Метелицу» хвалили.

Кто-то сказал: «Видимо, у автора не было бумаги, и он на другой стороне листов «Метелицы» начал писать прозу, я прочел, это очень интересно»,— так открылось обсуждение «Санитарного поезда».

Мне постепенно становилось все более неловко, когда на меня вдруг буквально хлынул град похвал. Бедная «Семья Пирожковых», хоть тоже была щедро хвалима, совершенно померкла в блеске этих похвал.

Критик Л. М. Субботский, принимавший участие в обсуждении, сказал, что он покажет эту повесть (собственно, первую ее часть) редколлегии «Знамени», потом я узнала, что он был членом этой редколлегии. Он сдержал обещание — через несколько дней эта первая часть была прочитана Всеволодом Вишневским (главным редактором), Н. Тихоновым и А. К. Тарасенковым, заместителем Вишневского.

В областной комиссии мне сказали, чтобы я зашла в редакцию «Знамени» к Тарасенкову. Я пошла, конечно, сейчас же. Редакция представляла тогда ряд крохотных фанерных комнатушек, похожих на птичник, где чирикали разные дамы. Они, как и Тарасенков, встретили меня отменно любезно, называя по имени-отчеству, и передали мне записку от Вишневского. Записка эта представляла собой лестную рекомендацию в Союз писателей.

Тарасенков тоже очень лестно отозвался о моем «Санитарном поезде», но сказал, что дал прочесть рукопись еще

одному человеку, вкусу которого он доверяет абсолютно. Он назвал имя Софьи Дмитриевны Разумовской, дал ее телефон и просил нынче же вечером ей позвонить.

Я позвонила и услышала милый щебечущий голос, говоривший самые приятные слова.

На мой вопрос о договоре с журналом Софья Дмитриевна ответила, что считает это дело безусловно решенным и что она будет моим редактором.

Действительно, все пошло на первых порах как по маслу. Со мной подписали договор, я побывала у Н. С. Тихонова и приняла его совет дать повести другое, менее скучное название, только еще не могла придумать какое.

Оставалось возвращаться в Пермь и заканчивать повесть, ее надлежало сдать в октябре уже целиком, до последней точки.

Заканчивала я повесть возле кипящего самовара бабушки Андреевны, на редакционных столах в «Сталинской путевке». Мне и хотелось скорее закончить эту работу, и жутко было — вдруг она окажется плохой и никто ее не напечатает. Хотя созна́юсь по совести: то, что я писала, мне нравилось. А я уже догадывалась, что если писателю нравится написанное им, то понравится оно и читателям. Наоборот, то, что сам автор признает неинтересным, читателю ни за что не понравится; более того, автор не имеет нравственного права предлагать читателям то, что не нравится ему, автору.

Начиная со «Спутников», еще в разгаре работы я сокращала рукопись, без жалости выбрасывая целые куски, если они казались мне неудачными. Выбрасывала из рукописи, после перепечатки, из машинописного текста, потом при правке корректур. Такие сокращения я считаю весьма плодотворными, без них, мне кажется, просто нельзя. То, что остается после этих вымарываний, и есть наилучший вариант.

Писала я «Спутников» в общей сложности около восьми месяцев, одновременно продолжая работать в газетах и на радио. Ни одна моя книга не писалась так счастливо и легко.

В начале октября 1945 года я поставила в рукописи последнюю точку и поехала в Москву сдавать повесть «Знамени».

С волнением входила я в знакомые фанерные коробочки, где помещалась редакция. Все мои знакомые были на своих местах и встретили меня еще приветливее, чем прежде,— видимо, то, что работа сделана к сроку, повысило симпатию и доверие к безвестному автору. А. К. Тарасенков так и начал свою внутреннюю рецензию: «Мы не ошиблись, поверив, что повесть будет хорошая». Конечно, у редакции нашлись и замечания, и требования к рукописи. Моим редактором была милая Софья Дмитриевна Разумовская, с которой с тех пор я связана задушевной дружбой. Дружба, правда, родилась не сразу. Сперва мы несколько раз подолгу сидели с Софьей Дмитриевной в ее крошечной уютной квартирке в Дмитровском переулке. Ее работа была очень своеобразна и очень полезна для начинающего автора. Она показывала на какой-нибудь эпитет и говорила: «не так» или: «невкусно», и, как ни странно, я тотчас ее понимала. Иногда кончик ее карандаша указывал на мои языковые промахи, это тоже было очень для меня важно, ведь я говорила (значит, сплошь да рядом и писала) на южном жаргоне, кишевшем неправильностями. Хочу оговориться, что столь дружественной была лишь наша совместная работа над «Спутниками», уже за рукописью «Кружилихи» я стала очень нетерпимой к любому редакторскому вмешательству, для меня стало важней всего мое собственное, авторское отношение, и, словно поощряя меня в этом, судьба с тех пор посылала мне редакторов столь снисходительных, столь готовых во всем со мной согласиться, что я их совершенно не чувствовала, словно их и не было. Исключение представлял один лишь А. Т. Твардовский, но это уж особь статья, для меня это был не редактор, а старший товарищ, взгляду и вкусу которого я верила больше, чем своим собственным.

В «Знамени» я, конечно, бывала ежедневно — уже не могла жить вне этой среды, без этих людей и их интересов.

Однажды, идя из редакции, я встретила на Старой площади моего Данилова — Ивана Алексеевича Порохина, парторга санпоезда, описанного в «Спутниках». Я издали узнала его рослую фигуру в длинной шинели. Мы спросили почти одновременно:

— Вы как тут?

— Я,— сказал он,— сдаю мой поезд. Здесь, на Белорусском вокзале. Уже все почти сдал, четыре вагона осталось. А сейчас иду из ЦК. А вы?

— А я написала повесть о вашем поезде, она будет напечатана в журнале «Знамя».

— Ну да,— сказал Иван Алексеевич, и видно было, что он мне не верит ни на копейку.

— Иван Алексеевич! — сказала я.— Редакция тут, за

углом, зайдемте. Они вам рады будут: они о вас прочли, а теперь увидят воочию.

Иван Алексеевич поверил и пошел со мной.

Когда я сказала: «Вот пришел комиссар Данилов»,— из всех трех фанерных клетушек, где помещалась редакция, сбежались люди на него поглядеть и пожать ему руку. И жали и глядели они так, что Иван Алексеевич был тронут и всех пригласил на завтра на Белорусский вокзал в штабной вагон ВСП-312 на прощальный обед, где работники поезда в последний раз собирались вместе перед расставаньем.

«Знаменцы» на приглашение откликнулись дружно. И поезд блеснул напоследок! В штабном вагоне были сняты переборки между несколькими купе, поставлен длинный стол и со всей знакомой мне стерильной чистотой и благоприличием был сервирован обед.

Уже мало людей оставалось в поезде: доктор Татьяна Михайловна, да две-три медсестры, да столько же проводников — вот, кажется, и все... Мы поздравили друг друга с тем, что это кончилось, и у всех у нас слезы были на глазах.

Обед был плотный до чрезмерности, но совершенно необычный. Накануне зарезали последнего откормленного кабанчика, а кроме него, у радушных хозяев почти ничего не было. И потому свинина была на первое, и свинина на второе, и на третье, и во всех подаваемых блюдах — и их было много — наличествовала свинина, но так как был 1945 год и карточная система, то гости всем блюдам воздали должное и остались очень довольны.

Зато неважно было с выпивкой. Иван Алексеевич всегда относился к ней неодобрительно. И тут на столе фигурировала всего лишь одна бутылка, и та неполная, какой-то непонятной коричневой настойки, которую он сам всем наливал понемножку (чтоб не перепились) в стеклянные медицинские банки. Пахла настойка чем-то вроде нашатырно-анисовых капель. Но мы все равно с удовольствием чокались и пели хором.

Больше двадцати пяти лет прошло с тех пор. Но я благодарна судьбе за то, что она тогда взяла меня и бросила в тот поезд, к тем людям.

«Спутники» были напечатаны в 1946 году. С ними пришел ко мне большой литературный успех и начался новый период моей жизни, связанный с непрестанной, не прекращающейся ни на один день, напряженной литературной работой в различных жанрах.

42
КАК СКЛАДЫВАЮТ ИЗ КУБИКОВ

Весной 1947 года в Комарове под Ленинградом я вплотную принялась за «Кружилиху», начатую еще в Перми, до поездки в санпоезде.

Рано утром я выносила столик в сад и писала, пока не немела рука. Там, в саду, была написана бо́льшая часть романа, правда, беспорядочно, это была просто стопка отдельных эпизодов. Пермь уже стала затушевываться в воспоминании, мне захотелось еще повидать ее заводы, людей, улицы, я решила поехать туда. Мама чувствовала себя получше, надо было и ее забирать в Ленинград.

И вот я опять была в Перми, в милых местах, столько мне давших. На этот раз я одна жила в гостинице «семиэтажке», в приличном номере, где был даже телефон. Сев на пол, я взяла рукопись «Кружилихи» и стала раскладывать ее, как пасьянс. Из кусочков складывала главы, тут же заполняла пробелы. Заметила, что часто при ином расположении кусочков, при иных стыках между ними возникают новые неожиданные интонации, усиливается впечатление.

Узнав о моей новой работе, мои друзья журналисты и литераторы выразили желание послушать ее. Я прочла им несколько глав, и они одобрили их.

С заводов приходили ко мне люди, рассказывали много интересного, что пригодилось при описании Кружилихи. Я с утра до вечера ходила по городу, впитывая его пейзажи, заходя в разные места, которых раньше не знала.

В Перми, в «семиэтажке», застало меня сообщение о присуждении мне Государственной премии первой степени за «Спутников». Вечером позвонила мне Л. С. Римская и сказала, что постановление будет передано по радио завтра утром. Утром, встав, я села у репродуктора. Не успел он произнести мою фамилию, как раздался телефонный звонок. Это Л. Л. Арбенева хотела первою меня поздравить. Затем в течение всего дня без перерыва шли звонки и телеграммы. Лучшая телеграмма была от Бори и Юры: «Грузите велосипеды бочками, братья Карамазовы». Дело в том, что я обещала мальчикам, в случае если получу премию, купить им по велосипеду, и они мне об этом напомнили, пародируя телеграмму Остапа Бендера к миллионеру Корейко.

Вечером того дня мы с Л. С. Римской и С. М. Гинцем скромно поужинали втроем в ресторане, чтобы отметить

событие. Следующие дни до отъезда прошли в доработке «Кружилихи».

В Ленинград я вернулась в августе вместе с мамой. Она сначала жила на даче в Разливе, потом переехала в Дом творчества в Комарово. К несчастью, дни ее были уже сочтены...

По пути, в Москве, было приятное происшествие. Я зашла в Союз писателей, и там мне без всяких с моей стороны просьб вдруг дали книжку на промтовары. Я пошла в универмаг и по талону купила маме отличную шубку.

В Ленинграде же, получив премию, первым долгом купила ребятам велосипеды. А кроме них обувь, штаны и все, в чем они столько лет так нуждались. Какое было удовольствие покупать все это!

Но вернусь к «Кружилихе».

В свое время, после первого успеха «Спутников», журнал «Знамя» предложил мне договор на новое мое произведение. Я договор подписала. Теперь, закончив роман, надо было везти его в «Знамя».

Я застала там перемены: вместо Тарасенкова заместителем редактора был С. И. Вашенцев, не было завредакцией Любови Иосифовны, но все же это была знакомая, безгранично доброжелательная редакция, я вошла в нее уверенно и радостно.

Вашенцев принял от меня рукопись и сказал, что в дальнейшем мне сообщат. Он позвонил в тот же день и сообщил, что Тарасенков уже прочел мой роман, а теперь читает Вишневский.

Я жила в тот раз в какой-то комнатке, куда устроил меня Союз, быстро устала от Москвы и мечтала, чтобы скорее определилась судьба романа.

И довольно скоро меня позвали в редакцию к Вишневскому. Он сидел за своим столом у большого окна, встретил меня приветливо, пригласил сесть, но далее разговор принял пренеожиданный и пренеприятный оборот — он накинулся на меня с упреками.

— Как! — воскликнул он экспансивно.— Это советский директор?! Что он у вас говорит, не хочется повторять! — Имелся в виду, конечно, Листопад.— Какие он у вас совершает поступки! Впрочем, я прочту еще раз. Там есть кое-что — эта милая старушка, жена главного конструктора, эта интеллигентка Нонна, эта мать Листопада. Вы одаренный человек, но, к сожалению, не обо всем мыслите правильно. В общем, подождите, пока я прочту еще

раз. Я дам вам ответ в пятницу, приходите утром. Впрочем, приходите лучше в четверг, пятницу моряки считают тяжелым днем,— завершил он кокетливо.

И вернулся к упрекам, обвиняя на этот раз в том, что я описала Листопада и Уздечкина как антагонистов, тогда как коммунисты должны уметь находить общий язык. Он явно не понимал моего замысла и пытался навязать мне нечто свое. Я уже восставала против этого всем сердцем, как вдруг увидела, что он... плачет! Да, он отошел к окну и краем занавески утирает подлинные слезы — я поняла, что он, во всяком случае, бесконечно искренен, доверие мое к нему восстановилось мгновенно, ни до, ни после этого я не видела плачущего редактора.

Во время этого разговора попеременно открывались две двери кабинета, встревоженные лица сотрудников заглядывали и исчезали, когда Вишневский махал на них рукой.

В четверг я опять пришла и опять сидела перед моим судьей, а он говорил:

— Первого сентября мы должны по графику сдавать номер в набор. Мы можем задержать сдачу до второго сентября, в самом крайнем случае до пятого. Если вы к этому дню успеете внести поправки...

Я собиралась ответить, но звякнул английский замок в двери, и быстро вошел Вашенцев.

— Да, да,— заговорил он.— Самое позднее мы сдаем номер в типографию пятого, по графику должны сдавать первого, после пятого ни одного дня не можем тянуть.

— Сергей Иванович,— сказала я.— Вы же слышали предыдущий разговор — какое тут может быть пятое, а тем более первое, ведь в романе не остается камня на камне, его надо писать заново, с самого начала.

Я говорила, а Вашенцев как-то странно махал мне рукой. Потом он сказал:

— Все зависит от вас. Если вы управитесь до пятого...

— Да! — сказал Вишневский.— Надо непременно управиться до пятого.

— Зайдите ко мне, Вера Федоровна,— сказал Вашенцев.

И в его крохотном кабинетике мы договорились мгновенно: я напишу сцену дружественной беседы между Листопадом и Уздечкиным (эта беседа написана и находится в главе «Ночью») да еще переделаю название романа. Он был назван первоначально «Люди добрые», Вашенцев посоветовал название «Кружилиха».

— Может быть, «Люди Кружилихи»,— усомнилась я.
— Нет,— сказал он.— «Кружилиха» — это будет хорошо.

Мне тоже вдруг показалось, что это будет хорошо, что помимо названия завода это слово передает взвихренность, стремительность нашего переходного бытия. Я согласилась.

— Но Вишневскому не нравится,— сказала я.

— Что вы,— сказал Сергей Иванович.— Если бы не нравилось, разве он так бы говорил с вами?

И я почувствовала, что он прав. И, бодро вернувшись домой, стала сочинять разговор Листопада с Уздечкиным.

В тот же день случилось еще одно приятное. Позвонил А. К. Тарасенков, сказал, что романом заинтересовался «Новый мир» и редактор его К. М. Симонов, которому Тарасенков дал прочитать мою рукопись, хочет со мной повидаться.

Вечером позвонил сам Симонов и прислал за мною машину, и я поехала в «Новый мир».

Первый раз я тогда увидела Симонова, и очень он мне понравился. Понравилось не только то, что он похвалил «Кружилиху» и предложил передать ее «Новому миру». Понравилась и общая его приветливость к людям. И непринужденность в обращении — он сидел в редакции в рубашке с засученными рукавами, без пиджака и без галстука.

Рукопись я, однако, отказалась забрать от «Знамени» — у меня ведь для этого не было никаких оснований.

Через два-три дня я душевно простилась со «Знаменем», причем Вишневский назвал меня «большим и светлым талантом», и поехала в Ленинград.

С нетерпением ждала я одиннадцатого номера «Знамени», где должна была появиться «Кружилиха». Что ж, пришел и этот день.

Пришел и другой, когда «Литературная газета» открыла на своих страницах дискуссию о моем романе.

Сразу ясно было, что задача дискуссии — разгромить «Кружилиху». Большинство участников дискуссии обвиняло меня во всевозможных грехах и промахах. Повторялись все обвинения Вишневского. Много писалось дельного, но были и глупости вроде того, зачем-де Листопад не ходил с женой в театр.

А за этим потянулись разные библиотечные кружки — они готовили читательские конференции, посвященные разгрому «Кружилихи», со всех сторон меня стали звать на

эти конференции. Я не шла, полагая, что через какое-то время устроители конференций скажут мне спасибо за то, что я не пошла. Помню, как усердно звала меня заведующая библиотекой завода «Электросила», заманивая тем, что они подготовили очень полезные для меня читательские выступления. Я уже кое-что понимала в этих делах.

В те же дни я получила несколько анонимных писем. Неизвестные доброхоты посылали мне вырезку из «Крокодила» — пародию А. Раскина на «Кружилиху».

Все это закончилось, когда в газете «Культура и жизнь» появилась статья в защиту «Кружилихи». Мой роман не дали уничтожить. Он вышел отдельным изданием в издательстве «Советский писатель». Далее он переиздавался почти так же много, как «Спутники», потом стал выходить в разных странах.

Но за то время, что он находился в центре внимания дискуссии, на нашу семью обрушилось горе.

Моя бедная мамочка после долгой тяжелой болезни скончалась в Комарове 2 января 1948 года. 4 января мы ее похоронили на Шуваловском кладбище, а 6 января Союз обязал меня быть в Москве на обсуждении «Кружилихи».

Обсуждение происходило в том же зале с красивой деревянной резьбой, где я когда-то была на пленуме. Обсуждение заключалось главным образом в том, что выходили участники дискуссии и на словах повторяли то, что они писали в обвинение роману. Лишь два-три человека решились произнести несколько слов в защиту «Кружилихи». Я видела, как бледный В. А. Каверин под аккомпанемент этих грозных речей вышел из зала. Видела сидевшего у стены Вишневского и ждала, не выступит ли он в защиту романа. Но он не выступил. Когда заседание кончилось, я подошла к нему и глупо сказала:

— Что же вы, Всеволод Витальевич, меня не поддержали?

Он ответил очень резонно:

— Я напечатал ваш роман, что бо́льше я мог для него сделать?

Поддержали другие. Борис Горбатов подошел ко мне и сказал:

— Все равно вы написали роман, который будет жить.

А милая моя Туся Разумовская шепнула мне:

— Вера, я тебе предсказываю премию за «Кружилиху», запомни мое предсказание.

Я ей не поверила, но она оказалась права: Совет Министров присудил мне премию.

После московского обсуждения совершенным сюрпризом было обсуждение в Ленинграде.

Я не хотела его, мне надоело слушать обвинения, порою смехотворные, порою несправедливые, к тому же в Ленинграде все писатели были уже как бы своими, а перед своими быть заушаемой особенно горько; но избежать обсуждения в своем коллективе было нельзя, в назначенный вечер я была в Доме писателя на улице Воинова. В зале и гостиных было много народу, своего и постороннего.

Я сидела у круглого стола, а против меня сидел докладчик — критик Павел Петрович Громов, перед ним лежали листки с тезисами, я смотрела на него и думала: «Что-то ты обо мне сейчас скажешь, Павел Петрович?»

Я тогда была еще заражена предрассудком, утверждавшим, будто Москва всем городам задает тон и если она чему-нибудь сказала «нет», то по всей стране скажут то же. Другой предрассудок говорил, что один в поле не воин; и то и другое, как я потом познала на опыте,— совершенная неправда: и мнения у людей свои собственные, и высказывают их люди откровенно, и один в поле очень даже воин, если выходит убежденно и бесстрашно.

Тогда же, ослепленная предрассудками, я даже не очень слушала П. П. Громова, когда он заговорил: так я была уверена, что он дудит в ту же дуду, что московские критики, нападавшие на «Кружилиху». И вдруг, вслушавшись, выяснила, что он говорил вовсе даже и не о «Кружилихе», а о «Василии Теркине» Твардовского.

«Что это значит? — подумала я.— Неужели разговор о «Кружилихе» отменен, а меня об этом даже не известили?»

А Громов внезапно для меня стал сопоставлять Теркина с моим романом и наговорил в адрес романа множество хороших слов, таких хороших, что мне стало ясно — в Ленинграде обсуждение пойдет доброжелательно.

Он понял, что я хотела сказать в «Кружилихе», умница Громов. Он цитировал из романа те самые места, которые процитировала бы я, если бы вздумала защищаться от нападок. Цитировал много, не жалея времени.

Кроме профессора Плоткина, все выступали с похвалами «Кружилихе», в том числе А. Б. Никритина и милый мой М. Э. Козаков. А если нет-нет раздавались отголоски той «дискуссии», то Громов, Л. Левин и Б. Костелянец, усевшись в ряд, с места давали выступавшему дружный

и остроумный отпор. Так что обсуждение в Ленинграде не расшатало, а укрепило мои писательские позиции.

Спустя несколько лет, после нападения критиков на мой роман «Времена года», Ю. Герман сказал:

— Панова каждым новым своим произведением делает ставку ва-банк, отсюда ее популярность.

Должна сказать, что ни разу я не делала этой ставки, я просто писала, что мне хотелось и как хотелось, а потом приходили критики и мне же «объясняли», что́ я хотела этим сказать, как будто они могли заглянуть в мои мысли. Думаю, что и всегда в литературе было так и что отсюда такое нагромождение ложных оценок и дутых репутаций. Думаю, что до сих пор в этой области не сказано ничего более разумного, чем пушкинские слова: «Ты сам свой высший суд». Наиболее справедливо было бы довериться совести самого писателя. Многих литераторов я перевидала — богато одаренных и малоодаренных, неуверенных в себе и безмерно самовлюбленных, но почти не встречала таких, которые отстаивали бы свои неудачные произведения. Тут есть какая-то точка, за которую ни за что не перейдет уважающий себя человек. Бывали, конечно, исключения, но их мало. Писатель всегда знает, хорошо или худо он написал. И очень редко во имя выгоды он отступит от своих художнических взглядов и назовет черное белым. Те, кто о писателе думает иначе, либо заблуждаются, либо клевещут сознательно.

В романе «Кружилиха» среди многих действующих лиц есть целая группа мальчиков, работающих на производстве.

Впервые я увидела этих мальчиков в железнодорожных мастерских, куда редакция газеты «Сталинская путевка» направила меня за материалом для очерка. Я знала, что ушедших на фронт бойцов заменили на производстве женщины и дети нашей подлинно богатырской Родины, знала, что даже на минном заводе есть юные рабочие, что они не только бесстрашно делают мины, но и возят их по претрудной дороге, пренебрегая опасностью для жизни, так же мужественно, как пренебрегали ею советские воины на фронтах, лицом к лицу с фашистскими танками, под ливнем осколков и пуль.

Все это мы, люди тыла, знали, но тут, в железнодорожных мастерских, я впервые воочию увидела эти худенькие лица, эту мужскую деловую сосредоточенность за работой, эти детские руки в копоти и масле, держащие инструменты. А тут еще мастер, водивший меня от станка

к станку, рассказал мне о том, как этим ребятам, его ученикам, попалась откуда-то однажды книга А. Дюма «Граф Монте-Кристо», как они ее читали по очереди, устанавливая очередь жеребьевкой, и до того увлеклись и отвлеклись, что стала страдать трудовая дисциплина и он, мастер Корольков, отобрал у них книгу. И как-то сразу я приняла решение: обязательно ввести в роман «Кружилиха» таких вот юных патриотов и этот эпизод с книгой, и даже родились слова «дети завода», ставшие затем названием одной из глав «Кружилихи». А впоследствии этот мотив юношеского героизма прозвучал и в рассказе моем «Володя», написанном в 1959 году, и в рассказе «Валя», где героиня занимает рабочее место матери, погибшей в первый год Великой Отечественной войны при бомбежке, и в фильме «Вступление», сделанном режиссером Игорем Таланкиным по этим рассказам.

В процессе доработки романа в круг «детей завода» вошли Костя Бережков и передовая юная работница Лидочка. Первого, талантливого рационализатора, я нашла на металлозаводе. Вторая работала на конвейере и давала высочайшие производственные показатели, за которые была награждена кроме всеобщих восторженных похвал орденом «Знак Почета». Именно по ордену я отличила эту белокурую девочку с длинными локонами, в нарядном светлом платьице. Отличив, стала о ней расспрашивать. К моему удивлению, отзывы о ней были на редкость противоречивы. Одни ей удивлялись, расхваливали, превознося чуть не до небес, другие же, оставляя без внимания и грамоты, и орден, говорили о ее эгоизме, черствости, пренебрежении к людям, работающим хуже, чем она. Из всех этих пылких устных характеристик я и складывала характер Лидочки, за который меня так сурово осудили критики по выходе романа в свет (он был напечатан в журнале «Знамя» в 1947 году).

Критики утверждали, что передовой рабочий не может быть черствым эгоистом и, наоборот, эгоист не может быть передовым рабочим. В Лидочкином случае это еще сложнее, так как черты черствости и даже жестокости она вносит и в свои отношения с обожающим ее хорошим молодым человеком Сашей. Тут мне нечего ответить товарищам критикам, кроме того, что я думаю о моральном существе человека иначе, менее односложно, о чем впоследствии высказалась совершенно откровенно в моей исторической повести «Кто умирает?». И что именно такую Лидочку обрисовали мне в свое время люди из ее коллектива в том живом горячем разговоре, который состоялся тогда у конвейера.

Так как критики подмечают все — такая уж их специальность,— то не обошли они своим вниманием и Костю Бережкова, заработавшего своими рацпредложениями девятнадцать тысяч рублей за один месяц. Критикам почудилось, будто я таким образом во главе рационализаторского дела ставлю личный заработок рационализатора, а я только описала факт, о котором мне рассказали на металлозаводе. И видела этого парня, небольшого ростом физкультурного юношу, с обыкновенными чертами лица и обыкновенной русой прядью, спускавшейся на высокий славный лоб.

Рассказываю об этом так подробно для того, чтобы показать, как складывался этот мой роман — факт к факту, лицо к лицу, так дети складывают картинки из кубиков. Позднее, когда я впервые ознакомилась с произведениями прекрасного немецкого писателя Томаса Манна, я заметила, что таким же способом созданы почти все его романы. Этот способ мне понравился, он дает возможность описывать жизнь во всех ее проявлениях, и с тех пор я все свои вещи, даже совсем маленькие, стала складывать именно так.

Так написана «Кружилиха» не только в целом, но и в большинстве действующих лиц. Я точно знаю, например, как зародился бывший кулак Мартьянов. Я проходила вблизи от железнодорожного полотна между станциями Пермь-первая и Пермь-вторая и увидела каких-то невзрачных людей, сидевших на рельсах. А затем на заводе мне показали пожилого рабочего и сказали, что он бывший кулак, приехавший в Пермь в 1929 году, с тех пор работает на заводе и совершенно переродился: дисциплинирован и трудолюбив, дружит со старыми кадровыми рабочими и хвалит Советскую власть. При всем том в разговоре оказался любителем острого словца, веселого поворота, дельности и всякого здравого смысла. Его речь, манеру говорить я почти буквально перенимала от него самого. А старый рабочий в романе уже был: старик Веденеев, и я этих двух стариков подружила, и в картинку лег еще один кубик.

Самым трудным персонажем оказалась для меня Нонна Сергеевна, инженер-конструктор, понадобившаяся мне необходимо, так как я и сама не очень люблю романы без женщины, без любви. Эта Нонна бесконечно ускользала от меня. Я не любила техники и не интересовалась ею, и все

мои обращения к многочисленным молодым женщинам-конструкторам, при всей интересности сопровождавших эти обращения разговоров, ничего для романа не давали. Именно в поисках этой Нонны (имя было сочинено заранее) я в 1947 году снова поехала в Пермь — возобновить поиски, глядеть и слушать еще и еще. И я нашла! С завода имени Дзержинского ко мне в гостиничный номер пришла милая молодая женщина, очень красивая, с теми чертами лица, которые Тургенев в «Вешних водах» придал своей Джемме. И вот после стольких моих бесплодных исканий эта женщина вдруг села на гостиничную койку, накрытую безобразным шершавым одеялом, и, с первых слов поняв, чего мне от нее надо, удивительно просто и понятно рассказала, как после института пошла работать к главному конструктору завода, человеку знаменитому и избалованному вниманием. Как у нее на работе складывались отношения с начальством и с товарищами, как она чуть не вышла замуж за молодого художника из рабочей семьи, какое разочарование и стыд испытала, когда ее первая работа не была принята рабочими,— словом, все то, из чего я сложила биографию моей Нонны. Не помню фамилии этой милой женщины, посетившей меня по просьбе моих знакомых, знавших о моей незадаче. Помню только ее наружность, и как легко и непринужденно сидела она на койке, сложив руки на согнутом колене, и как доступен для меня, невежды, был ее рассказ о технике ее работы, да еще помню, что звали ее отнюдь не Нонной, как-то совсем иначе, но имя Нонна, часто повторявшееся в романе, стало уже таким привычным, что я не нашла возможности окрестить мою героиню как-либо иначе. Так она и осталась Нонной и для читателей, и для меня. И даже тогдашний редактор «Знамени» Вишневский, прочитав мою рукопись и говоря со мной о ее героях, сказал о Нонне так:

— Эта ваша Нонна — такая типичная русская интеллигентка, такой бодрящий вихрь — ух! Неудивительно, что она нравится матери Листопада, это ведь, по существу, тот же вихревой характер, о котором сказано: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Должна сознаться откровенно, что из читателей моя Нонна мало кому понравилась, ее гораздо больше ругали, чем одобряли, в письмах ко мне бранили ее за гордость, неуживчивость, почему-то за нечуткость — неужели из-за того, что она не приняла ухаживаний ничтожного Грушевого?! Но к Грушевым не склоняются гордые вихревые характеры. Той, что может на скаку остановить коня, не по пути с Грушевыми.

А мне моя Нонна нравилась, я чувствовала в ней большую притягательную силу.

Незадолго до опубликования «Кружилихи» я пришла по делу в издательство «Советский писатель», мне навстречу из директорского кабинета вышел писатель Борис Горбатов, восклицая: «Говорят, вы написали роман с очень интересными женскими характерами».

А когда все это к концу лета 1947 года было написано и сгруппировано, и уже был найден последний кубик — поездка Листопада в машине вокруг города и метель, и найдена последняя победная фраза Мирзоева: «Приехали, Александр Игнатьевич»,— я по старой детской своей привычке разложила на полу стопки исписанных листков и в последний раз стала исправлять рукопись. На этот раз задача была поставлена мною такая: перетасовать эти куски и кусочки романа таким образом, чтобы добиться как можно большего эффекта от столкновений разных кусочков и целых глав. Помнится, три или четыре дня я просидела за этим занятием, очень меня увлекшим.

Заново склеила мозаиковые частички в главах о приключениях Мирзоева в день его встречи с воскресшим комбатом, о потере Уздечкиным казенных денег. Нашла новую концовку для ночного разговора стариков Веденеева и Мартьянова. Придумала рассказ о том, как Толька уходит из семьи, поставить в конце главы «Любовь». Я делала это, и мне эта новая конструкция нравилась. А по своему маленькому, крохотному опыту я уже знала, что произведение непременно должно нравиться автору. Ибо, если оно ему самому не нравится, какое право он имеет преподносить его читателю? Как он отважится преподносить другим людям то, что отвергает сам? И меня всегда поражает, более того, оскорбляет, если на вопрос о его делах литератор отвечает:

— Да вот написал повестушку,— полагая, что такая скромность его украшает.

А это никакая, на мой взгляд, не скромность, а безответственность по отношению и к самому себе, и к другим людям, и к своей профессии.

Все мы много пишем, братья-писатели. Немногих можно назвать ленивыми. Но из написанного следует публиковать, думается мне, лишь то, относительно чего ты уверен, что хоть нескольким людям оно принесет радость. А в чем не уверен — сунь в ящик, пусть лежит, бог с ним.

Мне хотелось бы заключить эту заметку несколькими словами о романе «Граф Монте-Кристо», которым так увлеклись ребятишки из Пермских железнодорожных мастерских. Не говоря об увлекательных приключениях Эдмона Дантеса, приключениях, от которых у всякого мальчугана непременно закружится голова, этот единственный в своем роде роман пленяет и взрослые сердца ясностью моральной позиции и духом справедливости, которым он напитан. Во многих ли книгах мы встречаем эту принципиальность и непреклонность, с какою в конце романа наказано всякое злодейство и награждено все честное и благородное?

А какое множество исторических, географических и всевозможных иных познаний дает эта книга, которую я, взрослый, зрелый человек, перечитываю каждые два-три года. На мой взгляд, жестоко поступил мастер Корольков, отобрав у ребят эту радость. Я ему об этом сказала тогда напрямик, но он ответил вполне логично:

— Может, оно и так, но дело, товарищ Панова, есть дело, а план есть план.

И мне, что называется, нечем было крыть.

43
«ЯСНЫЙ БЕРЕГ»

После войны я несколько раз обменялась письмами с моим поездным капитаном Порохиным, прототипом Данилова в «Спутниках». Иван Алексеевич писал из Вологды. Какое-то его письмо известило меня о том, что, демобилизовавшись, он вернулся на прежнее место — директора республиканского треста молочных совхозов в Вологде — и живет там же, где жил до войны.

Из другого письма, написанного с какой-то несвойственной для Ивана Алексеевича туманностью, я, подумав, поняла очень огорчившее меня неудовольствие его на меня за то, что в «Спутниках» не названа не только его подлинная фамилия, но даже не указан номер санпоезда, по каковому номеру уважаемые Иваном Алексеевичем соратники его и друзья могли бы понять, что под И. Е. Даниловым автор разумеет его, И. А. Порохина. Я поняла, что обида Ивана Алексеевича праведная, что я по недомыслию допустила нечуткое, небрежное отношение к заслуженному человеку и что, по справедливости, такие вещи в нашем деле недопустимы, должны осуждаться со всей суровостью морального закона.

В письме о тресте совхозов Иван Алексеевич описывал свои совхозы, и какие у него насчет них рисуются планы, и какие он намерен провести улучшения во всех областях хозяйства — куда до этих улучшений тем рационализаторским мероприятиям, которые он проводил в санпоезде! В одном совхозе, в частности, уже строится гидроэлектростанция.

И какие на этой стройке обнаружились народные таланты, и какие трудовые подвиги совершили строители станции. Простодушный и честный голос Ивана Алексеевича звучал в этих строчках, и, понятно, я возликовала, когда вслед за ними прочла, что Иван Алексеевич и другие работники треста приглашают меня приехать в Вологду и осмотреть все описанное выше собственными глазами. И они надеются, что мне у них понравится и что я, может быть, захочу написать книжку, как написала о санпоезде.

Я поняла из этого приглашения, что Иван Алексеевич великодушно прощает мне мою нечуткость, дает мне возможность эту мою ошибку загладить полностью.

И вот села я в темноватый поезд на темноватом ночном вокзале и поехала в Вологду.

Там на перроне меня ждал Иван Алексеевич в шинели без погон, а на вокзальной площади — его директорская «Победа».

Я побоялась попросить, чтобы меня сперва покатали по Вологде: не обернулось бы новой обидой для Ивана Алексеевича. И мы поехали прямо в гостиницу, где был мне приготовлен номер, а в номере — обильная закуска и среди тарелок — бутылка вина, про которую я спросила:

— Что это, Иван Алексеевич, вы изменили своим привычкам?

А он ответил:

— В мирное время, я считаю, можно себе позволить иногда малость.

И мы выпили эту малость и закусили колбасами и селедкой, а затем сразу же он заговорил о деле. Да, меня опять звали написать книгу, но теперь уже не брошюру по ведомственному заданию, а такую, какую мне захочется, «с интонациями», как выразился Иван Алексеевич. Он думал, видимо, что я тотчас прельщусь таким предложением, и был явно обескуражен, когда я сказала откровенно, что в деревне жила мало, и то не в русской, а в украинской, сельского хозяйства совсем не знаю, только по повестям и романам, а потому было бы гораздо полезнее для треста и для литературы, если бы вместо меня за дело взялся бы

какой-нибудь другой, более подходящий для данного случая литератор.

— А кого бы вы посоветовали? — спросил Иван Алексеевич.

Я сказала, что нынче много очень хороших писателей, и среди них есть большие знатоки и земледелия, и скотоводства, и других отраслей сельского хозяйства, которые, возможно, придется затронуть в книге, а также много художников слова, прекрасно умеющих описать человека-работника, человека-бойца. Что я, например, высоко ставлю писателя Бориса Николаевича Полевого.

— Да как же я ему напишу,— возразил Иван Алексеевич,— когда я с ним незнаком, даже не знаю, что он написал?

— Ну это ничего, что вы с ним незнакомы,— сказала я.— А написал он замечательную книгу, которую все читают и хвалят, называется «Повесть о настоящем человеке». И если хотите, я съезжу в Москву и приглашу его от имени вашего треста.

— А он лауреат? — спросил Иван Алексеевич.

Я почувствовала неловкость.

— Может,— спросила я,— вам Федина привезти из Москвы для вашей электростанции? Кстати об электростанции,— сказала я,— не особенно интересный это нынче материал для писателя. Уж в скольких повестях и романах они описывались.

— Так наша не такая, как описывают,— возразил Иван Алексеевич.— Вы разве не прочли, я же вам писал, что ее паводок снес.

— Вот представьте,— сказала я, решив не уступать.— Я уже пять или шесть раз читала, как первую электростанцию сносит паводок.

— Так ведь то из головы,— сказал он.— А нашу в самом деле паводок сносил.

Мне становилось все труднее спорить. Если этот человек задавался целью, он шел к ней напролом через любые преграды. Или, может быть, у него мелькнула простительно суеверная мысль: «У нее легкая рука: ее книжке о нашем санпоезде повезло. Может быть, повезет и книжке о нашей электростанции». Может быть, поэтому он и держался за меня как за автора? Но я тоже всю жизнь была упрямой. И я сказала то, что думала:

— Нет, Иван Алексеевич, не буду писать об электростанции, не получится у меня. Вот, может быть, вы мне поможете узнать людей в ваших совхозах. Тех, о которых

вы так хорошо пишете в письмах и рассказываете: этих молодых директоров, пришедших на хозяйственную работу после демобилизации, этих доярок, знатных телятниц, шоферов, просто обыкновенных сельских жителей, помогавших на стройке электростанции. Да чтоб побольше их набралось, разных.

— Вот школа тоже,— сказал оживившийся Иван Алексеевич.

— А как же, и школа,— согласилась я.— И школа, и контора совхоза, учителя, ученики, бухгалтеры, зоотехники. Дайте мне с ними поговорить, как я разговаривала с людьми в санпоезде, может, мне и на этот раз забрезжит книжка, которую люди прочли бы без скуки.

И пока я это говорила, в углу, за круглым столом, за одинокой бутылкой и тарелками с колбасой мне вдруг загрезился берег с поникшими вербами и чистым песком. И на этом берегу множество людей разных возрастов и профессий, и одна верба достала ветвями до реки, и какая-то галка, черная, как уголь, чиркнула крыльями по серебристой осине, и мальчик пробежал, гоняясь за бабочкой, а позади за этим всем высились громадные скирды сена, и я еще не знала, получится ли у меня книга и какая она будет, но знала твердо, что в ее названии будет слово «берег».

— Лично я не смогу с вами поехать,— сказал, заключая, Иван Алексеевич.— Дела, некогда разъезжать. Подождите немножко, вернется из отпуска наша Шурочка, она вам лучше все покажет, чем я.

— А кто это Шурочка?

— Наш старший зоотехник. Трестовский. А на меня не обижайтесь, что не еду с вами. Нельзя!

— Ну что вы,— сказала я.

Александра Михайловна вернулась дня через три, и тотчас мы с ней поехали.

Прежде всего мы поехали в ту самую гостиницу, где я остановилась. Там, предупрежденная Иваном Алексеевичем, дожидалась меня старая женщина, знатная телятница. Я узнала ее сразу, потому что в то утро в областной газете был напечатан ее портрет и интервью с нею. Интервью начиналось словами: «Я родилась в таком-то году, в бедняцкой семье». Звали старушку Настасья Петровна.

Мы с ней сидели за столиком в углу и смотрели друг другу в глаза. На груди у нее был орден Ленина, голова повязана платком в мелкую черную крапушку. Вдруг она сказала:

— Я родилась в тысяча восемьсот таком-то (последнюю цифру не помню) году, в бедняцкой семье.

— Настасья Петровна, пожалуйста, не надо,— попросила я.— Лучше расскажите мне, прошу вас, были ли вы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

— Ой, была,— вздохнула старушка.

— Расскажите, пожалуйста, как вы на ней были.

И тут она мне рассказала удивительную, высокую и чистую историю, как она поехала со своими коровами в Москву на выставку и как потом брела с ними к себе домой, в совхоз.

Я тут же записала ее рассказ, почти дословно, я люблю так записывать. И этой записью был заложен фундамент повести «Ясный берег». Это было название и книжки и совхоза, в котором происходит действие. Там, в этом совхозе, поселились и молодой его директор Коростелев, и юная доярка Нюша, и эта самая Настасья Петровна, воспитательница и оберегательница совхозных телят, и учительница Марьяна, и бухгалтер Лукьяныч, и разные другие люди. Но главное для меня, что там поселился пятилетний мальчик, Сережа, сын Марьяны.

Уже давно, со времен работы в газете «Ленинские внучата», тема «ребенок» жгла мне руки: словно я в них держала что-то горячее и хрупкое, что может разбиться, и потому надо скорей его куда-нибудь пристроить.

Это Сережа шел по берегу перед серебристыми осинами и ловил бабочку. Это он чуть не утонул, когда, плывя в челне, услышал призывный крик своей ручной галки Гали-Гали. Это его добрым и заботливым отчимом стал Коростелев.

Книгу «Сережа» я написала не скоро, в 1955 году. «Ясный берег» был дописан и напечатан в журнале «Звезда» в 1949-м. И хотя в «Сереже» совсем другой материал, так сказать, суммированный, скопленный за много лет наблюдений над детьми, в том числе собственными, но, конечно, из «Ясного берега» вышли и Сережа, и его верный симпатичный товарищ Скверный Васька.

Из собранного материала я, вернувшись, стала строить повесть «Ясный берег». Первый ее набросок был так слаб, что хотя повесть немедленно приняли в журнал «Звезда» и заключили договор, но я решила все переписать заново, невозможно было и подумать, что столь невыразительный текст появится под моим именем. В редакции удивились моему решению, они ведь не предъявляли мне никаких претензий, даже отговаривали меня от переделки; но мне было, что называется, себе дороже.

Очень быстро я переписала повесть, ввела новые главы, новых героев, изменила акценты и интонацию повествования. Повесть не стала хорошей, но, несомненно, обрела более крепкое дыхание, я могла ее напечатать не стыдясь, а некоторые места, например об эвакуации совхозного стада, я и теперь, когда эта работа стала такой далекой, считаю вполне удавшимися.

Повесть была напечатана, ее похвалили в печати, премировали, в последующие годы она вышла во многих издательствах Советского Союза и за рубежом на разных языках. Но в глубине души я продолжала считать ее слабее «Кружилихи» и «Спутников» и задумывала новые вещи.

44
РАССКАЗЫ «ВАЛЯ» И «ВОЛОДЯ»

В день, когда эвакуировался в Новосибирск театральный коллектив, я поехала на Московский вокзал посмотреть, как это происходит, я хотела увидеть как можно больше. И вот я стояла на залитой августовским зноем Лиговке. За мной было здание гостиницы и забитые досками окна какого-то большого магазина, а вправо и влево вдоль Лиговки текла громадная человеческая очередь, где были люди всякого вида и всех возрастов, от глубоких стариков до младенцев в цветных одеяльцах и нарядных пододеяльничках.

У каждых ворот тоже была очередь, люди надеялись найти во дворах воду для питья, жара была смертоносная. Вдоль очереди прошла продавщица мороженого с лотком на груди, и я и стоявшие со мной люди удивились, что она без вреда для себя совершила этот проход. Карманы ее белой курточки отвисали от насыпанных в них денег.

Уже ни глотка газированной воды невозможно было достать на Лиговке и прилегающих к ней улицах.

Иногда группы людей отделялись от очереди, их вызывали, и они уходили, осчастливленные на миг, в вокзальный двор, и через некоторое время оттуда доносился гудок уходящего паровоза.

Так увезли рабочих химкомбиината, потом артистов оперы и балета, потом еще кого-то.

Мне надоело стоять на месте, я тоже заглянула в вок-

зальный двор. Там кроме длинных, еще не забитых людьми составов, приготовленных к отправке, я увидела нечто совершенно неожиданное — великолепного громадного льва, выглядывавшего из товарного вагончика. Царь зверей тоже отправлялся в эвакуацию. Когда через несколько лет кинорежиссер Игорь Таланкин готовился снимать фильм по моим рассказам «Валя» и «Володя», я ему про этого льва рассказала: и какой он был, и как тревожно, поблескивая как у кошки, смотрели его небольшие глазки из вагончика, и как он, бедняга, вздрагивал-вздрагивал от паровозных гудков и вдруг зарычал таким рыком, который перекрыл все жалкие гудки, создаваемые человеческой техникой.

Игорю Васильевичу все это понравилось, и он достал живого льва и снял его для будущего фильма. Но на этот раз у моего даровитого друга не получилось. И лев попался не авантажный, хотя доставали его долго и трудно, не щадя, как говорится, затрат, и рык у него вышел какой-то не грозный. А прототип, виденный мною, рычал так, будто вся Сахара, вздыбившись своими огнедышащими песками, шла на Гитлера и его рати. А тут живое творение природы, не понимая желаний и расчетов человека, выдало лишь по своим возможностям, и эффекта не вышло. Тот, первый, когда рыкнул, то показалось, что это рычит, гневаясь и угрожая, весь Ленинград, город царственный и не уступающий ничего.

Вот тут-то мы, что называется, и обмишурились с Вами, милый Игорь Васильевич. Конечно, это не наша вина — с природой, если она заартачится, сладить трудно, а все досадно.

Налюбовавшись на льва, вернулась я на Лиговку. Очередь там еще выросла, особенно вправо. Особенно дети бросались в глаза. Они заглядывали в щели досок, которыми были забиты окна большого магазина. В щели видны были дамские шляпы на болванках и гипсовые женские ноги в шелковых чулках. А женщины в очереди были в платках, и рюкзаки на их спинах были так набиты, что ясно было — вряд ли туда можно втиснуть хотя бы пару шелковых чулок. У их ног на асфальте были их дети. Они спали на асфальте, ели на асфальте, переодевались на асфальте. Некоторые с блаженством на личиках пили воду из жестяных бидонов, иногда из игрушечных. Девочки в белых и розовых бантах сидели на какой-то штанге, как воробьи на проволоке. И окончательно расхотелось мне уезжать.

Сразу после Лиговки я, в своем азартном желании

повидать как можно больше, поехала на Витебский вокзал. Там я видела тот митинг ленинградских ополченцев и сцены прощания их с родными, которые описаны в «Вале». Вернулась домой с сердцем, измученным тоской, и с твердым решением не уезжать.

Но все-таки в моих военных скитаниях мне пришлось побывать в эвакуации в городе Перми на Каме. Работая там в газетах, я часто бывала по их заданиям на предприятиях, где наряду со взрослыми работали дети, мальчики и девочки, и где я каждый день видела в скверике мокрые щиты с объявлениями, где требуется рабочая сила либо ученики. Откликались на объявления главным образом эвакуированные детишки. Их трудоустройством занимался Пермский горсовет.

Повествование, начало которого шло от Лиговки августа 1941 года, стало находить свое продолжение на пермской почве, а затем, в 1945 году, уже по возвращении моем в Ленинград, когда я вплотную столкнулась с людьми, пережившими блокаду, и приняла в себя их пронзительные рассказы, сама жила жизнью реэвакуированных, вечно в поисках приработка и в мечтах о том, чтобы поскорее отоварить мясные и жировые талоны, продолжение это нарастало уже почти непроизвольно. Когда в 1946 году я с другими писателями была на встрече с работниками ЦК комсомола, я поделилась моими замыслами написать о тыловых детях военных лет, но окончательно рассказы «Валя» и «Володя» были доработаны только в 1959 году. Значит, восемнадцать лет ушло у меня на создание этих простеньких рассказов...

Может быть, это вышло оттого, что я долго не могла определить жанр этих произведений. Сперва я задумала сделать из накопленного материала большой роман, но работа не пошла, и я поняла, что решение мое неверно. Тогда я решила сделать не один роман, а пять. Чтобы каждый из этих пяти заключал в себе какой-нибудь этап Валиной жизни. С этой задумкой тоже решительно ничего не вышло. Мне самой стало скучно писать об этих этапах. Наконец я поняла, что, собственно, передо мной находится. Пять романов превратились в два небольших рассказа, где вместо одной героини Вали оказалось два героя — Валя и Володя.

Правда, пришлось ввести много новых действующих лиц: Олега с его матерью, тетю Дусю, Ромку с его женой Зиной и других, иногда даже не имеющих имен, например мать Василька или детдомовскую кухарку — жену дяди

Феди, колхозницу, правящую лошадьми. Зато я до сих пор помню ту радость, которую испытывала за этой работой, в которую можно было уложить все запомнившиеся черты военных дней, вплоть до висящей в небе серебряной колбасы и девочки, несущей в авоське капустный кочан.

Как я радовалась, когда у меня написалась Большая Девочка, которую уводит из очереди ее любимый, или пейзаж, сопутствующий отъезду Вали и Люськи из детского дома. Вообще великая вещь — сокращение, сжимание написанного, превращение материала из жидкого месива в твердые сгустки. Я не могу себе представить литератора, который, начав с первой строчки, пишет все свое сочинение до последнего слова, не отходя, как говорится, от кассы. Обязательно в какой-то час, когда голова мыслит особенно ясно, он подступит к своей рукописи с целью сократить ее. И не страшно, если он сократит лишнее. В нашем деле, по моему мнению, надо помнить, что слово — серебро, а умолчание — золото... Нужно верить в мыслительные способности читателя. Если писатель чего-то не досказал, читатель мысленно доскажет сам, на основании собственного опыта. Когда же все, до последних деталей, разжевано и выболтано — читатель не находит работы для своей мысли и начинает скучать за книгой. А ведь давным-давно сказано, что все произведения искусства хороши, кроме скучных.

Когда эти рассказы были опубликованы в журнале «Октябрь», где их с чрезвычайным радушием принял покойный редактор «Октября» писатель Ф. И. Панферов, то некоторые писатели письменно выразили мне свой протест против определения этих произведений словом «рассказы».

В числе этих опротестователей был Юрий Нагибин. Я ему ответила, вероятно, очень иевежливо и даже невежественно, что, на мой взгляд, никаких жанров нет вообще. Мне и в самом деле часто кажется, что в наши дни, в связи с кризисом романной формы и распространением формы литературного киносценария, точное определение жанра в литературе стало чрезвычайно затруднительно.

В самом деле, где граница между рассказом и повестью, между повестью и киносценарием? Пока что на эти вопросы нет ни одного вразумительного ответа. Это, конечно, очень развязывает руки писателю. Правда, и оглядываясь на прошлое, я не понимаю — почему блистательный роман Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» назван очерком? А его же очерк «Воительница» воспринимается при чтении как явление жанра драматургического. Иной раз даже печально видеть, как еще, в сущности, не устроено наше хозяйство. Но помочь его устройству можно только одним: непрерывными поисками старых и молодых, многоопытных и ничего не умеющих.

45

«ЕВДОКИЯ»

Я уже рассказывала, что редактор ленинградского альманаха Б. М. Лихарев в начале 1959 года обратился ко мне с просьбой несколько переработать (вернее, дописать) мою старую повесть о рабочей семье, о женщине Евдокии, принявшей под свое крыло нескольких сирот и создавшую этим сиротам счастливое детство. Я с удовольствием вернулась к этой повести, наскоро написанной еще в Перми в трудные годы эвакуации и печатавшейся только один раз в альманахе «Прикамье». Борис Михайлович Лихарев одобрил новый вариант повести (теперь я ее назвала «Евдокия», по имени главной героини).

Под этой женщиной я разумела нашу Родину — истинную матерь всех обездоленных и нуждающихся в заботе.

Вскоре после опубликования «Евдокии» ко мне вдруг внезапно (судьба всегда приходит внезапно), без предварительного уговора, без телефонного звонка, пришел известный кинорежиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов, один из создателей и руководителей советского кино.

Не знаю (не спросила), был ли его визит абсолютно случайным, или он прочел в альманахе «Евдокию», думаю — первое, потому что о «Евдокии» он не заговаривал, а стал убеждать меня попробовать свои силы в кино. Я имела уже на этом поприще нерадостный опыт работы над киносценарием «Спутники», это были, как говорится, сплошные слезы, во всяком случае — сплошные неприятности, и в результате фильм не вышел на экран. Эта история оставила во мне такие тягостные воспоминания, что я ни за что не соглашалась на новые опыты на этом пути. Герасимов приводил всевозможные доводы, уговаривал меня, как раскапризничавшегося ребенка, потом вдруг сказал:

— А давайте посмотрим, что из вашей прозы можно было бы положить в основу литературного киносценария.

Я быстро прикинула, что же у меня есть подходящее, и вдруг вспомнила, что в самом низу моего книжного

шкафчика лежит папка с несколькими машинописными экземплярами «Евдокии», и сказала:

— Есть одна маленькая рукопись, но она очень слабая, ученическая.

— А вы нам покажите,— сказал Сергей Аполлинариевич.— Я, знаете, ищу что-нибудь для одной моей очень способной ученицы Тани Лиозновой. Жаждет девочка что-нибудь сделать, а найти ничего подходящего не можем.

И сказал, что завтра пришлет ко мне одного из работников студии имени Горького и тот привезет ему в гостиницу мою рукопись.

Обещание он сдержал. Минута в минуту, как было договорено, явился ко мне молодой человек, забрал рукопись и сказал, что она будет у Герасимова в руках самое большее через полчаса, так как они приехали в эту командировку вместе и живут в одной гостинице.

Как пахнýло на меня дыхание новой судьбы, когда на другой день Сергей Аполлинариевич позвонил мне по телефону и сказал, что из моей крохотной повести может выйти очень интересный и значительный сценарий. Я не сразу поверила и продолжала отнекиваться, была даже греховная для литератора мыслишка: «Вот еще, опять связываться...» И вдруг как-то ослабела духом, сникла, согласилась...

Герасимов сказал: «Ну вот, охмурил девушку»,— и мы условились, что я приеду в Москву и там сейчас же явлюсь на киностудию имени Горького. В этой студии я познакомилась с Татьяной Михайловной Лиозновой, молодым режиссером, и с редактором Валерией Павловной Погожевой и дружу с ними по сей день. Они так радушно меня приняли, с таким доверием отнеслись ко мне, еще ровно ничего не сделавшей для кино, так меня этим доверием подбодрили, что я уверенно и радостно ринулась с головой в эту новую, неведомую мне работу. И когда сотрудники киностудии имени Горького собирались на обсуждение первых неумелых вариантов моего будущего сценария, и когда Татьяна Михайловна Лиознова (я, впрочем, почти сразу с ее разрешения стала называть ее Танечкой) показывала мне фотокарточки актеров и актрис, будущих исполнителей будущего фильма, у меня было чувство приближения какого-то нового праздничного свершения, в котором главными созидателями являемся мы с Танечкой и который тысячам людей либо даст радость, либо внушит досаду и разочарование. Разумеется, не мы с Танечкой на самом деле были этими созидателями. Таня была ученицей Сергея Герасимова, я же стала его ученицей по мере того, как шла работа над сценарием.

Сергей Аполлинариевич читал все мои ученические варианты, терпеливо критиковал их, давал мудрые, практикой подсказанные советы, подбрасывал мысли о дальнейших судьбах воспитанников Евдокии. Я многим обязана этому превосходному, ярко творческому человеку и воспитателю, совместившему в себе писателя, режиссера и замечательного актера. Не сомневаюсь, что людьми, более сведущими в вопросах кино, чем я, будут написаны о Сергее Герасимове подробные исследования, я же просто благодарно храню в памяти его поучительные беседы и те счастливые мгновения, когда он, желая повеселить собеседников, разыгрывал перед ними маленькие сцены, преимущественно на сюжеты, связанные с литературой и искусством, сверкая при этом своим прекрасным актерским талантом и исполнения и созидания, так как все эти сценки сочинялись им тут же, экспромтом, в течение разговора. Он знал, что его дарование доставляет зрителям радость, и, не боясь, щедро показывал его людям. Помню, например, позже, в Коктебеле, он играл в шарадах, и оторвавшись, в этой же комнате варил пельмени, которые сам лепил и очень любил.

В общем, при всей моей робости и неумении сценарий «Евдокии» был дописан, поставлен, и через сколько-то времени фильм вышел на экран, а еще через сколько-то мы с Таней радовались, читая о нем добрые отзывы в газетах, и зрители приняли его с сочувствием, и так я вошла в орбиту кинематографии, и до сих пор тянет меня в этот удивительный мир, не похожий ни на театральный, ни на литературный, до сих пор, хотя испытала за это время не одни радости на этом поприще, но и разочарования и досады.

46

ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ РАБОТА

В декабре 1949 года «Литературная газета» попросила меня написать статью для новогоднего номера. Я не придумала для нее названия и решила просто начать ее традиционным приветствием: «С Новым годом» и затем описать новогоднюю ночь, полную тостов, и елок, и предпраздничной беготни по гастрономическим магазинам.

Статья была написана, напечатана, пришел новогодний номер газеты. Со времен «Трудового Дона» я непременно

читаю свои вещи, когда они приходят напечатанными. И всегда мне кажется, что в этом виде они звучат совершенно иначе, чем в рукописи, даже завершенной. Прочла я и эту мою статью на газетной полосе, и вдруг она мне показалась вовсе не статьей, а законченным вступлением в какой-то большой роман. В маленьком доме на окраине большого периферийного города я увидела праздничный стол и елку в зажженных свечках, за столом сидела героиня романа, уже немолодая женщина, ее звали — ну конечно, ее звали, как одну мою знакомую, Дорофея Николаевна. Она была не простая обывательница, она что-то значила в этом городе, в ее домике был телефон, он вдруг залился звонким голосом в соседней комнате. Вот отсюда пошла разматываться нитка романа «Времена года», из летописей города Энска.

Это была длительная и очень трудная работа. Пожалуй, из всех моих сочинений она стоила мне наибольшего количества не только времени, но и раздумий, и крови. Мне хотелось сделать роман очень современным, на лицах и фактах сегодняшнего дня, и в то же время дать много разных судеб, возвращаясь при этом к прошедшим годам, и в то же время открывать какие-то просеки в будущее. Хотя ретроспективный взгляд уже был мною испробован и в «Спутниках», и в «Кружилихе», и в «Ясном береге», но это были пробы, а не то абсолютное овладение приемом, какое мне было нужно для «Времен года». И я с тяжкими усилиями описывала события, происходившие в прошлом, а особенной крови стоил мне Степан Борташевич, отец Кати и Сережи, так как этот тип человека мне бесконечно чужд всю жизнь. Впрочем, думаю, мне удалось сложить его опять-таки из мелкомозаичных частиц, таких, как его «забуренье» по мере достижения высоких должностей, из его служебной «Победы» с брезентовым верхом (такая машина была тогда у Ленинградского отделения Союза писателей), из отбойного писка телефонной трубки и, наконец, трагического выстрела за дверью его кабинета и кровавой лужи на ковре.

При разработке этой судьбы и характера очень помог мне своей консультацией ныне покойный Иван Владимирович Соловьев, тогдашний начальник милиции города Ленинграда. По моей просьбе он любезно посетил меня и рассказал пропасть интересного, а главное, доподлинного и о Борташевиче, и о следователе Войнаровском, и о Геннадии Куприянове с его преступным окружением — Цыцаркиным, Изумрудовым, Малюткой.

Роман был напечатан в ленинградском альманахе в 1953 году и, кажется, имел успех.

Тогдашний редактор альманаха Александр Иванович Черненко на писательском собрании сообщил, что номер альманаха с «Временами года» был заказан даже из Польши.

На этот раз тираж этого довольно-таки непопулярного альманаха был 30 тысяч — небывалая в истории альманаха цифра. Потом роман был перепечатан полностью журналом «Новый мир», а затем стал выходить отдельными изданиями и с тех пор многократно выходил на русском языке и на иностранных.

47

ЧТО НЕДОПИСАНО В «СЕНТИМЕНТАЛЬНОМ РОМАНЕ»

Когда я его написала, мне казалось, что я сбросила с плеч многопудовый груз самых юных моих впечатлений, человеческих образов и неодушевленных предметов, которые носила в себе чуть не полвека (роман был написан в 1958 году и вскоре опубликован).

Какой это был груз, какой тяжести, можно представить себе почти наглядно, если учесть, что в него вошли многие здания моего города — Ростова-на-Дону, его церкви, магазины, рынки, его мостовые с булыжником крупным и расшатанным, как старые зубы, не говоря уже о людях всевозможных классовых групп и занятий, начиная с политического карьериста Ильи Городницкого до благонамереннейшей и тишайшей комсомолочки Зойки и от старого спекулянта старика Городницкого до «левака» Фильки Сторчука — со всей своей одеждой, судьбами, чертами характера. Откуда я знала их, каким образом?

Для того я так подробно и вспоминаю свою жизнь, чтобы это понять.

Иногда лично, иногда из людской молвы, ведь уличный фольклор вообще так богат, особенно в южных городах. Я лично вместе с некоторыми моими друзьями пользовалась какое-то время кредитом в кафе «Реноме инвалида», кстати, кафе с таким названием в Ростове моей юности имело несколько филиалов, но мы, помнится, бросили свой якорь в том маленьком узком заведении, что находилось на Садовой улице, близ Николаевского переулка. Его директор, названный для краткости в романе Главным

инвалидом, мною выдуман, вплоть до его наружности, которую я складывала из черт, присущих грекам, евреям, армянам, которых было так много среди мелких ростовских нэпманов, например: «добрые толстые брови», «коричневые глаза»... Так же собирательно сработаны и фигура Зои Большой, обаятельной барышни, стоявшей за буфетной стойкой «Реноме», и фигура подпольного белогвардейца Кучерявого, впрочем, его внешность родилась из его душевных качеств, и сочетание этих двух фигур повлекло за собой появление собаки Дианы и пещеры Кучерявого, и Диана и пещера тут вдруг оказались нужными и легли в роман как-то даже непроизвольно. И, вероятно, от тех же причин эти двое вплелись в судьбу Ильи Городницкого, молодого прокурора. И все это писалось просто, без усилий и без натяжки, хотя в этом романе мне больше всего пришлось дописывать, вставлять скрепы, перелистывать листки моей памяти. (Например, воспоминание о брильянтовой брошке в виде якоря отложилось в памяти еще с детства, а где и когда — не помню, и из детства же пришли такие мелочи, как Зойкин аквариум и игры в «айданы» и «кремушки». В Ростове произносили «гайданы», вот как изменилось русское слово «бабки», катясь вниз по географической карте.)

Итак, чувство облегчения, выздоровления, свободы охватило меня, когда я написала этот роман. Критики, отрицательно относившиеся к моему творчеству, число которых с выхода в свет «Времен года» сильно возросло, пытались зачеркнуть «Сентиментальный роман» на том основании, что он не похож на роман Островского «Как закалялась сталь», но за меня вступились другие. К дискуссиям я уже привыкла. Но это — внешняя сторона дела. Внутренняя же его сторона заключается в том, что я перестала испытывать прекрасное чувство освобождения от тяжелой ноши, мне даже кажется теперь, что я слишком много не дописала о моем городе.

Больше всего это относится к людям, хотя в романе столько действующих лиц. В меньшей степени — к предметам гораздо менее существенным, хотя и нельзя сказать, что они вовсе лишены значения.

Куда, например, девались те специфически южные объявления и рекламы, давно перешедшие в анекдоты и обросшие седыми бородами. Я имею в виду такие развязно-безграмотные рекламы, как знаменитая (правда, приписываемая Одессе) реклама натуральных фруктовых соков:

Если хочешь сил моральных
И физических сберечь,
Пейте соков натуральных —
Укрепляет грудь и плеч.

Или приклеенное к оконному стеклу рукописное объявление, которым мы любовались на Среднем проспекте по утрам, идя на работу: «Портной принимает всевозможную починку. Тут же продается мусорный ящик».

По молодости лет мы не замечали трагичности этого объявления, смеялись над его безграмотностью. Подобные мелочи восстановить легко, вот человеческие образы, цепляющиеся за мою память, восстановить куда труднее.

Вот уцепился за память щегольски одетый, в меховой шапочке пирожком, какой-то старый человек, с темным больным лицом, с черными кругами вокруг глаз, гладко выбритый и напудренный розовой пудрой. Он вечно топчется на одном и том же фешенебельном пятачке между редакцией «Трудового Дона» и воротами городского сада. Я встречаю его чуть ли не каждый день, но не знаю, кто он, чем занимается. И вдруг кто-то говорит, что это знаменитый автор модных песенок, что поются с эстрады.

И на том же пятачке — иногда один, иногда с кем-нибудь из сотрудников «Трудового Дона», иногда с эффектной экстравагантной девицей в ярко-зеленом клетчатом пальто, в темных очках и с дымящей трубкой во рту — прохаживается совсем другого вида человек — одетый модно и дешево, голова в крупных светлых кудрях, голубые мальчишеские глаза, чуточку овечий профиль — это Юра К. О нем я знаю многое, так как он иногда заходит в редакцию и охотно говорит о себе. Он — сын медсестры, работающей в клиническом городке. Эта бедная женщина на грошовый свой заработок сумела дать Юре самое лучшее образование — пристрастила его к книгам. Юра, можно сказать, живет с книгой — с книгой ходит по своему пятачку, с книгой сидит, бочком поместившись на стуле, у редакционного стола, с книгой стоит, греясь у редакционной печи. Он сам пытается писать, но ему не нравится — и справедливо — то, что он пишет, и потому он старается восполнить эту свою незадачу тесным общением с миром литературы и искусств. Он знаком со всеми писателями, как начинающими, так и успевшими себе создать кое-какое имя,— с Александром Бусыгиным, Иваном Ольшанским, Иваном Рахилло. Знает он также всех архитекторов, акте-

ров, всех немногих художников и всех бесчисленных музыкантов Ростова. Девица в зеленом пальто — его жена, Юра на ней женился, пленившись ее трубкой. Он восхищался ею, однажды даже сказал в редакции:

— Могу сказать не хвалясь, что я являюсь обладателем самых красивых ног в Ростове.

Но так как мы с секретаршей Любой немедленно воззрились на его собственные ноги, отнюдь не соответствовавшие его рекомендации, то он смутился и громко рассмеялся, он обладал юмором, вообще был вполне интеллигентным молодым человеком.

От него я впервые услыхала стихи Гумилева, он знал их наизусть и на залитых дождем асфальтовых улицах Ростова читал мне «Шестое чувство» и «Заблудившийся трамвай».

Чтение не довело его до добра — в феврале или марте 1928 года разнесся слух о том, что ему пришлось переселиться куда-то к лопарям.

Я встречала его после этого еще дважды. Один раз в Ростове летом 1935 года. Он рассказал мне, что его уже освободили и о том, как он ездил изучать жизнь лопарей.

Другая встреча была в Москве — в конце 30-х годов. Зачем-то я пришла в «Комсомольскую правду» и кого-то дожидалась, сидя на скамье в длинном коридоре. И вдруг в конце коридора появился Юра К. Я не сразу его узнала, так как он был во френче из грубой ткани цвета хаки, а прежде я всегда видела его в разутюженных брючках-бутылочках и в туфлях «шимми». Но он подошел и назвал меня по имени, и я узнала его. Он был очень счастлив — ему разрешили сотрудничать в газетах.

А вот три девчурки то и дело перебегают мне дорогу — то в пахнущем белой акацией переулке, то на Садовой под самым носом старомодного трамвая. Это — сбитая крепко, как железо, ныне покойная Лена Ширман в матросской блузе, из-под которой на груди выглядывает полосатая тельняшка, с пышно взбитой копной вьющихся волос (ей пришлось их сбрить, когда она болела тифом, а отросши, они стали виться необыкновенно буйно). Она, как и обе ее спутницы, училась в Ростовском университете, работала в многотиражке завода «Ростсельмаш», вечно возилась с какими-то подававшими надежды окололитературными мальчиками и девочками, издавала рукописную стенгазету под названием «Эгостенгазета», ибо писала там только о себе, о своих чувствах, мыслях, впечатлениях. Эта стенгазета — род дневника — висела у нее над кроватью.

Кровать стояла в непритязательной комнате в домике, принадлежавшем отцу Лены — капитану дальнего плавания, и домик был окружен садиком из жасмина, миндаля и роз.

И в это царство духовности, поисков и сладчайших ароматов пришли эсэсовцы и зверски убили и Лену, и ее родителей. Из всей семьи осталась только сестра Лены Алита...

Не знаю, сохранилась ли «Эгостенгазета». Хочу думать, что она в каком-нибудь архиве, ибо нельзя же, чтобы совсем-совсем пропало наследие, оставляемое такими людьми, к которым принадлежала Лена,— всегда ищущими, всегда устремленными к духовному.

По моему мнению, должно быть сохранено все мало-мальски возвышающееся над обыденностью, тем паче стихи и дневники. Ведь по таким документам впоследствии складывается история. Вероятно, князь Курбский, сочиняя свои письма к Ивану Четвертому, полагал, что это простые «отписки», ставящие своей целью оскорбить грозного царя, уколоть его, и не догадывался, что это суть свидетельства истории и поэзии. А историки грядут, они захотят увидеть и узнать все, и не надо укрывать от них ни одной буквы современной коллективной летописи.

48

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Должно быть, у всякого человека в некий период жизни возникает особенно горячее чувство кровного родства со страной, в которой он явился на свет и прожил жизнь. И когда это чувство кровной близости появляется, тогда уже человека не собьешь ни россказнями о прелестях жизни в других странах, какими бы они ни выглядели процветающими, ни посулами всяческих благ, какие он может в этих тридевятых царствах получить.

И непременно к этим чувствам любви, гордости, благодарности присоединяется необходимость поделиться своей любовью, объяснить свою гордость и свое преклонение, заявить, что предмет его любви самый прекрасный, самый возвышенный, самый богатый всем, что только есть достойного хвалы и преклонения.

Вот все это охватывает меня всякий раз, как я перечитываю историю России. В сущности, я не знаю как следует никаких других историй. Мне не очень интересно читать

о крестовых походах, о войне Алой и Белой розы, о борьбе якобинцев в эпоху французской революции. Но меня безгранично интересуют все события и загадки истории моего народа, даже давно, казалось бы, отгаданные исторической наукой, вроде того, было ли на самом деле призвание варягов, или — был ли Лжедмитрий обманщиком и авантюристом или подлинным царевичем, сыном Иоанна IV. Лично мне кажется, лично я убеждена, что он был подлинным Дмитрием, спасенным сперва своей матерью и спрятанным ею в катакомбах под Угличем, а далее спасаемым и поддерживаемым знатнейшими боярскими родами, могшими претендовать на русский престол, в том числе — Романовыми, достигшими своей цели в 1613 году.

Всплеск вот именно таких ощущений, настроений, мыслей и привел меня в начале шестидесятых годов к замыслу о создании цикла исторических повестей. Первой возникла повесть «Кто умирает», благожелательно принятая и напечатанная журналом «Звезда». Мне хотелось написать во весь рост князя Василия III, отца Иоанна Васильевича Грозного.

Второй моей исторической повестью была повесть о Феодосии, одном из устроителей Киево-Печерской лавры. Складывалась эта повесть тоже из «кубиков» — сперва написался его разговор с матерью, когда она, измученная раскаянием и разлукой, приходит к его келье повидать его и он отказывается ее видеть.

Сперва нужный мне материал я черпала у знаменитого историка Соловьева, потом у меня в руках оказался «Киевский патерик» и возникла возможность написать несколько кратких вставок о других братьях монастыря, в том числе сюжетные истории об отце Исаакии, страстотерпце Иоанне, а также о пострижении Варлаама, сына боярина Вышаты, и вражде между попом Титом и дьяконом Евагрием, о знаменитом Шимане, предке князей Шуйских, и о ряде мелких бытовых подробностей в жизни монастыря. В ходе работы возникло разделение повести на три части: «Восход», «Полдень» и «Закат» — эти три эпохи религиозной идеи.

Устоявшийся, довольный своими достижениями Феодосий Полудня уже мало чем напоминает восторженного юношу, бегущего из дома своей богатой матери к богу. И уже совсем на того юношу не похож Феодосий Заката, Феодосий, барски сидящий на специально для него сделанной скамеечке под благоуханной липой, Феодосий, принимающий от мирян золото на построение церкви

и пишущий для дарителя рекомендательное письмо к самому господу богу с твердой уверенностью, что за его святую жизнь рекомендация его будет уважена.

А после Феодосия я написала «Сказание об Ольге», об этой великанше, славянке или варяжке, одною из первых начавшей созидать Русское государство. Здесь очень трудно было собрать материал, особенно достать достоверное описание Ольгиной поездки в Константинополь. Наконец, я достала превосходный сборник Беляева, где не только был напечатан тот перевод сочинения Константина Багрянородного о пребывании Ольги в Царьграде, не только дано описание — правда, краткое — тогдашнего Константинопольского двора, но даже помещена иллюстрация, изображающая тронный зал с сидящим на троне Константином.

А в старой, забытой, но тем не менее превосходной книге писательницы Виноградовой «Жизнь европейских народов» я встретила описание Софии и того блюда, которое Ольга подарила патриарху.

Кстати, один читатель написал мне, что Ольга, при ее гордости и самолюбии, не могла принять от императора денежный подарок. Но, во-первых, подарок этот в точном тогдашнем выражении 15 милиариссимов взят из сочинения самого императора («О церемониале»), во-вторых же, в те времена к денежным подаркам относились не так, как в наши дни: еще именитейшие библейские цари, по преданию, ездили друг к другу со всевозможными дарами, в том числе серебром и золотом.

Есть какая-то особенная сладость в таком скрупулезном собирании материала, в пригонке «кубиков» друг к дружке для получения достоверной картины. Даже художественную литературу читаешь иначе, чем обычно: вдруг в неинтересном романе или в статье попадется крупица, пригодная для твоей цели, вдруг внезапно блеснет какая-нибудь искорка, могущая разжечь твою фантазию либо дать уже написанному событию новый, лучший поворот.

Упомянутые здесь три повести вышли отдельной книжкой под названием «Лики на заре», когда к ним присоединился «Феодорец Белый Клобучок».

Эта жалкая, с двойным дном и непомерными претензиями фигура, одна из ярчайших в княжении Андрея Боголюбского, привлекла мое внимание как почти точный прототип знаменитого Никона, вызвавшего своей деятельностью столько волнений в царствование Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Как Никонова патриаршая панагия,

иерейский крест Феодорца залит кровью. То же властолюбие, та же заносчивость беспримерная. Только конец Никона был менее ужасен: Феодорца попы приговорили к отсечению рук и ног и к ослеплению; нравы при Алексее Михайловиче были уже несколько помягче, чем при Боголюбском.

49
ПЬЕСЫ

О некоторых моих пьесах я уже писала, хочу рассказать и о других.

Пьеса «Сколько лет, сколько зим», довольно долго ставившаяся в театре, длинна, в ней много героев. Уже не могу сейчас вспомнить, откуда возникло и как развивалось каждое из этих действующих лиц, но твердо знаю зерно, вернее — крохотное зернышко, из которого выросла пьеса.

Это были просто-напросто две длинные деревянные скамьи, стоявшие лицом друг к дружке на Симферопольском аэродроме. За спинкой одной из скамей были воткнуты в землю какие-то полуржавые металлические гнутые трубы, по трубам вилось какое-то растеньице вроде крученого паныча или декоративных бобов. Эта незатейливая конструкция осеняла обе скамьи, образуя как бы беседку, в которой люди могли бы посидеть и побеседовать, не удаляясь далеко от здания аэровокзала, откуда каждую минуту могла прозвучать весть о начинающейся посадке. И впрямь, там часто сидели целые компании, беседуя и прислушиваясь к вокзальному радио. А я в этой беседке была одна и только смотрела да слушала. И вдруг среди сообщений о посадках и задержках я услышала:

— Гражданина такого-то, потерявшего документы, просят обратиться к дежурному по аэровокзалу.

Фамилию гражданина я не расслышала, она была какая-то самая обыкновенная, вроде моей,— Попов, Петров, но что из этого, я в ней не нуждалась.

Уже несколько лет была у меня припасена очень нравившаяся мне фамилия Колосенок. Кажется, товарищ с этой фамилией занимал какую-то должность не то в Петрозаводске, не то где-то в Белоруссии. Вероятно, должность была крупная, если фамилия его дошла до меня, не связанной ни с Белоруссией, ни с Петрозаводском. Но Колосенок как руководящий работник меня не устраивал, мне хотелось чего-то гораздо проще, рядовее, что ли. И тут пришлось занять профессиональную позицию — сесть за стол, взять перо и лист бумаги и строить своего Колосенка. Декорация была уже налицо — интерьеры аэровокзала, его служащие, толпящиеся в зале пассажиры, взлетающие в небо самолеты.

Я покинула мое место на скамье, пошла в здание вокзала и осмотрела то немногое, что могло пригодиться при сочинении пьесы: гигантские расписания по стенам, дощечки на дверях, телефонную будку с длинным хвостом очереди, ряды кресел для ожидающих, отметила несколько лиц в очереди к телефону, румяное личико официантки, бегущей с металлическим блюдом сверху, из вокзального ресторана, пожилого продавца газет и книг, записала номера нескольких маршрутов. А затем, уже по возвращении в Ленинград, были в течение нескольких месяцев занятия именно чисто профессиональные. Поиски того, что называется «кто — кто?». Или, как сказала одна актриса: «Кто кому дядя?» И затем, конечно, медлительные и трудные изыскания, что этот «дядя» сделал либо сделает в пьесе, и почему сделает, и хорошо или плохо содеянное им. И из зернышка стали развиваться под пером взаимоотношения, характеры, сопричастности и хитросплетения судеб.

И все пригодилось — и таблички на служебных дверях, и официантка с ее отдельным сюжетом, и особенно в аккурат стал в пьесе выдуманный мною миляга Колосенок, повлекший за собой и простейший флиртовой романчик, и сложные сопоставления с другими героями пьесы.

А вот пьеса «Надежда Милованова» возникла из дневниковой записи. Несколько лет подряд, живя летом в писательском Доме творчества «Коктебель» вблизи Феодосии, я на жарком балкончике своей маленькой комнатки вела незатейливый дневник, записывая сюжеты, лица, иногда кусочки диалогов из тех пьес, которых еще не было, но которые я хотела бы написать.

Теперь, оглядываясь назад, я должна сказать, что это немудреное занятие, которому я посвящала ежедневно несколько часов, отмечая эти часы стоявшим передо мной примитивнейшим круглым будильником и не разрешая себе утомляться, что эти часы не только сразу увлекли меня, но и оказались весьма продуктивными. Из мимолетных записей вышли две пьесы: «Еще не вечер» и «Надежда Милованова». Последняя имеет еще два названия: «Верность» и «Поговорим о странностях любви». Все три соответствуют содержанию пьесы, так что я ни разу не

стесняла право театров выбирать для постановки любое. Почему возникли три названия? А это уже относится к судьбе пьесы, ибо каждая пьеса имеет свою судьбу, и почти никогда эти судьбы не повторяются.

Не сумею рассказать с точностью, как именно из отрывистых, иногда мне самой непонятных записей получился «Еще не вечер». Может быть, это просто эхо.

Давным-давно, в Перми, я написала пьесу «Бессонница», где описывается пианист, очень талантливый, потерявший на войне руку. В пьесе «Еще не вечер» Константин Олесов, тоже одаренный пианист, пьянством разрушает всю свою жизнь. Его вина больше и судьба сложней, чем судьба музыканта из «Бессонницы», так как у него есть любимые дети, которые горько страдают от его порока.

Да, видимо, «Еще не вечер» — это отголосок той давнишней слабенькой драмы.

В «Надежде Миловановой» все пошло от того, что в какой-то день я записала в моем дневнике неожиданно мелькнувшую в мозгу моем сценку: вьется дорога, на ней стоит столбик с дощечкой-указателем, на дощечке написано: «Миловановка».

Милованов — это тоже припасенная (чуть не с детства) фамилия, которую мне так и не довелось куда-нибудь пристроить. И, рассердясь на себя за это, я тут же устроила эту фамилию на дорожном указателе. Но ведь кто-то должен эту надпись прочитать. И возникли стоящие на дороге фигуры — мужчина и женщина, им для чего-то очень спешно нужно было в Миловановку.

Они вообще вели, так я записала, жизнь странную и бродячую, жили всюду почему-то без прописки, вообще были, так сказать, далеки от так называемой реальной жизни, однажды их даже хотели откуда-то выселить как непрописанных.

Всему этому надо было найти и причины, и слова для описания. И между этими двумя людьми обязательно должна была, показалось мне, быть самая большая и святая любовь, и носительницей ее должна была стать главным образом женщина, которой я тут же отдала фамилию Миловановой, о ее спутнике же даже не упоминается, какая у него там была фамилия.

Писалась пьеса легко, и судьба у нее была не тяжелая.

А пьеса «Как поживаешь, парень?» родилась из кем-то рассказанной истории о том, как некая девица, желая получить прописку в Ленинграде, упросила какого-то несообразительного рабочего паренька, только что получившего комнату в новом доме, вступить с нею, девицей, и фиктивный брак, скрепив его регистрацией в загсе. Затем, прописавшись на площади фиктивного мужа, вышла замуж уже не фиктивно, по любви, и прописала у себя нового супруга, какого-то прохвоста, а доверчивый паренек, владелец комнаты, остался, как говорится, на бобах. Из этого, в общем ничтожного, но столь болезненного для действующих лиц столкновения людских интересов неожиданно потекли всевозможные моральные проблемы, сюжеты, сплетения судеб. Стало ясно, что парень не остановится на первом плачевном опыте, будет искать чего-то, что либо утвердило бы это первое горькое разочарование, либо опровергло бы его, вернуло бы ему прежнюю безграничную веру в человека.

Но исходя из характера парня, я решила, что он непременно обожжется еще раз, и гораздо больнее, чем в приключении с фиктивным браком. И привели на ночной вокзал странную женщину, говорящую стихами и очаровывающую моего бедного парня своей необычностью и мнимой таинственностью. Затем начался непременный при написании пьесы процесс: герои освоились в произведении и стали хозяйничать в нем — заговорили что-то свое, мною не предусмотренное, даже не всегда сразу понятное, когда приходится додумывать, уяснять неведомо каким образом сложившиеся ситуации, сплошь посвящая этому занятию свои бессонные ночи. Кто воспитал в герое такую чистую, такую чрезмерно доверчивую душу? Это могла сделать только очень любящая мать. Появляется мать, и сцена их прощания, и ее советы, и розовое утро, строящее башни из розовых облаков, и мысли Заботкина, и простенькая Оля, так беззаветно его любящая.

В Московском театре имени Маяковского светлой памяти Николай Павлович Охлопков очень тонко, по-режиссерски прочел это мое сочинение и дал крупную, запоминающуюся фигуру матери и картину прощания ее с сыном, а переписку матери с Заботкиным и Олей дал на кругу, огороженном мачтами высоковольтной передачи и как бы воспроизводящем нашу планету. Из этой пьесы я затем сделала простенький сценарий «Саша», вышедший в «Ленфильме»,— последняя моя работа в кино. Последняя ли? Что-то говорит мне, что я еще вернусь в этот странный и манящий мир кино, и вернусь не только потому, что писателей туда призывают, но прежде всего потому, что хочу вернуться.

Просто бывают у всякого литератора периоды, когда

сюжет не висит на кончике пера и фантазия ищет, ищет чего-то и не может найти. Но это всегда ненадолго, в какой-то миг фантазия загорается снова, память извлекает из потемок какие-то лица, голоса, впечатления, забытые происшествия, и опять ты в форме, и опять рука тянется к перу. И чем больше зреет душа, жизненный опыт, тем больше хочется писать обобщенно, выпукло, чтобы мать была не просто матерью, но как бы собирательным образом матерей, и круг на сцене, управляемый невидимым механизмом, был не просто кругом, но планетой Земля с ее мачтами высоковольтной передачи и перекличкой человеческих голосов. Григорий Михайлович Козинцев говорил мне как-то, что его волнует проблема показа связи человека с космосом, я полагаю, что это то самое, о чем я сейчас написала. И причина этих волнений и поисков совершенно ясна: попав в космос, как можем мы не ощущать его близость, как можем о нем не думать, не чувствовать органической связи с ним?

50

РАССКАЗ «ТРОЕ МАЛЬЧИШЕК У ВОРОТ»

Этот рассказ просто не мог не написаться, потому что все нужное для него несколько лет подряд было под рукой. Мы жили тогда на углу Марсова поля и Мойки, из моего окна были видны Марсово и шпиль Михайловского замка, я видела из своей комнаты, как проезжали по Марсову полю милицейские мотоциклы и большие машины, покрытые блестящим черным лаком и похожие на огромных черных жуков.

И праздничная иллюминация была видна из этого окна, и золотые, малиновые и зеленые вспышки праздничных салютов за нашим Кировским мостом, и памятник Жертвам Революции, и даже вечный огонь у входа в маленькое кладбище этого памятника, и сделанные по старинному образцу красивые фонари, электрический свет которых так не подходил к их благородной форме.

И ворота, фигурирующие в рассказе, были воротами нашего дома, и всегда возле них маячили мальчики, по возрасту они были, впрочем, скорее парнями — во всяком случае, они, несомненно, читали книги для старшего возраста, а не для младшего, только стояли они необязательно по трое, их было иногда больше, иногда меньше, но при воротах они присутствовали обязательно, в будни, и праздники, и в любую погоду.

Из этого окна, высунувшись, я видела однажды, как в черной машине подъехал к памятнику какой-то старик в светлом плаще и зажег что-то от нашего вечного огня и с этим чем-то уехал по направлению к Петропавловской крепости, а в «Ленинградской правде» было в тот день сообщение, что город наш посетили польские гости, и я сделала законный вывод, что человек в светлом плаще был поляк.

Мне понравилось, что, заимствуясь нашим вечным огнем, он стал на одно колено и что он носил свой простенький плащ как мантию, и на все это вместе со мной смотрели мальчишки, стоящие у ворот неколебимо, как часовые.

И вот в какие-нибудь полчаса или час сложился рассказик, а один бог, как говорится, ведает, сколько таких рассказиков рассыпано вокруг нас на каждом шагу, только нужно научиться видеть их и поднимать прилежно. Ведь для этого рассказика пришлось только придумать каждому из трех мальчишек что-нибудь свое, а для профессионала это не представляет трудности. Я придумала для одного мальчишки, будто он бросил курить, остальным двум по незатейливому хобби, и этого оказалось вполне достаточно, рассказ пошел жить. Я сама видела и слышала, как какая-то седая дама, видимо учительница или воспитательница, сидя у нас на Марсовом поле на скамье, вслух читала этот мой рассказ детишкам среднего возраста. И парни у ворот его прочли, имею на это неоспоримое доказательство. Однажды, когда я проходила мимо них к своему подъезду, чей-то мальчишеский голос, одновременно и грубоватый, и как бы ласкающий, отчетливо произнес мне вслед: «Трое у ворот».

51

«СЕСТРЫ»

Тут опять, как в «Кружилихе» и в пьесе «Сколько лет, сколько зим», началось с декорации.

На этот раз это был Коктебель, мой обожаемый Коктебель с его горами, из которых каждая имеет свою собственную оригинальную красоту, с синим морем и синим небом, сложенными вместе, как две половинки чечевичного плода, с его бронзовыми обитателями, среди которых сразу отличаешь курортника от местного жителя, потому что местный несравненно более бронзов, чем курортник, хотя последний только и делает, что лежит на пляже и мажет

себя маслом для загара везде, где только возможно, даже между пальцами ног.

Это там, на зеленом склоне, среди гор, рассказала мне местная жительница, почтовый работник, как трудно живется среди этой красоты местным людям, особенно молодежи.

Все кончают среднюю школу и жаждут работать, а работать где? Есть школа, несколько санаториев, писательский Дом творчества, аптека, почта... Везде все укомплектовано, и люди держатся за свои места... Доступ свободен лишь в колхоз, это пожалуйста. Но юношам и девушкам, хлебнувшим образования, хочется идти дальше.

К работе на земле привыкли с детства, поэтому труд в колхозе уже не светит для этих, отведавших меда, такой лучезарной звездой, как для предыдущих поколений.

— Когда,— говорила старая почтальонша,— начнутся и у нас большие стройки, только тогда решится эта проблема, только тогда заживут наши раны. А сейчас просто больно смотреть на бедных ребят, когда они, например, услышат, как какие-нибудь горожане-туристы или дачники заговорят между собой на иностранном языке. Они смотрят, как будто думают: разве я не мог бы (или не могла) этому научиться, и что им скажешь? Ясно, могли бы.

От этого немудрящего, как будто даже не впервые услышанного рассказа и пошел расти рассказ «Сестры». Сперва я ввела младшую — Галю, как представительницу самого юного поколения, перед которым так остро встали вдруг проблемы работы и образования — в сущности, главные проблемы человеческой жизни. Потом, вследствие того что скучно было писать вторую такую героиню, придумалась старшая, с виду такая благополучная сестра, окончившая Московский университет, овладевшая профессией, которую любит и которую ни на что не променяет, как сразу и очень остро ощущает умненькая Галя.

А потом в рассказ вошли другие женщины — диковатая, насквозь земная Мачеха и старая учительница, учившая обеих сестер, и все они явились сестрами, эти русские женщины и девушки, и на фоне этого всеобщего сестринства уже не кажется психологически недостоверным, я думаю, ни взаимная любовь, которой после многих лет жизни врозь вдруг проникаются Галя и Актриса, ни то, что безмужняя и бездетная Актриса принимает решение взять Галю к себе в Москву из этого благословенного южного местечка, куда люди стремятся хоть на несколько дней.

52
«КОНСПЕКТ РОМАНА»

Стареет все на свете. И кажется порой, что в том числе неудержимо, темпами удручающими, стареет форма романа. На эту тему пишутся статьи и собираются симпозиумы, в которых участвуют самые-самые мастера мировой литературы. Все озабочены, все ищут — от США до Японии.

В том числе однажды захотелось поискать и мне. «Не знаю: завистью ль меня лукавый мучил, иль, может быть, мне рыбный стол наскучил», но только захотелось написать роман в форме совсем еще не бывшей, выкинуть коленце, или, как еще лучше выразился Саша Черный, вытанцевать штуку.

> Губернатор едет к тете...
> Пристяжные на отлете
> Вытанцовывают штуки.

«Литературная Россия» просила меня написать для нее что-нибудь небольшое, по ее территориальным возможностям. Я подумала: «Напишу-ка ей роман в форме конспекта».

Нужен был прежде всего сюжет. Я бросилась к уличному фольклору.

На примете уже были две ленинградские уличные истории. Их рассказывали друг дружке старухи-пенсионерки на бульварных скамейках и в очередях в поликлинике.

Одна история к тому времени была, увы, использована моими товарищами писателями. Это премилая история о том, как на улице Пестеля (был известен номер дома и номер квартиры) жильцы коллективно вырастили крокодила. Они впустили его в ванну совсем крохотным и сообща кормили, и вырос совсем настоящий большой крокодил.

На мою долю осталась другая жемчужина ленинградского фольклора — о старушке-пенсионерке и старичке-генерале.

Не забудьте, что это рассказывают именно старушки-пенсионерки, вышедшие погулять в сумерки с собачкой или с палочкой. Не забудьте и воздайте хвалу живительному оптимизму уличного фольклора.

Дескать, была одна такая в Ленинграде старушка-пенсионерка. До того бедная, что даже собачки у нее не было, только подаренная кем-то палочка, без которой

старушка совсем бы не могла ступить ни шагу. Выходила она с этой палочкой вечером на бульвар и садилась на лавочку подышать воздухом. И вот заметила, что стал к ней подсаживаться какой-то старичок. Так же бедно одет, как и она, если не хуже. Папироски делает себе сам — насыпает из спичечной коробочки табачку в кусочек газеты и скручивает. И даже иногда у прохожего просит закурить — спичек, видать, нету.

Ясно — пенсионер.

— Да, пенсионер,— отвечал он, когда она спросила прямо.

И они поговорили о счастливом двадцатом числе, когда приносят пенсию. А потом почему-то разговорились о домашнем хозяйстве: как наилучшим образом варить кофе и кто какие любит пирожки. Она любила подовые (печеные), а он — жареные. Она — побледнее, а он — поджаристые.

Так поговорили несколько раз.

И вдруг он — хлоп! — делает ей предложение. И вдруг он — хлоп! — оказывается не простым пенсионером, а союзного значения. Какой-то, в общем, генерал с большими заслугами.

Она ни о чем таком даже заподозрить не могла, когда свалились на нее это генеральство и союзное значение. И, конечно, дала свое согласие.

И пошли они с бульвара под ручку.

Я ввела эту историю в мой «Конспект романа», далее использовала в пьесе, которую недавно закончила. И тут и там я рядом с этой историей о стариках написала ряд историй о молодых.

И еще сделала поправку: и в «Конспекте романа», и в пьесе удалила слишком сказочного и паточного генерала. Просто себе женятся одинокие старики, и все. Это я постаралась оказать малюсенькую редакторскую помощь старушкам, которые сочиняют такие прекрасные повести и потом рассказывают их друг другу на бульварных скамейках.

51

ОБЩЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Я вошла в литературу и стала членом Союза писателей СССР в 1946 году, то есть в возрасте 41 года, когда уже многое в литературе стало мне понятно на личном опыте

и я уже не могла безоговорочно верить суждениям литературной критики тех лет как в отношении моих книг, так и в отношении книг других авторов. У меня стали вырабатываться собственные мнения о книгах, и, конечно, я все больше дорожила мнением читателей и встречами с людьми, прочитавшими мои книги. Помню первую свою встречу с ними в Ленинграде. Группа писателей, в том числе я, была направлена Союзом на встречу с читателями какой-то библиотеки. Не помню, какой именно, помню лишь, что встреча происходила в Аничковом дворце, в красивой комнате и что, называя пришедших писателей, библиотекарша назвала меня лауреатом, а я им еще отнюдь не была, дело происходило зимой 1946/47 года, а лауреатом я стала лишь летом 1947 года. Позже я догадалась, что библиотекарша приписала мне лауреатство, прочитав о моих «Спутниках» очень одобрительную статью в «Правде». Она, так сказать, опередила события, не более, но присутствовавший на собрании Юрий Павлович Герман при ее словах взглянул на меня, и при тогдашней моей мнительности мне подумалось — а вдруг он и другие припишут ошибку библиотекарши моей беспардонной наглости и бахвальству, и помню, я всем лицом почувствовала, как я покраснела от мучительного стыда.

Так неудачно началась моя первая встреча с живыми, подлинными читателями. После этого таких встреч было много: и в библиотеках, городских и военных, и во дворцах культуры, и в Политехническом в Москве, и на крейсере на Таллинском рейде, и в громадной аудитории одного из цехов завода в Ленинграде во время обеденного перерыва, где, как сейчас помню, при виде людей, слушавших меня с галереи, впервые мелькнул у меня в голове облик бездельника Геннадия Куприянова, не знающего, что такое труд и отдых, что такое самолично заработанный кусок хлеба, что такое литература, не знающего вообще ничего, чем живет нормальный человек. Не знаю с чего, но это он в воображении моем тогда прошел за спинами мужчин, женщин, подростков, разговаривавших со мной с галереи над отдохновенной пустотой громадного цеха. Мне за этого Геннадия в свое время здорово досталось от критики, но я от него не отреклась и не отрекусь, слишком явственно видела тогда и его грязные нестриженые волосы, и разболтанную походку, и наглость, и нежелание считаться ни с кем и ни с чем, и несоразмерные претензии на мирские блага.

Но вернусь к моим читателям. Очень скоро кроме

встреч я стала общаться с ними письменно. Первое полученное мною по почте читательское письмо было из Харькова от группы женщин. Их было человек двадцать, они все расписались под письмом. Среди них были работницы, служащие и домохозяйки. Они организовали кружок вышивания, рукодельничали прилежно и изобретательно, устраивали даже выставки, но им не хватало материала для работы, а именно: известных всем вышивальщицам ниток мулине. И вот, писали они, какие от этого у них в кружке происходили аварии: одна из них хотела вышить кисть сирени, но у них в магазине только один грубый лиловый цвет, а для кисти сирени требуется много оттенков, чтобы вышло хоть сколько-нибудь похоже. Еще несколько милых примеров приводили женщины, прося меня помочь им в их нужде, так как в Ленинграде, писали они, мулине, по слухам, достать нетрудно. Это была правда истинная, и я с большой охотой исполнила их симпатичную просьбу, представляя себе, какая это должна быть изящная и в то же время эпическая, почти гомеровская картина, когда двадцать женщин сидят и вышивают разноцветными нитками сирень, розы и всякие другие цветы, творчески углубясь в свое занятие и отвлекшись им от кухонной нескончаемой страды. Я повидала вышивальщиц, живя на Украине, и знала, что вышиванье — не пустое препровождение времени, что оно украшает жизнь, как всякое другое художество, и развивает в человеке любовь к искусству, фантазию, прилежание. Мне приятно думать, что где-то в огромной прекрасной Украине, может быть городе Харькове, где я побывала в жизни всего один вечер, существует кисть сирени, вышитая в какой-то мере и благодаря моему крохотному, совсем незаметному усилию.

Не знаю почему, но многие читатели считают, что если человек написал несколько книжек, то он знает уже все на свете и во всяком деле может дать совет. Меня же многие читатели после «Спутников» посчитали врачом, чуть ли не хирургом, и нередко обращались ко мне с серьезными медицинскими вопросами. Одна женщина, ухаживающая за больной матерью, спросила меня в письме, какое снотворное я считаю наиболее безвредным для ее матери; старик паралитик запросил насчет диеты; неизвестные мне родители справлялись, в какую клинику следует поместить их больного ребенка. И всякий раз мне ужасно неловко было отвечать «не знаю», и порой я начинаю думать, что

мы, литераторы, претендующие на то, чтобы приносить людям пользу, обязаны не то что все знать — это, увы, невозможно,— но, во всяком случае, существовать в окружении всевозможных справочников, в том числе медицинских и правовых, ибо громадное большинство писем заключает в себе вопрос: как обуздать пьяницу и хулигана мужа и разводиться с мужем или нет? Как понятно каждому, особенно всякий раз угнетает меня последний вопрос, ибо тут не помогут никакие справочники, надо быть всевидцем, пророком, а этого не бывает с нами, не могло бы быть с самим Львом Толстым, а что уж говорить о нас, малых сих.

Был один телефонный звонок, я сняла трубку и услышала женский голос:

— Вы писательница Панова?

— Да.

— Мне необходимо повидаться с вами, как можно скорей.

Зная, что некоторые читатели считают нас, литераторов, за совершенных бездельников (подумаешь, действительно, работа — сочинять), я спросила:

— А что значит «как можно скорей»?

— Если можно, сейчас.

— А кто это говорит?

— Ваша читательница, учительница.

— Сейчас, товарищ, я не могу,— сказала я.— А не можете ли вы рассказать ваше дело по телефону?

— Нет, по телефону это нельзя, вы не поймете, да и у меня язык не повернется. Я должна рассказать вам лично, лицом к лицу, даже на ухо, как женщина женщине.

— Это будет не насчет развода? — спросила я.

— Нет, нет.

— И не о том, что муж пьет?

— Нет, нет.

— И не о том, как воспитывать детей?

— Нет, и вы ни за что не догадаетесь, сколько бы ни перебирали. Только тогда поймете, когда я вам расскажу.

— Хорошо,— сказала я.— Тогда давайте встретимся завтра в Союзе писателей, вас устраивает? Скажем, в два часа вам удобно?

— Удобно, спасибо. Так я приду.

Писатель — человек прежде всего любопытный. На другой день с часу дня я сидела в Союзе писателей и не

отрываясь глядела на дверь. Я думала: какая она? По телефону голос у нее тихий, мягкий, безответный. И почему-то мне представлялось, что войдет этакая жертва легкомысленного романа, растоптанная жестоким разочарованием, повидавшая виды, крикливо одетая, вызывающе, будто назло всему и всем, причесанная — словом, этакое помятое растерянное дитя неудачно сложившейся жизни.

Ничего подобного. Вошла обыкновенная, абсолютно обыкновенная женщина. Даже серенькая: серенькое платье, невыразительное лицо, чуть седеющие волосы, тишина в чертах и в движениях. Конечно, учительница. И конечно, обделенная женской судьбой и примирившаяся с этим.

Для чего-то она еще раз сказала:

— Так я могу говорить с вами, как женщина с женщиной?

— Безусловно,— сказала я.

И как женщина женщине, на ухо, запинаясь и мучаясь, она рассказала, зачем ей нужно было со мной повидаться и почему ей кажется, что, кроме меня, ей никто не может помочь.

Я передаю ее рассказ в третьем лице, ибо это, конечно, не разговор у казенного письменного стола, заброшенного бумагами, а новелла, сочиненная самой жизнью.

Она — ленинградка. Родилась в Ленинграде, выросла в нем, знает наизусть его переулки, мосты, магазины. Но так странно, что в крошечный магазин под вывеской «Пуговицы» в конце Садовой линии Гостиного двора она в тот вечер вошла в первый раз в жизни. Вдруг обнаружила, что надо купить каких-то ерундовых пуговиц для наволочек, вспомнила эту вывеску и пошла. Да, я угадала, ее женская судьба сложилась бесцветно — верней, не сложилась вовсе. Не было ни брака, ни романа, хотя бы неудачного. Ничего не было, и она, думая о себе, называла себя старой девой. Не было ничего, кроме ошибок, одна другой плачевней. Ошибалась, когда у нее зарождалась иллюзия, будто кто-то к ней относится с большей приязнью, чем к другим знакомым женщинам. Ошибалась, когда воображала, что сама к кому-то потянулась сердцем. И даже поводы к ошибкам становились все реже и реже, и жизнь стала казаться бременем, возложенным неведомо за какие вины. В магазин «Пуговицы» она пришла под вечер. Вдоль Садовой уже горели фонари. Было туманно и скользко от жидкой грязи на асфальте. И ровно ничего не ждала она, стоя у прилавка, где под стеклом были разложены пуговицы всяких сортов и размеров. Ровно ничего не ждала в тот миг, когда за ее локоть взялась чья-то рука. Она оглянулась, увидела шершавое пальто, кепку, часть бритой щеки — больше ничего. Разговора она не запомнила. Кажется, он спросил, где она работает. Кажется, сказал, что он тоже учитель. Кажется, попросил разрешения ее проводить. Она не помнила, почему согласилась. Кажется, его твердая рука и запах ворсистого пальто внушали ей доверие — «ведь это иногда бывает, правда, товарищ Панова?». И они пошли к ней. Ей стало страшно неловко, когда они вошли в ее комнату. И не потому неловко, что неважно было убрано и наволочки без пуговиц, а — смешно — потому, что на окне не было ни одного цветущего растения, только колючий алоэ да какая-то неказистая пыльная бегония. Это до того выпирало на первый план, что даже как-то не думалось о том, что сейчас произойдет. Просто было совестно, что не завела себе хоть одну веселую гераньку. А когда произошло то, что должно было произойти, обнаружилась катастрофа. Он сказал, что это война его изувечила, и это была правда, но, к стыду ее и вечному проклятию, ей подумалось, что зачем же он ей в таком случае, что это был бы за союз, с какой стати она, никогда не державшая оружия в руках, должна отвечать за ужасы войны. И она сказала ему все это, будь проклят ее язык. Она сказала ему это, и он тотчас ушел, не сказав ни слова. Наклонясь над пролетом лестницы, она смотрела, как опускается вниз, в небытие, его полосатая кепка, и тут только ей в голову пришло все то, что могло бы случиться в ее жизни, если бы эта кепка не исчезла так сразу.

Что она наделала! Она бы купила герань алую или розовую и поставила бы на подоконник, и любовались бы вместе, каким нарядным стало окно. Она заболела бы гриппом, и он из своих рук давал бы ей лекарство и читал ей вслух. Он уходил бы, а она его ждала и вслушивалась, когда же раздастся звонок. Он ее нашел, искал ее долгие годы после войны и наконец нашел в невидном магазинчике под вывеской «Пуговицы». Нашел и угадал среди женщин, толпившихся у прилавка, и так твердо взял за локоть, поверив, что это она. А она прогнала его — из-за чего: того, что так неважно по сравнению с той жизнью, полной взаимного сочувствия и доверия, какая у них могла быть и непременно была бы.

И она должна его вернуть. Она не может умереть

мирно, пока не вернет и не скажет ему, что поступила ужасно безобразно и по какому-то непостижимому импульсу, ведь никогда в ней не бушевали страсти, ее считали такой рассудительной и уважали за спокойный нрав. И почему она приняла такое вздорное, необдуманное решение, она сама не может ответить. Что с ней будет теперь? Те же наволочки без пуговиц, тот же безобразный алоэ, растопыривший свои колючки рядом с бесцветной бегонией, и ни твердой руки, и ни одного существа, о котором было бы отрадно заботиться. Конечно, еще можно завести кошку и дрожать над нею весь остаток жизни. Она должна его вернуть! Но как найти? Найти ту полосатую кепку среди миллионов кепок на улицах и в магазинах. Пойти опять как-нибудь вечером в магазин «Пуговицы»? Она ходила уже несколько раз. Он не появился. Даже полосатой кепки ни одной она не встретила в магазине. Ей советовали обратиться в гороно. Там ей не могут помочь, потому что она забыла номер его школы. Она ходила к редактору «Ленинградской правды». Он не мог напечатать ее объявление. И как написала бы она свое объявление? Тогда она подумала обо мне: я, как женщина, пойму ее, и поняв, напишу рассказ, а он прочтет этот рассказ и будет ее искать, ведь он знает, где она живет.

Увы, я не нашла в себе мужества написать этот рассказ, так сказать, по горячим следам. И только сейчас его написала, через много лет. Я знаю, что они не нашли друг друга, иначе она бы мне написала или позвонила, так мы условились. В туманный слякотный вечер, в желтом свете фонарей, на длинной Садовой сошлись и разминулись два несчастливых человека, слишком поздно понявших, в чем их счастье...

А может быть, это и к лучшему? Может быть, он со временем разглядел бы, что нашел не ту, и жестоко разбил бы этим открытием ее и без того наболевшее сердце. Может быть, и она бы разглядела, что не так уж тверда и надежна рука, взявшая ее когда-то за локоть. Да, вполне, вполне возможно, что судьба избрала верный исход. Ведь это же правда истинная, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Этих писем особенно много получила я за годы моей литературной работы. Не только пишут, но и по телефону звонят, и после библиотечных встреч ждут в коридоре, чтобы спросить: «Скажите, а как, вы считаете, надо воспитывать детей?» И опять — не знаю, хотя и вырастила троих.

Я воспитывала их, исходя из обстоятельств и требований каждого дня, не составляя никаких планов, не загадывая, что из этого получится. Заболевал — шла за врачом и в аптеку. Отказывался мыть лицо — левой рукой наклоняла над тазом, а правой обмывала измазанную рожицу. Через какое-то время каприз проходил, мальчуган начинал с восторгом умываться сам. Надо было кому-нибудь сходить в лавку — посылала детей. Заметила, что стали баловаться куреньем, не читала наставлений, полагая, что сами отстанут, пресытясь, потому что ведь — гадость, вроде рыбьего жира или касторки. И точно — отставали. Считала полезным ознакомить их с какой-нибудь книгой — не ждала, пока доберутся до нее сами, читала им вслух. Пела песни. Старалась, чтобы пища их была полезной.

Больше ничего не знаю. Думаю, что каждый должен, обязан сам искать способы, как воспитывать своих собственных детей. Знаю, что нельзя бить, нельзя ни к чему принуждать ребенка ни кнутом, ни пряником, и знаю, что, выказывая ему любовь, сделаем его лучше, чем выказывая жестокосердие и непонимание.

А папы и мамы все пишут:

«Расскажите же, как мне воспитывать моего Вову (или Юру, или Мишу)».

Я понимаю тревоги этих пап и мам. И очень жалею, что не могу им помочь подробными советами.

Вообще все, что пишет нам читатель — в похвалу или хулу, дельно или не дельно,— его святое право. Для него существуем, для него пишем. И за все время моего общения с читателями я рассердилась только на одно-единственное письмо, вернее, на его автора. Автором была девушка из Перми, служившая в какой-то профсоюзной организации. Она имела какое-то отношение к сбору членских взносов. И вышло с ней вот какое дело: собирала-собирала она эти взносы и растратила их.

Нет, я не за это сержусь. Такое — и даже куда хуже — в жизни бывает. Я бы не рассердилась и в том случае, если бы она попросила у меня денег, чтобы покрыть эту растрату, но она попросила денег совсем на другое. Она даже просила меня не заботиться о ней в этом отношении, так как, по ее словам, ее друзья давно уже уплатили ее долг.

Но вся эта история, написала она, стоила ей столько нервов, что она теперь нуждается в лечении на самом лучшем курорте. И вот на этот курорт она и просила у меня

денег. Я, может быть, и за это на нее не так рассердилась бы, хоть это и показалось мне с самого начала безнадежной тупостью и нахальством. Но меня добил конец ее письма.

«Я не виновата в растрате,— писала она.— Виноваты мои родители, которые приучили меня к такой хорошей жизни, что я уже не могла жить без роскоши».

Я не хочу входить в рассмотрение того, какую роскошь могло позволить себе это беспутное существо на профсоюзные взносы трудовых людей, меня возмутил этот бесчеловечный упрек, адресованный родителям, эта готовность свалить свои антиобщественные поступки на кого угодно, вплоть до родной матери. Если это — результат слишком большой любви родителей к своему ребенку, я даже готова взять назад свой совет насчет этой самой любви к ребенку и полностью предоставить дело собственному усмотрению пап и мам в зависимости от характеров и свойств их чад.

За три первые мои большие книги — «Спутники», «Кружилиху» и «Ясный берег» — мне была присуждена Сталинская премия, и все три раза это происходило очень скучно, я узнавала о награде по радио — либо своими ушами слышала, либо сообщали друзья, как было с «Кружилихой». И всякий раз воображение подсказывало мне какие-то мало выразительные обсуждения: какие-то столы для заседаний, крытые красным либо зеленым сукном, листы каких-то протоколов с лиловыми буквами да серый свет от занавешенных окон, и скучными казались эти картины. Ведь среди точно таких предметов секретариат ленинградского отделения Союза писателей, членом которого я была с 1947 года, присуждает тому или другому литератору творческую командировку в какой-нибудь город, не всегда отмеченный на карте большим кружком. В общем, обыденно, без ликования, без живительных мыслей происходили эти награждения.

Но вот был май 1954 года, был майский день, сияли нежным золотом все ленинградские шпили, и я ехала куда-то в такси вдоль светло струящейся Мойки — от Марсова поля к Дворцовой площади, а рядом со мной сидел очень молодой, очень белозубый и очень приветливый шофер и держал на сиденье мою только что вышедшую книгу «Времена года». И, помолчав, вдруг обратился ко мне со странным вопросом:

— Вы за эту книгу получили премию?

— Нет,— сказала я,— за другие.

— Ну, это напрасно,— сказал он.— Я других ваших книг не читал, а за эту обязательно дал бы вам премию.

— Почему же? — спросила я.

— Потому что интересная,— ответил он,— это раз. А два то, что правду пишете. Не смóтрите, какой он там начальник, а пишете то, что есть и что я тоже знаю. И вот по этим двум причинам я бы и дал вам премию, будь моя воля.

И верите, друзья: со всех шпилей и куполов звонко и певуче хлынуло на Ленинград солнце при этих словах, желтая краска на домах заиграла всеми цветами радуги. Голуби весело заговорили на карнизах старого казенного дома, мимо которого мы проезжали. А что начало твориться на серебряной Мойке, какие там вспыхнули фонтанчики из елочной канители и мелкой серебряной монеты — это и рассказать невозможно.

И все эти чудеса произошли оттого, что незнакомый мне человек, читатель моей трудно написанной книги, своей волей присудил мне за эту книгу премию. И премия была выдана так простодушно, искренне и весело, не на заседании, а в крошечной кабине такси, насквозь пронизанной весенними лучами, как вязальными спицами.

Я знаю, что такие случаи были в жизни почти каждого литератора. И что все мои однокашники дорожат такими читательскими отзывами не меньше, чем орденами и медалями: суд читателя, пусть совсем мало эрудированного, пусть даже не очень-то грамотного,— это наш высший суд, наш золотой фонд, это суд хозяина нашего — народа, для которого мы работаем и рады работать до последнего вздоха.

52

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Однажды на кладбище я видела могилу А. Фадеева. Уже многих моих сверстников не было тогда, поднимались новые писатели, новая шумела жизнь. Словно для них расчистили площадку, один за другим возникали молодые поэты, прозаики, драматурги, переводчики. Помню, в первые годы моей жизни в Ленинграде был принят в Союз один-единственный молодой писатель — Сергей Петрович Антонов; после XX партсъезда мы принимали молодых в Союз чуть не ежедневно.

Постепенно я полюбила общественную работу в Союзе, охотно участвовала в заседаниях, пленумах, руководстве семинарами. Приятно было видеть, что кому-то эта моя работа приносит пользу, что мы обрастаем новыми талантливыми людьми, что цепочка преемственности тянется из поколения в поколение, что русская литература живет и будет жить.

Помню один семинар в Ленинграде, которым мне выпала честь руководить, слушателями его были такие писатели, как Ю. Казаков, Ричи Достян — вполне уже сложившиеся дарования. Как было не порадоваться их приходу, их успехам. Как отрадно было затем следить за их ростом.

Я вообще думаю, что почти все молодые литераторы, даже безотносительно к их потенциалу, приходя в литературу, непременно что-нибудь в нее приносят — новый ли материал, свежую ли форму, необычную ли интонацию, необычную ли мысль, либо просто какое-то еще непривычное действующее лицо, где-то увиденное. И все это драгоценно, а потому дорог каждый приходящий, привет ему. И потому недобро, вредно поступает тот, кто отталкивает новоявленного литератора от Союза, от издательства, от писательской среды.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пятый, заключительный том Собрания сочинений В. Пановой объединяет произведения исторической и автобиографической прозы, созданные на протяжении 1960-х — начала 1970-х гг. Эти две главные линии творческих интересов Пановой позднего периода нашли отражение в разных жанрах — исторических повестях, рассказах, «мозаиках», автобиографических заметках, путевой прозе и развернутом мемуарном повествовании «О моей жизни, книгах и читателях».

Все произведения тома сгруппированы в жанрово-хронологической последовательности.

Исторические повести, составившие книгу «Лики на заре» (1966), публикуются по 5-му тому Собр. соч. В. Пановой (1970).

Цикл исторических рассказов о Руси начала XVII века не публиковался при жизни автора и был впервые собран под общим заглавием «Смута» во втором томе избранных произведений Веры Пановой в 2-х томах (Л., 1980). Для публикации в настоящем издании сверены с рукописью В. Пановой.

Цикл «Из американских встреч» дополнен неизданными записями из дневника «Москва — Париж — Нью-Йорк» (1960). Общее название цикла сохранено по авторской публикации рассказов цикла в журнале «Новый мир» (1964. № 7).

Мемуарный цикл «Из запасников памяти», напечатанный в 1971 г. журналом «Нева», затем без заглавия вошел в качестве второго раздела в книгу В. Пановой «Заметки литератора» (Л.: Сов. писатель, 1972). В настоящем томе публикуется под авторским журнальным заглавием с исключением из текста отдельных главок, включенных В. Пановой в книгу «О моей жизни, книгах и читателях».

Воспоминания «О моей жизни, книгах и читателях» публикуются в новой, уточненной и дополненной (авторской) редакции, без произвольных купюр и изъятий в тексте, имевшихся в двух посмертных изданиях этой книги (Л.: Лениздат, 1975 и Л.: Сов. писатель, 1980).

«Заметки...» — Панова В. Заметки литератора. Л.: Сов. писатель, 1972.

ЛГ — Литературная газета.

«О моей жизни...» — Панова В. О моей жизни, книгах и читателях.

«Трое мальчишек...» — Панова В. Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

ЛИКИ НА ЗАРЕ

Исторические повести

Впервые: Кто умирает; Историческая повесть // Звезда. 1965. № 3. С. 6—24; Две повестн: Сказание об Ольге; Феодорец Белый Клобучок // Звезда. 1966. № 10. С. 34—84; Лики на заре: Исторические повести: Сказание об Ольге; Сказание о Феодосии; Феодорец Белый Клобучок; Кто умирает. М.; Л.: Сов. писатель, 1966.

В марте 1965 г. Панова сообщила о свонх новейших работах и замыслах в исторнческом жанре: «Планов много, не хватает времени и сил, чтобы осуществить все задуманное. Уже больше десяти лет раздумываю над циклом произведений из древней и поздней русской истории. Только что в мартовском номере «Звезды» напечатана повесть «Кто умирает» — о смерти царя Василия Ивановича — отца Ивана Грозного. Это первая моя проба в историческом жанре. Собираюсь скоро опубликовать еще несколько коротких исторических повестей о княгине Ольге, Марине Мнишек и других» (Веч. Ленинград. 1965. 19 марта).

Тяготение к историческому жанру имеет свое объяснение в давних художественных пристрастнях писательницы. Источники этого своего увлечения Панова приоткрыла отчасти в цикле «Из запасников памяти» (1971), а затем более подробно в воспоминаниях «О моей жизни, книгах и читателях», изданных посмертно. В главе «Исторические повести» Панова подтвердила, что «всплеск именно таких ощущений, настроений, мыслей и прнвел меня в начале шестидесятых годов к замыслу о создании цикла нсторических повестей. Первой возникла повесть «Кто умирает», благожелательно принятая и напечатанная журиалом «Звезда». Мне хотелось напнсать во весь рост князя Василня III, отца Иоанна Васильевича Грозного» («О моей жизни...» С. 524).

Второй исторической повестью Пановой было «Сказание о Феодосни», третьей — «Сказание об Ольге» и четвертой — «Феодорец Белый Клобучок». В общей композицин «Ликов на заре» произведения расположены в другом порядке — по хронологни событий и жизнн исторических лиц, в них описанных: Кневская Русь X — XI вв. («Сказание об Ольге» и «Сказание о Феодосни»), Русь Владимиро-Суздальская XII в. («Феодорец Белый Клобучок»), Русь Московская XVI в. («Кто умирает»).

Сказание об Ольге. Во многих подробностях основано на летописном рассказе «Повести временных лет», где о княгине Ольге сказано, что она была «предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед светом» (Повесть временных лет. Ст. и коммент. Д. С. Лихачева. Л., 1950. Ч. 1. С. 246. Лит. памятники). В сюжете использовано летописное повествование о жизни и смерти князя Игоря, мести Ольги древлянам, ее правлении, поездке в Царьград, где она приняла крещение, походах сына ее Святослава в Болгарию. С большим искусством передан дух и строй летописного языка, его благородная сила, сжатость, живость прямой речи и диалогов. Однако повесть Пановой не является простым переложением древиего жизнеописания Ольги на современный язык. Многне страннцы и целые главы ее требовали вображения, догадки, умення развернуть мимолетную подробность исторического источника в живую художественную картнну.

Подробности поездки Ольги в Константинополь Панова почерпнула в историческом сборнике Д. Ф. Беляева «Byzantina. Очеркн. Материалы и заметкн по византийским древностям» (Спб., 1891), где помещен перевод сочинения внзантийского историка Константина Багрянородного о пребывании Ольгн в Царьграде и дано краткое описание константинопольского двора. Панова указала и на другие источники, которые помогли ей в работе иад повестью. Среди них оказалась старая книга «Жизнь европейских народов», откуда взято описание драгоценного блюда, которое Ольга подарила константинопольскому патриарху. Все эти сведения надо было освоить, творчески переплавить, перевести из чисто документального ряда в художественный, пластическо-изобразительный.

В трактовке древнего летописца Ольга — прежде всего мудрая правительница, крепко державшая в своих руках власть, беспощадная к врагам, мстнтельная и нзобретательная в своей жестокости. Сохранив это историческое зерно характера, Панова, по существу, заново развила его индивидуальную, женскую основу. Писательницу занимает Ольга-девочка, девушка, жена, вдова, мать, хозяйка, утвердившаяся «главой своему дому». Она первая поняла преимущества христианства для укрепления княжеской власти в Киеве, хотя не смогла убедить в этом своего сына и наследника Святослава. Здесь мы узиаем очень близкие, органичные для Паиовой общечеловеческие мотивы, неожиданно прозвучавшие на историческом материале.

В письме к К. М. Симонову от 20 сентября 1967 г. Панова просила его обратить вниманне на возможности экранизации повести «Сказание об Ольге»: «Если Вы отнесетесь к этому предложенню положительно, я была бы очень рада и охотно поработала бы над нею с режиссером, хотя, на мой взгляд, она являет собою уже законченный сценарий, и не только литературный.

в подкрепление своего предложения хочу Вам напомнить, какой успех в свое время имели «Нибелунги» на экране. А о наших истоках вообще ничего нету» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 73).

Авторская мысль об экранизации «Сказания об Ольге» до сих пор не реализована.

Сказание о Феодосии. Героем второй повести Пановой стал Феодосий, суровый и фанатичный игумен Киево-Печерского монастыря. Общая канва сюжета взята из житийной литературы — древнейшего письменного жанра на Руси. Житие Феодосия Печерского было создано еще в XI в. будущим знаменитым летописцем Нестором. Оно вошло затем в «Четьи-Минеи», «Киево-Печерский патерик» и при всех своих апологетических измышлениях, свойственных жанру, является важным источником сведений по истории Киево-Печерского монастыря — признанного культурно-религиозного центра Древней Руси.

Обратившись к одной из легенд о киевских чудотворцах, Панова в «Сказании о Феодосии» меньше всего ставила своей целью обычную реставрацию Несторова жития. Ее художественная задача несравненно сложнее и шире. В подробностях древнего предания об основателе Киево-Печерского монастыря Феодосии она стремится обнаружить его историческую жизненную основу, понять человека, который в действительности соответствует фантастической поэзии религиозного сюжета.

Рассказывая в работе над этой повестью, Панова отметила, что необходимый материал для нее она черпала у знаменитого историка России С. М. Соловьева, а потом в ее руках оказался «Киево-Печерский патерик», позволивший расширить сюжетные рамки повести, ввести в нее очерки лиц, окружавших Феодосия или как-то с ним связанных: «...Возникла возможность написать несколько кратких вставок о других братьях монастыря, в том числе сюжетные истории об отце Исаакии, страстотерпце Иоанне, а также о пострижении Варлаама, сына боярина Вышаты, и вражде между попом Титом и дьяконом Евагрием, о знаменитом Шимоне, предке князей Шуйских, и о ряде мелких бытовых подробностей в жизни монастыря. В ходе работы возникло разделение повести на три части: «Восход», «Полдень» и «Закат» — это три эпохи религиозной идеи» («О моей жизни...» С. 524).

«Сказание о Феодосии» обнаруживает реальную логику развития религиозной идеи в лице человека, доводящего свою идею до крайности. Из кроткого затворника Феодосий превращается в фанатика своей веры, безжалостного и нетерпимого. Пренебрегший в юности личным богатством, он на склоне лет неустанно печется об умножении огромного монастырского имущества. Бежавший когда-то от мира, он проникается действительными интересами церковной власти, оспаривающей княжескую власть. Перевернутый крест становится мечом.

Феодорец Белый Клобучок. Главное лицо этой повести — поп Феодор, духовный спутник князя Андрея Боголюбского, принявший сан епископа Владимирского, а затем осужденный и разжалованный

Киевским церковным собором. «Эта жалкая, с двойным дном и непомерными претензиями фигура, одна из ярчайших в княжении Андрея Боголюбского, привлекла мое внимание,— замечает Панова,— как почти точный прототип знаменитого Никона, вызвавшего своей деятельностью столько волнений в царствование Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Как Никонова патриаршая панагия, иерейский крест Феодорца залит кровью. То же властолюбие, та же заносчивость беспримерная» («О моей жизни...» С. 525—526).

Таким образом, и в самой русской истории, духовной и светской, внимание Пановой привлекали не просто колоритные лица, яркие индивидуальные фигуры, чем-либо знаменитые и известные, но фигуры типические, повторявшиеся, по которым отчетливо вырисовывается психология и типология личной власти.

Кто умирает. Повесть о последних днях и кончине московского самодержца Василия III (1479—1533) принадлежит к числу наиболее значительных в художественном отношении произведений Пановой. По мастерству портретно-исторической живописи, глубине и масштабности замысла эта короткая повесть может быть поставлена в ряд с лучшими образцами советской исторической прозы.

Панову занимает в повести традиция самодержавной власти, уходящая в сумрак средневековья, когда эта традиция только складывалась, а мысль о «божественности единоначальной власти» получила практическое осуществление на русской земле.

Произвол неограниченной власти создает ситуации, с которыми сама власть уже не в состоянии справиться. Если деспот не считается с жизнью, то смерть не считается с деспотом. Умирающий властелин оставляет после себя непомерно тяжелое наследство, вокруг которого закипает ожесточенная борьба. Его наследники поневоле должны начинать все сначала, причем не столько в государственных, сколько в своих собственных интересах.

Строгая объективность, с которой Панова судит об итогах правления одного из первых русских самодержцев, исключает апологетическое отношение к истории. Даже признавая прогрессивность тех или иных практических шагов Василия Ивановича, писательница не снимает вопроса о его реальном нравственном облике; низменные, бесчеловечные, деспотические его черты выявлены резкими и контрастными мазками. Нравственная оценка закономерно входит в общий итог как неотъемлемая часть исторической правды.

По признанию К. М. Симонова, откликнувшегося на книгу Пановой «Лики на заре» аналитическим личным письмом, наибольшее впечатление на него произвела история внутреннего нравственного перерождения игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия: «...Наверное, она, эта история, самая главная в этой книге. И самая поучительная для нас, грешных, живущих в нашу сложную эпоху... А в смысле прямой изобразительной силы удивительно хорошо написана кончина великого князя

Московского. Некоторые страницы — да что там некоторые! — большинство страниц этой вещи читал с прямым восторгом и завистью. Это настоящая история, во всем жесточайшем сплетении ее противоречий, столкновений судеб, взглядов, страстей. [redacted] общем, это очень хорошо, по-моему...» (С и м о н о в К. Сегодня и давно. М., 1976. С. 400—401).

В письме к Е. В. Стариковой от 6 февраля 1970 г. Панова высоко оценила ее критическую статью, посвященную исторической проблематике «Ликов на заре». «Эта статья не только умна и добра, что так редко перепадает на долю нас, бедных литераторов,— писала Панова,— эта статья буквально вернула мне веру в себя. Я тут сделала некий шаг — прочла два знаменитых исторических романа. Один — «Последнний путь Владимира Мономаха», второй — «Великий государь» — об Иоанне III, дедушке милого нашего Иоанна IV. Я, впрочем, не уверена, что онн точно называются так, а не как-либо иначе, [redacted] фамилии авторов, при моем склерозе, и вовсе не запомнила, но наверняка вы догадываетесь, [redacted] чем идет речь, так как эти два романа все читали и все очень хвалят, очень, говорят, интересно. А [redacted] прочла, и на этом интересном фоне мои бедные «Лики» показались уж очень бедными, какими-то необстоятельными, несолидными... А это мне как-то очень было ни к чему, так как я начала было — и с большим рвением — работать над XVII нашим веком, работать, что называется, заново, по-своему стараясь пересмотреть и Марину, и Василия Шуйского, и обоих Лжедмитриев даже» (Цит. по ст.: С т а р и к о в а Е. Три письма Веры Пановой//Воспоминания [redacted] Вере Пановой. М., 1988. С. 425).

Панова имела в виду исторические романы С. Скляренко из времен Киевской Руси — «Святослав» н «Владимир», где основные герои, вопреки исторической истине, выступают скорее [redacted] роли народных вождей, а не своевольных феодальных властителей, державших в кабале своих смердов. Та же тенденция — апологня ранней феодальной эпохи и возвеличение великокняжеской власти — проявилась в повестн опытиого исторического романиста Вс. Н. Иваиова «Иван Третий». Книга повестей Пановой «Лики на заре» по сути своей противостояла украшательской, ндеализирующей тенденции исторической беллетристики 60-х гг. Стремлением осмыслить важнейшие противоречия национальной истории отмечены и последующие исторические замыслы Пановой, относящиеся к эпохе XVII века.

СМУТА

Мозаики

Впервые: Болотников. Каравай иа столе // Аврора. 1969. № 4; Начннался век семнадцатый: Мозаики: Голод; Черный день Василия Шуйского; Марнна. Кому набольший кусок//Звезда. 1975. № 3; Гнбель династии: Рассказ // Аврора. 1976. № 1; П а н о в а В. Избранные произведения: В 2 т. Л., 1980. Т. 2.

На протяжении 60-х гг. параллельно историческим повестям Панова работала над циклом мозаик из эпохи Смутного времени. Только один рассказ «Болотников. Каравай на столе», принадлежащий к этому циклу, был опубликован при жизни автора в 1969 г. На вопрос М. Г. Козловой из ЦГАЛИ о судьбе рукописей названного цикла Панова ответила 31 марта 1971 г.: «Что касается черновиков по Смутному времени, то занимаюсь я этим уже давно, примерно с 1960 года и, видимо, кончить не сумею. По замыслу это не роман и не повесть, [redacted] бестолковое сборище новелл и эссе типа моих „Ликов на заре“» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65, л. 30).

Сама Панова назвала свои рассказы о Смуте «мозаиками». Это жанровое определение нуждается в разъяснениях. Мозаичное изображенне, как известно, выполняется из готовых твердых материалов — разноцветных камней, смальты, керамики. Необходнма большая точность укладки и сочетания каждого отдельного кусочка мозаики, чтобы разные цветовые пятна слились на одной плоскости и дали [redacted] перспективе необходимый художественный эффект.

Сходный принцип создания общей картины из отдельных небольших частей, или фрагментов, Панова применила в своем цикле о Смутном времени. Она использовала технику исторической мозаики и в каждом отдельном рассказе, н в общей композиции цикла, к сожалению, не завершенного до конца. Даже название цикла не было твердо установлено автором.

«Вы спрашнваете о предполагаемом названии новелл о Смутном времени,— отвечала Панова М. Г. Козловой 17 апреля 1971 г.— вот оно (сугубо условное): «Был век семнадцатый». Увы, [redacted] очень отошла от этой работы, и, думаю, у меня уже не хватит сил к ней вернуться, тем более что замах (мысленный) был, видимо, слишком шнрок для моих возможностей» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65, л. 31).

Несмотря на незавершенный характер цикла, основные очертания замысла Пановой отчетливо выступают в ее рассказах. Главные их герои — реальные нсторическне лица Смутного времени: Борнс Годунов, Василий Шуйский, Иван Болотников, Марина Мнишек.

Участником событий является и еще одно, может быть, самое значительное историческое лицо — народ, тот самый народ, который [redacted] трагедии Пушкина «безмолвствует» при вступлении Самозванца на царство, выражая тем самым свое неодобрение происходящему и нравственный суд над ним. Точка зрения этого действующего лица выражена и в первом, вводном очерке «Голод»; и в других «мозаиках» «Смуты». Главные фигуры рассказов изображены, как правнло, в одной критической ситуации — в кульминационный момент их жизни или перед окончательной развязкой.

Так нменно строится рассказ «Гибель династии» — о смерти Бориса Годунова. Смерть его в 1605 г., в возрасте пятидесятн трех лет, была настолько внезапной, что ее склонны были приписывать самоубийству (см.: П л а т о н о в С. Ф. Борнс Годунов. Пг., 1921. С. 152). Эта версия

осталась неподтвержденной, и новейшие исследователи не разделяют подобных предположений (см.: Скрынников Р. Г. Борис Годунов. Л., 1978. С. 179). Но при отсутствии явных доказательств и предложенная версия не может быть начисто исключена из сферы исторической вероятности. Положение Годунова к 1605 г. стало критическим, и у него могли быть поводы к отчаянию. Конкретные обстоятельства страшной смерти Годунова — не более чем авторское допущение, возможно и фантастическое, зато общие исторические причины гибели молодой династии Годуновых — предмет реальный и наиболее существенный для художника.

Гибель династии Годуновых открыла новую страницу Смутного времени. Одного из главных противников Годунова — князя Василия Шуйского Панова показала в день его величайшего унижения. Именно Шуйский, признав Лжедмитрия I, открыл ему и польскому войску беспрепятственный путь в Москву. Он использовал Самозванца, чтобы поразить насмерть ненавистный ему годуновский род. Однако, как только эта цель была достигнута, он начал против нового царя борьбу за престол. Интрига была открыта, и молодой царь отдал Шуйского и его братьев под суд. Описанная Пановой инсценировка смертного приговора, приготовление к публичной казни на Лобном месте, замена ее ссылкой в Вятку были лишь преходящими эпизодами в сложной политической борьбе.

Шуйский скоро был прощен Самозванцем и вернулся в Москву. Начатую интригу против Лжедмитрия он выиграл. После смерти Дмитрия Самозванца и разгрома польского гарнизона Шуйский был «выкрикнут» московским царем. Он и царствовал четыре года (1606—1610), пока в свою очередь не был свергнут с престола боярами-заговорщиками.

Фигура Болотникова оказалась необходимой в мозаике Смутного времени, но тоже лишь как фрагмент, как часть лаконичного исторического рисунка. Поражение крестьянской армии Болотникова в решающих сражениях с войсками Василия Шуйского было одним из самых трагических моментов в истории России начала XVII в. Народ не смог освободиться от тирании самодержавного государства. Надеждам крестьянства на освобождение в эпоху Смуты был нанесен сильнейший удар. Крепостная кабала стала тогда еще более тяжелой. Но тем и велик был Болотников, что единственный среди всех соратников по восстанию умел смотреть дальше своего века. Приближаясь к трагической развязке, поражению и казни, Болотников в рассказе Пановой не теряет присутствия духа. Мотивы его поступков крупнее и глубже, чем у его врагов. Народная смута, которую он начал, не закончится с его смертью. Болотников сознает это, он уверен, что найдутся последователи, которые подхватят и понесут дальше его «хоругвь».

В Смуте оказалась замешанной и потерпела в конце концов поражение еще одна крупная сила — иноземная интервенция, которая вознесла на русский престол польского ставленника Лжедмитрия I и полячку Марину Мнишек. Мысль написать о Марине Мнишек давно владела Пановой. Как и в других рассказах, здесь сохранен принцип исторической

мозаики. Из биографии Марины взяты лишь отдельные эпизоды. В повести опущены некоторые центральные моменты восхождения на российском историческом небосводе этой зловещей и беззаконной кометы.

8 мая 1606 г. в Москве состоялась свадьба Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Она была совершена по православному обряду, но без церковного причастия, исключенного из-за католической веры молодой царицы. Отказ от причастия произвел самое неблагоприятное впечатление в церковных кругах. Слух о публичном пренебрежении обычаями страны широко распространился в народе и вызвал брожение среди противников польской партии. Дни Лжедмитрия были сочтены. Только десять дней царила Марина Мнишек рядом с Самозванцем на русском троне. 17 мая 1606 г. восставшие москвичи убили Лжедмитрия и разгромили польский гарнизон. Марину после убийства Самозванца сначала держали в Кремле, а потом перевели в дом к отцу. С остатками польской свиты она была выслана в Ярославль. В течение двух лет Мнишеки оставались высокопоставленными заложниками, через которых новый царь Василий Шуйский поддерживал неофициальные связи с польской стороной. Можно предположить, что пропуск майского торжества и майского же падения Марины, подробностей ее двухлетней ссылки в Ярославль (1606—1608 гг.) — следствие незавершенности этой исторической «мозаики» Пановой. Последние эпизоды повести относятся к 1608—1610 гг., когда Марина сделала ставку сначала на Лжедмитрия II, так называемого Тушинского вора, а затем на малолетнего «наследника», ее сына от второго Самозванца, объявленного внуком великого царя Ивана Грозного, а следовательно, претендентом на русский престол. Эту совершенно призрачную идею Марины Мнишек поддержал казацкий атаман Иван Заруцкий, с которым она сблизилась еще в Тушине и бежала на юг в Астрахань, а затем на реку Яик. Здесь воеводы нового царя Михаила Романова настигли в 1614 г. отряд Заруцкого. Выданный своими казаками, Ивашка Заруцкий был посажен в Москве на кол, пятилетний сын Марины, «воренок», умерщвлен, а сама она заточена, по преданию, в Коломенскую башню Московского Кремля, где и закончила свой век. Как и в остальных мозаиках, Панова не ставила своей целью дать сколько-нибудь полное жизнеописание героини. Главное в ее замысле — обнаружить и разъяснить маниакально упорные попытки Марины овладеть «набольшим куском», высшей властью в чужом государстве, и не менее того. Этот мотив последовательно проходит через все главки короткой повести. Полный крах авантюрных притязаний, связанных с иностранной интервенцией и внутренними раздорами, стал историческим пределом, историческим концом Смуты.

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ВСТРЕЧ

Впервые: Новый мир. 1964. № 7; Из рассказов об Америке//Ленингр. правда. 1960. 31 дек.; 1961. 1 янв.; Люди за океаном//ЛГ. 1961. 17 янв;

Трое мальчишек...: У старого художника; США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов; Перемещенное лицо.

Отрывок «Москва — Париж — Нью-Йорк» (загл. редакционное) обнаружен в архиве Пановой и публикуется впервые (ЦГАЛИ. Ф. 2223. оп. 1, ед. хр. 53, л. 1—8).

Цикл рассказов «Из американских встреч» («У старого художника», «США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов», «Перемещенное лицо») был написан Пановой после поездки в США в составе делегации Союза писателей СССР. В делегацию входили также Эд. Межелайтис, К. М. Симонов и Е. С. Романова. Программа поездки была насыщенной и напряженной: Нью-Йорк — Вашингтон — Новый Орлеан — Спрингфилд — Чикаго — Буффало — Бостон — Нью-Йорк. Это была одна из первых после долгого перерыва писательских поездок в США, целью которой являлось восстановление прерванных и налаживание новых контактов в области издательской деятельности и художественной культуры.

Поездка по Америке продолжалась около месяца (с 18 ноября по 14 декабря 1960 г.), и за это время делегация посетила крупнейшие университеты США, многочисленные музеи, театры, концертные залы, научно-исследовательские и культурные центры, редакции больших газет и журналов, издательств, обнаруживших определенную заинтересованность в восстановлении и развитии культурных связей с Советским Союзом.

20 декабря 1960 г., через несколько дней после возвращения из Америки, Панова отправила новогоднее поздравительное письмо сотруднику ЦГАЛИ М. Г. Петровой. К письму приложены рукописные записи из дневника: «За границей я было начала вести дневник. Задумано было широко и богато,— писала Панова,— но терпения хватило только на одну запись. Мне вдруг не захотелось ее выбрасывать, пусть она у вас лежит, ладно?» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 70).

Панова отказалась от мысли писать связную очерковую книгу о большой поездке по Америке; она ограничилась лишь отдельными эпизодическими рассказами, навеянными американскими впечатлениями, заострив внимание лишь на тех деталях и лицах, которые особенно поразили ее. Тем не менее в мыслях и разговорах Панова много раз возвращалась к этому путешествию (см.: Веч. Ленинград. 1965. 19 марта).

ИЗ ПИСЬМА

Впервые: Нева. 1962. № 12. С. 117—121; Трое мальчишек...

Произведение написано под живым впечатлением от участия в Международном конгрессе писателей и деятелей кино, радио и телевидения во Флоренции, состоявшемся весной 1962 г. по инициативе Европейского сообщества писателей. В заседаниях конгресса участвовала представительная советская делегация: А. Т. Твардовский, А. А. Сурков, В. Ф. Панова, А. А. Вознесенский, Н. Хикмет.

Панова по праву представляла советскую литературу и советский кинематограф на встрече европейских писателей. Писательница сделала особенно много для объединения большой литературы с кинематографом, радио и телевидением. Ее известность за рубежом (как прозаика в первую очередь) была умножена в начале 60-х гг. успехом лучших фильмов, созданных по ее сюжетам («Сережа», 1961; «Вступление», 1962) и получивших признание во многих странах мира.

ИЗ ЗАПАСНИКОВ ПАМЯТИ

Впервые: Нева. 1971. № 3; Заметки... (с добавлением новой главки «Ленинград. Шура, Маня и Аня» и публиковавшегося ранее рассказа «У старого художника»). В настоящем томе публикуется по книге «Заметки...» с исключением некоторых глав, которые полностью или частично вошли в автобиографическую книгу «О моей жизни...» (см. примеч. на с. 557 наст. тома). Из цикла, соответственно, исключены главки: «Ростов-на-Дону. Явление любви», «Ростов-на-Дону. Гимназия Любимовой — начало самостоятельной жизни», «Ростов-на-Дону. Володя Филов. Работа в газете», «Ленинград. Первые впечатления», «Этого письма я ждала и дождалась», «Пермь. Как пекли картошку».

К своим последним мемуарным произведениям Панова обратилась после тяжелой болезни, поразившей ее в 1967 г., и сам процесс работы потребовал от нее огромных душевных и физических усилий. В августе 1969 г. она сообщила другу юности по Ростову писателю Вениамину Жаку: «По совету врача, почти ежедневно работаю — пишу, говорят, это даже содействует восстановлению... Я начала набрасывать что-то вроде воспоминаний, в значительной мере они, естественно, касаются моего покойного мужа и его дел... Писать эти воспоминания мне трудно, я словно вторично переживаю всякую горестную минуту, но считаю своим долгом хотя бы для детей оставить память об отце... Поклон всем общим знакомым и городу Ростову-на-Дону вместе с Нахичеванью. Я о ней тоже напишу» (Цит. по ст.: Жак В. Мужество таланта: К 75-летию со дня рождения Веры Федоровны Пановой//Веч. Ростов. 1980. 20 марта).

В процессе работы над воспоминаниями общий замысел Пановой разделился по двум руслам. В первый цикл «Из запасников памяти», напечатанный при жизни автора, вошли в основном краткие лирические зарисовки некоторых лиц и событий, а порой и просто мимолетные впечатления, сохраненные за многие годы удивительной памятью художника.

«...Я обнаружила в себе,— подтвердила Панова,— как бы некие запасники, куда совершенно непроизвольно откладывались впечатления и наблюдения, чтобы затем явиться без всякого моего усилия в нужный момент и занять свое место в моей работе. Уже когда я писала первые

свои книги — «Спутники», «Кружилиху»,— эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неоцененную службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса.

Может быть, такого рода механическая память и отличает писателя от неписателя. Это всплывание в нужный момент — не оно ли называется вдохновением!»

В работе над циклом «Из запасников памяти» Панова заново проверяла свою способность черпать из пережитого, и оказалось, что эту способность поэтического воссоздания жизни в неожиданных подробностях и деталях у нее не смогла отнять даже тяжелая болезнь. Принцип выбора подробностей в данном цикле — подчеркнуто диахронный; перед нами пестрый и красочный калейдоскоп отдельных заметок и зарисовок, извлеченных в свободном подборе из запасников памяти. Каждое впечатление существует отдельно, как мазок у импрессионистов; внешне они мало связаны между собой во времени и пространстве, и тем не менее все впечатления из разных лет и разных мест собственного бытия объединены общностью настроения, чувством глубокой привязанности к людям, к жизни, к ее красоте.

Некоторые главки, впервые опубликованные в цикле «Из запасников памяти», явным образом тяготели к жанру семейной хроники — эта линия воспоминаний и была специально развита в следующем произведении Пановой — «О моей жизни, книгах и читателях». Писательница вернулась здесь к впечатлениям детства, отрочества и юности, развернула широкую ретроспективу жизни в 1920—1930-е гг., рассказала о событиях Великой Отечественной войны и основных этапах своего послевоенного литературного творчества. 1 июня 1972 г. Панова подтвердила в письме к сотруднику ЦГАЛИ М. Г. Козловой: «Что касается черновиков «Заметок литератора» (цикл «Из запасников памяти» составил второй раздел этой книги, опубликованной в апреле 1972 г.— *А. Н.*), то их было такое множество, что, боюсь, нам с Д. Я. их и не собрать. Но уже готовлю для ЦГАЛИ черновик мемуаров, которые хоть, на мой взгляд, абсолютно не получились, так как я не нашла для них формы, но в архиве моем должны, конечно, находиться. Я пошлю Вам экземпляр того варианта, который я приготовила для моих детей «в журнал и издательство дан другой вариант» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65, л. 38—39.).

Над следующей книгой, непосредственно связанной с «Заметками литератора», Панова продолжала работать до конца дней, стремясь найти необходимую литературную форму и для этого мемуарного повествования.

Из массы материалов, накопленных в запасниках памяти и представленных сначала в свободном калейдоскопическом подборе, появилось новое произведение, последовательно развернутое во времени — повесть о своей жизни и литературном труде, представленная как одно целое.

Впервые: Нева. 1973. № 4, 5. Под загл.: Из повести моей жизни; Дорогие мои наставницы: Из воспоминаний детства//Костер. 1973. № 4 (более полная редакция главы «Мои учительницы»); Как я писала мои книги//Нева. 1975. № 3; П а н о в а В. О моей жизни, книгах и читателях. Л.: Лениздат, 1975 и Л.: Сов. писатель, 1980; Крах (с сокращением). Свидание//Огонек. 1988. № 11. В изданиях 1975 и 1980 гг. печатались с изъятиями, без двух указанных глав и с некоторыми другими, менее значительными сокращениями. В настоящем издании впервые публикуется в полной редакции, уточненной по авторской рукописи.

Для однотомного издания избранных произведений, которые готовились к публикации в конце 1950-х гг., Панова написала краткий очерк «Из автобиографии» (1960), затем он неоднократно перепечатывался с некоторыми дополнениями и поправками под названием «О себе и своей работе» (см. сб.: «Трое мальчишек...» С. 3—18). Этот очерк можно рассматривать как первый набросок большой автобиографической книги, замыкающей жизнь и творчество писательницы. К последней книге Панову вели и ее исторические сюжеты, и поездки в другие страны, и внимательное изучение творчества современников, особенно старших, и пытливый интерес к произведениям молодых. С годами возрастало стремление полнее осознать и передать другим собственный литературный опыт — так в автобиографическую повесть Пановой вошли рассказы об истории создания ее книг («Спутники», «Кружилиха», «Времена года», «Сережа», «Сентиментальный роман»), размышления о работе в историческом жанре, воспоминания о встречах с миром театра и кино.

Все это служило материалом и опорой для «книги жизни», начатой в конце 60-х гг. и завершенной перед самой смертью. Автобиографические главы о детстве и работе в ростовской газете «Трудовой Дон», опубликованные впервые в составе цикла «Из запасников памяти» (Нева. 1971. № 3), вошли теперь в новую книгу как ее составная часть, заняв соответствующее им по хронологии место (см. главы 13—14 — «Мои учительницы», «Гимназия Любимовой»; гл. 20 — «Володя Филов», гл. 23—24— «Первые заработки», «„Трудовой Дон“ и „Ленинские внучата“»).

Впервые в хронику пережитого Панова ввела историю Бориса Борисовича Вахтина, молодого комсомольского работника и журналиста из Ленинграда, приехавшего в 1927 г. в Ростов-на-Дону, где он стал специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Тогда же Панова и познакомилась с ним. В 1928—1929 гг. в ее доме собиралась группа начинающих литераторов и деткоров Ростова, читавших друг другу стихи и прозу. В эту группу входили Г. Брегман, Б. Вахтин, С. Деревянченко, В. Дмитревский, И. Коген, И. Покатиловский, А. Старосельский. После развода с первым мужем Панова и Вахтин поженились. «До его гибели было еще почти десять лет,— вспоминала Панова,— и мы успели полюбить друг друга, пожениться, и у нас родилось двое сыновей, названных,

по вахтинской семейной традиции, Борисом и Юрием, старший в 1930 году, младший в 1932-м».

В двух главах — «Крах» и «Свидание» — Панова подробно и с большой силой описала обстоятельства ареста Бориса Вахтина в Ростове в 1935 г. по обвинению в связях с «ленинградской оппозицией» и с «врагами народа». Осенью 1936 г. она получила официальное разрешение на свидание с мужем по месту его ссылки на Соловках, где он отбывал свой срок в лагере для заключенных. Душераздирающие подробности этого последнего в их жизни свидания, воссозданные через много лет,— еще одно свидетельство огромной и общей трагедии, пережитой современниками писательницы в годы культа личности Сталина. При издании воспоминаний «О моей жизни, книгах и читателях» в 1975 и 1980 гг. обе указанные главы, вопреки желанию автора и его наследников, были исключены из текста. В настоящем издании купированные главы восстановлены на своих местах.

Важным историческим и литературным свидетельством являются также военные главы воспоминаний Пановой: обстоятельства захвата фашистскими войсками города Пушкина под Ленинградом, долгий путь по оккупированной земле от Пушкина через Нарву до украинского села Шишаки, совершенный Пановой и ее дочерью Наташей лютой зимой 1941 г.; страшные подробности жизни в оккупации на Украине в 1941—1943 гг., где Панова с тремя детьми дождалась освобождения.

Рассказывая о прошлом, Панова правдиво и без умолчаний вошла в драматические обстоятельства и переломы своей судьбы. А таких переломов в жизни у нее было несколько. Слабый человек в подобных обстоятельствах мог бы надломиться, пасть духом, утратить волю и интерес к происходящему. Панова нашла в себе силы преодолеть испытания судьбы, сохранить и развить свой творческий дар.

Панова не успела увидеть созданную ею повесть «О моей жизни, книгах и читателях» напечатанной в журнале, а затем отдельным изданием. У нее хватило сил лишь дописать эту рукопись до конца, придав ей законченный характер. Книга впервые вышла в свет ровно через два года после смерти автора. Вполне возможно, что последнее авторское решение относительно тех или иных эпизодов, подробностей, может быть, даже некоторых разделов рукописи при ее подготовке к печати могло оказаться иным, чем в посмертной редакции 1975 г., выпущенной в свет Лениздатом (тщательное наблюдение за этой редакцией осуществлял старший сын Пановой писатель Б. Б. Вахтин). Дополнения и поправки, внесенные теперь в эту редакцию, основаны на оригинале рукописи и соответствуют волеизъявлению автора. Панова написала в целом свое произведение так, как хотела, как задумывала, и ее повесть о собственной жизни в полной мере отмечена неповторимой печатью личности и таланта писательницы. Это в значительной мере итог всей прожитой жизни и литературное завещание Веры Федоровны Пановой.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
И АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ЛИКИ НА ЗАРЕ. *Исторические повести*
Сказание об Ольге 6
Сказание о Феодосии 51
Феодорец Белый Клобучок 103
Кто умирает 133

СМУТА. *Мозаики*
Голод 165
Гибель династии 169
Черный день Василия Шуйского 175
Болотников. Каравай на столе 179
Марина. Кому набольший кусок 186

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ВСТРЕЧ
Москва — Париж — Нью-Йорк. *Записи из дневника* . . . 210
У старого художника 213
США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов 219
Перемещенное лицо 222

ИЗ ПИСЬМА 229
ИЗ ЗАПАСНИКОВ ПАМЯТИ 236
О МОЕЙ ЖИЗНИ, КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ 279

Примечания 545

Панова В.

П16 Собрание сочинений: В 5 т. /Редкол.: С. Баруздин, А. Нинов, Л. Рахманов. Т. 5: Историческая и автобиографическая проза/ Сост. и подгот. текста А. Нинова, Н. Озерновой-Пановой; Примеч. А. Нинова.— Л.: Худож. лит., 1989.— 560 с.

ISBN 5—280—00859—1 (Т. 5)
ISBN 5—280—00148—1

В том вошли циклы исторических повестей и рассказов В. Ф. Пановой «Лики на заре», «Смута», посвященные Руси X—XII и XVI—XVII вв., рассказы из циклов «Из американских встреч», «Из запасников памяти», а также впервые публикуемая в полной редакции автобиографическая повесть «О моей жизни, книгах и читателях».

П $\frac{4702010201-062}{028(01)-89}$ подписное   ББК 84.Р7

Вера Федоровна Панова

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ 5

Составители
Александр Алексеевич Нинов,
Наталья Арсеньевна Озернова-Панова

Редактор *Т. Степашова*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректоры *А. Борисенкова, М. Зимина*

ИБ № 5239

Сдано в набор 15.07.88. Подписано в печать 20.02.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 31,87. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛIII-208. Заказ № 1656. Цена 2 р. 40 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.